МШолохов

7



МИХАИЛ ШОЛОХОВ

Собрание сочинений

МИХАИЛ ШОЛОХОВ

Собрание сочинений в восьми томах



Москва
«Художественная литература»
1986

МИХАИЛ ШОЛОХОВ

Собрание сочинений

Том 7

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

Главы
из романа

РАССКАЗЫ



Москва
«Художественная
литература»
1986

Р2
Ш78

Составление
М. Манохиной

Оформление художника
Ю. Боярского

Ш $\frac{4702010200-129}{028(01)-86}$ подписное

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

Главы из романа

Перед рассветом по широкому суходолу хлынул с юга густой и теплый весенний ветер.

На дорогах отпотели скованные ночным заморозком лужи талой воды. С хрустом стал оседать в оврагах подмерзший за ночь последний, ноздреватый снег. Кренясь под ветром и низко пластаясь над землей, поплыли в черном небе гонимые на север черные паруса туч и, опережая их медлительное и величавое движение, со свистом, с тугим звоном рассекая крыльями повлажневший воздух, наполняя его сдержанно радостным гомоном, устремились к местам вечных гнездовий заждавшиеся на полдороге тепла бесчисленные стаи уток, казарок, гусей.

Задолго до восхода солнца старший агроном Чернoярской МТС Николай Стрельцов проснулся. Жалобно скрипели оконные ставни. В трубе тонко скулил ветер. Погромыхивал плохо прибитый лист железа на крыше.

Стрельцов долго лежал на спине, закинув руки за голову, бездумно глядя в сумеречную предрассветную синеву, вслушиваясь то в порывистые всплески ветра, бившегося о стену дома, то в ровное по-детски тихое дыхание спавшей рядом жены.

Вскоре по крыше дробно застучали дождевые капли, ветер немного притих, и стало слышно, как по водосточному желобу с захлебывающимся бульканьем клокочет, журчит вода и мягко и тяжело падает на отсыревшую землю.

Сон не приходил. Стрельцов поднялся, тихо ступая босыми ногами по скрипящим половицам, прошел к столу, зажег лампу, присел выкурить папиросу. Из щелей между небрежно подогнанными половицами тянуло острым холодком. Стрельцов неловко поджал голенастые ноги, потом устроился поудобнее, прислушался: дождь шел не только не ослабевая, но все более усиливаясь.

«Хорошо-то как! Еще прибавится влаги»,— довольно подумал Стрельцов и сейчас же решил поехать утром в по-

ле, посмотреть озимые колхоза «Путь к коммунизму» да кстати заглянуть и на зябь.

Докурив папиросу, он оделся, обул короткие резиновые сапоги, накинул брезентовый плащ, но шапку никак не мог найти. Долго искал ее под вешалкой в полуосвещенной передней, за шкафом, под столом. В спальне, тихонько проходя мимо кровати, на минуту остановился. Ольга спала, повернувшись лицом к стене. По подушке беспорядочно разметались белокурые, с чуть приметной рыжинкой волосы. Ослепительно белое плечико ночной рубашки, почти касаясь коричневой круглой родинки, глубоко врезалось в полное смугловатое плечо.

«Не слышит ни дождя, ни ветра... Спит так, как будто совесть у нее чище чистого»,— подумал Стрельцов, с любовью и ненавистью глядя на затененный профиль жены.

Он постоял еще немного возле кровати, закрыв глаза, с глухой болью на сердце воскрешая в памяти несвязные и, быть может, не самые яркие воспоминания о недавнем счастливом прошлом и всем существом своим чувствуя, как медленно и неудержимо покидает его тихая радость, навеянная вот этим предрассветным дождем, бурным ветром, ломающим зимний застой, преддверием трудной и сладостной работы на колхозных полях...

Без шапки Стрельцов вышел на крыльцо. Но не так, как в былые годы, воспринял он теперь свист утиных крыльев в аспидном небе, и уже не с прежней силой охотничьей страсти взволновал его стонущий и влекущий в неведомую даль переклик гусиных стай. Что-то было отравлено в его сознании за тот короткий миг, когда смотрел в родное и в то же время отчужденное лицо жены. Иначе выглядело сейчас все, что окружало Стрельцова. Иным казался ему и весь необъятный, весь безбрежный мир, проснувшийся к новым свершениям жизни...

Дождь все усиливался. Косой, мелкий, спорый, он полетнему щедро поил землю. Подставив открытую голову дождю и ветру, Стрельцов жадно шевелил ноздрями в тщетной надежде уловить пресный запах оттаявшего чернозема,— нахолодавшая земля была бездыханна. И даже первый после зимы дождь — бездушный и бесцветный в предутренних сумерках — был лишен того еле приметного аромата, который так присущ весенним дождям. По крайней мере так казалось Стрельцову.

Он накинул на голову капюшон плаща, пошел к конюшне, чтобы подложить коню сена. Воронок зачуял

хозяина еще издали, тихо заржал, нетерпеливо перебирая задними ногами, гулко стуча подковами по деревянному настилу пола.

В конюшне было тепло и сухо. Пахло далеким летом, степным улежавшимся сеном, конским потом. Стрельцов зажег фонарь, положил в ясли сена, сбросил с головы капюшон.

Коню было скучно одному в темной конюшне. Он нехотя понюхал сено, всхрапнул и потянулся к хозяину, осторожно прихватывая шелковистыми губами кожу на его щеке, но, наткнувшись нежным храпом на жесткую щетину хозяйских усиков, недовольно фыркнул, жарко дохнул в лицо пережеванным сеном и, балуясь, стал жевать рукав плаща. Будучи в добром духе, Стрельцов всегда разговаривал с конем и охотно принимал его ласки. Но сейчас не то было у него настроение. Он грубо оттолкнул коня и пошел к выходу.

Еще не убедившись окончательно в дурном расположении хозяина, Воронок игриво повернулся, загородил крупом проход из станка. Неожиданно для самого себя Стрельцов с силой ударил кулаком по конской спине, хрипло крикнул:

— Разыгрался, черт бы тебя!..

Воронок вздрогнул всем телом, попятился, часто переступая ногами, пугливо прижался боком к стенке. Чувство стыда за свою неоправданную несдержанность шевельнулось в душе Стрельцова. Он снял висевший на гвозде фонарь, но не погасил его, а зачем-то поставил на пол, присел на лежавшее возле двери седло, закурил. Спустя немного сказал тихо:

— Ну, извини, брат, мало ли чего не бывает в жизни...

Воронок круто изогнул шею, вывернул фиолетово поблескивающее глазное яблоко, посмотрел на понуро сидящего хозяина, потом стал лениво пережевывать хрупающее на зубах сено.

Грустно пахло на конюшне увядшими степными травами, по-осеннему шепелявил, падая на камышовую крышу, частый дождь, брезжил мутный, серый рассвет... Стрельцов долго сидел, уронив голову, тяжело опираясь локтями о колени. Ему не хотелось идти в дом, где спит жена, не хотелось видеть ее рассыпанные по подушке белокурые, слегка подвитые волосы и эту страшно знакомую круглую родинку на смуглом плече. Здесь, на конюшне, ему было, пожалуй, лучше, покойнее...

Он распахнул дверь, когда почти совсем уже рассве-

ло. Грязные клочья тумана висели над обнаженными тополями. В мутно-сизой мгле тонули постройки МТС и еле видневшийся вдали хутор. Зябко вздрагивали под ветром опаленные морозами, беспомощно тонкие веточки белой акации. И вдруг в предрассветной тишине, исполненное нездешней печали, долетело из вышней, заоблачной синевы и коснулось земли журавлиное курлыканье.

У Стрельцова больно защемило сердце. Он проворно встал и долго, напрягая слух, прислушивался к замирающим голосам журавлиной стаи, потом глухо, как во сне, застонал и проговорил:

— Нет, больше не могу! Надо с Ольгой выяснить до конца... Больше не могу я! Нет моих сил больше!

Так безрадостно начался первый по-настоящему весенний день у раздавленного горем и ревностью Николая Стрельцова. А в этот же день, поутру, когда взошло солнце, на суглинистом пригорке, неподалеку от дома, где жил Стрельцов, выбилось из земли первое перышко первой травинки. Острое бледно-зеленое жальце ее пронизало сопревшую ткань невесть откуда занесенного осенью кленового листа и тотчас поникло под непомерной тяжестью свалившейся на него дождевой капли. Но вскоре южный ветер прошелся низом, влажным прахом рассыпался отживший свое кленовый лист, дрогнув, скатилась на землю капля, и тотчас, вся затрепетав, поднялась, выпрямилась травинка — одинокая, жалкая, неприметная на огромной земле, но упорно и жадно тянущаяся к вечному источнику жизни, к солнцу.

Около скирды соломы, где почва еще не отошла от морозов, трактор «ЧТЗ» круто развернулся и, выбрасывая траками левой гусеницы ледяную стружку, перемешанную с жидкой грязью и соломой, ходко пошел к загону. Но в самом начале загона резко осел назад и, с каждым рывком все глубже погружаясь в черную засасывающую жижу, стал. Синий дым окутал корпус трактора, витым полотнищем разостлался по бурой стерне. Мотор заработал на малых оборотах и заглох.

Тракторист шел к вагончику тракторной бригады, с трудом вытаскивая ноги из грязи, на ходу вытирая руки паклей, вполголоса бранясь.

— Я говорил тебе, Иван Степанович, что сегодня начинать не надо,— вот и засадили трактор. Черт его теперь вызволит! Будут копаться до вечера,— раздраженно говорил Стрельцов, пощипывая черные усики, с нескрывае-

мой досадой глядя на красное, налитое лицо директора МТС.

Директор только крякнул от огорчения, но ничего не ответил. Уже подходя к вагончику, он сбоку добродушно покосился на Стрельцова, сказал:

- А ты не расстраивайся. Нечего расстраиваться по пустякам. Не утопнет твой трактор, и никакого лешего с ним не сделается! К вечеру вытянут его ребята, а через денек опять будем пробовать. Спыток не убыток. Когда-нибудь надо же начинать, или будем пыли дожидаться? Ты на озимых был?

— Был дней пять назад.

— Ну как?

— Ничего, перезимовали. Внизу, около Голого Лога, частица замокла.

— Много?

— Нет, чепуха, так поменьше двух гектаров, но подсевать придется. Сейчас опять проеду туда, посмотрю. А через день пробовать пахать ты и не думай, Иван Степанович! Знаю, ты человек упрямый, но от этого качества почва скорее не просыхает. Я на твоем месте перебросил бы два гусеничных в колхоз «Заря». Сам знаешь, почва там серопесчаная, пахать смело можно.

Директор испуганно замахал руками:

— А перегон? А пережог горючего? Об этом ты мне лучше не говори! Шутка дело, из-за каких-то двух дней гнать тракторы за двенадцать километров! Да меня за это на бюро райкома живьем скушают! Скажут, что не сумел вовремя расставить силы, недоучел, да мало ли чего еще там не наговорят на мою голову! Нет, о переброске я и слушать не хочу.

— Значит, по-твоему, пусть лучше тут тракторы простаивают?

Директор поморщился и молча махнул рукой, показывая, что считает разговор оконченным. Он вовсе не желал слушать новые доводы Стрельцова и ускорил шаг, но Стрельцов поравнялся с ним, спросил:

— Что же ты отмалчиваешься? Молчание не аргумент в твою пользу.

— Все сказано, и давай в бригаде без диспутов.

— Хорошо. Перенесем диспут, как ты говоришь, в другое место.

— Это куда же, например?

— Ну, хотя бы в райком.

Добродушие редко покидало сангвинического директо-

ра. И на этот раз он гулко захохотал, хлопнул мясистой ладонью по плечу Стрельцова:

— Ох, и горяч ты, агроном Микола! А на горячих, знаешь, куда ездят? То-то и оно! Попробуй стукни в райком, так тебе же первому там холку намылят, да еще я нажалуюсь, что ты подменяешь меня и вмешиваешься в мои административные функции. Каково?

Неисчерпаемое добродушие покладистого Ивана Степановича всегда разоружало вспыльчивого Стрельцова. Не принимая шутки, но уже значительно мягче, он сказал:

— Я не вмешиваюсь, а советую...

Но директор прервал его:

— Главное дело — не волнуйся. При твоей тощей комплекции для тебя волноваться вредно.

Однако, увидев, что Стрельцов нахмурился, он оставил шутливый тон и заговорил по-деловому:

— Черт его знает, может быть, ты и прав. Я подумаю, потолкую с бригадиром, и если уж так, если на то дело пошло, то в ночь перекинем трактора в «Зарю». Там, безусловно, можно приступать к пахоте. Но мне-то думалось, что Романенко там сам управится. Надо ему звякнуть, узнать, приступил он к пахоте или все еще раскачивается.— И, обращаясь к подошедшему трактористу, укоризненно закачал головой: — Ах, Федор, Федор! Как же это ты, милок, ухитрился засадить трактор! А еще тоже в танкистах служил, был отличником боевой подготовки...

Тракторист Федор Белявин неспроста был прозван друзьями «Жуком Чернявиным»: сапоги, черные ватные брюки и такая же теплушка на широких плечах, черный треух с черным кожаным верхом, вороная челка, лихо свисающая из-под треуха, и смуглое лицо в неотмываемой копоти и мазуте — все оправдывало прочно прилипшую к нему кличку.

Насмешливо щурясь, сверкая синими белками глаз и белыми до синевы зубами, он ответил:

— По твоей милости засадил, Иван Степанович! Говорили тебе все мы — и бригадир, и агроном, и все трактористы,— что не пойдет трактор, так разве тебя переспоришь? В одну душу — пробуй, и все. А теперь вот и любуйся на него да помогай выручать. Силенки у тебя хватит. Ты сам с виду, как «ЧТЗ». Откормился за зиму неплохо!

— Заплакал! — невозмутимо и слегка пренебрежительно сказал директор.— Вот уж ты и слезу пустил, а девчата считают тебя героем. Напрасно считают, так я думаю... Пойдем-ка глянем, как ты его загнал.

Они вдвоем направились к трактору. Туда же шел и бригадир еще с двумя трактористами. Стрельцов нехотя зашагал к вагончику, у которого был привязан Воронок. Ему не хотелось уезжать из бригады, где было свободней дышать,— на людях и в работе он легче переносил свалившееся на него горе, но посмотреть на озимые в окрестных колхозах было необходимо, и он медленно шагал по примятой, жухлой траве, глядя себе под ноги и тщетно стараясь отогнать вновь вернувшиеся мысли о жене, об ее отношениях с учителем Овражним, обо всем том, что последнее время лежало у него на сердце, как постыдная и горькая тяжесть, ни днем, ни ночью не шло с ума и мешало по-настоящему жить и работать.

— Оставайтесь завтракать с нами, товарищ Стрельцов! Такой кулеш сготовила, какого вам в жизни не доводилось кушать! — крикнула бригадная стряпуха Марфа, когда понурый, сгорбленный Стрельцов проходил мимо полевой кухоньки, сложенной неподалеку от вагончика заботливыми руками какого-то тракториста — умельца по печному делу.

Стрельцов благодарно кивнул ей головой, нехотя улыбнулся:

— Налей, что ли, Марфуша, а то до вечера домой не попаду.

Он присел на нижнюю ступеньку вагончика, принял из рук стряпухи горячую миску с кашей и только тут вспомнил, что не ел со вчерашнего утра. Но, отхлебнув несколько ложек вкусной, слегка попахивающей дымком жидкой каши, поставил на землю миску и — в который уже раз за это утро — снова достал из старенького кожаного портсигара помятую папироску...

* * *

Был уже на исходе май, а в семье Стрельцовых все оставалось по-прежнему. Что-то непоправимо нарушилось в совместной жизни Ольги и Николая. Произошел как бы невидимый надлом в их отношениях, и постепенно они, эти отношения, приняли такие тяжкие, угнетающие формы, о которых супруги Стрельцовы еще полгода назад никак не могли бы даже и помыслить. День ото дня исчезала былая близость, надежно связывавшая их прежде, ушла в прошлое милая интимность вечерних супружеских разговоров, и уже ни у одного из них не возникало желания поделиться

своими тревогами и заботами, неприятностями и маленькими радостями по работе. Зато чаще, чем когда-либо, иногда даже по пустяковому поводу вдруг вспыхивали ссоры и разгорались жарко, как сухой валежник на ветру, а когда наступало короткое примирение, оно не приносило облегчения и успокоенности. Недолгое затишье походило скорее на перемирие двух враждующих сторон и не снимало ни настороженности, ни скрытой, возникавшей откуда-то из потаенных глубин взаимной неприязни.

Еле ощутимый поначалу холодок в их отношениях все больше крепчал, становился пугающе привычным. Он входил в жизнь, превращался в неотъемлемую часть ее, и с этим уже ничего нельзя было поделать. У Николая иногда возникало такое, чисто физическое, ощущение, будто он длительное время живет в нетопленой комнате, постоянно испытывая непреходящее желание побыть на солнце, погреться...

Глядя на себя как бы со стороны, он замечал, что стал и на работе и дома несдержан, чрезмерно раздражителен; все чаще в общении с людьми овладевало им чувство нетерпимости, ничем не оправданной вспыльчивости. А ведь прежде таким он не был... Впрочем, подобные изменения наблюдал он и в характере Ольги. Все это способствовало возникновению случайных пререканий, неизбежно переходивших в ссоры.

С болью, с тоскливым выжиданием Николай чувствовал, как с каждым днем Ольга отдаляется от него, уходит все дальше, а он уже не в силах ни ласково окликнуть ее, ни вернуть. И вот это сознание собственного бессилия, невозможность что-либо изменить, томительное ожидание надвигающейся развязки и делало жизнь под одной крышей и непомерно тяжелой и постылой.

Еще с весны Ольга под предлогом наступающих экзаменов проводила все свободное послеобеденное время то в школе, то у подруг-учительниц. Ребенку она почти не уделяла внимания, целиком передав его на попечение бабушки. Николаю незачем было искать предлогов, чтобы возможно реже бывать дома: весновспашка, очистка семян, сев яровых, а затем пропашных культур, забота о парах, прополка хлебов — все это полностью поглощало его время. По утрам он со смешанным чувством облегчения и горечи покидал дом, возвращался только ночью, когда Ольга, проверив тетради, уже спала, и это обстоятельство в какой-то мере помогало уменьшению стычек. Однако, избегая друг друга, внутренне опасаясь оставаться наедине, они

оттягивали решающий разговор и тем самым усугубляли взаимные мучения и неустроенность в семье.

Разрыв, как видно, в равной мере страшил и Ольгу и Николая, и хотя неотвратимость его была ясна для них,— никто не хотел первым брать на себя инициативу.

Как ни странно, но теща Николая с самого начала семейного конфликта стала на сторону зятя. Несколько раз Николай, почему-либо возвращаясь домой в неурочное время, еще издали, со двора слышал отголоски бурных сцен между Ольгой и Серафимой Петровной. Но как только он брался в сенях за дверную ручку,— в доме все мгновенно смолкало. Теща, поджав губы, проходила мимо Николая, величественная и неприступная в своем материнском негодовании, а Ольга с заплаканными глазами старалась поскорее исчезнуть из дома и после долго отсутствовала, появлялась только в сумерках, чтобы не так заметно было ее опухшее и подурневшее от слез лицо.

А тут еще маленький Коля. Ребенок с прозорливостью взрослого сразу заметил наступивший между отцом и матерью разлад, но, не будучи в состоянии понять его причины, потянулся к бабушке, в ее комнатке, расположенной рядом с кухней, учил уроки, там же и спал, решительно переселившись из своей комнаты под предлогом того, что ночью один боится. Николай не раз во время обеда или завтрака ловил его короткие вопрошающие взгляды, а как-то ответить на них не было возможности. Не того возраста был маленький пытливый человечек...

Ольга встречалась с Юрием Овражним не только в школе. Николай догадывался об этом, но заставить себя следить за женой не мог, не мог ни при каких условиях. Это было выше его сил. И тогда, когда она задерживалась допоздна в школе или у подруг,— он не выходил со двора, молча сидел в темноте на крылечке, курил, ждал. За калиткой звучали стремительные шаги Ольги. Он сумел бы различить их среди тысячи женских шагов, он знал на память эту летучую, быструю поступь. И всегда, заслышав знакомый перестук каблучков, испытывал легкое удушье и словно бы замедленное биение сердца. Ольга молча проходила мимо, опахнув его запахом свежего платья, теплой вечерней пыли, а он слегка отодвигал в сторону голенастые ноги, пропускал ее и шел следом на кухню. Там они молча ужинали, изредка перебрасываясь незначащими фразами, расходились спать. Утром все начиналось снова.

За всю весну Николай встретился с Овражним только раз — случайно, на улице. Он ехал верхом на Воронке

в поле, Овражний шел ему навстречу к лавке сельпо. На улице стояли лужи, ветерок гнал по ним мелкую ребристую рябь. Вода в лужах нестерпимо блестела под солнцем, нагретый воздух был щедро напитан пресным запахом талого снега, влажного чернозема. Конь разбивал копытами воду, с всплеском летели по сторонам брызги, радужно вспыхивая на солнце; смачно чавкала и выворачивалась из-под конских бабок мазутно-черными комками грязь. Вразнобой голосили петухи, где-то в ближнем дворе истомно кудахтала курица, и, пробуя силы, пел в сизой дымчатой синеве косо снижавшийся на сырую землю выгона первый жаворонок. Такая умиротворенная благодать стояла над Сухим Логом, что Николай забыл обо всем на свете, покачиваясь в седле в такт лошадиному шагу, опустив поводья, всем существом своим бездумно радуясь и прохладному ветерку, и солнцу, ненадолго скрывавшемуся за облаками, похожими на прозрачные хлопья тумана, и несмелым певческим пробам жаворонка.

А тут, увидев невдалеке осторожно пробиравшегося возле плетня, оскользавшегося по грязи Овражнего, вдруг мгновенно почувствовал жестокую спазму подступившего к горлу удушья. Мир стал странно немотным, начисто лишился звуков. Николай видел только приближавшегося Овражнего. Видел всего с головы до ног: красивое, смуглорумяное, круглое лицо с черной полоской усов, смоляную челку, выбившуюся из-под примятого поля серой мягкой шляпы, нарядный, красно-черный четырехугольник вышивки украинской рубашки, серый в полоску пиджак, небрежно накинутый на широкие ладные плечи; видел разъезжавшиеся по грязи ноги в черных стареньких брюках и заляпанных грязью коротких резиновых сапогах. Таким Юрий Овражний и сохранился в памяти Стрельцова на всю жизнь, как мгновенно выхваченный из кадра цветного фильма. А в тот момент Николай неотрывно и жадно всматривался в лицо человека, разрушившего его жизнь, ставшего смертным врагом. Поравнявшись, Овражний весело блеснул зубами:

— Доброе утро, Николай Семенович! Ну и грязищу развезло! А еще называется это божье место Сухой Лог.

Николай хотел ответить на приветствие, но в горле у него как-то тихо и хрипло забулькало. Он сделал судорожное глотательное движение, однако так и не смог ничего сказать. А когда поднимал к козырьку правую руку, то плеть повисла на ней, будто пудовая гиря...

Проехав шагов десять, Николай оперся левой рукой

о подушку седла, оглянулся. Овражний смотрел на него, придерживаясь за колышек плетня, и на резко очерченных губах его бродила неясная улыбка.

До поворота в переулок Николай ехал шагом и снова слышал и довольное пофыркивание Воронка и неустанно воспевавшего весну жаворонка. Мир снова обрел звуки, запахи, живое дыхание... За поворотом Николай пустил Воронка крупной рысью, от хутора перевел его в намет и придержал только километра через полтора, в степи. И всадник и конь, остановившись, разом тяжело вздохнули.

«А ведь я мог его убить. Всего несколько минут назад. Вот так спешился бы, подошел вплотную, протянул руку и вместо рукопожатия схватил за горло. А через мгновение он уже лежал бы в грязи подо мною. И кто бы его отнял у меня? Кто вырвал из моих рук? На улице — никого. Пока спохватились бы люди... Я сильнее, намного сильнее его. Левой рукой прижал бы правую руку к земле, и все, конец! А потом?..»

Не в меру услужливая память тотчас же на короткое мгновение подсказала, как он лет двенадцать назад, еще будучи в институте, на вечеринке у однокурсницы едва не задушил оскорбившего его товарища. Тогда он разжал руки уже в беспамятстве, только после того, как сзади нанесли ему сильнейший удар по голове увесистой табуреткой... И вновь встало перед глазами красивое лицо Овражнего, его неуверенная, блуждающая улыбка...

Николай ощутил легкую тошноту, стянул с головы фуражку. Руки его стали влажными от пота.

С той поры он старательно избегал встреч с Овражним. Не надо было искушать судьбу. Нельзя было играть чужой и своей жизнью...

А неопределенность в семье словно бы прижилась и пустила корни. И только в первых числах июня невеселую эту жизнь встряхнула неожиданно полученная из Кисловодска телеграмма от старшего брата Николая. Ее вручили Стрельцову в конторе МТС утром. «Второго поездом двадцать два вагон семь буду станции встречай обнимаю Александр».

Не в силах сдержать радостной улыбки, Стрельцов несколько торопливее, чем обычно, вошел в кабинет директора, тихонько положил на стол телеграмму.

— Жду гостя, Иван Степаныч!

Из-под очков в металлической оправе директор удивленно взглянул на Николая.

— Неужели братец едет?

— Он самый.

— Так ведь у него же путевка вроде до половины июня?

Все так же улыбаясь, Николай развел руками:

— Похоже, что не выдержал режима, удрал до срока. Там в новину не очень-то приятно; а он, насколько я помню, на курорте впервые. Он всегда предпочитал вольный отдых, охоту, рыбалку.

Директор еще раз прочитал телеграмму, сунул очки в грудной карман старенького парусинового пиджака, удовлетворенно сказал:

— Ну, что же, молодец твой брат, Микола. Он правильно рассудил. У нас он и отдохнет лучше и сердце тишиной подлечит. На нашем степном полынном воздухе, я так разумею, не только сердце, но и всякую другую хворость с успехом можно лечить. Где-то я читал, что даже граф Толстой к башкирам ездил, воздухом лечился и кумыс пил. Ну насчет кумыса это еще как сказать... Пил я его в гражданскую войну у калмыков и так определил: решительно от него никакой пользы русскому человеку не может быть! Одна отрыжка в нос и в животе бурчание, а пользы ни на грош! Пил я из любопытства и парное кобылье молоко. Ты никогда не пробовал, Микола? Нет? И не пробуй. Голубенькая водичка, чуть сладит, пены много, а пользы от него или сытости тоже ничего не заметил, да и заметить невозможно, потому что ее нет.— Помолчал немного и для вящей убедительности добавил: — Конечно, одним воздухом, даже нашим, не прокормишься, но у нас вдобавок к воздуху не паршивый кумыс, а природное коровье молоко, неснятое, пятипроцентной жирности, яйца тепленькие, прямо из-под курицы, а не какие-нибудь подсохлые, плюс сало в четверть толщины, ну разные там вареники со сметаной, молодая баранина и прочее, да тут никакое сердце не выдержит и постепенно придет в норму. А если к этому добавить добрый борщ да по чарке перед обедом, то жить твоему братцу у нас до ста лет и перед смертью не икать! Правильное решение он принял — ехать к нам! Исключительно правильное!

Столько детски-наивной, простодушной убежденности было в словах пышущего здоровьем степняка, что Николай, уже откровенно посмеиваясь, сказал:

— Я тоже так думаю, Степаныч, а как насчет машины?

— Какой может быть разговор, бери ее утром и кати на станцию встречать.

— Тебе-то самому она не понадобится?

— Я и на лошадях съезжу в случае чего, а ты бери

машину. Братец-то генерал, да еще пострадавший, неудобно кое-как встречать. Скажи шоферу, пусть готовится, и езжай пораньше. Вези аккуратней, не растряси по нашим кочковатым дорогам, человек-то больной.

Спасибо, Степаныч!

Еще чего недоставало. С радостью тебя, Микола!

Еще раз спасибо. Радость, действительно, для меня большая. Девять лет не виделись.

Директор встал из-за стола.

— Я — в мастерскую, а у тебя какие планы?

— Надо предупредить своих, приготовиться к встрече. Разреши сегодня побыть дома.

— Само собой. Может, чем-нибудь помочь?

— Благодарю, все есть, управлюсь сам.

Потоптавшись около стола, директор подошел к Николаю вплотную, спросил почему-то шепотом:

— Он сколько просидел, Микола?

— Без малого четыре с половиной года.

Иван Степанович горестно сморщился. Потом решительно прошагал к двери, закрыл ее на ключ, жестом пригласил Стрельцова садиться, а сам так тяжело опустился на древнее, дореволюционного изделия креслице, что оно не заскрипело, а жалобно взвыло под ним. После недолгого молчания спросил:

— Как думаешь, почему брата освободили?

Стрельцов молча пожал плечами. Вопрос застал его врасплох.

— Ну все-таки, как ты соображаешь?

— Наверное, установили в конце концов, что осудили напрасно, вот и освободили.

— Ты так думаешь?

— А как же иначе думать, Степаныч?

— А я так своим простым умом прикидываю: у товарища Сталина помаленьку глаза начинают открываться.

— Ну, знаешь ли... Что же, он с закрытыми глазами страной правит?

— Похоже на то. Не все время, а с тридцать седьмого года.

— Степаныч! Побойся ты бога! Что мы с тобою видим из нашей МТС? Нам ли судить о таких делах? По-твоему, Сталин пять лет жил слепой и вдруг прозрел?

— Бывает и такое в жизни...

— Я в чудеса не верю.

— Я тоже в них не верю, но как-то надо нам объяснить этот случай с твоим братом? Раскусил же товарищ Сталин

Ежова? А почем ты знаешь, может, он и Берию начинает помаленьку разгрызать?

— Пойдем, я провожу тебя до мастерской. Не люблю по твоему разговаривать: то ты шепчешь, то переходишь на крик... Давай по пути в мастерскую кончим наш разговор.

— Плохой из меня конспиратор?

— Ни к черту! Нервный ты очень.

Директор, кряхтя, держась за поясницу, с трудом поднялся. К двери он шел слегка прихрамывая, негодующе бормоча:

— Наука гласит, что радикулит от простуды. Чепуха, а не наука! Тоже мне медики! Я вот как разволнуюсь, так он, этот треклятый радикулит, сразу в поясницу возле крестца вступает. Хоть стой, хоть падай. У меня на медицину свой взгляд, и пусть они мне голову не морочат. У меня все это имущество еще с гражданской войны развинтилось...

Они молча прошагали безлюдным коридором, через черный ход вышли на пустынный хозяйственный двор. По просторному двору, огороженному посеревшим штакетником, по раздавленной гусеницами тракторов присохшей траве потерянно бродил ветер. Он все время менял направление: то тихо веял с запада, то заходил с юга и тогда становился почему-то напористее, сильнее. С утра было прохладно. По блекло-синему небу одна-одинешенька плыла своим путем белая, как кипень, тучка. Из широко распахнутых ворот мастерской доносился шумок токарного станка. В кузнице стоял певучий перезвон молотков, поддержанный астматическим дыханием меха, и тут же, за штакетником, в густой заросли дикой конопли, словно подлаживаясь к звону молотков, яростно, неустанно бил перепел.

Посреди двора, возле колодца, Иван Степанович остановился. Они, не сговариваясь, присели на низкий колодезный сруб.

— Думаю,— сказал Иван Степанович,— что твой братец поначалу будет людей избегать, но это у него пройдет, утрясется.

— Александр — общительный парень. Во всяком случае, был таким,— раздумчиво проговорил Стрельцов.

— В том-то и дело, «был». А вот каким стал? И это увидим. Все дело в том — одного ли его выпустили? Уж он-то наверняка знает. Вот почему, Микола, приезд твоего брата и для меня праздник. Может, следом за ним и другие,

кто зазря страдает, на волю выйдут, а? Что ты на этот счет думаешь, Микола?

- Я бы хотел знать, а не строить догадки...

— Вот именно, знать. Не может же быть, чтобы одного его выпустили.

— А почему бы и нет? Возможно, и одного. Степаныч, подождем приезда Александра. Ничего мы с тобой не знаем, и нечего нам впустую гадать.

Иван Степанович по-женски всплеснул куцыми сильными руками.

— Как это нечего? Да у меня, пока я твоего братца дождусь, голова от думок треснет! У меня вот уже сию минуту начинают нервы расшатываться и радикулит стреляет в поясницу. Еще не известно, как я с этого сруба встану, может, на карачках придется до мастерской полэти... Ты, как только отдохнет брат, сразу разузнавай у него, что и как. Он в Москве был, он должен знать, что там, в верхах, думают. Походи возле него на цыпочках, осторожненько, с подходцем, а все как есть разузнай и выведай.

Стрельцов просительно сказал:

— Не сразу. Дай ему отдышаться. Понимаешь, Степаныч, ему больно будет обо всем этом говорить. Тут нужен такт, осторожность нужна...

— Ну, брат, ты меня убил с ходу! «Такт, осторожность, ему больно будет»... А мне и другим не больно правды не знать? Братец ты мой, Микола!

— Все это понятно!

— Ничего тебе не понятно! Ты меня весной как-то на собрании принародно попрекнул, что вот, мол, Иван Степанович трусоват, он, мол, робкого десятка, и пережога горючего боится, и начальства побаивается, и всего-то он опасается... Может, ты и прав: трусоват стал за последние годы. А в восемнадцатом году не трусил принимать бой с белыми, имея в магазинной коробке винта одну-единственную обойму патронов! Не робел на деникинских добровольческих офицеров в атаку ходить. Ничего не боялся в тех святых для сердца годах! А теперь пережога горючего боюсь, этого лодыря Ваньку-слесаря праведно обматить боюсь, перед начальством трепетаю... Пугливый стал! Но это одесская шпана сделала смешными наши слова: «За что боролись!» Я знаю, за что я боролся! Встречусь я с твоим братом, так я с ним не о природе и не о наших задачах по сельскому хозяйству буду говорить. Никаких тактов мне не надо, будь они трижды прокляты, мне

надо знать, что в Москве происходит, что там, в верхах, думают и чем дышат. Неужели в войну с фашистами влезем, а до этого в своем доме порядка не наведем? Но ты сам оглядись возле братана, а мне потом подскажешь. Тебе, конечно, с родственного бугра виднее.

Иван Степанович со сдержанным рычанием поднялся, долго тер кулаком поясницу, на прощание сказал:

— Разволновался я с тобой окончательно, раскачал нервишки, а теперь этот треклятый радикулит меня прижмет по всем правилам военного искусства. Ехать надо в колхоз имени Берия, а как я поеду? Стыдно, но придется у жены какую-нибудь завалящую подушку просить, под сахарницу подкладывать, иначе не усижу на дрожках.— И тяжело вздохнул: — А ведь воякой был, да еще каким лихим, голыми руками меня не бери, обожгешься! Господи боже мой, и на что этот колхоз именем Берия назвали? Ну, кому это нужно, и какой тихий дурень это название придумал? Главное, для чего? Нервы расшатывать тем, кто ни за что ни про что в его хозяйство попадал? И колхоз хороший, и люди там добрые трудяги, и едешь туда, и от одного названия тебя мутить начинает хуже чем с похмелья... Мастера мы всякие крендели выкручивать, ох, мастера, язви его в печенку! Ну, я пошел, Микола! Жду от тебя весточки.

* * *

Николай Стрельцов приехал на станцию за час до прихода поезда. Было около девяти утра. Недавно прошел легкий дождь, и на путях пахло не так, как обычно: не только дымом от паровозных топок, мазутом и размытым угольным шлаком, но и каким-то домашним, земным запахом прибитой дождем пыли, смоченной травы, а от сложенных возле красного пакгауза огромных штабелей свежих досок так головокружительно нанесло вдруг сосной, смолистым духом подпаренной древесины, что Николаю на миг почудилось, будто идет он по сосновому бору в знойный полдень, а шипение маневрового паровоза зазвучало, как шум вековых мачтовых сосен. Николай на минуту остановился и даже глаза закрыл, с наслаждением вдыхая запах сосны, тихо улыбаясь далекому детству, неотвязным воспоминаниям. Ведь как-никак, а родился он и до восьми лет прожил на лесном кордоне в далекой Вологодской губернии. И вот оказывается, что даже четверть века, долгие

годы жизни на степных просторах юга России не могли вытравить цепкой привязанности к аромату леса, к бодрящему и милому запаху сосны... «Странно устроен человек», — подумал Николай, взбираясь на платформу и еще раз оглядываясь на бледно-золотые штабеля досок по ту сторону путей. Сейчас на них светило выглянувшее из-за туч солнце, и верхние, потемневшие от непогоды, шероховатые доски курились легким паром, источая устойчивый, далеко расплывающийся запах смолья, уютный запах будущих хозяйственных построек, оседлой жизни.

Накануне вечером Николай, постучавшись, зашел к Ольге в спальню. Она убирала волосы перед сном, стояла спиной к двери. Николай как-то сразу увидел ее слегка похудевшую шею, резко затененные трогательные впадины возле крохотных ушей. Тщетно стараясь подавить непрошеное чувство жалости, он очень тихо сказал:

— Я хочу просить тебя, Ольга, об одном: приедет Александр, и ты сделай все, чтобы он не заметил... не заметил, что между нами...

Она стремительно повернулась к нему лицом. Страдальческая улыбка тронула ее губы. Снизу вверх она испуганно взглянула на Николая, прошептала:

— Я постараюсь, Коля, вот как только ты... сумеешь ли ты сдержаться?

Николай кивнул головой, вышел, тихо притворил за собой дверь.

А теперь он ходил по безлюдной платформе, курил, вспоминал вчерашний разговор с женой, ее вымученную, жалкую улыбку и, стискивая зубы, чувствовал, как сердце его разрывается от жалости к прежней Ольге, от огромной человеческой боли.

С тяжким, давящим грохотом прошел товарный состав, влекомый паровозом ФД. На платформе долго еще стоял маслянистый жар, оставленный мощным телом паровоза. Потом показался скорый.

На этой маленькой станции сошло всего лишь несколько пассажиров.

Николай торопливо шел от конца платформы. Возле седьмого вагона стоял человек среднего роста, с широкими прямыми плечами. Он высоко поднял над головой темную фетровую шляпу. Худое, бледное лицо его морщинилось улыбкой, и, как кусочки первого ноябрьского льда, сияли из-под белесых бровей ярко-синие, выпуклые влажные глаза.

Николай шел размашистым шагом, а потом не выдержал и побежал, как мальчишка, широко раскинув для объятия руки.

• • •

С приездом гостя за каких-нибудь два дня круто изменилась жизнь в семье Стрельцовых. Ольга заметно оживилась, повеселела, почти не выходила из дому, с прежним рвением помогая Серафиме Петровне в стряпне и других хозяйственных хлопотах. Даже к маленькому Коле вернулась временно утраченная детскость: два дня он не отходил от дяди Саши, неотступно сопровождая его в прогулках по Сухому Логу, по вечерам не ложился спать до тех пор, пока не выслушивал очередной, приспособленный к его восприятию рассказ бывалого дяди Саши о гражданской войне, слушал, не сводя зачарованных глаз с лица рассказчика, а потом долго лежал в кровати, с широко раскрытыми глазами и счастливой мечтательной улыбкой. На вторую ночь перед сном он забрался в кровать к Серафиме Петровне, жарко зашептал ей на ухо:

— Бабуля, дядя Саша, между прочим, говорил сегодня, что полководец Жлоба был рябой. Разве настоящий полководец может быть рябой?

От природы смешливая, всегда готовая улыбнуться веселому, Серафима Петровна затряслась от сдерживаемого смеха.

— Ох, Коленька! Ну, почему же не может? Рябыми все могут быть, никому не заказано.

— А я думал, что рябые только разбойники бывают,— разочарованно протянул Коля и побрел к своей кроватке, осмысливая новое для него открытие в жизни.

Через минуту он обиженно проговорил:

— И нечего смеяться, и не трясись, пожалуйста, под своим одеялом. Ты койку трясешь, а я уснуть не могу. Ты вздорная женщина!

— О господи! Это еще откуда ты взял? — задыхаясь, спросила Серафима Петровна.

— Мы вчера шли с дядей Сашей в мастерскую, а какая-то женщина ругала соседку неприличными словами. Дядя Саша мне сказал: «Не слушай ее, она вздорная женщина». Вот и ты такая же вздорная.

— Но ведь я же не ругаюсь, Коленька?

— Зато смеешься ночью, когда никто не смеется,

и заснуть мне не даешь. Вздорная ты, бабуля! — И уже полусонным голосом продолжал, медленно и вяло выговаривая слова: — А рябые — все разбойники, я точно знаю. Вот дядя Василий, плотник, ты знаешь, он тоже рябой. Я у него спросил, когда он в школе забор чинил: «Дядя Вася, вы, когда были молодым, вы были разбойником?» Он говорит: «Еще каким! Особенно по женской части». Я у него спросил: «Это как «по женской части?» А он говорит: «Женские монастыри грабил, монашек разорял». И больше ничего не сказал, только усы разглаживал и смеялся глазами, потом набрал в рот гвоздей и совсем перестал со мной разговаривать, начал доски прибивать. За два раза гвоздь по самую шляпку забивал, вот как! Он хотя и был разбойником, но хороший дядька. Он всегда глазами смеется и никогда не ругается, как ты говоришь, черным словом. Он один раз при мне очень сильно прибил палец молотком и только сказал: «Ах, мать твою бог любит!» Бабуля, это приличное ругательство или неприличное? Ты слышишь, бабуля, или ты спишь?

Серафима Петровна, не отвечая, молча уткнулась лицом в подушку, а когда вволю насмеялась,— мальчик уже тихо посапывал во сне.

Событием огромной важности для него стала поездка на автомашине в районный центр, куда дядя Саша ездил, чтобы стать на партийный учет в райкоме партии. Там, в райцентре, они на равных закусывали в столовой, причем если дядя и шофер выпили только по одной рюмке водки, то на долю маленького Коли пришлась целая бутылка лимонада, напитка, о котором в Сухом Логу никогда и слыхом не слыхали.

Из поездки они вернулись закадычными друзьями. Мальчишеская любовь и привязанность были без особых стараний надежно завоеваны добродушным и веселым дядей. И когда за ужином Коля сказал: «Я думаю, дядя Саша, переселиться от бабушки к тебе. Ты все-таки мужчина, мне с тобой, пожалуй, будет удобнее спать»,— Ольга вспыхнула, в ужасе воскликнула: «Коля! Да как же ты смеешь обращаться к дяде на «ты»? Сейчас же извинись, негодный мальчишка!» Но Александр Михайлович немедленно пришел на выручку своему другу: «Что вы, Олечка, мы перешли с ним на «ты» по обоюдному согласию. Нам в постоянном общении так проще».

Ничего не скажешь, умел старый солдат — общительный и простой — подобрать ключик к каждому сердцу: Ольгу он покорил вежливой предупредительностью, не-

мудреными комплиментами и плохо скрытым восхищением ее красотой. Она отлично видела, как он втайне любуется ею, и тихонько гордилась и даже немного кокетничала с ним, так, самую малость, в пределах родственных отношений. Серафима Петровна, сраженная простотою и офицерской услужливостью гостя, была прямо-таки потрясена, когда он обнаружил в передней под вешалкой ее разорванную туфлю и так искусно зашил, что впору бы и самому хорошему мастеру обувного цеха. Для этого маленький Коля раздобыл у соседа-сапожника шило и тонкую дратву, а починку они произвели, скрываясь ото всех на конюшне.

Николай только улыбался про себя, глядя на то, как брат преуспевает и с диковинной быстротой становится в доме своим человеком.

— Где ты, Саша, выучился сапожному мастерству? — спросил он, разглядывая тещину туфлю.

— В лагере,— коротко ответил Александр.— В Академии имени Фрунзе нас этому не обучали, а вот в другой академии за четыре года я многое постиг: могу сапожничать, класть печи, с грехом пополам плотничаю. Нет худа без добра, браток! Только тяжело доставалась эта наука в тамошних условиях...

В комнату вошла Серафима Петровна, и разговор прервался.

* * *

В субботу рано утром Александр Михайлович и маленький Коля ушли на речку с удочками. Через два часа они вернулись, торжествующие, гордые успехом, потребовали у Серафимы Петровны большую эмалированную чашку и молча, с истинно рыбацким достоинством высыпали из садка груду живых, трепещущих пескарей.

— Любезная Серафима Петровна! Здесь этих милых рыбок ровным счетом шестьдесят три штуки. Если их почистить, зажарить на сковороде на коровьем топленом масле, чтобы они прожарились до хруста, а затем залить их десятком яиц,— то лучшего завтрака не придумаешь! Это мечта всех порядочных рыболовов! — сказал Александр Михайлович.

В конце завтрака, когда маленький Коля незаметно улизнул из-за стола, Александр Михайлович долго смотрел на Серафиму Петровну смеющимися глазами, постукивал по столу пальцами, озорно улыбался.

— Чему это вы, Александр Михайлович, посмеиваетесь? — невольно краснея, спросила Серафима Петровна.

— Я не посмеиваюсь, а просто счастливо и, может быть, немножко глупо улыбаюсь, глядя на вас. И думаю: до чего же вы смолоду были, очевидно, победительной женщиной! На вас и сейчас-то не налюбуешься, а что же было лет двадцать назад? Мужчины, наверное, падали навзничь?

— Смолоду и вы, Александр Михайлович, были, наверное, хват-парень...

— Не пришлось, матушка, побыть хватом, не успел, война все скушала!

— Так уж и все?

— Вчистую! Помилуйте, двадцати лет пошел в царскую армию, четыре года мировой войны, потом — гражданская война, потом всякие банды и бандочки, потом женился. Когда же мне было проявлять свою прыть? Вот вы — другое дело. Вы рано овдовели...

— Двадцати одного года.

— В двадцать один год и вольная казачка!

— Хороша вольная! А двое малых детей на руках осталось, это как? Какая уж там вольная! Скорее подневольная.

— В каком году вы овдовели?

— В восемнадцатом.

— Боже мой, как же я вас не встретил в те баснословные года? А ведь я с полком проходил через ваш Мариуполь.

— Значит, не судьба,— притворно вздохнула Серафима Петровна. И молодо рассмеялась.— А если бы и встретили, что толку?

Александр Михайлович в наигранном удивлении поднял белесые брови:

— Как это что толку? Встретил бы и покорил.

— Так уж и покорили бы?

— Как бог свят! Накинул бы на вас бурку, сказал «моя!» — и баста!

— Самонадеянностью вас бог не обидел, а ведь я тогда проворная была, так бы из-под вашей бурки и выскользнула!

— Извините, Серафима Петровна, не так бы я ее накинул, чтобы вы соизволили выскользнуть. Ведь тогда я был огонь-парень. Это теперь головешкой от костра стал... Представьте на минутку двадцатичетырехлетнего командира полка: сапоги с маленькими офицерскими шпорами, с малиновым звоном, красные суконные галифе, кожаная

куртка, слева — шашка с серебряным темляком, справа, наперекрест,— маузер на ремне, в деревянной колодке, папаха слегка заломлена, в глазах — синий пламень... Блеск! Неотразимость! И никакой пощады прекрасному полу! Пройдешься по улице этаким чертом в кавалерийскую развалочку, и встречные барышни — глазки долу, из боязни опалить их, и только нежные вздохи несутся тебе вослед... А некоторые того....

— Что это означает «того»? — Серафима Петровна, облокотившись о стол, смотрела на собеседника мокрыми от смеха глазами, полные румяные губы ее дрожали в неудержимой улыбке.

— То есть как это что означает? Полуобморочное состояние, вот что! А в отдельных, особенно тяжелых, случаях шок, ни больше и ни меньше. Мы в то время шутить не умели, дорогая Серафима Петровна! Я вот и теперь иногда встречаю женщин моего возраста и моложе с невыплаканной печалью во взоре и невольно думаю: «Вот и еще одна жертва гражданской войны и собственной неосторожности. В молодости посмотрела пристально, чересчур пристально на такого молодца, каким, скажем, был я, и, пожалуйста, готова,— сердце разбито навеки и вдребезги!» Все это даром для вашего брата — женщин не проходит, нет, не проходит. Так как же вы смогли бы уцелеть, если бы встретились тогда со мною?!

— Хотя я и неверующая, но думаю, что не иначе святая Варвара — покровительница слабых женщин — уберегла меня. Не встретилась же, вот и уцелела!

— И зачем этой Варваре нужно было путаться в наши дела? Кто ее просил? Ох, уж эти мне женщины, хотя бы и святые! Из-за нее, оказывается, все и пропало!

Александр Михайлович сжал лысеющую голову обеими руками, стал горестно раскачиваться, восклицая в нарочитом отчаянии:

— Все погибло, и Варвара всему виной! Никакая она не святая, а типичная разрушительница чужого счастья и к тому же завистница! Боже, как мелки в своих чувствах женщины, даже святые!

— Александр Михайлович, миленький, перестаньте! Я больше не могу! — задыхаясь от смеха, плачущим голосом просила Серафима Петровна.

Ольга, тихо улыбаясь, вслушивалась в игривый разговор расходившихся стариков, а Николай тем временем в коридоре приглушенно говорил в телефонную трубку:

— ...молчит... Пока ничего не было. Степаныч... Я тоже

так думаю. Ну, подожди. Немедленно расскажу. Ну, будь здоров.

Женщины ушли управляться по хозяйству, а братья все еще сидели за столом, пили крепчайшей заварки чай, по-старинному, вприкуску, обливаясь потом, вели неторопливый разговор.

В распахнутые окна дул теплый ветер. Он парусил, качал тюлевые занавеси, нес в комнату оставшийся еще с ночи тонкий смешанный запах петуний, медуницы и ночной фиалки, росших под окном, и грубоватую горечь разомлевшей под солнцем полыни со степного выгона, подступившего к самому двору. Где-то под потолком на одной ноте басовито гудел залетевший шмель. Тоненько и печально поскрипывали оконные ставни.

Александр Михайлович, перед тем как встать из-за стола, долго и молча смотрел на Николая затуманившимися глазами, потом тихо проговорил:

— Смотрю на тебя, Коля, и диву даюсь: до чего же ты похож на маму! Та же улыбка, та же манера поводить плечами и вздергивать голову, когда тебе противоречат, тот же рисунок бровей, глаза... Только вот глаза у тебя изменились, погрустнели как-то твои черные — мамины — глаза... Взрослеешь, что ли?

— Пора. Расколол уже четвертый десяток и не заметил как... Совсем не заметил, Саша! Годы — все мимо, как во сне!

Николай отвернулся к окну и — то ли от мягкого, задушевного тона, каким были сказаны слова старшего брата, то ли от внезапно резнувшего сердце воспоминания о покойной матери — вдруг почувствовал, как когда-то в детстве, нестерпимую жалость к себе. И оттого ли, что действительно уже ушла за далекий степной горизонт, потонула в голубой дымке молодость, оттого ли, что непоправимо рушилась семейная жизнь,— это короткое, как ожог, чувство боли было так остро, что Николай ощутил на глазах жаркие слезы и, устыдившись их, устыдившись своей детской чувствительности, бодро сказал, все же не поворачивая от окна головы:

— Хватит о невеселом! В такое утро о грустном не говорят. А ты знаешь, как раз накануне твоего приезда была девятая годовщина маминой смерти... Ну, и хватит!

Заметив его волнение, спохватился и Александр Михайлович:

— А и правда, братик, не ко времени затеял я этот разговор. Но ведь, черт их дери, эти воспоминания, они

приходят, не считаясь с твоим настроением, в любое время суток, как зубная боль. Что же ты не сказал насчет годовщины, когда и приехал? Ну, понимаю, хватит. Слушай, Коля, а не закатиться ли нам сегодня на серьезную рыбалку? Что-то пескари меня вздразнили. Ты говорил, что где-то километрах в десяти есть глубокий омут. Может, туда махнем с ночевкой? Нам бы хоть десятка два окуней наловить и ушицы сварить на берегу... Как ты на это смотришь, Коля?

— А я так смотрю: до двенадцати — сборы, затем запрягаю в дрожки Воронка — и айда.

— Это мне нравится! Чем я могу тебе помочь?

— Единственно тем, что не будешь мешать мне собираться.

— Это мне еще больше нравится. Не забудь, подкинь мне какие-нибудь свои старенькие штаны. Не в костюме же ехать на рыбалку.

— Будет исполнено. Да! Разыщи Николашку, и наройте с ним навозных червей. Он знает, где их добыть. И, пожалуйста, не потакай ему во всем, его с собой не возьмем, ночью комары его там заедят.

— Коля, червей мы нароем и парня отговорим от поездки, но зачем отправляться в самую жарищу?

— Ухи хочешь? Ну, так надо ехать пораньше, чтобы сварить рыбу засветло и не возиться с ней в потемках.

— Резонно. Едем, невзирая на жару. Ради ухи из окуней согласен на любую жертву. Нам их и надо всего лишь десяток изловить. Неужто не осилим эту задачу? Пообещай мне тарелку хорошей ухи, и я пешком уйду!

К двум часам пополудни они были уже у реки. Николай выпряг и стреножил Воронка, уложил в кошму все рыбацкое имущество, предложил:

— Пойдем, посмотришь на плес. Называется он Пахомова яма. Старик Пахом когда-то, при царе Горохе, утонул тут, в память этого события и яму назвали его именем. Плес тебе понравится, уверен.

Увязая по щиколотку в сыпучем песке, с трудом продираясь сквозь заросли кустов белотала-перестарка, они спустились по пологому откосу к неширокой песчаной косе.

Перед ними лежала, словно в огромной, врезанной в землю раковине, зеркальная водная гладь метров шестидесяти шириной. Противоположный берег плеса был обрывист, крут, по верху его вплотную к самому обрыву подступал старый, не тронутый ни порубкой, ни прочисткой

смешанный лес: невысокие, но кряжистые, в два-три обхвата, дубы, карагачи, вязы вперемежку с дикими яблонями, вербы, тополя и осины,— все это буйное смешение лиственных деревьев с густейшим подлеском зубчатой грядой тянулось вверх и вниз по течению реки, а вдали, на границе с холмистой степью, высоко взметнув вершины, ловя верховый ветер, величаво высились осокори и ясени с могучими, похожими на мраморные колонны бледно-зелеными стволами.

Прямо напротив спуска к реке лес разделялся широкой прогалиной. Посредине одиноко красовался древний вяз с такой раскидистою кроной, что в тени ее свободно разместилась отара — голов в триста — овец. Угнетенные послеполуденным зноем, овцы, разделившись на несколько гуртов, теснились вкруговую, головами внутрь, изредка переступая задними ногами, глухо пофыркивая. Даже на этой стороне был ощутим резкий запах овечьего тырла.

Неподалеку от вяза на солнцепеке, опершись обеими руками на костыль, недвижно стоял седобородый пастух — старик, с головою, повязанной выгоревшей красной тряпицей, в грязных холщовых портах, в длинной до колен, низко подпоясанной рубахе.

Что-то древнее, библейское было в этой живописной картине: вяз патриаршего возраста, старик пастух с овцами, не тронутый человеческою рукою первобытный лес и дремучая тишина, изредка прерываемая посвистом иволги да воркованием горлинки,— все это как бы сошло с полотна старинного художника и воплотилось в жизнь, озвученную и неповторимо красочную.

Взглянув на Николая блестящими глазами, Александр Михайлович прошептал:

— Коля, да ведь это — как в сказке! Черт возьми, никогда не думал увидеть такое...

— Хорошее место,— просто сказал Николай.— Давай сносить к воде пожитки, рыбалить и ночевать будем на той стороне.

— А где же лодка?

— Затоплена, сейчас пригоню ее. Не разувайся, песок очень горячий, не выдержишь.

— Да что ты, брат, по такому девственному песку, где нога человечья еще не ступала, и в обуви? Не могу, это — кощунство!

Он присел на песок, проворно стащил полуботинки, носки, с наслаждением пошевелил пальцами. Потом, после некоторого колебания, снял штаны. Иссиня-бледные, дряб-

лые икры у него были покрыты неровными темными пятнами. Заметив взгляд Николая, Александр Михайлович сощурился:

— Думаешь, картечью посечены? Нет, тут без героики. Эту красоту заработал на лесозаготовках. Простудил ноги, обувка-то в лагерях та самая... Пошли нарывы. Чуть не подох. Да не от болячек, а от недоедания. Давно известно, «кто не работает, тот не ест», вернее, тому уменьшают пайку, и без того малую. А как работать, когда на ноги не ступишь? Товарищи подкармливали. Вот где познаешь на опыте, как и при всякой беде, сколь велика сила товарищества! А нарывы, как думаешь, чем вылечил? Втирал табачную золу. Более действенного лекарства там не имелось. Ну, и обошлось, только до колен стал как леопард, а выше — ничего от хищника, скорее наоборот: полный вегетарианец. Надеюсь, временно...

Опираясь обеими ладонями на песок, слегка откинувшись назад, Александр Михайлович смотрел на Николая снизу вверх, улыбался. И так не вязалась его простодушно детская улыбка с грубоватым юмором, что Николай только головой покачал.

— До чего же неистребим ты, Александр! Я бы так не мог...

— Порода такая и натура русская. Притом — старый солдат. Кровь из носа, а смейся! Впрочем, Коля-Николай, и ты бы смог! Нужда бы заставила. Говорят же, что не от великого веселья, а от нужды пляшет карась на горячей сковороде... Ну, нечего дорогое время терять, пошли, а то и на уху не наловим. Нет, это невозможно! Такой плес, и чтобы без ухи остались? Пошли. Хоть мелочишки бы наскрести на ушицу, хоть на самую скудную! Нам пяток окуньков, и хватит. Я, братец, десять лет настоящей ухи не хлебал.

— На добрую уху ты один должен наловить.

— А ты где же будешь? В свидетелях?

— Мне надо заготовить дровишек на ночь, стан оборудовать, словом, я — по хозяйственной части, а ты — обеспечиваешь рыбой. У тебя три часа времени, уху надо сварить засветло, так что все от твоего старания зависит...

— Коля, один я не смогу,— умоляюще проговорил Александр Михайлович.— Ради бога, давай вдвоем ловить, иначе останемся на одном чаю. Я не могу ручаться за успех, а ты опытный рыбак. Нет, только вдвоем! И потом, мы не можем так безрассудно рисковать. Я видел, как Серафима Петровна положила в корзинку хлеб, картошку, укроп, лук

решчатый и зеленый, даже пол-литра водки она, добрая душа, выдала нам. Не хватает для ухи сущего пустяка — рыбы, и вдруг ты все подвергаешь ненужному, глупому риску. Я же один ни черта не поймаю!

Николай был непреклонен:

Хочешь ухи — добывай рыбу. У меня без этого забот хватит. Надо еще к завтрашней заре ракушек-перловиц ведро натаскать.

— А это для чего?

— Для сазанов.

— Коля, это — эфемерная штука, сазаны. Их может не быть, а без ухи мы быть не можем. На кой черт нам журавль в небе, если нужна синица, а она почти в руках.

— Вот и бери ее, эту синицу. И вообще не хнычь. Генерал, а хнычешь. Должен наловить — значит, лови. Рыбы тут, как в садке, а ты ноешь. Переедем на ту сторону, и я поймаю тебе штук десять верховочек. Режь каждую на три части, окунь охотнее берется на головку и хвостик. Целиком рыбку не насаживай, приманишь щуку, и — прощай, крючок! Глубина там с лодки — четыре маховых, то есть шесть метров. Неподалеку, чуть подальше заброса,— карша, огромный вяз. Он весь под водой. Пристанище окуней. Забрасывать будешь так: излишек лесы — удилище-то трехметровое — соберешь в левую руку кругами, правой — от себя, снизу вверх бросок, и леса несет насадку на всю длину. Грузило, ты увидишь, небольшая картечина, сигарообразная форма придана ему для того, чтобы не блюкало при забросе.

— Это наставление надолго? — нетерпеливо спросил Александр Михайлович.

Но Николай, не обращая внимания на вопрос, продолжал:

— Да к тому же легкое грузило не увлечет за собой леску. Клев определишь по кончику удилища. Поплавков не положено, будут мешать при закидывании. Вот тебе перочинный нож резать верховку, он же пригодится в случае заглота наживки. Ну а теперь — за дело. Что касается наставления — извини, но без него ты и леску не сумеешь забросить. Знаю я этих городских рыбаков-дилетантов!

На той стороне плеса Николай вырыл веслом в песке углубление под обрывом, вытащил нос лодки так, что корма низко осела, сказал:

— Ни жучка тебе, ни чешуйки! Подложи вот этот брезентовый плащ на корму, чтобы удилища не стучали, когда будешь класть их. Подержи предварительно в воде

минут пять, чтобы замокли. Гибь у них появится отличная! Позднее я приду тебя проведать. Садок привяжешь к гвоздю. Он вбит справа по борту.

Два раза леса в руках Александра Михайловича при закидывании завязывалась замысловатыми узлами. Шепотом чертыхаясь, он подолгу возился с распутыванием, наконец, на третий раз, леса вытянулась, тихо чмокнуло удлиненное грузило, гибкий кончик березового удилища согнулся и выпрямился — грузило легло на дно.

Жара не спадала. Из-под полей старенькой соломенной шляпы по лбу и шее Александра Михайловича беспрерывно катился пот. Капельки его щекотали раковины ушей, холодили под рубашкой спину, но упрямый рыбак только головой встряхивал, а правой руки с комля удилища не снимал.

Не было ни малейшего дуновения ветерка. Редкие тучки еле двигались в накаленной бледной синеве небес. Зеленоватая вода казалась густой, как подсолнечное масло, лишь медленно проплывавшие по ее поверхности соринки указывали на слабенькое течение. Пряно пахло нагретыми водорослями, тиной, прибрежной сыростью.

Вторую удочку Александр Михайлович разматывать не стал, чтобы не рассеивалось внимание. Клева не было. Уже третью папиросу выкурил рыбак, уже несколько раз отчаяние сменялось у него надеждой, а надежда снова покорялась отчаянием. Кончик удилища был так мертво недвижим, что зеленые и желтые стрекозы безбоязненно присаживались на него отдохнуть. Глухая тишина не нарушалась, а как бы подчеркивалась монотонным напевом удода, далеким и горестным голосом кукушки. Время шло, и сладостная дрема стала одолевать Александра Михайловича. Он уже хотел было махнуть рукой на ловлю, растянуться на носу лодки и уснуть, но тут кончик удилища резко качнулся, а затем, судорожно содрогаясь, зарылся в воду. Александр Михайлович вскочил так порывисто, что едва не зачерпнул в лодку воды. На конце лесы тугими толчками рвалась в глубину крупная рыба. Легкое удилище согнулось вдвое. Кое-как дотянувшись до лесы рукой, Александр Михайлович бросил удилище в лодку и уже пальцами и всей рукой остро почувствовал бурное сопротивление добычи. Крупный, около килограмма весом, окунь показал широченный полосатый бок, ушел под лодку. С усилием подтягивая лесу, донельзя взволнованный, счастливый рыбак все же вырвал его из воды. Окунь забился на влажном днище, гулко зашлепал хвостом. Осторожно придавив к

свое воинственно поднятый спинной плавник, крепко стиснув возле головы еще хранящее холодок глубинных вод тело красивой, упругой рыбы, Александр Михайлович вынул из ее пасти крючок, бережно опустил окуня в плетеный из хвороста круглый садок и только тогда увидел, как мелко дрожат руки. Вытирая ладони о парусиновые штаны, дивясь своему волнению, он долго улыбался, не спешил забросить удочку, курил и все искоса поглядывал на садок, в сумеречной зеленой тьме которого кругами ходил окунь, изгибая литую толстую спину.

«Еще бы пяток таких красавцев, и уха обеспечена! Да какая уха!» — с восторгом думал Александр Михайлович, снова наживляя и забрасывая удочку.

Минут через пять кончик удилища мелко задрожал, чуть наклонился к воде. После подсечки окунишка величиной с карандашный огрызок покорно пошел к лодке. Александр Михайлович только крякнул, разочарованно глядя на жалкую поживу. Он хотел было выпустить окунька, но пришла на ум поговорка: «Ловим не на вес, а на счет» — и окунек тоже очутился в садке.

Стало прохладнее, солнце закрыла продолговатая туча. Потянул ветерок, и клев участился. Еще один крупный, на килограмм с лишним, окунь долго ходил в темной загадочной глубине, брал лесу на растяжку, упорно, сильно давил книзу, и Александр Михайлович, шепча немыслимые ругательства, все тянулся левой рукой и никак не мог захватить лесу. Окунь сорвался уже в лодке и так высоко подпрыгнул, что едва не очутился за бортом. И снова Александр Михайлович ощутил непривычную дрожь в руках и щемящее радостное волнение.

Время остановилось. Слезящимися глазами он следил за кончиком удилища. Очень хотелось курить, но некогда было достать из кармана папиросы. Шел средний окунь. Брал уверенно и жадно. После того как сорвался первый, крупный, судя по сопротивлению,— сходы пошли один за другим. Четвертый окунь сошел с крючка, чуть не приткнувшись к борту лодки. Секунду ошалело стоял у самой поверхности воды, потом сверкнул зеленой молнией, растворился в глубине.

— Нет, без подсачка ловить — мальчишество! — вслух хрипло сказал Александр Михайлович и с досадой плюнул на то место, где только что стоял окунь.

После двухчасового воздержания с наслаждением закурил, распрямил спину. Сзади неслышно подошел к обрыву Николай, долго смотрел на брата, тихо посмеиваясь.

— Ты в этом соломенном бryле, Саша, удивительно похож на старого деда-бахчевника. И сидишь-то по-стариковски, горбишься, будто тебе все восемьдесят лет.

— Что же, я и на рыбалке должен соблюдать строевую выправку? Ты почему не спросишь, сколько я поймал? Я превзошел самого себя, если хочешь знать! Я недооценил свои способности! Изволь, любуйся.

Николай, тормозя каблуками, скатился с глинистого обрыва, ступил в лодку. В вытащенном из воды садке с влажным шуршанием затрепыхались окуни.

— На очень изрядную уху,— явно желая польстить брату, сказал он.— Сколько счетом? О, да тут два отличнейших горбача!

— Двадцать три хвоста! И несколько штук сорвалось. Почему у тебя нет подсачка для такой рыбы? Это же вопиющее безобразие! Леса длинная, приходится брать ее в руку, и сходы — один за другим.

— Я такую рыбу не ловлю, я с такой мелочью не связываюсь, а крупный черпак для сазанов есть. Не жадничай, Саша, хватит и этого улова. Сматывай удочку, и пошли варить уху. Говорил же тебе, что здесь рыбы, как в садке.

Александр Михайлович с хрустом потянулся, сказал:

— Ты не поверишь, Николай, какое наслаждение я испытал за сегодняшний день. Давно я так не радовался и не волновался! Знаешь, просидел четыре часа, не разгибаясь, а время прошло с начала клева, как четыре минуты. На какие-то часы я вернулся в детство, и какое это блаженство, если бы ты знал! Ни одной мыслишки в голове, ни проблеска воспоминаний... Ты не представляешь, как ты меня порадовал этой поездкой. Иди сюда, я тебя обниму, свирепый ты мой чеченец!

На закате солнца они плотно поужинали рыбой и превосходной ухой. Под разварного окуня Александр Михайлович выпил рюмку водки. От второй решительно отказался.

— Брат, ты меня не приневоливай. Раньше я мог много выпить и быть не очень хмельным, а теперь не то... Да у меня и без водки так хорошо на душе! Давай лучше поговорим. Надо же мне рассказать тебе мою одиссею. Налей мне чашку чаю, покрепче.

От воды потянуло сыростью. Заметно похолодало. На западе, за приречными вербами погорела заря. Синяя тьма надвигалась с востока. Лишь одинокое облачко в зените,

подсвеченное снизу солнцем, сияло таким нежнейшим опаловым светом, что Николаю почему-то до боли грустно было на него смотреть.

В кустах несмело защелкал соловей. Александр Михайлович сидел возле потухшего костра, помешивал прутиком золу, искал уголек прикурить от живого огня. На минуту прислушался к затянувшемуся соловьиному щелканью, сказал:

— Молодой, не распелся еще, не выучился как следует. — Помолчал, почмокал губами, раскуривая отсыревшую папиросу.— Вот так и вы, молодые, во всяком случае — некоторые из вас, еще не приобретете жизненного опыта, а уже беретесь судить обо всем, даже о том, чего еще как следует не осмыслили, не продумали до скрытой глубины, ну, и поете с чужого голоса, щелкаете, как вот этот соловейко, а настоящего пения не получается... Пришлось недавно мне говорить с одним таким щелкуном. Он так рассуждал: что, мол, в ваше время, в революцию, было? Все просто, до примитива: «Земля — крестьянам, фабрики — рабочим». А в жизни, в классовой борьбе, дескать, все значительно сложнее. Слов нет, жизнь — сложная штука, но этому «примитиву» — «земля — крестьянам, фабрики — рабочим» — предшествовала и вековая борьба революционеров и десятилетия огромнейшей работы нашей партии, работы, стоившей жертв, да каких жертв!

Знаешь ли, в двадцатых годах в Париже вышел многотомный труд бывшего командующего Добровольческой армией генерала Деникина. Называется он «Очерки русской смуты». Так вот, Деникин пишет, что не было у добровольцев лозунга, за которым пошли бы солдаты и прогрессивно мыслящие офицеры. А было наоборот: как только Добровольческая армия по пути на Москву вступала на территорию украинских и русских губерний, так все эти корниловцы, марковцы, дроздовцы — сынки помещиков — начинали в своих дворянских поместьях вешать и пороть шомполами мужиков за то, что те поделили помещичью землю, растащили, разобрали по рукам скот и сельскохозяйственный инвентарь. Вот как на деле оборачивалась одна часть «примитива» — «земля — крестьянам»! Как только Добровольческая армия занимала промышленный центр, обиженные сынки заводчиков и владельцев шахт, те же офицеры Добровольческой армии, принимались вешать и ставить к стенке рабочих, национализировавших их предприятия. Так оборачивалась для рабочих вторая часть «примитива». Все это я не только читал, но и лично наблю-

дал во время гражданской войны, сражаясь с этими же добровольцами.

С какой же радости шли бы в Добровольческую армию рабочие и крестьяне? Деникинцы великолепно помогали утверждаться Советской власти! Если это свидетельствует сам Деникин, то о чем же тут говорить? Я за этот «примитив» пошел перед октябрьским переворотом, будучи на фронте председателем полкового революционного комитета. Ты тогда еще был несмышленышем.

Впрочем, еще с мальчишеских лет, еще в гимназии отравляло мне сознание этакое социальное неравенство: сытые, выхоленные сынки купцов, помещиков, прочих состоятельных и бедные, кое-как одетые, в тщательно заштопанных брючишках дети мелких чиновников, кустарей, разночинцев. Еще тогда это рвало мне сердце! Повзрослел, стал читать, задумываться, тыкался носом, как щенок возле блюдца с молоком, а тут — война. В окопах прозрел окончательно. Я ведь в армии был вольнопером и уже после окончания юнкерского стал офицером. Под конец войны я поручиком был. Но и офицерский чин не сделал меня защитником царского режима! Покорила навсегда программа большевиков, начисто отверг половинчатых эсеров, меньшевиков и прочих анархистов, и стал я, братец ты мой, ярым большевиком, бескомпромиссным, пожалуй, немного даже фанатичным. Не было, да и сейчас нет для меня святее дела нашей партии! Да разве я один из офицерского корпуса царской армии пришел к большевикам? А Брусилов, Шапошников, Каменев и многие другие, чинами пониже? Однажды в двадцатых годах Сталин присутствовал на полевых учениях нашего военного округа. Вечером зашел разговор о гражданской войне, и один из военачальников случайно обронил такую фразу о Корнилове: «Он был субъективно честный человек». У Сталина желтые глаза сузились, как у тигра перед прыжком, но сказал он довольно сдержанно: «Субъективно честный человек тот, кто с народом, кто борется за дело народа, а Корнилов шел против народа, сражался с армией, созданной народом, какой же он честный человек?» Вот тут — весь Сталин, истина — в двух словах. Вот тут я целиком согласен с ним! Все честное из интеллигенции и даже дворянства пошло за большевиками, за народом, за Советской властью. Иного было не дано: либо — за, либо — против, а все промежуточное стиралось двумя этими жерновами. Дальнейшее ты знаешь. Стал я кадровым военным. Связал свою жизнь с Красной Армией.

И какой же народище мы вырастили за двадцать лет! Сгусток человеческой красоты! Сами росли и младших растили. Преданные партии до последнего дыхания, образованные, умелые командиры, готовые по первому зову на защиту от любого врага, в быту скромные, простые ребята, не сребролюбцы, не стяжатели, не карьеристы. У любой командирской семьи все имущество состояло из двух чемоданов. И жены подбирались, как правило, под стать мужьям. Ковров и гобеленов не наживали, в одежде — простота, им и «краснодеревщики не слали мебель на дом». Но в этом у всех нас была цель в жизни! Да разве только в армии вырос такой народище? А гражданские коммунисты, а комсомольцы? Такой непробиваемый стальной щит Родины выковали, что подумаешь бывало — и никакой черт тебе не страшен. Любому врагу и вязы свернем и хребет сломаем!

Жили мы тогда, как в сказке! Весь пыл наших сердец, весь разум, всю силу расходовали на создание армии, на укрепление могущества нашего единственно справедливого на земле строя! Мы не так уж много уделяли внимания дорогим женам и семьям, а холостые — девушкам, но, черт возьми, хватало и им от наших щедрот, и в обиде на нас они не были! Наши умницы понимали, что мы так раскрутили маховик истории, что сбавлять обороты было уже ни к чему! — Александр Михайлович помолчал, глядя на огонь, наверное, вспоминая прошлое, тихо улыбаясь воспоминаниям, потом закурил и продолжал снова. И только по тому, как глубоко он затягивался, глотая папиросный дым, видно было его скрытое волнение.— Я, Коля, никогда не уставал любоваться своими людьми. Взыскивал с подчиненных со всей старорежимной строгостью, втайне любовался ими. И молодые солдаты и те, которых призывали на территориальные сборы,— у всех у них были суворовские задатки. Старик порадовался бы, глядя на достойных потомков своих чудо-богатырей. Ей-богу, не вру, не фантазирую! Проснись Суворов да побывай на наших учениях,— он прослезился бы от умиления, а от радости выпил бы лишнюю чарку анисовки!

Я не говорю уже о комсоставе. Насмотрелся я на своих в Испании и возгордился дьявольски! Какие орлы там побывали! Возьми хоть комдива Кирилла Мерецкова, или комбрига Воронова Николая, а полковник Малиновский Родион, а полковник Батов Павел. Это же готовые полководцы, я бы сказал, экстра-класса! Троценко Ефим, Шумилов Михаил, Дмитриев Михаил тоже ребята — дай бог! Не

уступят в хватке, в знаниях, в волевых качествах! Даже те, кто помоложе, и те были на великолепном уровне, такие, как старший лейтенант Лященко Николай или лейтенант Родимцев Саша,— это, будь спокоен, завтрашние полководцы без скидки на бедность и происхождение. А вообще всем им — цены нет. Кстати, Родимцев, будучи командиром взвода, выбивал из пулемета на мишени свое имя и фамилию. Не хотел бы я побывать под огнем пулемета, за которым прилег Родимцев... А посмотреть — муху не обидит, милый, скромный парень, каких много на родной Руси. Да что там говорить. И в гости ездили отличнейшие ребята, да и дома их оставалось предостаточно, на случай, если пришлось бы встречать незваных гостей... Ты помнишь, у Пушкина есть великолепная характеристика Мазепы, его любви к Марии? — Александр Михайлович, сидевший возле костра по-казахски, ноги калачиком, встал на колени и со старомодной дикцией, без излишней патетики, прочитал на память:

Мгновенно сердце молодое
Горит и гаснет. В нем любовь
Проходит и приходит вновь,
В нем чувство каждый день иное:
Не столь послушно, не слегка,
Не столь мгновенными страстями
Пылает сердце старика,
Окаменелое годами.
Упорно, медленно оно
В огне страстей раскалено;
Но поздний жар уж не остынет
И с жизнью лишь его покинет.

Если для нас, стариков, заменить кое-что, то есть вместо некоей Марии поставить идею, нашу, большевистскую идею, то это нам придется в самую пору! С той только разницей, что и смолоду мы были покорены этой единой страстью и остались верны ей до старости. Как это у него? «Но поздний жар уж не остынет и с жизнью лишь его покинет». Здорово сказано! Да, браток, когда перевалит на пятый десяток, и Пушкина иначе воспринимаешь. Русский человек, читая Пушкина, непременно слезу уронит, будь он даже такой солдафон, как я. В лагерях, когда не спалось, я всегда восстанавливал в памяти Пушкина, Тютчева, Лермонтова... Особенно по ночам, в бессонницу, вспоминались хорошие стихи. И душевная мука отпускала, и слезы были не такими жгучими...

Как снег на голову, свалился тридцать седьмой год.

И армии многих, очень многих мы потеряли. А война с фашистами на носу... Вот что не дает покоя! Да только ли это!

Ну, и со мной случилось, как со многими: один мерзавец оклеветал десятки людей, чуть ли не всех, с кем ему приходилось общаться за двадцать лет службы, меня в том числе. И всех пересажали, на кого он сыпал показания, жен их отправили в ссылку, и мою Аню, конечно. Ты, очевидно, слышал и о методах допросов с пристрастием, и о методах ведения следствия, и о порядках в лагерях. Слышал, надеюсь?

— Слышал.

— Это не скроешь, и я не стану лишний раз тебя ранить, поберегу тебя, браток. Все это было. В разных местах по-разному. И не в этом дело, а в том, как такое могло случиться. Кто повинен? Я глубочайше убежден, что подавляющее большинство сидело и сидит напрасно, они — не враги. Слов нет, были среди изъятых и настоящие враги, однако их меньшинство, жалкое меньшинство! В тридцать восьмом году в Ростове на Первое мая, как только до тюрьмы долетели с демонстрации звуки «Интернационала», и в тюрьме подхватили и запели «Интернационал». И как пели! Ничего подобного я никогда не слышал в жизни, и не дай бог еще раз услышать!.. Пели со страстью, с гневом, с отчаянием! Трясли железные решетки и пели... Тюрьма дрожала от нашего гимна! Да разве враги могли так петь?! — Голос Александра Михайловича осекся, худое лицо исказилось, но глаза остались сухими, он надолго замолчал и вновь заговорил, только когда справился с волнением.— Я тебе так скажу: настоящие коммунисты и там оставались коммунистами... И я не потерял веру в свою партию и сейчас готов для нее на все! Зачеркнуть всю свою сознательную жизнь? Затаить злобу?! Не могу! На Сталина обижаюсь. Как он мог такое допустить?! Но я вступал в партию тогда, когда он был как бы в тени великой фигуры Ленина. Теперь он — признанный вождь. Он был во главе борьбы за индустрию в стране, за проведение коллективизации. Он, безусловно, крупнейшая после Ленина личность в нашей партии, и он же нанес этой партии такой тяжкий урон. Я пытаюсь объективно разобраться в нем и чувствую, что не могу. Мешает одно, мы с ним не на равных условиях: если я отношусь к нему с неприязнью, то ему на это наплевать, ему от этого ни холодно ни жарко, а вот он отнесся ко мне неприязненно, так мне от этого было и холодно, и жарко, и еще кое-что похуже... Какая уж тут может быть объективность с моей стороны? Однако я — не мальчик

и отличнейше понимаю, что предвзятость — плохой советчик. Во всяком случае, мне кажется, что он надолго останется неразгаданным не только для меня. Приведу тебе такой пример. В двадцатых годах после учений в нашем военном округе, о которых я говорил, он согласился отобедать с нами. Было восемь старших военачальников. В разговоре кто-то из наших скептически отозвался об одном командире дивизии: «Он же бывший офицер царской армии». Сталин и говорит: «Ну, и что из того, что бывший офицер? Офицеры бывают разные. Под Царицыном в восемнадцатом году, возле Кривой Музги, попал к нам в плен раненый казачий офицер. Пулеметной очередью был ранен в обе ноги, в мякоть, кости не были затронуты. Мы с Ворошиловым решили с ним поговорить. Приходим. Лежит на носилках, на цементном полу. Спрашиваем: «За что вы с нами воюете?» Плюется, кричит: «С большевистскими комиссарами я не разговариваю!» Во второй раз к нему пришли. Молчит. В третий раз. Походили, привык, стали разговаривать. Ведем с ним политические беседы, разъясняем что к чему... А теперь он у нас в больших военачальниках ходит».

В восемнадцатом году его заинтересовала судьба одного вражеского офицера, а двадцать лет спустя не интересуют судьбы тысяч коммунистов. Да что же с ним произошло? Для меня совершенно ясно одно: его дезинформировали, его страшнейшим образом вводили в заблуждение, попросту мистифицировали те, кому была доверена госбезопасность страны, начиная с Ежова. Если это может в какой-то мере служить ему оправданием...— Александр Михайлович разом умолк, прислушался.

По траве зашуршали чьи-то шаги. Из сумеречной темноты послышался гулкий басок:

— Рыбакам доброго здоровья!

— Здравствуй, дедушка Сидор,— отозвался Николай.— Проходи, садись, гостем будешь.

К костру подошел овчар, коснулся рукой красной тряпицы на голове, забасил:

— У меня тут овечки неподалеку ночуют, а я думаю, сем-ка пойду к Миколе-агроному, может, ушица у него осталась, должен же он овечьего пастыря покормить. Допрежде ты, бывалоча, меня подкармливал юшкой, а ноне как? С уловом?

— И уха есть, и рыба, и даже выпить деду найдется.

— Спаси Христос, добрый ты человек, дай бог тебе и твоему гостю здоровья.

Старик легко опустился на колени, поджал левую ногу, сел поудобнее и взглянул на Александра Михайловича из-под седых бровей по-молодому пронзительными, но веселыми глазами.

После обычных разговоров о видах на урожай, о травостое, о погоде старик спросил:

Никак, вы, товарищ, братцем нашему Миколе-агроному доводитесь?

Так точно, отец. Мать у нас была одна, отцы — разные. Мой отец умер, и мать долго вдовствовала, потом вышла за другого. Вот этот другой ее муж и был Колиным отцом. Понятно?

Чего ж тут непонятного? По моему смыслу, мать — это корень, а отцы — дело такое, одним словом, всякое... Старики-то все у вас померли?

Да. Мы с братом круглые сироты. Без отцов и бедой и радостью богатеем.

Ничего! Вы уже большенькие. Проживете и не заметите, как старость и к вам припожалует, постучится в оконце... Так, как вот и ко мне... Люди у нас брешут, будто вы суждены были за политику. Правда ли?

— Был.

— И сколько же вам пришлось отсидеть, извиняйте за смелость?

— Не стесняйся, спрашивай, от тебя, папаша, не потаюсь.— Александр Михайлович подкинул сушняку в угасший костер, чтобы получше разглядеть старика.— Четыре года с половинкой отбыл.

Овчар смотрел пристально, молчал, потом сказал как бы с разочарованием:

— Не так чтобы и много.

— Отсюда глядеть — немного, а там оказалось многовато...

— Оно-то так, но я разумею про себя, что ваша вина перед властью была малая.

— Это почему же так разумеешь?

— А потому. Мою сноху в тридцать третьем году присудили на десять лет. Отсидела семь, остальные скостили. Только в прошлом году вернулась. Украла в энтот голодный год на току четыре кило пшеницы. Не с голоду же ей с детьми было подыхать? По вольному хлебу ходила, ну и взяла не спрошаючи. Вот за эти десять фунтов пшеницы и пригрохали ей за каждый фунт по году отсидки. За них и отработала семь лет. А ты — четыре, стало быть, твоей вины вполовину ее меньше... Ай не так?

— За мной, отец, никакой вины не было, по ошибке осудили. Ты же знаешь, я не за кражу сидел, а темнишь в разговоре, сравниваешь. Но божий дар с поросятиной нельзя сравнивать, не то сравнение получается. Тогда если бы за четыре кило краденого хлеба не сажали, так воровали бы по четыре центнера на душу, верно, папаша?

— Это уж само собой. Растянули бы колхозы по ниточке!

— Ну, вот мы с тобой и договорились.— Александр Михайлович рассмеялся.

Тихонько рассмеялся и овчар, прикрывая рот черной ладонью.

— А ты хитер, папаша, ты — себе на уме! — сказал Александр Михайлович.

— Хитра утка, она на день по сорок раз ухитряется жрать, а я какой же хитрый? С утра кислого молока похлебал с хлебушком и вот тяну до ночи, по вашей милости ушицы попробую — опять живой. У нас на хуторе один я с простиной в голове, а остальные все умные, все в политику вдарились. Вот, к примеру, залезет Иванова свинья к соседу Петру в огород, нашкодит там, а Петро — нет чтобы добром договориться, вот как мы с тобой,— берет карандаш, слюнявит его и пишет в ГПУ заявление на Ивана: так, мол, и так, Иван, мой сосед, в белых служил и измывался над красноармейскими семьями. ГПУ этого Ивана за воротник и к себе на гости приглашает. Глядишь, а он уже через месяц в Сибири прохлаждается. Брат Ивана на Петра пишет, что он, мол, сам в карателях был и такое учинял, что и рассказать страшно! Берут и этого. А на брата уже карандаш слюнявит родственник Петра. Таким манером сами себя пересажали, и мужчин в хуторе осталось вовсе намале, раз-два и обчелся. Теперь в народе моих хуторян «карандашниками» зовут. Вот ведь как пересобачились. Вкус заимели один другого сажать, все политиками заделались. А раньше такого не было. Раньше, бывало, за обиду один другому морду набьет, на том и вся политика кончится. Теперь — по-новому.

— И ты, отец, на кого-нибудь писал?

— Бог миловал. На овечек, правда, хотел писать, жаловаться, что не слухают меня, старика, прут куда попадя, а все больше в люцерну... Я от такой житухи промеж людей и в овчары подался.

Николай разогрел остатки ухи, налил гостю полную миску, отрезал кусок хлеба. Старик ел не спеша, вытянув худую жилистую шею. Зубы у него были не по возрасту

хорошие: краюшка черствого хлеба только похрустывала, когда он аккуратно откусывал большие куски. Чайную чашку водки он принял, почтительно склонив голову, выпил до дна и принялся за холодных окуней.

После чая, сытый, довольный, сказал:

— Давно так от души не ел, как нынче. Благодарствую, дай бог вам здоровья. К дому мне добираться далеко, ночую тут неподалеку с овчишками и кормлюсь кое-как, насухую, а нынче наелся у вас на два дня.

— Ты один управляешься, без подпаска? — спросил Николай, опрокидывая вверх дном перемытую посуду.

— Один. Помощник мой дома сидит, к экзаментам готовится. Он у меня десятилетку закончил,— с гордостью сказал старик.— Да я и один управляюсь.

— Не боишься, что овечек ночью волки пощупают?

— Не, у меня с волками уговор на время: моих не трогать. Промеж нас условие, ты меня не трогай, и я тебя не буду трогать. В этом лесу нонешней весной знакомая волчица ощенилась, вот я возле ее жилья и пасу овечек. Она вблизу не берет, она далеко от своего гнезда ходит промышлять. И супругу своему не велит поблизости разбойничать. И так я до осени поручаю ей овечек. В августе она молодых волчат на бахчи поведет, арбузами будет кормить. Скажи на милость, как эта животная умеет спелый арбуз от зеленого отличить? Нюх у нее работает, что ли? Ну, а как заосеняет — нашей дружбе до предбудущего года конец. Тогда я от нее овечек подальше держу. Не ровен час заради своих щенят согрешит по холоду, а мне ее зорить нет охоты, пущай живет. Волчица старая, разумная и ко мне уважительная, вот и пущай в спокое доживает. Ей и так уж осталось белому свету радоваться лет пять от силы... Вот вы и мотайте на ус, люди добрые, волчице до холодов можно верить, а вот Хитлеру — не надо бы! Животная — она всегда надежнее, у ней своя, звериная, совесть есть. А у Хитлера какая же совесть? Вон он сколько держав под себя подмял! Ему холодов дожидаться не к чему! У него щенята все как есть повыросли. У них уж небось по шкуркам седая ость пошла, они уж вроде лютых переярков стали...

Овчар еще раз поблагодарил за ужин, попрощался:

— Пойду к своим овечкам дозоревывать. Они без меня скучают. Все-таки с человеком им спокойнее.

Постукивая костылем по пересохшей земле, он вышел из света костра, исчез в темноте.

— Занятный старик! — с удовольствием проговорил Александр Михайлович, и по голосу было слышно, что он

улыбается в темноте.— А насчет Гитлера он, в общем-то, правильно соображает. Значит, в народе поговаривают о войне?

— Всякое говорят. А ты как думаешь, генерал?

— Мои друзья-военные ждут. Успеть бы только перевооружить армию новой техникой. Но дадут ли они нам на это время? Там тоже не дураки. Дважды мне пришлось сталкиваться с немцами, в мировую войну, и в Испании на них пришлось посмотреть. Боюсь, что на первых порах тяжело нам будет. Армия у них отмобилизованная, обстрелянная, настоящую боевую выучку за два года приобрела, да и вообще противник серьезный. Но, черт возьми, ведь «русские прусских всегда бивали»? Побьем и на этот раз! Какой ценой? Ну, браток, когда вопрос станет — быть или не быть,— о цене не говорят и не спрашивают! Сообщения нашей печати успокаивают, а вообще-то поживем — увидим! Я лично не исключаю и того, что воевать будем скоро, возможно — в этом году.

Они проговорили до рассвета. Едва лишь забрезжило, Александр Михайлович снова вскипятил чайник, на заварку всыпал целую горсть чая и, потягивая из чашки черный, обжигающий напиток, сказал:

— Привык пить там еще, в Сибири, предельно горячий, все из желания согреться, а теперь и не надо бы, но не могу отвыкнуть. Да, вот о чем тебя попрошу. Ты пригласи как-нибудь своего Ивана Степановича. Надо с ним потолковать. У него наивное представление о действительности. Если нескольких человек освободили, это не значит, что всех подряд будут освобождать. Мерзавец, который нас упрятал, сам оказался шпионом, притом с долголетним стажем. И только когда органы докопались и окончательно убедились в том, что он работал на немецкую разведку да еще со времен нашего сближения с Германией, еще со времен Рапалло,— взялись за проверку наших дел, убедились в том, что предъявленные нам обвинения — чистейшая липа, ну, и освободили, принеся соответствующие извинения... Мы были уже в лагерях, а дела наши два года разматывались до благополучного для нас кончика. Сложно все, Коля. До чертиков сложно! Давай, пожалуй, на этом закончим сегодня, а не то и рыбалка на ум не пойдет. Эту отраву вкушать надо небольшими порциями, иначе дурнить будет. Да у нас и времени в запасе целая неделя, обо всем успеем поговорить. Показывай-ка лучше свою сазанью снасть и просвещай, что надо делать, чтобы изловить этого зверя. Окуней я половил, а теперь мне надо добыть

сазана, чтобы презентовать его Серафиме Петровне. Я должен быть до конца галантен. Понятен тебе мой рыцарский порыв?

Вполне. Но сазаньи удочки ты не очень критикуй, они проверены на деле.

Николай принес от берега две удочки, сказал:

Принцип ловли тот же, так же надо забрасывать лесу. Только насадка другая. Видишь ли, здесь сазан на растительную насадку — ну, на тесто, кашу, картошку вареную — не берет, не привык он к постной пище, не вегетарианец он. Вот потому-то я вчера и добывал ракушки. Это его любимое блюдо.

Александр Михайлович, посмотрев и ощупав лесы, пришел в ужас:

Позволь, Коля, о каких там принципах ловли и насадках может идти речь, если у тебя лесы толщиной с толстую спичку? Какой же идиот сазан возьмет на такой канат? На твоей леске можно Воронка удержать!

А что прикажешь делать? — возразил Николай.— Тонкую лесу хороший сазан рвет, как гнилую нитку. Здесь нужна глухая снасть, катушка не годится, кругом поблизости карши. Усвоил?

— А хорошие сазаны здесь есть?

— Увидишь сам или почувствуешь на удочке. Тонкая леса исключена, не выдержит. Сазан уходит с крючком во рту, раненый, и я — за надежную снасть. Я против подранков и на охоте и на рыбалке. Эти лесы я сплел из двенадцати льняных ниток, пусть попробует оборвет.

— И тоньше нет в запасе?

— Нет и не будет.

— Ну тогда делать нечего, будем ждать поклевок на эти веревки. Чахлое дело...

— Так уж и веревки. Просто немного утолщенные лесы.

— Мой жестокий черный черкес, не будем спорить, но лески толсты.

— Согласен, но зато надежны. А потом, Саша, рассуждай здраво, без предубежденности: захочет сазан кушать — возьмет и на толстую, не захочет — не возьмет и на шелковую ниточку. Учти и такое, Песчаная речка — глухая рыбья провинция: сазаны тут сплошь кондовые, малограмотные, ни одного нет с высшим образованием, вот они и берут на всякую леску, берут, надеясь на свою силушку, и преспокойно не только толстые лесы рвут, но и крючки ломают, а иногда и сокрушают удилища.

Александр Михайлович недоверчиво усмехнулся, но ничего не сказал. Они спустились с обрыва. Александр Михайлович снова сел ловить с лодки. Николай устроился на берегу, метрах в двадцати выше по течению, возле поваленного половодьем, наполовину затонувшего тополя.

Утро было прохладное. Над водой подымался туман. Тяжелая, ядреная роса клонила к земле листья травы. И снова разноголосый птичий гомон покорил Александра Михайловича, властно заставил забыть обо всем на свете. Только легкая, неосознанная грусть тихонько теплилась у него на сердце, когда издалека доносился томительный и милый голос кукушки.

Прошло с полчаса. Удочки с насадкой из мякоти ракушек-перловиц были неподвижны. При взгляде на толстые светло-серые лесы, вяло, безжизненно свисавшие с кончиков удилищ, у Александра Михайловича возникала досада, а в глазах сквозила явная безнадежность. «Дохлое дело! Напрасно просижу зорю. Лучше бы уж снова взяться за окуней»,— подумал он и потянулся за лежавшей на корме пачкой «Беломора». Но тут внимание его привлек мягкий не то всплеск, не то всхлип. Глянув повыше удилищ, он увидел, как посреди плеса, раздвинув изогнутой спиной воду, показался метровый бронзово-золотистый сазан. Он взмахнул широким, как просяной веник, оранжево-красным хвостом и так оглушительно хлопнул им по воде, что крутые волны пошли кругами и, дойдя до лодки, высоко подняли и закачали низко осевшую корму. И тотчас же, словно дождавшись сигнала, у противоположного берега свечой вскинулся небольшой сазан, а второй — немыслимой толщины — размахнул хвостом воду левее лодки, блеснул червонным золотом чешуи и с тихим стоном снова погрузился в зеленоватую волну.

Игра сазанов продолжалась почти беспрерывно минут пятнадцать, затем удары стали реже. Все это время Александр Михайлович в немом изумлении смотрел на разбушевавшийся плес и не успевал считать выпрыгивавших сазанов и тех из них, которые только на секунду показывались из воды и тонули, с кряхтением погружаясь в родную стихию.

— Теперь жди! — негромко сказал Николай.

И в ответ ему Александр Михайлович, не в силах сдержать восторга, уже совсем не по-рыбацки заорал во весь голос:

— Это черт знает что такое! Я такого представления, Колька, за всю жизнь не видывал!

— Умолкни, ради бога! — все так же негромко посоветовал Николай.

Горящими глазами Александр Михайлович уставился на кончики удилищ, покорно замолчал. Комар больно впился ему в мочку левого уха, но, стоически выдерживая зуд, рыбак даже руки не поднял, ждал потяжки. Однако счастье обошло его стороной. Николай подсек небольшого, но удивительно резвого сазана и молча старался подтянуть его к берегу.

— Не дури, Колька! Не смей, чертов ингуш, тянуть его силком! Дай ему порезвиться, он сам уходится! — азартно советовал Александр Михайлович, стоя в корме во весь рост, от волнения часто переступая босыми ногами.

При одном виде согнутого в дугу удилища Александр Михайлович ощущал озноб во всем теле.

Уже поднявшись на поверхность и глотнув воздуха, сазан собрал последние силы и еще минут пять бойко ходил кругами, оставляя за лесой белесую, косо срезанную прозрачную пленку воды. Вскоре желтобокий красавец килограмма на четыре весом улегся на дне вместительного подсачка. Александр Михайлович не вытерпел, пошел посмотреть. Сидя на корточках, он любовно гладил скользкий, прохладный бок рыбы, с негодованием говорил:

– Везет же этим жгучим брюнетам, всяким ногайцам, кумыкам и прочим представителям нацменьшинств и малых народностей! А ты — исконний русский человек — сидишь на исконней, принадлежавшей еще твоим предкам реке, сидишь, как дурак, и этот распроклятый сазан обходит тебя и неизвестно почему берется на удочку черненького потомка некогда покоренного крымского татарина! Анафемское безобразие! Чертовщина какая-то! Какой мудрец разберется в этой абракадабре?! Как хочешь, но я сгораю от черной зависти!

— Иди, садись в лодку. Счастье тебя ждет, о рыцарь, вверивший свое сердце Серафиме прекрасной,— готовя кукан, улыбался Николай.

— Тебе шуточки, а как я теперь на нее взгляну? Когда она положила в корзину пол-литра водки, я растроганно прижал руку к сердцу, прошептал: «Серафима Петровна, самый жирный, самый крупный сазан из Пахомовой ямы, собственноручно пойманный мною, завтра будет лежать у ваших ног».

— А она что?

— Она царственно улыбнулась, сказала: «Я верю в вас, Александр Михайлович».

— Дорогой Александр Михайлович?

— Нет, просто Александр Михайлович, но «дорогой» висело в воздухе, то есть подразумевалось само собой.

— Так вот, «просто Александр Михайлович», чтобы ваше обещание не повисло в воздухе, чтобы поймать реального, а не подразумеваемого сазана, чтобы вам еще раз царственно улыбнулась ваша Дульцинея Петровна,— извольте идти, проверить насадку и упорно ждать.

— Есть идти, проверить насадку и упорно ждать! — Александр Михайлович круто повернулся, чуть не упал, зацепившись ногой за глыбу глины, но выправился и, посмеиваясь, проворно зашагал к лодке.

На восходе солнца стало еще прохладнее, потянул легкий ветерок, исчез туман, и уже окрасились, светло зазеленели кроны тополей, мягко озаренные низким солнцем.

«Мелкий и средний сазан берут с ходу, рывком, а очень крупный давит солидно, медленно, степенно гнет кончик удилища к воде»,— наставлял брата Николай. И вот именно такой клев вскоре заставил Александра Михайловича пережить минуту наивысшего напряжения. Леса на правой удочке выпрямилась, чуть-чуть зашевелилась, пошла книзу, и следом медленно, страшно медленно стал клониться к воде кончик удилища. Собрав всю волю, Александр Михайлович дождался, когда кончик удилища уткнулся в воду, и только тогда плавно, но сильно подсек. И мгновенно пришло такое ощущение, будто крючок на дне намертво зацепился за корягу. А уже в следующий миг мощная потяжка заставила Александра Михайловича вскочить на ноги, взяться за комель удилища обеими руками. Неподвластная сила, чуть ли не равная его силе, гнула удилище с нарастающим тяжелым упорством.

Николай бежал к лодке, преодолевая свалившиеся с обрыва груды земли саженными прыжками. В левой руке его развевался поднятый над головой подсак.

— Удилище! Удилище отводи назад! Не давай ему вытянуть лесу напрямую! — кричал он.

Но Александр Михайлович не слышал его. Он уперся левой ногой в сиденье на корме, откинулся назад, противоборствуя дикой силе, вырывавшей из его рук удилище, и слышал только один пугающий звук: по удилищу, от середины до самой чакановки, шел сухой треск, будто сквозь дерево пропускали электрический ток. Этот треск он не только слышал, но и ощущал побелевшими от напряжения стиснутыми пальцами и мускулами рук.

Николай уже подбежал к лодке, успев на бегу крикнуть:

— Бросай! Да бросай же!..

И в этот момент удилище, согнутое чуть ли не от самых рук рыбака и вытянутое в одну линию с лесой, со свистом распрямилось, сухо и звонко щелкнула оборванная леса. Все было кончено.

— Видел? — хриплым голосом трагически вопросил очнувшийся Александр Михайлович, поворачивая к Николаю бледное лицо.

— Что видел? Бросать надо было вовремя!

— Но... такой канат и бросать?

— Теперь ты убедился, какие сазаны есть в Песчаной? Наука маловеру!

— Нет, Коля, но это же невероятно! Это черт знает что такое! Тянул, как воротом! Силища неправдоподобная! И его и ото дна не оторвал... Нет, с такой рыбалкой инфаркт мне обеспечен, верный инфаркт! Я до сих пор не приду в себя! У меня все еще, как у мальчишки, дрожат колени...

— Ничего, дыши глубже, и все пройдет.

— К черту с твоими советами! Сидеть буду на этой яме, пока не поймаю родного дедушку этого сазана. Хоть месяц буду сидеть, а поймаю! А что толку, если бы бросил удилище? Ведь он наверняка затащил бы в корягу!

— Наверняка.

— А что же ты говоришь: бросать надо вовремя?

— Все-таки какая-то надежда, авось пошел бы на ту сторону. Такие случаи бывали...

— В вашей деревне с поросенком?

Николай расхохотался, дал волю давно сдерживаемому смеху. Улыбнулся и Александр Михайлович, но что-то очень кисло.

Он все еще никак не мог справиться с волнением, и, когда закуривал, руки его заметно дрожали, и он долго не мог извлечь из коробка спичку.

Около восьми часов у Александра Михайловича взялся еще один сазан. Он так стремительно хватанул насадку и пошел в глубину, что закуривавший в это время рыбак уронил на мокрое днище пачку папирос и едва успел схватить удилище. Сазан поднялся вполводы, лихо сделал два круга, а потом пошел кверху, у самой поверхности взвернул зеленый бурун воды, буйно, с переплеском хлопнул хвостом и сошел с крючка.

Николай был уже у лодки, уже готовил подсак, затопив

его в воду, когда сазан так коварно обманул надежды рыбаков.

На этот раз Александр Михайлович внешне спокойно перенес свое поражение. Рассматривая крючок, он слабым голосом проговорил:

— Не везет! Чертовски не везет! Утешаюсь только тем, что этот сазан вовсе не дедушка первому, а скорее всего двоюродный племянник...

— Слабенькое утешение,— сказал Николай, сочувственно улыбаясь.

— Милый мой осетин, в беде и слабое утешение — на вес золота. У нас водка осталась?

— Больше половины бутылки и еще одна непочатая.

— Откуда еще одна?

— Тайком увез, сунул в плащ, когда выходили из дому...

— Мой дорогой имеретинец! Ты — гений! Сейчас пойду на стан и волью в себя целиком чашку, чтобы залить горе. Я полностью выбит из колеи и лишен душевного равновесия. Я, как мякоть вот этой ракушки, расползаюсь на собственных глазах...

— Но тебе же нельзя пить, Саша.

— В этом случае мне даже сам Боткин разрешил бы. Не перечь старшему! Не прекословь!

Они только что собрались завтракать в тени гостеприимного вяза, как на той стороне послышался шум автомобильного мотора, короткий сигнал.

— Наверное, по мою душу,— вглядываясь в прибрежные заросли белотала, недовольно проговорил Николай.

— Что-нибудь случилось?

— Может быть, совещание, мало ли что может случиться. Во всяком случае, очень некстати. Если я уеду, Саша, ты оставайся. Завтра я либо сам приеду к тебе и привезу харчишек, либо кого-нибудь пришлю.

— С удовольствием!..

— Одному не будет скучно?

— Что ты! Для меня рыбалка и одиночество — целительный бальзам. Однако кто же это приехал?

Из кустов белотала вышли двое, подошли к берегу. Николай, вглядевшись, сказал:

— Шофер райкомовской машины и инструктор райкома Ваня Петлин. Нет, тут что-то другое...

— Перевезите меня, Николай Семенович! — послышалось с того берега.

Николай молча спустился к лодке.

Только в прошлом году демобилизованный из Красной Армии старший лейтенант Петлин подошел к Александру Михайловичу строевым шагом, четко приложил ладонь к околышку артиллерийской фуражки.

— Разрешите обратиться, товарищ генерал.— И подал конверт.— Шифровка на ваше имя.

Александр Михайлович прочитал. Широко улыбаясь, крепко обнял стоявшего рядом Николая. Он тяжело дышал и говорил с короткими паузами:

— Ну, брат, приказывают немедленно прибыть в Москву за назначением. Генштаб приказывает. Вспомнил обо мне Георгий Константинович Жуков! Что ж, послужим Родине и нашей Коммунистической партии! Послужим и верой и правдой до конца! — Он стиснул в объятиях Николая, и тот впервые за все время увидел в помутневших глазах брата слезы.

* * *

На синем, ослепительно синем небе — полыхающее огнем июльское солнце да редкие, раскиданные ветром, неправдоподобной белизны облака. На дороге — широкие следы танковых гусениц, четко отпечатанные в серой пыли и перечеркнутые следами автомашин. А по сторонам — словно вымершая от зноя степь: устало полегшие травы, тускло, безжизненно блистающие солончаки, голубое и трепетное марево над дальними курганами, и такое безмолвие вокруг, что издалека слышен посвист суслика и долго дрожит в горячем воздухе сухой шорох красных крылышек перелетающего кузнечика.

Николай шел в первых рядах. На гребне высоты он оглянулся и одним взглядом охватил всех уцелевших после боя за хутор Сухой Ильмень. Сто семнадцать бойцов и командиров — остатки жестоко потрепанного в последних боях полка — шли сомкнутой колонной, устало переставляя ноги, глотая клубившуюся над дорогой горькую степную пыль. Так же, слегка прихрамывая, шагал по обочине дороги контуженный командир второго батальона капитан Сумсков, принявший на себя после смерти майора командование полком, так же покачивалось на широком плече сержанта Любченко древко завернутого в полинявший чехол полкового знамени, только перед отступлением добытого и привезенного в полк откуда-то из недр второго эшелона, и все так же, не отставая, шли в рядах легко раненные бойцы в грязных от пыли повязках.

Было что-то величественное и трогательное в медленном движении разбитого полка, в мерной поступи людей, измученных боями, жарой, бессонными ночами и долгими переходами, но готовых снова, в любую минуту, развернуться и снова принять бой.

Николай бегло оглядел знакомые, осунувшиеся и почерневшие лица. Сколько потерял полк за эти проклятые пять дней! Почувствовав, как дрогнули его растрескавшиеся от жары губы, Николай поспешно отвернулся. Внезапно подступившее короткое рыдание спазмой сдавило его горло, и он наклонил голову и надвинул на глаза раскаленную каску, чтобы товарищи не увидели его слез... «Развинтился я, совсем раскис... А все это жара и усталость делают»,— думал он, с трудом передвигая натруженные, будто свинцом налитые ноги, изо всех сил стараясь не укорачивать шага.

Теперь он шел не оглядываясь, тупо смотрел себе под ноги, но перед глазами его опять, как в навязчивом сне, вставали разрозненные и удивительно ярко запечатлевшиеся в памяти картины недавнего боя, положившего начало этому большому отступлению. Опять он видел и стремительно ползущую по склону горы, грохочущую лавину немецких танков, и окутанных пылью перебегающих автоматчиков, и черные всплески разрывов, и рассеянных по полю, по нескошенной пшенице, в беспорядке отходящих бойцов соседнего батальона... А потом — бой с мотопехотой противника, выход из полуокружения, губительный огонь с флангов, срезанные осколками подсолнухи, пулемет, зарывшийся рубчатым носом в неглубокую воронку, и убитый пулеметчик, откинутый взрывом, лежащий навзничь и весь усеянный золотистыми лепестками подсолнуха, причудливо и страшно окропленными кровью...

Четыре раза немецкие бомбардировщики обрабатывали передний край на участке полка в тот день. Четыре танковые атаки противника были отбиты. «Хорошо дрались, а не устояли...» — с горечью подумал Николай, вспоминая.

На минуту он закрыл глаза и снова увидел цветущие подсолнухи, между строгими рядами их стелющуюся по рыхлой земле повитель, убитого пулеметчика... Он стал несвязно думать о том, что подсолнух не пропололи, наверное, потому, что в колхозе не хватило рабочих рук; что во многих колхозах вот так же стоит сейчас ни разу не прополотый с весны, заросший сорняками подсолнух; и что пулеметчик был, как видно, настоящий парень — иначе почему же солдатская смерть смилостивилась, не изуродо-

ни на него, и он лежал, картинно раскинув руки, весь целенький и, словно звездным флагом, покрытый золотыми лепестками подсолнуха? А потом Николай подумал, что все это — чепуха, что много пришлось ему видеть настоящих парней, изорванных в клочья осколками снарядов, жестоко и мерзко обезображенных, и что с пулеметчиком это просто дело случая: тряхнуло взрывной волной — и посыпался вокруг, мягко слетел на убитого парня молодой подсолнуховый цвет, коснулся его лица, как последняя земная ласка. Может быть, это было красиво, но на войне внешняя красота выглядит кощунственно, оттого так надолго и запомнился ему этот пулеметчик в белесой, выгоревшей гимнастерке, раскидавший по горячей земле сильные руки и незряче уставившийся прямо на солнце голубыми потускневшими глазами...

Усилием воли Николай отогнал ненужные воспоминания. Он решил, что лучше всего, пожалуй, ни о чем сейчас не думать, ничего не вспоминать, а вот так идти с закрытыми глазами, ловя слухом тяжкий ритм шага, стараясь по возможности забывать про тупую боль в спине и отекших ногах.

Ему захотелось пить. Он знал, что воды нет ни глотка, но все же потянулся рукой, поболтал пустую фляжку и с трудом проглотил набежавшую в рот густую и клейкую слюну.

На склоне высоты ветер вылизал дорогу, начисто смел и унес пыль. Неожиданно гулко зазвучали на оголенной почве до этого почти неслышные, тонувшие в пыли шаги. Николай открыл глаза. Внизу уже виднелся хутор — с полсотни белых казачьих хат, окруженных садами,— и широкий плес запруженной степной речки. Отсюда, с высоты, ярко белевшие домики казались беспорядочно рассыпанной по траве речной галькой.

Молча шагавшие бойцы оживились. Послышались голоса:

— Должен бы привал тут быть.

— Ну, а как же иначе, отмахали с утра километров тридцать.

Сзади Николая кто-то звучно почмокал губами, сказал скрипучим голосом:

— Родниковой, ледяной водицы по полведра бы на брата...

Миновав неподвижно распростершую крылья ветряную мельницу, вошли в хутор. Рыжие, пятнистые телята лениво щипали выгоревшую траву возле плетней, где-то надсадно

кудахтала курица, за палисадниками сонно склоняли головки ярко-красные мальвы, чуть приметно шевелилась белая занавеска в распахнутом окне. И таким покоем и миром пахнуло вдруг на Николая, что он широко открыл глаза и затаил вздох, словно боясь, что эта знакомая и когда-то давным-давно виденная картинка мирной жизни вдруг исчезнет, растворится, как мираж, в знойном воздухе.

На площади, густо заросшей лебедой, снова умолк, оборвался мерный топот пехоты. Слышно было только, как шаркают по голенищам поникшие, тяжелые метелки травы, покрывая зеленой пыльцою сапоги, да к удушливому запаху пыли примешался тонкий и грустный аромат доцветающей лебеды.

Война докатилась и до этого затерянного в беспредельной донской степи хуторка. Во дворах, впритирку к стенам сараев, стояли автомашины медсанбата, по улицам ходили красноармейцы саперной части, доверху нагруженные трехтонки везли по направлению к речке свежераспиленные вербовые доски, в саду, неподалеку от площади, расположилась зенитная батарея. Орудия стояли возле деревьев, искусно замаскированные зеленью, на отвалах недавно вырытых окопов лежала увядшая трава, а грозно вздыбленный ствол крайнего к переулку орудия доверчиво обнимала широкая ветка яблони, густо увешенная бледно-зелеными недоспелыми антоновками.

Звягинцев толкнул Николая локтем, обрадованно воскликнул:

— А ведь это наша кухня, Микола! Подыми нос выше! И привал у нас будет, и речка с водой, и Петька Лисиченко с кухней, какого же тебе еще хрена надо?

Полк разместился у самого берега речки в большом запущенном саду. Холодную, чуть солоноватую воду Николай пил маленькими глотками, часто отрываясь и снова жадно припадая к краю ведра. Глядя на него, Звягинцев сказал:

— Вот так ты и письма от сына читаешь: прочтешь немного, оторвешься — и опять за письмо. А я не люблю тянуть. Я на это нетерпеливый. Ну, давай ведро, а то опухнешь.

Он взял из рук Николая ведро и, запрокинув голову, долго, не переводя дыхания, пил большими, звучными, как у лошади, глотками. Заросший рыжей щетиной кадык его судорожно двигался, серые выпуклые глаза были блаженно прищурены. Напившись, он крякнул, вытер рукавом гимнастерки губы и мокрый подбородок, недовольно сказал:

Вода-то не очень хороша, только в ней и доброго, что холодная да мокрая, а соли бы можно и поубавить. Будешь еще пить?

Николай отрицательно качнул головой, и тогда Звягинцев вдруг спросил:

Тебе все больше сынок письма пишет, а от жены писем что-то я не примечал у тебя. Ты не вдóвой?

И неожиданно для самого себя Николай ответил:

Нет у меня жены. Разошлись.

Давно?

В прошлом году.

Вот как,— сожалеюще протянул Звягинцев.— А дети с кем же? У тебя их, никак, двое?

Двое. Они с матерью жены живут.

Ты бросил жену, Микола?

Нет, она меня... Понимаешь, в первый день войны приезжаю домой из командировки, а ее нет, ушла. Оставила записку и ушла...

Николай говорил охотно, а потом как-то сразу осекся и замолчал. Нахмурившись и плотно сжав губы, он сел в тени под яблоней и все так же молча стал разуваться. В душе он уже сожалел о сказанном. Надо же было целый год носить на сердце немую, невысказанную боль, чтобы сейчас, вот так, ни с того ни с сего, разоткровенничаться перед первым попавшимся человеком, в голосе которого послышались ему сочувственные нотки. И чего ради он разболтался? Какое дело Звягинцеву до его переживаний?

Звягинцев не видел низко склоненного, помрачневшего лица Николая и продолжал расспросы:

— Что же она, стерва, другого сыскала?

— Не знаю,— сухо ответил Николай.

— Значит, нашла! — убежденно сказал Звягинцев и сокрушенно покачал головой.— Ведь вот какой народ, эти бабы! Парень ты из себя видный, получал, конечно, хорошее жалованье, какого же ей черта надо было? Об детях-то она, сука, подумала?

Взглянув внимательно на затененное каской лицо Николая, Звягинцев понял, что дальше вести этот разговор не следует. С тактом, присущим простым и добрым людям, он замолчал, вздыхая и неловко переминаясь с ноги на ногу. А потом ему стало жаль этого большого и сильного человека, товарища, рядом с которым вот уже два месяца он воюет и делит горькую солдатскую нужду, захотелось его утешить и рассказать о себе, и он присел рядом, заговорил:

— А ты брось, Микола, горевать о ней. Отвоюем, тогда

видно будет. Главное — дети у тебя есть. Дети, брат, сейчас — главная штука. В них самый корень жизни, я так понимаю. Им придется налаживать порушенную жизнь, война-то разыгралась нешуточная. А женщины, скажу я тебе откровенно,— самый невероятный народ. Иная в три узла завяжется, а своего достигнет. Ужасно ушлое животное женщина, я, брат, их знаю! Видишь рубец у меня на верхней губе? Тоже прошлого года случай. На Первое мая я и другие мои товарищи комбайнеры затеялись выпить. Собрались семейно, с женами, гуляем, гармошка нашлась, подпили несколько. Ну, и я, конечно, подпил и жена тоже. А жена у меня, как бы тебе сказать, вроде немецкого автоматчика: если зарядит что — не кончит, пока все обоймы не порасстреляет, и тоже норовит нахрапом брать.

Была на этой вечеринке одна барышня, очень она хорошо «цыганочку» танцевала. Смотрю я на нее, любуюсь, и никакой у меня насчет ее ни задней, ни передней мысли нет, а жена подходит, щипает за руку и шипит на ухо: «Не смотри!» Вот, думаю, новое дело, что же мне на вечере зажмурки сидеть, что ли? Опять смотрю. Она опять подходит и щипает за ногу, с вывертом, до глубокой боли. «Не смотри!» Отвернулся я, думаю, черт с тобой, не буду смотреть, лишусь такого удовольствия. После танцев садимся за стол. Жена против меня садится, и глаза у нее, как у кошки: круглые и искру мечут. А у меня синяки на руке и ноге ноют. Забывшись, гляжу я на эту несчастную барышню с неудовольствием и думаю: «Через тебя, чертовка, приходится незаслуженно терпеть! Ты ногами вертела, а мне расплачиваться». И только я это думаю, а жена хватает со стола оловянную тарелку и со всего размаху — в меня. Мишень, конечно, подходящая, морда у меня была тогда толстая. Не поверишь, тарелка согнулась пополам, а у меня из носа и из губы — кровь, как при серьезном ранении.

Барышня, конечно, охает и ужасается, а гармонист упал на диван, ноги задрал выше головы, смеется и орет дурным голосом: «Бей его самоваром, у него вывеска выдержит!» Света я невзвидел! Встаю и пускаю ее, жену то есть, по матушке. «Что же ты,— говорю,— зверская женщина, делаешь, так твою и разэтак?!» А она мне спокойным голосом отвечает: «Не пяль глаза на нее, рыжий черт! Я тебя предупреждала». Тут я успокоился несколько, сел и обращаюсь к ней вежливо, на «вы». «Так-то,— говорю,— вы, Настасья Филипповна, показываете свою культурность? Очень даже неприлично это с вашей стороны

кулаками при людях кидаться, имейте это в виду, и дома мы с вами поговорим по душам».

Ну, ясно, что сорвала она весь мой праздник. Губа рассечена надвое, один зуб качается, белая вышитая рубашка в крови, и нос распух и даже покосился куда-то в сторону. Пришлось уходить из компании. Встали мы, попрощались, извинились перед хозяевами, всё как полагается, пошли домой. Она идет впереди, а я, как виноватый, сзади. Дорогой шла она, проклятая, как живая, а только порог переступила — и хлоп в обморок. Лежит и не дышит, а морда у нее красная, как свекла, и левый глаз сделает щелкой: нет-нет да и посмотрит на меня. Ну, думаю, тут уж не до ругани, как бы чего плохого не случилось с бабой. Кое-как отлил ее водой, отпечаловал от смерти. Немного погодя она опять в обморок. На этот раз и глазом не смотрит. Опять ведро воды на нее вылил, она и отошла, крик подняла, в слезы пустилась, ногами брыкает.

«Ты,— говорит,— такой-сякой, новую шелковую кофточку мне загубил, всю водою залил, теперь не отстирается! Изменник! На всякую девку глаза лупишь! Жить не могу с тобой, с извергом!» — и все такое прочее. Ну, думаю, раз ногами брыкаешь и про кофточку вспомнила, значит — ожила, значит — перезимуешь, милая!

Присел к столу, курю, гляжу: любезная моя встала, полезла в сундук, имущество свое в узелок собирает. Дошла с узелком до двери и говорит: «Ухожу от тебя. У сестры жить буду». Я, конечно, вижу, что на ней сатана верхом поехал и что поперек ей сейчас ничего говорить нельзя, потому и согласился. «Иди,— говорю,— там тебе лучше будет». «Ах, вот как! — говорит.— Такая, значит, твоя ко мне любовь, что ты и не удерживаешь меня? Так никуда же я не пойду, а возьму сейчас и повешусь, чтобы тебя, сукиного сына, всю жизнь совесть мучила!»

Оживленный воспоминаниями, Звягинцев достал кисет и, улыбаясь, покачивая головой, стал сворачивать папироску. Николай держал в руках влажные, горячие от пота портянки и тоже улыбался, но сонно и вяло. Надо бы дойти до колодца и постирать портянки, но ему не хотелось прерывать увлекшегося своим рассказом Звягинцева, да и сил не было, чтобы подняться и идти по солнцепеку. Закурив, Звягинцев продолжал:

— Подумал я и говорю: «Что ж, Настасья Филипповна, вешайся, веревка за сундуком лежит». Кинула она свой узел, схватила веревку и — в горницу. Стол подвинула, привязала один конец к крюку, на каком когда-то люльку

детскую вешали, на другом петлю сделала и надела себе на шею. Со стола не прыгает, а подогнула колени, подбородком в петлю упирается и хрипит, будто и на самом деле душится. А я сижу возле стола, дверь-то в горницу чуть приоткрыта, и мне всю эту картину очень даже видно. Подождал я немного, а потом громко так говорю: «Ну, слава богу, кажись, повесилась. Отмучился я!» Эх, как она даст прыжка со стола, да ко мне с кулаками: «Так ты рад бы был, если бы я повесилась?! Такой-то ты любящий муж?!» Насилу ее утихомирил. Хмель с меня как рукой сняло, даром что на вечере почти литр водки выпил. Сижу после этого сражения и думаю: люди в народный дом пошли спектакль смотреть, а у меня дома — свое представление, бесплатное. И смех меня разбирает, и на душе как-то невесело.

Вот на какие штуки женщины — это чертово семя — способны! Да ведь это хорошо, что детишек дома в ту ночь не было: забрала их к себе родительница моя погостить, а то ведь могли их перепугать до смерти.

Звягинцев помолчал и заговорил снова, но уже без прежнего воодушевления:

— Не думай, Микола, что мы всю жизнь с женой так жили. Вот только последние два года испортилась она у меня. А испортилась она, прямо скажу, через художественную литературу.

Восемь лет жили, как люди, работала она прицепщиком на тракторе, ни в обмороки не падала, никаких фокусов не устраивала, а потом повадилась читать разные художественные книжки,— с этого и началось. Такой мудрости набралась, что слова попросту не скажет, а всё с закавыкой, и так эти книжки ее завлекли, что ночи напролет читает, а днем ходит, как овца круженая, и все вздыхает, и из рук у нее все валится. Вот так раз как-то вздыхала-вздыхала, а потом подходит ко мне с ужимкой и говорит: «Ты бы, Ваня, хоть раз мне в возвышенной любви объяснился. Никогда я от тебя не слышала таких нежных слов, как в художественной литературе пишут». Меня даже зло взяло. «Дочиталась!» — думаю, а ей говорю: «Ополоумела ты, Настасья! Десять лет живем с тобой, трех детей нажили, с какого же это пятерика я должен тебе теперь в любви объясняться? Да у меня и язык не повернется на такое дело! Я смолоду никому в нежных словах не объяснялся, а все больше руками действовал, а сейчас и вовсе не стану, не такой уж я дурак, как ты думаешь! И ты бы,— говорю ей,— вместо того, чтобы глупые книжки читать, за детьми

лучше присматривала». А дети и на самом деле пришли в запустение, бегают, как беспризорники, грязные, сопливые, да и в хозяйстве все идет через пень колоду.

Подумай, Микола, разве это дело? Я, конечно, не против культурных развлечений и сам люблю почитать хорошую книжку, в какой про технику, про моторы написано. Были у меня разные интересные книжки: и уход за трактором, и книга про мотор внутреннего сгорания, и установка дизеля на стационаре, не говоря уже про литературу о комбайнах. Сколько раз, бывало, просил: «Возьми, Настасья, прочитай про трактор. Очень завлекательная книжка, с рисунками, с чертежами. Тебе надо это знать, ты же прицепщиком работаешь». Думаешь, читала она? Черта с два! Она от моих книжек воротила нос, как черт от ладана, ей художественную литературу подавай, да такую, чтобы оттуда любовь лезла, как опара из горшка. И ругал и добром просил — не помогло. А бить ее — в жизни не бил, потому что я, до того как на комбайнера выучился, шесть лет молотобойцем работал, рука у меня стала невыносимо тяжелая.

Вот так, братец ты мой, семейная жизненка и шла у нас раскорякой до той поры, как меня в армию не призвали. А ты думаешь, сейчас, в разлуке, мне легче? Как бы не так! Скажу тебе откровенно и по секрету: никак переписку со своей Настасьей Филипповной не налажу. Не выходит, да и все, хоть слезами плачь! Ты сам, Микола, знаешь, каждому из нас тут, на фронте, приятно получить письмо из дому, читают их один одному вслух, вот и ты мне письма от сынишки прочитывал, а я жениного письма никому почитать не могу, потому что мне стыдно. Еще когда под Харьковом были, получил от нее раз за разом три письма, и каждое письмо начинается так: «Дорогой мой цыпа!» Прочитаю — и уши у меня огнем горят. Откуда она это куриное слово выковыряла — ума не приложу, не иначе из художественной книжки. Ну, писала бы по-людски: «Дорогой Ваня» или там еще как, а то — «цыпа». Когда дома был — все больше рыжим чертом звала, а как уехал на фронт — сразу «цыпой» сделался. И во всех письмах скороговоркой, бочком как-то сообщит, что дети живы-здоровы, новостей в МТС особых нет, а потом дует про любовь на всех страницах, да такими непонятными, книжными словами, что у меня от них даже туман в голове сделается и какое-то кружение в глазах...

Прочитал я эти невыносимые письма два раза подряд и сделался от них просто вроде пьяного. Слюсарев из второго взвода подходит, спрашивает: что, мол, жена пишет

новенького? А я письма скорее в карман прячу и только рукой ему махаю: отойди, дескать, милый человек, не тревожь ты меня. Он спрашивает: «Все ли благополучно дома? По лицу,— говорит,— вижу, что у тебя несчастье». А что я ему скажу? Придумал и говорю: бабушка, мол, у меня померла, ну он и успокоился, отошел.

Вечером сел я, пишу жене. Поклоны деткам и всем родным передал, об своей службе написал, все чин чином, а потом пишу: не называй меня, пожалуйста, разными неподобными кличками, есть у меня свое крещеное имя, может, лет тридцать пять назад и был я «цыпой», а сейчас вполне в петуха оформился, и вес мой — восемьдесят два килограмма — вовсе для «цыпы» не подходящий. А еще прошу: брось ты про эту любовь писать и не расстраивай мое здоровье, пиши больше про то, как дела идут в МТС, и кто из друзей остался дома, и как работает новый директор.

И вот получаю перед самым отступлением ответ. Беру письмо, руки дрожат, распечатал — и так меня жаром и охватило!

Пишет: «Здравствуй, мой любимый котик!»,— а дальше опять на четырех тетрадочных страницах про любовь; про МТС ни слова, а в одном месте зовет меня не Иваном, а каким-то Эдуардом. Ну, думаю, дошла баба до точки! Видно, из книжек списывает про эту проклятую любовь, иначе откуда же она выкопала какого-то Эдуарда и почему в письмах столько разных запятых? Сроду об этих запятых она и понятия не имела, а тут наставила их столько, что не перечтешь, у любого конопатого человека на морде конопин меньше, чем запятых у ней в одном письме. А прозвища? Сначала — «цыпа», а потом — «котик», чего же дальше ждать, думаю? В пятом письме, может, она Трезором меня назовет или еще каким-нибудь кобелиным прозвищем. Да что я, в цирке родился, что ли? Из дому захватил я учебник про трактор «ЧТЗ» — с собой ношу на случай, если когда захочется почитать — так вот хотел было списать из этого учебника страницы две и послать ей, чтобы вышло невестке в отместку, а потом раздумал. Как раз в обиду примет. Но что-то надо с ней делать, чтобы отвадить от этих глупостей... Что ты мне посоветуешь, Микола?

Звягинцев посмотрел на товарища и огорченно крякнул. Николай, запрокинувшись на спину, крепко спал. Под черными, опущенными книзу усами его белели неровные зубы, а в приподнятых уголках рта так и остались морщинки — тени не успевшей сбежать с губ улыбки.

* * *

Николай вскоре проснулся. Легкий ветер шевелил листья яблони. По траве скользили причудливо меняющиеся светлые блики. Где-то неподалеку ворковала горлинка, и, заглушая ее, работал с перебоями, с выхлопами мотор трактора. В переулке послышались голоса, смех, потом кто-то прокричал молодым, звучным тенорком:

Я говорил тебе, что свеча барахлит! Шведский ключ у тебя? Неси его сюда, миленький! Неси, рыбий глаз!

В саду пахло вянущей травой, дымом и пригорелой кашей. Около полевой кухни, широко расставив кривые ноги, стоял приятель Николая бронебойщик Петр Лопахин. Он курил и лениво переругивался с поваром Лисиченко.

Опять каши наварил, гнедой мерин?

Опять. А ты не ругайся.

Вот где у меня сидит твоя каша, понятно?

А мне наплевать, где она у тебя сидит.

— Ты не повар, а так, черт знает что. Никакой выдумки не имеешь, никакой хорошей идеи у тебя в голове нет. У тебя голова, как пустой котел, один звон в ней. Неужели ты не мог в этом хуторе овцу или чушку выпросить так, чтобы хозяин не видал? Щей бы хороших сварил, второе сготовил...

— Отчаливай, отчаливай, слыхали мы таких!

— Три недели, кроме пшенной каши, ничего от тебя не получаем, так делают порядочные повара? Сапожник ты, а не повар!

— А тебе что, антрекота захотелось? Или, может, свиную отбивную?

— Из тебя бы отбивную сделать! Больно уж материал подходящий, разъелся, как интендант второго ранга!

— Ты поосторожней, Петька, а то ведь у меня кипяток под рукой... В медсанбат-то ходил?

— Ходил.

— Ну и что?

— А ничего.

— Чего же ты ходил?

Лопахин притворно зевнул, помолчал. Улыбающийся Лисиченко, подбоченясь, смотрел на него, ждал ответа.

— Так просто ходил, знакомых искал,— равнодушно сказал Лопахин.

— А там одна была славненькая... Не клюнуло?
— Я и не старался, чтобы клюнуло.
— Ну, ты это брось! Я видел, как ты сапоги травой начищал и медаль свою тряпочкой надраивал. Не помогла, стало быть, и медаль? Да и как она тебе поможет? Будь у тебя, допустим, орден, тогда другое дело, а то, подумаешь, невидаль — медаль за отвагу! Там, браток, не с такими орденами попадаются.
— Дурак,— беззлобно сказал Лопахин.— Говорю тебе, что и в мыслях ничего не держал, а так просто прошелся по хутору. После твоих харчей не очень-то разгуляешься. Последнее время я до того отощал, что даже жену во сне перестал видеть.
— А что же тебе снится, герой?
— Постные сны вижу, всякая дрянь снится, вроде твоей каши.
«Охота им языками трепать»,— подумал Николай и приподнялся, расправляя затекшие руки.
Лопахин подошел к нему, шутовски раскланиваясь.
— Как изволили почивать, почтенный мистер Стрельцов?
— Пойди с поваром поговори, у меня голова болит,— хмуро сказал Николай.
Лопахин сощурил светлые разбойничьи глаза и понимающе покачал головой.
— Все ясно: подавленное настроение в результате нашего отступления, жара и головная боль? Пойдем, Коля, искупаемся до обеда, а то ведь скоро трогаться. Наши ребята из речки не вылазят. Я и то ополоснул разок грешное тело.
С Лопахиным Николай подружился недавно. В бою за совхоз «Светлый путь» окопы их были рядом. Лопахин прибыл в полк только накануне, с последним пополнением, и Николай видел его в деле впервые. Два танка зажгли бронебойщики, подпустив их на полтораста — сто метров, но, когда второй номер расчета был убит, Лопахин задержался с выстрелом, и третий танк, ведя с ходу огонь, перевалил через окоп бронебойщиков и на полной скорости устремился к огневым позициям батареи. Николай, стоя на коленях, набивал дрожащими руками диск автомата. Он видел, как из-под гусениц танка хлынула в окоп Лопахина желтая, глинистая земля, и подумал, что бронебойщики погибли, но спустя несколько секунд из полузаваленного окопа, из облака желтой, не успевшей осесть пыли высунулся длинный ствол ружья, повернутый в сторону про-

[illegible]щегося танка, хлопнул выстрел — и по темной броне остановившегося вдруг танка ящерицей скользнуло пламя, а потом повалил густой, черный дым. И почти тотчас же Лопахин окликнул Николая:

Эй ты, брюнет с усами! Живой?

Николай приподнял голову и увидел багровое, злое, измазанное глиной лицо Лопахина.

Что же ты не стреляешь, в гроб твою душу?! Не видишь, вон они лезут! — заорал Лопахин, зверски выкатив светлые глаза, указывая на немцев, ползком пробиравшихся вдоль межи.

Первой короткой очередью Николай срезал белые головки ромашки, росшей на гребне межи, а когда взял пониже, то сквозь яростную дробь своего автомата с наслаждением услышал резкий, два раза повторившийся писк.

После боя вечером в землянку вошел Лопахин. Он внимательно оглядел красноармейцев, спросил:

А где у вас тут, ребята, брюнет с усами, красивый такой, похожий на английского министра Антона Идена?

Николай повернулся лицом к свету, и Лопахин, увидев его, деловито сказал:

Нашел я тебя все-таки! Давай, землячок, выйдем, покурим на свежем воздухе.

Они присели около землянки, закурили.

А ловко ты последний танк подбил,— сказал Николай, рассматривая в сумерках загорелое, кирпично-красное лицо бронебойщика.— Я думал, что вас обоих завалило землей, смотрю, высовывается ружье...

И тогда Лопахин насмешливо прервал его:

- Вот-вот, этого я и ждал... Моей работой ты восхищаешься, а почему сам не стрелял, когда по моему окопу танк топтался? Почему не стрелял по автоматчикам до тех пор, пока я тебя не выругал? Мне твои восхищения нужны, как мертвому горчишник, понятно? Мне дело нужно, а не восхищения!

Николай, улыбаясь, ответил, что заминка произошла у него в тот момент потому, что он опорожнил все диски. Лопахин, прищурившись, покосился недоверчиво, сказал:

— В бой собрался, а потом оказалось, что к бою-то ты и не подготовлен? В наших отношениях с тобой одного только не хватает: ты бы, как наши союзнички, совесть в карман положивши, мне только патрончики подбрасывал да похваливал меня, а я бы за тебя воевал... Так, что ли? На красоту были бы отношения!..

Видя, что Николай хмурится, Лопахин протянул куцую, сильную руку, добродушно сказал:

— А ты не обижайся. На правду разве можно обижаться? Раз уж нужда нас сосватала — воевать вместе будем. Давай познакомимся,— мы с тобой, кажется, земляки. Ты Ростовской области? Ну вот, а я из города Шахты. Будем друзьями.

С того дня они и на самом деле подружились простой и крепкой солдатской дружбой. Насмешливый, злой на язык, бабник и весельчак, Лопахин словно бы дополнял всегда сдержанного, молчаливого Николая. И, глядя на них, старшина Поприщенко — медлительный пожилой украинец — не раз говорил:

— Если бы Петра Лопахина и Николая Стрельцова превратить в тесто, а потом хорошенько перемесить то тесто и слепить из него человека, может, и получился бы из двоих один настоящий человек, а может, и нет, кто ж его знает, что из этого месива вышло бы?

У речки певуче звенели пилы саперов, слышался плеск воды и довольный гогот купающихся красноармейцев. Лопахин и Николай шли рядом по примятой траве, молчали. Потом Лопахин предложил:

— Давай за мост пойдем, там глубже будет.

Он первый шагнул через поваленный плетень, кивком головы указал на стоявший на дороге тягач. Двое трактористов в замасленных комбинезонах возились около мотора, им помогал голый до пояса Звягинцев. Широченная спина его и бугроватые, мускулистые руки были густо измазаны отработанным маслом, черная полоса наискось тянулась через все лицо. Он предусмотрительно снял гимнастерку и, довольный представившимся случаем побыть возле машины, ловко, любовно и бережно орудовал ключом.

— Эй ты, щеголь! Возьми у ребят песчанки и пойдем с нами купаться, как-нибудь ототрем тебя,— проходя, сказал Лопахин.

Звягинцев глянул в его сторону и, увидев Николая, широко улыбнулся:

— Вот, Микола, тягач так тягач! Сила в нем невыносимая. Видал, какую он игрушку возит? Подержался я за него — и вроде как дома, в своей МТС, побыл... Этот мотор смело три сцепа комбайнов попрет, даю честное слово!

Таким бесхитростным счастьем сияло лоснящееся, потное лицо Звягинцева, что Николай невольно позавидовал ему в душе.

* * *

Желтые кувшинки плавали в стоячей воде. Пахло тиной и речной сыростью. Раздевшись, Николай выстирал гимнастерку и портянки, сел на песок, обнял руками колени. Лопахин прилег рядом.

— Мрачноват ты нынче, Николай...

— А чему же радоваться? Не вижу оснований.

— Какие еще тебе основания? Живой? Живой. Ну и радуйся. Смотри, денек-то какой выдался! Солнце, речка, кувшинки вон плавают... Красота, да и только! Удивляюсь я тебе: старый ты солдат, почти год воюешь, а всяких переживаний у тебя, как у допризывника. Ты что думаешь: если дали нам духу,— так это уже все? Конец света? Войне конец?

Николай досадливо поморщился, сказал:

— При чем тут конец войне? Вовсе я этого не думаю, но относиться легкомысленно к тому, что́ произошло, я не могу. А ты именно так и относишься и делаешь вид, будто ничего особенного не случилось. Для меня ясно, что произошла катастрофа. Размеров этой катастрофы мы с тобой не знаем, но кое о чем можно догадываться. Идем мы пятый день, скоро уже Дон, а потом Сталинград... Разбили наш полк вдребезги. А что с остальными? С армией? Ясное дело, что фронт наш прорван на широком участке. Немцы висят на хвосте, только вчера оторвались от них и все топаем и когда упремся, неизвестно. Ведь это же тоска — вот так идти и не знать ничего! А какими глазами провожают нас жители? С ума сойти можно!

Николай скрипнул зубами и отвернулся. С минуту он молчал, справляясь с охватившим его волнением, потом заговорил уже спокойнее и тише:

— Ото всего этого душа с телом расстается, а ты проповедуешь — живой, мол, ну и радуйся, солнце, кувшинки плавают... Иди ты к черту со своими кувшинками, мне на них смотреть-то тошно! Ты вроде такого дешевого бодрячка из плохой пьески, ты даже ухитрился вон в медсанбат сходить...

Лопахин с хрустом потянулся, сказал:

— Жалко, что ты со мной не пошел. Там, Коля, есть одна такая докторша третьего ранга, что посмотришь на нее — и хоть сразу в бой, чтобы немедленно тебя ранили. Не докторша, а восклицательный знак, ей-богу!

— Слушай, иди ты к черту!

— Нет, серьезно! При таких достоинствах женщина, при такой красоте, что просто ужас! Не докторша, а шестиствольный миномет, даже опаснее для нашего брата солдата, не говоря уже про командиров.

Николай молча, угрюмо смотрел на отражение белого облачка в воде, и тогда Лопахин сдержанно и зло заговорил:

— А я не вижу оснований, чтобы мне по собачьему обычаю хвост между ног зажимать, понятно тебе? Бьют нас? Значит, поделом бьют. Воюйте лучше, сукины сыны! Цепляйтесь за каждую кочку на своей земле, учитесь врага бить так, чтобы заикал он смертной икотой. А если не умеете,— не обижайтесь, что вам морду в кровь бьют и что жители на вас неласково смотрят. Чего ради они будут нас с хлебом-солью встречать? Говори спасибо, что хоть в глаза не плюют, и то хорошо. Вот ты, не бодрячок, объясни мне: почему немец сядет в какой-нибудь деревушке, и деревушка-то с чирей величиной, а выковыриваешь его оттуда с великим трудом, а мы иной раз города почти без боя сдаем, мелкой рысью уходим? Брать-то их нам же придется или дядя за нас возьмет? А происходит это потому, что воевать мы с тобой, мистер, как следует еще не научились и злости настоящей в нас маловато. А вот когда научимся да когда в бой будем идти так, чтобы от ярости пена на губах кипела,— тогда и повернется немец задом на восток, понятно? Я, например, уже дошел до такого градуса злости, что плюнь на меня — шипеть слюна будет, потому и бодрый я, потому и хвост держу трубой, что злой ужасно! А ты и хвост поджал и слезой облился: «Ах, полк наш разбили! Ах, армию разбили! Ах, прорвались немцы!» Прах его возьми, этого проклятого немца! Прорваться он прорвался, но кто его отсюда выводить будет, когда мы соберемся с силами и ударим? Если уж сейчас отступаем и бьем,— то при наступлении вдесятеро больнее бить будем! Худо ли, хорошо ли, но мы отступаем, а им и отступать не придется: не на чем будет! Как только повернутся задом на восток,— ноги сучьим детям повыдергиваем из того места, откуда они растут, чтобы больше по нашей земле не ходили. Я так думаю, а тебе вот что скажу: при мне ты, пожалуйста, не плачь, все равно слез твоих утирать не буду, у меня руки за войну стали жесткие,— не ровен час, еще поцарапаю тебя...

— Я в утешениях не нуждаюсь, дурень, ты красноречия не трать понапрасну, а лучше скажи, когда же, по-твоему, мы научимся воевать? Когда в Сибири будем? — сказал Николай.

— В Си-би-ри? — протяжно переспросил Лопахин, часто моргая светлыми глазами. — Нет, дорогой мистер, в эту школу далеко нам ходить учиться. Вот тут научимся, вот в этих самых степях, понятно? А Сибирь давай временно вычеркнем из географии. Вчера мне Сашка — мой второй номер — говорит: «Дойдем до Урала, а там в горах мы с немцем скоро управимся». А я ему говорю: «Если ты, земляная жаба, еще раз мне про Урал скажешь, — бронебойного патрона не пожалею, сыму сейчас свой мушкет и прямой наводкой глупую твою башню так и собью с плеч!» Он назад: говорит, пошутил. Отвечаю ему, что и я, мол, пошутил, разве по таким дуракам бронебойными патронами стреляют, да еще из хорошего противотанкового ружья? Ну, на том приятный разговор и покончили.

Лопахин ползком передвинулся поближе к воде и долго тер влажным зернистым песком огрубелые подошвы ног, потом повернулся лицом к Николаю.

— Вспомнились мне, Коля, слова покойного политрука Румева; эти слова будто бы один известный генерал сказал: «Если бы каждый красноармеец убил одного немца, — война давно бы кончилась». Значит, мало мы их, гадов, бьем, так, что ли?

Николаю наскучил разговор, и он желчно ответил:

— Арифметика довольно примитивная... Если бы каждый наш генерал выиграл по одному сражению, — война закончилась бы, пожалуй, еще скорее.

Лопахин перестал тереть ноги и раскатисто засмеялся:

— Как же генералы без нас могут сражения выигрывать, чудак? А потом попробуй выиграть сражение с такими бойцами, как мой Сашка. Он еще до Дона не дошел, а на Урал уже оглядывается. Генерал без войска или с плохим войском, по-моему, то же самое, что жених без мужского отростка, а мы без генерала, что свадьба без жениха. Есть, конечно, и генералы, похожие на Сашку. Какого-нибудь беднягу немцы как начали клевать от самой границы, да так до сих пор и клюют. Ну, он и уморился, духом упал и уже думает не о том, как бы немца побить, а о том, как бы его самого еще лишний раз не побили. Но таких мало, и не они будут погоду делать. А у нас повелось так: чуть где неустойка на фронте вышла, — шепотом генералов ругают: и такие они, и сякие, и воевать-то не умеют, и все лихо через них идет. А если разобраться по справедливости, — то не всегда они виноваты, да и ругать бы их надо помягче, потому что генералы — самые несчастные люди на войне.

Ну, что ты уставился на меня, как баран на новые ворота? Именно так и есть, как я говорю. Раньше, бывало, по глупости, я сам завидовал генеральскому званию. «Эх, думаю, до чего же чистая жизнь! Ходит нарядный, фазан фазаном, окопов ему не рыть, на животе по грязи не ползать...» А потом, когда поразмыслил, сразу разочаровался.

Был я тогда еще стрелком, а не бронебойщиком, и вот как-то подымают роту в атаку. Что-то замешкался я: по совести говоря, огонь был очень сильный, и не хотелось от земли отрываться, а командир взвода подбегает, наганом грозит и орет: «Вставай!» — и матом меня, понятно? Сходили мы в атаку, после этого я и думаю: «Ну, хорошо, я рядовой и получил за свою неисправность один матюжок; я отвечаю только за одного себя, а командир дивизии отвечает за тысячи людей; в случае неисправности с его стороны, сколько же он получает матюков? А командующий армией?» Начал подсчитывать, и даже страшно мне стало от этой арифметики. Нет, думаю, извиняюсь! Предпочитаю быть рядовым.

Представь себе, Николай, такую картину. Ночи напролет просиживает генерал со своим начальником штаба, готовит наступление, не ест, не спит, все об одном думает; под глазами у него мешки от тяжелых размышлений, голова раскалывается от разных предположений: все ему надо предусмотреть, все предугадать... И вот двигает он полки в наступление, а наступление-то и проваливается с треском. Почему? Да мало ли почему! Он, допустим, понадеялся на Петьку Лопахина, как на родного отца, а Петька сдрейфил и побежал, а за ним и Колька Стрельцов, а за Стрельцовым и другие такие же хлюсты. Вот тебе и кончен бал! Те, которые оказались убитыми, те, конечно, к генералу претензий не имеют, а те, которые благополучно отдышались после бегства, ругают генерала на чем свет стоит! Ругают потому, что искренне думают, будто один генерал во всем виноват, а они вовсе тут ни при чем. Каждый, конечно, согласно уставу, про себя ругает, но генералу от этого разве легче? Сидит он в своей землянке, держится за голову руками, а вокруг него невидимые матюки — тысячи матюков! — как бабочки вокруг лампы порхают. А тут еще звонок по телефону. Вызывают бедного генерала по прямому проводу из Москвы. Волосы подымают на голове генерала красивую его фуражку, берет он трубку, а сам думает: «Несчастная моя мамаша! И зачем ты меня генералом родила!» По телефону его матерно не ругают: в Москве

военные люди живут,— но говорят ему, допустим, так: «Что же это вы, Иван Иванович, так бездарно воюете? Деньги государственные на вас тратили, учили, обували-одевали, поили-кормили, а вы такие номера откалываете? Грудному ребенку простительно пеленки пачкать, на то он и есть грудной ребенок, а вы не ребенок и испачкали не пеленки, а наступательную операцию. Как же это так у вас получилось? Потрудитесь объяснить». Тихий такой голос говорит, вежливый, а у генерала от этого тихого голоса одышка начинается и пот по спине бежит в три ручья.

Нет, Коля, ты как хочешь, а я генералом не желаю быть! При всем моем честолюбии не желаю, и баста! И если бы меня вдруг вызвали в Кремль и сказали: «Берите, товарищ Лопахин, на себя командование энской дивизией», то я побледнел бы с ног до головы и категорически отказался. А если бы там стали настаивать, то вышел бы я, поднялся на Кремлевскую стену и оттуда в Москву-реку — вот так!

Лопахин сложил над головой руки, высоко подпрыгнул и камнем упал в зеленую плотную воду. На середине речки он вынырнул, отфыркиваясь, дико вращая глазами, закричал:

— Скорее окунайся, а то утоплю!

Николай с разбегу бросился в воду, ахнул, мгновенно ощутив обжегший все тело колючий холодок, и, далеко выбрасывая длинные руки, поплыл к Лопахину.

— Ты у меня сейчас поныряешь, дьявол кривоногий! — улыбаясь, говорил он и уже готовился схватить Лопахина, но тот скорчил испуганно-глупую рожу, снова нырнул, мелькнув на секунду смуглыми, блестящими ягодицами, бешено работая под водой ногами...

Купание освежило Николая. Исчезли головная боль и усталость, и посветлевшими глазами он уже по-иному взглянул на окружающий его мир, залитый потоками ослепительного полуденного солнца.

— До чего же здорово! Будто заново на свет народился! — сказал он Лопахину.

— После такого купания по стопке бы выпить да хороших домашних щей навернуть, а этот проклятый богом Лисиченко опять наварил каши, чтоб он подавился ею! — раздраженно сказал Лопахин и неуклюже запрыгал на одной ноге, стараясь другой попасть в растопыренную штанину.— Пойдем, разве попросим щей у какой-нибудь старушки?

— Неудобно.

— Думаешь, не даст?

— Может, и даст, но как-то неудобно.

— Э, черт, а если б кухни не было? Какое там неудобство, пойдем! В своей родной области да чтобы щей не выпросить?

— Мы ведь не странники и не нищие,— нерешительно сказал Николай.

Двое знакомых красноармейцев вышли из-за плотины. Один из них — высокий и худой, с младенчески бесцветными глазами и крохотным ртом — нес в руке мокрый узелок, другой шел следом, на ходу застегивая ворот гимнастерки. Синее, как у утопленника, лицо его зябко подергивалось, почерневшие губы дрожали. Красноармейцы поравнялись с Лопахиным, и тот, хищно вытянув шею, спросил:

— Что у вас в узле, орлы?

— Раки,— ответил неохотно высокий.

— Ого! Где вы их достали?

— Возле плотины. Родники там, что ли? До того холодная вода, прямо страсть!

— Как же это мы с тобой не додумались! — с досадой воскликнул Лопахин, глянув на Николая, и деловито спросил у высокого: — Сколько наловили?

— Около сотни, но они некрупные.

— Все равно для двоих это много,— решительно сказал Лопахин.— Принимайте в компанию и нас. Берусь достать ведро и соли, варить будем вместе, идет?

— Сами наловите.

— Да что ты, милый! Когда же мы теперь успеем? Угощай, не ломайся, а как только Берлин займем, пивом угощу, честное бронебойное слово!

Высокий сложил трубочкой мелкие губы, насмешливо свистнул:

— Вот это утешил!

Лопахину, видно, очень хотелось попробовать вареных раков. Подумав немного, он сказал:

— Впрочем, могу и сейчас, по рюмке водки на нос у меня найдется, сохранял ее на случай ранения, но сейчас по поводу раков придется выпить.

— Пошли! — коротко сказал высокий, обрадованно блеснув глазами.

* * *

Лопахин уверенно, будто у себя дома, распахнул покосившуюся калитку, вошел во двор, непролазно заросший бурьяном и крапивой. Полуразрушенные дворовые постройки, повисшая на одной петле ставня, прогнившие ступеньки крыльца — все говорило о том, что в доме нет мужских рук. «Хозяин, наверно, на фронте, значит, дело будет»,— решил Лопахин.

Около сарая небольшая, сердитая на вид старуха в поношенной синей юбке и грязной кофтенке складывала кизяки. Заслышав скрип калитки, она с трудом распрямила спину и, приложив к глазам сморщенную, коричневую ладонь, молча смотрела на незнакомого красноармейца. Лопахин подошел, почтительно поздоровался, спросил:

А что, мамаша, не добудем ли мы у вас ведро и немного соли? Раков наловили, хотим сварить.

Старуха нахмурилась и грубым, почти мужским по силе голосом сказала:

— Соли вам? Мне вам кизяка вот этого поганого жалко дать, не то что соли!

Лопахин ошалело поморгал глазами, спросил:

— За что же такая немилость к нам?

— А ты не знаешь, за что? — сурово спросила старуха. Бесстыжие твои глаза! Куда идете? За Дон поспешаете? А воевать кто за вас будет? Может, нам, старухам, прикажете ружья брать да оборонять вас от немца? Третьи сутки через хутор войско идет, нагляделись на вас вволюшку! А народ на кого бросаете? Ни стыда у вас, ни совести, у проклятых, нету! Когда это бывало, чтобы супротивник до наших мест доходил? Сроду не было, сколько на свете живу, а не помню! По утрам уж слышно, как на заходней стороне пушки ревут. Соли вам захотелось? Чтоб вас на том свете солили, да не пересаливали! Не дам! Ступайте отсюдова!

Багровый от стыда, смущения и злости, Лопахин выслушал гневные слова старухи, растерянно сказал:

— Ну, и люта же ты, мамаша!

— А не сто́ишь ты того, чтобы к тебе доброй быть. Уж не за то ли мне тебя жаловать, что ты исхитрился раков наловить? Медаль-то на тебя навесили, небось, не за раков?

— Ты мою медаль не трогай, мамаша, она тебя не касается.

Старуха, наклонившаяся было над рассыпанными кизяками, снова выпрямилась, и глубоко запавшие черные глаза ее вспыхнули молодо и зло.

— Меня, соколик ты мой, все касается. Я до старости на работе хрип гнула, все налоги выплачивала и помогала власти не за тем, чтобы вы сейчас бегли, как оглашенные, и оставляли бы все на разор да на поруху. Понимаешь ты это своей пустой головой?

Лопахин закряхтел и сморщился, как от зубной боли.

— Это все мне без тебя известно, мамаша! Но ты напрасно так рассуждаешь...

— А как умею, так и рассуждаю... Годами ты не вышел меня учить.

— Наверно, в армии у тебя никого нет, а то бы ты иначе рассуждала.

— Это у меня-то нет? Пойди спытай у соседей, что они тебе скажут. У меня три сына и зять на фронте, а четвертого, младшего сынка, убили в Севастополе-городе, понял? Сторонний ты, чужой человек, потому я с тобой по-мирному и разговариваю, а заявись сейчас сыны, я бы их и на баз не пустила. Благословила бы палкой через лоб да сказала своим материнским словом: «Взялись воевать — так воюйте, окаянные, как следует, не таскайте за собой супротивника через всю державу, не срамите перед людями свою старуху-мать!»

Лопахин вытер платочком пот со лба, сказал:

— Ну, что ж... извините, мамаша, дело наше спешное, пойду в другом дворе добуду ведро.— Он попрощался и пошел по пробитой в бурьяне тропинке, с досадой думая: «Черт меня дернул сюда зайти! Поговорил, как меду напился...»

— Эй, служивый, погоди-ка!

Лопахин оглянулся. Старуха шла следом за ним. Молча прошла она к дому, медленно поднялась по скрипучим ступенькам и спустя немного вынесла ведро и соль в деревянной выщербленной миске.

— Посуду тогда принеси,— все так же строго сказала она.

Всегда находчивый и развязный, Лопахин невнятно пробормотал:

— Что ж, мы люди не гордые. Можно взять... Спасибо, мамаша! — И почему-то вдруг низко поклонился.

А небольшая старушка, усталая, согнутая трудом и годами, прошла мимо с такой суровой величавостью, что Лопахину показалось, будто она и ростом чуть ли не вдвое

нание его и что глянула она на него как бы сверху вниз, презрительно и сожалеюще...

Николай и двое красноармейцев ждали Лопахина возле двора. Они сидели в холодке под плетнем, курили. В свернутой узлом мокрой рубахе со скрежетом шевелились раки. Высокий красноармеец посмотрел на солнце, сказал:

— Что-то долго не идет наш бронебойщик, видно, никак ведра не выпросит. Не успеем раков сварить.

— Успеем,— сказал другой.— Капитан Сумсков с батальонным комиссаром только недавно пошли к зенитчикам на телефон.

А потом они заговорили о том, что хлеба хороши в этом году повсеместно, что лобогрейками трудно будет косить такую густую, полегшую пшеницу, что женщинам очень тяжело будет в этом году управляться с уборкой и что, пожалуй, немцу много достанется добра, если отступление не приостановится. Они толковали о хозяйственных делах вдумчиво, обстоятельно, как это обычно делают крестьяне, сидя в праздничный день на завалинке, и, прислушиваясь к их грубым голосам, Николай думал: «Только вчера эти люди участвовали в бою, а сегодня уже войны для них словно не существует. Немного отдохнули, искупались и вот уже говорят об урожае. Звягинцев возится с трактором, Лопахин хлопочет, как бы сварить раков. . Все для них ясно, все просто. Об отступлении, как и о смерти, почти не говорят. Война — это вроде подъема на крутую гору: победа там, на вершине, вот и идут, не рассуждая попустому о неизбежных трудностях пути, не мудрствуя лукаво. Собственные переживания у них на заднем плане, главное — добраться до вершины, добраться во что бы то ни стало! Скользят, обрываются, падают, но снова подымаются и идут. Какой дьявол сможет остановить их? Ногти оборвут, кровью будут истекать, а подъем все равно возьмут. Хоть на четвереньках, но долезут!»

Николаю было тепло и радостно думать о людях, с которыми связала его боевая дружба, но вскоре размышления его прервал Лопахин. Потный и красный, он подошел торопливыми шагами, отдуваясь, сказал:

— Ну и жарища! Прямо адово пекло.— И испытующе взглянул на Николая, пытаясь по лицу определить, слышал он его разговор со старухой или нет.

— Насчет щей интересовался? — спросил Николай.

— Какие там щи, если раков будем варить! — раздраженно ответил Лопахин.

— Что же ты так долго там пробыл?

Лопахин воровато повел глазами, ответил:

— Старушка такая веселая, разговорчивая попалась, никак не уйдешь. Все ее интересует: кто мы, да откуда, да куда идем... Прямо прелесть, а не старушка! Сыны у нее тоже в армии, ну, она увидела военного и, конечно, растаяла, угощать затеялась, сметаны предлагала...

— И ты отказался? — испуганно спросил Николай.

Лопахин смерил его уничтожающим взглядом.

— Что я странник или нищий какой, чтобы у бедной старушки последнюю сметану сожрать?

— Напрасно отказался,— грустно сказал Николай.— За сметану можно бы было заплатить ей.

Глядя в сторону, Лопахин сказал:

— Я не знал, что ты такой любитель сметаны, а то бы, конечно, взял. Ну да это дело поправимое: обратно ведро я не понесу, хватит с меня этого удовольствия, ты отнесешь и, кстати, сметаны попросишь. Старушка такая добрая, что и копейки с тебя не возьмет. Ты не вздумай предлагать ей денег, а то обидишь ее. Она мне так и сказала: «До того мне жалко отступающих бойцов, до того жалко, что готова все им отдать!» Ну, пошли, а то раки наши подохнут к черту!

* * *

Николай доел кашу, вымыл и насухо вытер котелок. Лопахин не стал есть свою порцию. Он на корточках сидел около костра, мешал палкой в ведре и с вожделением смотрел на раков, вытянувших неподвижные клешни из окутанной паром воды. Приторный запах разваренного укропа стоял возле костра, и Лопахин время от времени шевелил ноздрями, вкусно причмокивал и говорил:

— Ну, просто совсем, как на Садовой в Ростове, в гостинице «Интурист»: укропчиком пахнет, свежими раками... Полдюжины пива бы сюда, ледяного, «трехгорного», и больше ничего не надо. Ой, держите меня, товарищи! От этих ароматов я в огонь могу свалиться!

По переулку, с интервалами, шли на восток автомашины медсанбата. Последней прошла открытая американская машина, новенькая, тускло отсвечивающая зеленой краской, но уже во многих местах продырявленная пулями, с изуродованным осколками капотом. Прислонясь к бортам, в ней сидели легкораненые; оттеняя их смуглые, загорелые лица, ослепительно белели свежие бинты.

Хоть бы брезентом накрыли машину,— с досадой сказал Николай.— Испекутся ведь на такой жаре!

Высокий красноармеец проводил взглядом раненых, вздохнул.

За каким лешим понесло их днем? Степь голая, налетят самолеты, ну и наделают лапши. Соображения у людей нету!

А может, они по необходимости тронулись,— возразил другой.— Вон что-то и саперы перестали молотками стучать, одни мы прохлаждаемся.

Николай прислушался: в хуторе стояла нехорошая тишина, слышался только удаляющийся шум автомашины да беззаботное воркование горлинки, но вскоре с запада донесся знакомый, стонущий гул артиллерийской стрельбы.

Улыбнулись нам раки! — с отчаянием в голосе воскликнул Лопахин и замысловато, по-шахтерски выругался.

Раков, действительно, не удалось доварить. Через несколько минут полк подняли по тревоге. Капитан Сумсков бегло оглядел построившихся красноармейцев и, подергивая контуженной головой, слегка волнуясь, сказал:

Товарищи! Получен приказ: занять оборону на высоте, находящейся за хутором, на скрещении дорог. Оборонять высоту до подхода подкреплений. Задача ясна? За последние дни мы много потеряли, но сохранили знамя полка, надо сохранить и честь полка. Держаться будем до последнего!

Полк выступил из хутора. Звягинцев толкнул Николая локтем и, оживленно блестя глазами, сказал:

— В бой идти со знаменем — это подходяще, а уж отступать с ним — просто не дай бог! За эти дни так оно мне глаза намозолило, что я не раз думал: «Хоть бы его Петьке Лисиченко отдали, чтобы он его с собой при кухне тайком вез, а то идем к противнику спиной и со знаменем». Даже как-то конфузно перед людями было и за себя и за это знамя...— Он помолчал немного и спросил: — Как предполагаешь, устоим?

Николай пожал плечами, уклончиво ответил:

— Надо бы устоять.— А про себя подумал: «Вот она, романтика войны! От полка остались рожки да ножки, сохранили только знамя, несколько пулеметов и противотанковых ружей да кухню, а теперь вот идем становиться заслоном... Ни артиллерии, ни минометов, ни связи. Интересно, от кого капитан получил приказ? От старшего по

званию соседа? А где он, этот сосед? Хотя бы зенитчики поддержали нас в случае танковой атаки, но они, наверное, потянутся к Дону прикрывать переправу. А чего, собственно, они околачивались в этом хуторе? Все устремились к Дону, по степям бродят какие-то дикие части, обстановки не знает, должно быть, и сам командующий фронтом, и нет сильной руки, чтобы привести все это в порядок... И вот всегда такая чертовщина творится при отступлении!»

На минуту Николай тревожно подумал: «А что если окружат, навалятся большим количеством танков, а подкрепления при этой неразберихе не успеют подойти?»

Но настолько сильна была горечь перенесенного поражения, что даже эта пагубная мысль не вызвала в его сознании страха, и, мысленно махнув на все рукой, он с веселой злостью подумал: «Э, да черт с ним! Скорее к развязке! Если успеем окопаться,— на фрицах сегодня отыграемся! Ох, и отыграемся же! Лишь бы патронов хватило. Народ остался в полку бывалый, большинство — коммунисты, и капитан хорош,— продержимся!»

Около ветряной мельницы босой белоголовый мальчик лет семи, пас гусей, он подбежал поближе к дороге, остановился, чуть шевеля румяными губами, восхищенно рассматривая проходивших мимо красноармейцев. Николай пристально посмотрел на него и в изумлении широко раскрыл глаза: до чего же похож! Такие же, как у старшего сынишки, широко поставленные голубые глаза, такие же льняные волосы... Неуловимое сходство было и в чертах лица и во всей небольшой, плотно сбитой фигурке. Где-то он теперь, его маленький, бесконечно родной Николенька Стрельцов? Захотелось еще раз взглянуть на мальчика, так разительно похожего на сына, но Николай сдержался: перед боем не нужны ему воспоминания, от которых размякает сердце. Он вспомнит и подумает о своих осиротелых детишках и об их плохой матери не в последнюю минуту, как принято писать в романах, а после того, как отбросят немцев от безымянной высоты. А сейчас автоматчику Николаю Стрельцову надо плотнее сжать губы и постараться думать о чем-либо постороннем, так будет лучше...

Некоторое время взволнованный Николай шел, глядя прямо перед собой невидящими глазами и тщетно стараясь восстановить в памяти, сколько осталось у него в вещевом мешке патронов, но потом все же не выдержал искушения, оглянулся: мальчик, пропустив колонну, все еще стоял у дороги, смотрел красноармейцам вслед и робко, прощаль-

но помахивал поднятой над головой загорелой ручонкой. И снова, так же, как и утром, неожиданно и больно сжалось у Николая сердце, а к горлу подкатил трепещущий горячий клубок.

* * *

Высушенная солнцем целинная земля на высоте была тверда, как камень. Лопатка с трудом вонзалась в нее на несколько сантиметров, откалывая мелкие, крошащиеся куски, оставляя на месте среза глянцевито-блестящий след.

Бойцы окапывались с лихорадочной поспешностью. Недавно пролетел немецкий разведчик. Он сделал круг над высотой, не снижаясь, дал две короткие пулеметные очереди и ушел на восток.

«Теперь вскорости жди гостей»,— заговорили красноармейцы.

Николай вырыл обчин глубиною в колено, выпрямился, чтобы перевести дух. Неподалеку окапывался Звягинцев. Гимнастерка на спине его стала влажной и темной, по лицу бисером катился пот.

— Это не земля, а увечье для народа! — сказал он, бурно дыша, вытирая рукавом багровое лицо.— Ее порохом рвать надо, а не лопаткой ковырять. Спасибо хоть немец не нажимает, а то, под огнем лежа, в такую землю не сразу зароешься.

Николай прислушался к стихавшему вдали орудийному гулу, а потом, отдохнув немного, снова взялся за лопатку. В глаза и ноздри лезла едкая пыль, тяжко колотилось сердце, и трудно было дышать. Он вырыл окоп глубиною почти в пояс, когда почувствовал вдруг, что без передышки уже не в состоянии выбросить со дна ямы отрытую землю, и, с остервенением сплюнув хрустевший на зубах песок, присел на край окопа.

— Ну как, доходная работенка? — спросил Звягинцев.

— Вполне.

— Вот, Микола, война так война! Сколько этой землицы лопаткой перепашешь, прямо страсть! Считаю так, что на фронте я один взрыл ее не меньше, чем колесный трактор за сезон. Ни в какие трудодни нашу работу не уложишь!

— А ну, кончай разговоры! — строго крикнул лейтенант Голощеков, и Звягинцев с не присущей ему ловкостью нырнул в окоп.

Часам к трем пополудни окопы были отрыты в полный рост. Николай нарвал охапку сизой мелкорослой полыни, тщательно замаскировал свою ячейку, в выдолбленную в передней стенке нишу сложил диски и гранаты, в ногах поставил развязанный вещевой мешок, где рядом с немудреным солдатским имуществом россыпью лежали патроны, и только тогда внимательно осмотрелся по сторонам.

Западный склон высоты полого спускался к балке, заросшей редким молодым дубняком. Кое-где по склону зеленели кусты дикого терна и боярышника. Два глубоких оврага, начинаясь с обеих сторон высоты, соединялись с балкой, и Николай успокоенно подумал, что с флангов танки не пройдут.

Жара еще не спала. Солнце по-прежнему нещадно калило землю. Горький запах вянущей полыни будил неосознанную грусть. Устало привалившись спиной к стенке окопа, Николай смотрел на бурую, выжженную степь, густо покрытую холмиками старых сурчиных нор, на скользившего над верхушками ковыля такого же белесого, как ковыль, степного луня. В просветах между стебельками полыни виднелась непроглядно густая синева неба, а на дальней возвышенности в дымке неясно намечались контуры перелесков, отсюда казавшихся голубыми и словно бы парящими над землей.

Николая томила жажда, но он отпил из фляги только один глоток, зная по опыту, как дорога во время боя каждая капля воды. Он посмотрел на часы. Было без четверти четыре. В томительном ожидании прошло еще с полчаса. Николай жадно докуривал вторую папиросу, когда послышался далекий гул моторов. Он рос, ширился и звучал все отчетливее и грознее, этот перекатывающийся, низко повисший над землею гром. По проселку, прихотливо извивавшемуся вдоль балки, длинным серым шлейфом потянулась пыль. Шли танки. Николай насчитал их четырнадцать. Они скрылись в балке, рассредоточиваясь, занимая исходное положение перед атакой. Гул моторов не затихал. Теперь по проселку быстро двигались автомашины с пехотой. Последним прополз и скрылся за откосом балки приземистый бронированный бензозаправщик.

И вот наступили те предшествующие бою короткие и исполненные огромного внутреннего напряжения минуты, когда учащенно и глухо бьются сердца и каждый боец, как бы много ни было вокруг него товарищей, на миг чувствует ледяной холодок одиночества и острую, сосущую сердце тоску. Николаю было знакомо и это чувство и источ-

причины порождающие его; когда однажды он заговорил об этом с Лопахиным, тот с несвойственной ему серьезностью сказал: «Воюем-то мы вместе, а умирать будем порознь, и смерть у каждого из нас своя, собственная, вроде вещевого мешка с инициалами, написанными чернильным карандашом... А потом, Коля, свидание со смертью — это штука серьезная. Состоится оно, это свидание, или нет, а все равно сердце бьется, как у влюбленного, и даже при свидетелях ты чувствуешь себя так, будто вас только двое на белом свете: ты и она... Каждый человек живой, чего же ты хочешь?»

Николай знал, что как только начнется бой, на смену этому чувству придут другие: короткие, вспыхивающие, может быть, не всегда подвластные разуму... Прерывисто вздохнув, он стал пристально всматриваться в тонкую зеленую полоску, отделявшую балку от склона высоты. Там, за этой полоской, все еще глухо и ровно гудели моторы. У Николая от напряжения заслезились глаза, а все его большое, теперь уже не в полной мере принадлежащее ему тело стало делать десятки мелких, ненужных движений: зачем-то руки ощупали лежавшие в нише диски, как будто эти тяжелые и теплые от солнца диски могли куда-то исчезнуть, потом он поправил складки гимнастерки и все так же, не отрываясь взглядом от балки, немного подвинул автомат, а когда с бруствера посыпались сухие комочки глины, носком сапога нащупал и растоптал их, раздвинул веточки полыни, хотя обзор и без того был достаточно хорош, пошевелил плечами... Это были непроизвольные движения, и Николай не замечал их. Поглощенный наблюдением, он пристально, не отрываясь, смотрел на запад и не ответил на тихий оклик Звягинцева.

В балке взревели моторы, показались танки. Следом за ними, не пригибаясь, во весь рост шла пехота.

«До чего же обнаглели проклятые! Идут, как на параде... Ну, мы вам сейчас устроим встречу! Жаль только, что артиллерии нет, а то приняли бы ваш парад по всем правилам»,— думал Николай, с тяжелой, захватывающей дыхание ненавистью глядя на уменьшенные расстоянием фигурки врагов.

Танки шли на малой скорости, не отрываясь от пехоты, осторожно минуя бугорки сурчиных нор, прощупывая пулеметными очередями подозрительные места. Николай видел, как, словно от ветра, колыхнулся росший метрах в двухстах впереди куст боярышника и, срезанные пулями, с него посыпались листья и ветки.

Танки повели с ходу и пушечный огонь. Снаряды ложились, не долетая высоты, по большей части около кустов, а потом черные фонтаны взрывов стали перемещаться, придвигаясь к окопам, и Николай прижался к стенке грудью, готовый в любую секунду стремительно пригнуться.

Когда танки прошли бо́льшую половину расстояния и, достигнув кустов, увеличили скорость, Николай услышал протяжные слова команды. Почти одновременно открыли огонь расчеты противотанковых ружей и пулеметчики, в бубнящую дробь автоматов вплелись по-особому сухие и трескучие винтовочные выстрелы.

Некоторое время отстававшая от танков немецкая пехота, неся потери, все еще продвигалась вперед, потом залегла, прижатая к земле огнем.

Выстрелы бронебойщиков участились. Первый танк остановился, не дойдя до группы терновых кустов, второй вспыхнул, повернул было обратно и стал, протянув к небу дегтярно-черный, чуть колеблющийся дымный факел. На флангах загорелись еще два танка. Бойцы усилили огонь, стреляя по пытавшейся подняться пехоте, по щелям, по выскакивавшим из люков горевших машин танкистам.

Пятый танк успел подойти к линии обороны метров на сто двадцать, воспользовавшись тем, что прикрывавшее центр противотанковое ружье бронебойщика Борзых умолкло. Но навстречу танку уже полз ефрейтор Кочетыгов. Прижимаясь к земле, маленький, юркий Кочетыгов быстро скользил между бурыми холмиками сурчиных нор, и только полоска слегка колеблющегося ковыля еле приметно указывала его движение.

Николай видел, как, стремительно привстав, Кочетыгов взмахнул отведенной в сторону рукой и тотчас же упал, а навстречу грохочущей гусеницами стальной громадине, описывая тяжелую дугу, полетела противотанковая граната.

С левой стороны танка поднялся прорезанный косым, бледным пламенем широкий столб земли, словно неведомая огромная птица взмахнула вдруг черным крылом, и танк, судорожно содрогнувшись, повернулся на одной гусенице и застыл на месте, подставив под огонь отмеченный крестом борт.

Умолкшее за несколько минут до этого ружье бронебойщика Борзых снова заговорило, расстреливая в упор подбитую, беспомощно завалившуюся на бок машину. После первого же выстрела из щелей танка показался дымок,

Пулемет на танке залился длинной, захлебывающейся очередью и смолк. Танкисты не захотели или не смогли уже покинуть машину, спустя несколько минут там стали рваться боеприпасы, и освобожденный дым хлынул из пробоин и безмолвной башни густыми, пенистыми клубами.

Придавленная пулеметным огнем, пехота противника несколько раз пыталась подняться и снова залегала. Наконец, она поднялась, короткими перебежками пошла на сближение, но в это время танки круто развернулись, двинулись назад, оставив на склоне шесть догорающих и подбитых машин.

Откуда-то, словно из-под земли, Николай услышал глухой, ликующий голос Звягинцева:

— Микола! Умыли мы их, б...! Они с ходу хотели взять, нахрапом, а мы их умыли! Здорово мы их умыли! Пускай опять идут, мы их опять умоем!

Николай зарядил порожние диски, попил немного противно теплой воды из фляги, посмотрел на часы. Ему казалось, что бой длился несколько минут, а на самом деле с начала атаки прошло больше получаса, заметно склонилось на запад солнце, и лучи его уже стали утрачивать недавнюю злую жгучесть.

Еще раз глотнув воды, Николай с сожалением отнял от пересохших губ фляжку, осторожно выглянул из окопа. В ноздри ему ударил тяжелый запах горелого железа и бензина, смешанный с горьким, золистым духом жженой травы. Около ближайшего танка выгорала трава, по верхушкам ковыля метались мелкие, почти невидимые в дневном свете язычки пламени, на склоне дымились обугленные, темные остовы неподвижных танков, и словно бы больше стало холмиков возле сурчиных нор, только теперь не все они были однообразно бурого цвета, многие из них отсюда, с высоты, казались более плоскими, серо-зелеными, и Николай, всмотревшись, понял, что это трупы убитых немцев, и в душе пожалел, что серо-зеленых холмиков не так то уж много, как хотелось бы ему...

Из балки застучали пулеметы. Николай спрятал за бруствером голову; отдыхая, привалился потной спиной к стенке окопа, стал смотреть вверх. Только там, в этой холодной, ко всему равнодушной синеве ничто не изменилось: так же высоко и плавно кружил степной подорлик, изредка шевеля освещенными снизу широкими крыльями; белое с лиловым подбоем облачко, похожее на раковину и отливающее нежнейшим перламутром, по-прежнему сто-

яло в зените и словно совсем не двигалось; все так же откуда-то с вышины звучали простые, но безошибочно находящие дорогу к сердцу трели жаворонков; лишь слегка прозрачнее выглядела туманная дымка на дальней возвышенности, и обрамлявшие ее перелески теперь уже не казались невесомыми и как бы парящими над землей, а стали синее и приобрели осязаемую на взгляд, грубоватую плотность...

Николай ждал, что вторая атака немцев начнется, когда танки и автоматчики предпримут обходное движение, но немцы, видимо, торопились прорваться к скрещению дорог и выйти на лежавший за высотой грейдер: танки и сопровождавшая их пехота, как и в первый раз, с тупым упрямством пошли в лоб по усеянному трупами склону.

И снова, отсеченная от танков огнем, залегла на голом склоне пехота, и снова вырвавшиеся вперед танки на полной скорости устремились к линии обороны. Двум из них на правом фланге на этот раз удалось достигнуть окопов. Оба они были подорваны гранатами, но один успел проутюжить несколько ячеек и, уже горящий, все еще пытался двигаться вперед, бессильно и яростно гремел единственной уцелевшей гусеницей, вращая башней, вел огонь, а по накалившейся броне его уже стремительно скользили иссиня-желтые светлячки, и на бортах шелушилась от жары, сворачивалась в трубки зловеще-темная краска.

Косые солнечные лучи били под каску, было трудно смотреть и держать на прицеле перебегающие и порою закрытые солнцем фигурки. Николай стрелял короткими очередями, экономя патроны, бил только наверняка, но все же у него очень устали ослепленные солнцем глаза, и когда вторая атака была отбита, он вздохнул и с наслаждением на короткий миг закрыл глаза.

— Опять их умыли...— зазвучал в стороне глухой, на этот раз более сдержанный голос Звягинцева.— Ты живой, Микола? Живой? Ну и хорошо. Хватит ли у нас припасу умывать их до конца, вот в чем беда... Ты их бьешь, а они лезут, как вредная черепашка на хлеб...

Он еще что-то бормотал приглушенно и невнятно, но Николай уже не слушал его: низкий, прерывистый, басовитый гул летевших где-то немецких самолетов приковал к себе все его внимание.

«Только этого и недоставало...» — подумал он, тщетно шаря по небу глазами, проклиная в душе мешавшее смотреть солнце.

Двенадцать «юнкерсов» шли северо-западнее высоты, направляясь, очевидно, к Дону. В первый момент Николай, определив направление их полета, так и порешил, что самолеты идут бомбить переправу. Он даже облегченно вздохнул, мельком подумав: «Пронесло!» Но почти тотчас же увидел, как четверка самолетов откололась от строя и, развернувшись, пошла прямо на высоту.

Николай опустился в окоп поглубже, изготовился к стрельбе, но успел дать всего лишь единственную очередь навстречу стремительно и косо падавшему на него самолету. К ревущему вою мотора присоединился короткий, нарастающий визг бомбы.

Николай не слышал потрясшего землю, обвального грохота взрыва, не видел тяжко вздыбившейся рядом с ним большой массы земли. Сжатая, тугая волна горячего воздуха смахнула в окоп насыпь переднего бруствера, с силой откинула голову Николая. Он ударился тыльной стороной каски о стенку так, что лопнул подбородный ремень, и потерял сознание, полузадушенный, оглушенный...

Очнулся Николай, когда самолеты, с двух заходов ссыпав свой груз, давно уже удалились и немецкая пехота, начав третью по счету атаку, приблизилась к линии обороны почти вплотную, готовясь к решающему броску.

Вокруг Николая гремел ожесточенный бой. Из последних сил держались считанные бойцы полка; слабел их огонь: мало оставалось способных к защите людей; уже на левом фланге пошли в ход ручные гранаты; оставшиеся в живых уже готовились встречать немцев последним штыковым ударом. А Николай, полузасыпанный землей, все еще мешковато лежал на дне окопа и, судорожно всхлипывая, втягивал в себя воздух, при каждом выдохе касаясь щекой наваленной в окопе земли... Из носа у него шла кровь, щекочущая и теплая. Она шла, наверное, давно, так как успела наростами засохнуть на усах и склеить губы. Николай провел рукою по лицу, приподнялся. Жестокий приступ рвоты снова уложил его. Потом прошло и это. Николай привстал, осмотрелся помутневшими глазами и понял все: немцы были близко.

Слабыми руками долго, мучительно долго вставлял Николай новый диск, долго приподнимался, пытаясь встать на колени. У него кружилась голова, кислый запах извергнутой пищи порождал новые приступы тошноты. Но он преодолел и тошноту, и головокружение, и отвратительную, обезволившую все его тело слабость. И он стал

стрелять, глухой и равнодушный ко всему, что творилось вокруг него, властно движимый двумя самыми могучими желаниями: жить и биться до последнего!

Так проходили минуты, измеряемые для него часами. Он не видел, как с юга по той стороне балки на немецкие автомашины обрушились три «КВ», сопровождаемые пехотой мотострелковой бригады, и до его помраченного сознания не сразу дошло, почему немцы, лежавшие цепью в каких-нибудь ста метрах от его окопа, вдруг ослабили огонь, стали поспешно отползать, а потом поднялись и беспорядочно побежали, но не назад, к балке, а на северо-запад, к глубокому оврагу.

Они катились наискось по склону, как серо-зеленые листья, сорванные и гонимые сильным ветром, и многие из них так же, как листья, падали, сливались с травой и больше уже не подымались...

Только когда мимо Николая, прыгая через воронки, пробежали Звягинцев, лейтенант Голощеков и еще несколько бойцов с бледными от злобы и торжествующей радости лицами, он понял, что́ произошло. В горле у него хрипло заклокотало, и он тоже, как и бежавшие мимо него красноармейцы, что-то закричал, не слыша собственного голоса; он тоже хотел, как бывало прежде, вскочить и бежать рядом с товарищами, но руки его в бесплодных попытках упереться старчески бессильно, жалко заскользили, заметались по шероховатому краю окопа. Выбраться из окопа он не смог... Николай навалился грудью на разбитый бруствер и застонал, а потом заплакал от ярости и досады на собственное бессилие и от счастья, что вот оно — сбылось! — высоту отстояли, и вовремя подошла подмога, и бежит трижды проклятый, ненавистный враг!..

Он не видел, как, настигнув у самого оврага бежавших немцев, начали работать штыками Звягинцев и остальные; не видел, как, далеко отстав от устремившихся вперед красноармейцев, тяжело припадая на раненую ногу, шел сержант Любченко, держа в одной руке неразвернутое знамя, другой прижимая к боку выставленный вперед автомат; не видел и того, как выполз из разбитого снарядом окопа капитан Сумсков... Опираясь на левую руку, капитан полз вниз с высоты, следом за своими бойцами; правая рука его, оторванная осколками у самого предплечья, тяжело и страшно волочилась за ним, поддерживаемая мокрым от крови лоскутом гимнастерки; иногда капитан ложился на левое плечо, а потом опять полз. Ни кровинки не было в его известково-белом лице, но он все же двигался вперед и,

запрокидывая голову, кричал ребячески тонким, срывающимся голоском:

— Орелики! Родные мои, вперед!.. Дайте им жизни!

Николай ничего этого не видел и не слышал. На мягком вечернем небе только что зажглась первая, трепетно мерцающая звездочка, а для него уже наступила черная ночь — длительное и долгое беспамятство.

* * *

Подожженные немецкими авиабомбами, всю ночь горели на корню огромные массивы созревших хлебов. Всю ночь вполнеба стояло багровое, немеркнущее, трепетное зарево, и в этом освещавшем степь жестоком сиянии войны голубой и призрачный свет ущербленного месяца казался чрезмерно мягким и, пожалуй, даже совсем ненужным.

Запах гари вместе с ветром перемещался на восток, неотступно сопровождая отходивших к Дону бойцов, преследуя их, как тягостное воспоминание. И с каждым километром пройденного пути все мрачнее становилось на душе у Звягинцева, словно горький, отравленный воздух пожарища оседал у него не только на легких, но и на сердце...

По дороге к переправе шли последние части прикрытия, тянулись нагруженные домашним скарбом подводы беженцев, по обочинам проселка, лязгая гусеницами, подымая волнистую пыль, грохотали танки, и отары колхозных овец, спешно перегоняемых к Дону, завидев танки, в ужасе устремлялись в степь, исчезали в ночи. И долго еще в темноте слышался дробный топот мелких овечьих копыт, и, затихая, долго еще звучали плачущие голоса женщин и подростков-гонщиков, пытавшихся остановить и успокоить ошалевших от страха овец.

В одном месте, обходя остановившуюся на дороге автоколонну, Звягинцев сорвал на краю поля уцелевший от пожара колос, поднес его к глазам. Это был колос пшеницы «мелянопус», граненый и плотный, распираемый изнутри тяжелым зерном. Черные усики его обгорели, рубашка на зерне полопалась под горячим дыханием пламени, и весь он — обезображенный огнем и жалкий — насквозь пропитался острым запахом дыма.

Звягинцев понюхал колос, невнятно прошептал:

— Милый ты мой, до чего же ты прокоптился! Дымом-то от тебя воняет, как от цыгана... Вот что с тобой проклятый немец, окостенелая его душа, сделал!

Он бережно размял колос в ладонях, вышелушил зерно, провеял его, пересыпая из руки в руку, и сыпал в рот, стараясь не уронить ни одного зернышка, а когда стал жевать, раза три тяжело и прерывисто вздохнул.

За долгие месяцы, проведенные на фронте, много видел Звягинцев смертей, людского горя, страданий; видел разрушенные и дотла сожженные деревни, взорванные заводы, бесформенные груды кирпича и щебня на месте, где недавно красовались города, видел растоптанные танками и насмерть покалеченные артиллерийским огнем фруктовые сады, но горящий спелый хлеб на огромном степном просторе за все время войны довелось ему в этот день видеть впервые, и душа его затосковала. Долго шел он, глотая невольные вздохи, сухими глазами внимательно глядя в сумеречном свете ночи по сторонам на угольно-черные, сожженные врагом поля, иногда срывая чудом уцелевший где-либо возле обочины дороги колос пшеницы или ячменя, думая о том, как много и понапрасну погибает сейчас народного добра и какую ко всему живому безжалостную войну ведет немец.

Только иногда глаза его отдыхали на не тронутых огнем зеленых разливах проса да на зарослях кукурузы и подсолнуха, а потом снова расстилалась по обеим сторонам дороги выжженная земля, такая темная и страшная в своей молчаливой печали, что временами Звягинцев не мог на нее смотреть.

Тело его смертельно устало и молило об отдыхе, но отягощенный виденным ум продолжал бодрствовать, и Звягинцев, размышляя о войне и чтобы отогнать от себя сон, чуть слышно заговорил:

— Ах, немец ты, немец, паразит ты несчастный! Привык ты, вредный гад, всю жизнь на чужой земле топтаться и нахальничать, а вот как на твою землю перейдем с войной, тогда что? Тут у нас развязно ты себя держишь, очень даже развязно, и мирных баб с мирными детишками сничтожаешь, и вот, изволь видеть, какую махину хлеба спалил, и деревни наши рушишь с легким сердцем... Ну, а что же с тобой будет, когда война на твою фрицовскую землю перехлестнется? Тогда запоешь ты, немец, окостенелая твоя душа, на другой лад! Сейчас ты, в окопах сидя, на губных гармошках играешь, а тогда и про гармошку забудешь, подымешь ты тогда морду кверху, будешь глядеть вот

на этот ясный месяц и выть дурным собачьим голосом, потому что погибель твоя будет к этому времени у тебя на воротнике висеть, и ты это дело нюхом почуешь! Столько ты нам, немец, беды наделал, столько посиротил детишек и повдовил наших жен, что нам к тебе непременно надо идти расквитываться. И ни один наш боец или командир не скажет тебе тогда милосердного слова, ни одна душа не подымется на твое прощение, уж это точно! И я непременно доживу до того дня, немец, когда по твоей поганой земле с дымом пройдемся, и погляжу я тогда, гад ты ползучий и склизкий, каким рукавом ты будешь слезу у себя вытирать. Должен я этого достигнуть потому, что невыносимо злой я на тебя и охота мне тебя доконать и упокоить на веки вечные в твоем змеином гнезде, а не тут, в какой-нибудь нашей губернии...

Так и шел он, тихо бормоча, обращаясь к неведомому немцу, в этот момент олицетворявшему для него всю немецкую армию и все зло, содеянное этой армией на русской земле, зло, которое во множестве видел Звягинцев за время войны, зло, которое и сейчас светило ему в пути зловещими отсветами пожаров.

Мысли вслух помогали Звягинцеву бороться со сном, и как-то утешнее становилось у него на сердце от сознания, что все равно, рано или поздно, но не уйти врагу от расплаты, как бы ни рвался он сейчас вперед, как бы ни пытался отсрочить свою неминучую гибель.

— Придем к тебе с разором, собачий сын, придем! Любишь в гости ходить — люби и гостей принимать! — чуть погромче сказал взволнованный своими рассуждениями Звягинцев.

И в это время устало топавший сзади Лопахин положил ему руку на плечо, спросил:

— Что это ты, комбайнер, бормочешь, как тетерев на току? Подсчитываешь, сколько хлеба сгорело? Брось, не мучайся, на эти убытки у тебя в голове цифр не хватит. Тут профессора математики надо приглашать.

Звягинцев умолк, а потом уже другим, тихим и сонным голосом ответил:

— Это я сон от себя разговором прогоняю... А хлеб мне, как крестьянину, конечно, жалко. Боже мой, какой хлеб-то пропал! Сто, а то и сто двадцать пудов с гектара, это, брат, понимать надо. Вырастить такой хлебец — это тебе не угля наковырять.

— Хлеб, он сам растет, а уголь добывать надо, ну, да это не твоего ума дело, лучше объясни мне, почему ты, как

сумасшедший, сам с собой разговариваешь? Поговорил бы со мною, а то бормочешь что-то про себя, а я и думаю: в уме он или последний за эту ночь выжил? Ты сам с собой не смей больше разговаривать, я эти глупости строго воспрещаю.

— Ты мне не начальство, чтобы воспрещать,— с досадой сказал Звягинцев.

— Ошибаешься, дружок, именно я теперь и начальство над тобой.

Звягинцев на ходу повернулся лицом к Лопахину, угрюмо спросил:

— Это почему же такое ты оказался в начальниках?

Лопахин постучал обкуренным ногтем по каске Звягинцева, насмешливо сказал:

— Головой надо думать, а не этой железкой! Почему я начальство над тобой, говоришь? А вот почему: при наступлении командир находится впереди, так? При отступлении — сзади, так? Когда высоту за хутором обороняли, мой окоп был метров на двадцать вынесен впереди твоего, а сейчас вот я иду сзади тебя. Теперь и пораскинь своим убогим умом, кто из нас начальник — ты или я? И ты мне должен в настоящее время не грубить, а, наоборот, всячески угождать.

— Это, то есть, почему же? — еще более раздраженно спросил Звягинцев, плохо воспринимавший шутки и не переносивший балагурства Лопахина.

— А потому, еловая твоя голова, что от полка остались одни мелкие осколки, и если еще малость повоевать с таким же усердием, как и раньше, отстоять еще одну-две высотки,— то как раз останется нас в полку трое: ты да я да повар Лисиченко. А раз трое нас останется, то окажусь я в должности командира полка, а тебя, дурака, назначу начальником штаба. Так что на всякий случай ты дружбу со мной не теряй.

Звягинцев сердито дернул плечом, поправляя винтовочный ремень, и, не поворачиваясь, сдержанно сказал:

— Таких, как ты, командиров не бывает.

— Почему?

— Командир полка должен быть серьезный человек, самостоятельный на слова...

— А я разве несерьезный, по-твоему?

— А ты балабон и трепло. Ты всю жизнь шутки шутишь и языком, как на балалайке, играешь. Ну какой из тебя может быть командир? Грех один, а не командир.

Лопахин слегка покашлял, и когда заговорил снова, в голосе его явственно зазвучали смешливые нотки:

— Эх, Звягинцев, Звягинцев, простота ты колхозная! Командиры бывают разные по уму и по характеру, бывают среди них и серьезные, и веселые, и умные, и с дурцой, а вот уж начальники штабов все на одну колодку деланные, все они — праведные умницы. В прошедшие времена, доложу я тебе, были такие случаи: командир глуп, как бутылочная пробка, но по характеру человек отважный, напористый, на горло ближнему своему умеет наступить, кое-что в военном деле смыслит, ну, и, конечно, грудь у него, как у старого воробья, колесом, усы в струнку, голос для команды зычный, матерными словами он, браток, владеет в совершенстве, словом, орел-командир, и больше ничего не скажешь. Но в войне на одной бравой выправке далеко не уедешь, ты согласен с этим?

Звягинцев охотно согласился, и Лопахин продолжал:

— Вот в таком случае и дают командиру умного начальника штаба. Глядишь, куда лучше дела у нашего орла-командира пошли! Высшее начальство им довольно, авторитет этого командира растет, будто на дрожжах, все командира прославляют, все о нем говорят, а начальник штаба — умный такой, собака, но замухрыжистый от скромности,— под командирской славой, как цветок под лопухом, в тени прячется... Никто его до поры до времени не чествует, никто Иван Ивановичем не зовет, а всему делу он голова, командир-то только вроде вывески. Вот такие дела бывали при царе Фараоне.

Довольно улыбаясь, Звягинцев сказал:

— Иногда ты, Петя, толковые штуки говоришь. Конечно, если мне, скажем к примеру, быть бы возле тебя вроде как бы начальником штаба,— то уж я не дал бы тебе всякие глупости вытворять! Все-таки я человек серьезный, а ты, не в обиду тебе будь сказано, с ветерком в голове. Понятно, что при мне у тебя дела пошли бы лучше.

Лопахин огорченно покачал головой, с упреком сказал:

— Вот какой ты, Звягинцев, нехороший человек! Все слова мои повернул в свою пользу...

— Как, то есть, я их повернул? — настороженно спросил Звягинцев.

— Повернул к своей выгоде,— вот и все. Неудобно так делать!

— Постой-ка, ты же сам говорил, что при умном начальнике штаба у командира дела идут лучше, говорил ты так или нет?

С лицемерным смирением Лопахин ответил:

— Говорил, говорил, я от своих слов не отказываюсь. Это факт, что дела идут лучше, когда у глуповатого командира умный начальник штаба, но у нас-то с тобой будет как раз наоборот: из меня выйдет толковый командир, а ты, хоть и без князька в голове, все же будешь у меня начальником штаба. Теперь тебе, конечно, безумно интересно знать, почему я именно тебя, такого дурака, и вдруг назначу начальником штаба? Сейчас все объясню, не волнуйся. Во-первых, назначу я тебя только тогда, когда в полку из рядового состава останется в целости только один повар, на веки вечные проклятый богом Петька Лисиченко. Его я переведу в стрелки, им буду командовать, а ты будешь разрабатывать всякие мои стратегические замыслы, попутно кашку будешь варить и тянуться передо мной будешь, как сукин сын. Во-вторых, если, кроме Петьки Лисиченко, в составе полка останется еще хоть несколько бойцов,— то не видать тебе должности начштаба, как своих ушей! Тогда самое большее, на что ты можешь рассчитывать,— это должность адъютанта при моей высокой особе. Будешь у меня по совместительству адъютантом и ординарцем. Сапоги будешь мне чистить, за обедом и за водкой на кухню бегать, ну и все такое прочее по хозяйству...

Разочарованно слушавший Звягинцев ожесточенно сплюнул и промолчал. Шагавший рядом с Лопахиным красноармеец тихо засмеялся, и тогда Звягинцев, как видно выведенный из терпения, сказал:

— Балалайка ты, Лопахин! Пустой человек. Не дай бог под твоим командованием служить. От такой службы я бы на другой же день удавился. Ведь ты за день набрешешь столько, что и в неделю не разберешь.

— А ну, поаккуратней выражайся, а не то и в ординарцы не возьму.

— Горе у тебя когда-нибудь было, Лопахин? — помолчав, спросил Звягинцев.

Лопахин протяжно зевнул, сказал:

— Оно у меня и сейчас есть, а что?

— Что-то не видно по тебе.

— А я свое горе на выставку не выставляю.

— А какое же у тебя, к примеру, горе?

— Обыкновенное по нынешним временам. Белоруссию у меня немцы временно оттяпали, Украину, Донбасс, а теперь и город мой, небось, заняли, а там у меня жена, отец-старик, шахта, на какой я с детства работал... Товарищей многих за войну я потерял навсегда... Понятно тебе?

— Вот видишь, какой ты человек? — воскликнул Звягинцев. — Этакое у тебя горе, а ты все шутки шутишь. И после этого можно считать тебя серьезным человеком? Нет, пустой ты человек, одна внешность в тебе, а больше ничего нету. Удивляюсь я: как это тебя бронебойщиком поставили? Бронебойщик — это дело серьезное, не по твоему характеру; а характер у тебя веселый, ветреный, и, [illegible]ком, в духовом оркестре на какой-нибудь трубе играть, в медные тарелки бить или в барабан деревянной колотушкой стукать было бы для тебя самое подходящее дело.

— Звягинцев, опомнись! Скажи, что эти глупости ты спросонок наговорил, иначе влетит тебе от меня,— с притворным гневом прорычал Лопахин.

Но Звягинцев уже окончательно поборол одолевавший его сон и продолжал говорить с увлечением, иногда поворачиваясь лицом к Лопахину, заглядывая в его сонные, но смеющиеся глаза.

— А находишься ты не на своем месте, Петя, потому, что некоторые военные начальники по характеру вроде тебя: со сквозняком в голове. К примеру, почему меня сунули в пехоту, если я комбайнер по специальности и невыносимо люблю и уважаю всякие моторы? Вся статья мне бы в танкистах быть, а я в пехоте землю, как крот, ковыряю. Или же взять тебя: тебе бы только на барабане бить, людей музыкой веселить, а ты, изволь радоваться, бронебойщик, да еще первым номером заправляешь. А то и еще лучше истории бывают. Наша часть, в какую я сначала попал, формировалась на Волге в одном городке, там же стоял казачий кавалерийский запасный полк. И вот прибыло пополнение с Дона и из Ставропольской бывшей губернии. Казаков и ставропольцев определили к нам в пехоту: в саперы пошли казаки, в телефонисты, черт те куда только их не совали, а ремесленники из Ростова прибыли мобилизованные — их воткнули в кавалерию, штаны на них надели казачьи с красными лампасами, синие мундиры и так и далее. И вот казаки топорами тюкают, мосты учатся ладить да вздыхают, на лошадей глядя, а ростовские — все они мастеровые люди до войны были: то столяры, то маляры, то разные и подобные тому переплетчики — возле лошадей вертятся, боятся к ним приступать, потому что лошадей в мирное время они, может, только во сне и видели. А лошадей в полк прислали с Сальских калмыцких степей — трехлеток, неуков, совсем, то есть, необъезженных. Понимаешь, что там было? И смех и слезы! Бедные столяры-маляры начнут седлать иную необъезженную ло-

шадь, соберутся вокруг нее несколько человек, а она, проклятая, визжит, бьет передом и задом, кусается, а то упадет наземь и катается по ней, как некоторые непутевые женщины, которые в обмороки падают... Это что, порядок? Один раз я возле железнодорожного склада на посту стоял и видел, как маршевый эскадрон на фронт отправляли. Командир эскадрона командует седловку, а из полтораста бойцов человек сорок вот таких ростовских маляров да столяров по-настоящему седла накинуть лошади на спину не умеют, ей-богу, не брешу! Эскадронный схватился за голову руками и ругается так, что муха не пролетит, а чем эти столяры-маляры виноватые? Вот, братец ты мой, какие дела бывают! А все это потому, что иногда командиры такие попадаются, вроде тебя, с ветродуем в голове.

— Тронул я тебя на беду,— с нарочитым вздохом сказал Лопахин.— Тронул, а ты теперь и несешь околесицу, все в одну кучу собрал, и за здравие и за упокой читаешь, а все это для того, чтобы доказать, что командира из меня не выйдет. Назло тебе командиром стану, вот уж тогда я из тебя дурь выбью, вытяну тебя в ниточку и сквозь игольное ушко пропущу! Мне Коля Стрельцов, перед тем как в госпиталь его отправили, поручил за тобою присматривать. «Смотри,— говорит,— за этой полудурой, за Звягинцевым, а то не ровен час еще убьют его по глупости». Ну, вот я оберегаю тебя. Дай, думаю, заговорю с ним, отвлеку его от мрачных мыслей. А теперь и сам не рад, что затронул тебя. Теперь я уже думаю, чем бы тебе рот заткнуть, чтобы ты помолчал немного... Сухаря пожевать хочешь?

— Дай один.

— На два, только замолчи, не спорь со мной. Ужасно не люблю, когда подчиненные мне противоречат.

Звягинцев фыркнул, но сухарь все же взял, с хрустом разжевывая его, сонно заговорил:

— Вот Микола Стрельцов был настоящий, серьезный человек, не то что ты, пустозвон. И это ты врешь, чтобы он меня полудурой назвал. Он меня невыносимо уважал, и я его также. Мы с ним всегда и об семейной жизни разговаривали и обо всем вообще. Вот из него бы вышел командир, потому что человек он самостоятельный на слова, шибко грамотный: агрономом до войны работал. Его за серьезность характера даже жена бросила. А ты что есть такое? Шахтер, угольная душа, ты только уголь ковырять и можешь да из длинного своего ружья стреляешь кое-как, с грехом пополам...

Звягинцев долго еще говорил о достоинствах Стрельцова, а потом речь его стала тише, несвязней, и он умолк. Некоторое время он шел, низко опустив голову, спотыкаясь, и вдруг резко качнулся, вышел из рядов и направился в сторону. Лопахин увидел, как ноги Звягинцева на ходу стали медленно подгибаться в коленях, и понял, что Звягинцев уснул и вот-вот упадет. Бегом догнав товарища, Лопахин крепко взял его за локоть, встряхнул.

Давай задний ход, Аника-воин, нечего походный порядок ломать,— ласково сказал он.

И так неожиданны были и необычайны эти теплые нотки в грубом голосе Лопахина, что Звягинцев, очнувшись, внимательно посмотрел на него, хрипло спросил:

Я что-то вроде задремал, Петя?

Не задремал, а уснул, как старый мерин в упряжке. Не поддержи я тебя сейчас, ты бы на бровях прошелся. Ведь вот сила у тебя лошадиная, а на сон ты слабый.

Это верно,— согласился Звягинцев.— Я опять могу уснуть на ногах. Ты, как только увидишь, что я голову опускаю, пожалуйста, стукни меня в спину, да покрепче, а то не услышу.

Вот уж это я с удовольствием сделаю, стукну на совесть прикладом своей пушки промеж лопаток,— пообещал Лопахин и, обнимая Звягинцева за широкое плечо, протянул кисет: — На, Ваня, сделай папироску, сон от тебя и отвалит. Уж больно вид у тебя, у сонного, жалкий, прямо как у пленного румына, даже еще хуже.

Покорно следуя за Лопахиным, Звягинцев нерешительно подержал кисет в руке, со вздохом сожаления сказал:

Тут всего на одну цигарку, бери обратно, не стану я тебя обижать. Вот до чего мы табачком обнищали...

Лопахин отвел руку товарища, сурово проговорил:

- Закуривай, не рассуждай! — И, за напускной суровостью тщетно стараясь скрыть стыдливую мужскую нежность, закончил: — Для хорошего товарища не то что последний табак не жалко отдать, иной раз и последней кровинкой пожертвовать не жалко... А ты — товарищ подходящий и солдат ничего себе, от танков не бегаешь, штыком работаешь исправно, воюешь со злостью и до того, что с ног валишься на ходу. А я страсть уважаю таких неравнодушных, какие воюют до упаду: с немецкой подлюгой воевать надо сдельно, подрядился и дуй до победного конца, холоднокровной поденщиной тут не обойдешься.

Так что кури, Ваня, на доброе здоровье. А потом, знаешь, что? Ты, пожалуйста, за шутки мои не обижайся, может быть, мне с шуткой и жить и воевать легче, тебе же это неизвестно?

* * *

Последняя ли щепотка табаку, полученная от товарища в трудную минуту, ласковые ли нотки дружеского сочувствия, проскользнувшие в голосе Лопахина, а быть может, и острое чувство одиночества, которое испытывал Звягинцев, после того, как Николая Стрельцова увезла в медсанбат попутная двуколка, но что-то толкнуло Звягинцева на сближение с Лопахиным.

На заре, когда остатки полка влились в соединение, занявшее оборону на подступах к переправе, Звягинцев уже иначе, чем прежде, посматривал на ладившего запасную позицию Лопахина. Сам он, как всегда, кряхтя и ругая твердый грунт и горькую свою солдатскую жизнь, быстро отрыл окоп, а потом подошел к Лопахину, улыбаясь краешками губ, сказал:

— Давай пособлю, а то предбудущему командиру полка как-то вроде неудобно в земле ковыряться...— И, поплевав на руки, взялся за лопатку.

Лопахин с молчаливой признательностью принял услуги Звягинцева, но через несколько минут уже начальственно покрикивал на него, донимая непристойными шутками, и, похлопывая ладонью по горячей и мокрой от пота спине нового приятеля, говорил:

— Рой глубже, богомолец Иван! Что ты по-стариковски все больше сверху елозишь. В земляной работе, как и в любви, надо достигать определенной глубины, а ты норовишь сверху копаться. Поверхностный ты человек, через это тебе жена и письма редко шлет, вспомнить тебя, черта рыжего, ничем добрым не может...

Сухой, жилистый Лопахин работал с профессиональной горняцкой сноровистостью и быстротой, почти не отдыхая, не тратя времени на перекурки. На смуглом лице его с въевшейся в поры синеватой угольной пылью, слезинками блестели капельки пота, тонкие злые губы были плотно сжаты. Он ловко выворачивал лопаткой попадавшиеся в суглинке камни, а когда крупный камень не поддавался его усилиям, сквозь стиснутые зубы цедил такие фигурные, замысловатые ругательства, что даже Звягинцев — большой знаток по этой части — на минуту удивленно вы-

сморщился, качал головой и, облизывая пересыхающие губы, укоризненно говорил:

Господи боже мой, до чего же ты, Петя, сквернословить горазд! Да ты бы как-нибудь пореже ругался и не так уж заковыристо. Ругаешься-то не по-людски, будто по лестнице вверх идешь,— ждешь и не дождешься, когда ты на последнюю ступеньку ступишь...

Лопахин скупо обнажал в улыбке белые зубы и, блестя озорными светлыми глазами, говорил:

Это, браток, кто кого привык чаще вспоминать. У тебя вон за каждым словом — «господи боже мой», у меня — другая поговорка. А потом ты ведь — деревенщина, на комбайне катался да чистым кислородом дышал, у тебя от физического труда нервы в порядке, с чего бы ты приучился ругаться? А я шахтер, до войны в забое по триста с лишним процентов суточной нормы выгонял. Триста процентов выполнить — без ума, на одной грубой силе, не выполнишь,— стало быть, труд мой уже надо считать умственным трудом. Ну, и как у всякого человека умственного труда, интеллигентные нервы мои расшатались, а потому иногда для собственного успокоения и ругнешься со звоном, как полагается. А ты, если твое благородное воспитание не позволяет выслушивать мои облегчительные слова, заткни уши хлопьями; артиллеристы в мирное время, чтобы не оглохнуть от стрельбы, так делали, говорят, помогало.

Приготовив запасную позицию, Лопахин вздумал соединить оба окопа ходом сообщения, но уставший Звягинцев решительно запротестовал:

Ты что, зимовать тут собираешься? Не буду рыть.

Зимовать не зимовать, а упереться здесь я должен, пока остальные не переправятся. Видал, сколько техники к переправе ночью шло? То-то и оно. Не могу я все это добро немцам оставить, хозяйская совесть моя не позволяет. Понятно? — с необычайной серьезностью сказал Лопахин.

Да ты одурел, Петя! Когда же мы канаву в сорок метров отроем? Упирайся без канавы сколько хочешь, и на черта она тебе нужна? При нужде, когда приспичит, переползешь и так, переползешь, как миленький! Ну, что ты мне лопатку в зубы тычешь? Сказал, не буду рыть больше и не буду. Что я тебе — сапер, что ли? Дураков нет силу зря класть. Хочешь — тяни сам свой ход сообщения, хоть на километр длиной, а я, шалишь, брат, не стану!

А что же я, меняя позицию, по этой плешине должен

ползти? — Лопахин величественным жестом указал на голую землю, едва покрытую чахлой травкой.— Меня первой же очередью, как гвоздь по самою шляпку, в землю вобьют, отбивную котлету из меня сделают. Вот какая людская благодарность бывает: ты его грудью защищаешь от танков, а он лишний раз лопаткой ковырнуть ленится... Ступай к черту, без тебя выроем, только предупреждаю заранее: стану командиром, и представления к ордену тогда не жди от меня, как ты ни прыгай, как ни старайся отличиться, хоть живьем тогда кушай фрицев, а все равно ни шиша не получишь!

— Нашел чем напугать,— устало улыбаясь, сказал Звягинцев, но все же, хотя и с видимой неохотой, взялся за лопатку.

Пока он и второй номер расчета, Александр Копытовский — молодой, неповоротливый парень, с широким, как печной заслон, лицом и свисавшей из-под пилотки курчавой челкой,— очищали лопаты от прилипшей глины, Лопахин вылез из окопа, осмотрелся.

Сизая роса плотно лежала на траве, тяжело пригибая к земле стебельки, оперенные подсохшими листьями. Солнце только что взошло, и там, где за дальними тополями виднелась белесая излучина Дона, низко над водою стлался туман, и прибрежный лес, до подножия окутанный туманом, казалось, омывается вскипающими струями, словно весною, в половодье.

Линия обороны проходила по окраине населенного пункта. Сведенные в роту остатки полка занимали участок неподалеку от длинного, крытого красной черепицей здания с примыкавшим к нему большим разгороженным садом.

Лопахин долго смотрел по сторонам, прикидывая расстояние до гребня находившейся впереди высотки, намечая ориентиры, а потом удовлетворенно сказал:

— До чего же обзорец у меня роскошный! Это не позиция, а прелесть. Отсюда бить буду этих дейчпанцирей так, что только стружки будут лететь с танков, а с танкистов — мясо пополам с паленой шерстью.

— Нынче ты храбрый,— ехидно сказал Сашка Копытовский, выпрямляясь.— Храбрый ты стал и веселый, когда знаешь, что, кроме нашего ружья, тут их еще черт те сколько, и противотанковые пушки есть, а вчера, когда пошли танки на нас, ты с лица сбледнел...

— Я всегда бледнею, когда они на меня идут,— просто признался Лопахин.

А заорал-то на меня, ну натурально козлиным голосом: «Патроны готовь!» Как будто я без тебя не знаю, что мне надо делать. Тоже с дамскими нервами оказался...

Лопахин промолчал, прислушался. Откуда-то из-за сада донесся женский возглас и звон стеклянной посуды. Рассеянно блуждавший взгляд Лопахина вдруг ожил и прояснился, шея вытянулась, и сам он слегка наклонился вперед, напрягая слух, весь обратясь во внимание.

— На кого это ты собачью стойку делаешь, аль дичь причуял? — посмеиваясь, спросил Копытовский, но Лопахин не ответил.

Смоченная росой, тускло блестела красная черепичная крыша белого здания. Косые солнечные лучи золотили черепицу и радужно сияли в окнах. В просветах между деревьями Лопахин увидел две женские фигуры, и тотчас же у него созрело решение.

— Ты, Сашка, побудь на страже интересов родины, а я на минутку смотаюсь в это черепичное заведение,— подмигнув, сказал он Копытовскому.

Тот удивленно поднял пепельно-серые запыленные брови, спросил:

— За какой нуждой?

— Предчувствие у меня такое, что если в этом доме не школа и не туберкулезный диспансер, то там можно добыть к завтраку что-нибудь привлекательное.

— Там скорее всего ветеринарная лечебница,— помолчав, сказал Копытовский.— Ясное дело, что там ветеринарная лечебница, и ты, кроме овечьей коросты или чесотки, ничего там к завтраку не добудешь.

Лопахин презрительно сощурил глаза, спросил:

— Это почему же... лечебница, да еще ветеринарная? Приснилось тебе, ясновидец?

— Потому что на отшибе стоит, а потом там недавно корова какая-то мычала, да так жалобно,— наверное, лечить ее привели.

Несколько поколебленный в своем предположении, Лопахин с минуту разочарованно и меланхолически посвистывал, но в конце концов все же решил идти.

— Схожу на разведку,— бодро проговорил он.— А если старшина или кто другой спросит, где Лопахин,— скажи, что пошел до ветру, скажи, что ужасные схватки у него в животе и, может быть, даже дизентерия.

Сгорбившись, волоча ноги и скорчив страдальческую рожу, Лопахин околесил окоп лейтенанта Голощекова, миновал телефонистов, тянувших с командного пункта

провод, шмыгнул в сад. Но едва лишь вишневые деревья скрыли его от посторонних взоров, как он выпрямился, подтянул пояс, легкомысленно сдвинул набекрень каску и, вразвалку ступая кривыми ногами, направился к гостеприимно распахнутой двери здания.

Еще издали он увидел суетившихся возле сарая женщин, ряды отсвечивавших на солнце белых бидонов и пришел к решительному убеждению, что перед ним либо маслозавод, либо молочнотоварная ферма колхоза. Велико же было его огорчение, когда, ловко прыгнув через плетень, он неожиданно обнаружил около сарая осанистого старика, что-то приказывавшего женщинам. Промышляя, Лопахин всегда предпочитал иметь дело с женщинами. Он нерушимо верил в доброту и восковую мягкость женского сердца, несмотря на довольно частые любовные неудачи, верил и в собственную неотразимость... Что касается стариков, то их он попросту недолюбливал, всех без исключения почему-то считал скаредами и всячески избегал обращаться к ним с какими-либо просьбами. Но сейчас миновать старика было просто невозможно: судя по всему, именно он и был здесь старшим.

Скрепя сердце и мысленно пожелав ни в чем не повинному старику скорой и благополучной кончины, Лопахин направился к сараю, но уже не прежней игривой и развязной походкой завзятого покорителя женских сердец, а строгим строевым шагом, предварительно поправив на голове каску и погасив в глазах веселые огоньки.

Бегло взглянув на прямые плечи и несутулую спину старика, Лопахин подумал: «Наверно, фельдфебелем служил, бородатый дьявол! Почтительностью его надо брать, не иначе». Не доходя нескольких шагов, он щелкнул каблуками, поздоровался и откозырял так, словно перед ним стоял по меньшей мере командир дивизии. Расчет оказался безошибочным: на старика это явно произвело впечатление, и он, тоже приложив узловатую ладонь к козырьку выцветшей казачьей фуражки, не менее почтительно ответил гулким басом:

— Здравия желаю!

— Что это у вас тут, папаша, колхозная конюшня? — спросил Лопахин, с наивным видом указывая на коровник.

— Нет, это наша МТФ. Собираемся вот в отступ...

— Поздно вы собрались,— строго сказал Лопахин.— Надо было пораньше об этом думать.

Старик вздохнул, погладил бороду и, глядя куда-то мимо Лопахина, сказал:

— Больно скоро вы, лихие вояки, добежали до нашего хутора... Позавчера радио передавало, будто бои идут возле Россоши, а не успели мы оглянуться,— вы уже возле наших базов и германца, небось, следом за собой волокете...

Разговор начал принимать явно нежелательное для Лопахина направление, и он искусно направил его по новому руслу, озабоченно спросив:

— Неужто коров еще не переправили за Дон? Коровы, наверно, хорошие у вас, породистые?

— Коровки подходящие в нашем хозяйстве, не коровы, а золото! — с восторгом отозвался старик.— Их-то мы вплавь переправили еще вчера вечером, а вот имущество пока перевозим и перевезем, нет ли — не скажу, потому что на переправе такое столпотворение идет, что не дай и не приведи бог! Немец на мост вторые сутки бомбы кидает, рушит его, когда попадет, а тут военных машин всяких набилось тыщи, возле моста командиры один одного за грудки тягают, где уж нам со своей хурдой переправиться...

— Да, это дело сложное,— подтвердил Лопахин.— Но вы особенно не волнуйтесь, дорогой папаша, наш геройский полк взялся держать оборону, значит, можете быть уверенные, что с ходу немцы на ту сторону Дона не перескочут. Мы им еще на этой стороне кровишки как следует пустим.

— Пропадет наш хутор, все огнем возьмется, если бой тут будет идти,— дрогнувшим голосом сказал старик.

— Да, папаша, хутору вашему, как видно, достанется, но мы будем оборонять его до последней возможности.

— Помоги вам бог,— истово сказал старик и хотел было перекреститься, но, искоса взглянув на Лопахина, на украшенную медалью грудь его, не донес руку до лба и стал степенно гладить седую окладистую бороду.— Стало быть, это ваша часть за садом окопы роет? — помолчав, спросил он.

— Так точно, папаша, наша. Роем, стараемся вовсю, а тут во рту все пересохло...— Лопахин дипломатически замолчал, но старик, видимо, не понял намека. Он все гладил бороду, смотрел на доярок, грузивших на повозку бидоны, и вдруг, зверски выкатив глаза, зычно крикнул:

— Глашка, язвить твою душу, почему до сих пор кобылы нету? Вот как зачнут германцы из пушек бить, тогда вы засуетитесь.

Полная, статная доярка, с малиновыми губами и пышной грудью метнула в сторону Лопахина короткий взгляд,

что-то шепнула женщинам — и те тихо засмеялись,— а потом уже не спеша отозвалась:

— Скоро приведут, Лука Михалыч, не беспокойся, успеешь до Дона свою старуху домчать...

Лопахин, не отрываясь, зачарованно смотрел на доярку и жмурился, будто от яркого солнца. С заметным усилием он отвел глаза от смугло-румяного женского лица, вздохнул и почему-то вдруг осипшим голосом спросил:

— А что, папаша, хорошо жил колхоз до войны? Упитанность у вашего народа приличная...

— Жил преотлично: и школа, и больница, и клуб, и все прочее было, не говоря уже про харч, всего было в аккурат по ноздри, а теперь все это свое природное приходится покидать. К чему вернемся? К горелым пенькам, это уж как бог свят,— сокрушенно произнес старик.

В другое время Лопахин, может быть, и посочувствовал бы чужому горю, но сейчас у него не было лишнего времени, и он предпринял еще один шаг, чтобы натолкнуть старика на догадку о цели своего прихода.

— Вода у вас в колодезе солоноватая. Роем окопы, пить страшная охота, а вода просто никуда не годная. Как же вы хорошей воды не имеете? — с упреком сказал он.

— Солоноватая? — удивленно переспросил старик.— Да вы в каком же колодезе брали?

Лопахин не пил в этом хуторе воды и, разумеется, не знал, где находится колодец, а потому неопределенно махнул рукой в сторону видневшейся за деревьями школы. Старик удивился еще больше:

— Дивно это мне! В школьном колодезе самая распрекрасная вода в окру́ге, на питье весь хутор там воду берет. С чего же это она могла нынче сгубиться? Вчера оттуда воду приносили, легкая вода, хорошая была, сам пробовал.

Он уставился в землю, размышляя, а Лопахин с досадой крякнул, сказал:

— Нам, к тому же, сырую воду не разрешают пить, папаша, во избежание поносов и других желудочных происшествий.

— Нашу воду можно и сырую пить,— упрямо сказал старик.— Каждый год колодезь чистим, весь хутор пьет, и сроду никто животом не хворал.

Лопахин исчерпал все возможности деликатно надоумить непонятливого старика и, отчаявшись, пошел напролом:

— Молочка пресного нельзя ли у вас добыть или хоть бы масла сливочного?

— А это, сынок, вам надо обратиться к заведующей МТФ. Вот она стоит возле доярок, конопатенькая такая, кругленькая, в серой шальке.

— А вы... кто же вы будете по чину? — растерянно спросил Лопахин.

Старик, разглаживая бороду, с гордостью ответил:

— Я тут конюхом работаю вот уже третий год. Работаю — дай бог всякому: и покос за мной, и присмотр за худобой, и по хозяйству все как есть лажу. Премию нонешний год мне сулили...

Он еще что-то говорил, но Лопахин с досадой шлепнул себя ладонью по каске и, беззвучно шевеля губами, пошел к женщине, покрытой серой шалью.

Заведующая оказалась простой и покладистой женщиной. Она внимательно выслушала просьбу Лопахина, сказала:

— Мы на госпиталь раненым отпустили полтораста литров молока и масла, кое-что еще осталось, с собой нам его не везти. Два бидона молока вашим бойцам хватит? Глаша, отпусти товарищу командиру молока два бидона, вчерашнего вечорошника, и, если осталось в леднике сливочное масло,— тоже дай килограмма два-три.

Довольный и весьма польщенный тем, что его приняли за командира, Лопахин с жаром пожал руку доброй заведующей, проворно спустился в ледник. Принимая из рук доярки холодные, отпотевшие на льду бидоны, он восхищенно сказал:

— Не знаю, как вас, Глаша, по отчеству, но прелесть вы, а не женщина! Просто взбитые сливки, да и только! На мой аппетит — вас целиком можно за один присест скушать: намазывать по кусочку на хлеб и жевать даже без соли...

— Уж какая есть,— сурово ответила неприступная доярка.

— Нечего скромничать, определенно хороша Глаша, да не наша, вот в чем вся беда! И с чего это вас так разнесло, неужели с парного молока или с простокваши? — продолжал восхищаться Лопахин.

— Бери бидоны, пойдем. За маслом потом придешь.

— Я с вами на этом леднике согласен всю жизнь просидеть,— убежденно сказал Лопахин.

Вороватo оглянувшись на полуоткрытую дверь, он попытался обнять пышнотелую доярку, но та легко отвела руку Лопахина, показала ему большой смуглый кулак и дружелюбно улыбнулась:

— Гляди, парень, от этого скорее, чем ото льда, остынешь. Я строгая вдова и глупостей этих не люблю.

— От такой вдовы согласен нести любой урон, но отступать не намерен, и без этого наотступался до тошноты,— смиренно сказал Лопахин и упрямо потянулся к доярке, к ее смеющимся малиновым губам.

Но в этот момент обитая камышом дверь ледника широко и некстати распахнулась, в просвете возникла темная фигура, и зычный стариковский бас зарокотал:

— Гликерия! Чего ты там запропастилась? Подолом ко льду примерзла, что ли? Иди скорей, и чтобы кобылу привела мне в два счета!

Лопахин отпрянул в сторону, чертыхаясь вполголоса, гремя бидонами, стал подниматься по скользким от сырости ступенькам. Уже на выходе из ледника он подождал следовавшую за ним все еще лукаво улыбавшуюся доярку, спросил:

— За Дон будете отступать или останетесь? Интересуюсь на всякий случай.

— Сейчас будем уходить, солдатик. Может, и ты с нами?

— Пока не по пути,— значительно суше сказал Лопахин, но тотчас же хрипловатый голос его снова обрел воркующую, голубиную мягкость: — А если придется,— где мы, Глашенька, встретимся?

Смеясь и отталкивая Лопахина от двери крутым плечом, доярка ответила:

— Вроде бы и не к чему нам встречаться, но уж если так захочешь повидать, что будет невтерпеж,— в лесу на той стороне Дона поищешь. Мы далеко от своего хутора не пойдем.

Вздыхая и кляня в душе непоседливую солдатскую жизнь, нагруженный бидонами, Лопахин побрел к саду. Потянуло его еще разок взглянуть на вдову, такую суровую на вид, но с удивительно ласковыми рыжими искорками в глазах. Он оглянулся и едва не упал, зацепившись ногою за кочку, и сейчас же вослед ему полетел и проник до самого сердца заливистый женский смех...

В окопе Лопахин, не отрываясь, долго пил прямо через край бидона холодную жизнетворящую влагу, потом, отяжелевший от выпитого молока и по-детски счастливый, поручил Копытовскому распределить молоко среди бойцов роты по котелку на брата и строго наказал не обижать остальных, если останутся излишки. Сам он снова собрался идти, но Копытовский посоветовал не ходить:

— Старшина будет ругаться, не ходи.

Лопахин мечтательно улыбнулся, сказал:

— Я, может быть, и не пошел бы, но ноги сами меня несут... Там есть одна такая доярка, Глаша, что, если бы не война, я согласился бы с ней всю жизнь под коровьим брюхом сидеть и за дойки дергать.

Прищурив глаза, закрывая черной ладонью рот, Копытовский спросил прерывающимся от смеха голосом:

— За чьи дойки-то?

— Это не важно,— о чем-то задумавшись, рассеянно ответил Лопахин.

Взгляд его скользил по зеленым купам деревьев и надолго останавливался на красной черепичной крыше МТФ.

— Смотри, как бы от старшины тебе нынче не досталось. Он что-то со вчерашнего дня злой, как цепная собака,— предупредил Копытовский.

Лопахин махнул рукой, запальчиво сказал:

— Иди ты со своими советами и вместе со старшиной! Что он мне шагу не дает ступить? Скажи, что Лопахин пошел за маслом, молоком его угости, вот и весь разговор. А если он ко мне попробует привязаться,— я ему отпою панихиду! Я Лисиченкину кашу не могу больше есть, у меня от нее язва желудка начинается. Пусть дают полностью по микояновскому уставу положенный паек, тогда и я ловчить не буду. Что я, психой, чтобы от сливочного масла отказаться, если добрые люди сами его предлагают? Не противнику же его оставлять?

— Ну, если масло дают,— нечего дремать, иди,— торопливо согласился Копытовский.

Минуту спустя Лопахин уже шагал по знакомой тропинке в саду, прислушивался к утренним голосам птиц и с наслаждением вдыхал пресный и нестойкий запах смоченной росой травы.

Несмотря на то, что в течение нескольких суток подряд он почти не спал, недоедал и с боями проделал утомительный марш в двести с лишним километров, у него в это утро было прекрасное настроение. Много ли человеку на войне надо? Отойти чуть подальше обычного от смерти, отдохнуть, выспаться, плотно поесть, получить из дому письмишко, не спеша покурить с приятелем — вот и готова скороспелая солдатская радость. Правда, письма Лопахин в это утро не получил, но зато ночью им выдали долгожданный табак, по банке мясных консервов и вполне достаточное количество боеприпасов; перед рассветом ему удалось малость соснуть, а потом он, посвежевший и бодрый,

рыл окопы, уверенно думал о том, что здесь, у Дона, наконец-то закончится это горькое отступление, и работа на этот раз вовсе не показалась ему такой надоедливо-постылой, как бывало прежде; выбранной позицией он остался очень доволен, но еще больше доволен был тем, что вволю попил молока и повстречался с диковинной по красоте вдовой Глашей. Черт возьми, было бы, конечно, гораздо лучше познакомиться с ней где-либо на отдыхе, уж там-то он сумел бы развернуться вовсю и тряхнуть стариной, но и эта короткая встреча доставила ему несколько приятных минут. А за время войны он привык и довольствоваться малым и мириться со всякими утратами...

* * *

Улыбаясь своим мыслям и тихонько насвистывая, Лопахин шел по тропинке, расталкивая ногами отягощенные росою поникшие листья лопухов, и вначале не обратил внимания на еле слышный низкий, осадистый гул, донесшийся откуда-то из-за горы, но вскоре гул стал отчетливее, и Лопахин остановился, прислушиваясь. По звуку он определил, что идут немецкие самолеты, и почти тотчас же услышал протяжный возглас: «Во-о-оз-дух!»

Лопахин круто повернулся, трусцой побежал к окопам. Только на секунду у него мелькнула горестная мысль: «Накрылось мое маслице, и Глаша тоже...», — а потом, как ни чувствительна была эта двойная утрата, он надолго позабыл о ней...

Четырнадцать немецких самолетов, возникнув чуть выше кромки горизонта, стремительно приближались. Лопахин еще не успел добежать до своего окопа, как из школьного сада звонко ударили зенитки. Темно-серые венчики разрывов вспыхнули чуть впереди и ниже первых самолетов. Затем разрывы зенитных снарядов стали умножаться и, перемещаясь в безоблачном небе, поплыли рядом с самолетами, раскалывая их строй, заставляя менять направление.

— Один готов! — в восторге рявкнул Сашка Копытовский.

Лопахин прыгнул в окоп и, когда поднял голову увидел, как ведущий самолет, нелепо завалившись на крыло, оделся черным дымом и стал косо падать. С буревым свистом и воем, окутанный дымом и пламенем, пронесся он над линией окопов и взорвался на собственных бомбах,

ударившись об утрамбованную землю хуторского выгона. Грохот взрыва был так силен, что Лопахин на миг закрыл глаза. А потом повернул к Сашке сияющее лицо, сказал:

— Ну и серьезная же начинка у него... Если бы эти поднебесные черти, зенитчики, всегда так стреляли!

Еще один самолет, от прямого попадания снаряда развалившись в воздухе на куски, упал уже далеко за хутором. Остальные успели прорваться к переправе. Встреченные огнем пулеметов и второй зенитной батареей, расположенной у самой переправы, они беспорядочно сбросили бомбы, потянули прямо на запад, обходя опасную зону.

Не успела улечься поднятая фугасками пыль, как из-за горы появилась вторая волна немецких бомбардировщиков, на этот раз уже числом около тридцати машин. Четыре самолета отделились, повернули к линии обороны.

— На нас идут,— сквозь стиснутые зубы проговорил дрогнувшим голосом Сашка.— Гляди, Лопахин, это пикировщики, сейчас начнут падать. Вот они, пошли!

Слегка побледневший Лопахин, выставив ружье и крепко упираясь ногой в нижний уступ окопа, тщательно целился. Светлые глаза его были так плотно прижмурены, что Сашка, мельком взглянув на него, увидел только короткие, словно ножом прорезанные щели с глубокими морщинками по краям обтянутых черной кожей глазниц.

— На три корпуса.. на три с половиной. на четыре бери вперед! — сквозь режущее уши тугое завывание моторов успел крикнуть растерявшийся Сашка.

Лопахин как сквозь сон слышал его возглас и знакомый надтреснутый голос лейтенанта Голощекова, на высокой ноте прокричавшего привычное: «По самолетам против-ника!..» Он успел выстрелить и ощутить плечом и всем телом несомый толчок отдачи, в какую-то крохотную долю секунды успел осознать и то, что промахнулся. Знакомый отвратительный свист бомбы вырос мгновенно, сомкнулся с оглушительным взрывом. По каске, по униженно согнутой спине Лопахина, как крупный град, с силой забарабанили комья вздыбленной и падающей земли, в ноздри ворвался и захватил дыхание едкий металлический запах сгоревшей взрывчатки. Бомбы часто рвались вдоль линии окопов, но значительно большее число взрывов гремело позади окопов, в школьном саду. Лопахин, пересилив себя, поднял голову, сквозь мутно-бурую пелену взвихрившейся пыли увидел слева взмывавший в голубое небо самолет, различил даже свастику на хвосте его и разогнулся словно

пружина, в бешенстве скрипнув зубами, снова припал к ружью.

— Бей же его, стерву! Бей скорее!..— лихорадочно дрожа, кричал на ухо Сашка.

Нет, на этот раз Лопахин не мог, не имел права промахнуться! Он весь как бы окаменел, только руки его, железной крепости руки забойщика, слившись воедино с ружьем, двигались влево, да прищуренные глаза, налитые кровью и полыхавшие ненавистью, скользили впереди тянувшего ввысь самолета, беря нужное упреждение. И все же он промахнулся и на этот раз... Губы его мелко задрожали, когда он увидел, как самолет, набрав нужную высоту и с ревом развернувшись, снова стал пикировать на окопы.

— Патрон! — клокочущим голосом крикнул он.

«Ю-87» резко снижался, поливая желтые гнезда окопов огнем изо всех своих пулеметов. Навстречу ему, яростно захлебываясь, бил ручной пулемет сержанта Никифорова, часто щелкали винтовочные выстрелы, дробно и глухо, сливаясь воедино, стучали очереди автоматов. Лопахин выжидал. Он неотрывно наблюдал за самолетом, снижавшимся с низким, тягучим и нарастающим воем, и в то же время слух его невольно фиксировал все разнородные звуки огня: и обвальный грохот фугасок, сыпавшихся в школьном саду возле огневых позиций зенитной батареи, и частые удары зениток, и заливистые пулеметные трели. Ему удалось различить даже несколько выстрелов из противотанковых ружей. Очевидно, не он один охотился с противотанковым ружьем за обнаглевшим пикировщиком.

— Что ты застыл?! Что застыл, спрашиваю? Ты не раненый?! — кричал Сашка.

Но Лопахин, не отрывая взгляда от самолета, только коротко и страшно выругался, и Сашка присел на шероховатое, усыпанное комками земли дно окопа, убедившись в том, что Лопахин жив и невредим.

На втором заходе кипящая пулеметная струя, подняв пыльцу, начисто сбрила у переднего бруствера окопа низкий полынок, краем захватила и насыпь бруствера, но Лопахин не пошевельнулся.

— Нагнись! Прошьет он тебя, шалавый! — громко выкрикнул Сашка.

— Врешь, не успеет! — прохрипел Лопахин и, выждав момент, когда самолет только что выровнялся на выходе из пике, нажал спусковой крючок.

Самолет слегка клюнул носом, но сейчас же выправился

и пошел на юг, покачиваясь, как подбитая птица, медленно и неуверенно набирая высоту. Около левой плоскости его змеился зловещий дымок.

— Ага, долетался, так твою и разэтак! — тихо сказал Лопахин, подымаясь в окопе во весь рост.— Долетался! — еще тише и значимей повторил он, жадно следя за каждым движением подбитого самолета.

Не дотянув до горы, самолет закачался, почти отвесно ринулся вниз. Он ударился о землю с таким треском, словно где-то рядом о стол разбили печеное яйцо, и только тогда Лопахин с огромным и радостным облегчением вздохнул, вздохнул всей грудью, повернулся лицом к Сашке.

— Вот как надо их бить! — сказал он, раздувая победно ноздри, уже не скрывая своего торжества.

— Ничего не скажешь, ловко ты его долбанул, Петр Федотович! — восторженно проговорил Сашка, чуть ли не впервые за все время совместной службы величая Лопахина по отчеству.

Лопахин трясущимися руками торопливо свернул папироску, усталый и какой-то обмякший, сел на дно окопа, несколько раз подряд жадно затянулся.

— Думал, что уйдет проклятый! — сказал он уже спокойнее, но от волнения все еще замедляя речь.— Завалил бы за бугор, ну а там черт его знает — то ли упал он, то ли добрался до своего логова. А это — дело надежное: стукнулся о землю и гори на доброе здоровье...

Не докурив папиросы, он поднялся и с минуту удовлетворенно, молча смотрел на чадившие вдали обломки сбитого самолета. Остальные три самолета, бомбившие зенитную батарею, уходили на юг, но над переправой все еще кружили хищно бомбардировщики, немо хлопали зенитки, рвались бомбы и высоко вздымались радужно отсвечивавшие на солнце бледно-зеленые столбы воды. Вскоре налет окончился, и прибежавший связной позвал Лопахина к командиру роты.

Все поле впереди и сзади окопов было, словно язвами, покрыто желтыми, круглыми, различной величины воронками, окаймленными спекшейся землей. Косые просеки, проделанные в саду бомбами и загроможденные поваленными расщепленными деревьями, обнажали ранее сокрытые ветвями стены и крыши хуторских домов, и все вокруг выглядело теперь необычно: ново, дико и незнакомо. Неподалеку от окопа Звягинцева зияла крупная воронка, у самого бруствера лежало до половины засыпанное землей, погнутое и отсвечивавшее рваными металлическими

краями хвостовое оперение небольшой бомбы. Но почти всюду над стрелковыми ячейками уже курился сладкий махорочный дымок, слышались голоса бойцов, а из пулеметного гнезда, оборудованного в старой, полуразрушенной силосной яме, доносился чей-то подрагивавший веселый голос, прерываемый взрывами такого дружного, но приглушенного хохота, что Лопахин, проходя мимо, улыбнулся, подумал: «Вот чертов народ, какой неистребимый! Бомбили так, что за малым вверх ногами их не ставили, а утихло,— они и ржут, как стоялые жеребцы...» И сейчас же сам невольно засмеялся, потому что знакомый голос сержанта Никифорова, высокий, плачущий от смеха, закончил:

— ...гляжу, а он раком стоит, головой мотает и спрашивает у меня: «Федя, меня не убили?..» А глаза у него, ну прямо по кулаку, на лоб вылезли, и пареной репой от него пахнет... Он со страху-то, видно, того...

Кто-то там, в просторном окопе, смеялся устало и тонко, из последних сил, но безостановочно, словно его, связанного, усердно щекотали. Лопахин, все еще улыбаясь, миновал пулеметчиков и, обходя воронки, догоняя связного, сказал:

— Веселый парень этот Никифоров.

— Сейчас кому смех, кому слезы, а кому и вечная память...— мрачно ответил связной, указывая на разрушенную прямым попаданием ячейку и на красноармейца в залитой кровью гимнастерке, который шел вдали, пьяно покачиваясь, безвольно опираясь на руку санитара.

Лейтенант Голощеков встретил Лопахина широкой улыбкой, движением руки пригласил спуститься в окоп. Пользуясь коротким затишьем, он только что наспех позавтракал. Голощеков вытер черным от грязи носовым платком рот, лукаво подмигнул:

— Ты его снизил, Лопахин?

— Будто бы я, товарищ лейтенант.

— Чисто сработано. Это у тебя первый в практике?

— Первый.

— Ну, присаживайся, гостем будешь. Так говоришь, первый, но надо думать, не последний? — пошутил лейтенант, пряча в нишу котелок с недоеденной порцией каши и доставая оттуда вместительную трофейную флягу.

В окопе лейтенанта пахло не только не успевшей подсохнуть влажной глиной и полынью, но и ременной кожей амуниции, чуть-чуть одеколоном, уксусно-терпким мужским потом и махоркой. Лопахин подумал о том, с какой удивительной быстротой обживают люди окопы, насе-

временное жилье своими запахами, совершенно разными и присущими только каждому отдельному человеку. Он некстати вспомнил слова сержанта Никифорова и улыбнулся, но лейтенант истолковал его улыбку по-своему и, наливая в алюминиевый стаканчик водку, сдержанно сказал:

— Это соседи наши, зенитчики, сегодня снабдили горючим, своей у меня давно уже не было... Что же, поздравляю с удачей, бери, выпей.

Лопахин двумя пальцами бережно принял стаканчик, сказал спасибо, но про себя с огорчением подумал, что посуда уж больно не по-русски мелка, и, закрыв глаза, медленно, с чувством выпил теплую, пахнущую керосином водку.

Лейтенант крякнул одновременно с Лопахиным, как бы вместе с ним разделяя удовольствие, но сам пить не стал, убрал фляжку.

— А народец-то стал каков у нас, Лопахин, а? Раньше, бывало, как только самолеты,— все вповалку лежат и землю нюхают, а сейчас уже не то: сейчас ходи над нами на приличной высоте, а то ноги переломаем, а? Так ведь, Лопахин?

— Точно, товарищ лейтенант.

— Подполковник звонил недавно, спрашивал, кто сбил самолет. Народ на тебя указал, да и сам я видел. Наверно, будешь представлен к награде. Ну, ступай, скоро надо ждать наступления, смотри не подкачай насчет танков. Зайди к Борзых, предупреди от моего имени: бой будет серьезный, стоять надо, как говорится, насмерть. Скажи, что я надеюсь на него, а я сейчас пройдусь на правый фланг. Да, что-то немцы усердствуют с налетами, дорогу к переправе себе расчищают... Жаркий будет денек, так что смотри в оба!

Лопахин возвращался к себе кирпично-красный от счастья и выпитой водки, но, подходя к окопу бронебойщика Борзых, согнал с губ улыбку, посерьезнел.

Борзых завтракал, старательно вычищая хлебной коркой стенки консервной банки.

Лопахин прилег возле окопа, спросил:

— Ну, как, сибирский житель, тебя и бомбы не берут?

— Меня, однако, никакая причина до самой смерти не возьмет,— басовито ответил широкоплечий и ладный сибиряк, не прерывая своего занятия.

— Что ж, угостил бы шанежками, что ли, в гости ведь к тебе пришел.

— Сходи в гости к моей жене в Омск, сегодня воскресенье, она обязательно готовит шанежки, она и угостит.

Лопахин отрицательно и грустно покачал головой.

— Далековато, не пойду, прах с ними, и с шанежками с твоими...

— Да, далеконько, однако,— со вздохом сказал Борзых, и нельзя было понять, к чему относится этот легкий вздох: то ли к тому, что далеко от этой голой донской степи до родного Омска, то ли к тому, что так скоро опустела консервная банка...

Не размахиваясь, Борзых швырнул в бурьян пустую банку, тщательно вытер руки о замасленные штаны, сказал:

— Лучше ты меня, Лопахин, табачком угости.

— А свой-то неужели весь пожег? — удивился Лопахин.

— Зачем «пожег»? Чужой завсегда вкуснее,— рассудительно сказал Борзых и, свернув корытцем кусок бумаги, протянул руку из окопа.— Сыпь, не скупись. Если бы мне пофартило сбить самолет,— я бы весь табак разугощал друзьям-приятелям...

Когда в молчании глотнули раза по два терпкого махорочного дымка, Лопахин сказал:

— Лейтенант приказал тебе передать, чтобы глядел в оба. Он с умом парень и думает, что танки на нас будут сначала силу пробовать. За этими высотками, какие против нас, им хорошо сосредоточиваться, к тому же там и подход им хороший, скрытный, балочка с бугра наискось идет, видал ты ее?

Борзых молча кивнул головой.

— Лейтенант так и сказал: «Я,— говорит,— на Борзых и на тебя, Лопахин, надеюсь. Стоять будем до последнего».

— Правильно делает, что надеется,— сдержанно сказал Борзых.— Народу нас мало осталось, но ребята все такие, однако, что оторви да брось. Мы-то устоим, вот как соседи?

— Соседи пусть сами о себе беспокоятся,— сказал Лопахин.

И Борзых снова молча кивнул головой.

Лопахин поднялся, пожал широкую, негнущуюся руку товарища, сказал:

— Желаю удачи, Аким!

— Взаимно и тебе.

Миновав две стрелковые ячейки и поравнявшись с третьей, Лопахин, словно перед неожиданным препятстви-

ки, вдруг ошалело остановился, протер глаза, сквозь зубы негодующе сказал: «Миленькое дельце! Этого мне еще недоставало на старости лет...» Из окопа, отрытого по-настоящему и с очевидным знанием дела, из-под низко надвинутой каски, не мигая, смотрели на него усталые, но, как всегда, бесстрастные, холодные голубые глаза повара Лисиченко. Полное лицо повара с налитыми, как антоновские яблоки, щеками выглядело необычно моложаво, даже весело, а голубые глаза спокойно и, как показалось Лопахину, вызывающе и бесстыже щурились.

Подчеркнуто шаркающей походкой Лопахин приблизился к ячейке, присел на корточки и, глядя на повара сверху вниз, сказал шипящим и ничего доброго не предвещающим голосом

— Здравствуйте.

— Наше вам,— холодно ответил Лисиченко.

— Как ваше здоровье? — любезно осведомился Лопахин, испепеляя повара пронизывающим взглядом, еле сдерживая готовое прорваться наружу бешенство.

— Благодарю вас, топайте дальше, к чертовой матери

— Я бы тебе ответил по всем правилам военной науки, но не для тебя берегу самые дорогие и редкостные слова,— выпрямляясь, сказал Лопахин.— Ты мне ответь на один-единственный вопрос: какой дурак посадил тебя в эту ямку, и что ты думаешь высидеть в этой ямке, и где кухня, и что мы сегодня будем жрать по твоей милости?

— Никто меня сюда не сажал, приятель. Сам отрыл себе окопчик, сам и разместился тут,— спокойным и скучающим голосом ответил Лисиченко.

Лопахин чуть не задохнулся от охватившего его негодования.

— Разместился? Ах, ты... А кухня?

— А кухню я бросил. А ты тут не ахай, пожалуйста, и не пугай меня понапрасну. Мне возле кухни быть сегодня стало грустно, потому и бросил ее.

— Загрустил, бросил и по своей доброй воле пришел сюда?

— Точно. Что тебя еще интересует, герой?

— Ты что же, думаешь, что без тебя оборону не удержим? — скороговоркой спросил Лопахин, пронизывая Лисиченко все тем же немигающим и ненавидящим взглядом.

Но не так-то просто было запугать или даже смутить бывалого и видавшего всяческие виды повара. Спокойно глядя на Лопахина снизу вверх, он сказал:

— Вот именно, попал в самую точку, не понадеялся

я на тебя, Лопахин, подумал, что дрогнешь в тяжелую минуту, потому и пришел.

— Почему же ты белый колпак не надел? У генеральского повара колпак, видел я, на голове чистый-пречистый... Почему не надел-то? — задыхаясь, спросил Лопахин.

— Ну, так у генеральского, а я для чего же его надел бы? — ожидая подвоха, нерешительно спросил Лисиченко.

Лопахин не выдержал и с наслаждением, со вкусом сказал:

— Надо бы тебе его надеть, чтобы скорее тебя, толстого индюка, тут убили!

Но Лисиченко только рукой махнул и все так же невозмутимо ответил:

— Меня убьют тогда, когда на твоей могиле, Петя, чертополох вырастет, когда тебе земляная жаба титьку даст, не раньше.

Говорить с поваром было бесполезно. Он был неуязвим в своем добродушном украинском спокойствии, словно железобетонный дот, а потому Лопахин, передохнув, тихо и неуверенно сказал:

— Стукнул бы я тебя чем-нибудь тяжелым так, чтобы из тебя все пшено высыпалось, но не хочу на такую пакость силу расходовать. Ты мне раньше скажи — и без всяких твоих штучек,— что̀ мы нынче жрать будем?

— Щи.

— Как?

— Щи со свежей бараниной и с молодой капустой.

Лопахин проигрывал игру: над ним явно издевались, а он не находил таких увесистых слов, чтобы достойно ответить.

Снова присел он на корточки возле окопа, призвал на помощь все свое самообладание, проникновенно заговорил:

— Лисиченко, я сейчас перед боем очень нервный, и шутки твои мне надоели, говори толком: народ без горячего хочешь оставить? Гляди, ребята этого тебе не простят. Я первый могу хлопнуть по тебе прямой наводкой, и мне наплевать, что из тебя тогда получится и какого цвета будет у тебя после этого лицо. Ведь ты понимаешь, кто ты есть? Ты — бог войны! Не артиллерия — бог войны, это про нее зря так говорят, а ты самый настоящий бог, потому что главное и в наступлении и в обороне — это харч, и всякий род войск без харча — все равно, что ноль без палочки. Чего же ты тут околачиваешься? Иди, милый, отсюда поскорее, пока тебя за ноги не выволокли, иди, маскируйся

следует и, пока все тихо в окрестностях войны, с малым дымком вари кашу. Черт с ней, согласен даже кашу твою есть: без нее хуже, чем с ней. Кто мы есть без горячей пищи? Мы жалкие люди, даю честное слово! Я, например, без хлебова становлюсь несчастней самого последнего итальянца, хуже самого несчастного румына. И прицел у меня становится не тот, и какая-то слабость в ногах и в руках дрожь появляется... Иди, Лисиченко, и будь спокоен, управимся тут и без тебя. Клянусь тебе, что твоя должность такая же почетная, как и моя. Ну, может быть, на какую-нибудь десятую долю только пониже...

Лопахин ждал ответа, а Лисиченко медленно достал из кармана розовый, расшитый немыслимыми цветами кисет, медленно оторвал от газетного листа косую и длинную полоску и еще медленнее стал вертеть козью ножку. Только начинив цигарку табаком и добыв из трофейной зажигалки огня, он не спеша сказал:

— Напрасно ты меня уговариваешь, герой. С кухней на спине Дон переплыть я не могу — она же меня сразу утопит, переправить ее по мосту тоже невозможно. Подорву ее гранатой, когда надо будет, а сейчас пока в котле щи наваристые готовятся. Верно говорю. Что ты на меня глаза лупишь? Убери их немножко или придержи руками, а то они у тебя наземь упадут. Видишь, какое дело: возле моста бомбой овец несколько штук побило, ну я, конечно, одного валушка прирезал, не дал ему плохой смертью от осколка подохнуть, капусты на огороде добыл, воровски добыл, прямо скажу. Ну и поручил двум легкораненым за щами присматривать, заправку сделал и ушел; так что у меня все в порядке. Вот повоюю немножко, поддержу вас, а придет время обедать — уползу в лес, и горячая пища по возможности будет доставлена. Ты доволен мною, герой?

Растроганный Лопахин хотел было обнять повара, но тот, улыбаясь, присел на дно окопа, сказал:

— Ты вместо этих собачьих нежностей одну гранатку мне дай — может, сгодится на дело.

— Дорогой мой тезка! Драгоценный ты человек! Воюй, пожалуйста, теперь сколько влезет, разрешаю! — торжественно сказал Лопахин, отцепляя с ремня ручную гранату и с почтительным поклоном вручая ее повару.

Лопахин, наверное, еще попустословил бы с поваром, но снова послышался приближающийся гул самолетов, и он поспешно направился к своему окопу.

И на этот раз на подходе к цели самолеты разделились: часть их ударила по линии обороны, остальные, прорыва-

ясь сквозь заградительный огонь зениток, устремились к переправе.

И снова густое облако бурой пыли, словно туманом, заволокло окопы, высоко поднялось в безветренном воздухе, закрыло солнце. Сквозь гул разрывов, воющий свист осколков и глухой обвальный шум падающей сверху земли Лопахин тщетно пытался услышать выстрелы своих зениток. Находившаяся в школьном саду батарея молчала, и Лопахин с горечью подумал: «Накрыли, гады!» Потом на ум ему пришла мысль, что батарея, может быть, успела скочевать со старых позиций, и он несколько успокоился.

В дьявольском грохоте, заполнившем все вокруг, он почти не различал выкриков Сашки. Оглушенный и подавленный свирепствовавшим над землею ураганом взрывов, он все же находил в себе силы и, отрываясь от стенки окопа, часто, но осторожно высовывался над бруствером. Горячие толчки взрывных волн откидывали его голову, но он пытливо смотрел сквозь пелену пыли вперед, стараясь рассмотреть, не идут ли вражеские танки, прикрываясь бомбежкой с воздуха.

В одно из таких мгновений в прорезанной пламенем взрывов и застилавшей солнце темноте он случайно взглянул туда, где был окоп Звягинцева, и с облегчением и радостью увидел, как после очередного выстрела чуть вздрагивает поднятое вверх дуло винтовки, а потом на секунду увидел и шевельнувшуюся каску Звягинцева со знакомой вмятиной на боку, густо запорошенную пылью и теперь уже окончательно утратившую тусклый глянец защитной краски.

«Просто молодец парень! — с восторгом подумал Лопахин.— Этого не запугаешь никакой музыкой...»

Опасения Лопахина вскоре оправдались: не успели самолеты после двух заходов отвалить, как с бугра донесся шум моторов, но уже совсем иной, прижатый к земле, сплошной, перемешанный с лязгом и железным скрежетом гусениц. Почти одновременно по переправе из-за высоты открыла огонь артиллерия немцев, и наши батареи, на той стороне Дона, в лесу, дружно ответили.

— Ну, Сашка, подтяни штаны и держись! — ободряюще улыбаясь, сказал Лопахин.— Да поглядывай, чтобы ни один танкист не ушел, когда запалю машину. Как у тебя настрой? Ничего? Вот и хорошо: главное в нашей вредной профессии — это чтобы настрой не падал.

Он приник к ружью и снова, как и в тот момент, когда вражеский самолет пикировал на окопы, словно бы слился

своим нескладно длинным ружьем, не отводя глаз от подернутых теперь уже поредевшей пеленою пыли стальных громящих коробок, которые шли с бугра, построившись уступом и образуя как бы тупой клин.

Вот теперь-то можно было дышать полной грудью! Начало этого боя вовсе не походило на тот бой, когда остатки разбитого полка сумели отстоять высоту и отразить натиск противника, имея всего-навсего четыре противотанковых ружья и несколько пулеметов. Теперь бой разворачивался совсем по-иному. Не успели танки продвинуться и на половину расстояния до намеченных Лопахиным ориентиров, как на пути их уже встал черный частокол разрывов. Била полковая артиллерия, да так старательно и толково, что вскоре из двадцати средних танков, вывернувшихся из-за бугра, три застыли на месте, а четвертый не успел пройти и десятка метров, волоча за собою черный шлейф дыма, как следующий снаряд взвернул у правого борта его лохматый столб земли, и танк легко и послушно накренился, словно пытаясь зачерпнуть краем развороченной башни этой благодатной, черноземной донской земли, которую несколько минут назад он так горделиво попирал гусеницами...

В восторге от стрельбы артиллеристов Лопахин, будто плоскогубцами, сдавил пальцами плечо Сашки, воскликнул:

— Стреляют-то... стреляют-то как! Ах, мамины дети, кто их только учил? Я б того человека в маковку расцеловал! Гляди, Сашка, ведь этак мы с тобой нынче можем безработными оказаться!

С левого фланга, из небольшого садика, стала бить по танкам и батарея ПТО. За несколько минут было подбито еще два танка, но остальные успели прорваться вперед и теперь были от окопов уже не далее как в двухстах метрах.

Лопахин отчетливо видел темно-серый приземистый корпус танка, шедшего немного наискось, видел и смутные очертания какого-то причудливого, хвостатого зверя, намалеванного белой краской на борту танка, чуть левее креста. Все видели его воспаленные и слезившиеся глаза, но он ждал, когда расстояние сократится хотя бы еще на полсотню метров, чтобы бить наверняка.

Из-под гусениц танка выпархивала, низко над землей, над мелким степным полынком стлалась серая пыль. Иногда на солнце вдруг вспыхивал отполированный трак гусеницы, и опять, словно хлопья волочащейся за танком серой

ваты, клубилась пыль, а поверх ее было видно, как медленно вращается башня, из дула пушки раздвоенным змеиным жалом на короткий миг вдруг высовывается и исчезает бледный и острый огонек, почти невидимый в лучах яркого утреннего солнца, а затем на правом фланге роты впереди и сзади желтых холмиков окопов вспухает черный, медленно оседающий гриб поднятой взрывом земли и слышится характерно звонкий, лопающийся звук разрыва.

Со второго патрона Лопахин подбил танк. Почти одновременно загорелись еще два танка... Остальные, круто разворачиваясь, повернули назад, скрылись за высотой. И только когда последний танк исчез за пыльным гребнем кургана, Лопахин, сверкнув синеватыми белками, глянул на бледное лицо Копытовского, вкрадчиво спросил:

— Что это ты, Сашенька, какой-то серый стал?

— Посереешь от такой жизни,— тяжело переводя дыхание, ответил Копытовский.

Спустя полчаса немцы повторили атаку. На этот раз около десятка немецких танков уже в сопровождении автоматчиков попробовали пробить брешь в обороне на стыке двух рот, одной из которых командовал лейтенант Голощеков.

Удар пришелся по левому флангу роты Голощекова. Шедший впереди средний танк противника с ходу налетел на плетневую, обмазанную глиной колхозную кузницу, на миг весь окутался пылью и, вырвавшись из-под рухнувших обломков, неся на броне сухой хворост и осыпающийся мусор, расстрелял пушечным огнем расчет станкового пулемета, успел раздавить несколько стрелковых ячеек... Он шел зигзагами, утюжа гусеницами окопы, ворочая низко срезанным, тупым серым рылом. Он быстро приближался к Лопахину, и, когда, покрыв всей громадиной окоп ефрейтора Кочетыгова, вдруг затормозил одну гусеницу и завертелся на месте, стараясь завалить землей глубокий окоп, Лопахин выстрелил. Но не он уничтожил этот танк: по грудь засыпанный землею, уже умирающий ефрейтор Кочетыгов потянулся вверх и, едва лишь танк сполз с его разрушенного окопа, слабым, детским движением взмахнул рукой. Бутылка тоненько, неслышно в грохоте боя чокнулась с покатой серой бронею танка, звякнула и разлетелась на мелкие осколки, а по литой броне поползли горючее пламя, кучерявый, нежно-голубой дымок...

Горящий танк, с взревевшим словно от нестерпимой боли мотором, повернул под прямым углом, ринулся в сад,

пытаясь сбить пламя о ветви поверженного огнем густого шиповника.

Ослепленный и полузадушенный дымом водитель, наверное, плохо видел: на полном ходу танк попал в пустой, заброшенный колодец, ударился о выложенную камнем стенку и, накренившись, приподняв дышащее перегретым маслом черное днище, так и застыл там, обезвреженный, ожидающий гибели. Все еще с бешеной скоростью вращалась левая гусеница его, тщетно пытаясь ухватиться белыми траками за землю, а правая, прогибаясь, повисла над изрытой землей, бессильная и жалкая.

Все это видел Копытовский. Дыша коротко и часто, следил он округлившимися глазами за свирепым движением и гибелью вражеского танка и опомнился только тогда, когда над ухом лопнул знакомый выстрел своего, лопахинского, ружья. С птичьей быстротой повернув голову, Копытовский увидел справа, в сотне метров от окопа, танк, шедший неровными, судорожными рывками и через короткое мгновение остановившийся, и почти вплотную возле себя, сбоку, багровое, чужое лицо Лопахина.

Два немецких танкиста, словно серые тени, метнулись из люка остановившейся машины. Один из них, в распахнутом мундире, падая на спину, круто повернулся на каблуках, крестом раскинул руки; второй, без шапки, темноволосый, в серой рубашке с завернутыми по локти рукавами, хотел было встать на колени и вдруг опять приник к земле, приник всем телом, пополз, извиваясь по-змеиному, почти не шевеля руками...

В это самое мгновение замешкавшийся на секунду Копытовский почувствовал, как из рук его с силой рванули автомат: Лопахин, не сводя завороженных глаз с ползущего танкиста, тянул к себе автомат Копытовского, но как только справа, из окопа Звягинцева, треснул одинокий выстрел и ползущий танкист уткнулся носом в землю, Лопахин отпустил автомат, повернул к Копытовскому исказившееся от гнева лицо, со свистом втягивая сквозь стиснутые зубы воздух, заикаясь, сказал:

— Ты сволочь, раздолбанное корыто!.. Ты воюешь или нет? Чего вовремя не стрелял? Ждешь, когда он в плен начнет сдаваться?! Бей его, пока он руки вверх не успел поднять! Бей его с лету! Мне немец на моей земле не пленный нужен, мне он тут нужен — мертвый, понятно тебе, ты, мамин сын?!

* * *

Уже высоко над истерзанной снарядами землей поднялось в синем и хорошем небе солнце, уже острее, горше и милее сердцу стал запах пригретого солнцем степного полынка, когда из-за окутанных маревом донских высот снова появились танки и немецкая пехота снова поднялась в третью по счету, бесплодную атаку...

Шесть ожесточенных атак отбили бойцы соединения, прикрывавшего подступы к переправе, немецкая пехота и танки откатились за высоты, и к полудню над полем боя установилось недолгое затишье.

После громового гула артиллерийской канонады, грохота разрывов и пулеметно-автоматной трескотни, раскатами ходившей вдоль всего переднего края, необычной и странной показалась Звягинцеву эта внезапно наступившая тишина... Медленным движением он снял с головы каску, устало провел по грязному лицу рукавом гимнастерки, отирая обильно струившийся пот, затем, с удовольствием прислушиваясь к негромким звукам собственного голоса, сказал:

— Ну, вот и притихло...

Он наслаждался блаженной тишиной и с детским вниманием, слегка склонив голову набок, долго прислушивался к сухому шороху осыпавшейся с бруствера земли. Песчинки и мелкие, черствые крошки глины желтым ручейком стекали по скату насыпи, отвесно падали на дно окопа, ударялись о расстрелянные гильзы, густо лежавшие у ног Звягинцева, и гильзы тоненько, мелодично позвякивали, словно невидимые, скрытые под землей колокольчики. Где-то совсем близко застрекотал кузнечик, Звягинцев послушно повернулся и на этот новый, привлекший его внимание звук. Оранжевый шмель с жужжанием, похожим на вибрирующий стон низко отпущенной басовой струны, сделал круг над окопом, на лету выпустил бархатно-черные, мохнатые лапки, сел на торчавший из бруствера стебель ромашки. Часто мигая, Звягинцев внимательно смотрел на упруго качавшуюся запыленную ромашку, на невероятно нарядного шмеля, смотрел так, будто все это он видел впервые в жизни, и вдруг удивленно вскинул голову: легко пахнувший ветерок откуда-то издалека донес до его слуха чистый и звонкий крик перепела...

И шелест ветра в сожженной солнцем траве, и застенчивая, скромная красота сияющей белыми лепестками ромашки, и рыскающий в знойном воздухе шмель, и родной,

знакомый с детства голос перепела — все эти мельчайшие проявления всесильной жизни одновременно и обрадовали и повергли Звягинцева в недоумение. «Как будто и боя никакого не было, вот диковинные дела! — изумленно думал он.— Только что кругом смерть ревела на все голоса, а вот тебе, изволь радоваться, перепел выстукивает, как при мирной обстановке, и вся остальная насекомая живность в полном порядке и занимается своими делами... Чудеса, да и только!»

Растерянно озиравшийся Звягинцев напоминал в эти минуты человека, только что очнувшегося от давившего его во сне кошмара и со вздохом облегчения принявшего простую и желанную действительность. Ему потребовалось еще некоторое время, чтобы освоиться и привыкнуть к тишине. А тишина стояла настороженная, недобрая, как перед грозой, и, продлись она дольше, Звягинцев, наверное, стал бы тяготиться ею, но вскоре на левом фланге короткими очередями застучал пулемет, из-за высоты начали пристрелку тяжелые немецкие минометы, и недолгое затишье кончилось так же внезапно, как и началось.

Подносчик патронов — молоденький малознакомый Звягинцеву красноармеец — подполз сзади к окопу, сказал, кряхтя и отдуваясь:

— Боепитание доставил. Ну, как, борода, заправляться будешь?

Звягинцев провел ладонью по отросшей на щеках медно-красной щетине, обидчиво спросил:

— Какая же я, то есть, борода? Что я тебе — старик, что ли?

— Старик не старик, а около этого, обросший до безобразия. Ну, отсыпай свою порцию.

— Мало ли что обросший... Красоту при таком отступлении некогда наводить, это понимать надо, а года мои не такие уж старые,— недовольно проговорил Звягинцев, наполняя патронную сумку тяжелыми маслянисто-теплыми на ощупь патронами.

Не обращая внимания на поправку, словоохотливый подносчик сказал:

— Что ты, отец, гнешься в окопе, как грешная душа? Немца на виду нету, стрельбы настоящей тоже нету, вылазь на солнышко, разомни старые кости!

Слова «отец» и «старые кости», очевидно, пришлись Звягинцеву не по вкусу, он поморщился, не без ехидства спросил:

— А почему же ты, парень молодой, на пузе передвигаешься, если немца не видно и огня мало?

— Это я по старой привычке,— смеясь, ответил подносчик.— Понимаешь, при моей специальности до того привык ползком, как пресмыкающееся животное, пробираться, что боюсь, как бы вовсе не разучиться на ногах ходить. Все время так и тянет на брюхе проползти...

— Дурачье дело нехитрое, вполне можешь разучиться,— охотно подтвердил Звягинцев.

От скуки ему захотелось поговорить с веселым парнем, и он спросил, как и всегда при разговоре с молодыми бойцами, невольно употребляя тон слегка снисходительный и покровительственный:

— Ты, паренек, не из третьей роты? Личность твоя мне будто знакомая.

— Из третьей.

— А фамилие твое как?

— Утишев.

— Ты женатый, Утишев?

Парень отрицательно покачал головой, заулыбался.

— Возраст мой молодой, не успел до войны.

— То-то, что не успел... Вот будешь подносчиком работать, отвыкнешь ходить, а после войны вздумаешь жениться и вместо того, чтобы идти на своих на двоих, как все добрые люди делают, вспомнишь военную привычку и поползешь на пузе к девке свататься. А она, сердешная, увидит такого жениха и — хлоп в обморок! А невестин родитель и учнет тебя поперек спины палкой охаживать да приговаривать: «Не позорь честную невесту, такой-сякой! Ходи, как полагается!»

Утишев потянул к себе за лямку патронную коробку, усмехаясь, сказал:

— Небритый ты, а хитрый... Ты мне зубы не заговаривай, я слушать — слушаю, а патронам счет веду. Кончилась заправка! Стрелять не тебе одному.

Звягинцев хотел что-то возразить, но Утишев пополз к соседнему окопу и, не поворачивая головы, вдруг наставительно и серьезно сказал:

— А ты, борода, стреляй поэкономней и пометче, а то ты, наверное, пуляешь в белый свет, как в копеечку. Да про девушек на старости лет поменьше думай, тогда у тебя и руки дрожать не будут...

От неожиданности и обиды Звягинцев не сразу нашелся, что ответить, и, только помедлив немного, крикнул вдогонку:

— Бабушку свою поучи, как надо стрелять, сопливец ты этакий!

Утишев пошел, улыбаясь и не оглядываясь, волоча за собой патронные коробки. Звягинцев презрительно посмотрел на его спину с проступившими на лопатках белыми пятнами соли, на веревочную лямку, перекинутую через плечо и глубоко врезавшуюся в добела выгоревшую на солнце гимнастерку, огорченно подумал: «Народ какой-то несерьезный пошел, просто черт его знает, что за народ! Как, скажи, все они в учениках у Петьки Лопахина были... Эх, беда, беда, нету Миколы Стрельцова, и поговорить толком не с кем».

Мимолетно погоревав об отсутствующем друге, Звягинцев привел в порядок свое солдатское хозяйство: выбросил катавшиеся под ногами гильзы, поправил скатку, вычистил травою и припрятал в нишу котелок; хотел было немного углубить окоп, но при одной мысли о том, что надо опять орудовать лопаткой, по кусочку отколупывать сухую и твердую, как камень, землю, все существо его восстало против этого, и он ощутил вдруг такую чугунную тяжесть и усталость в руках, что сразу же и бесповоротно решил: «Обойдется и так, не колодезь же рыть, на самом деле! А смерть, если захочет,— так и в колодезе найдет».

Редкие хлопья облаков плыли на восток медленно и величаво. Лишь изредка белая, насквозь светящаяся тучка ненадолго закрывала солнце, но и в такие минуты не становилось прохладней; раскаленная земля дышала жаром, и даже теневая сторона окопа была до того нагрета, что Звягинцеву противно было к ней прикасаться.

В окопе стояла духота неподвижная, мертвая, как в жарко натопленной бане; назойливо звенели появившиеся откуда-то мухи. Разморенный полуденным зноем Звягинцев, посидев на свернутой скатке, вставал, тер тыльной стороной ладони слипавшиеся глаза, смотрел на подбитые и сгоревшие танки, на распластанные по степи трупы немцев, на бурую хвостатую тучу пыли, двигавшуюся далеко за высотами над грейдером, что тянулся на восток параллельно течению Дона. «Что-то умышляют проклятые фрицы,— думал он, следя за движением пыли.— К ним, видать, подкрепления идут — вон какую пылищу подняли. Подтянут силенки, перегруппировку сделают, залижут болячки и опять полезут. Они — упорные черти, невыносимо упорные! Но и мы не из глины деланные, мы тоже научились умывать ихнего брата так, что пущай только успевают красную юшку под носом вытирать. Это им не сорок первый

год! Побаловались сначала, и хватит!» — успокаивая себя, размышлял Звягинцев, а потом перевел взгляд на подбитый Лопахиным танк.

Темно-серая, еще недавно грозная машина стояла, повернувшись наискось, зияя навсегда умолкшим жерлом приподнятого орудийного ствола. Первый танкист, прыгнувший из люка и срезанный с ног очередью автомата, лежал возле гусеницы, широко раскинув руки, и ветер лениво шевелил полу его распахнутого мундира; второй — убитый Звягинцевым — перед смертью успел отползти от танка. Сквозь редкие кустики полыни Звягинцев видел его темноволосый затылок, выброшенную вперед загорелую руку с засученным по локоть рукавом серой рубашки, отполированные, сверкавшие на солнце подковки и круглые, белые, стертые шляпки гвоздей на подошвах ботинок.

— При такой жарище к вечеру и вот этот крестник мой и другие битые обязательно припухнут и вонять начнут. От таких соседей тут не продыхнешь...— почему-то вслух сказал Звягинцев и гадливо поморщился.

По спине его поползли мурашки, и он зябко повел плечами, вспомнив тошнотно сладкий, трупный запах, с самого начала весны неизменно сопутствовавший полку в боях и переходах.

Давным-давно прошло то время, когда Звягинцеву, тогда еще молодому и неопытному солдату, непременно хотелось взглянуть в лицо убитого им врага; сейчас он равнодушно смотрел на распростертого неподалеку рослого танкиста, сраженного его пулей, и испытывал лишь одно желание: поскорее выбраться из тесного окопа, который за шесть часов успел осатанеть ему до смерти, и поспать без просыпу суток двое где-нибудь в скирде свежей ржаной соломы.

Он без труда восстановил в памяти духовитый запах только что обмолоченной ржи, застонал от нахлынувших и сладко сжавших сердце воспоминаний и снова опустился на дно окопа, откинул голову, закрыл глаза. Его борол сон, и теперь он с удовольствием поговорил бы даже с Лопахиным, чтобы развеять тяжкую дрему, но Лопахин после четвертой атаки немцев перекочевал в запасный окоп и был далеко.

В забытьи, когда незаметно стирается грань между сном и явью, Звягинцев видел жену, детишек, убитого им танкиста в серой рубашке, директора МТС, какую-то незнакомую мелководную речушку с быстрым течением и отшлифованной разноцветной галькой на дне... Речушка беснова-

в крутых глинистых берегах, гудела все настойчивее, все ниже, и Звягинцев нехотя очнулся, раскрыл глаза: над ним высоко в небе шла шестерка наших истребителей, заметно опережая отстающий звенящий гул своих моторов.

Звягинцев был человеком практического склада ума и любил свою авиацию не вообще и не во всякое время, а только когда она прикрывала его с воздуха или на его глазах бомбила и штурмовала вражеские позиции; потому-то он и проводил стремительно удалявшихся истребителей холодным взглядом из-под сонно приспущенных век, с тихой злостью забормотал:

— Опять опоздали! Когда нас немцы бомбили и висели над нашим порядком, как привязанные,— вы, небось, кофей пили да собачьи валенки свои натягивали, а теперь, после шапочного разбора, пошли в пустой след порхать, государственное горючее зря жечь... Истребители бензина вы, вот кто вы есть такие!

Излить свое негодование до конца ему не удалось: немцы начали артиллерийскую подготовку, и на передний край обрушился вдруг такой жесточайший шквал огня, что Звягинцев вмиг позабыл и об истребителях и обо всем остальном на свете...

Сотни снарядов и мин, со свистом и воем вспарывая горячий воздух, летели из-за высот, рвались возле окопов, вздымая брызжущие осколками черные фонтаны земли и дыма, вдоль и поперек перепахивая и без того сплошь изрытую воронками извилистую линию обороны. Разрывы следовали один за другим с непостижимой быстротой, а когда сливались, над дрожавшей от обстрела землей вставал протяжный, тяжко колеблющийся всеподавляющий гул.

Давно уже не был Звягинцев под таким сосредоточенным и плотным огнем, давно не испытывал столь отчаянного, тупо сверлящего сердце страха... Так часто и густо ложились поблизости мины и снаряды, такой немолчный и все нарастающий бушевал вокруг грохот, что Звягинцев, вначале кое-как крепившийся, под конец утратил и редко покидавшее его мужество и надежду уцелеть в этом аду...

Бессонные ночи, предельная усталость и напряжение шестичасового боя, очевидно, сделали свое дело, и когда где-то неподалеку от окопа, разорвался крупнокалиберный снаряд, а потом, прорезав шум боя, прозвучал короткий, неистовый крик раненого соседа,— внутри у Звягинцева вдруг словно что-то надломилось. Он резко вздрогнул,

прижался к передней стенке окопа грудью, плечами, всем своим крупным телом и, сжав кулаки так, что онемели кончики пальцев, широко раскрыл глаза. Ему казалось, что от громовых ударов вся земля под ним ходит ходуном и колотится, будто в лихорадке, и он, сам охваченный безудержной дрожью, все плотнее прижимался к такой же дрожавшей от разрывов земле, ища и не находя у нее защиты, безнадежно утеряв в эти минуты былую уверенность в том, что уж кого-кого, а его, Ивана Звягинцева, родная земля непременно укроет и оборонит от смерти...

Только на миг мелькнула у него четко оформившаяся мысль: «Надо бы окоп поглубже отрыть», — а потом уже не было ни связных мыслей, ни чувств, ничего, кроме жадно сосавшего сердца страха. Мокрый от пота, оглохший от свирепого грохота, Звягинцев закрыл глаза, безвольно уронил между колен большие руки, опустил низко голову и, с трудом проглотив слюну, ставшую почему-то горькой, как желчь, беззвучно шевеля побелевшими губами, начал молиться.

В далеком детстве, еще когда учился в сельской церковноприходской школе, по праздникам ходил маленький Ваня Звягинцев с матерью в церковь, наизусть знал всякие молитвы, но с той поры в течение долгих лет никогда никакими просьбами не беспокоил бога, перезабыл все до одной молитвы — и теперь молился на свой лад, коротко и настойчиво шепча одно и то же: «Господи, спаси! Не дай меня в трату, господи!..»

Прошло несколько томительных, нескончаемо долгих минут. Огонь не утихал... Звягинцев рывком поднял голову, снова сжал кулаки до хруста в суставах, глядя припухшими, яростно сверкающими глазами в стенку окопа, с которой при каждом разрыве неслышно, но щедро осыпалась земля, стал громко выкрикивать ругательства. Он ругался так, что на этот раз, если бы слышал, ему мог бы позавидовать и сам Лопахин. Но и это не принесло облегчения. Он умолк. Постепенно им овладевало гнетущее безразличие... Сдвинув с подбородка мокрый от пота и скользкий ремень, Звягинцев снял каску, прижался небритой, пепельно-серой щекою к стенке окопа, устало, отрешенно подумал: «Скорей бы убили, что ли...»

А кругом все бешено гремело и клокотало в дыму, в пыли, в желтых вспышках разрывов. Покинутый жителями хутор горел из конца в конец. Над пылающими домами широко распростерла косматые крылья огромная черная туча дыма, и к плававшему поверх окопов едкому запаху

пороховой гари примешался острый и горький душок жженого дерева и соломы.

Артиллерийская подготовка длилась немногим более получаса, но Звягинцев за это время будто бы вторую жизнь прожил. Под конец у него несколько раз являлось сумасшедшее желание: выскочить из окопа и бежать туда, к высотам, навстречу двигавшейся на окопы сплошной, черной стене разрывов, и только большим напряжением воли он удерживал себя от этого бессмысленного поступка.

Когда немецкая артиллерия перенесла огонь в глубину обороны и гулкие удары рвущихся снарядов зачастили по горящему хутору и еще дальше, где-то по мелкорослому и редкому дубняку луговой поймы,— Звягинцев, осунувшийся и постаревший за эти злосчастные полчаса, механическим движением надел каску, вытер рукавом запыленный затвор и прицельную рамку винтовки, выглянул из окопа.

Вдали, перевалив через высотки, под прикрытием танков, густыми цепями двигалась немецкая пехота. Звягинцев услышал смягченный расстоянием гул моторов, разноголосый рев идущих в атаку немецких солдат и как-то незаметно для самого себя поборол подступившее к горлу удушье, весь подобрался. Хотя сердце его все еще продолжало биться учащенно и неровно, но от недавней беспомощной растерянности не осталось и следа. Мягко ныряющие на ухабах танки, орущие, подстегивающие себя криком немцы — это была опасность зримая, с которой можно было бороться, нечто такое, к чему Звягинцев уже привык. Здесь в конце концов кое-что зависело и от него, Ивана Звягинцева; по крайней мере он мог теперь защищаться, а не сидеть сложа руки и не ждать в бессильном отчаянии, когда какой-нибудь одуревший от жары, невидимый немец-наводчик прямо в окопе накроет его шалым снарядом...

Звягинцев глотнул из фляги теплой, пахнущей илом воды и окончательно пришел в себя: впервые почувствовал, что смертельно хочет курить, пожалел о том, что теперь уже не успеет свернуть папироску и затянуться хотя бы несколько раз. Вспомнив только что пережитый им страх и то, как молился, он с сожалением, словно о ком-то постороннем, подумал: «Ведь вот до чего довели человека, сволочи!» А потом представил язвительную улыбочку Лопахина и тут же предусмотрительно решил: «Об этом случае надо приправить молчок — не дай бог рассказать

Петру, он же проходу тогда не даст, поедом съест! Оно, конечно, мне, как беспартийному, вся эта религия вроде бы и не воспрещается, а все-таки не очень... не так, чтобы очень фигуристо у меня получилось...»

Он испытывал какое-то внутреннее неудобство и стыд, вспоминая пережитое, но искать весомых самооправданий у него не было ни времени, ни охоты, и он мысленно отмахнулся от всего этого, конфузливо покряхтел, со злостью сказал про себя: «Эка беда-то какая, что помолился немножко, да и помолился-то самую малость... Небось, нужда заставит, еще и не такое коленце выкинешь! Смерть-то она — не родная тетка, она, стерва, всем одинаково страшна — и партийному, и беспартийному, и всякому иному прочему человеку...»

Артиллерия противника снова перенесла огонь на передний край, но теперь Звягинцев уже не с прежней обостренной чувствительностью воспринимал все происходившее вокруг него: и вражеский огонь не казался ему таким сокрушающим, да и снаряды месили землю не только возле его окопа, как представлялось ему раньше, а с немецкой аккуратностью окаймляли всю ломаную линию обороны...

Следуя за огневым валом, немецкая пехота приближалась к окопам. Солдаты шли спорым шагом, во весь рост. Танки били из пушек с ходу и с коротких остановок, но ответный орудийный огонь по ним, как заметил Звягинцев, стал значительно слабее. Тогда на помощь пришла наша тяжелая артиллерия. Далеко за Доном прокатился счетверенный глухой гром, снаряды с тяжким, шепелявым шелестом и подвыванием высоко над окопами прочертили в воздухе невидимые дуги, и разом впереди немецкой цепи вымахнули громадные, черные, расщепленные вверху столбы земли.

Танки рванулись вперед, спеша выйти из зоны обстрела. Не поспевая за ними, бегом двинулась и немецкая пехота.

С замирающим сердцем Звягинцев следил за тем, как, падая и шарахаясь от разрывов, обтекая воронки, быстро приближались расчлененные, скупо редеющие группы вражеских солдат. Многие из них на бегу уже строчили из автоматов... И вдруг ожил до этого таившийся в молчании наш передний край! Казалось бы, что все живое здесь давно уже сметено и сровнено с землей огнем вражеских батарей, но уцелевшие огневые точки дружно вступили в дело, и по немецкой пехоте хлестнул косой смертельный ливень пуле-

ружейного огня. Немцы залегли, однако немного погодя снова двинулись короткими перебежками на сближение.

Только на мгновение Звягинцев поднял прикованные к земле глаза — ничто не изменилось за последние полчаса там, вверху: небо было по-прежнему синее, безмятежно и величественно равнодушное, и так же неторопливо плыли в глубочайшей синеве редкие, словно бы опаленные солнцем и чуть задымленные по краям облака, и все тот же ровный, легкого дыхания ветер увлекал их на восток... Звягинцев увидел краешек этого голубого, осиянного солнцем мира, но все то, что успел он охватить одним безмерно жадным взглядом, разило прямо в сердце и было как скорбная улыбка, как прощальная женская улыбка сквозь слезы.

Совсем близко от щеки Звягинцева, возле его прищуренного глаза, мешая смотреть, колыхалась поникшая, запорошенная пылью ромашка, шевелились сизые веточки полыни, а дальше, за причудливым сплетением травинок, отчетливо и резко вырисовывались полусогнутые фигуры врагов, с каждой минутой все более увеличивающиеся в размерах, неотвратимо приближающиеся...

Прямо на окоп Звягинцева направлялись восемь немецких солдат. Впереди них, слегка клонясь вперед, будто преодолевая сопротивление сильного ветра, быстро шагал офицер. Он на ходу беззаботно помахивал палочкой, потом повернулся вполоборота и, видимо, что-то скомандовал. Солдаты обогнали его, побежали тяжелой рысью.

Звягинцев взял на мушку офицера, на секунду затаил дыхание, выстрелил. Он ждал, что офицер упадет, но тот продолжал идти как ни в чем не бывало. Дивясь бесстрашию лихого офицера и негодуя на себя, Звягинцев выстрелил второй раз, третий, спеша и волнуясь, послал еще две пули. Офицер шел, как заколдованный, может быть, лишь слегка убыстрив шаг, и по-прежнему игриво, словно на прогулке, помахивал палочкой и что-то горланил вслед солдатам.

«Да он же пьяный, собака!» — озарила Звягинцева догадка, и он, вставляя дрожащими пальцами обойму, от нетерпения и ярости заскрипел зубами: «Ну, погоди же... Сейчас я тебя приземлю! Сейчас ты на земле допьешь свое...»

Пока он заряжал винтовку, сержант Никифоров со спокойной, деловитой неторопливостью двумя короткими очередями свалил бравого офицера и трех солдат. Остальные пятеро, отрезвленные потерями, поспешно залегли

в воронках, начали с такой быстротой опорожнять обоймы автоматов, как будто хотели сразу расстрелять весь свой боезапас.

Танки гремели где-то справа. За шумом боя Звягинцев едва расслышал напряженный до предела, хриплый голос лейтенанта Голощекова:

— Пропускай танки! Пропускай танки! По пехоте — огонь!..

Уже на всем протяжении занятой ротой обороны, а также и на соседнем участке, куда нацелен был главный удар противника, немецкая пехота, отсеченная от танков огнем, залегла, а затем стала продвигаться вслед за прорвавшимися танками ползком от укрытия к укрытию, медленно сближаясь, готовясь к решающему броску.

Немцы были близко. Звягинцев отчетливо слышал слова немецкой команды — чужие слова ненавистной вражеской речи — и гулкие удары сердца, заполнившего всю грудную клетку. Он стрелял и в то же время тоскливо прислушивался: не застучит ли умолкший неожиданно пулемет сержанта Никифорова? Но пулемет молчал. «Сейчас — в штыки»,— с равнодушием обреченности подумал Звягинцев, ощупывая потной рукой гранату. От волнения ему не хватало дыхания, и он раздувал ноздри и втягивал горячий, пахнущий дымом воздух с сапом, словно загнанная непосильной скачкой лошадь.

Минуту спустя немцы с криком поднялись. Как в тумане, увидел Звягинцев серо-зеленые мундиры, услышал грузный топот ног, гром рвущихся ручных гранат, торопливые хлопки выстрелов и короткую, захлебнувшуюся пулеметную очередь... Он кинул по сторонам беглый, затравленный взгляд: из окопов уже выскакивали товарищи, его родные товарищи, побратимы на жизнь и на смерть; их было немного, но жидкое «ура!» их звучало так же накаленно и грозно, как и в былые, добрые времена...

Одним махом Звягинцев выбросил из окопа свое большое, ставшее вдруг удивительно легким, почти невесомым тело, перехватил винтовку, молча побежал вперед, стиснув оскаленные зубы, не спуская исподлобного взгляда с ближайшего немца, чувствуя, как вся тяжесть винтовки сразу переместилась на кончик штыка.

Он успел отбежать от окопа всего лишь несколько метров. Позади молнией сверкнуло пламя, оглушительно громыхнуло, и он упал вниз лицом в клубящуюся темноту, которая мгновенно разверзлась перед его широко раскрывшимися, обезумевшими от страшной боли глазами.

* * *

Незадолго до заката солнца, измотанные безуспешными попытками овладеть переправой, немцы прекратили атаки, закрепились на высотах и, не предпринимая активных действий, стали методически обстреливать переправу и пустынные дороги луговой поймы артиллерийско-минометным огнем.

Вечером оборонявшееся соединение получило приказ командования об отступлении на левую сторону Дона. Дождавшись темноты, части бесшумно снялись, миновав развалины сгоревшего хутора, бездорожно, лесом начали отходить к Дону.

Остатки роты вел старшина Поприщенко. Тяжело раненного лейтенанта Голощекова несли на плащ-палатке бойцы, сменяясь по очереди. Позади всех шел мрачный, злой, как черт, Лопахин и — чуть в стороне от него — согнувшийся в дугу Копытовский, несший тяжелый мешок с патронами и ружье убитого бронебойщика Борзых.

Когда проходили по месту, где утром сиял зеленой листвою и полнился звонкими птичьими голосами сад, а теперь чернели одни обугленные пни и, словно разметанные бурей невиданной силы, в диком беспорядке лежали вырванные с корнем, изуродованные и поломанные деревья с иссеченными осколками ветвями, Лопахин остановился возле широкого устья колодца, внимательно посмотрел на мрачно черневший в темноте силуэт сгоревшего немецкого танка. Танк стоял, накренившись набок, подмяв под себя одной гусеницей кусты малины и изломанный в щепки обод поливального колеса, при помощи которого когда-то орошались, жили, росли и плодоносили деревья. В теплом воздухе неподвижно висел смешанный прогорклый запах горелого железа, выгоревшего смазочного масла, жженого человеческого мяса, но и этот смердящий запах мертвечины не в силах был заглушить нежнейшего, первозданного аромата преждевременно вянущей листвы, недоспелых плодов. Даже будучи мертвым, сад все еще источал в свою последнюю ночь пленительное и сладостное дыхание жизни...

Шаркая сапогами по оборванным и спутанным плетям ежевичника, подошел Копытовский, вздохнул, тихо проговорил:

— Эх, жизнь ты наша, жестянка! Закурить бы...

— По мине соскучился? Потерпишь и не куря,— сухо и так же тихо отозвался Лопахин.

— Потерпишь, потерпишь,— недовольно забормотал Копытовский.— Русский солдат, конечно, все вытерпит, но и у него ведь терпелка не из железа выструганная... Я и так нынче до того натерпелся всякой всячины, что вдоль моего терпения все швы полопались...

Лопахин молчал, все так же пристально смотрел на темную громадину танка. Копытовский поправил мешок на спине, приглушенно заговорил:

— И курить страшная охота, а жрать — не говори! Это у кого какая натура: у иного от страху все наружу просится, а я, чем больше пугаюсь, тем сильнее жрать хочу. А день нынче был страховитый, ой, и страховитый! Как он, этот проклятущий немец, пер на нас нынче, а? Я себя уж в покойники записал, думал, что навек позабуду, как дышать, ан нет, не вышло!

Лопахин не слышал Копытовского; молча указав на танк, он проговорил:

— Вот она, Кочётыгова работа, а самого уже нет в живых, геройски погиб... Парень-то какой был!

Без необходимости о смерти товарищей не принято было говорить — таков был в части молчаливый сговор,— но тут Лопахина словно прорвало, и он, обычно не очень-то охочий на излияния подобного рода, вдруг заговорил взволнованным, горячим полушепотом:

— Огонь был, а не парень! Настоящий комсорг был, таких в полку поискать. Да что я говорю — в полку! В армии! А как он танк поджег? Танк его уже задавил, засыпал землей до половины, грудь ему всю измял... У него кровь изо рта хлестала, я сам видел, а он приподнялся в окопе — мертвый приподнялся, на последнем вздохе! — и кинул бутылку... И зажег! Мать теперь узнает,— это как? Понимаешь ты, как она после этого жить будет?! Я же стрелял в этот проклятый танк. Не взяло! Не взяло, будь он проклят. Раньше надо было его бить, на подходе, и не в лоб, а по борту... Дурак я! Старый, трижды проклятый богом дурак! Заспешил я, и вот погиб парень... Еще не жил, только что оперился, а сердце — как у орла! Смотри, на что оказался способный, на какое геройство, а? А я... я, когда таких ребят по восемнадцати да по девятнадцати лет на моих глазах убивают, я, брат, плакать хочу... Плакать и убивать беспощадно эту немецкую сволочь! Нет, брат, мне погибать — совсем другое дело: я довольно пожилой кобель и жизнь со всех концов нюхал, а когда такие, как Кочетыгов, гибнут, у меня сердце не выдерживает, понятно? Чем немцы за это расплатятся? Ну, чем? Вот она, немецкая

падаль лежит тут и воняет, а сердце у меня все равно голодное: мстить хочу! А за материнские слезы чем они расплатятся? Да я по колени, по глотку, по самые ноздри забреду в поганую немецкую кровь и все равно буду считать, что расплата еще не начиналась! Не начиналась, понятно?!

Косноязычная, несвязная, как у пьяного, речь Лопахина несказанно удивила и взволновала Копытовского. Вначале он слушал равнодушно и, чтобы не так хотелось курить, сунул в рот щепоть измявшейся в порошок махорки. Он жевал горчайшую табачную жвачку, сплевывал обжигавшую нёбо и десны слюну и удивлялся, что это сделалось с Лопахиным, всегда таким сдержанным на любое проявление чувств? На Лопахина это было совсем непохоже, нет, непохоже! А под конец Копытовский уже осторожно глотал пропитанную табачной горечью слюну и, всячески стараясь подавить непрошеное волнение, тщетно пытался рассмотреть в темноте выражение лица Лопахина. Но тот стоял к нему вполоборота, низко опустив голову, и в интонациях голоса его, в наклоне головы было что-то такое, от чего Копытовскому стало окончательно не по себе. Но эти рассуждения и воспоминания о погибшем Кочетыгове были явно не к месту и не ко времени, Копытовский был в этом твердо убежден. И он поборол волнение, решительно и резко сказал:

— Хватит тебе причитать! Ты сейчас вроде как плохая баба... Ну, убили парня, да мало ли их нынче побили? Всех не оплачешь, и вовсе не наше с тобой это дело, и вовсе ни к чему сейчас этот разговор. Давай, трогайся, а то ребята уже далеко ушли, как бы не отбиться нам.

Лопахин круто повернулся, не сказав ни слова больше, пошел вперед. В молчании они прошли мимо тонувших в лиловом сумраке развалин МТФ, размеренным пехотным шагом протопали по хрустевшим под ногами обломкам черепицы, и только в лесу, когда присели на минуту отдохнуть, Лопахин прервал долгое молчание:

— А Звягинцев тоже... убит?

— А я откуда же знаю?

— Ты же сказал, что видел, как он упал.

— Ну, видел, а убит он или ранен — не знаю. Я его за пульс не щупал.

— Может, это не он? Может, не он падал-то? Ты ведь там в суматохе не разобрать...— с робко прозвучавшей в голосе надеждой снова спросил Лопахин.

И опять в дрогнувшем голосе Лопахина проскользнула

жалкая, незнакомая Копытовскому нотка, и Копытовский невольно смягчился, уже иным тоном сказал:

— Нет, он падал — Звягинцев, это я видел точно. Мина сзади него рванула, ну, он и с ног долой, а насмерть или как, не знаю.

— Что ты знаешь? Что ты только знаешь? Ни черта ты ничего не знаешь! Тебе и знать-то нечем, аппарата у тебя такого нет,— раздраженно, желчно сказал Лопахин. — Вставай, пошли. Расселся, как на курорте, тоже мне фигура...

Это говорил уже прежний, обычный Лопахин, и голос у него теперь звучал по-старому: грубовато, с хриплым надсадцем... Копытовский хотя и обиделся, но смолчал: с прежним-то Лопахиным жить было попроще...

Снова они молча шли в кромешной тьме, спотыкаясь об оголенные корни дубков, цепляясь за разлатые ветви кустарника, только по звуку шагов определяя направление, взятое идущими впереди. В лощине около перекрестка дорог их накрыла огнем минометная батарея противника. Несколько минут они лежали, прижимаясь к похолодавшей песчаной земле, а потом по команде старшины поднялись, бегом пересекли дорогу. Огонь был слепой, и потерь они не понесли. И еще раз, когда подходили к полуразрушенной дамбе, по которой немцы пристрелялись еще засветло, попали под обстрел и на этот раз пролежали в кустарнике почти полчаса.

Непроглядная темнота озарялась вспышками разрывов, насквозь прошивалась светящимися нитями трассирующих пуль. Иногда далеко на высотах, где были немцы, загорался белый, ослепительный свет ракет, отблеск его ложился на верхушки деревьев, причудливо скользил по ветвям и медленно, как бы нехотя, угасал. Ночью в лесу особенно гулко, раскатисто звучали разрывы снарядов, и каждый раз Копытовский удивленно восклицал:

— Ну и зву-у-ук тут, как в железной бочке!

За дамбой их окликнули; тускло мигнул и погас луч карманного фонарика, прикрытого полой шинели; чей-то преисполненный мягкого добродушия басок прогудел:

— Ну, куда прешь, пехота? Куда прешь? Топаете, как овцы, без разбору, а тут минировано. Держи левее дамбы, на сотенник левее... Как это не обозначено? Очень даже обозначено, видишь, столбики забиты и люди расставлены. Где граница? А там, возле лощины, там вас встретят и укажут дорогу, там вас проводят братья-саперы. Саперы, они все могут: и на тот свет проводят и даже дальше... А это что

у вас, раненый? Лейтенант? Эх, бедолага! Растрясете вы его по такой дороге. Вам надо бы еще левее брать, там местность поровнее будет.

Обрывки услышанного разговора настроили Копытовского на мрачный лад.

— Слыхал, Лопахин, какие у этих кошкодавов порядки? — возмущенно заговорил он. — Про нас говорят — пехота, дескать, а сами чего стоят? Тоже кавалерия! Всю жизнь на топорах верхом ездят и лопатами погоняют, а туда же, куда и люди, — с насмешками... Минируют и какими-то столбиками огораживают. Да что это — опытное поле, что ли? Черт тут, в такой темноте, рассмотрит ихние столбики. Тут на телеграфный столб напорешься и, пока не стукнешься об него лбом, ничего не разберешь. Вот несчастные куроеды, лопатошники, кротовое племя! В упор ничего не видно, а они столбики забивают... Задремал бы этот саперный жеребец с басом, какой дорогу указывал, и за милую душу могли бы мы забрести на минное поле. Веселое дело! От немца ушли, а на своих минах начали бы подрываться... Ведь нам только через этот проклятый Дон перебраться, а там считай себя спасенным, и вот тебе, здравствуйте, чуть не напоролись на свое же родное минное поле. А такие случаи бывают, сколько хочешь! Кажется, вот уже достиг человек своей цели, и, пожалуйста, все идет к чертовой бабушке! У нас в колхозе — это еще до войны дело было — колхозный счетовод три года сватал одну девушку; она телефонисткой при сельсовете работала. Он сватает, а она не идет за него, потому что он ей совершенно не нравился и никакой к нему любви она не питала. Но он, собачий сын, все-таки своего добился: согласилась она выходить за него от отчаяния — до того надоел он ей своим приставанием. Вода, говорят, камень долбит, так и он: долбил три года и своего достиг. А она, эта девушка, заплакала и подругам так и сказала: «Выхожу за него, милые подружки, потому, — говорит, — что никакого покою от него не имею, а вовсе не по горячей любви». Ну, одним словом, пришло дело к концу, записались они в загсе. Вечером счетовод гостей созвал. Сидит за столом, сияет, как блин, намазанный маслом, довольный, невозможно гордый собой: как же, три года сватал и на своем все-таки поставил! И вот он гордился, гордился, а через полчаса тут же, за столом, ноги протянул. И знаешь, по какой причине? Вареником подавился, гад! От радости или от жадности, этого я не могу сказать, но только глотнул он его целиком, не жевавши, а вареник и попади ему в дыхательное горло.

Ну, и готов! Его уж, этого неудачного молодого, и кверху ногами ставили, и по спине кулаками и стульями били, били, надо прямо сказать, с усердием и чем попадя, и квачем в горло ему лазили, чего только с ним не делали! Не помогло. Так, за столом сидя, и овдовела, к своему удовольствию, наша телефонистка. А еще у нас в колхозе был такой случай...

— Закройся со своими случаями! — строго приказал Лопахин.

Копытовский покорно умолк. Минуту спустя он споткнулся о пень и, гремя котелком, растянулся во весь рост.

— Тобою только сваи на мосту забивать! — злобно зашипел Лопахин.

— Да ведь темнота-то какая,— потирая ушибленное колено, виновато оправдывался Копытовский.

Молчать — после всего пережитого днем — он был, видимо, не в состоянии и, пройдя немного, спросил:

— Не знаешь, Лопахин, куда нас старшина ведет?

— К Дону.

— Я не про то: к мосту он ведет или куда?

— Левее.

— А на чем же мы там переправляться будем? — испуганно спросил Копытовский.

— На соплях,— отрезал Лопахин.

Несколько минут Копытовский брел молча, а потом примирительно сказал:

— А ты не злись, Лопахин! И вот ты все злишься, все злишься... И чего ты, спрашивается, злишься? Одному тебе несладко, что ли? Всем так же.

— Того и злюсь, что ты глупости одни болтаешь.

— Какие же глупости? Как будто ничего такого особенного не сказал.

— Ничего? Хорошенькое ничего! Видишь ты, что немец по мосту кроет?

— Ну, вижу.

— Видишь, а спрашиваешь: к мосту идем или куда. Ты с твоим телячьим рассудком, ясное дело, повел бы людей к разбитому мосту, огня хватать... И вообще отвяжись от меня со своими дурацкими вопросами, без тебя тошно. И на пятки мне не наступай, а то я могу локтем кровь у тебя из носа вынуть.

— Ты на свои пятки фонари навесь, а то их не видно в потемках. Тоже, с дамскими пятками оказался...— огрызнулся Копытовский.

— Фонарей, в случае чего, я могу тебе навешать, а пока

ты ко мне не жмись, я тебе не корова, и ты мне не теленок, понятно?

— Я к тебе и не жмусь.

— Держи дистанцию, понятно?

— Я и так держу дистанцию.

— Какая же это дистанция, если ты все время мне на пятки наступаешь? Что ты возле меня трешься?

— Да не трусь я возле тебя, на черта ты мне сдался!

— Нет, трешься! Что ты, потеряться боишься, что ли?

— И вот опять ты злишься,— удрученно проговорил Копытовский.— Потеряться я не боюсь, а переправляться без моста, как бы тебе сказать... ну, опасаюсь, что ли! Тебе хорошо рассуждать, ты плавать умеешь, а я не умею плавать, совершенно не умею, да и только! Идем мы ниже моста, лодок там не будет, это я точно знаю. А раз лодок не будет, то переправляться придется на подручных средствах, а я уже ученый: переправлялся через Донец на подручных средствах и знаю, что это за штука.

— Может, ты на время закроешься со своими разговорчиками? — сдержанно, со зловещей вежливостью вопросил из темноты голос Лопахина.

И унылый, но преисполненный упрямой решимости говорок Копытовского откуда-то сзади, из-за темной шапки куста, ему отозвался:

— Нет, я не закроюсь, мне жить осталось — самые пустяки, только до Дона, а потому я должен перед смертью высказаться... Даже закон есть такой, чтобы перед смертью высказываться. Подручные средства — вот что такое: умеешь плавать — плыви, а не умеешь — затыкай пальцами ноздри покрепче и ступай на дно раков пасти... Получили мы приказ форсировать Донец, ну, наш командир роты и дает команду: «Используй подручные средства, за мной, ребята, бегом!» Скатил я в воду порожний немецкий бочонок из-под бензина, ухватился за него и болтаю ногами, форсирую водную преграду в лице этого несчастного Донца. До середины кое-как добрался, не иначе течением или ветром меня отнесло, а потом, как только одежда на мне намокла, так и начал я от бочонка отрываться. Он, проклятый, вертится на воде, и я вместе с ним: то голова у меня сверху, а то внизу, под водой. Один раз открою глаза — мать честная! — красота, да и только: солнце, небо синее, деревья на берегу, в другой раз открою — батюшки светы! — зеленая вода кругом, дна не видно, какие-то светлые пузыри мимо меня вверх летят. Ну, и, как полагается,

оторвался я от этого бочонка, пешком пошел ко дну... Спасибо, товарищ один нырнул и вытащил меня.

— Напрасно сделал. Не надо было вытаскивать! — сожалеюще сказал Лопахин.

— Напрасно не напрасно, а вытащили. Ты бы, конечно, не вытащил, от тебя жди добра! Только потому я теперь и норовлю подальше от этих подручных средств держаться. Лучше уж под огнем, да по мосту. Потому и подпирает мне под дыхало, как только вспомню, сколько я тогда донецкой водички нахлебался... Ведра два выпил за один прием, насилу опорожнился тогда от этой воды...

— Не скули, Сашка, помолчи хоть немного, как-нибудь на этот раз переправишься,— обнадежил Лопахин.

— Как же я переправлюсь? — в отчаянии воскликнул Копытовский.— Оглох ты, что ли? Все время тебе толкую, что плавать вовсе не могу, ну, как я переправлюсь? А тут еще ты этих чертей, патронов, насовал мне в мешок пуда два, да еще ружье Борзых у меня, да скатка, да автомат с дисками, да шанцевый инструмент в лице лопатки, да сапоги на мне... Умеючи плавать и то с таким имуществом надо тонуть, а не умеючи, как я, просто за милую душу: заброди по колено в воду, ложись и помирай на сухом берегу. Нет, мне тонуть надо непременно, уж это я знаю! Вот только за каким я чертом патроны и всю остальную муру несу, мучаюсь напоследок перед смертью — не понимаю! Подойдем к Дону — брошу все это к черту, сыму штаны и буду утопать голый. Голому все как-то приятней...

— Замолчи, пожалуйста, не утонешь ты! Навоз не тонет,— яростным шепотом сказал Лопахин.

Но Копытовский тотчас же отозвался:

— Ясное дело, что навоз не тонет, и ты, Лопахин, переплывешь в первую очередь, а мне — каюк!.. Как только дойдем до Дона — безопасную бритву подарю тебе на память... Я не такой перец, как ты, я зла не помню... Брейся моей бритвой на здоровье и вспоминай геройски утопшего Александра Копытовского.

— Уродится же этакая ягодка на свете! — сквозь зубы пробормотал Лопахин и прибавил шагу.

Переругиваясь вполголоса, по щиколотку увязая в песке, они спустились с песчаного холма, увидели в просветах между кустами тускло блеснувшую свинцово-серую полосу Дона, причаленные к берегу темные плоты и большую группу людей на песчаной косе.

— Дари бритву, Сашка! Слышишь ты, утопленник? — сурово сказал Лопахин.

Но Копытовский счастливо и глупо захохотал.

— Нет, миленький, теперь она мне самому сгодится! Теперь я опять живой! Плот увидал — и как заново на свет народился!

— Ты, Лопахин? — окликнул их из темноты старшина Поприщенко.

— Я, — нехотя отозвался Лопахин.

Старшина отделился от стоявшей возле плота группы, пошел навстречу, с хрустом дробя сапогами мелкие речные ракушки. Он подошел к Лопахину в упор, сказал дрогнувшим голосом:

— Не донесли... умер лейтенант.

Лопахин положил на землю ружье, медленным движением снял каску. Они стояли молча. Прямо в лицо им дул теплый, дышащий пресной влагой ветер.

Ночью шел дождь, порывами был сырой, пронизывающий ветер, и глухо, протяжно стонали высокие тополя левобережной, лесистой стороны Дона. Насквозь промокший и продрогший, Лопахин жался к безмятежно храпящему Копытовскому, натягивал на голову тяжелую, пропитанную водой полу шинели, сквозь сон прислушивался к раскатам грома, звучавшего в сравнении с артиллерийской стрельбой по-домашнему мирно и необычайно добродушно.

С рассветом дождь прекратился. Пал густой туман. Лопахин забылся тревожным и тяжелым сном, но вскоре его разбудили. Старшина поднял всех на ноги, охрипшим от кашля голосом сказал:

— Лейтенанта надо похоронить как полагается и идти, нечего нам тут без толку киселя месить.

На поляне возле дикой яблони с поникшими листьями, осыпанными слезинками дождя, Лопахин и еще один красноармеец, по фамилии Майборода, вырыли могилу. Когда сняли первые пласты земли, Майборода сказал:

— Смотри, какой дождь полоскал всю ночь, а земля и на четверть не промокла.

— Да, — сказал Лопахин.

И больше до конца работы они не обмолвились ни одним словом. Последнюю лопатку земли со дна готовой могилы выбросил Майборода. Он вытер ладонью покрытый испариной лоб, вздохнул.

— Ну, вот и отрыли нашему лейтенанту последний окопчик...

— Да, — снова сказал Лопахин.

— Теперь закурим? — спросил Майборода.

Лопахин отрицательно качнул головой. Желтое, измятое бессонницей лицо его вдруг сморщилось, и он отвернулся, но быстро овладел собой, твердым голосом сказал:

— Пойду старшине доложу, а ты... ты покури пока.

* * *

Старшина любил поговорить, Лопахин это знал и больше всего боялся, что у могилы лейтенанта, оскорбляя слух, кощунственно зазвучат пустые и ненужные, казенные слова. Он с тревогой и недоверием смотрел на старое, рыжеусое, с припухшими глазами лицо старшины, переводил взгляд на ремни и потрепанную полевую сумку лейтенанта, которую старшина осторожно прижимал к груди левой рукой.

Только вчера он, Лопахин, пил водку в окопе лейтенанта, всего лишь несколько часов назад, и эта сумка и пропотевшие ремни портупеи плотно прилегали к горячему, ладному телу лейтенанта, а сейчас лежит это же тело у края могилы, неподвижное и как бы укороченное смертью, лежит мертвый лейтенант Голощеков, завернутый в окровавленную плащ-палатку, и не тают, не расползаются на бледном лице его капельки дождя; и вот уже подходит последняя минута прощания...

Лопахин вздрогнул, когда старшина хрипло и тихо заговорил:

— Товарищи бойцы, сынки мои, солдаты! Мы сегодня хороним нашего лейтенанта, последнего офицера, какой оставался у нас в полку. Он был тоже с Украины, только области он был соседней со мной, Днепропетровской. У него там, на Украине, мать-старуха осталась, жинка и трое мелких детишек, это я точно знаю... Он был хороший командир и товарищ, вы сами знаете, и не об этом я хочу сейчас сказать... Я хочу сказать возле этой дорогой могилы...

Старшина умолк, подыскивая нужные слова, и уже другим, чудесно окрепшим и исполненным большой внутренней силы голосом сказал:

— Глядите, сыны, какой великий туман кругом! Видите? Вот таким же туманом черное горе висит над народом, какой там, на Украине нашей, и в других местах под немцем остался! Это горе люди и ночью спят — не заспят, и днем через это горе белого света не видят... А мы об этом должны помнить всегда: и сейчас, когда товарища похоро-

ним, и потом, когда, может быть, гармошка где-нибудь на привале будет возле нас играть. И мы всегда помним. Мы на восток шли, а глаза наши глядели на запад. Давайте туда и будем глядеть до тех пор, пока последний немец от наших рук не ляжет на нашей земле... Мы, сынки, отступали, но бились как полагается, вон сколько нас осталось — раз, два, и обчелся... Нам не стыдно добрым людям в глаза глядеть. Не стыдно... только и радости, что не стыдно, но и не легко! От земли в гору нам глаза подымать пока рано. Рано подымать! А я так хочу, чтобы нам не стыдно было поглядеть в глаза сиротам нашего убитого товарища лейтенанта, чтобы не стыдно было поглядеть в глаза его матери и жене и чтобы могли мы им, когда свидимся, сказать честным голосом: «Мы идем кончать то, что начали вместе с вашим сыном и отцом, за что он — ваш дорогой человек — жизнь свою на Донщине отдал,— немца идем кончать, чтоб он выздох!» Нас потрепали, тут уж ничего не скажешь, потрепали-таки добре. Но я старый среди вас человек и солдат старый — слава богу, четвертую войну ломаю — и знаю, что живая кость мясом всегда обрастет. Обрастем и мы! Пополнится наш полк людями, и вскорости опять пойдем мы хоженой дорогой, назад, на заход солнца. Тяжелыми шагами пойдем... Такими тяжелыми, что у немца под ногами земля затрясется!

Старшина трудно, по-стариковски, преклонил одно колено и, нагнувшись над телом лейтенанта, сказал так тихо, что взволнованный Лопахин еле расслышал:

— Может, и вы, товарищ лейтенант, еще услышите нашу походку... Может, и до вашей могилки долетит ветер с Украины...

Двое бойцов соскочили в могилу, бережно приняли на руки негнущееся тело лейтенанта. Не подымаясь с колен, старшина бросил горсть песчаной земли и поднял руку.

Быстро вырос над могилой маленький песчаный холмик, отгремел троекратный ружейный салют, и, с удесятеренной и разгневанной силой продолжая его, загрохотала расположенная неподалеку гаубичная батарея.

* * *

Никогда еще не было у Лопахина так тяжело и горько на сердце, как в эти часы. Ища одиночества, он ушел в лес, лег под кустом. Мимо медленно прошли Копытовский

и еще один боец. Лопахин слышал, как, захлебываясь от восхищения и зависти, Копытовский говорил:

— ...новенькая дивизия, она недавно подошла сюда. Видал, какие ребята? Что штаны на них, что гимнастерки, что шинельки — все с иголки, все блестит! Нарядные, черти, ну, просто как женихи! А на себя глянул — батюшки светы! — как, скажи, я на собачьей свадьбе побывал, как, скажи, меня двадцать кобелей рвали! Одна штанина в трех местах располосованная, половина срама на виду, а зашить нечем, нитки все кончились. Гимнастерка на спине вся сопрела от пота, лентами ползет и уже на бредень стала похожа. Про обувку и говорить нечего,— левый сапог рот раззявил, и неизвестно, чего он просит, то ли телефонного провода на перевязку подошвы, то ли настоящей починки... А кормятся они как? Точно в санатории! Рыбу, глушенную бомбами, ловят в Дону; при мне в котел такого сазана завалили, что ахнешь! Живут, как на даче. Так, конечно, можно воевать. А побывали бы в таком переплете, как мы вчера,— сразу облиняли бы эти женихи!

Лопахин лежал, упершись локтями в рыхлую землю, устало думая о том, что теперь, пожалуй, остатки полка отправят в тыл на переформирование или на пополнение какой-либо новой части, что этак, чего доброго, придется надолго проститься с фронтом, да еще в такое время, когда немец осатанело прет к Волге и на фронте дорог каждый человек. Он представил себя с тощим «сидором» за плечами, уныло бредущим куда-то в неведомый тыл, а затем воображение подсказало ему и все остальное: скучная, лишенная боевых тревог и радостей жизнь в провинциальном городке, пресная жизнь запасника, учения за городом в выжженной солнцем степи, стрельбы по деревянным макетам танков и нудные наставления какого-нибудь бывалого лейтенанта, который по долгу службы и на него, Петра Лопахина, уже прошедшего все огни и воды и медные трубы, будет смотреть, как на молодого лопоухого призывника... Лопахин с негодованием повертел головой, заерзал на месте. Нет, черт возьми, не для него эта тихая жизнь! Он предпочитает стрелять по настоящим немецким танкам, а не по каким-то там глупым макетам, и идти на запад, а не на восток, и — лишь на худой конец — постоять немного здесь, у Дона, перед новым наступлением. Да и что его может удерживать в части, где не осталось ни одного старого товарища? Стрельцова нет, и неизвестно, куда попадет он после госпиталя; только за один вчерашний день погибли Звягинцев, повар Лисиченко, Кочетыгов,

сержант Никифоров, Борзых... Сколько их, боевых друзей, осталось навсегда лежать на широких просторах от Харькова до Дона! Они лежат на родной, поруганной врагом земле и безмолвно взывают об отмщении, а он, Лопахин, пойдет в тыл стрелять по фанерным танкам и учиться тому, что давно уже постиг на поле боя?!

Лопахин проворно вскочил на ноги, отряхнул с колен песок, пошел к старой землянке, где расположился старшина.

«Буду просить, чтоб оставили меня в действующей части. Кончен бал, никуда я отсюда не пойду!» — решил Лопахин, напрямик продираясь сквозь густые кусты шиповника.

Он прошел не больше двадцати шагов, когда вдруг услышал знакомый голос Стрельцова. Изумленный Лопахин, не веря самому себе, круто повернул в сторону, вышел на небольшую полянку и увидел стоявшего к нему спиной Стрельцова и еще трех незнакомых красноармейцев.

— Николай! — крикнул Лопахин, не помня себя от радости.

Красноармейцы выжидающе взглянули на Лопахина, а Стрельцов по-прежнему стоял, не оборачиваясь, и что-то громко говорил.

— Николай! Откуда ты, чертушка?! — снова крикнул Лопахин веселым, дрожащим от радости голосом.

Руки Стрельцова коснулся один из стоявших рядом с ним красноармейцев, и Стрельцов повернулся. На лице его разом вспыхнула горячая, просветленная улыбка, и он пошел навстречу Лопахину.

— Дружище, откуда же ты взялся? — еще издали прокричал Лопахин.

Стрельцов молча улыбался и, размахивая длинными руками, крупно, но не особенно уверенно шагал по поляне.

Они сошлись возле недавно отрытой щели с празднично желтыми отвалами свежей песчаной земли, крепко обнялись. Лопахин близко увидел черные, сияющие счастьем глаза Стрельцова, задыхаясь от волнения, сказал:

— Какого черта! Я тебе ору во всю глотку, а ты молчишь, в чем дело? Говори же, откуда ты, как? Почему ты здесь очутился?

Стрельцов с неподвижной, как бы застывшей улыбкой внимательно и напряженно смотрел на шевелящиеся губы Лопахина и наконец сказал, слегка заикаясь и необычно растягивая слова:

— Петька! До чего я рад — ты просто не поймешь!..

Я уже отчаялся разыскать кого-либо из вас...Тут столько нар-р-оду...

— Откуда же ты взялся? Тебя же в медсанбат отправили? — воскликнул Лопахин.

— И вдруг смотрю — он! Лопахин! А где же остальные?

— Да ты что, приоглох немного? — удивленно спросил Лопахин.

— Я вас со вчерашнего вечера ищу, все части обошел! Хотел на ту сторону переправиться, но один капитан артиллерист сказал, что все оттуда отводится,— еще сильнее заикаясь, сияя черными глазами, проговорил Стрельцов.

Лопахин, все еще не осознавая того, что́ произошло с его другом, засмеялся, хлопнул Стрельцова по плечу.

— Э, братишечка, да ты основательно недослышишь! Вот у нас с тобой и получается, как в присказке: «Здорово кума!» — «На рынке была».— «Аль ты глуха?» — «Купила петуха». Да ты что, на самом деле недослышишь? — уже значительно громче спросил Лопахин.— И говоришь както неровно, заикаешься... Постой... Так это же у тебя после контузии? Вот оно что!

Лопахин густо побагровел от досады на самого себя и с острой болью взглянул в изменившееся, но по-прежнему улыбающееся лицо Стрельцова. А тот положил на плечо Лопахина вздрагивающую руку, мучительно, тяжело заикаясь, сказал:

— Давай присядем, Петя. Со мной трудно разговаривать, я после того случая с бомбой ничего не слышу. И вот... видишь, заикаться стал... Ты пиши, а я тебе буду отвечать.

Он присел возле щели, достал из нагрудного кармана засаленный блокнотик и карандаш. Лопахин выхватил у него из рук карандаш, быстро написал: «Понимаю, ты удрал из медсанбата?» Стрельцов заглянул ему через плечо, сказал:

— Ну, как сказать — удрал... Ушел — это вернее. Я говорил врачу, что уйду, как только мне станет полегче.

«За каким чертом? Тебе, дураку, лечиться надо!» — написал Лопахин и с такой яростью нажал на восклицательный знак, что сердечко карандаша сломалось.

Стрельцов прочитал и удивленно пожал плечами.

— Как же это — за каким чертом? Кровь из ушей у меня перестала идти, тошноты почти прекратились. Чего ради я там валялся бы? — Он мягко взял из рук Лопахина карандаш, достал перочинный ножик и, зачиняя карандаш,

сдувая с колена крохотные стружки, сказал: — А потом я просто не мог там оставаться. Полк был в очень тяжелом положении, вас осталось немного... Как я мог не прийти? Вот я и пришел. Драться рядом с товарищами ведь можно и глухому, верно, Петя?

Гордость за человека, любовь и восхищение заполнили сердце Лопахина. Ему хотелось обнять и расцеловать Стрельцова, но горло внезапно сжала горячая спазма, и он, стыдясь своих слез, отвернулся, торопливо достал кисет.

Низко опустив голову, Лопахин сворачивал папироску и уже почти совсем приготовил ее, как на бумагу упала большая светлая слеза, и бумага расползлась под пальцами Лопахина...

Но Лопахин был упрямый человек: он оторвал от старой, почерневшей на сгибах газеты новый листок, осторожно пересыпал в него табак и папироску все же свернул.

* * *

Очнулся Звягинцев от толчков и дикой боли, огнем разливавшейся по всему телу. Он с хрипом вздохнул, удушливо закашлялся — рот его был набит землей и пылью — и словно со стороны услышал свой тихий, захлебывающийся кашель и глубокий, исходивший из самого нутра стон.

Кругом рвались снаряды, мины. Разные по силе, по звуку удары сотрясали землю, с замирающим визгом и воем проносились осколки, где-то позади длинными очередями хлестал пулемет. От близких разрывов тугие волны горячего, пропахшего гарью воздуха прижимали к земле лежавшего плашмя Звягинцева, клубили и вихрили вокруг него прогорклую пыль. Все еще воспринимая все звуки боя так, будто они доносились до него откуда-то из неведомого далека, Звягинцев слегка пошевелился, удесятерив этим слабым движением жгучую боль, и только тогда до его помраченного сознания дошло, что он жив.

Уже боясь шевельнуться, лопатками, спиной, ногами ощущая, что гимнастерка и штаны обильно напитаны кровью и тяжело липнут к телу, Звягинцев понял, что жестоко изранен осколками и что боль, спеленавшая его с головы до ног,— от этого.

Он подавил готовый сорваться с губ стон, попробовал вытолкнуть языком изо рта мешавшую ему дышать клейкую грязь; на зубах заскрипел зернистый песок, и так оглушителен был этот скрежещущий звук, резкой болью

отдавшийся в голове, так тошнотно-приторно ударил в ноздри запах собственной загустевшей крови, что он снова едва не лишился сознания. А потом сознание, как бы трепетавшее на тончайшей, могущей в любой миг оборваться ниточке, стало крепнуть, расти, и тогда он с запоздалым, остро вспыхнувшим страхом вспомнил, как когда-то, наверное, совсем недавно, выскочил из окопа, как увидел невдалеке бегущих прямо на него немцев и одного из них — коренастого, полусогнутого, с расстегнутым воротом измазанного глиной мундира, с вылезшими из орбит серыми глазами. Немец бежал, плотно сжав бледные губы, с сапом втягивая раздутыми ноздрями воздух, чуть выставив вперед левое плечо. Он на бегу пытался втолкнуть в гнездо автомата плоскую черную обойму, а Звягинцев, короткими, стремительными шагами сближаясь с ним, видел и серые глаза врага, осумасшедшевшие от азарта атаки, и тусклую пуговицу немецкого мундира, пониже которой вот-вот должен был с противно мягким, знакомым хрустом войти его штык, и белое, колеблющееся на бегу и кидающее скользящие блики жало штыка видел он в эти секунды... Тотчас же что-то сильно ударило его в спину и по ногам, коротко, как летний гром, прозвучал сзади трескучий разрыв, и он, Звягинцев, падая вниз лицом, в страшном последнем падении, когда уже нет сил, чтобы поднять руку и защитить от удара лицо,— понял, что это — все, конец...

С усилием Звягинцев поднял веки. Сквозь пыль, смешавшуюся со слезами и грязной коркой залепившую глаза, увидел клочок багрово-мутного неба, близко от щеки проплывавшие куда-то мимо причудливые сплетения былинок. Его волоком тащили по траве, очевидно, на плащ-палатке, и к сухому и жесткому шороху травы присоединялось тяжелое, прерывистое дыхание человека, который полз впереди и с трудом, сантиметр за сантиметром тащил за собой его отяжелевшее, безвольное тело.

Спустя немного Звягинцев почувствовал, как вначале голова его, а затем и туловище сползают куда-то вниз. Он больно ударился плечом обо что-то твердое и снова мгновенно потерял сознание.

Вторично он очнулся, ощутив на лице прикосновение шероховатой маленькой руки. Влажной марлей ему осторожно прочистили рот и глаза, и он на миг увидел маленькую женскую руку и голубую пульсирующую жилку у белого запястья, затем к губам его приставили теплое, металлически пресное на вкус горлышко алюминиевой фляжки. Обжигая нёбо и гортань, тоненькой струйкой

потекла водка. Он глотал ее мелкими, судорожно укороченными глотками, и уже после того, как фляжку мягко отняли от его губ, он еще раза три глотнул впустую, как теленок, которого оттолкнули от вымени, облизал пересохшие губы, открыл глаза.

Над ним склонилось бледное, даже под густым загаром веснушчатое лицо незнакомой девушки в вылинявшей пилотке, прикрывавшей спутанную копну огненно-рыжих кудрей. Лицо было явно дурненькое, простое, неказистое лицо курносой русской девушки, но такая глубокая сердечная ласка и тревога проглядывали в огрубевших чертах этого лица, такой извечной женской теплотой и состраданием светились девичьи серые, нестрогие глаза, что Звягинцеву показалось, что эти глаза так же нужны, хороши и необходимы, как сама жизнь, как раскинувшееся над ним бескрайнее голубое небо с грядой перистых тучек в вышине.

От радости, что жив и не покинут своими, от признательности, которую он не мог да, пожалуй, и не сумел бы выразить словами незнакомой девушке — санитарке чужой роты, у него коротко и сладко защемило сердце, и он чуть слышно прошептал:

— Сестрица... родная... откуда же ты взялась?

Водка подкрепила Звягинцева. Блаженное тепло разлилось по его телу, на лбу мелким бисером выступила испарина, и даже боль в ранах будто бы занемела, утратив недавнюю злую остроту.

— Ты бы мне еще водочки, сестрица...— уже чуть громче сказал он, втайне удивляясь своему ребячески тонкому и слабому голосу.

— Какая там водочка! Нельзя тебе больше, никак нельзя, миленький! Пришел в себя — и хорошо. Огонь-то какой они ведут, ужас! Тут хоть бы как-нибудь дотянуть тебя до медсанроты,— жалобно сказала девушка.

Звягинцев слегка отвел в сторону левую руку, затем правую, странно непослушными пальцами ощупал под боком нагретую солнцем накладку и ствол винтовки, безуспешно попробовал пошевелить ногами и, стиснув от боли зубы, спросил:

— Слушай... куда меня поранило?

— Всего тебя... всему досталось!

— Ноги... ноги-то хоть целы или как? — глухо спросил уже готовый в душе ко всему самому худшему, но ни с чем не смирившийся Звягинцев.

— Целы, целы, миленький, только продырявлены не-

много. Ты не беспокойся и не разговаривай, вот доберемся до места, осмотрят тебя, перевяжут как следует, лечить начнут, наверное, отправят в тыловой госпиталь, и все будет в порядочке. Война любит порядочек...

Не все из того, что сказала она, дошло до Звягинцева.

— Всего, значит, испятнили? — переспросил он и, помолчав немного, горестно шепнул: — Сказала тоже... Какой же это порядочек?

Они лежали в глубокой воронке, на жестких грудах откуда-то от первородных глубин исторгнутой взрывом глинистой земли. С низким нарастающим воем над ними прошелестела мина, и Звягинцев, ко всему, кроме своей боли, равнодушный, но все же краем глаза наблюдавший за девушкой, увидел, как она в ожидании близкого разрыва припала к земле, сжалась в комочек, зажмурилась и детским, трогательным в своей наивности движением закрыла грязной ладошкой глаза.

За короткие минуты просветления, вспышками озарявшего сознание, Звягинцев пока еще не успел по-настоящему осмыслить всей бедственности своего положения, не успел пожалеть себя, а девушку пожалел, сокрушенно думая: «Дите, совсем дите! Ей бы дома с книжками в десятый класс бегать, всякую алгебру с арифметикой учить, а она тут под невыносимым огнем страсть терпит, надрывает животишко, таская нашего брата...»

Огонь как будто стал утихать, и чем реже гремели взрывы, мощными голосами будившие Звягинцева к жизни, тем слабее становился он и тем сильнее охватывало его темное, нехорошее спокойствие, бездумность смертного забытья...

Девушка наклонилась над ним, заглянула в его одичавшие от боли, уже почти потусторонние глаза и, словно отвечая на немую жалобу, застывшую в глазах, в горьких складках возле рта, требовательно и испуганно воскликнула:

— Миленький, потерпи! Миленький, потерпи, пожалуйста! Сейчас двинемся дальше, тут уже недалеко осталось! Слышишь, ты?!

С величайшим трудом она вытащила его из воронки. Он очнулся, попытался помочь, подтягиваясь на руках, цепляясь пальцами за сухую, колючую траву, но боль стала совершенно нестерпимой, и он прижался мокрой от слез щекой к мокрой от крови плащ-палатке и стал жевать зубами рукав гимнастерки, чтобы не оказать перед девушкой своей мужской слабости, чтобы не закричать от

боли, которая, казалось, рвет на части его обескровленное и все же жестоко страдающее тело.

В нескольких метрах от воронки девушка выпустила из потной занемевшей руки угол плащ-палатки, перевела хриплое дыхание, неожиданно проговорила плачущим голосом:

— Господи, и зачем это берут таких обломов в армию? Ну зачем, спрашивается? Ну разве я дотащу тебя, такого мерина? Ведь в тебе, миленький, верных шесть пудов!

Звягинцев разжал зубы, прохрипел:

— Девяносто три...

— Что — девяносто три? Чего это ты? — спросила девушка, шумно дыша.

— Килограммов столько во мне было... до войны. Теперь меньше,— помолчав и прислушиваясь к бурному дыханию санитарки, сказал Звягинцев.

Ему почему-то снова стало жаль эту небольшую выбившуюся из последних сил девушку, и он сначала отвлеченно подумал: «Вот и моя Наташка лет через шесть такая же будет: дурненькая с лица, а сердцем ласковая...»,— а потом, напрасно стараясь придать своему голосу твердость и привычную мужскую властность, с передышками проговорил:

— Ты вот что, дочка... ты брось меня, не мучайся... И сам... Вот полежу малость и сам попробую... Руки целы — долезу как-нибудь!

— Вот еще глупости какие! И к чему вы, мужчины, всегда всякую ерунду говорите? — сердитым шепотом сказала девушка.— Куда ты годен? Ну куда? Это я только так, устала немного, а как только отдохну — снова тронемся. Я еще и не таких тяжелых вытаскивала, будь спокоен! У меня всякие случаи бывали, даже похлестче этого! Ты не смотри, что я с виду маленькая, я сильная...

Она еще что-то говорила бодрящее и немножко хвастливо, но Звягинцев, как ни старался, слов уже не различал. Милый девичий голос стал глохнуть, удаляться и, наконец, исчез. Звягинцев снова впал в беспамятство.

Пришел в себя он уже много часов спустя на левой стороне Дона в медсанбате. Он лежал на носилках и первое, что почувствовал,— острый запах лекарств, спирта, а затем увидел низкий зеленый купол просторной палатки, людей в белых халатах, мягко двигающихся по застланному брезентом земляному полу.

«До трех раз память мне отбивало, а я все-таки живой...

Значит, выживу, значит, погодим пока помирать», — с растущей надеждой подумал Звягинцев.

Ему почему-то трудно было дышать, и он с опаской медленно поднес ко рту черную от грязи руку, сплюнул. Слюна была белая. Ни единого розового пузырька на ладони. И Звягинцев повеселел и окончательно убедился в том, что теперь, пожалуй, все для него сойдет благополучно. «Легкие целые, по всему видать, а если через спину какой осколок в печенки попал,— его доктора щипцами вытянут. У них тут, небось, разного шанцевого инструмента в достатке. Главное — как с ногами? Тронуло кости или нет? Буду ходить или — калека?» — думал он, еще раз внимательно и придирчиво разглядывая слюну на большущей, одубевшей от мозолей ладони.

Рядом с ним два санитара раздевали раненого красноармейца. Один поддерживал раненого под руки, второй, бережно касаясь толстыми пальцами, осторожно распарывал ножницами по шву залитые бурыми подтеками штаны, и, когда на пол бесформенной грудой сползли жесткие, как брезент, покоробившиеся от засохшей крови защитные штаны и бязевые кальсоны, насквозь пропыленные и по цвету почти не отличавшиеся от верхней одежды, Звягинцев увидел на правой ноге красноармейца чуть пониже бедра огромную рваную рану, уродливо выпиравшую из красного месива, ослепительно белую, расколотую кость.

Красноармеец, чем-то неуловимо напоминавший Стрельцова, немолодой мужчина с тронутыми сединой усами над ввалившимся ртом и острыми, одетыми голубоватой бледностью скулами, держался мужественно, не проронил ни одного слова и все время смотрел в одну точку отрешенным, нездешним взглядом, но Звягинцев глянул на его левую ногу, беспомощно полусогнутую в колене, худую и волосатую, дрожавшую мелкой лихорадочной дрожью, и, не в силах больше смотреть на чужое страдание, отвернулся, проворно закрыл глаза.

«Этот парень отходил свое. Оттяпают ему доктора ножку, оттяпают, как пить дать, а я еще похожу. Не может же быть, чтобы и у меня ноги были перебитые?» — в тоскливом ожидании думал Звягинцев.

В это время пожилой лысый санитар в очках подошел к нему, наметанным глазом скользнул по ногам и, нагнувшись, хотел разрезать голенище сапога, но Звягинцев, молчаливо следивший за ним напряженным и острым взглядом, собрал все силы, тихо, но решительно сказал:

— Штаны пори, не жалко, а сапоги не трогай, не разрешаю. Я в них и месяца не проходил, и они мне нелегко достались. Видишь, из какого они товару? Подошва спиртовая, и вытяжки настоящие, говяжьи. Это, брат, не кирзовый товар, это понимать надо... Я и так богом обиженный: шинель и вещевой мешок в окопе остались... Так что сапог не касайся, понятно?

— Ты мне не указывай,— равнодушно сказал санитар, примеряясь, как бы половчее полоснуть вдоль шва ножом.

— То есть как это — не указывай? Сапоги-то мои? — возмутился Звягинцев.

Санитар слегка распрямил спину, все так же равнодушно сказал:

— Ну и что, как твои? Бывшие твои, и не могу же я их вместе с твоими ногами стягивать?

— Слушай ты, чудак, тяни... тяни осторожненько, полегонечку, я стерплю,— приказал Звягинцев, все еще боясь пошевелиться и от мучительного ожидания новой боли расширенными глазами уставившись в потолок.

Не обращая внимания на его слова, санитар наклонился, ловким движением распорол голенище до самого задника, принялся за второй сапог. Звягинцев еще не успел как следует обдумать, что означают слова «бывшие твои», как уже услышал легкий веселый треск распарываемой кожи. У него сжалось сердце, захватило дыхание, когда глухо стукнули каблуки его небрежно отброшенных к стене сапог. И тут он, не выдержав, сказал дрогнувшим от гнева голосом:

— Сука ты плешивая! Черт лысый, поганый! Что же это ты делаешь, паразит?

— Молчи, молчи, сделано уже. Тебе вредно ругаться. Давай-ка я тебе помогу на бок лечь,— примирительно проговорил санитар.

— Иди ты со своей помощью, откуда родился и даже дальше! — задыхаясь от негодования и бессильной злобы, сказал Звягинцев.— Вредитель ты, верблюд облезлый, чума в очках! Что ты с казенными сапогами сделал, сукин сын? А если мне их к осени опять носить придется, что я тогда с поротыми голенищами буду делать? Слезами плакать? Ты понимаешь, что обратно, как ты их ни сшивай, они все равно будут по шву протекать? Стерва ты плешивая, коросточная! Враг народа, вот ты кто есть такой!

Санитар молча и очень осторожно разматывал на ногах Звягинцева мокрые от пота и крови, горячие, дымящиеся портянки; сняв вторую, разогнул сутулую спину и, не тая

улыбки под рыжими усами, спросил веселым, чуть хрипловатым фельдфебельским баском:

— Кончил ругаться, Илья Муромец?

Звягинцев ослабел от вспышки гнева. Он лежал молча, чувствуя сильные и частые удары сердца, необоримую тяжесть во всем теле и в то же время ощущая натертыми подошвами ног приятный холодок. Но в нем все же еще нашлись силы, и, не зная, как еще можно уязвить смертельно досадившего ему санитара, он слабым голосом, выбирая слова, проговорил:

— Сухое дерево ты, а не человек! Даже не дерево ты, а гнилой пенек! Ну, есть ли в тебе ум? А еще тоже — пожилой человек, постыдился бы за свои такие поступки! У тебя в хозяйстве до войны, небось, одна земляная жаба под порогом жила, да и та, небось, с голоду подыхала... Уходи с моих глаз долой, торопыга ты несчастная, лихорадка об двух ногах!

Это был, конечно, непорядок: строгая тишина медсанбатовской раздевалки, обычно прерываемая одними лишь стонами и всхлипами, редко нарушалась такой несусветной бранью, но санитар смотрел на заросшее рыжей щетиной осунувшееся лицо Звягинцева с явным удовольствием и к тому же еще улыбался в усы мягко и беззлобно. За восемь месяцев войны санитар измучился, постарел душой и телом, видя во множестве людские страдания, постарел, но не зачерствел сердцем. Он много видел раненых и умирающих бойцов и командиров, так много, что впору бы и достаточно, но он все же предпочитал эту сыпавшуюся ему на голову ругань безумно расширенным, немигающим глазам пораженных шоком, и теперь вдруг и некстати вспомнил двух своих сыновей, воюющих где-то на Западном фронте, с легким вздохом подумал: «Этот выживет, вон какой ретивый и живучий черт! А как мои ребятишки там? Провались ты пропадом с такой жизнью, глянуть бы хоть одним глазом, как мои там службу скоблят? Живы, или, может, вот так же лежат где-нибудь, разделанные на клочки?»

А Звягинцев уже не только жил, но и цеплялся за жизнь руками и зубами; все еще лежа на носилках, смертельно бледный, с закрытыми, опоясанными синевой глазами, он думал, вспоминая свои безвозвратно погибшие сапоги и красноармейца с перебитой ногой, которого только что унесли в операционную: «Эк его, беднягу, садануло! Не иначе крупным осколком. Вся кость наружу вылезла, а он молчит... Молчит, как герой! Его дело, конечно, табак, но я-то должен же выскочить? У меня вон даже пальцы на

ногах боль чувствуют. Лишь бы, по докторскому недоразумению, в спешке не отняли ног! А так я еще отлежусь и повоюю... Может, еще и этот немец-минометчик, какой меня сподобил, попадется мне под веселую руку... Ох, не дал бы я ему сразу помереть! Нет, он у меня в руках еще пожил бы несколько минут, пока я к нему смерть бы допустил! А этому парню, ясное дело, отрежут ногу. Ему, конечно, на черта нужны теперь сапоги! Он об них и думать забыл, а мое дело другое: мне по выздоровлении непременно в часть надо идти, а таких сапог теперь я в жизни не найду, шабаш! И как он скоро, лысая курва, распустил их по швам! Господи боже мой, и таких стервецов в санитары берут! Ему с его ухваткой где-нибудь на живодерне работать, а он тут своим же родным бойцам обувку портит...»

История с сапогами всерьез расстроила Звягинцева, окончательно утвердившегося в мысли, что до смерти ему еще далеко. И до того было ему обидно, что он, добродушный, незлобивый человек, уже голым лежа на операционном столе, на слова осматривавшего его хирурга: «Придется потерпеть немного, браток»,— сердито буркнул: «Больше терпел, чего уж тут разговоры разговаривать! Вы по недогляду чего-нибудь лишнего у меня не отрежьте, а то ведь на вас только понадейся...» У хирурга было молодое осунувшееся лицо. За стеклами очков в роговой оправе Звягинцев увидел припухшие от бессонных ночей красные веки и внимательные, но бесконечно усталые глаза.

— Ну, раз больше терпел, солдат, то это и вовсе должен вытерпеть, а лишнего не отрежем, не беспокойся, нам чужого не надо,— все так же мягко сказал хирург.

Молодая женщина-врач, стоявшая с другой стороны стола, сдвинув брови, наклонившись, внимательно осматривала изорванную осколками спину Звягинцева, располосованную до ноги ягодицу. Кося на нее глазами, стыдясь за свою наготу, Звягинцев страдальчески сморщился, проговорил:

— Господи боже мой! И что вы на меня так упорно смотрите, товарищ женщина? Что вы, голых мужиков не видали, что ли? Ничего во мне особенного такого любопытного нету, и тут, скажем, не Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, и я, то же самое, не бык-производитель этой выставки.

Женщина-врач блеснула глазами, резко сказала:

— Я не собираюсь любоваться вашими прелестями, а делаю свое дело. И вам, товарищ, лучше помолчать! Лежи-

те и не разговаривайте. Удивительно недисциплинированный вы боец!

Она фыркнула и встала вполоборота. А Звягинцев, глядя на ее порозовевшие щеки и округлившиеся, злые, как у кошки, глаза, горестно подумал: «Вот так и свяжись с этими бабами, ты по ней одиночный выстрел, а она по тебе длинную очередь... Но, между прочим, у них тоже нелегкая работенка: день и ночь в говядине нашей ковыряться».

Устыдившись, что так грубо говорил с врачами, он уже другим, просительным и мирным, тоном сказал:

— Вы бы, товарищ военный доктор,— за халатом не видно вашего ранга,— спиртку приказали мне во внутренность дать.

Ему отвечали молчанием. Тогда Звягинцев умоляюще посмотрел снизу вверх на доктора в очках и тихо, чтобы не слышала отвернувшаяся в сторону строгая женщина-врач, прошептал:

— Извиняюсь, конечно, за свою просьбу, товарищ доктор, но такая боль, что впору хоть конец завязывать...

Хирург чуть-чуть улыбнулся, сказал:

— Вот это уже другой разговор! Это мне больше нравится. Подожди немного, осмотрим тебя, а тогда видно будет. Если можно — не возражаю, дам грамм сто фронтовых.

— Тут не фронт, тут от фронта далеко, тут можно и больше при таком страдании выпить,— намекающе сказал Звягинцев и мечтательно прищурил глаза.

Но когда что-то острое вошло в его промытую спиртом, пощипывающую рану возле лопатки, он весь сжался, зашипел от боли, сказал уже не прежним мирным и просительным тоном, а угрожающе и хрипло:

— Но-но, вы полегче... на поворотах!

— Эка, брат, до чего же ты злой! Что ты на меня шипишь, как гусь на собаку? Сестра, спирту, ваты! Я же предупреждал тебя, что придется немного потерпеть, в чем же дело? Характер у тебя скверный или что?

— А что же вы, товарищ доктор, роетесь в живом теле, как в своем кармане? Ту, извините, не то что зашипишь, а и по-собачьи загавкаешь... с подвывом,— сердито, с долгими паузами проговорил Звягинцев.

— Что, неужто очень больно? Терпеть-то можно?

— Не больно, а щекотно, а я с детства щекотки боюсь... Потому и не вытерпливаю...— сквозь стиснутые зубы процедил Звягинцев, отворачиваясь в сторону, стараясь краем простыни незаметно стереть слезы, катившиеся по щекам,

— Терпи, терпи, гвардеец! Тебе же лучше будет,— успокаивающе проговорил хирург.

— Вы бы мне хоть какого-нибудь порошка усыпительного дали, ну чего вы скупитесь на лекарства? — невнятно прошептал Звягинцев.

Но хирург сказал что-то коротко, властно, и Звягинцев, за время войны привыкший к коротким командам и властному тону, покорно умолк и стал терпеть, иногда погружаясь в тяжкое забытье, но даже и сквозь это забытье испытывал такое ощущение, будто голое тело его ненасытно лижет злое пламя, лижет, добираясь до самых костей...

Чьи-то мягкие, наверное, женские пальцы неотрывно держали его за кисть руки, он все время чувствовал благодатную теплоту этих пальцев, потом ему дали немного водки, а под конец он уже захмелел, и не столько от водки, — не мог же он захмелеть от каких-то там несчастных ста граммов спиртного! — сколько от всего того, что испытал за весь этот на редкость трудный день. Но под конец и боль уже стала какая-то иная, усмиренная, тихая, как бы взнузданная умелыми и умными руками хирурга.

Когда забинтованного, не чувствующего тяжести своего тела Звягинцева снова несли на ритмически покачивающихся носилках, он даже пытался размахивать здоровой правой рукой и тихо, так тихо, что его слышали только одни санитары, говорил, а ему казалось, что он кричит во весь голос

— ...Не желаю быть в этом учреждении! К чертовой матери! У меня тут нервы не выдерживают. Давай, куда хочешь, только не сюда! На фронт? Давай обратно, на фронт, а тут — не согласен! Сапоги куда дели? Неси сюда, я их под голову положу. Так они будут сохранней... До чужих сапог вас тут много охотников! Нет, ты сначала выслужи их, ты в них походи возле смерти, а изрезать всякий дурак сумеет... Господи боже мой, как мне больно!..

Он еще что-то бормотал, уже несвязное, бредовое, звал Лопахина, плакал и скрипел зубами, как в темную воду, окунаясь в беспамятство. А хирург тем временем стоял, вцепившись обеими руками в край белого, будто красным вином залитого стола, и качался, переступая с носков на каблуки. Он спал... И только когда товарищ его — большой чернобородый доктор, только что закончивший за соседним столом сложную полостную операцию,— стянув с рук мягко всхлипнувшие, мокрые от крови перчатки, негромко сказал: «Ну, как ваш богатырь, Николай Петрович? Выжи-

вет?» — молодой хирург очнулся, разжал руки, сжимавшие край стола, привычным жестом поправил очки и таким же деловым, но немного охрипшим голосом ответил:

— Безусловно. Пока ничего страшного нет. Этот должен не только жить, но и воевать. Черт знает, до чего здоров, знаете ли, даже завидно... Но сейчас отправлять его нельзя: ранка одна у него мне что-то не нравится. Надо немного выждать.

Он замолчал и еще несколько раз качнулся, переступая с носков на каблуки, всеми силами борясь с чрезмерной усталостью и сном, а когда к нему вернулись и сознание и воля, он опять стал лицом к завешанной защитным пологом двери палатки и, глядя такими же, как и полчаса тому назад, внимательными, воспаленными и бесконечно усталыми глазами, сухо сказал:

— Евстигнеев, следующего!

* * *

По лесу веером легли и гулко захлопали разрывы мин. За кустами неподалеку от Лопахина кто-то равнодушно, с протяжной зевотцей проговорил:

— Пристреливается, паразит! Ну, теперь он начнет швырять и песок месить минами, пока весь лес не прочешет. Он — такой, он, гад, лишнего кинуть не постесняется...

Но огонь вскоре утих, лишь вдали сухо и зло трещали короткие автоматные очереди, да с той стороны Дона, против разрушенного бомбежкой моста, как бы прощупывая обманчивую тишину леса, с ровными промежутками бил немецкий пулемет.

Потом пулемет умолк, и в наступившем затишье отчетливей зазвучали иные голоса войны: приглушенный расстоянием, протяжный гром артиллерийской стрельбы, раскатисто и неумолчно гремевший где-то далеко на востоке, прерывистый рокот самолета — дальнего разведчика, ворковавшего на недоступной глазу высоте, и ровный басовитый гул множества немецких танков и автомашин, двигавшихся по правому гористому берегу Дона в направлении на станицу Клетскую.

Над вершинами дальних тополей, чуть колеблемая ветром, вся пронизанная косыми солнечными лучами, волновалась тончайшая сиреневая дымка тумана. На дремотно склонившихся кистях белой медвянки, на розовых

цветах шиповника, как блестки рассыпанной радуги, ослепительно искрились и сияли капельки росы.

Любуясь помолодевшим после ночного дождя лесом, Стрельцов задумчиво сказал:

— Красота-то какая, а?

Лопахин покосился на приятеля, но ничего не ответил. Стиснув зубы, устремив немигающий взгляд воспаленных глаз туда, где за меловым бугром правобережья бурой, клубящейся тучей вставала пыль, он молча вслушивался в издавна знакомые, грозные шумы большого наступления.

Лопахин тоже любил природу — и любил ее так, как только может любить человек, долгие годы жизни проведший в тяжелом труде под землей. Иногда даже в окопах, в короткие промежутки затишья, он успевал полюбоваться то белым, как лебедь, облаком, величественно проплывающим в задымленном фронтовом небе, то каким-нибудь полевым цветком, доверчиво приютившимся на краю старой воронки и казавшимся рядом с грудами мертвой, опаленной земли бессмертным в своей первобытной красоте...

Но сейчас Лопахин не видел ни пленительного очарования омытого дождем леса, ни печальной прелести доцветающего неподалеку шиповника. Не видел ничего, кроме пыли, вздыбленной вражескими машинами, медленно тянущейся на запад.

Там, на западе, в синеющих степях Придонья, полегли его убитые в боях товарищи, далеко на западе остались родной город, семья, крохотный отцовский домик и чахлые акации, посаженные руками отца, круглый год припудренные угольной пылью, жалкие на вид, но неизменно радовавшие глаз, когда по утрам они с отцом, бывало, уходили на шахту. Все, что было в жизни дорого и мило сердцу, все осталось там, под властью немцев... И снова, в который уже раз за время войны, Лопахин ощутил вдруг тот удушающий приступ немой ненависти к врагу, когда даже ругательное слово не в силах вырваться из мгновенно пересыхающего горла. Так бывало с ним иногда в бою. Но тогда он видел вражеских солдат и эти проклятые темно-серые танки с крестами на броне, и не только видел, но и уничтожал их огнем своего оружия. Тогда ненависть, мертвой хваткой сжимавшая его за горло, находила выход в бою. А сейчас? Сейчас он — только праздный зритель, солдат разгромленной части, в бессильной ярости издали наблюдающий за тем, как победно пылят по его земле враги и неудержимо движутся все дальше на восток, все дальше...

Лопахин выхватил из рук Стрельцова блокнот, торопливо написал: «Николай, я в тыл не пойду. Дела наши, по всему видать, дрянь. Не могу я сейчас отсюда уходить! Думаю остаться на передовой, прибьюсь к какой-нибудь части. Оставайся и ты со мной, Коля!»

Стрельцов прочитал и, почти не заикаясь, но и не делая пауз, проговорил:

— Я сам такого же мнения. Я для того сюда и пришел. Вот только старшина как? Отпустит он тебя? Что-то я сомневаюсь... Мне проще: я пока за медсанбатом числюсь.

— Да я что же, на побывку к жене прошусь? Как это он меня не отпустит? Хотел бы я поглядеть на эту кинокартину, как он будет меня не пускать! — возмущенно сказал Лопахин, на минуту позабыв о том, что Стрельцов не слышит, но, глянув в лицо друга, внимательное и исполненное, как у глухонемого, напряженного и пытливого выжидания, с досадою умолк, размашисто написал «пустит» и поставил в ряд несколько восклицательных знаков столь внушительного размера, что, казалось, один вид их должен был бы рассеять всякие сомнения Стрельцова.

На вершине раскидистого ясеня робко, неуверенно закуковала кукушка. Закуковала и смолкла, словно убедившись в том, что неуместно звучит ее раздумчивый и немножко грустный голос в этом лесу, заполненном вооруженными людьми и обвальными раскатами доплывавшей издали артиллерийской стрельбы. И почти тотчас же Лопахин услышал самоуверенный, противный до тошноты голос Копытовского.

— Ужасно умная птица кукушка! До Петрова дня она тебе и кукует и шкварчит так приятно, будто сало на сковородке, а после хоть не проси — как ножом отрежет. Это я сейчас на нее загадал: сколько проживу на свете? А она, проклятая, два раза крикнула и подавилась. Тоже, раздобрилась, паскуда длиннохвостая! Но, между прочим, я на нее не в обиде: выходит так, что два года могу смело воевать, ни черта не убьют? Очень даже прекрасно! Мне больше ничего и не надо. За два года должна же война прикончиться? Должна. Ну, а после войны я на эту задрипанную кукушку не посмотрю и буду жить, сколько мне влезет. Очень даже просто!

— Ловко у тебя, парень, получается! — восхищенно сказал простуженным баском автоматчик Павел Некрасов.— Значит, сейчас ты веришь кукушке, а после войны побоку ее предсказания?

— А ты как хотел? — рассудительно ответил Копытов-

ний. Мне, милый мой, утешение только теперь нужно, а после войны я как-нибудь и без утешениев проживу, своими силами...

Шагнув из-за куста, Копытовский увидел Стрельцова и в изумлении широко раскрыл глаза. На круглом, мясистом лице его расплылась недоумевающая, глупая улыбка. Он шлепнул себя по голой ляжке, как раз в том месте, где причудливо изорванная штанина спускалась от пояса до самого колена, громко воскликнул:

— Стрельцов? Вот это номер!..

А пожилой и флегматичный от природы Некрасов, не снимая рук с висевшего на шее автомата, сказал так, будто они со Стрельцовым расстались всего лишь полчаса назад:

— Вернулся, Николай? Вот и хорошо. А то уж больно пусто нас тут осталось. За эти дни процедил нас чертов немец, просеял, как на частое сито.

О чем-то глубоко задумавшись, низко опустив голову, Стрельцов смотрел в землю, проводил по усам сложенными в щепоть пальцами левой руки и не видел подошедших товарищей.

Лопахин бегло взглянул на его тихо подергивавшуюся голову, на руку, дрожавшую мелкой, старческой дрожью, и, почти с ненавистью воззрившись в пышущее здоровьем лицо Копытовского, сказал:

— Не ори! Все равно он не слышит. Оглох.

— Вовсе не слышит? — еще более удивился Копытовский и снова хлопнул себя по ляжке.

— Не слышит. Дальше что? — медленно багровея, повысил Лопахин голос.— Что ты тут по своему голому мясу шлепаешь, как в театре? Тоже мне, артист нашелся! Он контужен, и нечего тут удивляться и всякие балеты разыгрывать! Вон лучше бы штаны залатал, щеголь, а то ходишь, как святой в раю, срамом отсвечиваешь...

— Запекли тебе душу мои штаны! — обиженно проговорил Копытовский.— В какой раз ты мне про них замечание делаешь? Надоел уже! И как их станешь латать, когда не за что хватать? Ты погляди серьезней, что от них осталось-то, от штанов! В целости спереди одна мотня, сзади — листик, а все остальное сопрело и сквозь пальцы бредет. Тут поневоле святым сделаешься и даже еще хуже... И ниток нету. Нитки теперь с военторговской палаткой, знаешь, где? Небось, аж за Саратовом пылят, а ты знай одно долбишь: залатал бы, залатал бы!

Некрасов положил руку на плечо Стрельцова, громко сказал

— Николай, здравствуй!

Стрельцов резко вздрогнул, вскинул голову, нахмурился, но сейчас же под черными усами его блеснули в улыбке белые неровные зубы. Он раскрыл рот, пытаясь что-то сказать, напряженно вытягивая шею, подергивая головой. Заросший мелким черным волосом кадык его редко и крупно вздрагивал, неясные, хриплые звуки бились и клокотали в горле.

У Лопахина мучительно сжалось сердце. Как всегда в минуты сильного душевного волнения, у него побелели ноздри, и он, вдруг уставившись на Копытовского округлившимися от бешенства глазами, заорал:

— Убери свои моргалки! Что ты на него вылупился? Он оглох и заикается! Не гляди на него! Ведь ему тяжело, понимаешь ты это? Отвернись же, черт рваный!.

Копытовский растерянно пожал плечами:

— Я же этого дела не знал... И чего ты разорался, Лопахин? Тебе с твоей глоткой только подсолнушки на базаре продавать, товар свой расхваливать. Грубый ты, прямо нахальный человек, а еще тоже, на шахте работал, на вечерний рабфак ходил. В тебе культурности — с гулькин нос, вот столечко!

Возмущенный Копытовский ногтем отметил на кончике мизинца, сколько, по его мнению, было культурности в Лопахине. Но тот не обращал на него никакого внимания. Вцепившись руками в траву, ерзая от нетерпения по песку, он томительно ждал, когда же Стрельцов выдавит из себя первое слово. Он даже слегка порозовел от волнения.

Стрельцов, закрыв глаза с трепещущими от напряжения ресницами, кое-как произнес несколько слов приветствия, и тогда Лопахин вытер проступивший на лбу пот, со вздохом облегчения сказал:

— Главное, ему начать трудно, а потом, как разойдется, он говорит подходяще, не очень резко, но понять можно, что и к чему. Иной оратор на собрании, и тот хуже говорит, даю честное слово!

С трудом овладев речью, виновато улыбаясь и пожимая руки товарищей, Стрельцов проговорил:

— Оглох я, ребята, и с языком у меня что-то не в порядке... Не повинуется... Но врач говорил, что это — временно... Я страшно рад, что снова с вами. Только пока со мной надо объясняться письменно. Вон мы с Лопахиным какую канцелярию тут развели,— и указал болезненно сощуренными, но улыбающимися глазами на исписанные листки блокнота.

Кряхтя и морщась от жалости, Некрасов снял автомат, присел рядом со Стрельцовым, сочувственно похлопал его по спине.

— Та-а-ак,— протяжно сказал он.— Отделали парня по совесть... Окалечили вовсе, вот сволочи, а?

На поляне легкий ветерок лениво шевелил траву, сушил на листьях деревьев последние дождевые капли. Пахло нагретым солнцем шиповником, пресным запахом перестоявшейся на корню травы, а от распарившейся после дождя земли несло, как из дубового бочонка, терпкой горечью прелых прошлогодних листьев.

На правой стороне Дона гулко громыхнули взрывы, выше прибрежных тополей взметнулись в небо черные, медленно тающие на ветру столбы дыма.

— Машины со снарядами и с горючим рвутся. Гибнет понапрасну наше добро! — ни к кому не обращаясь, сокрушенно забормотал Копытовский.

Еще немного помолчали, а затем Некрасов спросил у Лопахина:

— Как думаешь, на переформировку теперь нас погонит, а?

Лопахин молча пожал плечами.

— Старшина пошел узнавать, куда нам теперь деваться, может, где поблизости наши окажутся. Кто-то из ребят говорил, будто видели здесь в лесу начштаба тридцать четвертого. Пора бы и сматываться нам отсюда,— раздраженно говорил Некрасов.— Люди оборону занимают, блиндажи ладят, ходы сообщения роют, каждый при деле, а мы лодыря корчим, болтаемся в лесу, только другим мешаем.

Лопахин упорно молчал. Некрасов перевел взгляд на Стрельцова и покачал головой.

— А Николай зря вернулся из санчасти. Напиши, что ему лечиться надо, а то он так и останется на всю жизнь глухой, так и будет до самой смерти головой, как козел, трясти.

— Я уже писал,— сухо ответил Лопахин.

— А он что?

— Остается тут.

— Это он самовольно притопал?

— А ты думал как?

— Эх, напрасно! Ты бы его уломал. Вы же с ним приятели.

— Пробовал.

— Ну и что?

— Не соглашается. Он нынешнюю обстановку понимает не так, как некоторые другие сукины сыны,— многозначительно сказал Лопахин.

— Скажи, пожалуйста! — сквозь зубы процедил Некрасов, почтительно и в то же время немного иронически взглянув на Стрельцова.

Лопахин знал Некрасова давно. Они служили в одной части в тяжелые дни зимних боев на харьковском направлении, после в составе одного пополнения пришли в этот полк. Они никогда не дружили и не сходились близко, может быть, по той причине, что Некрасов не отличался общительностью, но в бою на него всегда можно было положиться. Лопахин это твердо знал, а потому и сказал, испытующе глядя в бледно-голубые, словно бы выцветшие от усталости, глаза Некрасова:

— Мы со Стрельцовым так порешили: мы остаемся тут. Не такая сейчас погода, чтобы в тылу натираться. Вон куда он нас допятил, немец... Стыд и ужас подумать, куда он нас допятил, сукин сын! Ты как, Некрасов, по старой дружбе не составишь компании? Один старый боец останется, да другой да третий — ведь это же сила! По капле и река собирается. Мы тут нужнее, чем в другом месте, верно?

Копытовский с удивлением отметил про себя просительные нотки в голосе Лопахина. Но Некрасов, не колеблясь и не раздумывая, решительно ответил:

— Нет, не останусь. Пущай свеженькие повоюют, какие пороху не нюхали, пущай они горюшка лаптем похлебают, а я не против того, чтобы в тыл сходить. Пока полк переформируют, пока того да сего — я отдохну за мое почтенье, хоть отосплюсь за все эти каторжные дни! У меня, понимаешь ты, последнее время даже посторонние вошки завелись. От тоски, что ли?

— От грязи. Купаешься раз в году,— негромко сказал Лопахин, с чрезмерным вниманием рассматривая выпуклые, панцирно-твердые миндалины ногтей на своих расслабленно лежавших на коленях руках.

— Может, и от грязи,— охотно согласился Некрасов.— А купаться, сам знаешь, некогда, не на курортах загораем, да и малярия мне не позволяет. Так вот я в тылу хоть вошек обтрясу маленько, на время в зятья пристану к какой-нибудь бабенке... К самой завалящей пристану, лишь бы у нее в хозяйстве корова была! Эх, и поживу же в свое удовольствие возле горшка со сметаной, покуражусь над варениками с творожком! Отдохну как пола-

лечишься, а потом... потом и обратно можно на фронт, не возражаю...

Некрасов говорил, мечтательно прикрыв прищуренные глаза белесыми, выгоревшими на солнце ресницами, как-то по-особому вкусно причмокивая толстыми, вывернутыми губами. А Лопахин, вслушиваясь в его неторопливую речь, все выше поднимал косо изогнутую левую бровь и под конец не выдержал, с наигранной веселостью воскликнул:

— Да ты, Некрасов, оказывается, чудак!

— Чудак не я, а баран: он до покрова матку сосет, и глаза у него круглые... А я какой же чудак? Нет, это ты по ошибке...

— Ну, тогда ты уже не чудак, а кое-что похуже...— проговорил Лопахин раздельно и с той зловещей сдержанностью, которая всегда у него предшествовала вспышке гнева.

— Какой есть, теперь не переделаешь, поздновато,— с легким выдохом ответил Некрасов.— И ничего тут чудного нету. Мне один парень из этой дивизии, какая оборону занила, рассказывал: формировались они в городе Вольске, и там присватался он к одной гражданочке, а у той гражданки муж ушел в армию, а в хозяйстве три дойные козы остались. Так, говорит, не житье ему было, а сплошная масленица! С того ли козьего молока или с какой другой причины, но только за месяц поправился он на шесть килограммов. Вот это я понимаю, оторвал парень! Все равно, как на курорте!

— Да ты, никак, вовсе очумел,— злобно сказал Лопахин.— Ты слышишь, ушибленный человек, где бой идет?

— Не глухой пока, слышу.

— Так о чем же ты говоришь? О каких зятьях? О каком отдыхе?

Лопахина прорвало, и он выругался, не переводя дыхания, так длинно и с такими непотребными и диковинными оборотами речи, что Некрасов, не дослушав до конца, вдруг блаженно заулыбался, закрыл глаза и склонил на правое плечо голову, словно упиваясь звуками сладчайшей музыки.

— Ах, язви тебя! До чего же ты складно выражаешься! — с восхищением, с нескрываемым восторгом сказал он, когда Лопахин, облегчившись, с силой втянул в себя воздух.

Недавнюю сонливую усталость с Некрасова будто рукой сняло, и он торопливо заговорил, изредка с улыбкой поглядывая на Лопахина:

— Ну и силен же ты, браток! Уж на что в нашей роте в сорок первом году младший политрук Астахов был мастер на такие слова, до чего красноречив был, а все-таки куда ему до тебя! И близко не родня! Не удавались ему, покойничку, кое-какие коленца, не вытанцовывались они у него. А красноречив был, словоохотлив — спасу нет! Бывало, подымает нас в атаку, а мы лежим. И вот он повернется на бок, кричит: «Товарищи, вперед на проклятого врага! Бей фашистских гадов!» Мы обратно лежим, потому что фрицы такой огонь ведут,— ну не продыхнешь! Они же знают, стервы, что не мы, а смерть ихняя в ста саженях от них лежит, они же чуют, что нам вот-вот надо подыматься... И тут Астахов подползет ко мне или к какому другому бойцу, даже зубами заскрипит от злости. «Вставать думаешь или корни в землю пустил? Ты человек или сахарная свекла?» Да лежачи как ахнет по всем этажам и пристройкам! А голос у него был представительный, басовитый такой, с раскатцем. Тут уж вскакиваем мы, и тогда фрицам солоно приходится, как доберемся — мясо из них делаем! У Астахова всегда был при себе полный набор самых разных слов. И вот прослушаешь такое его художественное выступление, лежачи в грязи, под огнем, а потом мурашки у тебя по спине по-блошиному запрыгают, вскочишь и, словно ты только что четыреста грамм водки выпил,— бежишь к фрицевой траншее, не бежишь, учти, а на крыльях летишь! Ни холоду не сознаешь, ни страху, все позади осталось. А наш Астахов уже впереди маячит и гремит, как гром небесный: «Бей, ребята, так их и разэтак!» Ну как было с таким политруком не воевать? Он сам очень даже отлично в бою действовал и штыком и гранатой, а выражался еще лучше, с выдумкой, с красотой выражался! Речь начнет говорить, захочет — всю роту до слезы доведет жалостным словом, захочет дух поднять — и все на животах от смеха ползают. Ужасный красноречивый был человек!

— Постой-ка, при чем тут красноречие? — попытался прервать Некрасова озадаченный Лопахин, но тот, увлеченный воспоминаниями, досадливо отмахнулся:

— Не перебивай, слушай дальше! Этого Астахова, ежели хочешь знать, все нации понимали и уважали, вот какой он был человек! Даром, что не кадровый, не шибко грамотный и из себя пожилой, а боевой был ужасный! Он еще за гражданскую войну орден Красного Знамени имел, так-то, браток! Но и любили же в роте этого Астахова — страсть! За смелость любили, за его душевность к бойцам,

а главное — за откровенное красноречие. Когда похоронили его возле села Красный Кут, вся рота слезами умылась. Пожилые бойцы и те плакали, как малые дети. Все нации, какие в роте были, не говоря уже про нас, русских, подряд плакали и каждый на своем языке об нем сожалел. А ты, Лопахин, говоришь — при чем, дескать, тут красноречие. Нет, браток, красноречие при человеке — великое дело. И нужное слово, ежели оно вовремя сказано, всегда дорогу к сердцу найдет, я так понимаю.

Совершенно сбитый с толку, Лопахин слушал товарища, изумленно пожимая плечами, изредка поглядывая в недоумении то на Копытовского, то на дремавшего Стрельцова, и на лице его явно отражалось так несвойственное ему выражение растерянности. Он никак не предполагал, что его ругательство произведет такое впечатление, и не ожидал столь восторженного восприятия от Некрасова, который всегда казался ему человеком черствым и равнодушным к яркому слову.

Некрасов все еще задумчиво и мягко улыбался, погруженный в воспоминания, а Лопахин, растерянно потирая шею с въевшейся в поры угольной пылью, уже говорил:

— Послушай, дружище, да не об этом разговор! Дело не в красноречии, ну его к черту с красноречием, дело в том, что немец уже миновал нас и, как видно, на Волгу режет. А там — Сталинград... Тебе это понятно?

— Очень даже понятно. Это он непременно туда, сволочь, нацеливается. Это он, паразит, туда хочет рвануть.

— Ну вот! А ты о чем мечтаешь? Какой же дьявол квартиры сейчас устраивается, об отдыхе думает? Ты эту дурь, Некрасов, из головы выбрось. Это у тебя помрачение мозгов не иначе оттого, что ты сегодня на сырой земле спал...

— А ты — на перине? Все нынче на сырой земле спали.

— А вот только тебе одному в голову ударило — жениться. Нет, как хочешь, но это у тебя от сырости...

— От какой там, к бесу, сырости! — с досадой сказал Некрасов.— Оттого, что сильно устал я за год войны, вот отчего, ежели хочешь знать. Да что, на мне свет клином сошелся? Желательно тебе — оставайся, а меня нечего агитировать, я сам с детства политически грамотный. Ну, останемся мы с тобой, ну, и много мы двое наделаем? Фронт удержим? Как бы не так! Я, Лопахин, с первых дней войны эту серую беду трепаю.— Некрасов похлопал по скатке широкой ладонью, тусклые глаза его неожиданно оживи-

лись и заблестели светло и жестко.— Имею я право на отдых или нет?

— Когда как,— уклончиво ответил Лопахин.

— Нет, ты не виляй, ты говори!

— Сейчас — нет.

Лопахин сказал это твердо и опять посмотрел в глаза Некрасова прямым, немигающим взглядом. Некрасов улыбнулся немного вкось и, словно бы ища сочувствия и поддержки, подмигнул Копытовскому, внимательно следившему за разговором.

— Ага! Сейчас — нет? А когда же? После первого ранения я и опомниться не успел, как из медсанбата сразу же попал в часть, после второго, уже в тылу прохожу гарнизонную комиссию, ну, думаю, теперь-то уж наверняка на недельку домой пустят. Как бы не так! Беса лысого пустили! С пересыльного обратно загремел на фронт. После третьего ранения отлежался в армейском госпитале — и снова в часть. Так и катаюсь круглый год на этой бесплатной карусели... До каких же пор можно так веселиться пожилому человеку? А года мои, учти, не молоденькие.

— Воевать, значит, устарел, а жениться — самое в пору?

— Да разве я к бабе думаю пристать от молодой прыти? От нужды, глупый ты человек! Мне эта проклятая пшенная каша из концентратов все печенки-селезенки переела! — с еще большей досадой вскричал Некрасов.— А тут и здоровьишко после трех ранений пошаливает.

— Воевать, значит, здоровья не хватает, а в зятья идти — как раз? — снова спросил Лопахин, и все с тем же серьезным видом.

Копытовский фыркнул, как лошадь, почуявшая овес, и закрыл рот рукою. А Некрасов внимательно посмотрел на Лопахина, сказал:

— Слыхал я в госпитале, что есть одна такая паскудная болезнь, под названием рак желудка...

Лопахин ехидно сощурился.

— Уж не у тебя ли рак?

— У меня его нету, а вот ты, Лопахин, и есть эта самая болезнь! Ну разве можно с тобой говорить как с человеком? Всегда ты с разными подковырками, с подвохами, с дурацкими шуточками Желудочный рак ты на двух ногах, а не человек!

— Обо мне можно не говорить, не стоит, давай лучше о тебе. Чем же твое здоровье пошатнулось? На что жалуешься, бравый ефрейтор?

Отвяжись, ну тебя к черту!

Нет, на самом деле, что у тебя со здоровьем?

Ты же не доктор, чего я тебе буду рассказывать? — видимо колеблясь, нерешительно проговорил Некрасов.

Лопахин, сделав аккуратную крученку, передал кисет Некрасову и, случайно глянув на него, тихо ужаснулся: Некрасов оторвал от газеты лист в добрую четверть длиной, щедро насыпал табаку и уже сворачивал толстенную папиросу.

Постой! — испуганно воскликнул Лопахин, хватаясь за кисет.— Этак не пойдет! Что же ты заделываешь ее такую чрезвычайную, в палец толщиной? У меня своей табачной фабрики в вещевом мешке не имеется. Отсыпай половину!

– А я тонкие из чужого табаку крутить не умею,— спокойно сказал Некрасов.

– Так давай я тебе сверну, слышишь?

– Нет-нет, не тронь, а то рассыпешь, я сам.— Некрасов торопливо отвел руки в сторону и стал старательно слюнить шероховатый край листка, исподлобья, искоса поглядывая на Лопахина.

– Действительно, силен ты на чужбинку сигары вертеть...— Лопахин огорченно крякнул и покачал головой, разглядывая и взвешивая на руке сразу отощавший кисет.

– Из своего я делаю малость потоньше,— все с тем же невозмутимым спокойствием сказал Некрасов и потянулся за огоньком.

Они прикурили от одной спички. Помолчали, поглядывая друг на друга с явным недружелюбием.

Стрельцов в начале разговора внимательно следил за меняющимся выражением лица Лопахина и Некрасова, но вскоре ему это наскучило. Он положил под голову свернутую плащ-палатку, прилег, чувствуя знакомую нездоровую усталость во всем теле, подкатывающую к горлу тошноту. Он знал, как длительны бывают солдатские разговоры в часы вынужденного безделья, и хотел уснуть, но сон не приходил. В ушах звенело тонко и неумолчно, ломило виски. Глухая мертвая немота простиралась вокруг, и от этого все окружающее казалось нереальным, почти призрачным.

Стрельцов все еще никак не мог освоиться со своим новым состоянием, не мог привыкнуть к внезапной потере слуха. Он видел, как молча шевелились над его головой

плотные, до глянца омытые ночным дождем листья, как над кустом шиповника беззвучно роились шмели и дикие пчелы, и, может быть, потому, что все это проходило перед глазами лишенное живого разноголосого звучания,— у него слегка закружилась голова, и он закрыл глаза и стал привычно думать о прошлом, о той мирной жизни, которая так внезапно оборвалась 22 июня прошлого года... Но как только он вспомнил детей, тревога за их судьбу, не покидавшая его в последнее время, снова сжала сердце, и он вдруг неожиданно для самого себя протяжно застонал и испуганно открыл глаза.

Лопахин по-прежнему сидел чуть сгорбившись, положив на острые углы коленей широкие, литые кисти рук, но в лице его уже не было недавней озлобленности и скрытого напряжения. Светлые, бесстрашные глаза его лукаво и насмешливо щурились, в углах тонких губ таилась улыбка.

Стрельцову было знакомо это выражение лопахинского лица, и он невольно улыбнулся, подумал: «Наверное, этого тюленя, Некрасова, разыгрывает».

Вскоре Стрельцов забылся тяжелым, безрадостным сном, но и во сне запрокинутая голова его судорожно подергивалась, а сложенные на груди руки тряслись мелкой лихорадочной дрожью.

Некрасов долго смотрел на него, молча глотал табачный дым, трудно двигая кадыком, потом бросил под ноги обжигавший пальцы окурок, сказал:

— Какой же из него боец будет? Горькое горе, а не боец! Погляди, как его контузия трясет, он и автомата в руках не удержит, а ты его сманиваешь оставаться на передовой. Прыти у тебя много, Лопахин, а ума меньше...

— Ты за других не говори, ты лучше про свою тайную болезнь расскажи,— усмехнулся Лопахин и выжидающе посмотрел в загорелое, с шелушащимися скулами лицо Некрасова.

— Смеяться тут не над чем,— обиженно сказал Некрасов,— тут смех плохой. У меня, ежели хочешь знать, окопная болезнь, вот что.

— Первый раз слышу! Это что же такое за штука? — с искренним изумлением спросил Лопахин.— Что-нибудь такое... этакое?..

Некрасов досадно поморщился.

— Да нет, это вовсе не то, об чем вы по глупости думаете. Это болезнь не телесная, а мозговая.

— Моз-то-вая? — разочарованно протянул Лопахин. — Чепуха! У тебя такой болезни быть не может, не на чем ей обосноваться, почвы для нее нет... почвы!

— Какая она из себя? Говори, чего тянешь! — нетерпеливо прервал снедаемый любопытством Копытовский.

Некрасов пропустил мимо ушей язвительное замечание Лопахина, долго водил сломанной веточкой по песку, по голенищам своих старых, изношенных кирзовых сапог, потом нехотя заговорил:

— Видишь, как оно получилось... Еще с зимы стал я примечать за собой, что чего-то я меняюсь характером. Разговаривать с приятелями стало мне неохота, бриться, мыться и другой порядок наблюдать за собой — то же самое. За оружием, прямо скажу, следил строго, а за собой — просто никак. Не то чтобы подворотничок там пришить или другое что сделать, чтобы в аккуратности себя содержать, а даже как-то притерпелся и, почитай, два месяца бельишка не менял и не умывался как следует. Один бес, думаю, пропадать — что умытому, что неумытому. Словом, в тоску ударился и запсиховал окончательно. Живу, как во сне, хожу, как испорченный. Лейтенант [illegible]мыхов и штрафным батальоном мне грозил, и как только не взыскивал, а у меня одна мыслишка: дальше фронта не пошлют, ниже рядового не разжалуют! Как есть одичал я, товарищей сторонюсь, сам себя не угадываю, и ничевошеньки-то мне не жалко: ни товарищей, ни друзей, не говоря уже про самого себя. А весной, помнишь, Лопахин, когда перегруппировка шла, двигались мы вдоль фронта и ночевали в Семеновке? Ну, так вот тогда первый раз со мной это дело случилось... Полроты в одной избе набилось, спали и валетами, и сидя, и по-всякому. В избе духота, жарища, надышали — сил нет! Просыпаюсь я по мелкой нужде, встал, и возомнилось мне, будто я в землянке и чтобы выйти, надо по ступенькам подняться. В памяти был, точно помню, а полез на печку... А на печке ветхая старуха спала. Ей, этой старухе, лет девяносто или сто было, она от старости уже вся мохом взялась...

Копытовский вдруг как-то странно икнул, побагровел до синевы, задыхаясь, закрыл лицо ладонями. Он смотрел на Некрасова в щелку между пальцами одним налитым слезою глазом и молча трясся от сдерживаемого смеха.

Некрасов осекся на полуслове, нахмурился. Лопахин, свирепо шевеля губами, незаметно для Некрасова показал Копытовскому узловатый побелевший в суставах кулак, сказал

— Давай дальше, Некрасов, давай, не стесняйся, тут кроме одного дурака, все понятливые.

Отвернувшись в сторону, смешливый Копытовский урчал, хрипел и тоненько взвизгивал, стараясь всеми силами подавить бешеный приступ хохота, потом притворно закашлялся. Некрасов выждал, пока Копытовский откашляется, сохраняя на помрачневшем лице прежнюю серьезность, продолжал:

— Понятное дело, что эта старуха сдуру возомнила. Я стою на приступке печи, а она, божья старушка, рухлядь этакая шелудивая, спросонок да с испугу, конечно, разволновалась и этак жалостно говорит: «Кормилец мой, ты что же это удумал, проклятый сын?» А сама меня валенком в морду тычет. По старости лет эта бубновая краля даже на горячей печке в валенках и в шубе спала. И смех и грех, ей-богу! Ну, тут, как она меня валенком по носу достала раза два, я опамятовался и поспешно говорю ей: «Бабушка, не шуми, ради бога, и перестань ногами махать, а то не ровен час, они у тебя при такой старости отвяжутся. Ведь это я спросонок нечаянно подумал, что из землянки наверх лезу, потому и забухался к тебе. Извиняюсь,— говорю,— бабушка, что потревожил тебя, но только ты за свою невинность ничуть не беспокойся, холера тебя возьми!» С тем и слез с приступка, со сна меня покачивает, как с похмелья, а у самого уши огнем горят. «Мать честная,— думаю,— что же это такое со мной получилось? А ежели кто-нибудь из ребят слыхал наш с бабушкой разговор, тогда что? Они же меня через эту старую дуру живьем в могилу уложат своими надсмешками!» Не успел подумать, а меня кто-то за ногу хватает. Возле печки спал майор-связист,— это он проснулся, фонарик засветил, строго спрашивает: «Ты чего? В чем дело?» Я ему по форме доложил, как мне поблазнилось, будто я в землянке, и как я нечаянно потревожил старушку. Он и говорит: «Это у тебя, товарищ боец, окопная болезнь. Со мной тоже такая история была на Западном фронте. Дверь — направо, ступай, только смотри, куда-нибудь на крышу не заберись со своей нуждой, а то свалишься оттуда и шею к черту сломаешь».

По счастью, никто из ребят не слыхал нашего разговора, все спали с усталости без задних ног, и все обошлось благополучно. Но только с той поры редкую ночь не воображаю себя в землянке, или в блиндаже, или в каком-нибудь ином укрытии. Вот ведь пропасть какая: ежели по боевой тревоге подымут,— сразу понимаю, что и к чему,

по собственной нужде проснусь — непременно начинаю блудить...

На прошлой неделе, когда в Стукачевом ночевали, в печь умудрился залезть. Ведь это подумать только — в печь! Настоящий сумасшедший и то такого номера не придумал бы... Чуть не задушился там. Куда ни сунусь — нету выхода да и шабаш! А задний ход дать — не соображу, уперся головой в кирпич, лежу. Кругом горелым воняет... «Ну,— думаю,— вот она и смерть моя пришла, не иначе снарядом завалило». Был у меня такой случай, завалило нас в блиндаже в ноябре прошлого года. Ежели бы товарищи тогда вскорости не отрыли,— теперь бы уж одуванчики на моих костях росли... И вот скребу ногтями кирпич в печке, дровишки раскидываю, помалу шебаршусь, а сам диким голосом окликаю: «Товарищи, дорогие! Живой кто остался? Давайте откапываться своими силами!» Никто не отзывается. Слышу только, как сердце у меня с перепугу возле самого горла бьется. Поискал руками — лопатки на поясе при мне нету. «Всем остальным ребятам,— думаю,— как видно, концы, а один я не откопаюсь голыми руками». Ну, тут я, признаться, заплакал. «Вот,— думаю,— какой неважной смертью второй раз помирать приходится, провались ты пропадом и с войной такой!» Только слышу: кто-то за ноги меня тянет. Оказался это старшина. Вытянул он меня волоком, а я его в потемках, конечно, не угадываю. Стал на ноги и обрадовался страшно! Обнимаю его, благодарю. «Спасибо, мол, великое тебе, дорогой товарищ, что от смерти спас. Давай скорее остальных ребят выручать, а то пропадут же, задохнутся!» Старшина спросонок ничего не понимает, трясет меня за плечи и шепотом потихонечку спрашивает: «Да вас сколько же в одну печь набилось и за каким чертом?» А потом, когда смекнул, в чем дело, вывел меня в сени, матом перекрестил вдоль и поперек и говорит: «Три войны сломал, всякое видывал, а таких лунатов, какие не по крышам, а по чужим печам лазят,— встречаю первый раз. Ты же видел,— говорит,— что хозяйка еще засветло все съестное из печи вынула и дров на затоп наложила, за каким же ты дьяволом туда лез?»

Я очухался и начал было объяснять ему про свою сонную болезнь, а он и слушать не желает, почесался [illegible]нного, позевал и медленно так на своем сладком украинском языке говорит: «Брешешь, вражий сын! Завтра получишь два наряда за то, что мародерничал в печи, мирное население хотел обидеть, а еще два наряда — за

то, что не там ищешь, где надо. Топленое молоко и щи, какие от ужина остались, хозяйка еще с вечера в погреб снесла. Солдатской наблюдательности в тебе и на грош нету!..»

Копытовский захохотал и, забывшись, снова хлопнул себя по голой ляжке:

— До чего же правильно решил старшина! Это же не старшина, а просто Верховный суд!

Некрасов мельком неодобрительно взглянул на него и все так же размеренно и спокойно, будто рассказывал о ком-то постороннем, продолжал

— И какие средства я ни пробовал, чтобы по ночам не просыпаться,— ничего не помогает! Воды по суткам в рот не брал, горячей пищи не потреблял — один бес! Перед рассветом вскакиваю, как по команде «смирно»,— и тогда пошел блудить. И вот хотя бы нынешней ночью... Проснулся перед зарей, дождь идет, ноги мокрые. Сквозь сон, сквозь эту вредную окопную болезнь думаю: «Натекло в землянку. Надо бы с вечера отводы прорыть для воды». Встал, пошарил руками — дерево. А того невдомек, что мы с Май-Бородой под тополем спали... Щупаю дерево и про себя мечтаю, что это — стенка, а сам ступеньки ищу, хочу наверх лезть. По нечаянности, когда вокруг тополя ходил, наступил этой Май-Бороде на голову... Эх, и шуму же он наделал — страсть! Вскочил, откинул плащ-палатку, плюется, а сам ругается — муха не пролетит! «Ты,— говорит,— псих такой и сякой, ежели окончательно свихнулся и по ночам на деревья лазишь, как самая последняя обезьяна, так, по крайней мере, не топчись по живым людям, не ходи по головам, а то вот возьму винтовку да штыком тебя на дерево подсажу! Так и засохнешь на ветке, как червивое яблоко!»

А того ему, идиотскому дураку, непонятно, что наступил я на него не в своем уме, а от этой проклятой окопной болезни. Ругался он, пока не охрип от злости. И я бы ему до конца смолчал, потому что виноват я, сам понимаю. Но он собрал свои пожитки, завернул их в плащ-палатку и, перед тем как идти свежего места в лесу искать, на прощание мне и говорит: «Вот какая она, судьба-сука: хороших ребят убивают, а ты, Некрасов, все еще живой...» Ну тут я, конечно, не мог стерпеть и говорю ему: «Иди, пожалуйста, не воняй тут! Жалко, что одной ногой на твою дурацкую башку наступил, надо бы обеими, да с разбегу...» Он ко мне — с кулаками. А парень он здоровый, и силища при нем бычиная. Я автомат схватил, рубежа на два быстренько

...тупила и кричу ему издалека: «Не подходи близко, а то в тебя очередью так и смою с лица земли! Я из тебя сразу ...арь Бороду сделаю!» За малым до рукопашной у нас не ...шло...

— Слыхал я ночью, как вы любезничали,— сказал ...хин,— только к чему ты все это ведешь, в толк не ...му.

— Все к тому же — отдых мне требуется.

— А другим как же?

— Про других не знаю. Может, я не такой железный, ... другие,— уныло проговорил Некрасов.

Он сидел, широко расставив ноги в белесых, ошарпан...о степной бурьян сапогах, и все так же чертил тонень...веточкой на песке незамысловатые узоры, не поднимал ...щенной головы.

Где-то левее, за лесом, в безоблачной синеве, казавшей...отсюда, с земли, густой и осязаемо плотной, шел скоро...ный воздушный бой. Никто из сидевших на поляне не ...дел самолетов, только слышно было, как скрещивались ..., вверху, по-особому звучные, короткие и длинные ...леметные очереди, перемежаемые глухими и частыми ...рами пушек.

Из общего разноголосого и смешанного воя моторов на ...колько секунд выделился голос одного истребителя: ...чале пронзительный и тонкий, он, словно бы утолщаясь, ...решел в низкий, басовый и гневный рев, а затем внезапно ...олк. Слышались лишь далекие, неровные, стреляющие ...уки выхлопов да вибрирующее тугое потрескивание, как ...удто вдали рвали на части полотно.

Слева в небе неожиданно возникла косая, удлиняющая...ся черная полоска дыма и впереди нее — стремитель...но и неотвратимо летящая к земле, тускло поблескиваю...щая на солнце фигурка самолета. Спустя немного на той ...стороне Дона послышался короткий, глухо хрустнув...ший удар...

Копытовский вдруг заметно побледнел, сказал шепо...том:

— Один готов... Мама родная, хоть бы не наш! У меня ...под ложечкой сосет и во рту становится солоно, когда наш ... так, на виду падает...

Он помолчал немного и, когда первая острота впечатле...ния несколько притупилась, подозрительно скосился на ...Некрасова и уже иным, деловитым и встревоженным голо...сом спросил:

— Слушай сюда, а она, эта твоя окопная болезнь, не

того... не заразная она? А то возле тебя так с проста у посидишь, а потом, может, тоже начнешь лазить по ноч куда не следует?

Некрасов поморщился, сказал презрительно и желчн

— Дурак!

— Интересно, почему же это я дурак? — несказан удивился Копытовский.

— Да потому, что при твоем здоровье к тебе да сибирская язва не пристанет, не то что какая-нибудь у ственная болезнь.

Очевидно польщенный, Копытовский молодецки вы тил массивную грудь, горделиво сказал:

— Здоровье мое подходящее, это ты правду говори

— Вот вам, какие молодые и при здоровье, и мож воевать без роздыху, а мне невозможно,— грустно сказ Некрасов.— Года мои не те, да и дома желательно бы поб вать... У меня ведь четверо детишек, и вот, понимаешь, г их не видел и позабыл, какие они из себя... Позабыл то ест какие они обличьем... Глаза ихние смутно так представля а все остальное — как сквозь туман... Иной раз ночь когда боя нет, до того мучаюсь, хочу ясно их вспомнить, нет, не получается! Даже пóтом меня прошибет, а все рав не могу их точно вообразить, да и шабаш! Главное, ст шенькую, Машутку, и ту толком не вспомню, а ведь пятнадцатый годок... Смышленая такая, первой отличн цей в школе училась...

Некрасов говорил все глуше, невнятнее. Последн слова он произнес с легкой дрожью в хриплом голосе и умолк, сломал прутик, который все время вертел в рук и вдруг поднял на Лопахина влажно заблестевшие гла и сквозь слезы — скупые мужские слезы — неловко улы нулся:

— Про жену я уже не говорю... Это дело тако что сразу слов подходящих не сыщешь... А только, пр наться, тоже давно уже позабыл, как у нее под мышка пахнет...

Бледный, едва владеющий собой Лопахин смотрел н Некрасова помутневшими от гнева глазами, молча слуша а потом неожиданно тихим, придушенным голосом спр сил:

— Ты откуда родом, Некрасов? Курский?

И так же тихо, слегка покашливая, Некрасов ответи

— Был курский. Из-под Лебедяни.

Лопахин с силою сцепил пальцы и по-прежнему, н сводя глаз с раскисшего лица Некрасова, глухо заговор

— Жалостно ты про детей рассказываешь, подлец! Очень жалостно! Что и говорить, любящий папаша и муж. Дома у него немцы хозяйничают, над его семьей измываются, а он, видишь ты, в зятья думает пристать, в тылу ему желательно прохлаждаться: нашел самое подходящее время... Что ж, отдыхай, наедай шею, развлекайся с чужой бабой, а на твоей жене немцы пусть землю пашут. А дети твои пусть с голоду подыхают, как бездомные щенки... [illegible]ридочек! А еще говоришь, что позабыл, какие они из себя, твои дети. Нехитро забыть, если вся забота только о своей шкуре. Да ты морду не вороти, слушай! Говоришь, тебе желательно побывать, а как же ты думаешь побывать домой? На ногах войдешь по чести-совести как солдат, или, может быть,— на пузе, к немцу в плен? А потом к своему порогу приползешь, хвостом повиляешь, семью обрадуешь: вот, мол, уморился воевать ваш герой, теперь думаю перед фрицем на задних лапках стоять и служить ему верой-правдой, так, что ли? Думал я, Некрасов, что ты русский человек, а ты, оказывается, дерьмо неизвестной национальности. Иди отсюда, жабья слизь, не доводи меня до греха!

Лопахин говорил, с каждой минутой все более ожесточаясь сердцем, и наконец умолк, выдохнув воздух с такой силой, словно в груди у него был кузнечный мех.

— Да ты ступай, пожалуй, Некрасов, а то как бы он тебя по нечаянности не того... не стукнул,— посоветовал Копытовский, не на шутку встревоженный еще не виданной им грозной сдержанностью Лопахина.

Некрасов не пошевельнулся. Вначале он слушал, медленно краснея, неотступно глядя в голубые лопахинские глаза, блестевшие тусклым, стальным блеском, а потом отвел взгляд, и как-то сразу сероватая бледность покрыла его щеки и подбородок, и даже на шелушащихся от загара губах проступила мертвенная, нехорошая синева.

Он молчал, низко опустив голову, бесцельно трогая дрожащими пальцами замасленный ремень автомата. И так тягостно было это долгое молчание, что Лопахин первый не выдержал и, все еще часто и хрипло дыша, обратился к Копытовскому:

— Ну, а ты, Сашка, как? Остаешься?

Копытовский с треском оторвал косой листок на самокрутку, сердито вздернул русую бровь:

— Вот еще вопрос, даже странно слышать! Что же, мы с тобой наше ружье пополам переломим, что ли? Ты оста-

ешься — и я остаюсь. Мы же с тобой, как рыба с водой. Будем вместе дуться до победного конца. А бросить тебя я не могу, ты без меня с тоски подохнешь: ругать-то некого будет! Я терпеливый, а другой может и не смолчать тебе, на какого нарвешься.

У Лопахина потеплели глаза и что-то новое скользнуло во взгляде, когда он искоса глянул на своего второго номера.

— Это правильно,— одобрительно сказал он.— Это по-товарищески. Что ж, побудь, дорогой мой Сашенька, возле Стрельцова, а я схожу к старшине. Надо доложиться по начальству, что остаемся, не крадучись же делать такое дело.

Вскоре его догнал Некрасов, окликнул.

— Ну, чего еще тебе, теткин зять? — не поворачивая головы, грубо спросил Лопахин.

Поравнявшись, Некрасов несвязно забормотал:

— Порешил... так что и я... порешил остаться с вами, эко дело! Опамятовался! С устатку да со зла чего только не придумаешь, с дурна ума чего не наговоришь... А ты, Лопахин, не всяко лыко в строку... Вместе-то сколько протопали, не чужой же я, в самом деле... Серчать тут особенно нечего. Петя, слышишь? Что ж, угости, давай закурим мировую?

Отходчиво оказалось сердце Лопахина к своему человеку... Он застопорил шаг и, на ходу доставая кисет, уже несколько смягчившимся голосом буркнул:

— Тебя, дуру, прикладом бы угостить надо! Плетет черт знает что, а ты его уговаривай, умасливай да последние несчастные нервы с ним трепи.. На, да не забывай, что из чужого табаку надо крутить потоньше.

— Клянусь, не умею делать тонких! — воскликнул повеселевший Некрасов.

Лопахин остановился, свернул крохотную папироску, молча сунул в руку Некрасова. Тот бережно взял ее негнущимися черными пальцами, критически осмотрел со всех сторон и, вздохнув, также молча стал прикуривать.

* * *

Они пришли к землянке старшины как раз вовремя: у входа — вытянувшись, руки по швам,— стоял станковый пулеметчик Василий Хмыз, а старшина Поприщенко, сни

но сверкая опухшими, красными от бессонницы глазками, отчитывал его:

— И что это за герои пошли! Ни устава не хотят признавать, ни дисциплины, об военной службе и понятия не имеют, действуют, как детишки на ярмарке: чего ихняя душенька захочет,— вынь да положь им, хоть роди! Да ты знаешь, что солдат и кашу есть и помирать должен только по приказу начальства, а не тогда, когда ему самому вздумается?

Он помолчал немного, пронзительно глядя в красивое худое лицо пулеметчика, и сразу повысил голос:

— Расхристались! Все вам можно! Ну, с чем ты пришел до меня, злодий? Что у меня — воинская часть или плотницкая артель? Ты в армию на поденную работу нанимался, что ли? И какое я имею право отпустить тебя в другую часть, ну какое? Нынче ты уйдешь, завтра — другой, и так и далее, а потом что же получится, спрашиваю тебя? Останусь я один,— и один явлюсь к командиру дивизии? Вот, мол, товарищ полковник, видали вы старого дурня? Честь имею явиться,— старшина Поприщенко. Были в полку уцелевшие от боев люди, да я их всех пораспускал по свиту, как та плохая квочка, какая без цыплят домой одна приходит... Сымите с меня высокое звание старшины и прикажите повесить меня на самом поганом суку, я очень даже заслужил себе эти качели... Так, что ли, Василий Хмыз? Такой чести ты для моей солдатской старости хочешь? А этого ты не нюхал, чертов байстрюк?

Старшина сложил из обкуренных, коричневых пальцев дулю, некоторое время подержал ее на весу возле тонкого, с горбинкой носа пулеметчика, потом, опустив руку, значительно сказал:

— Если ты с дурной головы вздумаешь уйти самовольно,— считаю тебя дезертиром, так и знай! И отвечать перед трибуналом будешь как за дезертирство! Ступай к чертовой маме, и чтобы больше ко мне с такими глупостями не являлся!

— Есть, товарищ старшина, больше к вам с такими глупостями не являться,— подчеркнуто официально повторил Хмыз и, нахмурив девичьи тонкие, черные брови, повернулся налево кругом, мягко стукнул стоптанными каблуками.

Старшина проводил его стройную, щеголевато подтянутую фигуру долгим взглядом, широко развел руками.

— Видали, какие умники пошли? — проговорил он, часто мигая слезящимися глазками и негодующе раздувая рыжие, с густою проседью усы.— Четвертый за утро приходит — и все с одной и той же песней! Четвертый! Не желают они в тыл идти, желают тут оставаться... Да я, может, сам нисколько не желаю в тыл, а приказ я выполнять должен?! — вдруг выкрикнул он высоким сиплым фальцетом, но, справившись с волнением, продолжал уже более спокойно: — Только что видел майора — командира тридцать четвертого полка. Он приказал немедленно отправляться в хутор Таловский, там штаб нашей дивизии. Осмелился у него спросить: как же с нами будет? Он говорит: «Не беспокойся, старик, раз сохранили боевую святыню — знамя, значит, полк не расформируют, а быстренько пополнят людьми, комсостав подкинут, и опять двинем на фронт, на самый важный участок!» — Старшина торжественно поднял указательный палец, повторил: — На самый важный, это как, понятно вам? Потому, говорит майор, что дивизия наша кадровая, все виды видавшая и очень стойкая. А такая дивизия, хотя она и сильно потрепанная, без дела долго не застоится. Так майор сказал, а тут приходят разные байстрюки, голову мне своим детским геройством морочат... Они хотят свою родную часть кинуть и болтаться на фронте, как ковях в проруби. Да где это видано такое, чтобы из части в часть по своему усмотрению бегать? А спрошу я вас, откуда Васька Хмыз, щенок такой молокососный, может знать, где есть самый важный участок? Может, дивизия, какая тут оборону заняла, на подмену нам, до зимы будет в глухой обороне стоять, может, тут и боев никаких не будет, а так только — одна отсидка. И кто больше знает, майор или этот свистун Васька?

Все шло прахом! Все прежние расчеты и планы Лопахина были безжалостно опрокинуты неопровержимыми доводами старшины. Лопахин зачем-то снял каску и погладил ладонью ее накаленный солнцем верх. «Кругом прав чертов старик! Как же мой котелок этого дела раньше не сварил? — удрученно думал он, глядя куда-то мимо старшины.— Очень даже просто, что пошлют нас на ответственный участок и что тут не будут фрицы напирать. Да так оно, наверное, и будет! Вон они режут куда-то мимо нас, на восток... Эх, маху дал я, а теперь отбой надо бить...»

— А вы, сынки, чего явились? — со зловещей вкрадчивостью спросил старшина, очевидно озаренный неприятной

догадкой, и, словно петух перед дракой, вытянул вперед морщинистую шею, ожидая ответа.

У Некрасова от неожиданности отвисла нижняя челюсть, когда Лопахин, вытирая рукавом обильно проступивший на лбу пот, равнодушно ответил:

— Пришли узнать, когда выступать будем.

Старшина облегченно вздохнул. Не без труда расставаясь со своим прежним решением, тяжело вздохнул и Лопахин. А Некрасов со свистом втянул в себя воздух, зашептал:

— Чего воду мутишь? Говори ему сразу! Говори прямо, нас он на испуг не возьмет!

— Все сказано! — отрезал Лопахин и повернулся к старшине: — Командуй сбор, а то как бы твоя плотницкая артель не расползлась по швам...

* * *

Переход в пятнадцать километров сделали с одним небольшим привалом на полпути и часам к шести вечера, едва стала спадать гнетущая жара, вступили в хутор, просторно раскинувшийся по заросшему вербами суходолу.

Отсюда до хутора Таловского, где находился штаб дивизии, было всего лишь около семи километров, но еще при входе в хутор старшина Поприщенко объявил, что ночевать будут здесь. Кто-то из бойцов недовольно проговорил:

— Рано становиться на ночевку! Перекурим, отдохнем малость и к заходу солнца притопаем в Таловский. Слышь, старшина?

Еще кто-то добавил:

— Целый день не жрали! Там хоть к комендантскому котлу подвалимся...

Поприщенко сердито фыркнул в серые от пыли усы, строго оглядел говоривших:

— А ну, прекратить разговорчики и обсуждения! С голодными босяками я не могу являться к полковнику. Ясно? Станем на ночлег, и чтобы к ночи у меня все было чин по чину: рванье на обмундировании зашить, заштопать, у кого обувка в жалостном виде — привести в порядок, оружие — само собой, до зеркального состояния, а также помыться, щетину соскоблить, чтобы к утру были у меня, как стекляшки. Строго проверю. Ясно? А что касается подза-

правиться — добуду в колхозе. Тут тоже не чужая держава, и чтобы по дворам у меня не шастаться, мы не нищие. Ясно? И полк свой я позорить не позволю, ясно и понятно!

Колхозного председателя застали в правлении колхоза. Старшина вошел в дом, бойцы присели в холодке, некоторые устало потянулись к колодцу. Прошло минут пятнадцать, а в доме все еще звучали голоса: рассудительный и словно бы упрашивающий — старшины и другой, тенористый,— как видно, председателя, все время на разные лады упрямо повторявший: «Не могу. Сказано, не могу. Не могу, товарищ старшина!»

— Что-то они никак не столкуются. Иди, Лопахин, старику на выручку,— посоветовал Копытовский.

Лопахин, давно и внимательно прислушивавшийся к доносившимся из дома обрывкам разговора, встал и решительно зашагал к крыльцу.

В небольшой комнатке, у окна с крест-накрест приклеенными к стеклу полосками газетной бумаги, сидел председатель колхоза — молодой рослый мужчина в старенькой армейской гимнастерке и сдвинутой на затылок, выгоревшей добела пилотке без звездочки. Правый порожний рукав гимнастерки был у него небрежно заткнут за пояс. Старшина поместился против него, почти вплотную придвинув табурет, касаясь своими коленями колен председателя, и, всячески стараясь придать своему хриплому баску как можно больше убедительности, говорил:

— Ты же бывший фронтовик, а в понятие не берешь наше положение, рассуждаешь, извиняюсь, как несознательная женщина...

Председатель недобро поблескивал узко посаженными серыми глазами и молча кривил губы. Его явно тяготил этот разговор. Лопахин поздоровался, присел на край скамьи.

— А в чем у вас дело? Об чем торгуетесь?

Не поворачивая в его сторону головы, председатель ответил:

— А в том, что старшина ваш просит выписать ему продуктов из колхозной кладовой, а я не могу этого сделать.

— Почему?

— Ха! Почему? Да потому, что в кладовой пусто. Ты думаешь, вы первые через хутор бежите?

— Мы не бежим,— сдержанно поправил его Лопахин,

чувствуя, как закипает в нем злость к председателю, к его холодным, узко посаженным глазам, к самоуверенному тенористому голосу. «Забыл, как на фронте живут, отвоевался вчистую, отъелся, а теперь ему чужая нужда — не беда, теперь ему и ветер в спину»,— думал он, с острой неприязнью глядя сбоку на крутую и красную председательскую шею, на тугие, чисто выбритые щеки.

— Вы не первые бежите и, видать, не последние,— упрямо повторил председатель.

— Повторяю, мы не бежим,— резко сказал Лопахин.— Это во-первых, а во-вторых, мы — последние. После нас никого нет.

— А нам от этого не легче! Какие раньше вас прочапали,— все подчистили, как веником подмели!

Председатель повернулся лицом к Лопахину, хотел что-то еще сказать, но Лопахин опередил его вопросом:

— Ты на фронте был?

— А руку мне телок отжевал, по-твоему?

— Отступать приходилось?

— Всяко было, но такого, как сейчас, не видывал.

— Пойми, дорогой человек, еловая голова, не могу же я свой народ голодным оставлять,— сказал старшина.— И за каждого из них в ответе перед командованием. Ясно? Ты пиши накладную, а там что-нибудь найдется, нам много не надо.

Для вящей убедительности старшина положил руку на колено председателя, но тот отодвинул ногу, улыбнулся широко и просто.

— Эх, старшинка, старшинка! Беда мне с тобой, старик! Ведь русским языком тебе говорю: ничего в кладовой, кроме мышей, нет, а ты не веришь. И ты меня за ногу не лапай, я не девка, да и нога у меня на просьбы не чувствительная, она на протезе... Вот мое последнее слово: килограмма два пшена выдам — и все, а хлеба по дворам не будете.

— Куда же мне два килограмма на двадцать семь активных штыков, считай, на весь полк? А заправлять кашу чем? И по дворам за хлебом я солдат не пущу: мы не нищие. Ясно?

Лопахин взглянул на удрученное лицо старшины, с грохотом отодвинул скамью... Старшина предостерегающе поднял руку:

— Лопахин, не горячись!

— Пошли в кладовую,— коротко сказал председатель.

Твердо наступая скрипящим протезом на половицы, он направился к выходу. Поприщенко охотно последовал за ним. Замыкающим шел Лопахин.

Возле амбара председатель пропустил вперед старшину, взял Лопахина за локоть.

— Погляди сам, горячка, что̀ у нас осталось. Черного амбара не имею и скрывать от вас ничего не хочу. Ребята вы, видать, боевые, славные, и я бы овцы, скажем, не пожалел вам на варево, но весь скот — и крупный и мелкий — отправили вчера в эвакуацию по распоряжению района. Осталось только то, что принадлежит личному пользованию колхозников. Свою бы овчишку отдал, но у меня в хозяйстве — только жена да кошка.

Лопахин молча помог отомкнуть большой висячий замок, шагнул в полутемный амбар. Только в одном небольшом закроме, в уголке, сиротливо кучились сметки пшена. Видя нерешительность Лопахина, старшина строго сказал:

— Действуй!

Перегнувшись, багровея от стыда и напряжения, Лопахин смел лежавшим на дне закрома гусиным крылом пшено на середину, выпрямился.

— Тут его килограмма три будет или около этого.

— Ну и забирайте все, нам его на развод не оставлять,— добродушно сказал председатель, не сводя с Лопахина подобревших, почти ласковых глаз.

Пока Лопахин горстями ссыпал пшено в вещевой мешок, старшина достал из кармана просолившийся от пота тощий бумажник и, шевеля пыльными усами, стал отсчитывать замасленные рублевки.

— Сколько по твердой цене? — спросил он, исподлобья глядя на председателя.

Тот, смеясь, махнул рукой.

— Нисколько. За сметки не берем.

— А мы даром не берем. Ясно? — Старшина положил деньги на край закрома, чинно сказал: — Благодарствуем за уважение.— И пошел к выходу.

— Мыши твои деньги съедят,— все так же посмеиваясь, сказал председатель.

Старшина не ответил. За дверями он отозвал в сторону Лопахина, шепнул:

— Почин есть, а дальше что? В сказке солдат из топора кашу варил, так то — в сказке, а мы как будем, шахтер? Жидкая кашка без заправки и хлеба — то же самое, что свадьба без жениха, а ребята голодные до смер-

...и! Прямо безвыходное положение,— грустно заключил старшина.

Безвыходное положение? Нет безвыходных положений! Так, по крайней мере, всегда считал Лопахин, и, быть может, последняя фраза старшины и заставила его принять опрометчивое решение... Веселые огоньки зажглись в светлых бесстрашных глазах Лопахина. Черт возьми, как он раньше не подумал об этом, как мог он опустить руки, имея на руках такой козырь, как свой неизменный успех у женщин, свою неотразимость, в которую верил всем сердцем? Лопахин бодро похлопал приунывшего старшину по плечу, сказал:

– Главное, не робей, Поприщенко! Положись во всем на меня. Сейчас все организуем. На сегодня многого не обещаю, буду знакомиться с обстановкой и вести разведку боем, а уж завтра утром накормлю вас всех — во! — И приложил ребро ладони к раздувшимся ноздрям.

— А что ты придумал? — осторожно осведомился старшина.— Может, какую беззаконную пакость?

— Все будет согласно закона, даю честное бронебойное слово,— заверил Лопахин и широко улыбнулся.— В этом деле страдаю один я. Придется мне поколебать свои нравственные устои, но уж поскольку они и до этого давно расшатанные,— готов пострадать ради товарищей.

— Ты говори толком и не морочь мне голову.

— А вот сейчас узнаешь. Товарищ председатель, на минутку!

Лопахин, доверительно касаясь пуговицы на гимнастерке председателя и в упор глядя в его узко посаженные глаза, заговорил:

— Парень ты свой, и я с тобой буду говорить начистоту: кормиться нам чем-нибудь надо, так? Ты помочь нам продуктами не можешь, так? Тогда помоги в другом деле.

— В каком?

— Есть в твоем колхозе вдова или солдатка, чтобы зажиточно жила, чтобы у нее в хозяйстве всякая чепуха была, ну, куры там, или овцы, или другая какая мелкая живность?

— Конечно, есть таковы. Колхоз наш не из бедных.

— Ну вот и станови нас на постой на одну ночь к такой зажиточной гражданке. А там уже наше дело будет, как с ней столкуемся. Только, пожалуйста, чтобы хозяйка не мордоворот была, а так, более или менее на женщину похожая, понимаешь?

Председатель насмешливо сощурил глаза, спросил:

— И не старше семидесяти лет?

Слишком серьезный вопрос обсуждался, чтобы Лопахин мог принимать всякие шуточки. Он задумчиво помолчал, потом ответил:

— Семьдесят — это, браток, многовато, это — цена с запросом, а на шестьдесят, на худой конец, согласен, куда ни шло! Риск — благородное дело! Но желательно, конечно, помоложе...

— Что ж, это можно,— морща в улыбке губы, сказал председатель.— Это ты по-солдатски решаешь. На безрыбье, говорят, и рак рыба, а в поле — и жук мясо. Поставлю на квартиру, только, чур, на меня после не обижаться...

— А в чем дело? — настороженно спросил Лопахин.

— Недалеко отсюда живет одна солдатка. Лет ей под тридцать. Муж у нее на фронте, старший лейтенант. В хозяйстве у нее черта одного нет — и куры, и гуси, и утки, и двух большеньких поросят держит, и овец десятка полтора имеет. Богато живет! И главное — одна, ни детей, никого нет. Да вон дом ее, видишь за тополями зеленую крышу? Это она самое там проживает. А муж ее до войны работал...

— Мне он по ночам не снится, ее муж,— нетерпеливо прервал Лопахин.— А в чем дело? За что можно обижаться-то? Возраст вполне подходящий!

— Строга она, парень, ох, до чего строга!

— Ну, это не страшно, не таких обламывали, веди,— самоуверенно сказал Лопахин и повернулся к старшине.— Разрешите действовать, товарищ старшина?

Поприщенко устало махнул рукой.

— Действуй. Только что-то мне сомнительно... Подведешь ты нас, Лопахин.

— Я? Подведу? — возмутился Лопахин.

— Очень даже просто подведешь. Служил я на действительной в старой армии, тоже молодой был, землю копытом рыл, не без греха жил. Ну, оторвешься, бывало, к знакомке, ну, яичницу и бутылку водки охлопочешь себе, а ведь тут двадцать семь человек... Вот я и думаю: как же это надо услужить бабе, чтобы она не на одного, а на двадцать семь душ харчей отпустила? Тут, шахтер, трудиться надо, я бы сказал...

— А я с трудами не посчитаюсь,— скромно уверил его Лопахин.

* * *

На западной окраине неба почти недвижно стояла белая, с розовым подбоем тучка. Вокруг неровных, зазубренных краев ее гулял вышний ветер, кучерявил лохматую кромку. Выше тучи прошли на север четыре «мессершмитта». Они свалились вниз где-то за хутором, и спустя немного ветер донес частую дробь пулеметных очередей и глухие разрывы.

— Кого-то накололи на дороге. Кому-то сейчас скучно там... — сказал высокий длинношеий боец, промышлявший за Доном раков.

Лопахин только на секунду поднял голову, прислушался к недалеким разрывам, и снова опустил ее, поплевывая на сапоги и тщательно надраивая их длинной лентой, оторванной от полы немецкой шинели.

Бойцы разместились под навесом сарая. В грязных, пропотевших насквозь исподних рубахах они чинили изорванные в локтях, выгоревшие гимнастерки, штаны и шинели, мудрствовали над изношенными и худыми сапогами и ботинками. Кто-то добыл по соседству сапожный инструмент, пару стареньких колодок и дратву. Копытовский, оказавшийся неплохим сапожником, подбил подметки на своих сапогах и, недовольно поглядывая на сваленную в кучу возле него обувку товарищей, негодующе фыркнул: «Нашли сапожный комбинат! Нашли дурака на даровщинку! Так я и буду вам молотком стучать до белой зари!» Он сидел на обрубке дерева в серых, расползшихся на нитки трусах и, широко расставив толстые ноги, яростно вколачивал в подошву сапога, принадлежавшего Некрасову, ядреные березовые шпильки. Свернув ноги калачиком, рядом с ним сидел на земле Некрасов и, неумело орудуя изогнутой иглой-грошевухой, приваривал огромную латку на штанине Копытовского. Бугристым швом ложилась под его руками суровая нитка, и Копытовский, отрываясь от работы, критически говорил:

— У тебя, Некрасов, одна посадка портновская, а умелья ничего нету. Тебе, по-настоящему, только хомуты на ломовых лошадей вязать, а не благородные солдатские штаны чинить. Ну разве это работа? Насмешка над штанами, а не работа! Шов — в палец толщиной, любая вошь — если упадет с него — убьется насмерть. Пачкун ты, а не портной!

— Это твои-то штаны благородные? — отозвался Не красов.— Их в руках держать — и то противно! А я чин их, мучаюсь, вторую сумку от противогаза на них ра ходую, но конца моей работе не видно... На тебя шт ны из листовой жести шить надо, тогда будет толк. Давай Сашка, хлястик на трусы тебе пришью, а штаны сож жем, а?

Копытовский закатил глаза под лоб, придумывая от поязвительней, но в это время кто-то громко сказал:

— Братва, хозяйка идет!

Все разом смолкли. Двадцать шесть пар глаз устреми лись к калитке, только Стрельцов, тихонько насвистыва тщательно смазывал разобранный затвор автомата, не по нимал опущенной головы.

Неправдоподобно высокого роста, огромная, дородна женщина величаво подходила к калитке. Она была по своему статна и хороша лицом, но по меньшей мере на голову выше самого высокого из бойцов. В наступивше тишине кто-то изумленно ахнул:

— Ну, вот это — да!

А старшина, испуганно выпучив опухшие глазки, то кнул Лопахина в бок:

— Вот и радуйся теперь... Скушали нежданку!

Лопахин сразу на четыре дырки затянул скрипнувши ремень, торопливо оправил складки гимнастерки, сня каску и ладонью пригладил волосы. Весь подобравши как боевой конь при звуках трубы, он зачарованными, бле тящимися глазами провожал широко шагавшую по двор мощную женщину...

Старшина отчаянно махнул рукою, сказал:

— Все пропало! Пойду сейчас этому председател морду набью, пущай над нами насмешки не вчиняет, соб чий сын!..

Лопахин обратил к нему рассеянный взгляд, недовол но спросил:

— Ты чего паникуешь?

— Как же это — чего? — возмутился старшина.— Ти видишь, кто идет?

— Вижу. Типичная женщина. В юбке и при все остальных достоинствах. Просто прелесть, а не женщи на! — восторженно сказал Лопахин.

— Типичная! Прелесть в юбке! — яростным шепото передразнил старшина.— Не женщина, а памятник иде Ясно? На нее смотреть и то страшно! До войны в Москве на сельхозвыставке видал я такую. Стоит при входе камен

баба на манер памятника, вот и эта ничуть не меньше... Сотворит же господь бог такое неподобие, тьфу! — Старшина, отплевываясь и чертыхаясь, потащил Лопахина в угол и шепотом спросил: — Ну, что будем делать теперь? Квартиру менять?

Лопахин снисходительно улыбнулся и пожал плечами.

— О чем речь? И с какой стати менять? То же самое и будем делать, о чем с тобой договаривались. Задача остается прежняя.

— Да ты протри глаза, Лопахин, погляди на нее хорошенько! Ведь ты ей головой до плеча не достанешь!

— Ну и что?

— А то, что мелковатый твой рост по ней. Ясно?

Глядя на растерянное и даже немного испуганное лицо старшины, Лопахин улыбался уже с нескрываемым презрением:

— До седых волос ты дожил, старшина, а не знаешь того, что знает любая женщина...

— Чего же это я не знаю, дозволь спросить?

— А того, что мелкая блоха злее кусает, понятно тебе?

Старшина, несколько поколебленный в своих сомнениях, не без скрытого уважения молча и пристально смотрел на Лопахина, дивясь про себя его бесшабашной самоуверенности. А Лопахин, щуря в улыбке светлые глаза, говорил:

— Ты древнюю историю когда-нибудь изучал, старшина?

— Не приходилось. По моей плотницкой профессии она мне была вроде бы и ни к чему. А что?

— Жил в старину такой полководец Александр Македонский, так вот у него, как потом и у римского полководца Юлия Цезаря, лозунг был: «Пришел. Увидел. Победил». Я придерживаюсь этого лозунга, и рост этой гражданки меня ничуть не пугает! Разрешите действовать, товарищ старшина?

— Оно, конечно, действуй, я не возражаю, по случаю безвыходного положения. Но одно скажу тебе, шахтер: не помрешь ты своей смертью...

Старшина сокрушенно покачал головой, но Лопахин только игриво подмигнул и положил тяжелую руку на старчески сухое плечо старшины:

— Все будет в порядочке. Ни тебя, ни себя я не подведу, старшина! Будь спокоен!

* * *

Лопахин прилагал героические усилия, чтобы снискать расположение хозяйки: он вызвался помочь ей в поливке огорода и даже с полными ведрами не шел от колодца, как полагается степенному мужчине, а семенил дробной веселой рысцой впереди медлительно шагавшей женщины; дрова рубил так, что из-под топора янтарными брызгами во все стороны летели сухие ольховые щепки; ни минуты не колеблясь, снял начищенные до блеска сапоги, до колен подсучил штаны и рьяно принялся за чистку летнего коровьего база, по щиколотку увязая в закрутевшем навозе...

Хозяйка охотно принимала все эти услуги, поглядывая на суетившегося Лопахина с веселой хитринкой, улыбаясь одними серыми глазами и лишь изредка отворачиваясь и с тяжеловесной грацией поправляя на голове белый платочек. Но если бы только видел Лопахин в это время ее откровенную и всезнающую улыбку!..

Бойцы по-прежнему сидели под навесом сарая, вполголоса переговаривались. Каждый из них был занят своим делом, однако ни единое движение Лопахина и хозяйки не ускользало от их неусыпного внимания. Но зорче всех наблюдал за Лопахиным старшина. Он примостился на сиденье поломанной косилки, стоявшей возле сарая, и озирал двор, подобно военачальнику, следящему за исходом сражения на поле боя. Пулеметчик Василий Хмыз, подмигивая бойцам, насмешливо сказал:

— А у вас, товарищ старшина, НП подходящий, прямо как у генерала. Обзорец с него хоть куда!

Старшина раздраженно буркнул:

— Молчи, щеня! Человек для нашей же общей пользы старается, а ты гавкаешь.

Старшина по-прежнему недоверчиво относился к предприятию Лопахина, но когда хозяйка низким, грудным голосом ласково окликнула расторопного бронебойщика, старшина просиял:

— Вот ведь вражий сын! Вот злодий по бабьей линии! Она его уже по имени-отчеству величает! И когда успела узнать? Слыхали, Петром Федотычем назвала! Ну и шахтер! Этот не пропадет и в сиротах не засидится.

— Клюет! — довольно проговорил Некрасов, кивая на хозяйку и слегка подталкивая старшину в бок.

— Ясно, что наклевывается! А почему бы, спрошу

...тоби, и не клевало? Парень он геройский, а рост, что же ... На пару этой бабе надо парня прогонистого, длиной ... ...товую сваю, либо двух хороших ребят надо гвоздями ...чивать, чтобы верхний ростом до нее дотянулся. Но ...хин не этим берет, собачий сын! Недаром говорят, что ... клоп, да вонюч. Геройством берет, как все равно этот ...оводец...— Старшина, жуя губами, всмотрелся в лицо Некрасова и вдруг неожиданно спросил: — Ты древнюю историю изучал когда-нибудь?

— У меня низкое образование,— со вздохом сожаления ... Некрасов.— Я и приходскую школу не окончил ... этот проклятый царизм и по бедности моих родите... Древних историй я не знаю, не приходилось с ними ...киваться. Чего не знаю, того не знаю, хвалиться не ...ду.

— Напрасно не учил, напрасно! — укоризненно прого... старшина и с видом собственного превосходства ...крутил ус.— Мне разные науки с детства тоже нелегко ...лись. Изучаешь, бывало, какую-нибудь там древнюю ... не особенно древнюю историю, или скажем, такую ...дную науку, вроде географии, так не поверишь — иной ... даже ум за разум зайдет! А все-таки одолеваешь их, ...м по себе становишься все образованнее, все образован... Ясно?

— Конечно, ясно,— уныло подтвердил Некрасов, по...ленный образованностью старшины, которую раньше, ... боевым недосугом, как-то не замечал.

— Вот, к примеру, был в старину такой знаменитейший ...оводец: Александр... Александр... Э, чертова память! ...у и не припомнишь его фамилии... Стариковская ...ять — как худая рукавица... Александр...

— Суворов? — несмело подсказал Некрасов.

— Никак не Суворов, а Александр Македонсков, вот ... его фамилия! Насилу вспомнил, хай ему сто чертей! ... еще до Суворова было, при царе Горохе, когда людей ... трохи. Так вот этот Александр воевал так: раз, два ... дамках! И первая заповедь насчет противника у него ... такая: «Пришел. Увидел. Наследил». А наследит, ...чий сын, бывало, так, что противник после этого сто лет ...ют, никак не опомнится. И кого он только не бил! ... немцев, и французов, и шведов, не говоря уже про раз... итальянцев. Только в России напоролся и показал тыл, ...рнул обратно. Не по зубам пришлась ему Россия!

— А какой же он нации был? — поинтересовался Некрасов

— Он-то? Александр этот? — Неожиданный вопрос [...] стал старшину врасплох. Он долго теребил ус, мучител[...] морщил лоб, бормотал: — Э, память собачья! У стар[...] человека она, как у старого кобеля: того Серком зовут, а [...] и хвостом не виляет, позабыл свое прозвище...— Старш[...] в задумчивости помолчал немного, потом решительно с[...] зал: — У него своя нация была.

— Как же это — своя? — удивился Некрасов.

— А так, своя, и все тут. Собственная нация, и шаба[...] Ясно? Так в древней истории прописано. Была у него с[...] нация, а потом вся перевелась, и на развод ничего не ост[...] лось. Ну, да это неважно. А вспомнили мы с Лопахин[...] про этого Александра по такому случаю: я ему говор[...] смотри, мол, не обожгись, Лопахин, с этой хозяюшкой, [...] подведи нас насчет харчей, а он смеется, вражий сы[...] и говорит: «У меня такая привычка, как у Александ[...] Македонскова: пришел, увидел, наследил». Ну, говор[...] ему, дай боже, чтоб наше теля та вовка зъило, действуй, [...] уж если будешь следить, то следи так, чтобы хозяюшка [...] овечку разорилась, не меньше! Обещал выполнить. И, к[...] видно, дело у него идет на лад. Слышал, как она к не[...] обратилась: «Петр Федотович, подайте мне ведро»? [...] первых, по имени-отчеству, во-вторых — на букву вы, а [...] что-нибудь означает, ясно?

— Конечно, ясно,— охотно подтвердил Некрасов. [...] А неплохо бы было щец с молодой баранинкой рубануть. [...] Хороши овечки у хозяйки, особенно одна ярка справн[...] Там курдюк у нее — килограмма на четыре, не мен[...] ше! Ежели раздобрится хозяйка на овцу, надо только [...] ярку резать. Я ее облюбовал, еще когда овцы с пол[...] пришли.

— Борщ из баранины хорош с молодой капустой, [...] задумчиво сказал старшина.

— Капуста молодая, а картошка должна быть в бор[...] старая,— с живостью отозвался Некрасов.— В молод[...] картошке толку нет, на варево она не годится.

— Можно и старой положить,— согласился старш[...] на.— А еще неплохо поджаренного лучку туда кинуть, эт[...] самую малость...

Незаметно подошедший к ним Василий Хмыз ти[...] сказал:

— До войны мама всегда на базаре покупала баран[...] непременно с почками. Для борща это замечательн[...] кусок! И еще укропу надо немного. От него такой аромат [...] на весь дом!

— Укроп — баловство одно. Главное, чтобы капуста была и помидорки. Вот в чем вся загвоздка! — решительно возразил старшина.

— Морква тоже невредная штука для борща,— мечтательно проговорил Некрасов.

Старшина хотел что-то сказать, но вдруг сплюнул тягучую слюну, злобно проворчал:

— А ну, кончай базар! Давай, дочищай оружие, сейчас проверять буду по всей строгости. Затеют дурацкие разговорчики, а ты их слушай тут, выворачивай живот наизнанку...

* * *

Большинство бойцов расположилось спать на дворе, возле сарая. Хозяйка постелила себе на кухне, а в горнице, отделившейся от кухни легкими сенями, легли на полу старшина, Стрельцов, Лопахин, Хмыз, Копытовский и еще четверо бойцов.

Хмыз и длинношеий боец, за которым прочно утвердилась кличка «раколов», долго о чем-то шептались. Копытовский на ощупь ловил блох, вполголоса ругался. Лопахин выкурил две папироски подряд и притих. Спустя немного его шепотом окликнул старшина:

— Лопахин, не спишь?

— Нет.

— Смотри, не усни!

— Не беспокойся.

— Тебе бы для храбрости сейчас грамм двести водки, да где ее, у чертова батьки, достанешь?

Лопахин тихо засмеялся в темноте, сказал:

— Обойдусь и без этого зелья.

Слышно было, как он с хрустом потянулся и встал.

— Пошел, что ли? — шепотом спросил старшина.

— Ну, а чего же время терять? — не сдерживая голоса, ответил Лопахин.

— Удачи тебе! — проникновенно сказал раколов.

Лопахин промолчал. Ступая на цыпочках, он ощупью пошел в кромешной тьме, направляясь к двери, ведущей в сени.

— В доме спят самые голодные, остальные — во дворе,— вполголоса сказал Хмыз и по-мальчишески прыснул, закрывая рукою рот.

— Ты чего? — удивленно спросил Копытовский.

— Но пасаран! Они не пройдут! — дрожащим от смеха голосом проговорил Хмыз.

И тотчас же отозвался ему Акимов — снайпер третьего батальона,— желчный и раздражительный человек, до войны работавший бухгалтером на крупном строительстве в Сибири

— Я попрошу вас, товарищ Хмыз, осторожнее обращаться со словами, которые дороги человечеству. Интеллигентный молодой человек, насколько мне известно, окончивший десятилетку, а усваиваете довольно дурную манеру — легко относиться к слову...

— Он не пройдет! — задыхаясь от смеха, снова повторил Хмыз.

— И чего ты каркаешь, губошлеп? — возмущенно сказал раколов.— Не пройдет, не пройдет, а он потихоньку продвигается. Слышь, половица скрипнула, а ты — «не пройдет». Как это не пройдет? Очень даже просто пройдет!

Копытовский предупреждающе сказал:

— Тише! Тут главное — тишина и храп.

— Ну, храпу тут хватает...

— Тут главное — маскировка и тишина. Если и не спишь от голоду, то делай вид, что спишь.

— Какая тут маскировка, когда в животе так бурчит, что, наверное, на улице слышно,— грустно сказал раколов.— Вот живоглоты, вот куркули проклятые! Бойца — и не покормить, это как? Да бывало, в Смоленской области — там тебе последнюю картошку баба отдаст, а у этих снега среди зимы не выпросишь! У них и колхоз-то, наверное, из одних бывших кулаков... Продвигается он или нет? Что-то не слышно.

— Выдвинулся на исходные позиции, но все равно он не пройдет! — со смешком зашептал Хмыз.

— Вас, молодой человек, окончательно испортила фронтовая обстановка. Вы неисправимы, как я вижу,— возмущенно сказал Акимов.

— А ну, кончай разговоры! — сипло зашептал старшина.

— И чего он шипит, как гусак на собаку? Дело его стариковское, лежал бы себе да посапливал в две отверстки... Не старшина у нас, а зверь на привязи.

— Я тебе завтра покажу зверя! Ты думаешь, я тебя по голосу не узнал, Некрасов? Как ты голос ни меняй, а я тебя все равно узнаю!

Минуту в горнице держалась тишина, нарушаемая разноголосым храпом, потом раколов с нескрываемой досадою проговорил:

— Не продвигается! И чего он топчется на исходных? О, зараза! Он пока выйдет на линию огня,— всю душу из нас вымотает! О господи, послали же такого торопыгу. К утру он, может, и доползет до сеней...

Еще немного помолчали, и снова раколов, уже с отчаянием в голосе, сказал:

— Нет, не продвигается! Залег, что ли? И чего бы он залег? Колючую проволоку она протянула перед кухней, что ли?

Окончательно выведенный из терпения, старшина приподнялся:

— Вы замолчите нынче, вражьи сыны?

— О господи, тут и так лежишь, как под немецкой ракетой...— чуть слышно прошептал раколов и умолк: широченная ладонь Копытовского зажала ему рот.

В томительном ожидании прошло еще несколько долгих минут, а затем в кухне зазвучал возмущенный голос хозяйки, послышалась короткая возня, что-то грохнуло, со звоном разлетелись по полу осколки какой-то разбитой посудины, и хлестко ударилась о стену дверь, ударилась так, что со стен, шурша, посыпалась штукатурка и, жалобно звякнув, остановились суетливо тикавшие над сундуком ходики.

Спиною отворив дверь, Лопахин ввалился в горницу, пятясь, сделал несколько быстрых и неверных шагов и еле удержался на ногах, кое-как остановившись посредине горницы...

Старшина с юношескою проворностью вскочил, зажег керосиновую лампу, приподнял ее над головой. Лопахин стоял, широко расставив ноги. Иссиня-черная, лоснящаяся опухоль затягивала его правый глаз, но левый блестел ликующе и ярко. Все лежавшие на полу бойцы привстали, как по команде. Сидя на разостланных шинелях, они молча смотрели на Лопахина и ни о чем не спрашивали. Да, собственно, и спрашивать-то было не о чем: запухший глаз и вздувшаяся на лбу шишка, величиною с куриное яйцо, говорили красноречивее всяких слов...

— Александр Македонсков! Мелкая блоха! Ну, как, скушал нежданку? — уничтожающе процедил сквозь зубы бледный от злости старшина.

Лопахин помял в пальцах все увеличивавшуюся в размерах шишку над правой бровью, беспечно махнул рукой:

— Непредвиденная осечка! Но зато, братцы, до чего же сильна эта женщина! Не женщина, а просто прелесть! Таких я еще не видывал. Боксер первого класса, борец высшей категории! Слава богу, я на обушке воспитывался, силенка в руках есть, мешок в центнер весом с земли подыму и унесу, куда хочешь, а она схватила меня за ногу повыше колена и за плечо, приподняла и говорит: «Иди спи, Петр Федотович, а то в окно выброшу!» — «Ну, это,— говорю ей,— мы еще посмотрим». Ну, и посмотрел... Проявил излишнюю активность и вот вам, пожалуйста...— Лопахин, морщась от боли, снова помял угловатую, лиловую шишку над бровью, сказал: — Да ведь это удачно так случилось, что я спиною о дверь ударился, а то ведь мог весь дверной косяк на плечах вынести. Ну, вы как хотите, а я — если живой останусь — после войны приеду в этот хутор и у лейтенантика эту женщину отобью! Это же — находка, а не женщина!

— А как же теперь овца? — удрученным голосом спросил Некрасов.

Взрыв такого оглушительного хохота был ему ответом, что Стрельцов испуганно вскочил и спросонок потянулся к лежавшему в изголовье автомату.

— А находка твоя завтра кормить нас будет? — сдерживая бешенство, спросил старшина.

Лопахин жадно пил теплую воду из фляжки и, когда опорожнил ее,— спокойно ответил:

— Сомневаюсь.

— Так чего же ты трепался и головы нам морочил?

— А что ты от меня хочешь, товарищ старшина? Чтобы я еще раз сходил к хозяйке? Предпочитаю иметь дело с немецкими танками. А уж если тебе так не терпится — иди сам. Я заработал одну шишку, а тебе она насажает их дюжину, будь спокоен! Что ж, может, проводить тебя до кухни?

Старшина плюнул, вполголоса выругался и стал натягивать гимнастерку. Одевшись и ни к кому не обращаясь, он угрюмо буркнул:

— Пойду до председателя колхоза. Без завтрака не выступим. Не могу же я являться по начальству и сразу просить: покормите нас, босяков. Вы тут поспокойнее, я скоро обернусь.

А Лопахин лег на свое место, закинул руки за голову, с чувством исполненного долга сказал:

— Ну, теперь можно и спать. Атака моя отбита. Отступил я в порядке, но понеся некоторый урон, и, ввиду

ного превосходства сил противника, наступления на этом участке не возобновляю. Знаю, что смеяться надо мной вы будете, ребята, теперь месяца два — кто проживет эти два месяца,— об одном прошу: начинайте с завтрашнего утра, а сейчас — спать!

Не дожидаясь ответа, Лопахин повернулся на бок и через несколько минут уже спал крепким, по-детски непробудным сном.

* * *

Рано утром Копытовский разбудил Лопахина:

— Вставай завтракать, мелкая блоха!

— Какая же он — блоха? Он — Александр Македонский,— сказал Акимов, чистой тряпицей тщательно вытирая алюминиевую ложку.

— Он — покоритель народов и гроза женщин,— добавил Хмыз.— Но вчера он не прошел, хотя я его об этом и предупреждал.

— На такого покорителя понадейся, с голоду подохнешь! — сказал Некрасов.

Лопахин открыл глаза, приподнялся. Левый глаз его смотрел, как всегда, бойко и весело, правый, окаймленный синеватой припухлостью, еле виднелся, посверкивая из узко прорезанной щели.

— Ну и приголубила она тебя! — Копытовский фыркнул и отвернулся, боясь рассмеяться.

Лопахин отлично знал, что единственным спасением от насмешек товарищей послужит только молчание. Насвистывая, с видом абсолютно равнодушным, он достал из вещевого мешка полотенце и крохотный обмылок, вышел на крыльцо. Бойцы, умываясь, толпились возле колодца, а в примыкавшем к дому садике на траве были разостланы плащ-палатки, и на них густо стояли котелки, тарелки, миски. Неподалеку жарко горел костер. На железном пруте над огнем висел большой бригадный котел. Нарядная хозяйка поправляла огонь, склоняясь могучим станом, помешивала в котле деревянной ложкой.

Все это было как во сне. Лопахин ошалело поморгал, протер глаза. «Явная чертовщина!» — подумал он, но тут ноздри его уловили запах мясной похлебки, и Лопахин, пожав плечами, сошел с крыльца. Остановившись у костра, он галантно раскланялся:

— Доброе утро, Наталья Степановна!

Хозяйка выпрямилась, метнула быстрый взгляд и снова наклонилась над котлом. Розовая краска заливала ее щеки, и даже на полной белой шее проступили красные пятна.

— Здравствуйте,— тихо сказала она.— Уж вы меня извиняйте, Петр Федотович... Синяк-то у вас нехорош... Небось товарищи слыхали ночью?

— Это пустое,— великодушно сказал Лопахин.— Синяки украшают лицо мужчины. Надо бы вам, конечно, немного поаккуратнее кулаками орудовать, но теперь уже ничего не поделаешь. А за меня не беспокойтесь, заживет как на миленьком. Собака пойдет — кость найдет, вот и я к вам ночушкой сходил — синяк с шишкой нашел. Наше дело, Наталья Степановна, жениховское.

Хозяйка снова выпрямилась, посмотрела на Лопахина ясным взглядом, сурово сдвинула густые, рыжеватые брови.

— В том-то и беда, что в женихах ходите. Вы думаете, если муж в армии, так жена у него подлюка? Вот и пришлось, Петр Федотович, кулаками доказывать, какие мы есть, благо силушкой меня бог не обидел...

Лопахин опасливо скосил зрячий глаз на сжатые кулаки хозяйки, спросил:

— Извиняюсь, конечно, за нескромность, но все-таки скажите: каков ваш муженек? Ну, какого он роста из себя?

Хозяйка смерила Лопахина взглядом, улыбнулась:

— А такого же, как вы, Петр Федотович, немного только потушистее.

— Наверное, обижали вы его? В зятьях он у вас жил?

— Что вы! Что вы, Петр Федотович! Мы с ним жили душа в душу.

Пухлые, румяные губы женщины дрогнули. Она отвернулась и кончиком платка смахнула со щеки слезинку, но тотчас же лукаво улыбнулась и, глядя на Лопахина увлажненными глазами, сказала:

— Лучше моего на белом свете нету! Он у меня — хороший человек, работящий, смирный, а как только вина нахлебается — лихой становится. Но я к участковому милиционеру жаловаться не хаживала: начнет буянить — и я скоро с ним управлялась; больно не бивала, а так, любя... Сейчас он в Куйбышеве, в госпита-

после ранения лежит. Может, после на поправку домой пустят?

— Обязательно пустят,— уверил Лопахин.— А по какому случаю, Наталья Степановна, у вас затевается завтрак под нашу бражку? Что-то я не пойму...

— Тут и понимать нечего. Если бы вы вчера толком объяснили нашему председателю, что это ваша часть позавчера билась с немцами на хуторе Подъемском,— вас еще вчера накормили бы. А то ведь мы, бабы, думаем, что вы опрометью бежите, не хотите нас отстаивать от врага, ну сообща и порешили про себя так: какие от Дона бегут в тыл,— ни куска хлеба, ни кружки молока не давать им, пущай с голоду подыхают, проклятые бегунцы! А какие к Дону идут, на защиту нашу,— кормить всем, что ни попросят. Так и сделали. А про вас мы не знали, что это вы на Подъемском бились. Позавчера колхозницы нашего колхоза подвозили снаряды к Дону, вернулись оттуда и рассказывали: «Наших родненьких,— говорят,— много побито было на той стороне Дона, но и немцев на бугре накладали, лежат, как дрова в поленнице». Знатьё, что это вы там бой принимали, по-другому бы и встретили вас. Старший ваш, рыженький, седенький такой старичок, ночью к председателю ходил, рассказал ему, как вы жестоко сражались. Ну, гляжу — на рассвете председатель чуть не рысью к моему двору поспешает. «Промашка,— говорит,— вышла, Наталья. Это — не бегунцы,— говорит,— а герои. Режь сейчас же курей, вари им лапшу, чтобы эти ребята были накормлены досыта». Рассказал мне, как вы оборонялись на Подъемском, сколько потерей понесли, и я сейчас же лапшу замесила, восемь штук курей зарубила и — в котел их. Да разве нам для наших дорогих защитников каких-то несчастных курей жалко? Да мы все отдадим, лишь бы вы немца сюда не допустили! И то сказать, до каких же пор будете отступать? Пора бы уж и упереться... Вы не обижайтесь за черствое слово, но срамотно на вас глядеть...

— Выходит так, что не тот ключик к вашему замку мы подбирали? — спросил Лопахин.

— Выходит, что так,— улыбнулась хозяйка.

Лопахин крякнул от досады, махнул рукой и пошел к колодцу. «Что-то не везет мне на любовь последнее время»,— с грустью вынужден был признать он, шагая по тропинке.

* * *

Командир дивизии полковник Марченко, раненный под Серафимовичем в предплечье и голову, в это утро, после перевязки, выпил стакан крепкого чаю, прилег отдохнуть. От потери крови и бессонных ночей все эти дни после ранения он чувствовал непроходящую слабость и болезненную, бесившую его сонливость. Однако едва лишь овладело им короткое забытье,— в дверь кто-то негромко, но настойчиво постучался. Не ожидая разрешения, в полутемную комнату вошел начштаба майор Головков.

— Ты не спишь, Василий Семенович? — спросил он.

— Нет, а что ты хотел?

Преждевременно полнеющий, бочковатый и низкорослый Головков быстрыми шагами подошел к окну, снял пенсне и, протирая его носовым платком, стоя спиной к Марченко, сказал дрогнувшим голосом:

— Прибыл тридцать восьмой...

— А-а-а...— Марченко резко приподнялся на койке и со скрежетом стиснул зубы: острая боль в височной кости чуть не опрокинула его навзничь.

Он снова прилег, собрал все силы, спросил чужим и далеким голосом:

— Как же?..

И откуда-то издалека дошел до его слуха знакомый голос Головкова:

— Двадцать семь бойцов. Из них пятеро легко раненных. Привел старшина Поприщенко. Большинство — из второго батальона. Материальная часть — ты знаешь.. Знамя полка сохранено. Люди ждут в строю.— И совсем близко, над ухом:— Вася, ты не вставай. Приму я. Не вставай же, чудак, тебе худо! Ты белый, как стенка. Ну, разве можно так?!

Несколько минут Марченко сидел на койке тихо покачиваясь, положив смуглую руку на забинтованную голову. На правом виске его густо высыпали мелкие росинки пота. Последним усилием воли он поднял свое большое костистое тело, твердо сказал:

— Я выйду к ним. Ты знаешь, Федор, под этим знаменем я прослужил до войны восемь лет... Я сам к ним выйду.

— Не упадешь, как вчера?

— Нет,— сухо ответил Марченко.

— Может быть, поддержать тебя под локоть?

— Нет. Пойди, скажи — рапорта не надо. Знамя расчехлить.

С крыльца Марченко сходил, медленно и осторожно ...и ноги на шаткие ступеньки, придерживаясь рукою за ...рила, и когда грузно ступил на землю,— в строю глухо ...огласно щелкнули двадцать семь пар стоптанных сол...ских каблуков.

Как слепой, сначала на носок, а затем уже на всю ...дошву ставя ногу, полковник тихо подходил к строю. ...аршина Поприщенко молча шевелил губами. В не...ой тишине слышно было сдержанно взволнованное ...хание бойцов и шорох песка под ногами полков...ника

Остановившись, он оглядел лица бойцов одним неза...нтованным и сверкавшим, как кусок антрацита, черным ...ом, неожиданно звучным голосом сказал:

— Солдаты! Родина никогда не забудет ни подвигов ...ших, ни страданий. Спасибо за то, что сохранили свя...ню полка — знамя.— Полковник волновался и не ... скрыть волнения: правую щеку его подергивал ...рвный тик. Выдержав короткую паузу, он заговорил ...ова: — С этим знаменем в 1919 году на Южном фрон... сражался полк с деникинскими бандами. Это знамя ви... на Сиваше товарищ Фрунзе. Развернутым это знамя ...огократно видели в бою товарищи Ворошилов и ...уденный...

Полковник поднял над головой сжатую в кулак смуг...ую руку. Голос его, исполненный страстной веры и ...редельного напряжения, вырос и зазвенел, как туго натя...утая струна:

— Пусть враг временно торжествует, но победа будет за ...ми!.. Вы принесете ваше знамя в Германию! И горе будет ...роклятой стране, породившей полчища грабителей, ...сильников, убийц, когда в последних сражениях на ...мецкой земле развернутся алые знамена нашей... ...шей великой Армии-освободительницы!.. Спасибо вам, ...лдаты!

Ветер тихо шевелил потускневшую золотую бахрому на ...линовом полотнище, свисавшем над древком тяжелыми, ...тыми складками. Полковник тихо подошел к знамени, ...реклонил колено. На секунду он качнулся и тяжело опер... пальцами правой руки о влажный песок, но, мгновенно ...одолев слабость, выпрямился, благоговейно склонил ...интованную голову, прижимаясь трепещущими губами ... краю бархатного полотнища, пропахшего пороховой ...арью, пылью дальних дорог и неистребимым запахом ...пной полыни...

Сжав челюсти, Лопахин стоял не шевелясь, и лишь тогда, когда услышал справа от себя глухой, задавленный всхлип,— слегка повернул голову: у старшины, у боевого служаки Поприщенко вздрагивали плечи и тряслись вытянутые по швам руки, а из-под опущенных век торопливо бежали по старчески дряблым щекам мелкие, светлые слезы. Но, покорный воле устава, он не поднимал руки, чтобы вытереть слезы, и только все ниже и ниже клонил свою седую голову...

1943—1944, 1969

РАССКАЗЫ

РОДИНКА

I

На столе гильзы патронные, пахнущие сгоревшим порохом, баранья кость, полевая карта, сводка, уздечка наборная с душком лошадиного пота, краюха хлеба. Все это на столе, а на лавке тесаной, заплесневевшей от сырой стены, спиной плотно к подоконнику прижавшись, Николка Кошевой, командир эскадрона сидит. Карандаш в пальцах его иззябших, недвижимых. Рядом с давнишними плакатами, распластанными на столе,— анкета, наполовину заполненная. Шершавый лист скупо рассказывает: *Кошевой Николай. Командир эскадрона. Землероб. Член РКСМ.*

Против графы «возраст» карандаш медленно выводит: *18 лет.*

Плечист Николка, не по летам выглядит. Старят его глаза в морщинках лучистых и спина, по-стариковски сутулая.

— Мальчишка ведь, пацаненок, куга зеленая,— говорят шутя в эскадроне,— а подыщи другого, кто бы сумел почти без урона ликвидировать две банды и полгода водить эскадрон в бои и схватки не хуже любого старого командира!

Стыдится Николка своих восемнадцати годов. Всегда против ненавистной графы «возраст» карандаш ползет, замедляя бег, а Николкины скулы полыхают досадным румянцем. Казак Николкин отец, а по отцу и он — казак. Помнит, будто в полусне, когда ему было лет пять-шесть, сажал его отец на коня своего служивского.

— За гриву держись, сынок! — кричал он, а мать из дверей стряпки улыбалась Николке, бледнея, и глазами

широко раскрытыми глядела на ножонки, окарачившие острую хребтину коня, и на отца, державшего повод.

Давно это было. Пропал в германскую войну Николкин отец, как в воду канул. Ни слуху о нем, ни духу. Мать померла. От отца Николка унаследовал любовь к лошадям, неизмеримую отвагу и родинку, такую же, как у отца, величиной с голубиное яйцо, на левой ноге, выше щиколотки. До пятнадцати лет мыкался по работникам, а потом шинель длинную выпросил и с проходившим через станицу красным полком ушел на Врангеля. Летом нонешним купался Николка в Дону с военкомом. Тот, заикаясь и кривя контуженую голову, сказал, хлопая Николку по сутулой и черной от загара спине:

— Ты того... того... Ты счастли... счастливый! Ну да, счастливый! Родинка — это, говорят, счастье.

Николка ощерил зубы кипенные, нырнул и, отфыркиваясь, крикнул из воды:

— Брешешь ты, чудак! Я с мальства сирота, в работниках всю жизнь гибнул, а он — счастье!..

И поплыл на желтую косу, обнимавшую Дон.

II

Хата, где квартирует Николка, стоит на яру над Доном. Из окон видно зеленое расплескавшееся Обдонье и вороненую сталь воды. По ночам в бурю волны стучатся под яром, ставни тоскуют, захлебываясь, и чудится Николке, что вода вкрадчиво ползет в щели пола и, прибывая, трясет хату.

Хотел он на другую квартиру перейти, да так и не перешел, остался до осени. Утром морозным на крыльцо вышел Николка, хрупкую тишину ломая перезвоном подкованных сапог. Спустился в вишневый садик и лег на траву, заплаканную, седую от росы. Слышно, как в сарае уговаривает хозяйка корову стоять спокойно, телок мычит требовательно и басовито, а о стенки цибарки вызванивают струи молока.

Во дворе скрипнула калитка, собака забрехала. Голос взводного:

— Командир дома?

Приподнялся на локтях Николка.

— Вот он я! Ну, чего там еще?

— Нарочный приехал из станицы. Говорит, банда пробилась из Сальского округа, совхоз Грушинский заняла...

— Веди его сюда.

Тянет нарочный к конюшне лошадь, пóтом горячим залитую. Посреди двора упала та на передние ноги, потом — на бок, захрипела отрывисто и коротко и издохла, глядя стекленеющими глазами на цепную собаку, захлебывающуюся злобным лаем. Потому издохла, что на пакете, привезенном нарочным, стояло три креста, и с пакетом [illegible]им скакал сорок верст, не передыхая, нарочный.

Прочитал Николка, что председатель просит его выступить с эскадроном на подмогу, и в горницу пошел, шашку цепляя, думал устало: «Учиться бы поехать куда-нибудь, а тут банда... Военком стыдит: мол, слова правильно не пишешь, а еще эскадронный... Я-то при чем, что не успел приходскую школу окончить? Чудак он... А тут банда... Лить кровь, а я уж уморился так жить... Опостылело все...»

Вышел на крыльцо, заряжая на ходу карабин, а мысли, как лошади по утоптанному шляху, мчались: «В город бы уехать... Учиться б...»

Мимо издохшей лошади шел в конюшню, глянул на черную ленту крови, точившуюся из пыльных ноздрей, и отвернулся.

III

По кочковатому летнику, по колеям, ветрами облизанным, мышастый придорожник кучерявится, лебеда и [illegible]шатки густо и махровито лопушатся. По летнику сено когда-то возили к гумнам, застывшим в степи янтарными [illegible]гами, а торный шлях улегся бугром у столбов телеграфных. Бегут столбы в муть осеннюю, белесую, через лога и балки перешагивают, а мимо столбов шляхом глянцевитым ведет атаман банду — полсотни казаков донских и кубанских, властью Советской недовольных. Трое суток, как [illegible]дившийся волк от овечьей отары, уходят дорогами и целиною бездорожно, а за ними внáзирку — отряд Николки Кошевого.

Отъявленный народ в банде, служивский, бывалый, а все же крепко призадумывается атаман: на стременах привстает, степь глазами излапывает, версты считает до голубенькой каемки лесов, протянутой по ту сторону Дона.

Так и уходят по-волчьи, а за ними эскадрон Николки Кошевого следы топчет.

Днями летними, погожими в степях донских, под небом

густым и прозрачным звоном серебряным вызванивает и колышется хлебный колос. Это перед покосом, когда у ядреной пшеницы-гарновки ус чернеет на колосе, будто у семнадцатилетнего парня, а жито дует вверх и норовит человека перерасти.

Бородатые станичники на суглинке, по песчаным буграм, возле левад засевают клинышками жито. Сроду не родится оно, издавна десятина не дает больше тридцати мер, а сеют потому, что из жита самогон гонят, яснее слезы девичьей; потому, что исстари так заведено, деды и прадеды пили, и на гербе казаков Области войска Донского, должно, недаром изображен был пьяный казак, телешом сидящий на бочке винной. Хмелем густым и ярым бродят по осени хутора и станицы, нетрезво качаются красноверхие папахи над плетнями из краснотала.

По тому самому и атаман дня не бывает трезвым, потому-то все кучера и пулеметчики пьяно кособочатся на рессорных тачанках.

Семь лет не видал атаман родных куреней. Плен германский, потом Врангель, в солнце расплавленный Константинополь, лагерь в колючей проволоке, турецкая фелюга со смолистым соленым крылом, камыши кубанские, султанистые, и — банда.

Вот она, атаманова жизнь, коли назад через плечо оглянуться. Зачерствела душа у него, как летом в жарынь черствеют следы раздвоенных бычачьих копыт возле музги[1] степной. Боль, чудна́я и непонятная, точит изнутри, тошнотой наливает мускулы, и чувствует атаман: не забыть ее и не залить лихоманку никаким самогоном. А пьет — дня трезвым не бывает потому, что пахуче и сладко цветет жито в степях донских, опрокинутых под солнцем жадной черноземной утробой, и смуглощекие жалмерки по хуторам и станицам такой самогон вываривают, что с водой родниковой текучей не различить.

IV

Зарею стукнули первые заморозки. Серебряной проседью брызнуло на разлапистые листья кувшинок, а на мельничном колесе поутру заприметил Лукич тонкие разноцветные, как слюда, льдинки.

---

[1] **Музга** — озерко, болотце. *(Здесь и далее примеч. автора.)*

С утра прихворнул Лукич: покалывало в поясницу, от боли глухой ноги сделались чугунными, к земле липли. Шаркал по мельнице, с трудом передвигая несуразное, от костей отстающее тело. Из просорушки шмыгнул мышиный выводок; поглядел кверху глазами слезливо-мокрыми: под потолком с перекладины голубь сыпал скороговоркой дробное и деловитое бормотание. Ноздрями, словно из глины вылепленными, втянул дед вязкий душок водяной плесени и запах перемолотого жита, прислушался, как хорошо, захлебываясь, сосала и облизывала сваи вода, и бороду мочалистую помял задумчиво.

На пчельнике прилег отдохнуть Лукич. Под тулупом спал наискось, распахнувши рот, в углах губ бороду слюнявил слюной, клейкой и теплой. Сумерки густо измазали дедову хатенку, в молочных лоскутьях тумана застряла мельница...

А когда проснулся — из лесу выехало двое конных. Один из них крикнул деду, шагавшему по пчельнику:

— Иди сюда, дед!

Глянул Лукич подозрительно, остановился. Много перевидал он за смутные года таких вот вооруженных людей, бравших не спрошаючи корм и муку, и всех их огулом, не различая, крепко недолюбливал.

— Живей ходи, старый хрен!

Промеж ульев долбленых двинулся Лукич, тихонько губами вылинявшими беззвучно зашамкал, стал поодаль от гостей, наблюдая искоса.

— Мы — красные, дедок... Ты нас не бойся,— миролюбиво просипел атаман.— Мы за бандой гоняемся, от своих отбились... Може, видел, вчера отряд тут проходил?

— Были какие-то.

— Куда они пошли, дедушка?

— А холера их ведает!

— У тебя на мельнице никто из них не остался?

— Нетути,— сказал Лукич коротко и повернулся спиной.

— Погоди, старик.— Атаман с седла соскочил, качнулся на дуговатых ногах пьяно и, крепко дохнув самогоном, сказал: — Мы, дед, коммунистов ликвидируем... Так-то!.. А кто мы есть, не твоего ума дело! — Споткнулся, повод выронил из рук.— Твое дело зерна на семьдесят коней приготовить и молчать... Чтобы в два счета!.. Понял? Где у тебя зерно?

— Нетути,— сказал Лукич, поглядывая в сторону.

— А в энтом амбаре что?

— Хлам, стало быть, разный... Нетути зерна!

— А ну, пойдем!

Ухватил старика за шиворот и коленом потянул к амбару кособокому, в землю вросшему. Двери распахнул. В закромах пшеница и чернобылый ячмень.

— Это тебе что, не зерно, старая сволочуга?

— Зерно, кормилец... Отмол это... Год я его по зернушку собирал, а ты конями потравить норовишь...

— По-твоему, нехай наши кони с голоду дохнут? Ты что же это — за красных стоишь, смерть выпрашиваешь!

— Помилуй, жалкенький мой! За что ты меня? — Шапчонку сдернул Лукич, на колени жмякнулся, руки волосатые атамановы хватал, целуя...

— Говори: красные тебе любы?

— Прости, болезный!.. Извиняй на слове глупом. Ой, прости, не казни ты меня,— голосил старик, ноги атамановы обнимая.

— Божись, что ты не за красных стоишь... Да ты не крестись, а землю ешь!..

Ртом беззубым жует песок из пригоршней дед и слезами его подмачивает.

— Ну, теперь верю. Вставай, старый!

И смеется атаман, глядя, как не встанет на занемевшие ноги старик. А из закромов тянут наехавшие конные ячмень и пшеницу, под ноги лошадям сыплют и двор устилают золотистым зерном.

V

Заря в тумане, в мокрети мглистой.

Миновал Лукич часового и не дорогой, а стежкой лесной, одному ему ведомой, затрусил к хутору через буераки, через лес, насторожившийся в предутренней чуткой дреме.

До ветряка дотюпал, хотел через прогон завернуть в улочку, но перед глазами сразу вспухли неясные очертания всадников.

— Кто идет? — окрик тревожный в тишине.

— Я это...— шамкнул Лукич, а сам весь обмяк, затрясся.

— Кто такой? Что — пропуск? По каким делам шляешься?

— Мельник я... С водянки тутошней. По надобности в хутор иду.

— Каки-таки надобности? А ну, пойдем к командиру! Вперед иди...— крикнул один, наезжая лошадью.

На шее почуял Лукич парные лошадиные губы и, прихрамывая, засеменил в хутор.

На площади у хатенки, черепицей крытой, остановились. Провожатый, кряхтя, слез с седла, лошадь привязал к забору и, громыхая шашкой, взошел на крыльцо.

— За мной иди!..

В окнах огонек маячит. Вошли.

Лукич чихнул от табачного дыма, шапку снял и торопливо перекрестился на передний угол.

— Старика вот задержали. В хутор правился.

Николка со стола приподнял лохматую голову, в пуху и перьях, спросил сонно, но строго:

— Куда шел?

Лукич вперед шагнул и радостью поперхнулся.

— Родимый, свои это, а я думал — опять супостатники энти... Заробел дюже и спросить побоялся... Мельник я. Как шли вы через Митрохин лес и ко мне заезжали, еще молоком я тебя, касатик, поил... Аль запамятовал?..

— Ну, что скажешь?

— А то скажу, любезный мой: вчерась затемно наехали ко мне банды эти самые и зерно начисто стравили коням!.. Смывались надо мною... Старший ихний говорит: присягай нам, в одну душу, и землю заставил есть.

— А сейчас они где?

— Тамотко и есть. Водки с собой навезли, лакают, нечистые, в моей горнице, а я сюда прибег доложить вашей милости, может, хоть вы на них какую управу сыщете.

— Скажи, чтоб седлали!..— С лавки привстал, улыбаясь деду, Николка и шинель потянул за рукав устало.

VI

Рассвело.

Николка, от ночей бессонных зелененький, подскакал к пулеметной двуколке.

— Как пойдем в атаку — лупи по правому флангу. Нам надо крыло ихнее заломить!

И поскакал к развернутому эскадрону.

За кучей чахлых дубков на шляху показались конные — по четыре в ряд, тачанки в середине.

— Намётом! — крикнул Николка и, чуя за спиной нарастающий грохот копыт, вытянул своего жеребца плетью.

У опушки отчаянно застучал пулемет, а те, на шляху, быстро, как на учении, лавой рассыпались.

* * *

Из бурелома на бугор выскочил волк, репьями увешанный. Прислушался, угнув голову вперед. Невдалеке барабанили выстрелы, и тягучей волной колыхался разноголосый вой.

Тук! — падал в ольшанике выстрел, а где-то за бугром, за пахотой эхо скороговоркой бормотало: так!

И опять часто: тук, тук, тук!.. А за бугром отвечало: так! так! так!..

Постоял волк и не спеша, вперевалку, потянул в лог, в заросли пожелтевшей нескошенной куги...

— Держись!.. Тачанок не кидать!.. К перелеску... К перелеску, в кровину мать! — кричал атаман, привстав на стременах.

А возле тачанок уж суетились кучера и пулеметчики, обрубая постромки, и цепь, изломанная беспрестанным огнем пулеметов, уже захлестнулась в неудержимом бегстве.

Повернул атаман коня, а на него, раскрылатившись, скачет один и шашкой помахивает. По биноклю, метавшемуся на груди, по бурке догадался атаман, что не простой красноармеец скачет, и поводья натянул. Издалека увидел молодое безусое лицо, злобой перекошенное, и сузившиеся от ветра глаза. Конь под атаманом заплясал, приседая на задние ноги, а он, дергая из-за пояса зацепившийся за кушак маузер, крикнул:

— Щенок белогубый!.. Махай, махай, я тебе намахаю!..

Атаман выстрелил в нараставшую черную бурку. Лошадь, проскакав саженей восемь, упала, а Николка бурку сбросил, стреляя, перебегал к атаману ближе, ближе...

За перелеском кто-то взвыл по-звериному и осекся. Солнце закрылось тучей, и на степь, на шлях, на лес, ветрами и осенью отерханный, упали плывущие тени.

«Неук, сосун, горяч, через это и смерть его тут налапает»,— обрывками думал атаман и, выждав, когда у того кончилась обойма, поводья пустил и налетел коршуном.

С седла перевесившись, шашкой махнул, на миг ощутил, как обмякло под ударом тело и послушно сползло наземь. Соскочил атаман, бинокль с убитого сдернул, глянул на ноги, дрожавшие мелким ознобом, оглянулся и присел сапоги снять хромовые с мертвяка. Ногой упираясь в хрустящее колено, снял один сапог быстро и ловко. Под другим, видно, чулок закатился: не скидается. Дернул, злобно выругавшись, с чулком сорвал сапог и на ноге,

повыше щиколотки, родинку увидел с голубиное яйцо. Медленно, словно боясь разбудить, вверх лицом повернул холодеющую голову, руки измазал в крови, выползавшей изо рта широким бугристым валом, всмотрелся и только тогда плечи угловатые обнял неловко и сказал глухо:

— Сынок!.. Николушка!.. Родной! Кровинушка моя

Чернея, крикнул:

— Да скажи же хоть слово! Как же это, а?

Упал, заглядывая в меркнущие глаза; веки, кровью залитые, приподымая, тряс безвольное, податливое тело... Но накрепко закусил Николка посинелый кончик языка, будто боялся проговориться о чем-то неизмеримо большом и важном.

К груди прижимая, поцеловал атаман стынущие руки сына и, стиснув зубами запотевшую сталь маузера, выстрелил себе в рот...

* * *

А вечером, когда за перелеском замаячили конные, ветер донес голоса, лошадиное фырканье и звон стремян, с лохматой головы атамана нехотя сорвался коршун-стервятник. Сорвался и растаял в сереньком, по-осеннему бесцветном небе.

1924

ПАСТУХ

I

Из степи, бурой, выжженной солнцем, с солончаков, потрескавшихся и белых, с восхода — шестнадцать суток дул горячий ветер.

Обуглилась земля, травы желтизной покоробились, у колодцев, густо просыпанных вдоль шляха, жилы пересохли; а хлебный колос, еще не выметавшийся из трубки, квело поблек, завял, к земле нагнулся, сгорбатившись по-стариковски.

В полдень по хутору задремавшему — медные всплески колокольного звона.

Жарко. Тишина. Лишь вдоль плетней шаркают ноги —

пылищу гребут, да костыли дедов по кочкам выстукивают — дорогу щупают.

На хуторское собрание звонят. В повестке дня — наем пастуха.

В исполкоме — жужжанье голосов. Дым табачный.

Председатель постучал огрызком карандаша по столу.

— Граждане, старый пастух отказался стеречь табун, говорит, мол, плата несходная. Мы, исполком, предлагаем нанять Фролова Григория. Нашевский он рожак, сирота, комсомолист... Отец его, как известно вам, чеботарь был. Живет он с сестрой, и пропитаниев у них нету. Думаю, граждане, вы войдете в такое положение и наймете его стеречь табун.

Старик Нестеров не стерпел, задом кособоким завихлял, заерзал.

— Нам этого невозможно... Табун здоровый, а он какой есть пастух!.. Стеречь надо в отводе, потому вблизости кормов нету, а его дело непривычное. К осени и половины телят недосчитаемся...

Игнат-мельник, старичишка мудреный, ехидным голоском медовым загнусавил:

— Пастуха мы и без сполкома найдем, дело нас одних касаемо... А человека надо выбрать старого, надежного и до скотины обходительного...

— Правильно, дедушка...

— Старика наймете, граждане, так у него скорей пропадут теляты... Времена ноне не те, воровство везде огромадное...— Это председатель сказал настоисто так и выжидательно; а тут сзади поддерживали:

— Старый негож... Вы возьмите во внимание, что это не коровы, а теляты-летошники. Тут собачьи ноги нужны. Зыкнет табун — поди собери, дедок побежит и потроха растеряет...

Смех перекатами, а дед Игнат свое сзади вполголоса:

— Коммунисты тут ни при чем... С молитвой надо, а не абы как...— И лысину погладил вредный старичишка.

Но тут уж председатель со всей строгостью:

— Прошу, гражданин, без разных выходок... За такие... подобные... с собрания буду удалять...

Зарею, когда из труб клочьями мазаной ваты дым ползет и стелется низко на площади, собрал Григорий табун в полтораста голов и погнал через хутор на бугор седой и неприветливый.

Степь испятнали бурые прыщи сурчиных нор; свистят сурки протяжно и настороженно; из логов с травою приземистой стрепета взлетают, посеребренным опереньем сверкая.

Табун спокоен. По земляной морщинистой коре дробным дождем выцокивают раздвоенные копыта телят.

Рядом с Григорием шагает Дунятка — сестра-подпасок. Смеются у нее щеки загоревшие, веснушчатые, глаза, губы, и смеется, потому что на красную горку пошла ей всего-навсего семнадцатая весна, а в семнадцать лет все смешным таким кажется: и насупленное лицо брата, и телята лопоухие, на ходу пережевывающие бурьянок, и даже смешно, что второй день нет у них ни куска хлеба.

А Григорий не смеется. Под картузом обветшавшим у Григория лоб крутой, с морщинами поперечными, и глаза усталые, будто прожил он куда больше девятнадцати лет.

Спокойно идет табун обочь дороги, рассыпавшись пятнистой валкой.

Григорий свистнул на отставших телят и к Дунятке повернулся:

— Заработаем, Дунь, хлеба к осени, а там в город поедем. Я на рабфак поступлю и тебя куда-нибудь пристрою... Может, тоже на какое ученье... В городе, Дунятка, книжек много и хлеб едят чистый, без травы, не так, как у нас.

— А денег откель возьмем... ехать-то?

— Чудачка ты... Хлебом заплатят нам двадцать пудов, вот и деньги... Продадим по целковому за пуд, потом пшено продадим, кизяки.

Посреди дороги остановился Григорий, кнутовищем в пыли чертит, высчитывает.

— Гриша, чего мы есть будем? Хлеба ничуть нету...

— У меня в сумке кусок пышки черствой остался.

— Ныне съедим, а завтра как же?

— Завтра приедут с хутора и привезут муки... Председатель обещался...

Жарит полдневное солнце. У Григория рубаха мешочная взмокла от пота, к лопаткам прилипла.

Идет табун беспокойно, жалят телят овода и мухи, в воздухе нагретом виснет рев скота и зуденье оводов.

К вечеру, перед закатом солнца, подогнали табун к базу. Неподалеку пруд и шалаш с соломой, от дождей перепревшей.

Григорий обогнал табун рысью. Тяжело подбежал к базу, воротца хворостяные отворил.

Телят пересчитывал, пропуская по одному в черный квадрат ворот.

II

На кургане, торчавшем за прудом ядреной горошиной, слепили новый шалаш. Стенки пометом обмазали, верх бурьяном Григорий покрыл.

На другой день председатель приехал верхом. Привез полпуда муки кукурузной и сумку пшена.

Присел, закуривая, в холодке.

— Парень ты хороший, Григорий. Вот достережешь табун, а осенью поедем с тобой в округ. Может, оттель какими способами поедешь учиться... Знакомый есть там у меня из наробраза, пособит..

Пунцовел Григорий от радости и, провожая председателя, стремя ему держал и руку сжимал крепко. Долго глядел вслед курчавым завиткам пыли, стелившимся из-под лошадиных копыт.

Степь, иссохшая, с чахоточным румянцем зорь, в полдень задыхалась от зноя. Лежа на спине, смотрел Григорий на бугор, задернутый тающей просинью, и казалось ему, что степь живая и трудно ей под тяжестью неизмеримой поселков, станиц, городов. Казалось, что в прерывистом дыханье колышется почва, а где-то внизу, под толстыми пластами пород, бьется и мечется иная, неведомая жизнь.

И среди белого дня становилось жутко.

Взглядом мерил неизмеренные ряды бугров, смотрел на струистое марево, на табун, испятнавший коричневую траву, думал, что от мира далеко отрезан, будто ломоть хлеба.

Вечером под воскресенье загнал Григорий табун на баз. Дунятка у шалаша огонь развела, кашу варила из пшена и пахучего воробьиного щавеля.

Григорий к огню подсел, сказал, мешая кнутовищем кизяки духовитые:

— Гришакина телка захворала. Надо бы хозяину передать...

— Может, мне на хутор пойтить?..— спросила Дунятка, стараясь казаться равнодушной.

— Не надо. Табун не устерегу один...— Улыбнулся: По людям заскучала, а?

— Соскучилась, Гриша, родненький... Месяц живем в степи и только раз человека видели. Тут если пожить лето, так и гутарить разучишься...

— Терпи, Дунь... Осенью в город уедем. Будем учиться с тобой, а после, как выучимся, вернемся сюда. По-ученому землю зачнем обрабатывать, а то ить темень у нас тут и народ слепит... Неграмотные все... книжек нету...

— Нас с тобой не примут в ученье... Мы тоже темные...

— Нет, примут. Я зимою, как ходил в станицу, у секретаря ячейки читал книжку Ленина. Там сказано, что власть — пролетариям, и про ученье прописано: что, мол, учиться должны, которые из бедных.

Гришка на колени привстал, на щеках его заплясали медные отблески света.

— Нам учиться надо, чтобы уметь управлять нашенской республикой. В городах — там власть рабочие держут, а у нас председатель станицы — кулак и по хуторам председатели — богатеи...

— Я бы, Гриша, полы мыла, стирала, зарабатывала, а ты учился...

Кизяки тлеют, дымясь и вспыхивая. Степь молчит, полусонная.

III

С милиционером, ехавшим в округ, переказывал Григорию секретарь ячейки Политов в станицу прийти.

До света вышел Григорий и к обеду с бугра увидел колокольню и домишки, покрытые соломой и жестью.

Волоча намозоленные ноги, добрел до площади.

Клуб в поповском доме. По новым дорожкам, пахнущим свежей соломой, вошел в просторную комнату.

От ставней закрытых — полутемно. У окна Политов рубанком орудует — раму мастерит.

— Слыхал, брат, слыхал...— Улыбнулся, подавая вспотевшую руку.— Ну, ничего не попишешь! Я справлялся в округе: там на маслобойный завод ребята требовались, оказывается, уже набрали на двенадцать человек больше, чем надо... Постерегешь табун, а осенью отправим тебя в ученье.

— Тут хоть бы эта работа была... Кулаки хуторные страсть как не хотели меня в пастухи... Мол, комсомолец — безбожник, без молитвы будет стеречь...— смеется устало Григорий.

Политов рукавом смел стружки и сел на подоконник, осматривая Григория из-под бровей, нахмуренных и мокрых от пота.

— Ты, Гриша, худющий стал... Как у тебя насчет жратвы?

— Кормлюсь.

Помолчали.

— Ну, пойдем ко мне. Литературы свежей тебе дам: из округа получили газеты и книжки.

Шли по улице, уткнувшейся в кладбище. В серых ворохах золы купались куры, где-то скрипел колодезный журавль да тягучая тишина в ушах звенела.

— Ты оставайся нынче. Собрание будет. Ребята уже заикались по тебе: «Где Гришка, да как, да чего?» Повидаешь ребят... Я нынче доклад о международном положении делаю... Переночуешь у меня, а завтра пойдешь. Ладно?

— Мне ночевать нельзя. Дунятка одна табун не устерегет. На собрании побуду, а как кончится — ночью пойду.

У Политова в сенцах прохладно.

Сладко пахнет сушеными яблоками, а от хомутов и шлей, развешанных по стенам,— лошадиным потом.

В углу — кадка с квасом, и рядом кривобокая кровать.

— Вот мой угол: в хате жарко...

Нагнулся Политов, из-под холста бережно вытянул давнишние номера «Правды» и две книжки.

Сунул Григорию в руки и излатанный мешок растопырил:

— Держи...

За концы держит мешок Григорий, а сам строки газетные глазами нижет.

Политов пригоршнями сыпал муку, встряхнул до половины набитый мешок и в горницу мотнулся.

Принес два куска сала свиного, завернул в ржавый капустный лист, в мешок положил, буркнул:

— Пойдешь домой — захвати вот это!

— Не возьму я...— вспыхнул Григорий.

— Как же не возьмешь?

— Так и не возьму...

— Что же ты, гад! — белея, крикнул Политов и глаза в Гришку вонзил.— А еще товарищ! С голоду будешь дохнуть и слова не скажешь. Бери, а то и дружба врозь!

— Не хочу я брать у тебя последнее...

— Последняя у попа попадья,— уже мягче сказал Политов, глядя, как Григорий сердито завязывает мешок.

Собрание окончилось перед рассветом.

Степью шел Гришка. Плечи оттягивал мешок с мукой, горели до крови растертые ноги, но бодро и весело шагал он навстречу полыхавшей заре.

IV

Зарею вышла из шалаша Дунятка помету сухого собрать на топку. Григорий рысью от база бежит. Догадалась, что случилось что-то недоброе.

— Аль поделалось что?

— Телушка Гришакина сдохла... Еще три скотинки захворали.— Дух перевел, сказал: — Иди, Дунь, в хутор. Скажи Гришаке и остальным, чтоб пришли нонче... скотина, мол, захворала.

Наскорях покрылась Дунятка. Зашагала Дунятка через бугор от солнышка, ползущего из-за кургана.

Проводил ее Григорий и медленно пошел к базу.

Табун ушел в падинку, а около плетней лежали три телки. К полудню подохли все.

Мечется Григорий от табуна к базу: захворало еще две штуки...

Одна возле пруда на сыром иле упала; голову повернула к Гришке, мычит протяжно; глаза выпуклые слезой стеклеют, а у Гришки по щекам, от загара бронзовым, свои соленые слезы ползут.

На закате солнца пришла с хозяевами Дунятка...

Старый дед Артемыч сказал, трогая костылем недвижную телку:

— Шуршелка — болесть эта... Теперя начнет весь табун валять.

Шкуры ободрали, а туши закопали невдалеке от пруда. Земли сухой и черной насыпали свежий бугор.

А на другой день снова по дороге в хутор вышагивала Дунятка. Заболело сразу семь телят...

Дни уплывали черной чередою. Баз опустел. Пусто стало и на душе у Гришки. От полутораста голов осталось пятьдесят. Хозяева приезжали на арбах, обдирали издохших телят, ямы неглубокие рыли в падинке, землей кровянистые туши прикидывали и уезжали. А табун нехотя уходил на баз; телята ревели, чуя кровь и смерть, невидимо ползающую промеж них.

Зорями, когда пожелтевший Гришка отворял скрипучие ворота база, выходил табун на пастьбу и неизменно направлялся через присохшие холмы могил.

Запах разлагающегося мяса, пыль, вздернутая беснующимся скотом, рев, протяжный и беспомощный, и солнце, такое же горячее, в медлительном походе идущее через степь.

Приезжали охотники с хутора. Стреляли вокруг плотней база: хворь лютую пугали от база. А телята все дохли, и с каждым днем редел и редел табун.

Начал замечать Гришка, что разрыты кое-какие могилы; кости обглоданные находил неподалеку; а табун, беспокойный по ночам, стал пугливый.

В тишине, ночами, вдруг разом распухал дикий рев, и табун, ломая плетни, метался по базу.

Телята повалили плетни, кучками переходили к шалашу. Спали возле огня, тяжело вздыхая и пережевывая траву.

Гришка не догадывался до тех пор, пока ночью не проснулся от собачьего бреха. На ходу надевая полушубок, выскочил из шалаша. Телята затерли его влажными от росы спинами.

Постоял у входа, собакам свистнул и в ответ услышал из Гадючьей балки разноголосый и надрывистый волчий вой. Из тернов, перепоясавших гору, басом откликнулся еще один...

Вошел в шалаш, жирник засветил.

— Дуня, слышишь?

Переливчатые голоса потухли вместе со звездами на заре.

V

Поутру приехали Игнат-мельник и Михей Нестеров. Григорий в шалаше чирики латал. Вошли старики. Дед Игнат шапку снял, щурясь от косых солнечных лучей, ползавших по земляному полу шалаша, руку поднял — перекреститься хотел на маленький портрет Ленина, висевший в углу. Разглядел и на полдороге торопливо сунул руку за спину; сплюнул злобно.

— Так-с... Иконы божьей, значит, не имеешь?..

— Нет...

— А это кто же на святом месте находится?

— Ленин.

— То-то и беда наша... Бога нетути, и хворь тут как тут... Через эти самые дела и телятки-то передохли... Охо-хо, вседержитель наш милостивый...

— Телята, дедушка, оттого дохли, что ветеринара не позвали.

— Жили раньше и без ветинара вашего... Ученый ты больно уж... Лоб бы свой нечистый крестил почаще, и ветинар не нужен был бы.

Михей Нестеров, ворочая глазами, выкрикнул:

— Сыми с переднего угла нехристя-то!.. Через тебя, поганца, богохульщика, стадо передохло.

Гришка побледнел слегка.

— Дома бы распоряжались... Рот-то нечего драть... Это власть пролетариев...

Накочетился Михей Нестеров, багровея, орал:

— Миру служишь — по-нашему и делай... Знаем вас, таких-то... Гляди, а то скоро управимся.

Вышли, нахлобучив шапки и не прощаясь.

Испуганная, глядела на брата Дунятка.

А через день пришел из хутора кузнец Тихон — тешку свою проведать.

Сидел возле шалаша на корточках, цигарку курил, говорил, улыбаясь горько и криво:

— Житье наше поганое... Старого председателя сменили, управляет теперича Михея Нестерова зять. Ну, вот и крутят на свой норов... Вчерась землю делили: как только кому из бедных достается добрая полоса, так начинают передел делать. Опять на хребтину нам садятся богатеи... Позабрали они, Гришуха, всю добрую землицу. А нам суглинок остался... Вот она, песня-то какая...

До полуночи сидел у огня Григорий и на шафранных шелковистых листьях кукурузы углем выводил заскорузлые строки. Писал про неправильный раздел земли, писал, что вместо ветеринара боролись стрельбою с болезнью скота. И, отдавая пачку сухих исписанных кукурузных листьев Тихону-кузнецу, говорил:

— Доведется в округ сходить, то спросишь, где газету «Красную правду» печатают. Отдашь им вот это... Я разбористо писал, только не мни, а то уголь сотрется...

Пальцами обожженными, от угля черными, бережно взял шуршащие листки кузнец и за пазуху возле сердца положил. Прощаясь, сказал с той же улыбкой:

— Пешком пойду в округ, может, там найду Советскую власть... Полтораста верст я за трое суток покрою. Через неделю, как вернуся, так гукну тебе...

VI

Осень шла в дождях, в мокрости пасмурной.

Дунятка с утра ушла в хутор за харчами.

Телята паслись на угорье. Григорий, накинув зипун, ходил за ними следом, головку поблеклую придорожного татарника мял в ладонях задумчиво. Перед сумерками, короткими по-осеннему, с бугра съехали двое конных.

Чавкая копытами лошадей, подскакали к Григорию. В одном опознал Григорий председателя — зятя Михея Нестерова, другой — сын Игната-мельника.

Лошади в мыле потном.

— Здорово, пастух!..

— Здравствуйте!..

— Мы к тебе приехали...

Перевесившись на седле, председатель долго расстегивал шинель пальцами иззябшими; достал желтый газетный лист. Развернул на ветру.

— Ты писал это?

Заплясали у Григория его слова, с листьев кукурузных снятые, про передел земли, про падеж скота.

— Ну, пойдем с нами!

— Куда?

— А вот сюда, в балку... Поговорить надо...— Дергаются у председателя посинелые губы, глаза шныряют тяжело и нудно.

Улыбнулся Григорий:

— Говори тут.

— Можно и тут... коли хочешь...

Из кармана наган выхватил... прохрипел, задергивая мордующуюся лошадь:

— Будешь в газетах писать, гадюка?

— За что ты?..

— За то, что через тебя под суд иду! Будешь кляузничать?.. Говори, коммунячий ублюдок!..

Не дождавшись ответа, выстрелил Григорию в рот, замкнутый молчанием.

Под ноги вздыбившейся лошади повалился Григорий, охнул, пальцами скрюченными выдернул клок порыжелой и влажной травы и затих.

С седла соскочил сын Игната-мельника, в пригоршни загреб ком черной земли и в рот, запенившийся пузырчатой кровью, напихал...

* * *

Широка степь и никем не измерена. Много по ней дорог и проследков. Темней темного ночь осенняя, а дождь следы лошадиных копыт начисто смоет...

VII

Изморось. Сумерки. Дорога в степь.

Тому не тяжело идти, у кого за спиной сумчонка с краюхой ячменного хлеба да костыль в руках.

Идет Дунятка обочь дороги. Ветер полы рваной кофты треплет и в спину ее толкает порывами.

Степь кругом залегла неприветная, сумрачная. Смеркается.

Курган завиднелся невдалеке от дороги, а на нем шалаш с космами разметанного бурьяна.

Подошла походкой кривою, как будто пьяною, и на могилку осевшую легла вниз лицом.

Ночь...

Идет Дунятка по шляху наезженному, что лег прямиком к станции железнодорожной.

Легко ей идти, потому что в сумке, за спиною, краюха хлеба ячменного, затрепанная книжка со страницами, пропахшими горькой степной пылью, да Григория-брата рубаха холщовая.

Когда горечью набухнет сердце, когда слезы выжигают глаза, тогда где-нибудь, далеко от чужих глаз, достает она из сумки рубаху холщовую нестираную... Лицом припадает к ней и чувствует запах родного пота... И долго лежит неподвижно...

Версты уходят назад. Из степных буераков вой волчий, на житье негодующий, а Дунятка обочь дороги шагает, в город идет, где Советская власть, где учатся пролетарии для того, чтобы в будущем уметь управлять республикой.

Так сказано в книжке Ленина.

ПРОДКОМИССАР

I

В округ приезжал областной продовольственный комиссар.

Говорил торопясь и дергая выбритыми досиня губами:

— По статистическим данным, с вверенного вам округа необходимо взять сто пятьдесят тысяч пудов хлеба. Вас, товарищ Бодягин, я назначил сюда на должность окружного продкомиссара как энергичного, предприимчивого работника. Надеюсь. Месяц сроку... Трибунал приедет на днях. Хлеб нужен армии и центру во как...— Ладонью чиркнул по острому щетинистому кадыку и зубы стиснул жестко.— Злостно укрывающих — расстреливать!..

Головой, голо остриженной, кивнул и уехал.

II

Телеграфные столбы, воробьиным скоком обежавшие весь округ, сказали: разверстка.

По хуторам и станицам казаки-посевщики богатыми очкурами покрепче перетянули животы, решили разом и не задумавшись:

— Дарма хлеб отдавать?.. Не дадим...

На базах, на улицах, кому где приглянулось, ночушками повыбухали ямищи, пшеницу ядреную позарыли десятками, сотнями пудов. Всякий знает про соседа, где и как попрятал хлебишко.

Молчат...

Бодягин с продотрядом каруселит по округу. Снег визжит под колесами тачанки, бегут назад заиндевевшие плетни. Сумерки вечерние. Станица — как и все станицы, но Бодягину она родная. Шесть лет ее не состарили.

Так было: июль знойный, на межах желтопенная ромашка, покос хлебов, Игнашке Бодягину — четырнадцать лет. Косил с отцом и работником. Ударил отец работника за то, что сломал зубец у вил; подошел Игнат к отцу вплотную, сказал, не разжимая зубов:

— Сволочь ты, батя...

— Я?!

— Ты...

Ударом кулака сшиб с ног Игната, испорол до крови чересседельней. Вечером, когда вернулись с поля домой, вырезал отец в саду вишневый костыль, обстрогал,— бороду поглаживая, сунул его Игнату в руки:

— Поди, сынок, походи по́ миру, а ума-разума наберешься — назад вертайся,— и ухмыльнулся.

Так было, а теперь шуршит тачанка мимо заиндевевших плетней, бегут назад соломенные крыши, ставни размалеванные. Глянул Бодягин на раины в отцовском палисаднике, на жестяного петуха, раскрылатившегося на крыше в безголосном крике; почувствовал, как что-то уперлось в горле и перехватило дыхание. Вечером спросил у хозяина квартиры:

— Старик Бодягин живой?

Хозяин, чинивший упряжку, обсмоленными пальцами ссучил в дратву щетинку, сощурился:

— Все богатеет... Новую бабу завел, старуха померла давненько, сын пропал где-то, а он, старый хрен, все по солдаткам бегает...

И, меняя тон на серьезный, добавил:

— Хозяин ничего, обстоятельный... Вам разве из знакомцев?

Утром, за завтраком, председатель выездной сессии Ревтрибунала сказал:

— Вчера двое кулаков на сходе агитировали казаков хлеб не сдавать... При обыске оказали сопротивление, убили двух красноармейцев. Показательный суд устроим и шлепнем...

III

Председатель трибунала, бывший бондарь, с приземистой сцены народного дома бросил, будто новый звонкий обруч на кадушку набил:

— Расстрелять!..

Двух повели к выходу... В последнем Бодягин отца признал. Рыжая борода только по краям заковылилась сединой. Взглядом проводил морщинистую, загорелую шею, вышел следом.

У крыльца начальнику караула сказал:

— Позови ко мне вот того, старика.

Шагал старый, понуро сутулился, узнал сына, и горячее блеснуло в глазах, потом потухло. Под взъерошенное жито бровей спрятал глаза.

— С красными, сынок?
— С ними, батя.
— Тэ-э-эк...— В сторону отвел взгляд.
Помолчали.
— Шесть лет не видались, батя, и говорить нечего!
Старик зло и упрямо наморщил переносицу.
— Почти не к чему... Стёжки нам выпали разные. Меня за мое ж добро расстрелять надо, за то, что в свой амбар не пущаю,— я есть контра, а кто по чужим закромам шарит, энтот при законе? Грабьте, ваша сила.
У продкомиссара Бодягина кожа на острых изломах скул посерела.
— Бедняков мы не грабим, а у тех, кто чужим потом наживался, метем под гребло. Ты первый батраков и жизнь сосал!
— Я сам работал день и ночь. По белу свету не шатался, как ты!
— Кто работал — сочувствует власти рабочих и крестьян, а ты с дрекольем встретил... К плетню не пустил... За это и на распыл пойдешь!..
У старика наружу рвалось хриплое дыхание. Сказал голосом осипшим, словно оборвал тонкую нить, до этого вязавшую их обоих:
— Ты мне не сын, я тебе не отец. За такие слова на отца будь трижды проклят, анафема...— сплюнул и молча зашагал. Круто повернулся, крикнул с задором нескрытым: Нно-о, Игнашка!.. Нешто не доведется свидеться, так твою мать! Идут с Хопра казаки вашевскую власть резать. Не умру, сохранит матерь божия,— своими руками из тебя душу выну.

* * *

Вечером за станцией мимо ветряка, к глинищу, куда сваливается дохлая скотина, свернули кучкой. Комендант Тесленко выбил трубку, сказал коротко:
— Становитесь до яру ближче...
Бодягин глянул на сани, ломтями резавшие лиловый снег сбочь дороги, сказал придушенно:
— Не серчай, батя...
Подождал ответа.
Тишина.
— Раз... два... три!..

Лошадь за ветряком рванулась назад, сани испуганно запрыгали по ухабистой дороге, и долго еще кивала крашеная дуга, маяча поверх голубой пелены осевшего снега.

IV

Телеграфные столбы, воробьиным скоком обежавшие весь округ, сказали: на Хопре восстание. Исполкомы сожжены. Сотрудники частью перерезаны, частью разбежались.

Продотряд ушел в округ. В станице на сутки остались Бодягин и комендант трибунала Тесленко. Спешили отправить на ссыпной пункт последние подводы с хлебом. С утра пришагала буря. Понесло, закурило, белой мутью запорошило станицу. Перед вечером на площадь прискакало человек двадцать конных. Над станицей, застрявшей в сугробах, полыхнул набат. Лошадиное ржание, вой собак, надтреснутый, хриплый крик колоколов...

Восстание.

На горе через впалую лысину кургана, понатужась, перевалили двое конных. Под горою, по мосту, лошадиный топот. Куча всадников. Передний в офицерской папахе плетью вытянул длинноногую породистую кобылу.

— Не уйдут коммунисты!..

За курганом Тесленко, вислоусый украинец, поводьями тронул маштака-киргиза.

— Черта с два догонят!

Лошадей прижеливали. Знали, что разлапистый бугор верст на тридцать.

Позади погоня лавой рассыпалась. Ночь на западе, за краем земли, сутуло сгорбатилась. Верстах в трех от станицы, в балке, в лохматом сугробе, Бодягин заприметил человека. Подскакал, крикнул хрипло:

— Какого черта сидишь тут?

Мальчонка малюсенький, синим воском налитый, качнулся. Бодягин плетью взмахнул, лошадь замордовалась, танцуя подошла вплотную.

— Замерзнуть хочешь, чертячье отродье? Как ты сюда попал?

Соскочил с седла, нагнулся, услышал шелест невнятный:

— Я, дяденька, замерзаю... Я — сирота... по̀ миру хожу. — Зябко натянул на голову полу рваной бабьей кофты и притих.

Бодягин молча расстегнул полушубок, в полу завернул щуплое тельце и долго садился на взноровившуюся лошадь.

Скакали. Мальчишка под полушубком прижух, оттаял, цепко держался за ременный пояс. Лошади заметно сдавали ходу, хрипели, отрывисто ржали, чуя нарастающий топот сзади.

Тесленко сквозь режущий ветер кричал, хватаясь за гриву бодягинского коня:

— Брось пацаненка! Чуешь, бисов сын? Брось, они можуть споймать нас!..— богом матюкался, плетью стегал посиневшие руки Бодягина.— Догонят — зарубают!. Щоб ты ясным огнем сгорив со своим хлопцем!..

Лошади поравнялись пенистыми мордами. Тесленко до крови иссек Бодягину руки. Окостенелыми пальцами тискал тот вялое тельце, повод уздечки заматывая на луку, к нагану тянулся.

— Не брошу мальчонку, замерзнет!.. Отвяжись, старый падла, убью!

Голосом заплакал сивоусый украинец, поводья натянул:

— Не можно уйти! Шабаш!

Пальцы — чужие, непослушные; зубами скрипел Бодягин, ремнем привязывая мальчишку поперек седла. Попробовал, крепко ли, и улыбнулся:

— За гриву держись, головастик!

Ударил ножнами шашки по потному крупу коня. Тесленко под вислые усы сунул пальцы, свистнул пронзительным разбойничьим посвистом. Долго провожали взглядами лошадей, взметнувшихся облегченным галопом. Летели рядышком. Сухим, отчетливым залпом встретили их нырнувшие из-под пригорка папахи...

* * *

Лежали трое суток. Тесленко, в немытых бязевых подштанниках, небу показывал пузырчатый ком мерзлой крови, торчащей изо рта, разрубленного до ушей. У Бодягина по голой груди безбоязненно прыгали чубатые степные птички; из распоротого живота и порожних глазных впадин, не торопясь, поклевывали чероусый ячмень.

1925

— Образованная ты женщина, очки носишь, а того не поймешь в понятие... Куда я с ним денусь?..

Отряд наш стоит верстов сорок отсель, шел я пеши и его на руках нес. Видишь, кожа на ногах порепалась? Как ты есть заведывающая этого детского дома, то прими дитя! Местов, говоришь, нету? А мне куда его? В достаточности я с ним страданьев перенес. Горюшка хлебнул выше горла... Ну да, мой это сынишка, мое семя... Ему другой год, а матери не имеет. С маманькой его вовсе особенная история была. Что ж, я могу и рассказать. Позапрошлый год находился я в сотне особого назначения. В ту пору гоняли мы по верховым станицам Дона за бандой Игнатьева. Я в аккурат пулеметчиком был. Выступаем как-то из хутора, степь голая кругом, как плешина, и жарынь неподобная. Бугор перевалили, под гору в лесок зачали спущаться, я на тачанке передом. Глядь, а на пригорке в близости навроде как баба лежит. Тронул я коней, к ней правлюсь. Обыкновенно — баба, а лежит кверху мордой, и подол юбки выше головы задратый. Слез, вижу — живая, двошит... Воткнул ей в зубы шашку, разжал, воды из фляги плеснул, баба ожила навовсе. Тут подскакали казаки из сотни, допрашиваются у нее:

— Что ты собою за человек и почему в бессовестной видимости лежишь вблизу шляха?

Она как заголосит по-мертвому,— насилу дознались, что банда из-под Астрахани взяла ее в подводы, а тут сначильничали и, как водится, кинули посередь путя... Говорю я станишникам:

— Братцы, дозвольте мне ее на тачанку взять, как она пострадавши от банды.

Тут зашумела вся сотня:

— Бери ее, Шибалок, на тачанку! Бабы, они живущи́, стервы, нехай трошки подправится, а там видно будет!

Что ж ты думаешь? Хоть и не обожаю я нюхать бабьи подолы, а жалость к ней поимел и взял ее, на свой грех. Пожила, освоилась — то лохуны казакам выстирает, глядишь, латку на шаровары кому посодит, по бабьей части за сотней надглядала. А нам уж как будто и срамотно бабу при сотне содержать. Сотенный матюкается:

— За хвост ее, курву, да под ветер спиной!

А я жалкую по ней до высшего и до большего степени. Начал ей говорить:

— Метись отсель, Дарья, подобру-поздорову, а то

присватается к тебе дурная пуля, после плакаться бу дешь...

Она в слезы, в крик ударилась:

— Расстрельте меня на месте, любезные казачки́, а не пойду от вас!

Вскорости убили у меня кучера, она и задает мне таку заковырину:

— Возьми меня в кучера? Я, дескать, с коньми могу не хуже иного-прочего обходиться...

Даю ей вожжи.

— Ежели,— говорю,— в бою не вспопашишься в два счета тачанку задом обернуть — ложись посередь шляха и помирай, все одно запорю!

Всем служивым казакам на диво кучеровала. Даром что бабьего пола, а по конскому делу разбиралась хлеще иного казака. Бывало, на позиции так тачанку крутнет, ажник кони в дыбки становятся. Дальше — больше... Начали мы с ней путаться. Ну, как полагается, забрюхатила она. Мало ли от нашего брата бабья страдает. Этак месяцев восемь гоняли мы за бандой. Казаки в сотне ржут:

— Мотри, Шибалок, кучер твой с харча казенного какой гладкий стал, на козлах не умещается!

И вот выпала нам такая линия — патроны прикончились, а подвозу нет. Банда расположилась в одном конце хутора, мы в другом. В очень секретной тайне содержим от жителей, что патрон не имеем. Тут-то и получилась измена. Посередь ночи — я в заставе был — слышу: стоном гудет земля. Лавой идут по-за хутором и оцепить нас имеют в виду. Прут в наступ, явственно без всяких опасениев, даже позволяют себе шуметь нам:

— Сдавайтесь, красные казачки́, беспатронники! А то, братушки, нагоним вас на склизкое!..

Ну, и нагнали... Так накрутили нам хвосты, что довелось-таки мерять по бугру, чья коняка добрее. Поутру собрались верстах в пятнадцати от хутора, в лесу, и добрых половины своих недосчитались. Какие ушли, а остатних порубали. Ущемила меня тоска — житья нету, а тут Дарью хворь обротала. Вёрхи поскакалась ночью и вся собой сменилась, почернела. Гляжу, покрутилась с нами и пошла от становища в лес, в гущину. Я такое дело смекнул и за ней по следу. Забилась она в яры, в бурелом, вымоину нашла и, как волчиха, листьев-падалицы нагребла и легла спервоначалу вниз мордой, а после на спину обернулась. Квохчет, счинается родить, я за кустом не ворохнусь сижу, на нее скрозь ветки поглядываю... И вот она кряхтит-кряхтит

тит, потом зачинает покрикивать, слезы у ней по щекам, а сама вся зеленью подернулась, глаза выпучила, тужится, ровник судорога ее выгинает. Не казачье это дело, а гляжу и вижу — не разродится баба, помрет... Выскочил я из-за кута, подбег к ней, смекаю, что надо мне ей помочь оказать. Нагнулся, рукава засучил, и такая меня оторопь взяла, пóтом весь взмок. Людей доводилось убивать — не робел, а тут поди вот! Вожусь около нее, она перестала выть и такую мне запаливает хреновину.

- Знаешь, Яша, кто банде сообчил, что у нас патронов нет? — и глядит на меня сурьезно так.

- Кто? — спрашиваю у ней.

- Я.

- Что ты, дурная, собачьей бесилы обтрескалась? Не тот час, чтоб гутарить, молчи лежи!..

Она опять свое:

- Смертынька в головах у меня стоит, повинюсь перед тобой я, Яша... Не знаешь ты, какую змею под рубахой грел...

- Ну, винись,— говорю,— ляд с тобой!

Тут она и выложила. Рассказывает, а сама головою об земь бьется.

— Я,— говорит,— в банде своей охотой была и тягалась с ихним главачом Игнатьевым... Год назад послали меня в вашу сотню, чтоб всякие сведения я им сообчала, а для видимости я и представилась снасилованной. Помираю, а то в дальнеющем я бы всю сотню перевела...

Сердце у меня тут прикипело в грудях, и не мог я стерпеть — вдарил ее сапогом и рот ей раскровянил. Но тут у ней схватки заново начались, и вижу я — промеж ног у нее образовалось дите... Мокрое лежит и верещит, как зайчонок на зубах у лисы... А Дарья уж и плачет и смеется, в ногах у меня полозит и все колени мои норовит обнять... Повернулся я и пошел от нее до сотни. Прихожу и говорю казакам — так и так...

Поднялась промеж них киповень. Спервоначалу хотели обоих порубать, а после и говорят мне:

— Ты примолвил ее, Шибалок, ты должен ее и прикончить, со всем с новорожденным отродьем, а нет — тебя на капусту посекем...

Стал я на колени и говорю:

— Братцы! Убью я ее не из страху, а по совести, за тех братов-товарищев, какие головы поклали через ее изменшество, но поимейте вы сердце к дитю. В нем мы с ней половинные участники, мое это семя, и пущай живым оно

остается. У вас жены и дети есть, а у меня, окромя его, никого не оказывается...

Просил сотню и землю целовал. Тут они поимели ко мне жалость и сказали:

— Ну, добре! Нехай твое семя растет и нехай из него выходит такой же лихой пулеметчик, как и ты, Шибалок. А бабу прикончь!

Кинулся я к Дарье. Она сидит, оправилась и дитя на руках держит.

Я ей и говорю:

— Не дам я тебе дитя к грудям припущать. Коли родился он в горькую годину — пущай не знает материного молока, а тебя, Дарья, должен я убить за то, что ты есть контра нашей Советской власти. Становись к яру спиной!

— Яша, а дите? Твоя плоть. Убьешь меня, и оно помрет без молока. Дозволь мне его выкормить, тогда убивай, я согласна...

— Нет,— говорю я ей,— сотня мне строгий наказ дала. Не могу я тебя в живых оставить, а за дитя не сумлевайся. Молоком кобыльим выкормлю, к смерти не допущу.

Отступил я два шага назад, винтовку снял, а она ноги мне обхватила и сапоги целует...

После этого иду обратно, не оглядываюсь, в руках дрожание, ноги подгибаются, и дите, склизкое, голое, из рук падает...

Дён через пять тем местом назад ехали. В лощине над лесом воронья туча... Хлебнул я горюшка с этим дитем.

— За ноги его да об колесо!.. Что ты с ним страдаешь, Шибалок? — говорили, бывало, казаки.

А мне жалко постреленка до крайности. Думаю: «Нехай растет, батьке вязы свернут — сын будет власть Советскую оборонять. Все память по Якову Шибалку будет, не бурьяном помру, потомство оставлю...» Попервам, веришь, добрая гражданка, слезьми плакал с ним, даром что извеку допрежь слез не видал. В сотне кобыла ожеребилась, жеребенка мы пристрелили, ну вот и пользовали его молоком. Не берет, бывало, соску, тоскует, потом свыкся, соску дудолил не хуже, чем материну титьку иное дите.

Рубаху ему из своих исподников сшил. Сейчас он маленечко из ней вырос, ну, да ничего, обойдется...

Вот теперича ты и войди в понятие: куда мне с ним деваться? Мал дюже, говоришь? Он смышленый и жевки потребляет. Возьми его от лиха! Берешь?.. Вот спасибо, гражданка!.. А я, как толечко разобьем фоминовскую банду, надбегу его проведать.

Прощай, сынок, семя Шибалково! Расти... Ах, сукин сын! Ты за что же отца за бороду трепаешь? Я ли тебя не пестал? Я ли с тобой не нянчился, а ты драку заводишь под конец? Ну, давай на расставанье в маковку тебя поцелую...

Не беспокойтеся, добрая гражданка, думаете, он кричать будет? Не-е-ет!.. Он у нас трошки из большевиков, кусаться — кусается, нечего греха таить, а слезу из него не вышибешь!..

1925

ИЛЮХА

I

Началось это с медвежьей охоты.

Тетка Дарья рубила в лесу дровишки, забралась в непролазную гущу и едва не попала в медвежью берлогу. Баба Дарья бедовая,— оставила неподалеку от берлоги мальчишку караулить, а сама живым духом мотнулась в деревню. Прибежала — и перво-наперво в избу Трофима Никитича.

— Хозяин дома?

— Дома.

— На медвежью берлогу напала... Убьешь — в часть примешь.

Поглядел Трофим Никитич на нее снизу вверх, потом сверху вниз, сказал презрительно:

— Не брешешь — веди, часть барышов за тобою.

Собрались и пошли, Дарья передом чикиляет, Трофим Никитич с сыном Ильей сзади. Сорвалось дело: подняли из берлоги брюхатую медведицу, стреляли чуть ли не в упор, но по случаю бессовестных ли промахов или еще по каким неведомым причинам, но только зверя упустили. Долго осматривал Трофим Никитич свою ветхую берданку, долго «сячился», косясь на ухмылявшегося Илью, под конец сказал:

— Зверя упущать никак не могем. Придется в лесу ночевать.

Поутру видно было, как через лохматый сосновый молодняк уходила медведица на восток, к Глинищевскому лесу. Путаный след отчетливо печатался на молодом снегу; по следу Трофим с сыном двое суток колесили. Пришлось

и позябнуть и голоду опробовать — харчи прикончились на другой день,— и лишь через трое суток на прогалинке, под сиротливо пригорюнившейся березой, устукали захваченную врасплох медведицу. Вот тут-то и сказал Трофим Никитич в первый раз, глядя на Илью, ворочавшего семнадцатипудовую тушу:

— А силенка у тебя водится, паря... Женить тебя надо, стар я становлюсь, немощен, не могу на зверя ходить и в стрельбе плошаю — мокнет слезой глаз. Вот видишь, у зверя в брюхе дети, потомство... И человеку такое назначение дадено.

Воткнул Илья нож, пропитанный кровью, в снег, потные волосы откинул со лба, подумал: «Ох, начинается...»

С этого и пошло. Что ни день, то все напористей берут Илью в оборот отец с матерью: женись да женись, время тебе, мать в работе состарилась, молодую бы хозяйку в дом надо, старухе на помощь... И разное тому подобное.

Сидел Илья на печке, посапливал да помалкивал, а потом до того разжелудили парня, что потихоньку от стариков пилу зашил в мешок, топор прихватил и прочие инструменты по плотницкой части и начал собираться в дорогу, да не куда-нибудь, а в столицу, к дяде Ефиму, который в булочной Моссельпрома продавцом служит.

А мать свое не бросает:

— Приглядела тебе, Ильюшенька, невесту. Была бы тебе хороша да пригожа, чисто яблочко наливное. И в поле работать и гостя принять приятным разговором может. Усватать надо, а то отобьют.

В хворь вогнали парня, в тоску вдался, больно жениться неохота, а тут-таки, признаться, и девки по сердцу нет, в какую деревню ни кинь поблизости — нет подходящей. А как узнал, что в невесты ему прочат дочь лавочника Федюшина, вовсе ощетинился.

Утром, кое-как позавтракав, попрощался с родными и пешкодралом махнул на станцию. Мать при прощании всплакнула, а отец, брови седые сдвинув, сказал зло и сердито:

— Охота тебе шляться, Илья, иди, но домой не заглядывай. Вижу, что зараженный ты кумсамолом, все с ними, с поганцами, нюхался, ну и живи как знаешь, а я тебе больше не указ...

Дверь за сыном захлопнул, глядел в окно, как по улице, прямой и широкой, вышагивал Илья, и, прислушиваясь к сердитому всхлипыванию старухи, морщился и долго вздыхал.

А Илья выбрался за село, посидел возле канавки и насмеялся, вспоминая Настю — невесту проченную. Больно на монашку похожа: губки ехидно поджатые, все вздыхает да крестится, ровно старушка древняя, ни одной обедни не пропустит, а сама собой — как перекисшая опара.

II

Москва не чета Костроме. Вначале пугался Илья каждого автомобильного гудка, вздрагивал, глядя на грохочущий трамвай, потом свыкся. Устроил его дядя Ефим на плотницкую работу.

...Ночью, припозднившись, шел с работы по Плющихе, под безмолвной шеренгой желтоглазых фонарей. Чтобы укоротить дорогу, свернул в глухой, кривенький переулок и возле одной из подворотен услышал сдавленный крик, топот и звук пощечины. Ускорил Илья шаги, заглянул в черное хайло ворот: возле мокрой сводчатой стены пьяный слюнтяй, в пальто с барашковым воротником, хватал какую-то женщину и, захлебываясь отрыжкой, глухо бурчал:

— Н-но... позвольте, дорогая... в наш век это так просто. Мимолетное счастье...

Увидел Илья за барашковым воротником красную косынку и девичьи глаза, налитые ужасом, слезами, отвращением.

Шагнул Илья к пьяному, барашковый воротник сграбастал пятернею и шваркнул брюзглое тело об стену. Пьяный охнул, рыгнул, бычачьим бессмысленным взглядом уперся в Илью и, почувствовав на себе жесткие по-звериному глаза парня, повернулся и, спотыкаясь, оглядываясь и падая, побежал по переулку.

Девушка в красном платке и потертой кожанке крепко уцепилась Илье за рукав.

— Спасибо, товарищ... Вот какое спасибо!

— За что он тебя облапил-то? — спросил Илья, конфузливо переминаясь.

— Пьяный, мерзавец... Привязался. В глаза не видала...

Сунула ему девушка в руки листок со своим адресом и, пока дошли до Зубовской площади, все твердила:

— Заходите, товарищ, по свободе. Рада буду...

III

Пришел Илья к ней как-то в субботу, поднялся на шестой этаж, у ошарпанной двери с надписью «Анна Бодрухина» остановился, в темноте пошарил рукою, нащупывая дверную ручку, и осторожненько постучался. Отворила дверь сама, стала на пороге, близоруко щурясь, потом угадала, пыхнула улыбкой.

— Заходите, заходите.

Ломая смущение, сел Илья на краешек стула, оглядывался кругом робко, на вопросы выдавливал из себя кургузые и тяжелые слова:

— Костромской... плотник... на заработки приехал... двадцать первый год мне.

А когда ненароком обмолвился, что сбежал от женитьбы и богомольной невесты, девушка смехом рассыпалась, привязалась:

— Расскажи да расскажи.

И, глядя на румяное лицо, полыхавшее смехом, сам рассмеялся Илья; неуклюже махая руками, долго рассказывал про все, и вместе перемежали рассказ хохотом молодым, по-весеннему. С тех пор заходил чаще. Комнатка с вылинявшими обоями и портретом Ильича с сердцем сроднилась. После работы тянуло пойти посидеть с ней, послушать немудрый рассказ про Ильича и поглядеть в глаза ее серые, светлой голубизны.

Весенней грязью цвели улицы города. Как-то зашел прямо с работы, возле двери поставил он инструмент, взялся за дверную ручку и обжегся знобким холодком. На дверях на клочке бумаги знакомым, косым почерком: «Уехала на месяц в командировку в Иваново-Вознесенск».

Шел по лестнице вниз, заглядывая в черный пролет, под ноги сплевывал клейкую слюну. Сердце щемила скука. Высчитал, через сколько дней вернется, и чем ближе подползал желанный день, тем острее росло нетерпение.

В пятницу не пошел на работу,— с утра, не евши, ушел в знакомый переулок, залитый сочным запахом цветущих тополей, встречал и провожал глазами каждую красную повязку. Перед вечером увидал, как вышла она из переулка, не сдержался и побежал навстречу.

IV

Опять вечерами с нею — или на квартире, или в комсомольском клубе. Выучила Илью читать по складам, потом писать. Ручка в пальцах у Ильи листком осиновым трясется, на бумагу бросает кляксы; оттого, что близко к нему нагибается красная повязка, у Ильи в голове будто кузница стучит в висках размеренно и жарко.

Прыгает ручка в пальцах, выводит на бумажном листе широкоплечие, сутулые буквы, такие же, как и сам Илья, а в глазах туман, туман...

Месяц спустя секретарю ячейки постройкома подал Илья заявление о принятии в члены РЛКСМ, да не простое заявление, а написанное рукою самого Ильи, со строчками косыми и курчавыми, упавшими на бумагу, как пенистые стружки из-под рубанка.

А через неделю вечером встретила его Анна у подъезда застывшей шестиэтажной махины, крикнула обрадованно и звонко:

– Привет товарищу Илье — комсомольцу!..

V

– Ну, Илья, время уже два часа. Тебе пора идти домой.

– Погоди, аль не успеешь выспаться?

– Я вторую ночь и так не сплю. Иди, Илья.

– Больно на улице грязно... Дома хозяйка-то лается: «Таскаешься, а мне за всеми вами отпирать да запирать дверь вовсе без надобности...»

– Тогда уходи раньше, не засиживайся до полночи.

– Может, у тебя можно... где-нибудь... переночевать?

Встала Анна из-за стола, повернулась к свету спиной. По лбу косая, поперечная морщина легла канавой.

– Ты вот что, Илья... если подбираешься ко мне, то отчаливай. Вижу я за последние дни, к чему ты клонишь... Было бы тебе известно, что я замужняя. Муж четвертый месяц работает в Иваново-Вознесенске, и я уезжаю к нему на днях...

У Ильи губы словно серым пеплом покрылись.

– Ты за-му-жня-я?

– Да, живу с одним комсомольцем. Я сожалею, что не сказала тебе этого раньше.

На работу не ходил две недели. Лежал на кровати пухлый, позеленевший. Потом встал как-то, потрогал пальцем ржавчиной покрытую пилу и улыбнулся натянуто и криво.

Ребята в ячейке засыпали вопросами, когда пришел:

— Какая тебя болячка укусила? Ты, Илюха, как оживший покойник. Что ты пожелтел-то?

В коридоре клуба наткнулся на секретаря ячейки.

— Илья, ты?

— Я.

— Где пропадал?

— Хворал... голова что-то болела.

— У нас есть одна командировка на агрономические курсы, согласен?

— Я ведь малограмотный очень. А то бы поехал...

— Не бузи! Там будет подготовка, небось выучат...

* * *

Через неделю, вечером, шел Илья с работы на курсы, сзади окликнули:

— Илья!

Оглянулся — она, Анна, догоняет и издали улыбается. Крепко пожала руку.

— Ну, как живешь? Я слышала, что ты учишься?

— Помаленьку, и живу и учусь. Спасибо, что грамоте научила.

Шли рядом, но от близости красной повязки уж не кружилась голова. Перед прощанием спросила, улыбаясь и глядя в сторону:

— А та болячка зажила?

— Учусь, как землю от разных болячек лечить, а не энту...— Махнул рукой, перекинул инструмент с правого плеча на левое и зашагал, улыбаясь, дальше,— грузный и неловкий.

1925

АЛЕШКИНО СЕРДЦЕ

Два лета подряд засуха дочерна вылизывала мужицкие поля. Два лета подряд жестокий восточный ветер дул с киргизских степей, трепал порыжелые космы хлебов и сушил устремленные на высохшую степь глаза мужиков и скупые,

колючие мужицкие слезы. Следом шагал голод. Алешка представлял себе его большущим безглазым человеком: идет он бездорожно, шарит руками по поселкам, хуторам, станицам, душит людей и вот-вот черствыми пальцами насмерть стиснет Алешкино сердце.

У Алешки большой, обвислый живот, ноги пухлые... Тронет пальцем голубовато-багровую икру, сначала образуется белая ямка, а потом медленно-медленно над ямкой пупырышками пухнет кожа, и то место, где тронул пальцем, долго наливается землянистой кровью.

Уши Алешки, нос, скулы, подбородок туго, до отказа, обтянуты кожей, а кожа — как сохлая вишневая кора. Глаза упали так глубоко внутрь, что кажутся пустыми впадинами. Алешке четырнадцать лет. Не видит хлеба Алешка пятый месяц. Алешка пухнет с голоду.

Ранним утром, когда цветущие сибирьки рассыпают у плетней медвяный и приторный запах, когда пчелы нетрезво качаются на их желтых цветках, а утро, сполоснутое росою, звенит прозрачной тишиной, Алешка, раскачиваясь от ветра, добрел до канавы, стоная, долго перелазил через нее и сел возле плетня, припотевшего от росы. От радости сладко кружилась Алешкина голова, тосковало под ложечкой Потому кружилась радостно голова, что рядом с Алешкиными голубыми и неподвижными ногами лежал еще теплый трупик жеребенка.

На сносях была соседская кобыла. Недоглядели хозяева, и на прогоне пузатую кобылу пырнул под живот крутыми рогами хуторской бугай,— скинула кобыла. Тепленький, парной от крови, лежит у плетня жеребенок; рядом Алешка сидит, упираясь в землю суставчатыми ладонями, и смеется, смеется...

Попробовал Алешка всего поднять, не под силу. Вернулся домой, взял нож. Пока дошел до плетня, а на том месте, где жеребенок лежал, собаки склубились, дерутся и тянут по пыльной земле розоватое мясо. Из Алешкиного перекошенного рта: «А-а-а...» Спотыкаясь, размахивая ножом, побежал на собак. Собрал в кучу всё до последней тоненькой кишочки, половинами перетаскал домой.

К вечеру, объевшись волокнистого мяса, умерла Алешкина сестренка — младшая, черноглазая.

Мать на земляном полу долго лежала вниз лицом, потом встала, повернулась к Алешке, шевеля пепельными губами:

— Бери за ноги...

Взяли. Алешка — за ноги, мать — за курчавую головку, отнесли за сад в канаву, слегка прикидали землей.

На другой день соседский парнишка повстречал Алешку, ползущего по проулку, сказал, ковыряя в носу и глядя в сторону:

— Лёш, а у нас кобыла жеребенка скинула, и собаки его слопали!..

Алешка, прислонясь к воротам, молчал.

— А Нюратку вашу из канавы тоже отрыли собаки и середку у ей выжрали...

Алешка повернулся и пошел молча и не оглядываясь.

Парнишка, чикиляя на одной ноге, кричал ему вслед:

— Маманька наша бает, какие без попа и не на кладбище закопанные, этих черти будут в аду драть!.. Слышь, Лешка?

* * *

Неделя прошла. У Алешки гноились десны. По утрам, когда от тошного голода грыз он смолистую кору караича, зубы во рту у него качались, плясали, а горло тискали судороги.

Мать, лежавшая третьи сутки не вставая, шелестела Алешке:

— Леня... пошел бы... молочаю в саду надергал...

Ноги у Алешки — как былки, оглядел их подозрительно и лег на спину, от боли, резавшей губы, длинно растягивая слова:

— Я, маманька, не дойду... Меня ветер валяет...

На этот же день Полька, старшая сестра Алешки, доглядела, когда богатая соседка, Макарчиха по прозвищу, ушла за речку полоть огород, проводила глазами желтый платок, мелькавший по садам, и через окно влезла к ней в хату. Подставив скамью, забралась в печку, из чугуна через край пила постные щи, пальцами вылавливала картошку. Убитая едой, уснула, как лежала,— голова в печке, а ноги на скамье. К обеду вернулась Макарчиха — баба ядреная и злая. Увидела Польку, взвизгнула, одной рукой вцепилась в спутанные волосенки, а другой — зажав в кулаке железный утюг, молча била ее по голове, лицу, по гулкой иссохшей груди.

Из своего двора видал Алешка, как Макарчиха, озираясь, стянула Польку с крыльца за ноги. Подол Полькиной юбчонки задрался выше головы, а волосы мели по двору пыль и стлали по земле кровянистую стежку.

Сквозь решетчатый переплет плетня глядел, не моргая, Алешка, как Макарчиха кинула Польку в давнишний обвалившийся колодец и торопливо прикинула землей.

* * *

Ночью в саду пахнет земляной сыростью, крапивным цветом и дурманным запахом собачьей бесилы. Вдоль обветшалой огорожи лопухи караулят дорожку бессменно. Ночью вышел Алешка в сад, долго глядел на Макарчихин двор, на слюдяные оконца, на лунные брызги, окропившие лохматую листву садов, и тихо побрел к воротам Макарчихиного двора. Под амбаром загремел цепью и забрехал привязанный кобель.

— Цыц!.. Серко... Серко...— Стягивая губы, Алешка посвистал заискивающе, и кобель смолк.

В калитку не пошел Алешка, перелез через плетень и ощупью, ползком добрался до погреба, накрытого бурьяном и ветками. Прислушиваясь, звякнул цепкой. Не заперт погреб. Крышку приподнял, ежась, спустился по лестнице.

Не видал Алешка, как из стряпки выскочила Макарчиха. Подбирая рубаху, прыжками добежала до повозки, стоявшей посреди двора, выдернула шкворень и — к погребу. Свесила вниз распатлаченную голову, а Алешка закрыл помутневшие глаза и, прислушиваясь к ударам тарахтящего сердца, не передыхая пил из кувшина молоко.

— Ах ты, хвитинов твою дыхало? Ты что же это делаешь, сукин сын?..

Разом отяжелевший кувшин скользнул из захолодавших Алешкиных пальцев и разлетелся вдребезги, стукнувшись о край лестницы.

Комом упала Макарчиха в погреб...

* * *

Легко подняла Алешку за плечи, молча, с плотно сжатыми губами, вышла на проулок, прошла под плетнем до речки и бросила вялое тело на ил, около воды.

На другой день — праздник троица. У Макарчихи пол усыпан чабрецом и богородицыной травкой. С утра выдоила корову, прогнала ее в табун, шальку достала праздничную, цветастую, в разводах, покрылась и пошла к Алешки-

ной матери. Двери в сенцы распахнуты, из неметеной горницы духом падальным несет. Вошла. Алешкина мать на кровати лежит, ноги поджала, и рукою от света прикрыты глаза. На закоптелый образ перекрестилась Макарчиха истово.

— Здорово живешь, Анисимовна!

Тишина. У Анисимовны рот раззявлен криво, мухи пятнают щеки и глухо жужжат во рту. Макарчиха шагнула к кровати.

— Долго势 пануешь, милая... А я, признаться, зашла узнать, не будешь ли ты продавать свою хату? Сама знаешь — девка у меня на выданье, хотела зятя принять... Да ты спишь, что ли?

Тронула руку — и обожглась колючим холодком. Ахнула, кинулась от мертвой бежать, а в дверях Алешка стоит — белей мела. За косяк дверной цепляется, в крови весь, в иле речном.

— А я живой, тетя... не убивай меня... я не буду!

* * *

Перед сумерками через улицы, увешанные кудрявыми коврами пыли, через площадь, мимо отерханной церковной ограды, тенью шел Алешка. Возле школы, под нахмуренными акациями, повстречал попа. Шел из церкви тот, сгорбатившись, нес в мешке пироги и солонину. Алешка, кривя губы, прохрипел:

— Христа ради...

— Бог подаст!..— И зашагал мимо, сутулясь, путаясь в полах подрясника.

Возле речки в кирпичных сараях и амбарах — хлеб. Во дворе дом, жестью крытый. Заготовительная контора Донпродкома № 32. Под навесом сарая — полевая кухня, две патронные двуколки, а у амбаров — шаги и нечищенные жала штыков. Охрана.

Выждал Алешка, пока повернется спиною часовой, и юркнул под амбар (доглядел еще поутру, что из щелей струею желтой сочится хлеб). Брал в пригоршню жесткое зерно, жевал жадно. Опамятовался от голоса сзади:

— Это кто тут?

— Я...

— Кто ты?

— Алешка...

— Ну, вылазь!..

Поднялся на ноги Алешка, глаза зажмурил, ждал удара, ладонями закрывая лицо. Стояли долго... Потом голос добродушно буркнул:

— Пойдем ко мне, Алешка! У меня есть пшеница пареная.

Успел доглядеть Алешка на горбатом носу очки круглые и улыбку, совсем не сердитую. Очкастый зашагал, меряя длинными ногами, как ходулями, а Алешка за ним спешил, спотыкаясь и падая на руки. В заготконторе вторая дверь по коридору направо с надписью:

«Помещается политком Синицын!»

Вошли. Очкастый зажег жирник, сел на табурет, широко разбросав ноги, а Алешке под нос потихонечку сунул горшок с пареной пшеницей и в полбутылке подсолнечное масло. Глядел, как двигались Алешкины скулы и на щеках его вспухали и бегали желваки. Потом встал и взял горшок. Алешка уцепился бородавчатыми пальцами за края. Всхлипнул, тряся головой.

— Жалко тебе, жадюга?!

— Не жалко, дурья твоя голова, а облопаешься, издохнешь.

* * *

На другой день во двор заготконторы с рассветом пришел Алешка. Сидел на поломанных порожках, ляская зубами, и до восхода солнца ждал, пока скрипнет дверь с надписью «Помещается политком Синицын!» и на пороге покажется очкастый.

Солнце перевалило через кирпичные сараи, когда встал очкастый. Вышел он на крыльцо и носом закрутил.

— От тебя воняет, Алешка?

— Я исть хочу...— буркнул Алешка и глянул на очки снизу вверх.

— Сейчас мы сварим каши, но... от тебя, Алеша Попов, все-таки воняет.

Алешка сказал просто и деловито:

— Меня Макарчиха убивала, а теперь жарко, и в голове черви завелись...

Очкастый побледнел и переспросил:

— У тебя черви?

— В голове!.. Грызут дюже...

Алешка снял с головы перепревший от крови пук конопли, а очкастый заглянул в круглую гноящуюся рану

на Алешкиной голове. Увидел, как из сукровицы остр... головки кажут белые черви, и застонал, через крыль... перегнувшись.

Алешка осмелел и сказал:

— Ты вот чего... ты мне их повыковыряй палочкой а в дыру керосину налей... Подохнут черви с керосину-то!

Очкастый заостренной палочкой выковыривал из раны склизких червяков, а Алешка скулил и перебирал ногами С этих пор и установилась промеж них дружба. Каждый день приползал в заготконтору Алешка, жрал толокно из чашки, хлебал масло, ел много и жадно и всегда беспокойно ощущал на себе пытливо-ласковый взгляд.

* * *

За прогоном, за зеленой стеной шуршащих будылья кукурузы отцвело жито. Колос вспух и налился ядреным молочным зерном. Каждый день мимо хлебов гонял Алешка в степь пасти заготконторских лошадей. Не треножа, пускал их по полынистым отножинам, по ковылю, седому и вихрастому, а сам заходил в хлеб. Рослые стебли жита радушно жались, давали место, и Алешка ложился осторожненько, стараясь не толочь хлеб. Лежа на спине, растирал в ладонях колос и ел до тошноты зерно, мягкое и пахучее, налитое назатвердевшим белым молоком.

Как-то пригнал Алешка лошадей в степь. Долго бочился, захаживал вокруг норовистой и брыкучей кобыленки, хотел репьи выбрать из гривы и счистить с кожи присохшую коросту. Щерила почернелые зубы кобыла, норовила куснуть или накинуть задом. Алеша изловчился-таки — цап ее за хвост, а тут сзади голос:

— Эй, Алешка!.. Будя тебе злодырничать. Наймайся ко мне в помочь?! Буду держать за харч, ну, обувку там какую справлю.

Выпустил Алешка кобылий хвост, оглянулся. Стоит неподалеку хуторской богатей Иван Алексеев, смотрит на Алешку улыбчиво.

— Пойдешь в работники, сказывай? Харч у меня, как полагается, настоященский... Молочишко есть и все такое прочее...

Не подумал Алешка, обрадовался работе и хлебу, напрямки брякнул:

— Пойду, Иван Алексеев.

— Ну, являйся с пожитками к вечеру! — И пошел Иван Алексеев, мелькая слинявшей рубахой по кукурузе.

Голому одеться — только подпоясаться. Ни роду у Алешки, ни племени. Именья — одни каменья, а хату и подворье еще до смерти мать пораспродала соседям: хату за девять пригоршней муки, базы — за пшено, леваду Макарчиха купила за корчажку молока. Только и добра у Алешки — зипун отцовский да материны валенки изношенные. Табун пришел с попаса, а Алешка — к Ивану Алексееву во двор. Возле стряпки расстелила хозяйка рядно, сели семейно на земле, вечеряют. В ноздри Алешке так и ширнуло духом вареной баранины. Проглотил слюну, стал около, картузишко комкая, а в мыслях: «Хучь бы позвала вечерять хозяйка...» Не тут-то было. Рвет и мечет баба, чугунами гремит:

— Ишо дармоеда привел! Он слопает больше, чем заработает. Провожай его, Алексеевич, с богом! Не нужен он теперешним временам!

— Молчи, баба! Есть две отвертки — знай посапливай! — Это сам Иван Алексеев, бороду рукавом вытирая.

На том разговор и кончился.

Не впервой Алешке работать. В отца пошел — въедливый на работу, с семи лет погонычем был, хвосты быкам закручивал.

Дня три пожил — освоился, на мельницу с хозяйской снохой съездил, на покосе сено копнил. Ночевать устроился под навесом сарая. В первую же ночь пришел под навес хозяин, сказал, вонюче отрыгивая луком:

— Ежели ты, сучье вымя, затеешься тут курить, голову собственноручно с вязов сверну! Чтоб ни-ни!

— Я, дяденька, не займаюсь.

— Ну, гляди!..

Ушел, а Алешке не спится. И на вторую ночь — тоже. От работы полевой гудут ноги и руки, в спине кол болячкой оттопырился и сон нейдет. На третий день — спозаранку — прибежал в контору. Очкастый умывался на крыльце, кряхтя и фыркая.

— Ты где запропал, Алексей?

— В работники нанялся.

— К кому?

— К Ивану Алексееву, на краю живет.

— Ну, браток, надбеги вечерком. Потолкуем насчет этого.

Вечером напоил Алешка скотину, пришел в контору. Очкастый в книгах копается.

— Ты в грамоте знаешь, Алексей?

— В приходском учился. Себя расписываю.

— Пойдем со мною!

Пошли по коридору. В конце на дверях мелом напис но — раскумекал Алешка: «Клуб РКСМ». Чудно́ и непо нятно. Вошел очкастый, Алешка, робея,— следом. В комн тушке портреты, флаг красный, слинявший, и ребята ко какие, знакомые. Книжку читают вслух, покосились на скрип двери и опять слегли над столом, слушают. Прислу шался и Алешка. Читали о том, как должны нанимать хозяева работников, и еще про многое разное читали. При шел Алешка из клуба в полночь. Долго ворочался на рваной дерюжке. До самой зари настырно заглядывал ему в гла косокий месяц.

* * *

Говорил Алешке Иван Алексеев:

— Ты смотри у меня, сукин сын, чтоб работа горе у тебя в руках!.. Чуть замечу, что раззяву ловишь,— в один момент сгоню со двора!.. Иди, издыхай на улице!..

Алешка и на покос, и на молотьбу, и скотину убира а Иван Алексеев руки за махровитый кушачок засуне знай похаживает с ухмылочкой по двору.

Подозвал его сосед как-то в праздник·

— Здорово живешь, Иван Алексеев!

— Слава богу.

— Совесть-то всю растерял?

— Что такое?

— А то, что не дело ты строишь... Лешка у тебя рон лошадюка ворочает... Надорвешь парнишку. Греха на душ возьмешь!..

— Смотрел бы ты, сосед, за своим добром, на чужой б глаза нечего пучить, а в обчем, убирайся под разэтаку мать!..— Повернулся к соседу спиною, зашагал степен и враскачку, а за угол сарая завернул — бороду за промеж зубов ядреных и желтых, выругался матерно и бу глухую на соседа до поры до времени припрятал самое донышко своего нутра.

С той поры мстил безлошадному бедняку соседу: нял коровенку со своего жнивья, держал ее привязан и некормленой по двое суток, а на Алешку еще боль работы навалил и за каждую пустяковину бил дурн боем.

Пожаловаться хотел Алешка очкастому, но боялся, что, узнав, прогонит его Иван Алексеев. Молчал. Ночами, короткими и душными, под навесом сарая мочил подушку горечью слез, а вечерами всегда, как только пригонял с водопоя скотину, через гумно, крадучись и припадая к плетням, бежал в клуб. Каждый день встречался с очкастым. Улыбался тот, глядя на Алешку поверх тусклых очков, и по спине похлопывал. В воскресенье пришел Алешка в клуб засветло. В комнатушке народу густо, у всех винтовки, а у очкастого на поясе кобура с ремнем витым и блестящая штука, на бутылку похожая.

Увидал Алешку, подошел, улыбаясь.

— Банда в наш округ вступила, Алексей. Как только займут станицу — ты к нам, клуб защищать!

Хотел расспросить Алешка, как и что, но больно народу много, не посмел. На другой день утром маслом косилочным смазывал Алешка косилку. Глянул в стряпке — из дверей хозяин идет. Захолонуло у Алешки в середке: брови у хозяина настобурченные, идет и бороду дергает. Как будто и неуправки нет ни в чем, а побаивается хозяина Алешка, больно уж лют он на расправу. Подошел к косилке:

— Ты где бываешь ночьми, гаденыш?

Молчит Алешка. Банка с маслом косилочным в пальцах у него подрагивает.

— Где бываешь, говорю?!

— В клубе...

— А-а-а... в клубе? А этого ты не пробовал, так твою мать?!

Кулак у хозяина весь желтой щетиной порос и тяжел, как гиря. Стукнул Алешку по затылку, а у того и ноги подвернулись, упал грудью на косилочные крылья, из глаз, ровно просяная рушка, искры посыпались.

— Малость отвыкнешь шляться!.. А нет, так убирайся со двора к чертовой матери, чтобы и духом твоим не воняло тут! Запрягая в косилку коней, гремел хозяин: — Христа ради взял его, а он будет с сукиными сынами якшаться, а опосля придет другая власть и будут за тебя, за гада, проучить!.. Ну, только направься туда, я тебе вложу памятку!..

У Алешки зубы редкие и большие, и сердце у Алешки простецкое, сроду ни на кого не серчал. Бывало, говорила ему мать:

— Ох, Ленька, пропадешь ты, коли помру я. Цыпляты и те навозом загребут! И в кого ты такой уродился? Отца

твово через его ухватку и устукали на шахтах... Кажной дыре был гвоздь... А тебя сейчас ребятишки клюют, а опосля и вовсе из битых не вылезешь...

Доброе Алешкино сердце, ему ли на хозяина злобиться, коли тот кусок ему дал? Встал Алешка, передохнул малость, а хозяин опять присучивается бить — за то, что, когда упал на косилку, масло разлил. Кое-как вечера дождался Алешка, лег под дерюгу и голову подушкой накрыл...

Проснулся Алешка перед зарею. По проулку зацокали лошадиные копыта и смолкли у ворот. Звякнуло кольцо у калитки. Шаги и стук в окно.

— Хозяин!..— тихо так, вполголоса.

Прислушался Алешка: рыпнул дверь, на крыльцо вышел Иван Алексеев. Долго и глухо гутарили промеж себя.

— Лошадей бы трошки подкормить...— доплыло до сарая.

Алешка приподнял голову, увидал, как двое в шинелях ввели во двор оседланных лошадей и привязали к крыльцу. Хозяин с одним из них направился к гумну. Проходя мимо сарая, заглянул под навес, спросил потихоньку:

— Ты спишь, Алешка?

Притаился Алексей, носом пустил сдержанный храп, а сам прислушался, приподнимая голову.

— Парнишка живет у меня... Ненадежный...

Минут через пять скрипнула гуменная калитка, хозяин пронес беремя сена; следом шел чужой, звякая шашкой и путаясь в полах шинели. Голос услыхал Алешка сиплый, придушенный:

— Пулеметы есть у них?

— Откедова!.. Два взвода красных стоит во дворе конторы... И все... Ну, там политком еще, весовщики..

— Завтра в полночь приедем нá гости... в Казенном лесу все... Перережем, ежели врасплох...

Около крыльца заржала лошадь, второй в шинели крикнул злобно:

— Тю, проклятая!..

Звук удара и топот танцующих копыт.

Перед рассветом, в редеющей темноте, со двора Ивана Алексеева выехали двое конных и крупной рысью поскакали по дороге к Казенному лесу

* * *

Утром, за завтраком почти не ел Алешка, сидел, не поднимая глаз. Покосился хозяин подозрительно.

— Ты что не лопаешь?

— Голова болит.

Насилу дождался, пока кончится завтрак. Крадучись, прошел на гумно, перемахнул через плетень и — рысью в контору. Ветром ворвался в комнату политкома Синицына, хлопнул дверью и стал у порога, придерживая руками барабанящее сердце.

— Откуда ты сорвался, Алешка?

Путаясь, рассказал Алешка про ночных гостей, про обрывки слышанного разговора. Очкастый выслушал, не проронив ни одного слова, потом встал, кинул Алешке коротко:

— Посиди тут...— и вышел.

С полчаса просидел Алешка в комнате очкастого. На окне сердито гудела оса, по полу шевелились пряди солнечного света. Услышав во дворе голоса, глянул в окно Алешка. У крыльца стояли: очкастый с двумя красноармейцами, а в середине хозяин Иван Алексеев. Борода у него тряслась и прыгали губы:

— По злобе наговорено вам...

— А вот увидим!..

Таким еще не видел Алешка очкастого: слились на переносице брови, из-под очков жестоко блестели глаза. Отомкнул дверь в кирпичном сарае, стал сбоку и к Ивану Алексееву строго так:

— Заходи!..

Пригибаясь, шагнул в сарай Алешкин хозяин. Хлопнула дверь за ним.

* * *

— Ну вот гляди: так и так, потом раз, два, и гильза выбрасывается. Вот сюда вставляется обойма...

Лязгает винтовочный затвор под рукою очкастого, смотрит он на Алешку поверх очков и улыбается.

Вечером дегтярной лужей застыла над станицей темнота. На площади возле церковной ограды цепью легли красноармейцы. Рядом с очкастым — Алешка. У винтовки Алешкиной пахучий ремень и от росы вечерней потное ложе..

В полночь на краю станицы, возле кладбища, забрехала собака, потом другая, и сразу волной ударил в уши дробный грохот копыт. Очкастый привстал на одно колено, целясь в конец улицы, крикнул:

— Ро-о-та... пли!..

Га-а-ах! Тах! Тах! Тах!..

За оградой вспугнутое эхо скороговоркой забормотало: ах-ах-ах!..

Раз и два двинул затвором Алешка, выбросил гильзу и снова услышал хриплое: «Рота, пли!»

В конце широкой улицы — ругань, выстрелы, лошадиный визг. Прислушался Алешка — над головой тягуче нудное: тю-ю-уть!..

Спустя минуту другая пуля чмокнулась в ограду на аршин повыше Алешкиной головы, облила его брызгами кирпича. В конце улицы редкие огоньки выстрелов и беспорядочный удаляющийся грохот лошадиных копыт. Очкастый пружинисто вскочил на ноги, крикнул:

— За мной!..

Бежали. У Алешки во рту горечь и сушь, сердце не умещается в груди. В конце улицы очкастый, споткнувшись об убитую лошадь, упал. Алешка, бежавший рядом с ним, видал, как двое впереди них прыгнули через плетень и побежали по двору. Хлопнула дверь. Громыхнула щеколда.

— Вот они! Двое забегли в хату!..— крикнул Алешка.

Очкастый, хромая на ушибленную ногу, поравнялся с Алешкой. Двор оцепили. Красноармейцы густо легли за кладбищенской огорожей, по саду за кустами влажной смородины; жались в канаве. Из хаты, из окон, заложенных подушками, сначала стреляли, в промежутки между хлопающими выстрелами слышалось хриплое матюканье и захлебывающиеся голоса, потом все смолкло.

Очкастый и Алешка лежали рядом. Перед рассветом, когда сырая темнота, клубясь, поползла по саду, очкастый, не подымая головы, крикнул:

— Эй, вы там, сдавайтесь! А то гранату кинем!

Из хаты два выстрела. Очкастый взмахнул рукой:

— По окнам, пли!

Сухой, отчетливый залп. Еще и еще. Прячась за толстыми саманными стенами, те двое стреляли редко, перебегая от окна к окну.

— Алешка, ты меньше меня ростом, ползи по канаве до сарая, кинешь гранату в дверь... Иначе мы не скоро возь

них... Вот это кольцо сдернешь и кидай, не медли, а то убьет!..

Отвязал очкастый от пояса похожую на бутылку штуку. Алешке передал. Изгибаясь и припадая к влажной земле, полз Алешка; сверху, над канавой, пули косили бурьян, обливали его знобкой росою. Дополз до сарая, сдернул кольцо, нацелился в дверь, но дверь скрипнула, дрогнула, распахнулась... Через порог шагнули двое; передний на руках держал девчонку лет четырех, в предутренних сумерках четко белела рубашонка холстинная, у второго изорванные казачьи шаровары заливала кровь; стоял он, голову свесив набок, цепляясь за дверной косяк.

— Сдаемся! Не стрелять! Дите убьете!

Увидал Алешка, как из хаты к порогу метнулась женщина, собой заслонила девочку, с криком заламывая руки; назад оглянулся — очкастый привстал на колени, а сам белее мела; по сторонам глянул.

Понял Алешка, что ему надо делать. Зубы у Алешки большие и редкие, а у кого зубы редкие, у того и сердце мягкое. Так говорила, бывало, Алешкина мать. На гранату блестящую, на бутылку похожую, лег он животом, лицо ладонями закрыл...

Но очкастый метнулся к Алешке, пинком ноги отбросил его, с перекошенным ртом мгновенно ухватил гранату, швырнул ее в сторону. Через секунду над садом всплеснулся огненный столб, услышал Алешка грохочущий гул, стонущий крик очкастого и почувствовал, как что-то вонюче-серное опалило ему грудь, а на глаза навалилась густая жаркая пелена.

* * *

Когда очнулся Алешка, увидал над собою зеленое — от бессонных ночей — лицо очкастого.

Попробовал Алешка приподнять голову, но грудь обожгло болью, застонал, засмеялся.

— Я живой... не помер...

— И не помрешь, Леня!.. Тебе помирать теперь нельзя. Вот гляди!..

В руке очкастого билет с номером, поднес к Алешкиным глазам, читает:

— Член РКСМ, Попов Алексей... Понял, Алешка?.. На два вершка от сердца попал тебе осколок гранаты... А те-

перь мы тебя вылечили, пускай твое сердце еще постучит — на пользу рабоче-крестьянской власти.

Жмет очкастый руку Алешке, а Алешка под тусклыми, запотевшими очками увидал то, чего никогда раньше не видал: две небольшие серебристые слезинки и кривую дрожащую улыбку.

1925

БАХЧЕВНИК

I

Отец пришел от станичного атамана веселый, чем-то обрадованный. Смех застрял у него под густыми бровями, губы морщились от сдерживаемой улыбки; таким, как нынче, давно не видал Митька отца. С тех пор как пришел он с фронта, постоянно был суров, нахмурен, щедро отсыпал четырнадцатилетнему Митьке затрещины и долго и задумчиво турсучил свою рыжую бороду. А нынче, как солнышко сквозь тучи глянуло, даже Митьку, подвернувшегося под руку, сунул с крыльца шутливо и засмеялся:

— Ну, ты, висляй!.. Беги на огород, кличь матерю обедать!

За обедом сидели всей семьей: отец под образами, мать прижалась на краешке лавки, к печке поближе, а Митька рядом с Федором — старшим братом. Под конец, когда отхлебали реденькие постные щи, отец бороду разложил на две щетинистые половины и снова улыбнулся, морща синеватые губы:

— Должон семью с радостью поздравить: нынче меня назначили комендантом при военно-полевом суде у нас в станице...— Помолчал и добавил: — В германскую войну лычки тоже недаром заслуживал, офицерство и мои храбрые отличия не забыты по начальству.

И, багровея, густо наливаясь кровью, сверкнул на Федора глазами:

— Ты что же, сволочь, голову опустил? Не рад отцовской радости? А? Ты у меня, Федька, гляди!.. Думаешь, я не вижу, как ты нюхаешься с мужиками? Через тебя, подлеца, мне атаман в глаза стрянет. «Вы, говорит, Анисим Петрович, действительно блюдете казачью честь, а Федор,

сынок ваш, с большевиками якшается, двадцать годов парню, жалко, может пострадать...» Говори, сукин сын: ходишь к мужикам?

— Хожу.

Дрогнуло у Митьки сердце, думал, ударит отец Федора, но тот только перегнулся через стол, кулаки сжимая, рявкнул

— А знаешь ты, красноармейская утроба, что завтра мы твоих друзей арестуем? Знаешь ты, что портного Егорку и кузнеца Громова завтра же расстреляют?

И опять услыхал Митька от побледневшего брата твердое:

— Нет, не знаю, но теперь буду знать.

Не успела мать загородить собою Федора, не успел Митька вскрикнуть, как отец, размахнувшись, кинул тяжелую медную кружку. Обломанная ручка острым краем воткнулась Федору повыше глаза. Тоненькой цевкой далеко брызнула кровь. Молча Федор закрыл рукой кровью залитый глаз. Мать, стоная, обняла его голову, а отец с грохотом опрокинул скамью и вышел из хаты, хлопнув дверью.

До вечера суетилась мать. Из сундука достала связку сушеной рыбы, насыпала в сумку сухарей, потом присела у окна, латая Федорово белье. Проходя мимо, видел Митька, как мать, голову уткнувши в ворох белья, сидит неподвижно, лишь плечи у нее под рваной ситцевой кофтенкой судорожно сходятся и расходятся.

Затемно пришел из станичного правления отец и, не ужиная, не раздеваясь, лег на кровать. Федор, стараясь не скрипеть половицами, на цыпочках прошел в кладовую, достал седло, уздечку и вышел на двор.

— Митя, поди сюда!

Митька загонял телят, хворостину бросил, подошел к брату. Смутно догадывался он, что Федор хочет уехать за Дон к большевикам, туда, откуда каждую зорю плывет и волнами плещется над станицей глухой орудийный гул. Спросил Федор, отводя глаза в сторону:

— Ты не знаешь, Митяй, конюшня заперта?

— Запертая... А на что тебе?

— Надо, значит.— Помолчал Федор, посвистал сквозь зубы и неожиданно зашептал: — Ключи от конюшни у отца под подушкой... в головах... выкрадь их... я хочу ехать...

— Куда?

— В Красную гвардию служить... Мал ты еще, после поймешь, на чьей стороне правда живет... Ну так вот,

еду я воевать за землю, за бедный народ и за то, чтоб все равные были, чтоб не было ни богатых, ни бедных, а все равные.

Выпустил Федор из рук Митькину голову, спросил строго:

— Возьмешь ключи?

Ответил Митька не колеблясь:

— Возьму,— повернулся к Федору спиной и, не оглядываясь, пошел в хату.

В горнице полутемно, тягучее жужжание засыпающих на потолке мух. У дверей скинул Митька башмачишки, приподымая за ручку (чтобы не скрипнула), отворил дверь и мягко зашлепал босыми ногами к кровати.

Головой к окну навзничь лежит отец, одна рука в кармане, другая свесилась с кровати, ноготь, большой, обкуренный, в половицу упирается. Затаив дыхание, подошел Митька к кровати, остановился, прислушиваясь к булькающему храпу отца. Тишина, густая и недвижная... У отца на рыжей бороде хлебные крошки и яичная скорлупа, из раззявленного рта стервятно разит спиртом, а где-то на донышке горла хрипит и рвется наружу застрявший кашель.

Протянул Митька руку к подушке, а у самого сердце, не останавливаясь: тук-тук-тук-тук...

И кровь, приливая к голове, звенит в ушах колючим трезвоном. Сначала один палец просунул под засаленную подушку, потом другой. Нащупал скользкий ремешок и холодную связку ключей, потянул к себе потихоньку, а отец вдруг черк рукой Митьку за шиворот.

— Ты зачем крадешься, стервец? Я тебе чупрыну в два счета оболтаю!

— Батя! Родненький! Я за ключами от конюшни. Будить не хотел...

Скосил отец на Митьку припухшие, желтизною налитые глаза.

— А зачем понадобились ключи?

— Кони что-то нудятся...

— Так и говори...— Отец кинул на пол связку ключей и, обернувшись к стене лицом, вздохнул и минуту спустя захрапел снова.

Митька — опрометью из хаты на двор, к Федору, прижавшемуся под навесом сарая. Сунул ему в руки ключи, спросил:

— А какого коня возьмешь?

— Жеребчика.

Вздохнул Митька, следом за Федором шагая, сказал вполголоса:

— Федя, а ить меня батька-то запорет?..

Промолчал Федор, молча вывел из конюшни жеребчика, оседлал, долго ловил ногою непослушное стремя и, уже выезжая из ворот, прошептал, свесившись с седла:

— Терпи, Митяй! Горе мыкать не век будем, а отцу, Анисиму Петровичу, перекажи моим словом: коли тронет он тебя или мамашу хоть пальцем,— лютую расправу на него наведу...

И выехал из ворот, торопя жеребчика в дальнюю путину, а Митька за плетнем присел на корточки, хотел поглядеть было вслед Федору, но глаза застлала соленая пелена и удушье перехватило горло.

II

Отец захлебывается в горнице клокочущим храпом. Встал Митька раньше раннего, обротал Гнедого, к Дону поехал напоить и искупать коня-работягу. Под копытами Гнедого шуршит, осыпаясь, присохший мел, съехал под яр к воде, разнуздал коня, сбросил одежду, ежась от мглистой утренней сырости, и услышал, как над водой где-то далеко-далеко растаял охнувший гул и, перекатываясь, пополз по Дону. С головой окунаясь в воду, пронизанную колючим утренним холодком, улыбнулся Митька, подумал: «Теперь Федор, поди, у большевиков уже... В Красногвардии службу ломает...»

Перекинулись мысли на дом, на отца, и разом, как искра на ветру, потухла радость. Ехал обратно домой сгорбившись, померкли Митькины глаза.

Уже подъезжая к дому, подумал: «Задать бы стрекача туда... к большевикам... правда у них живет, говорил Федор... С ним бы увязаться. А отец мне нынче сдерет шкуру... юшку красную пустит из носу...»

У крыльца снял с коня узду и медленно вошел в хату. Отец из горницы сипло:

— По какой причине жеребчика не водил купать?

Глянул Митька мельком на мать, пристывшую возле печки, почувствовал, как кровь торопливо уходит к сердцу.

— Жеребчика нету в конюшне!..

— Где же он?

— Не знаю.

— А Федор где?

— Не видал.

В горнице, обуваясь, шаркает сапогами отец. Через кухню прошел в кладовую, сверкая припухшими от сна глазами.

— Где седло?..— загремел из сенцев.

Стал Митька поближе к матери и, как бывало давно, в детстве, уцепился за материну руку. Вошел отец в кухню, в руках комкает кожаный ремень.

— Ты кому ключи отдал?

Мать собой заслонила Митьку.

— Не тронь его, Анисим Петрович. Ради Христа, не бей!.. Аль не жалко сына?

— Пусти, чертова сволочь!.. Тебе говорю аль нет?.. Оттолкнул мать в сторону, Митьку повалил на пол, бил ногами деловито, долго, жестоко, до тех пор, пока перестали из Митькиного горла рваться глухие, стонущие крики.

III

Все слышнее и слышнее становился орудийный гул. По утрам, когда прогоняли табун на попас, долго сидел Митька под старым ветряком на прогоне. От ветра на крыше ветряка повизгивала и скрежетала жесть, крылья скрипели тягуче и нудно и, покрывая все робкие звуки, где-то за бугром басовито ухало: бу-у-ух!..

Рокочущий густыми переливами гул долго таял за станицей в ярах, задернутых предрассветной голубизной. Через станицу утрами тянулись к Дону обозы со снарядами, патронами, колючей проволокой. Обратно везли израненных, завшивевших казаков, сваливали их на площади, возле станичного правления. Любопытные куры заботливо загребали папиросные окурки, закровяненные бинты, вату с комками запекшейся крови и внимательно прислушивались к стонам, плачу, хриплым матюканьям раненых.

Митька старался не попадаться отцу на глаза.

Позавтракавши, уходил с удочками к Дону, сидя на берегу, смотрел, как по мосту двигалась конница, громыхали тачанки, гребла морозную пыль пехота. Возвращался домой в сумерках. Вечером в станицу пригнали толпу пленных красногвардейцев. Шли они тесно, скучившись, босые, в изорванных шинелишках. Казачки выбегали на улицу, плевали в серые, запыленные лица, похабно руга

[illegible] под грохочущий хохот казаков и конвойных. Шел Митька следом, глотал едкую пыль, взлохмаченную ногами пленных; сердце, тоскою зажатое в кулак, трепыхалось неровными бросками... Глядел в каждые глаза, обведенные иссиня-черными кругами, переводил взгляд с одного безумного лица на другое и ждал, что вот-вот в одном из этих серошинельных узнает брата Федора.

На площади, около общественного сарая, где раньше ссыпался станичный хлеб, пленных остановили. Увидал Митька, как на крыльцо правления вышел отец, левой рукой теребя темляк на шашке, гаркнул:

— Шапки долой!..

Медленно-медленно сняли красногвардейцы шапки, стали, свесив лохматые головы, изредка перешептывались. Опять знакомый грозный голос:

— В ряды стройся!.. Да живо, красная сволочь!

Шуршат, переступая, босые ноги. Серая шеренга измученных лиц до крыльца правления протянулась.

— По порядку рассчитайсь!..

Осипшие голоса. Заученный поворот голов. А у Митьки в горле судороги, жалость к этим как будто чужим людям, жалость до жгучей боли, до тошного удушья, и в первый раз за всю жизнь ненависть едкая к отцу, к его самодовольной улыбке, к рыжей щетинистой бороде.

— В сарай — шагом — арш!..

Пошли по одному в раззявленное черное хайло дверей. Последнего, низкорослого, шатающегося, ударил Митькин отец ножнами шашки по голове, обвязанной кровавой тряпкой; пробежал тот, спотыкаясь и раскачиваясь, шагов пять и тяжело упал вниз лицом на жесткую, утоптанную ногами землю. На площади хохот, гул голосов, глаза, сузившиеся от смеха, бабьи рты, захлебнувшиеся слюнявым смешком, а Митька вскрикнул надорванно и глухо, лицо закрыл похолодевшими ладонями и, натыкаясь на людей, побежал по улице.

IV

Мать возится у печки, кончает стряпаться. Подошел Митька боком, сказал, глядя в сторону:

— Маманька... испеки пышек... я бы отнес энтим, какие в сарае сидят... пленным.

У матери на глазах мокрая пленка.

— Отнеси, сынок, может — и наш Федя страдает где...

И у пленных матери есть, тоже, небось, ночами подушки не высыхают.

— А как батя узнает?

— Не приведи бог! Ты, Митенька, вечером отнеси. Какие казаки стерегут, отдай им и скажи, чтоб передали...

Солнце, как нарочно, замедляет шаг и ползет над станицей, равнодушное к Митькиному нетерпению и невозмутимое. Насилу дождался, пока спустится темнота, прошел на площадь, ящерицей скользнул между проволочной огорожей и к дверям, а сам рукой придерживает за пазухой узелок с харчами.

— Кто идет? Стой! Стрелять буду!..

— Это я... харчи пленным принес.

— Кто такой? Проваливай, пока приклада не пробовал! Черт тебя носит по ночам! Дня тебе мало харч носить!

— Погоди, Прохорыч, никак, это комендантов парнишка?

— Ты Анисима Петровича сынок?

— Да...

— Тебя кто же с харчами прислал? Отец?

— Н-е-ет... Я сам.

К Митьке подошли двое казаков. Старший, бородатый, ухватил Митьку за ухо.

— Тебя кто, пащенок, научил харчи пленным таскать? Ты того не могешь понять, что они нам есть самые вредные враги? А ежели я про эти дела батяньке твоему доложу? Он как за это тебя примолвит?

— Брось, Прохорыч! Жалко тебе чужого хлеба? В два горла жрать все равно не будешь, возьми харчишки, передадим!

— А ежели Анисим Петрович про то узнает! Тебе рассусоливать хорошо, ты один, а у меня семейство. За подобные дела на фронт пошлют, да к тому же и розог всыплют...

— Да ну тебя к черту, расплакался!.. Эй, парнишонок, ты куда же удираешь? Тащи свои харчи, передам, что ли.

Передал Митька молодому в руки узелок; нагнувшись, шепнул тот ему:

— По средам и пятницам я дежурю... Приноси.

Каждую среду и пятницу вечерами приходил Митька на площадь; стараясь не зацепиться за колючую проволоку, лез через огорожу, передавал часовому узелок и возвращался домой, пригибаясь у плетней и оглядываясь.

V

Каждый день, как только над станицей золотисто-розовым пологом растопыривалась ночь, из сарая выводили кучки пленных красногвардейцев и под конвоем гнали в степь — к ярам, закутанным белесым туманом. До станицы ветром доносило отзвук трескучего залпа и реденькие винтовочные выстрелы. Когда пленных уводили больше двадцати человек, следом, поскрипывая колесами, шуршала пулеметная тачанка. Номера дремали на широких козлах, кучер блестел цигаркой и лениво шевелил вожжами, лошади переступали неохотно и разнобоисто, а оголенный пулемет, без чехла, тускло блестел дырявой пастью, словно зевал спросонок. Спустя полчаса где-то в ярах пулемет сухо и отрывисто татакал, кучер полосовал кнутом взмыленных, храпящих лошадей, номера тряслись, подпрыгивая на козлах, и тройка лихо останавливалась возле комендантской, глазевшей на сонную улицу тремя освещенными окнами.

В среду вечером отец сказал Митьке:

— Ты все лодырничаешь? Веди-ка нынче в ночное Гнедого, да смотри — в хлеба не пущай! Только потрави у меня чей-нибудь хлеб, я тебе всыплю чертей!..

Обротал Митька Гнедого, матери успел шепнуть:

— Отнеси, маменька, харчи сама... Отдашь часовому.

Уехал вместе со станичными ребятами на отвод, за атаманскую землю. Вернулся на другой день, утром до восхода солнца. Отворил калитку, скинул с Гнедого уздечку, хлопнул его по пузу, припухшему от зеленки, и пошел в хату. В кухню вошел — на полу и на стенах кровь. Угол печки в чем-то кровянисто-белом. Из горницы клокочущий хрип, мычанье... Переступил Митька порог, а на полу мать лежит, вся кровью подплыла, лицо багрово-пухлое, волосы на глаза свисают кровянистыми сосульками. Увидала Митьку, замычала, задергалась, а сама слова не скажет. Ворочается в распухшем рту посинелый язык, глаза смеются дико и бессмысленно, из перекошенного рта розоватые пузырчатые слюни...

— Ми... ми... тя... тя... тя... тя...

И смех глухой, стонущий...

Упал на колени Митька, руки материны целовал, глаза, залитые черной кровью. Обнял голову, а на пальцах кровь и комочки белые слизистые... На полу около валяется отцовский наган, рукоятка в крови...

Не помнит, как выбежал. Упал возле плетня, а соседка из своего двора кричит:

— Ой, убегай, сердешный, куда глазыньки твои глядят! Узнал отец, что мать носила пленным харч, убил ее до смерти и на тебя грозился!

VI

Месяц прошел с тех пор, как нанялся Митька в бахчевники. Жил в шалаше на макушке горы. Видно оттуда молочно-белую ленту Дона, станицу, пристывшую под горою, и кладбище с бурыми пятнышками могил. Когда нанимался, шумели казаки:

— Это Анисимов сын! Не надо нам таких-то! У него брат в Красногвардии и мать, сука, пленных кормила. На осину его, а не в бахчевники!

— Он, господа старики, платы не просит. Говорит, за Христа ради буду стеречь бахчи. Будет ваша милость — дадите кусок хлеба, а нет — и так издохнет...

— Не дадим, нехай издыхает!..

Но атамана все же послушались. Наняли. Да и как же не нанять обществу мирского батрака: никакой платы не просит и будет стеречь станичные бахчи круглое лето за Христа ради. Прямая выгода...

Поспевали, пухли под солнцем желтые дыни и пятнистые полосатые арбузы. Понуро ходил Митька по бахчам, пугал грачей криком и звонкоголосой трещоткой. По утрам вылезал из шалаша, ложился около стенки на перепревший бурьян, вслушивался, как за Доном бухали орудия, и долго затуманившимися глазами глядел в ту сторону.

На гору мимо бахчей, мимо обрывистых меловых яров гадючьим хвостом извивается кочковатый летник. По нему сено возят летом станичные казаки, по нему гоняют к ярам расстреливать пленных красногвардейцев. Ночами часто просыпается Митька от хриплых криков и выстрелов внизу, за левадами, за густою стеною верб, после выстрелов воют собаки, и по летнику громыхают шаги, иногда стрекочет тачанка, тлеют огоньки папирос, говор сдержанный доносится. Как-то ходил Митька туда, где путаным узлом вяжутся извилистые яры, видал под откосом засохшую кровь, а внизу, на каменистом днище, где вода размыла неглубокую могилу, чья-то босая нога торчала; подошва сухая, сморщенная, и ветер степной, шарящий по ярам, вонь трупную ворошит. С тех пор не ходил...

В этот день из станицы по летнику шли толпою раньше обыкновенного: по бокам — казаки из конвойной команды, посредине они — красногвардейцы в шинелях, накинутых внапашку. Солнце окуналось в сверкающую белизну Дона медлительно, словно хотело поглядеть на то, что не делалось при дневном свете. В левадах на верхушки верб черной тучей спускались грачи. Тишина паутиной расплелась над бахчами. Из шалаша провожал Митька глазами до поворота тех, что шли по летнику, и внезапно услышал крик, выстрелы, еще и еще...

Выскочил Митька из шалаша на пригорок, увидел: по летнику к ярам бегут красногвардейцы, а казаки, припав на колено, суетливо стреляют, двое, махая шашками, бегут следом.

Выстрелы звоном будоражат застывшую тишину.

Тук-так, так-так... Та-та-тах!

Вот один споткнулся, упал на руки, вскочил, опять бежит... Казак ближе, ближе...

Вот, вот... Полукружьем блеснула шашка, упала на голову... рубит лежачего...

У Митьки в глазах темнеет и зноем наливается рот.

VII

В полночь к шалашу подскакали трое конных.

— Эй, бахчевник! Выдь на минутку!

Вышел Митька.

— Ты не видал вечером, куда побегли трое в солдатских шинелях?

— Не видал.

— Смотри не бреши. Строго ответишь за это!

— Не видал... не знаю...

— Ну, делать тут нечего. Надо по ярам до Филиновского леса ехать. Лес оцепим, там их, гадов, и сцапаем...

— Трогай, Богачев...

До белой зари не спал Митька. На востоке погромыхивал гром, небо густо залохматело свинцовыми тучами, молния слепила глаза. Находил дождь.

Перед рассветом услыхал Митька возле шалаша шорох и стон.

Прислушался, стараясь не ворохнуться. Ужас парализовал тело. Снова шорох и протяжный стон.

— Кто тут?

— Человек добрый, выйди, ради бога!..

Вышел Митька, нетвердо ступая дрожащими ногами, и у задней стены шалаша увидел запрокинувшегося навзничь человека.

— Кто такое?

— Не выдай... не дай пропасть... Я вчера из-под расстрела убег... казаки ищут... у меня нога... прострелена...

Хочет Митька слово сказать, а горло душат судороги, опустился на колени, подполз на четвереньках и ноги в солдатских обмотках обнял.

— Федя... Братунюшка! Родненький...

Нарубил и перетаскал в шалаш ворох засохших подсолнечных будыльев, уложил Федора в углу, навалил бурьяну и подсолнухов, а сам пошел по бахчам.

До полудня гонял с зеленых курчавых полос настырных грачей, самого тянуло пойти в шалаш, смотреть в родные братнины глаза, слушать еще и еще рассказ о пережитых страданиях и радостях. Твердо было решено между ними: как только смеркнется — завязать Федору покрепче раненную ногу и знакомыми стежками лесными кружно пройти до Дона, переплыть на ту сторону, к тем, у кого правда живет, кто бьется с казаками за землю и бедный народ. С утра до полудня по летнику скакали из станицы казаки, раза два заворачивали к Митьке напиться воды в шалаше. Уже перед вечером увидал Митька, как с песчаного кургана, блестевшего белой лысиной, съехали человек восемь конных и шагом пустили под гору усталых, спотыкающихся лошадей. Сел Митька возле шалаша, провожая глазами сутулые фигуры верховых, не поворачивая головы, сказал Федору вполголоса:

— Лежи, не ворочайся, Федя! Один конный бегит по бахчам к шалашу.

Из-под вороха бурьяна глухо загудел голос Федора:

— А остальные ждут его или поскакали в станицу?

— Энти тронули рысью, скрываются под горою!.. Ну, лежи.

Привстав на стременах, покачивается казак, плетью помахивает, лошадь от пота мокрая.

Шепнул Митька, бледнея:

— Федя... отец скачет!..

Рыжая отцовская борода пóтом взмокла, обгоревшее на солнце лицо — иссиня-багрово. Осадил лошадь у самого шалаша, слез, к Митьке подошел вплотную.

— Говори: где Федор?

Вонзил в побелевшее Митькино лицо кровью налитые

глаза. От синего казачьего мундира пóтом воняет и нафталином.

— Был он у тебя ночью?

— Нет.

— А это что за кровь возле шалаша?

Нагнулся отец к земле, пунцовая шея вывалилась из-под воротника жирными складками.

— А ну, веди в шалаш!

Вошли — отец впереди, почерневший Митька сзади.

— Смотри, змееныш... Ежели укрываешь ты Федьку, то и его и тебя на распыл пущу!..

— Нету... не знаю...

— Это что у тебя за бурьян в углу?

— Сплю на нем.

— Посмотрим.— Шагнул отец в угол, присел на корточки, медленно расковырял чахлый шуршащий бурьянок и подсолнечные будылья.

Митька сзади. Перед глазами синий обтянутый на спине мундир колыхается плавными кругами.

Через минуту изо рта отца хриплое:

— Ага-а-а-а... Это что?

Босая Федорова нога торчит промеж коричневых стеблей. Отец правой рукой лапает на боку кобуру нагана. Качаясь, прыгнул Митька, цепко ухватил стоящий у стенки топор, ухнул от внезапно нахлынувшего тошного удушья и, с силой взмахнув топором, ударил отца в затылок...

* * *

Прикрыли похолодевшее тело бурьяном и ушли. Ярами, буреломом, густым терновником шли, ползли, продирались. Верстах в восьми от станицы, там, где Дон, круто заворачивая, упирается в седую гору, спустились к воде. Плыли на косу; быстро сносило нахолодавшей за ночь водой Федор, стоная, цеплялся за Митькино плечо.

Доплыли. Долго лежали на влажном зернистом песке.

— Ну, пора, Федя! Эта половина, должно быть, неширокая.

Спустились к воде. Дон снова облизывает лица и шеи, отдохнувшие руки увереннее кромсают воду.

Под ногами земля. Застывшая в темноте гущина леса. Торопливо зашагали...

Светало. Где-то совсем близко ахнуло орудие. На востоке чахло румяную каемку протянул рассвет.

1923

ПУТЬ-ДОРОЖЕНЬКА

Повесть

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Вдоль Дона до самого моря степью тянется Гетманский шлях. С левой стороны пологое песчаное Обдонье, зеленое чахлое марево заливных лугов, изредка белесые блестки безыменных озер; с правой — лобастые насупленные горы, а за ними, за дымчатой каемкой Гетманского шляха, за цепью низкорослых сторожевых курганов — речки, степные большие и малые казачьи хутора и станицы и седое вихрастое море ковыля.

* * *

Осень в этом году пришла спозаранку, степь оголила, брызнула жгучими заморозками.

Утром, перебирая в постовальне шерсть, сказал отец Петру:

— Ну, сынок, теперь работенки нам хоть убавляй! Морозы двинули, казачки шерсть перечесывают, а наше дело — струну поглаживай да рукава засучай повыше, а то спина взмокнет!..

Приподнимая голову, улыбнулся отец, сощурились выцветшие серые глаза, на щеках, залохматевших серой щетиной, вылегли черные гнутые борозды.

Петр, сидя на столе, обделывал колодку; поглядел, как на усталом лице отца тухнет улыбка, промолчал.

В постовальне душно до тошноты, с кособокого потолка размеренно капает, мухи ползают по засиженному слюдяному оконцу. Сквозь него заиневший плетень, вербы, колодезный журавль кажутся бледно-радужными, покрытыми ржавой прозеленью. Взглянет мельком Петр во двор, переведет взгляд на голую согнутую спину отца, шевеля губами высчитывает уступы на позвоночном столбе и долго глядит, как движутся лопатки и дряблая кожа морщинистыми комками собирается на отцовой спине.

Узловатые пальцы привычно быстро выбирают из шерсти репьи, колючки, солому, и в такт движениям руки качаются лохматая голова и тень ее на стене. Приторно

и остро воняет пареной овечьей шерстью. Пот бисерным горошком сыплется у Петра по лицу, мокрые волосы свисают на глаза. Вытер ладонью лоб, колодку кинул на подоконник.

— Давай, батя, полудновать? Солнце, гля-кось, куда влезло, почти в обеды.

— Полудновать? Погоди... Скажи на милость, сколько этого репья!.. Битый час гнусь над шерстью.

Соскочил Петр со стола, в печь заглянул. Потные щеки жадно лизнула жарынь.

— Я, батя, достаю щи. Больно оголодал, жрать охота!..

— Ну, тяни, работа потерпит!

Сели за стол, не надевая рубах; не торопясь, хлебали щи, сдобренные постным маслом.

Петр покосился на отца, сказал, прожевывая:

— Худой ты стал, будто хворость тебя точит. Не ты хлеб ешь, а он тебя!..

Задвигал скулами, улыбаясь, отец:

— Чудак ты какой! Равняй себя с отцом: мне на покров пойдет пятьдесят семой, а тебе — семнадцать с маленьким. Старость точит, а не хворь!..— и вздохнул.— Мать-покойница поглядела бы на тебя...

Помолчали, прислушиваясь к басовитому жужжанию мух. На дворе остервенело забрехала собака. Мимо окна — топот ног. Распахнулась дверь, стукнувшись о чан с вымоченной шерстью, и в землянку вошел задом Сидор-коваль. Шапки не снимая, сплюнул под ноги.

— Ну и кобеля содержите! Норовит, проклятый, не куда-нибудь кусануть, а все повыше ног прицеляется.

— Он сознает, что ты за валенками идешь, а они не готовы, потому и препятствует.

— Я не за валенками пришел.

— А ежели не за ними, то присаживайся вот сюда, на бочонок, гостем будешь!

— В кои веки в гости заглянул, и то на мокрое сажаешь! Не будь, Петруха, таким вредным человеком, как твой батянька!..

Посмеиваясь в кустистую бороденку, присел Сидор около двери на корточки, долго сворачивал негнущимися пальцами цигарку и, закуривая, плямкая губами, пробурчал:

— Ничего не знаешь, дед Фома?

Отец, заворачивая шерсть в мешок, качнул головой, улыбнулся, но в глазах Сидора прощупал острые огоньки радости и насторожился.

— Что такое?

Сквозь пленку табачного дыма проглянуло лицо Сидора, губы по-заячьи ежились в улыбку, глаза суетились под белесыми бровями обрадованно и тревожно.

— Красные жмут, по той стороне к Дону подходят. У нас в станице поговаривают — отступать... Нынче на заре вожусь в своей кузнице, слышу — скачут по проулку конные. Выглянул, а они к кузнице моей бегут. «Кузнец тут?» — спрашивают. «Тут»,— говорю. «В два счета чтобы кобылицу подковал, ежели загубишь — плетью запорю!..» Выхожу я из кузницы, как полагается, черный от угля. Вижу — полковник, по погонам, и при нем адъютант. «Помилуйте, говорю, ваше высокородие. Дело я свое до тонкости знаю». Подковал я ихнюю кобылку на передок, молотком стучу, а сам прислушиваюсь. Вот тут-то и понял, что дело ихнее — табак!..

Сидор сплюнул, затоптал ногой цигарку.

— Ну, прощевайте! На свободе забегу покалякать.

Хлопнула дверь, пар заклубился над потными стенами постовальни. Старик долго молчал, потом, руки вытирая, подошел к Петру.

— Ну, Петруха, вот и дождались своих! Недолго казаки над нами будут панствовать!

— Боюсь я, батя, брешет Сидор... Какой раз он нам новости приносит, все вот да вот придут, а ихним и духом вблизи не пахнет...

— Дай время, так запахнет, что казаки и нюхать не будут успевать!

Крепко сжал старик жилистый кулак, румянец чахло зацвел на обтянутых кожей скулах.

— Мы, сынок, с малых лет работаем на богатых. Они жили в домах, построенных чужими руками, ели хлеб, политый чужим потом, а теперича пожалуйте на выкат!..

Едкий кашель брызнул из отцова горла. Молча махнул рукой, сгорбившись и прижимая ладони к груди, долго стоял в углу, возле чана, потом вытер фартуком губы, покрытые розоватой слюной, и улыбнулся.

— По двум путям-дороженькам не ходят, сынок! Вышла нам одна, по ней и иди, не виляя, до смерти. Коли родились мы постовалами-рабочими, то должны свою рабочую власть и поддерживать!..

Под пальцами старика струна запела, задрожала тягучими перезвонами. Пыль паутинистой занавеской запутала окно. Солнце на минуту заглянуло в окошко и, торопясь, покатилось под уклон.

II

На другой день в постовальню пришел офицер и с ним сиделец из станичного правления. Молодой одутловатый хорунжий спросил, щелкая хлыстом по новеньким крагам:

— Ты — Кремнев Фома?

— Я.

— По приказанию станичного атамана и начальника интендантского управления я обязан забрать у тебя весь имеющийся запас готовых валенок. Где они у тебя?

— Ваше благородие, мы с сыном год работали. Ежели вы заберете их, мы подохнем с голоду!..

— Это не мое дело! Я должен конфисковать валенки. У нас казаки на фронте разуты. Я спрашиваю: где они хранятся у тебя?

— Господин хорунжий!.. Ведь не пóтом, кровью мы их поливали! Ведь это хлеб наш!..

У хорунжего на прыщавых щеках ползет слизняком ехидная улыбочка. Зубы золотые из-под усов поблескивают.

— Говорят, ты большевик? В чем же дело? Придут красные, они тебе заплатят за валенки!..

Попыхивая папироской, звякая шпорами, шагнул в угол, ручкой хлыста сковырнул рядно.

— Ага, вот эти самые валенки мы и заберем! Шустров, бери и выноси во двор, подвода сейчас подъедет.

Отец и Петька плечо к плечу стали, собой заслонили сложенные в углу валенки.

Пунцовой яростью вспух хорунжий; роняя с трясущихся губ теплые брызги слюны, но сдерживаясь, прохрипел:

— Я с тобой завтра буду по-иному разговаривать, когда тебя, старую собаку, за шиворот притянут в военно-полевой суд!

Оттолкнул старого постовала, ногами совал к порогу сглаженные, просушенные валенки. Сиделец брал их в охапку и выбрасывал в настежь открытую дверь.

За плетнем прогромыхала бричка, остановилась у ворот. Из угла пара за парой убывали валенки. Молчал старик, но когда сиделец мимоходом взял с печки и его приношенные сидые валенки, шагнул к нему и неожиданно отвердевшей рукой прижал его к печке. Сиделец с рябым туповатым лицом рванулся — поношенная рубашка мягко расползлась у ворота — и, не размахиваясь, ударил старика в лицо.

Петька вскрикнул, кинулся к отцу, но на полдороге от сильного удара рукоятью нагана в висок упал, вытягивая руки.

Хорунжий вывернул кровью дурной налитые глаза, подскочил к старому постовалу, звонко хлестнул его по щеке.

— Руби его, Шустров!.. Я отвечаю!.. Да бей же, в закон твою мать!..

Сиделец, не выпуская из левой руки валенок, правой потянулся к шашке. Упал старик на колени, голову нагнул, на высохшей коричневой спине задвигались лопатки. Глянул сиделец на седую голову, уроненную до земли, на дряблую кожу старика, обтянувшую костистые ребра, и, пятясь задом, поглядывая на офицера, вышел.

Хорунжий бил старика хлыстом, хрипло, отрывисто ругался... Удары гулко падали на горбатую спину, вспухали багровые рубцы, лопалась кожа, тоненькими полосками сочилась кровь, и без стона все ниже, ниже к земляному полу падала окровавленная голова постовала...

* * *

Когда очнулся Петька, приподнялся качаясь, в постовальне никого не было. В распахнутую дверь холодный ветер щедро сыпал блеклые листья тополей, порошил пылью, а возле порога соседская сука торопливо долизывала густую лужицу запекшейся черной крови.

III

Через станицу лежит большой тракт.

На прогоне, возле часовни, узлом сходятся дороги с хуторов, тавричанских [1] участков, соседних выселков. Через станицу на Северный фронт идут казачьи полки, обозы, карательные отряды. На площади постоянно народ. Возле правления взмыленные лошади нарочных грызут порыжелый от дождей палисадник. В станичных конюшнях интендантские и артиллерийские склады 2-го Донского корпуса.

---

[1] Тавричанами называли на Дону украинцев, чьи предки были по приказу Екатерины II переселены из южных, соседних с Крымом (Таврией) мест.

Часовые кормят разжиревших свиней испорченными консервами. На площади пахнет лавровым листом и лазаретом. Тут же тюрьма. Наспех сделанные ржавые решетки. После ворот — охрана, полевая кухня, опрокинутая вверх дном, и телефонная будка.

А по станице, по глухим сплюснутым переулкам вдоль хворостяных плетней ветреная осень метет ржавое золото листьев клена и кудлатит космы камыша под крышами сараев.

Прошел Петька до тюрьмы. У ворот — часовые.

— Эй ты, малый, не подходи близко!.. Стой, говорят тебе!.. Тебе кого надо?

— Отца повидать... Кремнев Фома по фамилии.

— Есть такой. Погоди, спрошу у начальника.

Часовой идет в будку, из-под лавки выкатывает надрезанный арбуз, медленно режет его шашкой, ест, с хрустом чавкая и сплевывая под ноги Петьке бурые семечки.

Петька смотрит на скуластое, бронзовое от загара лицо, дожидается, пока часовой кончит есть. Тот, размахнувшись, бросает арбузную шляпку в ковыляющую мимо свинью, долго и серьезно смотрит ей вслед и, позевывая, берет телефонную трубку.

— Тут к Кремневу парнишка пришел на свидание. Дозволите пропустить, ваше благородие?

Петька слышит, как в телефонной трубке хрипит чей-то рокочущий бас, слов не разберет.

— Погоди тут, тебя обыщут!..

Минуту спустя в калитку выходят двое казаков.

— Кто к Кремневу? Ты? Поднимай руки вверх!..

Шарят в Петькиных карманах, щупают рваный картуз, подкладку пиджака.

— Скидай штаны! Ну, сволочь, засовестился... Что ты, красная девка, что ли?..

Калитка хлопает за Петькиной спиной, гремит засов, мимо решетчатых окон идут в комендантскую, и из каждой щели на Петьку смотрят разноцветные глаза.

В длинном коридоре воняет человеческими испражнениями, плесенью. Каменные стены цветут влажным зеленым мхом и гнилыми грибами. Тускло светят жирники. У крайней двери часовой остановился, выдернул засов, пинком ноги распахнул дверь.

— Проходи!

Нащупывая ногами дырявый пол, протягивая вперед руки, идет Петька к стене. Сверху сквозь малюсенькое

окошечко, выдолбленное под самым потолком, просачивается голубой свет осеннего дня.

— Петяшка?.. Ты?!

Голос отца стучит перебоями, как у долго болевшего. Рванулся Петька вперед, на полу нащупал босой ногой войлок, присел и молча охватил руками перевязанную отцову голову.

Часовой стоит, прислонясь к растворенной двери, играет ремнем шашки, поет разухабистое «страдание».

Под сводчатым потолком испуганно шарахается эхо. Петькин отец, захлебываясь, сыплет бодрящим смешком, а в круглоглазое окошко с пола видно Петьке, как на воле клубятся бурые тучи и под ними режут небо две станицы медноголосых журавлей.

— Два раза вызывали на допрос... Следователь бил ногами, заставлял подписать показания, какие я сроду не давал. Не-ет, Петяха, из Кремнева Фомы дуриком слова не вышибешь!.. Пущай убивают, им за это денежки платят, а с того путя-дороженьки, какой мне на роду нарисован, не сойду.

Петька слышит знакомый сипловатый смешок и с щекочущей радостью вглядывается в опухшее от побоев землисто-черное лицо.

— Ну, а теперя как же? Долго будешь сидеть, батяня?

— Сидеть не буду! Выпустят ноне или завтра... Они меня, сукины коты, за милую душу расстреляли бы, но боятся, что мужики иногородние забастовку сделают. А им это, ох, как не по нутру!

— Навовсе выпустят?

— Нет. Для пущей видимости назначают суд из стариков нашей станицы. Судить будут сходом... А там поглядим, чья сторона осилит!.. Бабушка Арина надвое сказала!..

Часовой у двери щелкнул пальцами и, притоптывая ногой, крикнул:

— Эй ты, веселый человек, прогоняй сына! Свидание ваше на нынче прикончилось!..

IV

Перед вечером в постовальню к Петьке прибежал соседский парнишка.

— Петро!

— Ну?

— Беги скореича на сход!.. Отца твово убивают на площади, возле правления!..

Не надевая шапки, опрометью кинулся Петька на площадь.

Бежал что есть мочи по кривенькому, притаившемуся у речки переулку. Впереди вдоль красноталого плетня маячила розовая рубашка соседского парнишки; ветром запрокидывало у него через голову желтые, выгоревшие под летним солнцепеком пряди волос, около каждого двора верещал пискливый рвущийся голосишко:

— Бегите на площадь! Фому-постовала убивают казаки!..

Из ворот и калиток выбегали кучки ребятишек, дробно топотали по переулку босыми ногами.

Когда подбежал к правлению Петька, на площади никого не было, переулки и улицы всасывали уходящих людей.

Возле ворот поповского дома толстая попадья, приложив к глазам руку лодочкой, смотрит на бегущего Петьку. У попадьи на ситцевое платье накинута шаль, в тонких ехидных губах застряла недоумевающая улыбочка. Постояла, глядя вслед Петьке, почесала ногою толстую, студнем дрожащую икру и повернулась к дому.

— Феклуша, где же постовала бьют?

— И вот тебе крест! Своими глазыньками видала, матушка, как его били!..— По порожкам крыльца зашлепали шаги. К попадье, ковыляя, подбежала кривая кухарка, махая руками, захлебнулась визгливым голосом: — Гляжу я, матушка, а его ведут из тюрьмы на сходку. Казаки шум приподняли, ему хоть бы что! Идет, старый кобель, и ухмыляется, а сам собой весь черный до ужасти!.. Его еще допрежде господа офицеры били... Подвели его к крыльцу и как начнут бить, только слышу — хрясь!.. хрясь!..— а он как заревет истошным голосом, ну, тут его и прикончили... кто колом, кто железякой, а то все больше ногами.

С крыльца правления, вихляя задом, сошел станичный писарь.

— Иван Арсеньевич, подите на минуточку!

Писарь одернул широчайшие галифе и мелким шагом, любуясь начищенными носками сапог, направился к попадье. Не дойдя шагов восемь, перегнул назад сутулую спину и, стараясь подражать интендантскому полковнику, небрежно приложил два пальца к козырьку фуражки.

— Добрый день, Анна Сергеевна!

— Здравствуйте, Иван Арсеньевич! Что это у вас за убийство было?

Писарь презрительно оттопырил нижнюю губу:

— Постовала Фому убили казаки за принадлежность к большевизму.

Попадья передернула пухлыми плечами и простонала:

— Ах, какие ужасы!.. Неужели и вы принимали участие в этом убийстве?

— Да... как сказать... Знаете ли, когда начали его, мерзавца, бить, а он, лежа на земле, кричит: «Убейте, от Советской власти не отступлюсь!» — тут, конечно, и его ударил сапогом — и сожалею, что связался. Одна неприличность только... сапог и брюки в кровь измарал...

— Я не воображала, что вы такой жестокий человек!

Попадья, прищурив глазки, улыбалась франтоватому писарю, а у крыльца правления Петька присел на мокрый от крови песок и, окруженный цветной ватагой ребятишек, долго смотрел на бесформенно-круглый кровянистый ком...

V

Летят над станицей журавли, сыплют на захолодавшую землю призывные крики. Из окошка постовальни смотрит, часами не отрываясь, Петька.

Пришел в постовальню Сидор-коваль, поглядел, как промеж двух кирпичей растирает Петька зерна кукурузы, вздохнул:

— Эх, сердяга, страданьев сколько ты принимаешь!.. Ну, ничего, не падай духом, скоро придут наши, легче будет жить! А завтра беги ко мне, я те муки меры две всыплю.

Посидел, нацедил сквозь прокуренные зубы сизую лужу махорочного дыма, наплевал возле печки и ушел, вздыхая и не прощаясь.

А легче пожить ему не довелось. На другой день перед закатом солнца шел через площадь Петька; из ворот тюрьмы выехали два казака верхами, между ними в длинной, ниже колен, холщовой рубахе шел Сидор. Ворот расшматован до пояса, в прореху видна обросшая курчавыми и жесткими волосами грудь.

Поравнялся с Петькой и, сбиваясь с ноги, голову к нему обернул:

— На распыл меня ведут, Петенька, голубчик, прощай!

Рукой махнул и заплакал...

Как в тяжелом, удушливом сне таяло время. Завшивел

Петька, желтые щеки обметало волокнистым пушком, выглядел старше своих семнадцати лет.

Плыли-плыли, уплывали спеленатые черной тоскою дни. С каждым днем, уходившим за околицу вместе с потускневшим солнцем, ближе к станице продвигались красные: пухла, водянкой разливалась тревога в сердцах казаков.

Утром, когда выгоняли бабы коров на прогон, слышно было, как бухали орудия за Щегольским участком. Глухой гул метался над дворами, задремавшими в зеленой утренней мгле, тыкался в саманные стены постовальни, ознобом тряс слюдяные оконца. Слезал Петька с печки, накидывая зипун, выходил во двор, ложился около сморщенной старушонки-вербы на землю, скованную незастаревшим, тоненьким ледком, и слушал, как от орудийных залпов охала, стонала, кряхтела по-дедовски земля, а за кучей сгрудившихся тополей, смешиваясь с грачиным криком, захлебываясь, стрекотали пулеметы.

Вот и нынче вышел Петька во двор раньше раннего, прижался ухом к мерзнущей земле, обжигаясь липким холодком, слушал. Сонно бухали орудия, а пулеметы бодро, по-молодому выбивали в морозном воздухе глухую чечетку:

Та-та-та-та-та...

Сначала пореже, потом чаще, минутный перебой — и снова еле слышное:

Та-та-та-та-та...

Чтобы не мерзли колени, подложил Петька под ноги полу зипуна, прилег поудобнее, а из-за плетня простуженный голосок:

— Музыку слушаешь, паренек? Музыка занятная...

Дрогнул Петька, вскочил на корточки, а через плетень сверлят его из-под клочковатых бровей стариковские глаза, в бороде пожелтелой хоронится ухмылочка.

Угадал Петька по голосу деда Александра, Четвертого по прозвищу. Сказал сердито, стараясь переломить в голосе дрожь:

— Иди, дед, своей дорогой! Твое дело тут вовсе не касается!..

— Мое-то не касается, а твое, видно, касается?

— Не цепляйся, дед, а то пужану в тебя вот этим каменюкой, после жалиться будешь!

— Больно прыток! Прыток больно, говорю! Я тебя, свистуна, костылем могу погладить за такое к старику почтение!..

— Я тебя не трогаю, и ты меня не трожь!..

— Сопля ты зеленая, по-настоященски ежели разбираться, а тоже щетинишься!

Взялся дед за колья плетня и легко перекинул через огорожу сухое, жилистое тело. Подошел к Петьке, оправляя изорванные полосатые порты, присел рядышком.

— Пулеметы слыхать?

— Кому слыхать, а кому и нет...

— А мы вот послухаем!..

Петька, скосившись, долго глядел на растянувшегося плашмя деда, потом нерешительно сказал:

— За вербой ежели прилечь, дюжей слышно.

— Послухаем и за вербой!

Переполз дед на четвереньках за вербу, обнял оголенные коричневые корни руками, на корни похожими, и минуты на две застыл в молчании.

— Занятно!..— Привстал, отряхая с колен мохнатый иней, и повернулся к Петьке лицом.— Ты, малец, вот что: я наскрозь земли могу все видать, а тебя с полету вижу, чем ты и дышишь. Слухать этую музыку мы могем до бесконечности, но мы с сыном не то надумали... Знаешь ты мово Яшку? Какого за большевизму пороли нашенские казаки?

— Знаю.

— Ну, так мы с ним порешили навстречу красным идтить, а не ждать, покель они к нам припожалуют!..

Нагнулся дед к Петьке, бородой щекочет ухо, дышит кислым шепотком:

— Жалко мне тебя, паренек. Вот как жалко!.. Давай уйдем с нами отсель, расплюемся с Всевеликим войском Донским! Согласен?

— А не брешешь ты, дед?

— Молод ты мне брехню задавать! По-настоященски выпороть тебя за такие подобные!.. Одна сучка брешет, а я вправду говорю. Мне с тобой торговаться вовсе без надобности, оставайся тут, коли охота!..— И пошел к плетню, мелькая полосатыми портами.

Петька догнал, уцепился за рукав.

— Погоди, дедушка!..

— Неча годить. Желаешь с нами идтить — в добрый час, а нет, так баба с возу — кобыле легче!..

— Пойду я, дедушка. А когда?

— Про то речь после держать будем. Ты заходи нынче к нам ввечеру, мы на гумне с Яшкой будем.

VI

Александр Четвертый испокон века старичишка забурунный, во хмелю дурной, а в трезвом виде человек первого сорта. Фамилии его никто не помнит. Давненько, когда пришел со службы из Иваново-Вознесенска, где постоем стояла казачья сотня, под пьянку заявил на станичном сходе старикам:

— У вас царь Александр Третий, ну, а я хоть и не царь, а все-таки Александр Четвертый, и плевать мне на вашего царя!..

По постановлению схода лишили его казачьего звания и земельного пая, всыпали на станичном майдане пятьдесят розог за неуважение к высочайшему имени, а дело постановили замять. Но Александр Четвертый, натягивая штаны, низко поклонился станичникам на все четыре стороны и, застегивая последнюю пуговицу, сказал:

— Премного благодарствую, господа старики, а только я этим ничуть не напужанный!..

Станичный атаман атаманской насекой стукнул:

— Коли не напуженный — еще подбавить!..

После подбавления Александр не разговаривал. На руках его отнесли домой, но прозвище Четвертый осталось за ним до самой смерти.

Пришел Петька к Александру Четвертому перед вечером. В хате пусто. В сенцах муругая коза гложет капустные кочерыжки. По двору прошел к гуменным воротцам — открыты настежь. Из клуни простуженный голосок деда:

— Сюда иди, паренек!

Подошел Петька, поздоровался, а дед и не смотрит. Из камня мастерит молотилку, рубцы выбивает, стоя на коленях. Брызжут из-под молота ошкребки серого камня и зеленоватые искры огня. Возле веялки сын деда, Яков, головы не поднимая, хлопочет, постукивает, прибивая к бортам оборванную жесть.

«К чему хозяйствуют-то, в зиму глядя?» — подумал Петька, а дед стукнул последний раз молотком, сказал, не глядя на Петьку:

— Хотим оставить старухе все хозяйство в справности. Она у меня бедовая, чуть что — крику не оберешься! Может, кинул бы свою справу как есть, но опасаюсь, что нареканиев много будет. Ушли такие-сякие, скажет, а дома хоть и травушка не расти!..

Смеются у деда глаза. Встал, похлопал Петьку по шее, сказал Якову:

— Кончай базар, Яша! Давай вот с постоваловым сынком потолкуем насчет иного-прочего.

Выплюнул Яков изо рта на ладонь мелкие гвоздочки, которыми жесть на веялке прибивал, подошел к Петьке, губы в улыбку растягивая:

— Здорово, красненький!

— Здравствуй, Яков Александрович!

— Ну как, надумал с нами уходить?

— Я вчера деду Александру сказал, что пойду.

— Этого мало... Можно с дурной головой собраться в ночь, и прощай станица! А надо памятку по себе какую-нибудь оставить. Оченно мы много добра от хуторных видели! Батю секли, меня за то, что на фронт не согласился идтить, вовсе до смерти избили, твово родителя... Эх, да что и гутарить!

Нагнулся Яков к Петьке совсем близко, забурчал, ворочая нависшими круглыми бровями:

— Про то знаешь ты, парнище, что они, кадеты то есть, артиллерийский склад устроили в станичных конюшнях? Видал, как туда тянули снаряды и прочее?

— Видал.

— А к примеру, ежели их поджечь, что оно получится?

Дед Александр толкнул Петьку локтем в бок, улыбнулся:

— Жу-уть!..

— Вот папаша мой рассуждает: жуть, говорит, и прочее, а я по-иному могу располагать. Красненькие под Щегольским участком находются?

— Крутенький хутор вчерась заняли,— сказал Петька.

— Ну вот, а ежели, к тому говорится, сделать тут взрыв и лишить казачков харчевого припасу, а также и военного, то они будут отступать без огляду до самого Донца! Во!..

Дед Александр разгладил бороду и сказал:

— Завтра, как толечко начнет смеркаться, приходи к нам на это самое место... Тут нас подождешь. Прихвати с собой, что требуется в дорогу, а за харч не беспокойся, мы свово приготовим.

Пошел Петька к гуменным воротцам, но дед вернул его:

— Не иди через двор, на улице люди шалаются. Валяй через плетень, степью... Опаска, она завсегда нужна!

Перелез Петька через плетень, канаву, задернутую пятнистым ледком, перемахнул и мимо станичных гумен, мимо седых от инея, нахмуренных скирдов зашагал к дому

VII

Ночью с востока подул ветер, повалил густой мокрый снег. Темнота прижухла в каждом дворе, в каждом переулке. Кутаясь в отцовский зипун, вышел Петька на улицу, постоял возле калитки, прислушался, как над речкой гудят вербы, сгибаясь под тяжестью навалившегося ветра, и медленно зашагал по улице ко двору Александра Четвертого.

От амбара, из темноты, голос:

— Это ты, Петро?

— Я.

— Иди сюда, левей держи, а то тут бороны стоят.

Подошел Петька, у амбара дед Александр с Яковом возится.

Собрались. Дед перекрестился, вздохнул и зашагал к воротам.

Дошли до церкви. Яков, сипло покашливая, прошептал:

— Петруха, ты, голубь мой ясный, неприметнее и ловчее нас... тебя не заметют... Ползи ты через площадь к складам. Видал, где ящики из-под патронов вблизи стены сложенные?

— Видал.

— На тебе трут и кресало, а это конопли, в керосине моченные... Подползешь, зипуном укройся и высекай огонь. Как конопли загорятся, клади промеж ящиков и гайда к нам. Ну, трогай. Да не робей! Мы тебя тут ждать будем.

Дед и Яков присели около ограды, а Петька, припадая животом к земле, обросшей лохматым пушистым инеем, пополз к складам.

Петькин зипунишко прощупывает ветер, холодок горячими струйками ползет по спине, колет ноги. Руки стынут от земли, скованной морозом. Ощупью добрался до склада. Шагах в пятнадцати красным угольком маячит цигарка часового. Под тесовой крышей сарая воет ветер, хлопает оторванная доска. Оттуда, где рдеет уголек цигарки, ветер доносит глухие голоса.

Присел Петька на корточки, закутался с головой в зипун. В руке дрожит кресало, из пальцев иззябших выскакивает трут.

Черк!.. Черк!.. Еле слышно черкает сталь кресала о края кремня, а Петьке кажется, что стук слышен по всей площади, и ужас липкой гадюкой перевивает горло. В назябших пальцах отсырел трут, не горит... Еще и еще удар, задымилась багряная искорка, и светло и нагло пыхнул пук

конопли. Дрожащей рукой сунул под ящики, мгнове
уловил запах паленого дерева и, приподнимаясь на
услышал топот ног, глухие, стрянущие в темноте голо

— Ей-богу, огонь! А-а-а, гляди!!!

Опомнившись, рванулся Петька в настороженную тем
вслед ему грохнули выстрелы, две пули протянули
головой полоски тягучего свиста, третья брунжанием
роздила темноту где-то далеко вправо. Почти добежа
ограды. Позади надсадно кричали:

— По-жа-ар!.. По-жа-ар!..

Стукали выстрелы.

«Только бы до угла добежать!» — трепыхается мы
в голове у Петьки.

Напряг все силы, бежит. Колючий звон режет уш
«Только бы до ограды!..»

Горячей болью захлестнуло ногу, ковыляя, пробе
несколько шагов, ниже колена по ноге ползет теплая
реть... Упал Петька, через секунду вскочил, попрыгал
четвереньках, путаясь в полах зипуна.

Долго сидели дед с Яковом. Ветер турсучил в огр
привязанную к большому колоколу веревку и, раскачи
языки у маленьких колоколов, разноголосо и тихо вызва
вал.

В темноте, возле складов, застывших посреди площад
сутулыми буграми, сначала глухие, изорванные ветр
голоса, потом рыжим язычком лизнул темноту огонь, хло
нул выстрел, другой, третий... У ограды топот, прерывист
дыхание, голос придушенный:

— Дедушка, помоги!.. Нога у меня...

Дед с Яковом подхватили Петьку под руки, с разбе
окунулись в темный переулок, бежали, спотыкались о коч
ки, падали. Миновали два квартала, когда с колокольн
сорвался набат, звонко хлестнул тишину и расплескал
над спящей станицей.

Рядом с Петькой дед Александр хрипит и суетли
вскидывает ногами. Петькины щеки щекочет его раз
тавшаяся борода.

— Батя, в сады!.. В сады держите!..

Перескочили канаву и остановились, переводя дух.

Над станицей, над площадью — словно треснула попо
лам земля. Прыгнул выше колокольни пунцовый столби
огня, густо заклубился дым... Еще и еще взрыв...

Тишина, а потом разом по всей станице взвыли соба
снова грохнул онемевший было набат, истошный баби
крик повис над дворами, а на площади желтое волнист

языками догола вылизывает рухнувшие стены складов и, длиннорукое, тянется к поповским постройкам.

Яков присел за нагим кустом терна, сказал потихоньку:

— Убегать теперь совсем невозможно. По станице хоть иголки собирай, ишь как полыхает!.. Да и ногу Петяшкину надо бы поглядеть...

— Надо подождать зари, пока не угомонится народ, а потом будем продвигаться до казенных лесов.

— Довольно пожилой вы человек, батя, а располагаете промеж себя, как дите! Ну, мыслимо ли это дело — ждать в станице, когда кругом нас теперя ищут? Опять ежели домой объявиться, то нас сразу сбатуют. Мы в станице первые на подозрении.

— Оно так... Ты верно, Яша, говоришь.

— Может, в нашем дворе, в катухе переднюем? — морщась от боли, спросил Петька.

— Ну, это подходящее. Там рухлядь есть какая?

— Кизяки сложены.

— Потихоньку давайте трогаться!.. Батя, и куда вы идете передом? Шли бы себе очень спокойно позаду!

VIII

К утру в прикладке кизяков Яков с Петькой вырыли глубокую яму; чтобы теплее было, застелили ее снизу и с боков сухим бурьяном, спустились туда, а верх заложили сухой повителью, арбузными плетями, свезенными с бахчей для топки.

Яков порвал на себе исподнюю рубаху и перевязал Петьке простреленную ногу. Сидели втроем до самого вечера. Утром во двор приходили люди. Слышен был глухой разговор, лязг замка, потом голос совсем неподалеку сказал:

— Постовалов парнишка, должно, на хуторе работает. Брось, браток, замок выворачивать! На кой он тебе ляд? У постовала в хате одни воши да шерсть, там дюже не разживешься!..

Шаги заглохли где-то за сараем.

Ночью ахнул мороз. С вечера слышно было, как лопалась на проулке земля, с осени щедро набухшая влагой. По небу, запорошенному хлопьями туч, засуетился в ночном походе кособокий месяц. Из темно-синих круговин зазывно подмаргивали звезды. Сквозь дырявую крышу ночь глядела в катух.

В яме под кизяками тепло. Дед Александр, уткнув подбородок в колени, спит, всхрапывая и шевеля ногами. Петька и Яков разговаривают вполголоса.

— Батя, проснись! Когда вы разгуляете сон? В путь пора!

— Ась? В путь пора? Можно...

Долго и осторожно разбирали кизяки. Слегка приоткрыли дверь,— на дворе, по проулку ни души.

Миновали крайний двор в станице, через леваду вышли в степь. До яра саженей сто ползли по снегу. Позади станица с желтыми веснушками освещенных окон пристально смотрит в степь. По яру до Казенного леса шли тихо, осторожно, словно на зверя. Звенел под ногами ледок, снег поскрипывал. Голое каменистое днище яра кое-где запружинивалось сугробом, по нему — голубые петли заячьих следов.

Яр одной отножиной упирается в опушку Казенного леса. Выбрались на пригорок, поглядели вокруг и не спеша потянулись к лесу.

— До Щегольского нам опасно идтить не узнамши. Скоро фронт откроется — могем попасть к белым.

Яков, вбирая голову в растопыренные полы полушубка, долго высекал кресалом огонь. Сыпались огненные капли, сухо черкала сталь о кремень. Трут, натертый подсолнечной золой, зарделся и вонюче задымил. Яков два раза затянулся, ответил отцу:

— Я так полагаю: давайте зайдем к лесничему Даниле, как он есть наш прекрасного знакомства человек. У него узнаем, как нам пройтить через позиции, да кстати и Петяшку малость обогреем, а то он у нас замерзнет вчистую!

— Мне, Яков Александрович, не дюже зябко.

— Молчи уж, не бреши, парнишка! Зипун-то твой не от холода построенный, а от солнышка.

— Трогай, Яша, трогай, сынок! Смотри, куда Стожары поднялись, скоро полночь,— сказал дед.

Саженей полсотни не доходя до лесной сторожки, остановились... У лесника Данилы в окошке огонь, видно, как из трубы лениво ползет дымок. Месяц повис над лесом, неловко скособочившись.

— Должно, никого нет. Пойдемте.

Под сараем забрехала собака. Обмерзшие порожки крыльца скрипят под ногами. Постучались.

— Хозяин дома?

Из сторожки к окну прилипла чья-то борода.

— Дома. А кого бог принес?

— Свои, Данила Лукич, пущай за-ради Христа обогреться!

В сенцах пискнула дверь, засов громыхнул. На пороге лесничий, из-под правой руки глядит на гостей, а в левой винтовку за спину хоронит.

— Никак, ты, дед Александр?

— Он самый... Пущай переночевать-то?

— Кто его знает... Ну, да проходите, небось уместимся!

В комнатушке жарко натоплено. Возле печи на разостланной полсти лежат трое,— в головах седла, в углу винтовки. Яков попятился к двери.

— Кто это у тебя, хозяин?

С полсти голос:

— Аль не узнал станишников? А мы вас со вчерашнего дни поджидаем. Думаем, все одно им Казенного леса и Даниловой сторожки не миновать... Ну, раздевайтесь, дорогие гостечки, переночуем, а завтра без пересадки направим вас на царевы качели!.. Давно по вас веревонька плачет!..

Привстали казаки с полсти, за винтовки взялись.

— Вяжи поджигателям руки, Семен!..

IX

Двое спят на постели, третий сидит за столом, свесив голову; промеж ног у него винтовка. Лесник Данила кинул на пол дерюгу.

— Постели, дед Александр, все костям вольготнее будет!

— Смотри, жалостливый человек, как бы самому на ней спать не пришлось!.. Слышь, лесник? Возьми дерюгу!.. Они склады спалили, за такие дела и на морозе рядом с хозяйской сукой поспать не грех!..

Перед зарей запросился дед на двор:

— Пусти, сынок, сходить требуется по надобности...

— Ничего, дед, мочись в штаны либо в валенок!.. Завтра подвесим тебя на перекладину, там просохнешь!

В окна царапался немощный зимний рассвет. Встали казаки, умылись, сели завтракать. Яков неприметно шепнул отцу и Петьке:

— Бечевку я перетер ночью... Как дойдем до станицы — все врозь,— в леваду, а оттель в гору... в норы, откуда мы камень рыли... Тамотка сроду не возьмут нас!..

Шли связанные конопляной веревкой все трое за руки. Петька припадал на раненую ногу, скрипел зубами от ноющей боли.

Вот и станица, разметавшая по краям седые космы левад, словно баба в горячке. Когда свернули в первый проулок, Яков с перекошенным, побелевшим ртом рванул веревку и, виляя по снегу, кинулся в левады. Дед Александр и Петька следом. Все врозь. Сзади крик:

— Стой, стой, в заразу мать!..

Выстрелы и топот конских ног. Петька, перепрыгивая канаву, оглянулся: дед Александр упал, зарываясь простреленной головой в сугроб, и высоко взбрыкнул ногами.

Гора с верхушкой, опоясанной снегом, бежит навстречу. Глазными впадинами чернеют ямы, откуда казаки добывали камень. Яков нырнул первым, за ним Петька.

Извиваясь, обрывая одежду, царапая до крови тело об острые уступы, ползли в сырой, придавленной темноте. Иногда Петьку больно били по голове сапоги Якова. Нора раздвоилась, поползли налево. Петькины ладони в мерзлой глине, сверху за шиворот сочится вода.

Яма под ногами. Спустились и сели рядом.

— Горе мне!.. Батю, должно, убили,— прошептал Яков.

— Упал он возле канавы...

Глохнут, будто чужие голоса. Темь липнет на веки.

— Ну, Петька, теперь они нас измором будут брать. Пропадем мы, как хорь в норе, а впрочем, кто его знает!.. Лезть к нам они побоятся. Эти норы мы с батей рыли еще до германской войны. Я все ходы знаю... Давай ползть дальше.

Ползли. Иногда упирались в тупик. Сворачивали назад, другую тропку искали...

* * *

В густой, вязкой тьме жались двое суток.

Тишина звенела в ушах. Почти не разговаривали. Спали, чутко прислушиваясь. Где-то вверху буравила землю вода. Просыпались, опять спали...

Потом, тыкаясь в стены, как слепые щенки, полезли к выходу. Долго блуждали, и внезапно больно и ярко стегнул по глазам свет.

У входа в каменную пещеру ворох серой золы, окурки, патронные гильзы, следы многих и многих человеческих ног, а когда выглянули — увидели: по дороге к станице на лошадях с куце подрезанными хвостами змеилась конница, серым клубом позади валила пехота, ветер полоскал мали-

знамя и далеко нес голоса, хохот, команду, скрип полозьев.

Выскочили. Бежали, падали. Яков махал руками и кричал высоким надорванным голосом:

— Братцы! Красненькие! Товарищи!..

Конница сгрудилась на дороге гнедой кучей лошадей. Сзади напирала захлюстанная пехота.

Яков тряс головой, всхлипывая, кидался целовать стремена и кованые сапоги красноармейцев, а Петьку подхватили на руки, жмякнули в сани, в ворох духовитого степного сена, накрыли шинелями.

Покачиваются сани. Шинели пахнут родным кислым потом, как отцова рубаха когда-то пахла...

Кружится голова у Петьки, тошнотой наливается грудь, а в сердце, как жито майское после дождя, цветет радость. Чья-то рука приподняла шинель, нагнулось к Петьке безусое обветренное лицо, улыбка ползет по губам.

— Живой, дружище? А сухари потребляешь?

Суют Петьке в непослушный рот жеваные сухари, колючими варежками трут обмерзшие Петькины пальцы. Хочет он что-то сказать, но во рту ржаное месиво, а в горле комом стрянут слезы.

Поймал жесткую черную руку и к груди прижал крепко-накрепко.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Дом большой, крытый жестью, на улицу — шесть веселых окон с голубыми ставнями. Раньше станичный атаман жил, а теперь клуб ячейки РКСМ помещается. Год тысяча девятьсот двадцатый, нахмуренный, промозглый сентябрь, ночная темень в садах и в проулках.

В клубе собрание, чад, гул голосов. За столом секретарь ячейки Петька Кремнев, рядом член бюро Григорий Расков. Решается важный вопрос: показательная обработка земли, отведенной земотделом для ячейки.

Через полчаса — кусок протокола:

«Слушали: доклад т. Раскова об отмере земли на участке Крутеньком.

Постановили: выделить для немедленного осмотра и отмера земли тт. Раскова и Кремнева».

Потушили лампу. Дробно застучали ногами по крыльцу. Петька постоял около угла и, глядя, как в млечной темноте покачивается белая рубаха Раскова, крикнул в гулкую тишину задремавшей станицы:

— Гришка, слышь? Люди-то пашут, про обывательскую подводу и думать забудь! Пешком пойдем!

II

Чахоточная зорька. По утрамбованной дороге недавно прошел табун. Пыль повисла на верхушках степной полыни. На бугре пахота. На ней копошатся люди, ползают запряженные в плуги быки. Ветер крутит крики погонычей, свист и щелканье кнутов.

Ребята шагали молча. Солнце в полдень — подошли к участку. Десяток тавричанских дворов застрял в степной балке. Около плотины баба, подоткнув подол, шлепает вальком. С той стороны в воду по пузо залезли цветные коровы. Приподняв уши, с дурацким видом долго смотрели на ребят. Передняя, чего-то испугавшись, дико задрала хвост и шарахнулась на плотину, за ней рванулось все стадо. Пронзительно защелкал арапником седобородый пастух; подпасок, мелькая черными пятками, побежал заворачивать. На гумне под отрывистый стук паровой молотилки певучий девичий голос прокричал:

— Гарпишка, ходим подывымось — якись-то красни до нас прийшлы!..

До вечера искали ребята участкового председателя, ели на квартире душистые дыни, а землю порешили смотреть завтра. Хозяйка постелила им в сенцах. Григорий уснул сразу, а Петька долго ворочался, ловил под овчинной шубой блох, думал: какую землю отведет шельмоватый председатель?

В полночь хозяин стукнул щеколдой, глянул с крыльца на звездное небо и направился в конюшню замесить лошадям. Заскрипел колодезный журавль, в степи призывно протяжно заржал жеребенок. Со двора глухо доносились голоса. Петька проснулся.

Григорий во сне скрипнул зубами, поворачиваясь на другой бок, произнес печально и внятно:

— Смерть — это, братец, не фунт изюму!..

В сенцы, стуча сапогами, вошел председатель.

— Хлопцы, а хлопцы, чуете?

— Ну?

— Чума його знае... Зараз приихав с Вежинского хутора наш участковец, так каже, що той хутор Махно забрав. Це треба вам, хлопцы, тикаты!..

Петька буркнул спросонок:

— Ну, а земля как же? Отмерь завтра участок, тогда уж пойдем, а то что ж задарма ноги бить!

Снится зарею Петьке, что он в райкоме на собрании, а по крыше кто-то тяжело ступает, и жесть, вгибаясь, ухает: гу-у-ух!.. ба-а-ах!..

Проснулся — смекнул: орудийный бой. Тревожно сжалось сердце. Наспех собрались, прихватили деревянную сажень и, отмахиваясь от взбеленившихся собак, вышли за участок.

— Сколько до Вежинского верст? — спросил Григорий.

Вышагивал он молча, задумчиво обрывал лепестки на пунцовой головке придорожного татарника.

— Верстов, мабуть, тридцять.

— Успе-е-ем!

Минуя бахчи, поднялись на пригорок. Петька уронил подсумок с патронами, обернулся поднять — и ахнул: с той стороны участка стройными колоннами спускались всадники. У переднего, ветром подхваченное, как подшибленное крыло птицы, трепыхалось черное знамя.

— Ах, мать твою!..

— Бог любил! — подсказал Григорий, а у самого прыгали губы и серым налетом покрылось лицо.

Председатель уронил сажень, сам не зная для чего полез в карман за кисетом. Петька стремительно скатился в балку, Григорий за ним.

Странно путаются непослушные ноги, бег черепаший, а сердце колется на части, и зноем наливается рот. На дне водой промытой балки сыро. Пахнет илом, вязнут ноги. Петька на бегу смахнул сапоги и половчее перехватил винтовку; у Григория зеленью покрылось лицо; губы свело, дыханье рвется с хрипом. Упал и далеко отшвырнул винтовку.

— Бросай, Петя, поймают — убьют!..

Петьку передернуло.

— Ты с ума сошел?! Возьми скорее, сволочь!

Григорий вяло потянул винтовку за ремень. Минуту сверлили друг друга тяжелыми, чужими глазами.

Снова бежали. У конца балки Григорий запрокинулся на спину. Скрипнул Петька зубами, схватил под мышки сухопарое тело товарища и потащил волоком. Балка разветвилась, отножина с лошадиными костями и седой полынью

уперлась прямо в пахоту. Около арбы дядько запряг в плуг лошадей.

— Лошадей до станицы!.. Махновцы догоняют!

Схватился Петька за хомут, дядько — за Петьку.

— Не дам!.. Кобыла сжеребена, куда на ней йихать!

Крепкий дядько корявыми пальцами цепко прирос к стволу, и мелькнула у Петьки мысль: вырвет винтовку, убьет за жеребую кобылу.

Впитал в себя страшные колючие глаза, рыжую щетину на щеках, мелкую дрожь около рта и рванул винтовку. Звонко лязгнул затвором.

— Уйди!

Нагнулся дядько за топором, что лежал около арбы, а Петька, чувствуя липкую тошноту в горле, стукнул по крутому затылку прикладом. Ноги в морщеных сапогах, как паучьи лапки, судорожно задвигались...

Григорий обрубил постромки и вскочил на кобылу. Под Петькой заплясал серый в яблоках тавричанский мерин. Поскакали пахотой на дорогу. Дружно заговорили копыта. Глянул Петька назад, а над балкой ветер пыльцу схватывает. Рассыпалась погоня — идет во весь дух.

Верст пять смахнули, те всё ближе. Видно, как передняя лошадь с задранной головой бросками кидает назад сажени, а у всадника вьется черная лохматая бурка.

Кобыла под Григорием заметно сдавала ход, хрипела и коротко, отрывисто ржала.

— Жеребиться кобыла будет.... Пропал я, Петя! — крикнул сквозь режущий ветер Григорий.

На повороте около кургана соскочил он на ходу, лошадь упала. Петька сгоряча проскакал несколько саженей, но опомнился и круто повернул назад.

— Что же ты?! — плачущим голосом крикнул Григорий, но Петька уверенно и ловко загнал обойму, прыгнул с лошади, приложился с колена, выстрелил в черную надвигающуюся бурку и, выбрасывая гильзу, улыбнулся.

— Смерть — это, брат, не фунт изюму!

Выстрелил еще раз. На дыбы встала лошадь, черная бурка сползла на землю, застрял сапог в стремени, и лошадь бездорожно помчалась в клубах пыли.

Проводил ее Петька невидящим взглядом и, широко расставив ноги, сел на дорогу. Григорий, растирая в потных ладонях душистую головку чабреца, дико улыбнулся.

Петька проговорил серьезно и тихо:

— Ну, теперь шабаш,— и лег на землю вниз лицом.

III

Во дворе исполкома сотрудники зарывали зашитые в мешки бумаги. Председатель Яков Четвертый на крыльце чинил заржавленный убогий пулемет. С утра ждали милиционеров, уехавших на разведку. В полдень Яков подозвал пробегавшего мимо комсомольца Антошку Грачева, улыбнулся глазами, сказал:

— Возьми в конюшне лошадь, какая на вид справней, и скачи на Крутенький участок. Может, повстречаешь нашу разведку — передашь, чтобы вертались в станицу. Винтовка у тебя есть?

Антошка мелькнул босыми пятками, крикнул на бегу:

— Винтовка есть и двадцать штук патрон!

— Ну, жарь, да поживее!

Через пять минут со двора исполкома вихрем вырвался Антошка, сверкнул на председателя серыми мышастыми глазенками и заклубился пылью.

С крыльца исполкома видно Якову равномерно покачивающуюся лошадиную шею и непокрытую курчавую голову Антошки. Постоял на порожках, вошел в коридор, изветвленный седой паутиной. Сотрудники и ячейка в сборе. Окинул всех усталыми глазами, сказал:

— Антошка пыхнул на разведку...— Помолчал, добавил, задумчиво барабаня пальцами: — А ребята на участке... уйдут от Махна, нет ли?..

Бродили по гулким, опустелым комнатам исполкома, читали тысячу раз прочитанные частухи Демьяна Бедного на полинявших плакатах. Часа через два во двор исполкома на рысях вскочили ездившие в разведку милиционеры. Не привязывая лошадей, взбежали на крыльцо. Передний, густо измазанный пылью, крикнул:

— Где председатель?

— Вот он идет. Ну как, видали? Много их? На колокольне отсидимся?..

Милиционер безнадежно махнул плетью.

— Мы наткнулись на их головной эскадрон... Насилу ноги унесли! Всего их тысяч десять. Прут, будто галь черная.

Председатель, морща брови, спросил:

— Антошку не встречали?

— Мы не узнали, кто это, а видно было, как за Крутым логом в степь правился один верховой. Должно, к Махну попал...

Стояли плотной кучей, перешептывались. Председатель дернул лохматую бороду, выдавил откуда-то из середины:

— Ребятенки, какие землю пошли отмерять на участок, явно пропали... Антошка тоже... Нам придется хорониться в камыше... Против Махна мы ничтожество...

Продагент рот раззявил, хотел что-то сказать, но в двери упало тревожно и сухо:

— Ходу, товарищ! На бугре — кавалерия!..

Как ветром сдуло людей. Были — и нету! Станица вымерла. Закрылись ставни. Над дворами расплескалась тишина, лишь в бурьяне, возле исполкомовского плетня, надсадно кудахтала потревоженная кем-то курица.

IV

Ветер хлопающим пузырем надул на Антошкиной спине рубашку. Без седла сидеть больно. Рысь у коня тряская, не шаговитая. Придержал поводья, на гору из Крутого лога стал подниматься и неожиданно в версте от себя увидел сотню конных и две тачанки позади. Шарахнулась мысль: «Махновцы!»

Задернул коня, по спине колкий холодок, а конь, как назло, лениво перебирает ногами, не хочет со спокойной рыси переходить в карьер.

Его увидали, заулюлюкали, стукнули дробью выстрелов. Ветер хлещет в лицо, слезы застилают глаза, в ушах режущий свист. Страшно повернуть назад голову. Оглянулся только тогда, когда проскакал окраинные дворы станицы. На ходу соскочил с лошади, пригибаясь, побежал к ограде. Подумал: «Если бежать через площадь — увидят, догонят... В ограду, на колокольню!..»

Тиская в левой руке винтовку, правой толкнул калитку, зашуршал босыми ногами по усыпанной листьями земле. Церковная витая лестница. Запах ладана и затхлой ветхости, голубиный помет.

На верхней площадке остановился, лег плашмя, прислушался. Тишина. По станице петушиные крики.

Положил рядом с собой винтовку, снял подсумок, отер со лба липкую испарину. В голове мысли в чехарду играют: «Все равно меня убьют — буду в них стрелять... Петька Кремнев сказал как-то: Махно — буржуйский наемник...»

Вспомнилось, как стреляли на прошлой неделе за речкой в арбу на сто шагов и он, Антошка, попадал чаще, чем все ребята. В горле щекочущая боль, но сердце реже перестукивает.

Шесть всадников осторожно выехали на площадь, спешились, лошадей привязали к школьному забору.

Вновь рванулось и зачастило Антошкино сердце. Крепко сжал он зубы, унимая дрожь, прыгающими пальцами вставил обойму.

Откуда-то из проулка вырвался еще один конный, покружился на бешено танцующей лошади и, вытянув ее плетью, так же стремительно умчался назад. По небрежной, ухарской посадке Антошка узнал казака; взглядом провожая зеленую гимнастерку, качавшуюся над лошадиным крупом, вздохнул.

Застрекотали тачанки, зацокали бесчисленные копыта лошадей, прогромыхала батарея. Станица, как падаль червями, закишела пехотой, улицы запрудились тачанками, зарядными ящиками, пулеметными тройками.

Антошка, чувствуя легкий озноб, пальцами, холодными и чужими, тронул затвор, прислушался. Наверху, среди перекладин, ворковал голубь.

«Подожду малость...»

Около ограды спешенные махновцы кормили лошадей. Между лошадьми кучами лежали они, в цветных шароварах и ярких кушаках, как пестрая речная галька. Говор, взрывы смеха. А по дороге, по две в ряд, тачанки катились и катились...

Решившись, Антошка поймал на мушку серую папаху пулеметчика. Гулко полыхнул выстрел, пулеметчик ткнулся головой в колени. Еще выстрел — кучер выронил вожжи и тихо сполз под колеса. Еще и еще...

У коновязей взбесились лошади, с визгом лягали седоков. На дороге билась в постромках раненая пристяжная, около школы с размаху опрокинулась пулеметная тачанка, и пулемет в белом чехле беспомощно зарылся носом в землю. Над колокольней тучей повисли конское ржанье, крики, команда, беспорядочная стрельба...

С лязгом пронеслась назад батарея. Антошку увидали. С деревянной перекладиной сочно поцеловалась пуля. Площадь опустела. На крыльце школы матрос-махновец ловко орудовал пулеметом, жалобно звенели пули, скользя по старому, позеленевшему колоколу. Одна рикошетом ударила Антошку в руку. Отполз, привстал, влипая в кирпичную колонну, выстрелил: матрос всплеснул руками, закружился и упал грудью на подгнившие кособокие ступеньки крыльца.

За станицей, около кладбища, с передка соскочила разлапистая трехдюймовка, на облупившуюся церквенку

зевнула стальной пастью. Гулом взбудоражилась притаившаяся станичонка.

Снаряд ударил под купол, засыпал Антошку пыльной грудью кирпичей и звоном негодующим брызнул в колокола.

V

Петька лежал ничком, не двигаясь, но остро воспринимая и пряный запах чабреца, и четкий топот копыт.

Изнутри надвинулась дикая, душу выворачивающая тошнота. Помотал головой и, приподнявшись, увидел около парусиновой рубашки Григория пенистую лошадиную морду, синий казацкий кафтан и раскосые калмыцкие глаза на коричневом от загара лице.

В полуверсте остальные кружились около лошади, носившей за собой истерзанное человеческое тело в истерзанной бурке.

Когда Григорий заплакал, по-детски всхлипывая, захлебываясь, ломающимся голосом что-то закричал, у Петьки дрогнуло под сердцем живое. Смотрел, не моргая, как калмык привстал на стременах и, свесившись набок, махнул белой полоской стали. Григорий неуклюже присел на корточки, руками схватился за голову, рассеченную надвое, потом с хрипом упал, в горле у него заклокотало и потоком вывалилась кровь.

В памяти остались подрагивающие ноги Григория и багровый шрам на облупившейся щеке калмыка. Сознание потушили острые шипы подков, вонзившиеся в грудь, шею захлестнул волосяной аркан, и все бешено завертелось в огненных искрах и жгучем тумане...

* * *

Очнулся Петька и застонал от страшной боли, пронизывающей глаза. Тронул рукой лицо, с ужасом почувствовал, как из-под века ползет на щеку густая студенистая масса. Один глаз вытек, другой опух, слезился. Сквозь маленькую щелку с трудом различал Петька над собой лошадиные морды и лица людей. Кто-то нагнулся близко, сказал:

— Вставай, хлопче, а то живому тебе не быть!.. В штаб группы на допрос ходим!.. Ну, встанешь? Мне все одинаково, могем тебя и без допроса к стенке прислонить!..

Приподнялся Петька. Кругом цветное море голов, гул, конское ржанье. Провожатый в серой смушковой папахе пошел впереди. Петька, качаясь,— следом.

Шея горела от волосяного аркана, на лице кровью запеклись ссадины, а все тело полыхало болью, словно били его долго и нещадно.

Дорогой к штабу огляделся Петька по сторонам: везде, куда глаз кинет,— на площади, на улицах, в сплюснутых, кривеньких переулках — люди, кони, тачанки.

Штаб группы в поповском доме. Из распахнутых окон прыгает на улицу старческий хрип гитары, звон посуды; видно, как на кухне суетится попадья, гостей дорогих принимает и потчует.

Петькин провожатый присел на крылечке покурить, буркнул:

Постой коло крыльца, у штабе дела делают!

Петька прислонился к скрипучим перилам, во рту спеклось, пересох язык, сказал, трудно ворочая разбитым языком:

- Напиться бы...

- А вот тэбэ у штабе напоять!

На крыльцо вышел рябой матрос. Синий кафтан перепоясан красным кумачовым кушаком, махры до колен висят, на голове матросская бескозырка, выцветшая от времени надпись: «Черноморский флот». У матроса в руках нарядная, в лентах, трехрядка. Глянул на Петьку сверху вниз скучающими зеленоватыми глазками, замаслился улыбкой и лениво растянул гармонь:

Коммунист молодой,
Нащо женишься?
Прийдэ батько Махно,
Куда денешься?..

Голос у матроса пьяный, но звучный. Повторил, не подымая закрытых глаз:

Прийдэ батько Махно,
Куда денешься?..

Провожатый последний раз затянулся папироской, сказал, не оборачивая головы:

— Эй, ты, косое падло, иди за мной!

Петька поднялся по крыльцу, вошел в дом. В прихожей над стеной распластано черное знамя. Изломанные морщинами белые буквы «Штаб Второй группы» — и немного повыше: «Хай живе вильна Украина!»

VI

В поповской спальне дребезжит пишущая машинка. В раскрытые двери ползут голоса. Долго ждал Петька, мялся в полутемной прихожей. Ноющая глухая боль костенила волю и рассудок. Думалось Петьке: порубили махновцы ребят из ячейки, сотрудников, и ему из поповской, прокисшей ладаном спальни зазывно подмаргивает смерть. Но от этого страхом не холодела душа. Петькино дыхание ровно, без перебоев, глаза закрыты, лишь кровью залитая щека подрагивает.

Из спальни голоса, щелканье машинки, бабьи смешки и хрупкие перезвоны рюмок.

Мимо Петьки попадья на рысях в прихожую, следом за ней белоусый перетянутый махновец тренькает шпорами, на ходу крутит усы. В руках у попадьи графин, глаза цветут миндалем.

— Шестилетняя наливочка, приберегла для случая. Ах, если б вы знали, что за ужас жить с этими варварами! Постоянное преследование. Ячейка даже пианино приказала забрать. Подумайте только, у нас взять наше собственное пианино! А?

На ходу уперлась в Петьку блудливо шмыгающими глазами, брезгливо поморщилась и, узнав, шепнула махновцу:

— Вот председатель комсомольской ячейки... ярый коммунист... Вы бы его как-нибудь...

За шелестом юбок недослышал Петька конца фразы.

Минуту спустя его позвали.

— В угловую комнату живее иди, трясця твоей матери...

Белоусый в серебристой каракулевой папахе за столом.

— Ты комсомолец?

— Да.

— Стрелял в наших?

— Стрелял...

Махновец задумчиво покусал кончик уса, спросил, глядя выше Петькиной головы:

— Расстреляем — не обидно будет?

Петька вытер ладонью выступившую на губах кровь, твердо сказал:

— Всех не перестреляете.

Махновец круто повернулся на стуле, крикнул:

— Долбышев, возьми хлопца и снаряди с ним на прогулку второй взвод!..

Петьку вывели. Провожатый на крыльце ремешком скрутил Петькины руки, затянул узел, спросил:

— Не больно?

— Отвяжись,— сказал Петька и пошел в ворота, неловко махая связанными руками.

Провожатый притворил за собой калитку и снял с плеча винтовку.

— Погоди, вон взводный идет!

Петька остановился. Было нудно оттого, что нестерпимо чесался подбородок, а почесать нельзя — руки связаны.

Подошел низенький, колченогий взводный. От высоких английских краг завоняло дегтем. Спросил у провожатого:

— Ко мне ведешь?

— К тебе, велели поскорее!

Взводный поглядел на Петьку сонными глазами, сказал:

— Чудак народ... Валандаются с парнишкой, его мучают и сами мучаются.

Хмуря рыжие брови, еще раз глянул на Петьку, выругался матерно, крикнул:

— Иди, вахлак, к сараю!.. Ну!.. Иди, говорят тебе, становься к стене мордой!..

На крыльцо вышел белоусый махновец из штаба, перегнувшись через резные балясины, сказал:

— Взводный, чуешь?.. Не стреляй хлопца, нехай он ко мне пойдет!

Петька взошел на крыльцо, стал, прислонясь к двери. Белоусый подошел к нему вплотную, сказал, стараясь заглянуть в узенькую, окровяненную щелку глаза:

— Крепкий ты, хлопец... Я тебя мылую, запишу до батька у вийсько. Служить будешь?

— Буду,— сказал Петька, закрывая глаз.

— А не утэчэшь?

— Кормить будете, одевать будете — не сбегу...

Белоусый засмеялся, наморщил нос.

— И хотел бы утэкты, та не сможешь... Я за тобой глаз поставлю.— Оборачиваясь к провожатому, сказал: — Возьми, Долбышев, хлопца в свою сотню, выдай, что ему требуется из барахла. Он на твоей тачанке будет. Гляди в оба. Винтовку пока не давай!

Хлопнул Петьку по плечу и, покачиваясь, ушел в дом.

Из станицы выехали на другой день в полдень. Петька сидел рядом с вислоусым Долбышевым, качался на козлах, думал тягучую, нудную думу.

Взмешенная грязь на дороге после дождя вспухла

кочками. Тачанку встряхивает, раскачивает из стороны в сторону. Шагают мимо телеграфные столбы, без конца змеится дорога.

В хуторах, поселках — шум, мужичьи взгляды исподлобья, бабий надрывный вой...

Вторая группа откололась от армии и пошла по направлению к Миллерову. Армия двигалась левей.

Перед вечером Долбышев достал из козел измятую буханку хлеба, разрезал арбуз. Прожевывая, кинул Петьке:

— Ешь, браток, ты теперь нашей веры.

Петька с жадностью съел ломоть спелого арбуза и краюху хлеба, пахнущую конским потом.

Долбышев откромсал тесаком еще ломоть, сунул Петьке.

— Только нет у меня на тебя надежи! Так соображаю, что сбегишь ты от нас! Порубать бы тебя — куда дело спокойнее!

— Нет, дядька, напрасно ты так думаешь... Зачем я от вас буду убегать? Может, вы за справедливость воюете.

— Ну да, за справедливость. А ты думал — как?

Петька поправил на глазу повязку и сказал:

— А ежели за справедливость, то на что ж вы народ обижаете?

— А чем мы его забижаем?

— Как чем? Всем! Вот хутор проехали, ты у мужика последний ячмень коням забрал. А у него детишкам есть нечего.

Долбышев скрутил цигарку, закурил.

— На то батькин приказ был.

— А ежели бы он приказ дал всех мужиков вешать?

— Гм... Ишь ты куда заковырнул!

Долбышев развешал над головой полотнища махорочного дыма, промолчал.

А на ночевке Петьку позвал к себе сотенный, рябой матрос Кирюха-гармонист, сказал, помахивая маузером:

— Ты, в гроб твою мать, так и разэтак, если еще раз пикнешь насчет политики — прикажу поднять у тачанки дышло и повесить тебя, сучкинова сына, вверх ногами. Понял?

— Понял,— ответил Петька.

— Ну, метись от меня ветром да помни, косой выволочек, чуть что — другой глаз выдолблю и повешу!..

Понял Петька, что агитацию нужно вести осторожнее. Дня два старался загладить свой поступок: расспрашивал

Долбышева про батько, про то, в каких краях бывали, но он хранил упорное молчание, глядел на Петьку подозрительным, исподлобья, взглядом, цедил сквозь сжатые зубы скупые слова. Однако Петькина услужливость и благоговение перед ним, перед Долбышевым (который родом сам не откуда-нибудь, а из Гуляй-Поля и жил с Нестером Махно прямо-таки в тесном суседстве), его растеплили, разговаривать стал он с Петькой охотнее — и через день выдал ему карабин и восемьдесят штук патронов.

В этот же день перед вечером сотня стала привалом неподалеку от слободы Кашары. Долбышев выпряг из тачанки коня; подавая Петьке цибарку, сказал:

— Скачи, хлопче, вон до энтих верб, там пруд, почерпни воды, кашу заварим!

Петька, стараясь сдержать прыгающее сердце, сел верхом и мелкой рысью поскакал к пруду.

«Доеду до пруда, а оттуда в гору, и айда»,— мелькнула мысль.

Доехал до пруда, обогнул узкую, полуразвалившуюся плотину, незаметно бросил цибарку и, ударив коня каблуками, выскочил на пригорок. Словно предупреждая, над головой взыкнула пуля, около становища хлопнул выстрел; Петька помутневшим взглядом смерил расстояние, отделявшее его от становища: было немного более полверсты.

Подумал: «Если скакать на гору, непременно застигнет пуля». Нехотя повернул коня, поехал обратно.

Долбышев, подвесив на кончик дышла казанок с картофелем, глянул на Петьку, сказал:

— Будешь баловать — убью! Так и попомни!

VII

Ранней зарей Петьку разбудил воющий гул голосов. Проснулся, сбросил с тачанки попону, которой укрывался на ночь. В редеющей синеве осеннего дня перекатами колыхался крик.

— Дядька, что за шум?

Долбышев, стоя на козлах, во весь рост махал лохматой папахой и, багровый от натуги, орал:

— Батькови здравствовать!.. Ур-ра-а!..

Петька привстал, увидел, как по дороге, запряженная четверкой вороных, катится тачанка. С лошадей белая пена комьями, кругом верховые, а сам Махно, раненный под Чернышевской, держит под мышкой костыль, морщит гу-

бы — то ли от раны, то ли от улыбки. С задка тачанки конец до земли свесился, пыль растрепанными космами висит на задних колесах.

Мелькнула тачанка мимо, а через минуту только пыль толпилась вдали на дороге да таял, умолкая, гул голосов.

VIII

Прошло три дня. Вторая группа продвигалась к железной дороге. По пути не было ни одного боя. Малочисленные красные части отходили к Дону. Петька ознакомился со всей сотней: из полутораста человек — шестьдесят с лишним были перебежчики-красноармейцы, остальные — с бору да с сосенки.

Как-то на ночевке собрались у костра, под гармонику выбивали дробного трепака. Сухо покрякивала под ногами земля, схваченная легоньким морозцем.

Долбышев ходил по кругу вприсядку, щелкал по пыльным голенищам ладонями и тяжело сопел, как запаленная лошадь.

Потом, расстелив шинели и кожуха, легли вокруг огня. Пулеметчик Манжуло, прикуривая от головни, сказал:

— Есть такие промеж нас разговоры: болтают, что через Шахты поведет нас батько до румынской границы, а там кинет войско и один уйдет в Румынию.

— Брехни это! — буркнул Долбышев.

Манжуло ощетинился, обругал Долбышева матерком, тыкая в его сторону пальцем, крикнул:

— Вот он, дурочкин полюбовник! Возьми его за рупь двадцать! А ты, свиной курюк, думал, что он тебя посадит к себе на тачанку?..

— Не может он кинуть войско!..— запальчиво крикнул Долбышев.

— Раздолба!.. Отродье Дуньки грязной!.. Ведь не пустит румынский царь на свою землю двадцать тысяч! белея от злобы, выкрикнул пулеметчик.

Его поддержали:

— Верно толкуешь!..

— В точку стрельнул, Манжуло!..

— Мы до тех пор надобны, покель кровь льем за батьку да за его любовниц, каких он с собой возит...

— Го-го-го!.. Ха-ха-ха!.. Подсыпай ему, брательник! понеслись над костром крики.

Долбышев встал и торопливо пошел к тачанке сотника

Вслед ему пронзительно засвистали, заулюлюкали, кто-то кинул горящее полено.

— Наушничать пошел... Ну, ладно... Подойдет бой, мы то в затылок шлепнем!

Петька увидал, как сотник Кирюха шагает к костру, и отодвинулся подальше от огня.

— Вы что, хлопцы? Кто из вас по петле соскучился?. Кому охота на телеграфных столбах качаться? А ну, говорите!..

Манжуло привстал с земли, подошел к сотнику в упор, сказал, дыша часто и отрывисто:

— Ты, Кирюха, палку не перегинай! Она о двух концах бывает!.. Прищеми свой паскудный язык!

— А ну, пойдем в штаб?

Кирюха ухватил пулеметчика за рукав, но кругом глухо загудели, привстали с земли, разом сомкнулась позади сотника стена лохматых папах.

— Не трожь!

— Душу вынем!

— Тебя вместе с штабом вверх колесами опрокинем!

Кирюху понемногу начали подталкивать, кто-то, развернувшись, звонко хлестнул его по уху. Синий кафтан сотника треснул у ворота. Брякнули затворы винтовок. Сотник рванулся, в воздухе повис стонущий крик:

— Споло́х!..[1] Изме...

Пулеметчик зажал ему ладонью рот, шепнул на ухо:

— Уходи да помалкивай... Пулю в спину получишь!

Расталкивая скучившихся махновцев, провел его до первой тачанки и вернулся к костру.

Снова загремел рокочущий хохот, пискнула гармонь, забарабанили каблуками танцоры, а около тачанки повалили Долбышева наземь, заткнули кушаком рот и долго били прикладами винтовок и ногами.

* * *

На другой день из штаба группы прискакал ординарец, передал сотнику засаленный блокнотный листик. На листике всего четыре слова набросано чернильным карандашом: «Приказываю сотне взять совхоз».

---

[1] Сполох — здесь: тревога.

IX

С бугра виден совхоз. За белой каменной змейчатой оградой — кирпичные постройки, высокая труба кирпичного завода.

Сотня, бросив на шляху тачанки, бездорожно цепью пошла к совхозу.

Сотник Кирюха с лицом, перевязанным бабьим пуховым платком, ехал впереди. Вороная кобылица под ним спотыкалась, он ежеминутно оглядывался на реденькую шеренгу людей, молча шагавших позади.

Петька шел седьмым на левом фланге. Почему-то казалось, что сегодня — скоро — должно случиться что-то большое и важное. И от этого ожидания было ощущение нарастающей радости.

Когда на выстрел подошли к совхозу, сотник соскочил с лошади, крикнул:

— Ложись!

Рассыпались возле балки. Легли. Ударили по каменной ограде недружным залпом. С крыши совхоза хрипловато и неуверенно заговорил пулемет. По двору замаячили люди. Пули ложились позади цепи, подымали над землей комочки тающей пыли.

Три раза ходила сотня в атаку и три раза отступала до балки. Последний раз, когда бежал Петька обратно, увидел возле сурчиной норы Долбышева, лежавшего навзничь, нагнулся — под папахой на лбу у Долбышева дырка. Понял Петька, что подстрелили его свои же: выстрел почти в упор, в лицо, повыше глаза.

Четвертый раз сотник Кирюха вынул из ножен гнутую кавказскую шашку и, обводя сотню соловыми глазами, прохрипел:

— Вперед, хлопцы!.. За мной!..

Но хлопцы, не двигаясь с места, глухо загудели. Манжуло, пулеметчик, выкинул из винтовки затвор, крикнул:

— На убой ведешь? Не пойдем!..

Петька, чувствуя, как холодеют его пальцы, а тело покрывается липким потом, выкрикнул рвущимся голосом:

— Братцы!.. За что кровь льете?.. За что идете на смерть и убиваете таких же тружеников, как и вы?..

Голоса смолкли. Петька сразу почувствовал, как вспотел у него в руках винтовочный ремень.

— Братцы!.. Давайте сложим оружие!.. У каждого из

нас есть родная семья... Аль не жалко вам жен и детей? Думали вы об этом, что будет с ними, ежели вас перебьют?..

Сотник выдернул из кобуры маузер, но Петька предупредил его движение, вскинул винтовку, почти не целясь, выстрелил в синий распахнутый кафтан. Кирюха закружился волчком и лег на землю, зажимая руками грудь.

Петьку окружили, сзади ударили прикладом, смяли и повалили на землю. Но пулеметчик Манжуло, растопырив руки, нагнулся над ним, заорал дурным голосом:

— Стой!.. Не убивать парня!.. Стой — нехай доскажет, тогда пристукаем!..

Приподнял Петьку с земли, встряхнул:

— Говори!

У Петьки перед глазами плывет земля и клочковатое взлохмаченное небо. Собрал в один комок всю волю, заговорил:

— Убивайте!.. Один конец!..

Сзади гаркнули:

— Громче... ничего не слыхать!

Петька вытер рукавом сбегающую с виска кровь, сказал, повышая голос:

— Обдумайте толком. Махно доведет вас до Румынии и бросит!.. Ему вы нужны только сейчас!.. Кто хочет холопом быть — уйдет с ним, остальных Красная Армия уничтожит. А если сейчас мы сдадимся, нам ничего не будет...

В балке сыро. Тишина. Дышать всем трудно, словно не хватает воздуха...

Ветер низко над землей стелет тучи. Тишина... тишина...

Пулеметчик потер рукой лоб, спросил тихо:

— Ну как, хлопцы?..

Потупленные головы. В стороне сотник Кирюха разодрал на простреленной груди рубаху, в последний раз взбрыкнул ногами и затих, мелко подрагивая.

— Кто сдаваться — отходи направо! Кто не хочет — налево! — крикнул Петька.

Пулеметчик отчаянно махнул рукой и шагнул направо, за ним хлынули торопливо и густо. Человек восемь остались на месте, помялись, помялись и подошли к остальным...

Через пять минут к совхозу шли тесной валкой. Впереди Петька и пулеметчик Манжуло. У Петьки на заржавленном штыке разорванная белая исподняя рубаха вместо флага.

Из ворот совхоза высыпали кучей. Винтовки наизготове, смотрят недоверчиво.

Не доходя шагов триста, сотня стала. Петька и Манжуло отделились, без винтовок двинулись к совхозу. Навстречу им двое совхозовцев. На полдороге сошлись. Поговорили немного. Бородатый совхозец обнял Петьку. Манжуло, утирая усы, крест-накрест поцеловался с другим.

Гул одобрения с той и с другой стороны. Сотня с лязгом сваливает в одну кучу винтовки, и по одному, по два, кучками идут в распахнутые ворота совхоза.

X

Из округа приехал в совхоз уполномоченный ЧК. Расспросил Петьку, записал показания в книжку и, пожав ему обе руки, уехал.

Часть махновцев влилась в красный кавалерийский полк, преследовавший Махно, остальные пошли в округ, в военкомат. Петька остался в совхозе.

После пережитого так хорошо без движения лежать на койке. Как будто утихает режущая боль в порожней глазной впадине. Будто никто сроду не волочил Петьку на аркане, не бил смертным боем... Недавнее прошлое как-то не помнится, не хочет Петька его вспоминать.

Но когда в совхозном клубе идет мимо треснувшего зеркала, мимоходом увидит свое землистое, изуродованное лицо,— горечь сводит губы и труднее становится дышать.

Во вторник перед вечером в комнату к Петьке вошел секретарь совхозной ячейки. Сел на койку рядом с Петькой, поджал длинные, в охотничьих сапогах, ноги, откашлялся:

— Приходи через час в клуб на общее собрание.

— Ладно, приду.

Посидел секретарь и ушел. Через час Петька в клубе. Слушает доклады председателя совхоза, агронома, заведующего кирпичным заводом, ветеринара. Перед Петькой в отчетных цифрах проходит налаженная, размеренная, как часы, жизнь.

Протокол. Выработка резолюций. Пожелания.

В текущих делах слова попросил секретарь ячейки.

— Товарищи, у нас в совхозе живет комсомолец Кремнев, Петр. Вы знаете, что ему мы обязаны тем, что сохранили совхоз от разгрома. Ячейка предлагает отправить Кремнева в округ на излечение, а потом зачислить его на освобо

[освобод]ившееся место на нашем заводе. Давайте голоснем. Кто [пр]отив?

Единогласно. Воздержавшихся нет. Но Петька встал со [ск]амьи, из порожней глазной впадины бежит у него на [ще]ку торопливая мутная слеза. У Петьки губы сводит. Постоял, оглядел собрание прижмуренным глазом, сказал, трудно ворочая непослушным языком:

— Спасибо, но я не могу остаться у вас... Я рад бы работать с вами... Но дело в том... дело вот в чем: у вас жизнь идет как по шнуру, а там... в станице, откуда я... там жизнь хромает, насилу наладили дело, организовали ячейку, и теперь, может быть, многих нет... махновцы порубили... и я хочу туда... там сильнее нуждаются в работниках.

Все молчат. Все согласны. В клубе тишина.

XI

Провожать пошли чуть ли не всем совхозом. Пока попрощался Петька и поднялся на гору — смерклось. Над дорогой, над немым строем телеграфных столбов расплескалась темнота...

Ползет вдоль Дона, повыше лобастых насупленных гор, Гетманский шлях. Молча шагает Петька.

В черной вязкой темени, в пустой тишине спящей ночи звонко чеканятся шаги. Похрустывает под ногами иней. Ямки, вдавленные лошадиными копытами, затянуты тоненькой пленкой льда. Лед хрупко звенит, проламываясь, хлюпает мерзнущая вода.

Из-за кургана, караулящего шлях, выполз багровый от натуги месяц. Неровные, косые плывущие тени рассыпались по степи. Шлях засеребрился глянцем, голубыми отсветами покрылся ледок.

Молча шагает Петька, раскрытым ртом жадно хлебает воздух. Увядающая придорожная полынь пахнет горечью, горьким потом...

Без конца кучерявится путь-дороженька, но Петька твердо шагает навстречу надвигающейся ночи, и из голубого полога неба бледно-зеленым светом мерцает ему пятиугольная звезда.

1925

НАХАЛЕНОК

Снится Мишке, будто дед срезал в саду здоровенную вишневую хворостину, идет к нему, хворостиной машет, а сам строго так говорит:

— А ну, иди сюда, Михайло Фомич, я те полохану по тем местам, откель ноги растут!..

— За что, дедуня? — спрашивает Мишка.

— А за то, что ты в курятнике из гнезда чубатой курицы все яйца покрал и на каруселю отнес, прокатал!

— Дедуня, я нонешний год не катался на каруселях! — в страхе кричит Мишка.

Но дед степенно разгладил бороду да как топнет ногой:

— Ложись, постреленыш, и спущай портки!..

Вскрикнул Мишка и проснулся. Сердце бьется, словно в самом деле хворостины отпробовал. Чуточку открыл левый глаз — в хате светло. Утренняя зорька теплится за окошком. Приподнял Мишка голову, слышит в сенцах голоса: мамка визжит, лопочет что-то, смехом захлебывается, дед кашляет, а чей-то чужой голос: «Бу-бу-бу...»

Протер Мишка глаза и видит: дверь открылась, хлопнула, дед в горницу бежит, подпрыгивает, очки на носу у него болтаются. Мишка сначала подумал, что поп с певчими пришел (на пасху, когда приходил он, дед так же суетился), да следом за дедом прет в горницу чужой большущий солдат в черной шинели и в шапке с лентами, но без козырька, а мамка на шее у него висит, воет.

Посреди хаты стряхнул чужой человек мамку с шеи да как гаркнет:

— А где мое потомство?

Мишка струхнул, под одеяло забрался.

— Ми́нюшка, сыночек, что ж ты спишь? Батянька твой со службы пришел! — кричит мамка.

Не успел Мишка глазом моргнуть, как солдат сграбастал его, подкинул под потолок, а потом прижал к груди и ну рыжими усами, не на шутку, колоть губы, щеки, глаза. Усы в чем-то мокром, соленом. Мишка вырываться, да не тут-то было.

— Вон у меня какой большевик вырос!.. Скоро батьку перерастет!.. Го-го-го!..— кричит батянька и знай себе нестает Мишку — то на ладонь посадит, вертит, то опять до самой потолочной перекладины подкидывает.

Терпел, терпел Мишка, а потом брови сдвинул по-дедовски, строгость на себя напустил и за отцовы усы ухватился.

— Пусти, батянька!

— Ан вот не пущу!

— Пусти! Я уже большой, а ты меня, как детенка, нянчишь!..

Посадил отец Мишку к себе на колено, спрашивает, улыбаясь:

— Сколько ж тебе лет, пистолет?

— Восьмой идет,— поглядывая исподлобья, буркнул Мишка.

— А помнишь, сынушка, как в позапрошлом годе я тебе пароходы делал? Помнишь, как мы в пруду их пущали?

— Помню!..— крикнул Мишка и несмело обхватил руками батянькину шею.

Тут и вовсе пошло развеселье: посадил отец Мишку верхом к себе на шею, за ноги держит и по горнице кругом, кругом, а потом как взбрыкнет, как заржет по-лошадиному, у Мишки от восторга аж дух занялся. Мать за рукав его тянет, орет:

— Иди на двор, играйся!.. Иди, говорят тебе, варнак этакий! — И отца просит: — Пусти его, Фома Акимыч! Пусти, пожалуйста!.. Не даст он и поглядеть на тебя, сокола ясного. Два года не видались, а ты с ним займаешься!

Ссадил Мишку отец на пол и говорит:

— Беги, с ребятами играйся, опосля придешь, я тебе гостинцев дам.

Притворил Мишка за собой дверь, сначала думал послушать в сенцах, о чем будет разговор в хате, но потом вспомнил: никто еще из ребят не знает, что пришел батянька,— и через двор, по огороду, топча картофельные лунки, пыхнул к пруду.

Выкупался Мишка в вонючей, застоявшейся воде, обвалялся в песке, нырнул в последний раз и, чикиляя на одной ноге, натянул штанишки. Совсем было собрался идти домой, но тут подошел к нему Витька — попов сынок.

— Не уходи, Мишка! Давай искупаемся и пойдем к нам играть. Тебе мамочка разрешила приходить к нам.

Мишка левой рукой поддернул сползающие штанишки, поправил на плече помочь и нехотя сказал:

— Я с тобой не хочу играть. У тебя из ушей воняет дюже!..

Витька ехидно прищурил левый глаз, сказал, стаскивая с костлявых плеч вязаную рубашечку:

— Это от золотухи, а ты — мужик, и тебя мать под забором родила!..

— А ты видал?

— Я слыхал, как наша кухарка рассказывала мамочке

Мишка разгреб ногой песок и глянул на Витьку сверху вниз.

— Брешет твоя мамочка! Зато мой батянька на войне воевал, а твой — кровожад и чужие пироги трескает!..

— Нахаленок!..— кривя губы, крикнул попович.

Мишка схватил обточенный водой камешек-голыш, но попович сдержал слезы и очень ласково улыбнулся:

— Ты не дерись, Миша, не сердись! Хочешь, я тебе отдам свой кинжал, какой из железа сделал?

Мишкины глаза блеснули радостью, отшвырнул в сторону голыш, но, вспомнив про отца, сказал гордо:

— Мне батянька получшей твоего с войны принес!

— Вре-ошь? — недоверчиво протянул Витька.

— Сам врешь!.. Раз говорю — принес, значится — принес!.. И заправское ружье...

— Подумаешь, какой ты стал богатый! — завистливо усмехнулся Витька.

— И ишо у него есть шапка, а на шапке висят махры и золотые слова прописаны, как у тебя в книжках.

Витька долго думал, чем бы удивить Мишку, морщил лоб и почесывал бледный живот.

— А мой папочка скоро будет архиреем, а твой был пастухом. Ага, что?..

Мишке надоело стоять, повернулся и пошел к огороду. Попович его окликнул:

— Миша, Миша, я что-то скажу тебе!

— Говори.

— Подойди ко мне!..

Мишка подошел и подозрительно скосился:

— Ну, говори!

Попович заплясал по песку на тоненьких кривых ножках, улыбаясь, злорадно крикнул:

— Твой отец — коммуняка! Вот как только помрешь ты и душа твоя прилетит на небо, а бог и скажет: «За то, что твой отец был коммунистом,— отправляйся в ад!» И начнут тебя там черти на сковородках поджаривать!..

— А тебя, думаешь, не зачнут поджаривать?

— Мой папочка — священник!.. Ты ведь дурак необразованный и ничего не понимаешь...

Мишке стало страшно. Повернулся и молча побежал домой.

У огородного плетня остановился, крикнул, грозя поповичу кулаком:

Вот спрошу у дедушки. Коли брешешь — не ходи мимо нашего двора!

Перелез через плетень, к дому бежит, а перед глазами сковородка, а на ней его, Мишку, жарят... Горячо сидеть, а кругом сметана кипит и пенится пузырями. По спине мурашки, скорее бы до деда добежать, расспросить...

Как на грех, в калитке свинья застряла. Голова с той стороны, а сама с этой, ногами в землю упирается, хвостом крутит и пронзительно визжит. Мишка — выручать: попробовал калитку открыть — свинья хрипеть начинает. Сел на нее верхом, свинья поднатужилась, вывернула калитку, ухнула и по двору к гумну вскачь. Мишка пятками в бока ее толкает, мчится так, что ветром волосы назад закидывает. У гумна соскочил — глядь, а дед на крыльце стоит и пальцем манит.

— Подойди ко мне, голубь мой!

Не догадался Мишка, зачем дед кличет, а тут опять про адскую сковородку вспомнил и — рысью к деду.

— Дедуня, дедуня, а на небе черти бывают?

— Я тебе зараз всыплю чертей!.. Поплюю в кой-какие места да хворостиной высушу!.. Ах ты лихоманец вредный, ты на что ж это свинью объезжаешь?..

Сцапал дед Мишку за вихор, зовет из горницы мать:

— Поди на своего умника полюбуйся!

Выскочила мать.

— За что ты его?

— Как же за что? Гляжу, а он по двору на свинье скачет, аж ветер пыльцу схватывает!..

— Это он на супоросой свинье катался? — ахнула мать.

Не успел Мишка рта раскрыть в свое оправдание, как дед снял ремешок, левой рукой портки держит, чтобы не упали, а правой Мишкину голову промеж колен просовывает Выпорол и при этом очень строго говорил:

— Не езди на свинье!.. Не езди!..

Мишка вздумал было крик поднять, а дед и говорит:

— Значит, ты, сукин кот, не жалеешь батяньку? Он с дороги уморился, прилег уснуть, а ты крик подымаешь?

Пришлось замолчать. Попробовал брыкнуть деда ногой — не достал. Подхватила мать Мишку — в хату толкнула:

— Сиди тут, сто чертов твоей матери!.. Я до тебя доберусь — не по-дедовски шкуру спущу!..

Дед в кухне на лавке сидит, изредка на Мишкину спину поглядывает.

Повернулся Мишка к деду, размазал кулаком последнюю слезу, сказал, упираясь в дверь задом:

— Ну, дедунюшка... попомни!

— Ты что ж это, поганец, деду грозишь?

Мишка видит, как дед снова расстегивает ремень, и заблаговременно чуточку приоткрывает дверь.

— Значит, ты мне грозишь? — переспрашивает дед.

Мишка вовсе исчезает за дверью. Выглядывая в щелку, пытливо караулит каждое движение деда, потом заявляет:

— Погоди, погоди, дедунюшка!.. Вот выпадут у тебя зубы, а я жевать тебе не буду!.. Хоть не проси тогда!

Дед выходит на крыльцо и видит, как по огороду, по зеленым лохматым коноплям ныряет Мишкина голова, мелькают синие штанишки. Долго грозит ему дед костылем, а у самого в бороде хоронится улыбка.

* * *

Для отца он — Минька. Для матери — Ми́нюшка. Для деда — в ласковую минуту — постреленыш, в остальное время, когда дедовские брови седыми лохмотьями свисают на глаза — «эй, Михайло Фомич, иди, я тебе уши оболтаю!»

А для всех остальных: для соседок-пересудок, для ребятишек, для всей станицы — Мишка и «нахаленок».

Девкой родила его мать. Хотя через месяц и обвенчалась с пастухом Фомою, от которого прижила дитя, но прозвище «нахаленок» язвой прилипло к Мишке, осталось на всю жизнь за ним.

Мишка собой щуплый, волосы у него с весны были как лепестки цветущего подсолнечника, в июне солнце обожгло их жаром, взлохматило пегими вихрами; щеки, точно воробьиное яйцо, исконопатило веснушками, а нос от солнышка и постоянного купанья в пруду облупился, потрескался шелухой. Одним хорош колченогенький Мишка — глазами. Из узеньких прорезей высматривают они, голубые и плутовские, похожие на нерастаявшие крупинки речного льда.

Вот за глаза-то да за буйную непоседливость и любит Мишку отец. Со службы принес он сыну в подарок старый престарый, зачерствевший от времени вяземский пряник и немножко приношенные сапожки. Сапоги мать завернула в полотенце и прибрала в сундук, а пряник Мишка в тот же вечер раскрошил на пороге молотком и съел до последней крошки.

На другой день проснулся Мишка с восходом солнца. Набрал из чугуна пригоршню степлившейся воды, размазал по щекам вчерашнюю грязь, просыхать выбежал на двор.

Мамка возится возле коровы, дед на завалинке посиживает. Подозвал Мишку:

— Скачи, постреленыш, под амбар! Курица там кудахтала, должно, яйцо обронила.

Мишка деду всегда готов услужить: на четвереньках юркнул под амбар, с другой стороны вылез и был таков! По огороду взбрыкивает, бежит к пруду, оглядывается — не смотрит ли дед? Пока добежал до плетня, ноги крапивой обстрекал. А дед ждет, покряхтывает. Не дождался и пополз под амбар. Вымазался куриным пометом, жмурясь от черной темноты и больно стукаясь головой о перекладины, дополз до конца.

— Экий ты дуралей, Мишка, право слово!.. Ищешь, ищешь и не найдешь!.. Разве курица, она будет тут нестыся? Вот тут, под камешком, и должно быть яйцо. Где ты тут полозишь, постреленыш?

Деду в ответ тишина. Отряхнул с портов прилипшие комочки навоза, вылез из-под амбара. Щурясь, долго глядел на пруд, увидал Мишку и рукой махнул...

Ребята возле пруда окружили Мишку, спрашивают:

— Твой батянька на войне был?

— Был.

— А что он там делал?..

— Известно что — воевал!..

— Брешешь!.. Он вшей там убивал и при кухне мослы грыз!..

Захохотали ребята, пальцами в Мишку тычут, прыгают вокруг. От горькой обиды слезы навернулись у Мишки на глаза, а тут еще Витька-попович больно задел его.

— А твой отец коммунист?..— спрашивает.

— Не знаю...

— Я знаю, что коммунист. Папочка сегодня утром говорил, что он продал душу чертям. И еще говорил, что всех коммунистов будут скоро вешать!..

Ребята примолкли, а у Мишки сжалось сердце. Батяньку его будут вешать — за что? Крепко сжал зубы и сказал:

— У батяньки большущее ружье, и он всех буржуев поубивает!

Витька, выставив вперед ногу, сказал торжествующе:

— Руки у него коротки! Папочка не даст ему святого благословения, а без святости он ничего не сделает!..

Прошка, сын лавочника, раздувая ноздри, толкнул Мишку в грудь и крикнул:

— А ты не дюже со своим батянькой!.. Он у моего отца товары забирал, как поднялась революция, а отец сказал: «Ну, нешто не перевернется власть, а то Фомку-пастуха первого убью!..»

Наташка, Прошкина сестра, топнула ногой:

— Бейте его, ребята, что смотреть?!

— Бей коммунячьего сына!..

— Нахаленок!..

— Звездани его, Прошка!

Прошка взмахнул прутом и ударил Мишку по плечу. Витька-попович подставил ногу, и Мишка навзничь, грузно, шлепнулся на песок.

Ребята заорали, кинулись на него. Наташка тоненько визжала и ногтями царапала Мишкину шею. Кто-то ногой больно ударил его в живот.

Мишка, стряхнув с себя Прошку, вскочил и, виляя по песку, как заяц от гончих, пустился домой. Вслед ему засвистали, бросили камень, но догонять не побежали.

Только тогда перевел Мишка дух, когда с головой окунулся в зеленую колючую заросль конопли. Присел на влажную пахучую землю, вытер с расцарапанной шеи кровь и заплакал; сверху, пробираясь сквозь листья, солнце старалось заглянуть Мишке в глаза, сушило на щеках слезы и ласково, как маманька, целовало его в рыжую вихрастую маковку.

Сидел долго, пока не высохли глаза; потом встал и тихонько побрел во двор.

Под навесом отец смазывает дегтем колеса повозки. Шапка у него съехала на затылок, ленты висят, а синяя рубаха на груди в белых полосах. Подошел Мишка боком и стал возле повозки. Долго молчал. Осмелившись, тронул батянькину руку, спросил шепотом:

— Батя, ты на войне что делал?

Отец улыбнулся в рыжие усы, сказал:

— Воевал, сыночек!

— А ребята... ребята гутарят, что ты там только вшей убивал!..

Слезы вновь перехватили Мишкино горло. Отец засмеялся и подхватил Мишку на руки.

— Брешут они, мой родный! Я на пароходе плавал. Большой пароход по морю ходит, вот на нем-то я и плавал, а потом пошел воевать.

— С кем ты воевал?

— С господами воевал, мой любонький. Ты еще мал, вот и пришлось мне на войну идти за тебя. Про это и песня поется.

Отец улыбнулся и, глядя на Мишку, притопывая ногой, запел потихоньку:

> Ой, Михаил, Михаля, Михалятко ты мое!
> Не ходи ты на войну, нехай батько иде,
> Батько — старенький, на свити нажився...
> А ты — молоденький, тай ще не женився...

Мишка забыл про обиду, нанесенную ему ребятами, и засмеялся — оттого, что у отца рыжие усы затопорщились над губой, как сибирьки, из каких маманька веники вяжет, а под усами смешно шлепают губы и рот раскрыт круглой черной дыркой.

— Ты мне сейчас не мешай, Минька,— сказал отец,— я повозку буду чинить, а вечером спать ляжешь и я тебе про войну все расскажу!

* * *

День растянулся, как длинная глухая дорога в степи. Солнце село, по станице прошел табун, улеглась пыль, и с почерневшего неба застенчиво глянула первая звездочка.

Мишку одолевает нетерпение, а мать, как нарочно, долго провозилась у коровы, долго цедила молоко, в погреб полезла и там прокопалась битый час. Мишка вьюном около нее крутился.

— Скоро вечерять будем?

— Успеешь, непоседа, оголодал!..

Но Мишка ни на шаг не отстает от нее: мать в погреб — и он за ней, мать на кухню — и он следом. Пиявкой присосался, за подол уцепился, волочится.

— Ма-а-амка!.. Ско-реича вечерять!..

— Да отвяжись ты, короста липучая!.. Жрать захотел — взял кусок и лопай!

А Мишка не унимается. Даже подзатыльник, схваченный от матери, и тот не помог.

За ужином кое-как наспех поглотал хлёбова и — опрометью в горницу. Далеко за сундук швырнул штанишки, с разбегу нырнул в постель под материно одеяло, сшитое из разноцветных лоскутьев. Притаился и ждет, когда придет батянька про войну рассказывать.

Дед на коленях стоит перед образами, шепчет молитвы, поклоны отстукивает. Приподнял Мишка голову: дед, трудно сгибая спину, пальцами левой руки в половицу упирается и лбом в пол — стук!.. А Мишка локтем в стену бух!..

Дед опять пошепчет, пошепчет и поклон стукает. Мишка себе в стену бухает. Рассердился дед, повернулся к Мишке:

— Я тебе, окаянный, прости, господи!.. Постучи у меня, я те стукну!

Быть бы драке, но в горницу вошел отец.

— Ты зачем же, Минька, тут лег? — спрашивает.

— Я с маманькой сплю.

Отец сел на кровать и молча начал крутить усы. Потом, подумав, сказал:

— А я тебе в горнице с дедом постелил...

— Я с дедом не ляжу!..

— Это почему ж?

— У него от усов табаком дюже воняет!

Отец опять покрутил усы и вздохнул:

— Нет, сынок, ты уж ложись с дедом...

Мишка натянул на голову одеяло и, выглядывая одним глазом, обиженно сказал:

— Вчерась ты, батянька, лег на моем месте и нынче. Ложись ты с дедом!

Сел на кровати и, обхватив руками отцову голову, прошептал:

— Ты ложись с дедом, а то маманька с тобой, должно быть, не будет спать! От тебя тоже табаком воняет!

— Ну, ладно, ляжу с дедом, а про войну рассказывать не буду.— Отец поднялся и пошел в кухню.

— Батянька!

— Ну?

— Ложись уж тут...— вздыхая, сказал Мишка и встал.— А про войну расскажешь?

— Расскажу.

Дед лег к стенке, а Мишку положил с краю. Немного погодя пришел отец. Придвинул к кровати скамейку, сел и закурил вонючую цигарку.

— Видишь, оно какое дело было... Помнишь, за нашим гумном когда-то был посев лавочника?..

Мишке припомнилось, как раньше бегал он по душистой высокой пшенице. Перелезет через каменную огорожу гумна и — в хлеба. Пшеница с головой его хоронит, тяжелые черноусые колосья щекочут лицо. Пахнет пылью,

ромашкой и степным ветром. Маманька говорила, бывало, Мишке:

— Не ходи, Минюшка, далеко в хлеба, а то заблудишься!..

Батянька помолчал и сказал, гладя Мишку по голове:

— А помнишь, как ты со мной ездил за Песчаный курган? Хлеб наш там был...

И опять припомнилось Мишке: за Песчаным курганом вдоль дороги узенькая, кривая полоска хлеба. Приехал Мишка с отцом туда, а полоса вся скотом потравлена. Лежат грязными ворохами втолоченные в землю колосья, под ветром качаются пустые стебли. Помнит Мишка, как батянька, такой большой и сильный, страшно кривил лицо, и по запыленным щекам его скупо текли слезы. Мишка тоже плакал тогда, глядя на него...

Обратной дорогой спросил отец у бахчевника:

— Скажи, Федот, кто потравил мой хлеб?

Бахчевник сплюнул под ноги и ответил:

— Лавочник гнал скотину на рынок и нарочно запустил на твою полосу...

...Отец придвинул скамью ближе, заговорил:

— Лавочник и остальные богатеи позаняли всю землю, а бедным сеять было не на чем. Вот так везде было, не в одной нашей станице. Шибко обижали они нас тогда... Жить стало туго, нанялся я в пастухи, а потом забрали меня на службу. На службе мне было плохо, офицеры за всякую малость в морду били... А потом объявились большевики, и старшой у них — по прозвищу Ленин. Сам-то собой он вроде немудрящий, но ума дюже ученого, даром что наших, мужицких, кровей. Задали большевики нам такую заковырину, что мы и рты пораззявили. «Что вы, говорят, мужики и рабочие, раззяву-то ловите?.. Гоните господ и начальство в три шеи да поганой метлой! Все — ваше!..»

Вот этими словами и растревожили они нас. Пораскинули мы умишками — верно. Отобрали у господ землю и имения, но их затошнило от поганого житья, пащетинились и прут на нас, на мужиков и рабочих, войной... Понял, сынок?

А тот самый Ленин — старшой у большевиков — народ поднял, ровно пахарь полосу плугом. Собрал солдат и рабочих и ну наколупывать господ! Аж пух и перья с них летят! Стали солдаты и рабочие прозываться Красной гвардией. Вот и я был в Красной гвардии. Жили мы в большущем

доме, звался он Смольным. Сенцы там, сынок, длиннющие и горниц так много, что заплутаться можно.

Стою я раз ночью, караулю вход. Холодно на дворе, а у меня одна шинель. Ветер так и нижет... Только выходят из этого дома два человека и идут мимо меня. Подходят они ближе, и угадываю я в одном из них Ленина. Подошел ко мне, спрашивает ласково:

— Не холодно вам, товарищ?

А я ему и говорю:

— Нет, товарищ Ленин, не то что холод, но и никакие враги не сломят нас! Не для того мы забрали власть в свои руки, чтобы отдать ее буржуазам!..

Он засмеялся и руку мне жмет крепко. А потом пошел потихоньку к воротам.

Отец помолчал, достал из кармана кисет, зашелестел бумагой, закуривая, чиркнул спичкой, и на рыжем щетинистом усе увидал Мишка светлую и блестящую слезинку, похожую на каплю росы, какие по утрам висят на кончиках крапивных листьев.

— Вот какой он был. Обо всех заботу нес. Об каждом солдате сердцем хворал... После этого часто я его видал. Идет мимо меня, увидит еще вон откель, улыбнется и спрашивает:

— Так не сломят нас буржуи?

— В носе у них не кругло, товарищ Ленин! — бывало скажу ему.

По ему слову и вышло, сынок! Землю и фабрики мы забрали, а богатеев — кровососов наших — побоку!.. Вырастешь — не забывай, что твой батянька матросом был и за коммунию четыре года кровь проливал. К тем годам и я помру и Ленин помрет, а дело наше до веку живо будет!.. Когда вырастешь — будешь воевать за Советскую власть, как твой батька воевал?

— Буду! — крикнул Мишка, вскочил на кровати, хотел с размаху повиснуть на батянькиной шее, да забыл, что рядом дед лежит, ногой на живот ему наступил.

Дед как крякнет, руку протянул, хотел сцапать Мишку за вихор, но батянька схватил Мишку на руки и понес в горницу.

На руках у него Мишка и уснул. Сначала долго думал о диковинном человеке — Ленине, о большевиках, о войне, о пароходах. Сначала сквозь дрему слышал сдержанные голоса, ощущал сладкий запах пота и махорки,— потом глаза слиплись, веки словно кто ладонями придавил.

Не успел уснуть, увидал во сне город: улицы широкие,

куры в просыпанной золе купаются; на что в станице их многое множество, а в городе куда больше. Дома точь-в-точь как отец рассказывал: большущая хата, крытая тожим камышом, на трубе у нее стоит еще одна хата, у той на трубе еще одна, а труба самой верхней хаты в небо воткнулась.

Идет Мишка по улице, голову кверху задирает, рассматривает, и вдруг откуда ни возьмись шасть ему навстречу высоченный человек в красной рубахе.

— Ты, Мишка, почему без делов шляешься? — спрашивает он очень ласково.

— Меня дедуня пустил поиграть,— отвечает Мишка.

— А ты знаешь, кто я такой?

— Нет, не знаю...

— Я — товарищ Ленин!..

У Мишки со страху колени подогнулись. Хотел тягу задать, но человек в красной рубахе взял его, Мишку, за рукав и говорит:

— Совести у тебя, Мишка, и на ломаный грош нету! Хорошо ты знаешь, что я за бедный народ воюю, а почему-то в мое войско не поступаешь?..

— Меня дедуня не пущает! — оправдывается Мишка.

— Ну, как хочешь,— говорит товарищ Ленин,— а без тебя у меня — неуправка! Должон ты ко мне в войско поступить, и шабаш!..

Мишка взял его за руку и сказал очень твердо:

— Ну, ладно, я без спросу поступлю в твою войску и буду воевать за бедный народ. Но ежели дедуня меня за это зачнет хворостиной драть, тогда ты за меня заступись!..

— Обязательно заступлюсь! — сказал товарищ Ленин и с тем пошел по улице, а Мишка почувствовал, как от радости у него захватило дух, нечем дыхнуть; хочет он что-то крикнуть — язык присох...

Дрогнул Мишка на постели, брыкнул деда ногами и проснулся.

Дед во сне мычит, жует губами, а в оконце видно, как за прудом нежно бледнеет небо и розовой кровянистой пеной клубятся плывущие с востока облака.

* * *

С тех пор каждый вечер рассказывал отец Мишке про войну, про Ленина, про то, в каких краях бывал.

В субботу вечером сторож из исполкома привел во двор

низенького человека в шинели и с кожаным портфелем под мышкой. Подозвал деда, сказал:

— Вот привел к вам на хватеру товарища советского сотрудника. Он прибывши из городу и будет у вас ночевать. Дадите ему повечерять, дедушка.

— Оно конечно, мы не прочь,— сказал дед.— А мандаты у вас имеются, господин товарищ?

Мишка удивился дедовой учености и, засунув палец в рот, остановился послушать.

— Есть, дедушка, все есть! — улыбнулся человек с кожаным портфелем и пошел в горницу.

Дед за ним, а Мишка за дедом.

— Вы по каким же делам к нам прибыли? — дорогой спросил дед.

— Я приехал перевыборы проводить. Будем выбирать председателя и членов Совета.

Немного погодя пришел с гумна отец. Поздоровался с чужим человеком и велел маманьке собирать ужинать. После ужина отец и чужак сели на лавке рядом, чужак расстегнул кожаный портфель, достал оттуда пачку бумаг и начал отцу показывать. Мишке не терпится, вьется около, хочет взглянуть. Взял отец одну бумажку, Мишке показывает:

— Гляди, Минька, вот это самый и есть Ленин!

Мишка вырвал у отца из рук карточку, впился в нее глазами и рот от удивления раскрыл: на бумаге стоит во весь рост небольшой человек, вовсе даже не в красной рубахе, а в пиджаке. Одна рука в карман штанов засунута, а другой вперед себя показывает. Уперся Мишка в него глазами, в один миг всего ощупал; крепко, навовсе, на всегда вобрал в память изогнутые брови, улыбку, притаившуюся во взгляде и в углах губ, каждую черточку лица запомнил.

Чужак взял из рук у Мишки карточку, защелкнул на замок портфель и пошел спать. Уже разделся, лег и закрылся шинелью, начал засыпать, когда услышал скрип двери. Приподнял голову:

— Кто это?

По полу шлепают чьи-то босые ноги.

— Кто там? — спросил он снова и около кровати неожиданно увидел Мишку.

— Тебе чего, малыш?

Мишка минуту постоял молча, потом, набравшись смелости, шепотом сказал:

— Ты, дяденька, вот чего... ты... отдай мне Ленина!

Чужак молчит, голову свесил с кровати и смотрит на него.

Страх охватил Мишку: ну, как заскупится и не даст? Стараясь одолеть дрожь в голосе, торопясь и захлебываясь, зашептал:

— Ты мне отдай его навовсе, а я тебе... я тебе подарю жестяную коробку хорошую, и ишо отдам все как есть бабки, и...— Мишка с отчаянием махнул рукой и сказал: — И сапоги, какие мне батянька принес, отдам!

— А зачем тебе Ленин? — улыбаясь, спросил чужак.

«Не даст!..» — мелькнула у Мишки мысль. Нагнул голову, чтобы не видно было слез, сказал глухо:

— Значит, надо!

Чужак засмеялся, достал из-под подушки портфель и подал Мишке карточку. Мишка ее под рубаху, к груди прижал, к сердцу крепко-накрепко, и — рысью из горницы. Дед проснулся, спрашивает.

— Ты чего бродишь, полуношник? Говорил тебе, не пей на ночь молока, а теперь вот приспичило!.. Помочись в помойное ведро, мне тебя на двор водить вовсе без надобности!

Мишка молчком лег, карточку обеими руками тискает, повернуться страшно: как бы не измять. Так и уснул.

Проснулся ни свет ни заря Маманька только корову выдоила и прогнала в табун. Увидала Мишку, руками всплеснула:

— Что тебя лихоманец мучает! Это зачем такую рань поднялся?

Мишка карточку под рубахой жмет, мимо матери на гумно, под амбар юркнул.

Вокруг амбара растут лопухи и зеленой непролазной стеной щетинится крапива. Заполз Мишка под амбар, песок разгреб ладонью, сорвал пожелтевший от старости лист лопуха, завернул в него карточку и камешком привалил, чтобы ветер не унес.

С утра до вечера шел дождь. Небо закрылось сизым пологом, во дворе пенились лужи, по улице бежали наперегонки ручьи.

Пришлось Мишке сидеть дома. Уже смеркалось, когда дед и отец собрались и пошли в исполком на собрание. Мишка натянул дедов картуз и пошел следом. Исполком помещается в церковной сторожке. По кривым, грязным ступенькам влез, кряхтя, Мишка на крыльцо и прошел в комнату. Под потолком ползает табачный дым, народу

полным-полно. У окна за столом сидит чужак, что-то рассказывает собравшимся казакам.

Мишка потихоньку пробрался на самый зад и сел на скамью.

— Кто за то, товарищи, чтобы Фома Коршунов был председателем? Прошу поднять руки!

Сидевший впереди Мишки Прохор Лысенков, зять лавочника, крикнул:

— Гражданы!.. Прошу снять его кандидатуру. Он нечестного поведения. Ишо когда пастухом табун наш стерег, замечен был!..

Мишка увидал, как Федот-сапожник встал с подоконника, закричал, махая руками:

— Товарищи, богатеям нежелательно в председатели пастуха Фому, но как он есть пролетарьят и за Советскую власть...

Зажиточные казаки, стоявшие кучей около двери, затопотали ногами, засвистали. Шум поднялся в исполкоме.

— Не нужен пастух!

— Пришел со службы — нехай к миру в пастухи нанимается!..

— К черту Фому Коршунова!

Мишка глянул на бледное лицо отца, стоявшего возле скамьи, и сам побелел от страха за него.

— Тише, товарищи!.. С собранья буду удалять! — орал чужак, грохая по столу кулаком.

— Своего человека из казаков выберем!..

— Не нужен!..

— Не хо-о-тим... мать-перемать!..— шумели казаки, и пуще всех Прохор, зять лавочника.

Здоровый рыжебородый казак с серьгой в ухе и в рваном, заплатанном пиджаке вскочил на скамью:

— Братцы!.. Вон оно куда дело заворачивает!.. Нахрапом желают богатеи посадить в председатели своего человека!.. А там опять...

Сквозь стонущий рев Мишка слышал только отдельные слова, которые выкрикивал казак с серьгой:

— Землю... переделы... бедноте суглинок... чернозем заберут себе...

— Прохора в председатели!..— гудели около дверей.

— Про-о-хо-ра!.. Го-го-го!.. Га-га-га!..

Насилу угомонились. Чужак, хмуря брови и брызгал слюной, долго что-то выкрикивал.

«Должно, ругается»,— подумал Мишка.

Чужак громко спросил:

Кто за Фому Коршунова?

Над скамьями поднялось много рук. Мишка тоже поднял руку. Кто-то, перепрыгивая со скамьи на скамью, громко считал:

– Шестьдесят три... шестьдесят четыре,— не глядя на Мишку, указал пальцем на его поднятую руку, выкрикнул,— шестьдесят пять!

Чужак что-то записал на бумажке, крикнул:

— Кто за Прохора Лысенкова, прошу поднять!

Двадцать семь казаков-богатеев и Егор-мельник дружно подняли руки. Мишка поглядел вокруг и тоже поднял руку. Человек, считавший голоса, поравнялся с ним, глянул сверху вниз и больно ухватил его за ухо.

— Ах ты шпаненок!.. Метись отсель, а то я тебе всыплю! Тоже голосует!..

Кругом засмеялись, а человек подвел Мишку к выходу, толкнул в спину. Мишка вспомнил, как говорил отец, ругаясь с дедом, и, сползая по скользким, грязным ступенькам, крикнул:

— Таких правов не имеешь!

— Я тебе покажу права!..

Обида была, как и все обиды, очень горькая.

Придя домой, Мишка всплакнул малость, пожаловался матери, но та сердито сказала:

— А ты не ходи, куда не след! Во всякую дыру нос суешь!.. Наказание мне с тобой, да и только!

На другой день утром сели за стол завтракать, не успели кончить, услышали далекую, глухую от расстояния музыку. Отец положил ложку, сказал, вытирая усы:

— А ведь это военный оркестр!

Мишку как ветром сдуло с лавки. Хлопнула дверь в сенцах, за окошком слышно частое — туп-туп-туп-туп...

Вышли во двор и отец с дедом, маманька до половины высунулась из окна.

В конец улицы зеленой колыхающейся волной вливались ряды красноармейцев. Впереди музыканты дуют в большущие трубы, грохает барабан, звон стоит над станицей.

У Мишки глаза разбежались. Растерянно закружился на одном месте, потом рванулся и подбежал к музыкантам. В груди что-то сладко защемило, подкатилось к горлу... Глянул Мишка на запыленные веселые лица красноармейцев, на музыкантов, важно надувших щеки, и сразу, как отрубил, решил: «Пойду воевать с ними!..»

Вспомнил сон, и откуда только смелость взялась. Уцепился за подсумок крайнего.

— Вы куда идете? Воевать?

— А то как же? Ну да, воевать!

— А за кого вы воюете?

— За Советскую власть, дурашка! Ну, иди сюда, в середку.

Толкнул Мишку в середину рядов, кто-то, смеясь, щелкнул его по вихрастому затылку, другой на ходу достал из кармана измазанный кусок сахара, сунул ему в рот. На площади откуда-то из передних рядов крикнули:

— Сто-о-ой!..

Красноармейцы остановились, рассыпались по площади, густо легли в холодке, под тенью школьного забора. К Мишке подошел высокий бритый красноармеец с шашкой на боку. Спросил, морща губы в улыбке:

— Ты откуда к нам приблудился?

Мишка напустил на себя важность, поддернул сползающие штанишки.

— Я иду с вами воевать!

— Товарищ комбат, возьми его в помощники! — крикнул один из красноармейцев.

Кругом захохотали. Мишка часто заморгал, но человек с чудным прозвищем «комбат» нахмурил брови, крикнул строго:

— Ну, чего ржете, дурачье? Разумеется, мы возьмем его, но с условием...— Комбат повернулся к Мишке и сказал: — На тебе штаны с одной помочью, так нельзя, ты нас осрамишь своим видом!.. Вот, погляди: на мне две помочи, и на всех по две. Беги, пусть тебе матка пришьет другую, а мы тебя подождем тут...— Потом он повернулся к забору, крикнул, подмигивая: — Терещенко, пойди принеси новому красноармейцу ружье и шинель!

Один из лежавших под забором встал, приложил руку к козырьку, ответил:

— Слушаюсь!..— и быстро пошел вдоль забора.

— Ну, живо беги! Пусть матка поскорее пришьет другую помочь!..

Мишка строго взглянул на комбата:

— Ты, гляди, не обмани меня!

— Ну, что ты? Как можно!..

От площади до дома далеко. Пока добежал Мишка до ворот — запыхался. Дух не переведет. Возле ворот на бегу скинул штанишки и, мелькая босыми ногами, вихрем ворвался в хату.

Маманька!.. Штаны!.. Помочь пришей!..

В хате тишина. Над печью черным роем гудят мухи. Обежал Мишка двор, гумно, огород — ни отца, ни матери, ни деда нет. Вскочил в горницу — на глаза попался мешок. Отрезал ножом длинную ленту, пришивать некогда, да и не умеет Мишка. Наскоро привязал ее к штанам, перекинул через плечо, еще раз привязал спереди и опрометью под амбар.

Отвалил камень, глянул мельком на ленинскую руку, указывающую на него, Мишку, шепнул, переводя дух:

— Ну, вот видишь?.. И я поступил в твою войску!..

Бережно завернул карточку в лопух, сунул за пазуху — и по улице вскачь. Одной рукой карточку к груди жмет, другой штанишки поддергивает. Мимо соседского плетня бежал, крикнул соседке:

— Анисимовна!

— Ну?

— Перекажи нашим, чтоб обедали без меня!..

— Ты куда летишь, сорванец?

Мишка махнул рукой:

— На службу ухожу!..

Добежал до площади и стал как вкопанный. На площади — ни души. Под забором папиросные окурки, коробки от консервов, чьи-то изорванные обмотки, а в самом конце станицы глухо гремит музыка, слышно, как по утрамбованной дороге гоцают шаги уходящих.

Из Мишкиного горла вырвалось рыданье, вскрикнул и что есть мочи побежал догонять. И догнал бы, обязательно догнал, но против двора кожевника лежит поперек дороги желтый хвостатый кобель, зубы скалит. Пока перебежал Мишка на другую улицу — не слышно ни музыки, ни топота ног.

* * *

Дня через два в станицу пришел отряд человек в сорок. Солдаты были в седых валенках и замасленных рабочих пиджаках. Отец пришел из исполкома обедать, сказал деду:

— Приготовь, папаша, хлеб в амбаре. Продотряд пришел. Разверстка начинается.

Солдаты ходили по дворам: щупали штыками землю в сараях, доставали зарытый хлеб и свозили на подводах в общественный амбар.

Пришли к председателю. Передний, посасывая трубку, спросил у деда:

— Зарывал хлеб, дедушка? Признавайся!..

Дед разгладил бородку и с гордостью сказал:

— Ведь у меня сын-то коммунист!

Прошли в амбар. Солдат с трубкой обмерил взглядом закрома и улыбнулся.

— Отвези, дедушка, вот из этого закрома, а остальное тебе на прокорм и на семена.

Дед запряг в повозку старого Савраску, покряхтел, постонал, насыпал восемь мешков, сокрушенно махнул рукой и повез к общественному амбару. Маманька, хлеб жалеючи, немного поплакала, а Мишка помог деду насыпать зерно в мешки и пошел к попову Витьке играть.

Только что сели в кухне, разложили на полу вырезанных из бумаги лошадей,— в кухню вошли те же солдаты. Батюшка, путаясь в подряснике, выбежал навстречу им, засуетился, попросил пройти в комнаты, но солдат с трубкой строго сказал:

— Пойдемте в амбар! Где у вас хлеб хранится?

Из горницы выскочила растрепанная попадья, улыбнулась воровато:

— Представьте, господа, у нас хлеба ничуть нету!.. Муж еще не ездил по приходу...

— А подпол у вас есть?

— Нет, не имеется... Мы хлеб раньше держали в амбаре...

Мишка вспомнил, как вместе с Витькой лазил он из кухни в просторный подпол, сказал, поворачивая голову к попадье:

— А из кухни мы с Витькой лазили в подпол, забыла?..

Попадья, бледнея, рассмеялась:

— Это ты спутал, деточка!.. Витя, вы бы пошли в сад поиграли!..

Солдат с трубкой прищурил глаза, улыбнулся Мишке:

— Как же туда спуститься, малец?

Попадья хрустнула пальцами, сказала:

— Неужели вы верите глупому мальчишке? Я вас уверяю, господа, что подпола у нас нет!

Батюшка, махнув полами подрясника, сказал:

— Не угодно ли, товарищи, закусить? Пройдемте в комнаты!

Попадья, проходя мимо Мишки, больно щипнула его за руку и ласково улыбнулась:

— Идите, детки, в сад, не мешайте здесь!

Солдаты перемигнулись и пошли по кухне, постукивая по полу прикладами винтовок. У стены отодвинули стол,

ковырнули дерюгу. Солдат с трубкой приподнял половину, заглянул в подпол и покачал головой:

— Как же вам не стыдно? Говорили — хлеба нет, а подпол доверху засыпан пшеницей!..

Попадья взглянула на Мишку такими глазами, что ему стало страшно и захотелось поскорее домой. Встал и пошел на двор. Следом за ним в сенцы выскочила попадья, всхлипнула и, вцепившись Мишке в волосы, начала его возить по полу.

Насилу вырвался, пустился без огляду домой. Захлебываясь слезами, рассказал все матери: та только за голову ухватилась:

— И что я с тобой буду делать?.. Иди с моих глаз долой, пока я тебя не отбуздала!..

С тех пор всегда, после каждой обиды, заползал Мишка под амбар, отваливал камешек, разворачивал лопух и, смачивая бумагу слезами, рассказывал Ленину о своем горе и жаловался на обидчика.

Прошла неделя. Мишка скучал. Играть не с кем. Соседские ребятишки не водились с ним, к прозвищу «нахаленок» прибавилось еще одно, заимствованное от старших. Вслед Мишке кричали:

— Эй ты, коммуненок! Коммунячев недоносок, оглянись!..

Как-то пришел Мишка с пруда домой перед вечером; не успел в хату войти, услышал, как отец говорит резким голосом, а маманька голосит и причитает, ровно по мертвому. Проскользнул Мишка в дверь и видит: отец шинель свою скатал и сапоги надевает.

— Ты куда идешь, батянька?

Отец засмеялся, ответил:

— Уйми ты, сынок, мать!.. Душу она мне вынает своим ревом. Я на войну иду, а она не пущает!..

— И я с тобой, батянька!

Отец подпоясался ремнем и надел шапку с лентами.

— Чудак ты, право! Нельзя нам обоим уходить сразу!.. Вот я вернусь, потом ты пойдешь, а то хлеб поспеет, кто же его будет убирать? Мать по хозяйству, а дед старый...

Мишка, прощаясь с отцом, сдержал слезы, даже улыбнулся. Маманька, как и в первый раз, повисла у отца на шее, насилу он ее стряхнул, а дед только крякнул, целуя служивого, шепнул ему на ухо:

— Фомушка... сынок!.. Может, не ходил бы? Может, без тебя как-нибудь?.. Не ровен час, убьют, пропадем мы тогда!..

— Брось, батя... Негоже так. Кто же будет оборонять нашу власть, коли каждый к бабе под подол хорониться полезет?

— Ну, что ж, иди, ежели твое дело правое.

Отвернулся дед и незаметно смахнул слезу. Провожать отца пошли до исполкома. Во дворе исполкомском толпится человек двадцать с винтовками. Отец тоже взял винтовку и, поцеловав Мишку в последний раз, вместе с остальными зашагал по улице на край станицы.

Обратно домой шел Мишка вместе с дедом. Маманька, покачиваясь, тянулась сзади. По станице реденький собачий лай, реденькие огни. Станица покрылась ночной темнотой, словно старуха черным полушалком. Накрапывал дождик, где-то за станицей, над степью, резвилась молния и глухими рассыпчатыми ударами бухал гром.

Подошли к дому. Мишка, молчавший всю дорогу, спросил у деда:

— Дедуня, а на кого батяня пошел воевать?

— Отвяжись!..

— Дедуня!

— Ну?

— С кем батянька будет воевать?

Дед заложил ворота засовом, ответил:

— Злые люди объявились по суседству с нашей станицей. Народ их кличет бандой, а по-моему, просто разбойники... Вот отец твой и пошел с ними стражаться.

— А много их, дедушка?

— Болтают, что около двухсот... Ну, иди, постреленок, спать, будет тебе околачиваться!

Ночью Мишку разбудили голоса. Проснулся, полапал по кровати — деда нет.

— Дедуня, где ты?

— Молчи!.. Спи, неугомонный!

Мишка встал и ощупью в потемках добрался до окна. Дед в одних исподниках сидит на лавке, голову высунув в раскрытое окно, слушает. Прислушался Мишка и в немой тишине ясно услышал, как за станицей часто затарахтели выстрелы, потом размеренно захлопали залпы.

Трах!.. тра-тра-рах!.. та-трах.

Будто гвозди вбивают.

Мишку охватил страх. Прижался к деду, спросил:

— Это батянька стреляет?

Дед промолчал, а мать снова заплакала и запричитала.

До рассвета слышались за станицей выстрелы, потом все смолкло. Мишка калачиком свернулся на лавке и уснул.

тяжелым, нерадостным сном. На заре по улице к исполкому проскакала куча всадников. Дед разбудил Мишку, а сам выбежал во двор.

Во дворе исполкома черным столбом вытянулся дым, огонь перекинулся на постройки. По улицам засновали конные. Один подскакал к двору, крикнул деду:

— Лошадь есть, старик?

— Есть...

— Запрягай и езжай за станицу! В хворосте ваши коммунисты лежат!.. Навали и вези, нехай родственники хоронют их!

Дед быстро запряг Савраску, взял в дрожащие руки вожжи и рысью выехал со двора.

Над станицей поднялся крик, спешившиеся бандиты тащили с гумен сено, резали овец. Один соскочил с лошади возле двора Анисимовны, вбежал в хату. Мишка услышал, как Анисимовна завыла толстым голосом. А бандит, брякая шашкой, выбежал на крыльцо, сел, разулся, разорвал пополам цветастую праздничную шаль Анисимовны, сбросил свои грязные портянки и обернул ноги половинками шали.

Мишка вошел в горницу, лег на кровать, придавил голову подушкой, встал только тогда, когда скрипнули ворота. Выбежал на крыльцо, увидал, как дед с бородой, мокрой от слез, вводит во двор лошадь.

Сзади на повозке лежит босой человек, широко разбросав руки, голова его, подпрыгивая, стукается об задок, течет на доски густая, черная кровь...

Мишка, качаясь, подошел к повозке, заглянул в лицо, искромсанное сабельными ударами: видны оскаленные зубы, щека висит, отрубленная вместе с костью, а на заплывшем кровью выпученном глазе, покачиваясь, сидит большая зеленая муха.

Мишка, не догадываясь, мелко подрагивая от ужаса, перевел взгляд и, увидев на груди, на матросской рубахе, синие и белые полосы, залитые кровью, вздрогнул, словно кто-то сзади ударил его по ногам, широко раскрытыми глазами взглянул еще раз в недвижное черное лицо и прыгнул на повозку.

— Батянюшка, встань! Батянюшка — миленький!..— Упал с повозки, хотел бежать, но ноги подвернулись, на четвереньках прополз до крыльца и ткнулся головой в песок.

* * *

У деда глаза глубоко провалились внутрь, голова трясется и прыгает, губы шепчут что-то беззвучно.

Долго молча гладил Мишку по голове, потом, поглядывая на мать, лежавшую плашмя на кровати, шепнул:

— Пойдем, внучек, во двор...

Взял Мишку за руку и повел на крыльцо. Мишка, шагая мимо дверей горницы, зажмурил глаза, вздрогнул: в горнице на столе лежит батянька, молчаливый и важный. Кровь с него обмыли, но у Мишки перед глазами встает батянькин остекленевший кровянистый глаз и большая зеленая муха на нем.

Дед долго отвязывал у колодца веревку; пошел в конюшню, вывел Савраску, зачем-то вытер ему пенистые губы рукавом, потом надел на него узду, прислушался: по станице крики, хохот. Мимо двора едут верхами двое, в темноте посверкивают цигарки, слышны голоса:

— Вот мы им и сделали разверстку!.. На том свете будут помнить, как у людей хлеб забирать!..

Переборы лошадиных копыт умолкли, дед нагнулся к Мишкиному уху, зашептал:

— Стар я... не влезу на коня... Посажу я тебя, внучек, верхом, и езжай ты с богом на хутор Пронин... Дорогу я тебе укажу... Там должен быть энтот отряд, какой с музыкой шел через нашу станицу... Скажи им, нехай идут в станицу: тут, мол, банда!.. Понял?..

Мишка молча кивнул головой. Посадил его дед верхом, ноги привязал к седлу веревкой, чтобы не упал, и через гумно, мимо пруда, мимо бандитской заставы провел Савраску в степь.

— Вот в бугор пошла балка, над ней езжай, никуда не свиливай!.. Прямо в хутор приедешь. Ну, трогай, мой родный!..

Поцеловал дед Мишку и тихонько ударил Савраску ладонью.

Ночь месячная, видная. Савраска трюхает мелкой рысцой, пофыркивает и, чуя на спине легонькую ношу, убавляет шаг. Мишка трогает его поводьями, хлопает рукой по шее, трясется, подпрыгивая.

Перепела бодро посвистывают где-то в зеленой гущине зреющих хлебов. На дне балки звенит родниковая вода, ветер тянет прохладой.

Мишке страшно одному в степи, обнимает руками теплую Савраскину шею, жмется к нему маленьким, зябким комочком.

Балка ползет в гору, спускается, опять ползет в гору. Мишке страшно оглянуться назад, шепчет, стараясь не думать ни о чем. В ушах у него застывает тишина, глаза закрыты.

Савраска мотнул головой, фыркнул, прибавил шагу. Чуточку приоткрыл Мишка глаза — увидел внизу, под горой, бледно-желтые огоньки. Ветром донесло собачий вой.

Теплой радостью на минуту согрелась Мишкина грудь. Толкнул Савраску ногами, крикнул:

— Но-о-о-о!..

Собачий лай ближе, видны на пригорке смутные очертания ветряка.

— Кто едет? — окрик от ветряка.

Мишка молча понукает Савраску. Над сонным хутором заголосили петухи.

— Стой! Кто едет?.. Стрелять буду!..

Мишка испуганно натянул поводья, но Савраска, почуявший близость лошадей, заржал и рванулся, не слушаясь поводьев.

— Сто-о-ой!..

Около ветряка ахнули выстрелы. Мишкин крик потонул в топоте конских ног. Савраска захрипел, стал в дыбки и грузно повалился на правый бок.

Мишка на мгновение ощутил страшную, непереносимую боль в ноге, крик присох у него на губах. Савраска наваливался на ногу все тяжелее и тяжелее.

Лошадиный топот ближе. Подскакали двое, звякая шашками, прыгнули с лошадей, нагнулись над Мишкой.

— Мать родная, да ведь это парнишка!..

— Неужто ухлопали?!

Кто-то сунул Мишке за пазуху руку, близко в лицо пахнул табаком. Чей-то обрадованный голос сказал:

— Он целенький!.. Никак, ногу ему конь раздавил?..

Теряя сознание, прошептал Мишка:

— Банда в станице... Батяньку убили... Сполком сожгли, а дедуня велел вам скорейча ехать туда!

Перед тускнеющим Мишкиным взором поплыли цветные круги...

Прошел мимо батянька, усы рыжие крутит, смеется, а на глазу у него сидит, покачиваясь, большая зеленая муха. Дед прошагал, укоризненно качая головой, мамань-

ка, потом маленький лобастый человек с протянутой рукой и рука указывает прямо на него, на Мишку.

— Товарищ Ленин!..— вскрикнул Мишка глохнущим голоском, силясь, приподнял голову — и улыбнулся, протягивая вперед руки.

1925

КОЛОВЕРТЬ

I

На закате солнца вернулся из станицы Игнат.

Хворостяными воротами поломал островерхий сугроб, лошадь заиневшую ввел во двор и, не отпрягая, взбежал на крыльцо. Слышно было, как в сенцах скрипели обмерзшие половицы и по валенкам торопливо шуршал веник, обметая снег. Пахомыч, тесавший на печке топорище, смел с колен стружки, сказал младшему сыну Григорию:

— Ступай, кобыленку отпряги, сена я наметал в конюшне.

Дверь широко распахнув, влез Игнат, поздоровался и долго развязывал окоченевшими пальцами башлык. Морщась, сорвал с усов сосульки тающие и улыбнулся, радости не скрывая:

— Слухом пользовался — красногвардейцы на округ идут...

Пахомыч ноги свесил с печки, спросил с любопытством сдержанным:

— Войной идут али так?

— Разно гутарют... А только беспокойствие в станице, томашится народ, в правлении миру видимо-невидимо.

— Не слыхал молвишки в счет земли?

— Гутарют, что большевики землю помещичью под гребло берут.

— Та-а-ак,— крякнул Пахомыч и соскочил с печки по-молодому.

Старуха у загнетки загремела ложками; щи в чашку наливая, сказала:

— Кличьте вечерять Гришатку.

На дворе смеркалось. Снежок перепадывал, и синевой хмурилась ночь. Пахомыч ложку отложил, бороду вытирая расшитым рушником, спросил:

— Про мельницу паровую разузнал? Когда пущать будут?

— Мельница работает в размол, можно везть.

— Ну, кончай вечерять и пойдем в амбар. Зерно надо проровнять, завтра, как удастся погода, уторком поеду смолоть. Дорога-то как, избитая?

— Шлях не спит, день и ночь едут, только разъезжаться трудновато. Сбочь дороги снегу глыбже пояса.

II

Григорий вышел за ворота проводить.

Пахомыч натянул рукавицы и угнездился в передке.

— На корову поглядывай, Гриша. Вымя налила она, что не видно[1] отелится...

— Ладно, батя, трогай!

Полозья саней с хрустом кромсают оттаявшую снежную корку. Вожжами волосяными Пахомыч шевелит, золу, просыпанную на улице, объезжает. Попадается оголенная земля — подреза липнут. Спины напружив, угинаясь, тянут лошади. Хоть и снасть справная и кони сытые, а Пахомыч нет-нет да слезет с саней, кряхтя,— больно уж важно нагрузили мешков.

На гору выбрался, дал вздохнуть припотевшим лошадям и тронул рысцой шаговитой. Где приглянулось, оттепель сжевала снег, дорогу дурашливо изухабила. Теплынь на провесне. Тает. Полдень.

Лес начал огибать Пахомыч — навстречу тройка стелется. А снегу возле леса намело горы. В сугробах саженных дорожку прогрызли узенькую, разминуться никак невозможно.

— Эка, скажи на милость, оказия-то! Тпру!..

Приостановил Пахомыч лошадей, слез и шапку снял. Голову седую и потную ветер облизывает. Потому снял Пахомыч шапчонку свою убогую, что опознал в тройке встречной выезд полковника Черноярова Бориса Александровича. А у полковника землю он арендовал восемь лет подряд.

Тройка ближе. Бубенцы промеж себя разговорчики вполголоса ведут. Видно, как с пристяжных пена шмотьями брызжет и тяжело-тяжело колышется коренник. Привстал кучер, кнутом машет.

---

[1] Что не видно — очень скоро, вот-вот.

— Сворачивай, ворона седая!.. Что дорогу-то перенял?!

Поравнялся и лошадей осадил. Пахомыч, в полах полушубка путаясь, с головой непокрытой к санкам подбежал, поклон отвалил низенький.

Из саней, медвежьим мехом обитых, пучатся, не мигая, глаза стоячие. Губы рубчатые, выскобленные досиня, кривятся.

— Ты почему, хам, дог-огу не уступаешь? Большевистскую свободу почуял? Г-авнопг-авие?..

— Ваше высокоблагородие!.. Христа ради, объезжайте вы меня. Вы порожнем, а у меня вага... Я ежели свильну с дороги, так и не выберусь.

— Из-за тебя я буду лошадей кг-овных в снегу душить?.. Ах ты сволочь!.. Я тебя научу уважать офицерские погоны и уступать дог-огу!..

Ковер с ног стряхнул и перчатку лайковую кинул на сиденье.

— Аг-тем, дай сюда кнут!

Прыгнул полковник Чернояров с саней и, размахнувшись, хлобыстнул кнутом Пахомыча промеж глаз.

Охнул старик, покачнулся, лицо ладонями закрыл, а сквозь пальцы кровь.

— Вот тебе негодяй, вот!..

Бороду Пахомычеву седую дергал, хрипел, брызгаясь слюной.

— Я из вас дух кг-асногваг-дейский выколочу!.. Помни, хам, полковника Чег-нояг-ова!.. Помни!..

Над талой покрышкой снега маячит голубая дуга. Бубенцы говорят невнятным шепотом... Сбочь дороги, постромки обрывая, бьются лошади Пахомыча, сани опрокинутые, с дышлом поломанным, лежат покорно и беспомощно, а он тройку глазами немигающими провожает. Будет провожать до тех пор, пока не скроется в балке задок саней, выгнутых шеей лебединой.

Век не забыть Пахомычу полковника Черноярова Бориса Александровича.

III

С ведрами от криницы идет Пахомычева старуха.

В вербах, стыдливо голых, беснуются грачи. За дворами, на бугре, промеж крыльев красношапого ветряка на ночь мостится солнце. В канавах вода кряхтит натужисто, плетни раскачивает. А небо — как вянущий вишневый цвет.

Ко двору подошла, у ворот подвода. Лошади почтовые с хвостами, куце покрученными, и у ног их, захлюстанных и зябких, куры парной помет гребут. Из тарантаса, полы офицерской шинели подбирая, высокий, узенький — в папахе каракулевой — слез. Повернулся к старухе лицом полинявшим.

- Мишенька!.. Сыночек!.. Нежданный!..

Коромысло с ведрами кинула, шею охватила, губами иссохшими губы не достанет, на груди бьется и ясные пуговицы и серое сукно целует.

От материной кофтенки рваной навозом коровьим воняет. Отодвинулся слегка, улыбнулся, как варом в лицо матери плеснул.

— Неудобно на улице, мамаша... Вы укажите, куда лошадей поставить, и чемодан мой снесите в комнату... Въезжай во двор, слышишь, кучер?

IV

Хорунжий. Погоны новенькие. Пробритый рядок негустых волос. Свой: плоть от плоти, а стесняется Пахомыч, как чужого.

— Надолго приехал, сынок?

Сидит Михаил у окна, пальцами бледными, не рабочими, по столу постукивает.

— Я командирован из Новочеркасска со специальным поручением от войскового атамана. Пробуду, очевидно... Мамаша! Сотрите молоко со стола, что за неопрятность... Пробуду здесь месяца два.

Игнат с база пришел, следя грязными сапогами.

— Ну, здорово, братуха!.. С прибытием.

— Здравствуй.

Руку протянул Игнат, хотел обнять, но как-то разминулись, и пальцы сошлись в холодном и неприязненном пожатии.

Улыбаясь натянуто, сказал Игнат:

— Ты, братушка, ишо погоны носишь, а у нас давно их к черту посымали...

Брови нахмурил Михаил.

— Я еще казачьей чести не продал.

Помолчали нудно.

— Как живете? — спросил Михаил, нагибаясь снять сапоги.

Пахомыч с лавки метнулся к сыну.

— Дай я сыму, Миша, ты руки вымажешь.— На колени стал Пахомыч, сапог осторожно стягивая, ответил: — Живем — хлеб жуем. Наша живуха известная. Что у вас в городе новостишек?

— А вот организуем казаков отражать красногвардейщину.

Спросил Игнат, глаза в земляной пол воткнувши:

— А через какую надобность их отражать?

Улыбнулся Михаил криво:

— Ты не знаешь? Большевики казачества нас лишают и коммуну хотят сделать, чтобы все было мирское — и земля и бабы...

— Побаски бабьи рассказываешь!.. Большевики нашу линию ведут.

— Какую вашу линию?

— Землю у панов отымают и народу дают, вон она куда кривится, линия-то...

— Ты что же, Игнат, за большевиков стоишь?

— А ты за кого?

Промолчал Михаил. Сидел, к окну заплаканному повернувшись, и, улыбаясь, чертил на стекле бледные узоры

V

За буераком, за верхушками молодых дубков, курган могильный над Гетманским шляхом раскорячился.

На кургане обглоданная столетиями ноздреватая каменная баба, а через голову ее, прозеленью обросшую, солнце по утрам переваливает, вверх карабкается и сквозь мглистое покрывало пыли заботливо, словно сука щенят, лижет степь, сады, черепичные крыши домов липкими горячими лучами.

Зарею заехал от шляха с плугом Пахомыч. Ногами, от старости вихляющими, вымерял четыре десятины, щелкнул на муругих быков кнутом и начал чернозем плугом лохматить.

Давит на поручни Гришка, чуть не в колено землю выворачивает, а Пахомыч по борозде глянцевитой ковыляет, кнутом помахивает да на сына любуется: даром что парню девятнадцатый год, а в работе любого казака за пояс заткнет.

Загона три прошли и остановились. Солнце всходит С кургана баба каменная, в землю вросшая, смотрит на пахарей глазами незрячими, а сама алеет от солнечных

тучей, будто полымем спеленатая. По шляху ветер пыльцу тучнистую затесал столбом колыхающимся. Пригляделся Гришка — конный скачет.

— Батя, никак, Михайло наш вѐрхи бежит?

— Кубыть, он...

Подскакал Михаил, бросил у стана взмыленную лошадь, к пахарям бежит, на пахоте спотыкается. Поравнялся — дух не переведет. Дышит, как лошадь запаленная.

— Чью вы землю пашете?!

— Нашевскую.

— Да ведь это земля полковника Черноярова?

Пахомыч высморкался и, подолом рубахи холщовой вытирая нос, сказал веско и медленно:

— Раньше была ихняя, а теперь, сынок, нашевская, народная...

Белея, крикнул Михаил:

— Батя! Знаю я, чье это дело!.. Гришка с Игнатом до худого тебя доведут!.. Ты ответишь за захват чужой собственности.

Пахомыч голову угнул норовисто:

— Наша теперя земля... Нету таких законов, чтоб иметь больше тыщи десятин... Шабаш! Равноправенство...

— Ты не имеешь права пахать чужую землю!..

— И ему права не дадены степью владать. Мы на солончаках сеем, а он позанял чернозем, и земля три года холостеет. Таковски есть права?..

— Брось пахать, отец, иначе я прикажу атаману арестовать тебя!..

Пахомыч повернулся круто, закричал, багровея и судорожно дергая головой:

— На свои кровные выучил... воспитал!.. Подлец ты, сучий сын!..

Аж зубами скрипнул позеленевший Михаил:

— Я тебя, старая...— шагнул к отцу, кулаки сжимая, но увидел, как Гришка, ухватив железную занозу, бежит через пахоту прыжками, и, голову вбирая в плечи, не оглядываясь, пошел на хутор.

VI

У Пахомыча хата саманная. Частокол вокруг палисадника ребрами лошадиного скелета топорщится.

С поля приехал Григорий с отцом. Игнат баз заплетал хворостом, подошел, и от рук его пахуче несло пряным запахом листьев лежалых.

— Нас, Григорий, в правление требуют. На майдане сход хуторной.

— Зачем?

— Мобилизация, говорят... Красногвардейцы заняли хутор Калинов.

За гуменным пряслом меркла, дотлевала вечерняя заря. На гумне в ворохе рыжей половы остался позабытый солнечный луч, ветер с восхода ворохнул полову, и луч погас.

Гришка коня почистил, зерна задал. На крыльце косо боком вдовый Игнат с сынишкой шестилетним своим возился. Глянул мимоходом Гришка в глаза братнины, от смеха сузившиеся, шепнул:

— Ночью надо уезжать в Калинов, а то тут замобилизуют!..

Матери, выгонявшей из сенцев телка, сказал:

— Белье достань нам с Игнатом, маманя, сухарей всыпь...

— Куда вас лихоман понесет?..

— На кудыкино поле.

До поздней ночи на хуторском майдане гремел гул голосов. Пахомыч пришел оттуда затемно. У дверей амбара, где спал Гришка, остановился. Постоял и присел на каменный порожек обессиленно. Тошнотой нудной наливалось тело, сердце трепыхалось скупыми ударами, а в ушах плескался колкий и тягучий звон. Сидел, поплевывая в блеклое отражение месяца, торчавшее в лужице примерзшей, и больно чувствовал, что налаженная, обычная жизнь уходит, не оглянувшись, и едва ли вернется.

Где-то у огородов около Дона надсадно брехали собаки, в лугу размеренно и четко бил перепел. Ночь раскрылатилась над степью и молочной мутью закутала дворы. Закряхтел Пахомыч, дверью скрипнул.

— Ты спишь, Гриша?

Из амбара пахнуло тишиной и слежавшимся хлебом. Внутрь шагнул, нащупал шубу овчинную.

— Гриша, спишь, что ли?

— Нет.

Старик на край шубы присел, услыхал Гришка, как руки отцовы дрожью выплясывают мелкой и безустальной. Сказал Пахомыч глухо:

— Поеду и я с вами... Служить... в большевики...

— Что ты, батя?.. А до̀ма как же? Да и старый ты...

— Ну, что ж как старый? Буду при обозе состоять, а нет — так и в седле могу... А дома неха́й Михайло пра

вит... Чужие мы ему, и земля чужая... Нехай живет, бог ему судья, а мы пойдем землю-кормилицу отвоевывать!

Разноголосо прогорланили первые петухи. Над Доном за изломистым частоколом леса заря заполыхала. Несмело и осторожно поползли тающие тени.

Вывел Пахомыч трех лошадей, напоил, потники заботливо разгладил, оседлал. Вместе со старухой Пахомыча всхлипнули гуменные воротца, лошадиные копыта сочно зацокали по солончаку.

— Надо летником ехать, батя, а то на шляху могут перевстреть! — вполголоса сказал Игнат.

Небо поблекло. Росой медвяной и знобкой вспотела трава. Из-за Дона, с песков лимонных, сыпучих, утро шагало.

VII

На защитном кителе полковника Черноярова звездочки чернильным карандашом скромненько вкраплены. Щеки мясистые в синих жилках. В стены паутинистые хуторского майдана баритон дворянски-картавый тычется. Пальцы розовато-пухлые, холеные, жестикулируют сдержанно и вполне прилично.

А кругом потной круговиной сгрудились, жарко дышат махорочным перегаром и хлебом пшеничным окисшим. Папахи красноверхие, бороды цветастые. Рты, распахнутые, ловят жадно, а баритон, картавящий, гаденький, из губ, дурной болезнью обглоданных:

— Дог-огие станичники!.. Вы исстаг-и были опог-ой цаг-я-батюшки и Г-одины. Тепе-гь, в эту великую смутную годину, на вас смотг-ит вся Г-оссия... Спасайте ее, пог-уганную большевиками!.. Спасайте свое имущество, своих жен и дочег-ей... Пг-имег-ом выполнения гг-ажданского долга может послужить ваш хутог-янин хог-унжий Михаил Кг-амсков: он пег-вый сообщил нам пг-о то, что отец его и два бг-ата ушли к большевикам. И он пег-вый — как истинный сын тихого Дона — становится на его защиту!..

ПОСТАНОВИЛИ:

Казаков нашего хутора Крамскова Петра Пахомыча и сынов его, Игната и Григория Крамсковых, как перешедших на сторону врагов тихого Дона, лишить казачьего звания, а также всех земельных паев и наделов, и по поимке передать военно-полевому суду Вешенского юрта.

VIII

Около прошлогоднего стога сена отряд остановился кормить лошадей. У хутора за гуменным пряслом стучал пулемет.

Комиссар, раненный в щеку навылет, на жеребце, белесом от пота, подскакал в тачанке, крикнул рвущимся и гундосым голосом:

— Гиблое дело!.. Видать, нашлепают нам!..

Жеребца промеж ушей вытянул плетюганом и, харкая и давясь черными шмотьями крови, засипел командиру отряда на ухо:

— Не пробьемся к Дону — могем пропасть. Посекут нас казаки, мешанину сработают... Скликай в атаку идтить!..

Командир, бывший машинист чугунолитейного завода, такой же медлительный, как первые взмахи маховика, голову бритую приподнял, трубки изо рта не вынимая:

— По коням!..

Отъехал комиссар сажени три, спросил, оборачиваясь

— Как думаешь, ликвидируют нас?..— и поскакал, не дожидаясь ответа.

Из-под лошадиных копыт пули схватывали мучнистую пыльцу, шипели, буравя сено; одна оторвала у тачанки смолянистую щепу и на лету приласкалась к пулеметчику. Выронил тот из рук портянку, в дегте измазанную, присел, по-птичьи подогнувши голову, нахохлился, да так и помер — одна нога в сапоге, другая разутая. С железнодорожного полотна ветер волоком притащил надтреснутый гудок паровоза. С платформы в степь, к скирду, к куче людей, затомашившихся, повернулось курносое раззявленное жерло, плюнуло, и, лязгая звеньями, снова тронулся бронепоезд «Корнилов» № 8, а плевок угодил правее скирда. Со скрежетом вывернул вязанку дегтярного дыма и спутанные арбузные плети от прошлогоднего урожая.

И долго еще под тяжестью непомерной плакали ржавые рельсы, шпалы кряхтели, позванивая, а возле скирда в степи Пахомычева кобылица жеребая, с ногами, шрапнелью перебитыми, долго пыталась встать: с хрипом голову вскидывала, на ногах подковы полустертые блестели. Песчаник жадно пил розоватую пену и кровь.

Болью колючей черствело сердце, шептал Пахомыч:

— Матка племенная... Эх, не брал бы, кабы знатье!..

— Дуришь, батя!..— на скаку прокричал Игнат.— Беги на бричку садись — видишь, в атаку лупим!..

Вслед ему глянул старик равнодушно.

Пулеметный треск, будто холстинное полотнище в клочья шматуют. На патронных ящиках лежал Пахомыч, слюну горько-приторную сплевывал. А над землей, разомлевшей от дождей весенних, от солнца, от ветров степных, пахнущих чабрецом и полынью, маревом дымчатым, струистым плыл сладкий запах земляной ржавчины, щекотный душок трав прошлогодних, на корню подопревших.

Подрагивала выщербленная голубая каемка леса над горизонтом, и сверху сквозь золотистое полотнище пыли, разостланное над степью, жаворонок вторил пулеметам бисерной дробью. Григорий за патронами подскакал.

— Не горюй, батя. Кобыла — дело наживное!..

Губы Гришкины бурые порепались от жары, веки от ночной бессонницы набухли.

В обнимку взял два ящика и взвихрился, потный и улыбающийся.

К вечеру подошли к Дону. Из лощины до сумерек садила батарея, по бугру маячили казачьи разъезды. Ночью желтый настырный глаз прожектора шнырял по зарослям терна, нащупывал коновязи, палатки, людей. Минуту цепко излапывал их, поливая светом мертвенным, и гас.

С рассветом — с бугра густо, цепь за цепью, как волны. Из терна вихрастого стрельба пачками с прицелом, с выдержкой. В полдень командир отряда о подошву сапога излатанного выбил трубку, взглядом равнодушно-тяжелым обвел всех:

— Неустойка выходит, товарищи!.. Плывите через реку, в десяти верстах хутор Громов,— закончил устало: — Там — наши...

Коня расседлывая, крикнул Гришка отцу:

— Чего ж ты?!

— Глупство!..— строго сказал Пахомыч, а у самого челюсть нижняя запрыгала.— Плыви, Гриша!.. Коня разнуздай... А я того... стар уже...

— Прощай, батя!..

— С богом, сынок!..

— Ну, иди, лысый! Да ну же, черт, спужался!..

По пояс, по грудь, а вот уж одна голова Гришкина с бровями насупленными да сторожкие уши коня над сизой водой.

Загнал Пахомыч обойму сплющенным пальцем, на мушку ловил перебегавшие фигурки людей, потом выкинул последнюю дымную гильзу и руки волосатые поднял:

— Пропадаем, Игнат!..

В упор в лошадиную морду выстрелил Игнат, сел, широко расставив ноги, сплюнул на сырую, волнами нацелованную гальку и ворот рубахи защитной разорвал до пояса.

IX

За завтраком Михаил усики белобрысые нафиксатуренные самодовольно накручивал.

— Теперь, мамаша, меня произвели в сотники за то, что большевизм в корне пресекаю. Со мною очень не разбалуешься, чуть что — и к стенке!

Мать вздохнула:

— А как же, Миша, наши?.. На случай, может, придут они...

— Я, мамаша, как офицер и верный сын тихого Дона, не должен ни с какими родственными связями считаться. Хоть отец, хоть брат родной — все равно передам суду...

— Сыночек!.. Мишенька!.. А я-то как же?.. Всех вас одной грудью кормила, всех одинаково жалко!..

— Без всяких жалостей!..— глазами повел строго на сынишку Игнатова: — А этого щенка возьмите от стола, а то я ему, коммунячьему выродку, голову отверну!.. Ишь, смотрит каким волчонком... Вырастет, гаденыш, тоже большевиком будет, как отец!..

X

На огороде возле Дона полой водой и набухающими почками тополей пахнет. Волны гребенчатые укачивают диких казарок, плетни огорода лижут, обсасывают.

Сажала картофель Пахомычева старуха, двигалась промеж лунок натужисто. Нагнется, и кровь полыхнет в голову, закружит ее тошно. Постоит и сядет. Молча глядит на черные жилы, спутавшиеся на руках узлом замысловатым. Губами ввалившимися шамшит беззвучно.

За плетнем Игнатов сынишка в песке играет.

— Бабуня!

— Аюшки, внучек?

— Поглянь-ка, бабуня, чего вода принесла.

— Чего же она принесла, родимый?

Встала старая, лопату не спеша воткнула, дверцами скрипнула. На отмели ногами к земле — лошадь дохлая

лоснится от воды, наискось живот лопнул, а ветерком вонь падальную наносит.

Подошла.

Шею лошадиную мертвые руки человека обняли неотрывно, на левой повод уздечки замотан накрепко, назад голова запрокинута, и волосы на глаза свисли. Глядела, не моргая, как губы, рыбой изъеденные, смеялись, ощеряя мертвый оскал зубов, и упала...

Космами седыми мотая, на четвереньках в воду сползла, голову черную охватила, мычала:

— Гри-ша!.. Сы-но-о-ок!..

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № 186

За самоотверженную и неустанную работу по искоренению большевизма в пределах Верхне-Донского округа сотник Крамсков Михаил производится в подъесаулы и назначается комендантом при Н-ском военно-полевом суде.

Командующий Северным фронтом:
Генерал-майор *М. Иванов.*
Адъютант (подпись неразборчива).

XI

Дорога обугленная. Конвойные верхами и их двое. Подошвы в ранах гнойных. В одном белье, покоробленном от крови. По хуторам, по улицам, унизанным людьми, под перекрестными побоями. На другие сутки вечером — хутор родной. Дон и синеющая грядуха меловых гор, словно скученная отара овец. Нагнулся Пахомыч и клок зеленой пшеницы выдернул, губами задвигал трудно:

— Угадываешь, Игнат?.. Наша земля... с Гришей пахали...

Сзади свист плети витой.

— Без разгово-ров!..

Молча, головы угнув, по хутору. Ноги свинцовеют. Мимо частокола, мимо хаты саманной. Глянул Пахомыч на двор, ощетинившийся бурьяном махровитым, и грудь потер там, где колом бóльным и неловким, растопырилось сердце.

— Батя! Вон мать на гумне...

— Не видит!..

Сзади:

— Молчи, сволочуга!..

Площадь, поросшая пышатками кучерявыми. Правление. Сходка у крыльца.

— Здорово, Пахомыч!.. Никак, землю отвоевывать ходил?

— Он отвоевал уж на кладбище сажень.

— Наука будет старому кобелю!

Палец с ногтем выпуклым, как броня черепахи, Пахомыч поднял, выдавил, судорожно переводя дух:

— Н-но, растаку вашу... Хучь погибнем мы, хучь и добро прахом пойдет, а вам... памятку вложат. Не ваша правда!

Боком подошел к Пахомычу сосед Анисим Макеев, развернулся и молчком, зубы ощерив из рыжей бороды, ударил Пахомыча в голову.

— Бей их!!! — крик сзади.

С звериным сопением сомкнулась немая человеческая волна, папахами красноверхими перекипала, сгрудилась в бешеной возне. Под дробный топот вязко и сочно стряли удары... Но с крыльца правления коршуном сорвался Микишара, клином разбороздил колыхавшуюся толпу. Вырвался в рубахе изорванной, белый, с перекошенным ртом, орал:

— Братцы!.. Фронтовики!.. Не допущай к убийству!.. шашку выдернул из ножен, над головой веером развернул сверкающую сталь.— На фронт их нету, так перетак. А тут убивать могут?!

— Бей Микишару!.. Большункам продался!..

Стеной плотной стали Микишара и восемь фронтовиков, в отпуск пришедших, от толпы отгородили Пахомыча и Игната.

Постояли старики, погомонили и кучками пошли с площади. Смеркалось...

* * *

— Хотелось бы ваше г-ешающее слово услышать, подъесаул. Г-азумеется, мы обязаны их г-асстг-елять, но как никак, а это ваши отец и бг-ат... Может быть, вы возьмете на себя тг-уд ходатайствовать за них пег-ед войсковым наказным атаманом?..

— Я, ваше высокоблагородие, верой и правдой служил и буду служить царю и Всевеликому войску Донскому..

С жестом трагическим:

— У вас, подъесаул, благог-одная душа и мужественное сег-дце. Давайте я вас по г-усскому обычаю г-асцелую за вашу самоотвег-женность в деле служения пг-естолу и г-одному наг-оду!..

Троекратный чмок и пауза.

Как вы полагаете, дог-ōгой подъесаул, не вызовем ли мы г-асстг-елом возмущения сг-еди беднейших слоев казачества?

Долго молчал подъесаул Крамсков Михаил, потом, головы не поднимая, сказал глухо:

- Есть надежные ребята в конвойной команде... С ними можно отправить в новочеркасскую тюрьму... Не проговорятся ребята... А арестованные иногда пытаются бежать...

- Я вас понимаю, подъесаул!.. Можете г-ассчитывать на чин есаула. Дайте пожать вашу г-уку!..

XII

Сарай для военнопленных, как паучье гнездо паутиной, опутан колючей проволокой. По ту сторону Игнат и Пахомыч, с лицами чугунными, опухшими; с улицы сынишка Игнатов в картузе отцовском, старуха Пахомычева руками окаменевшими к проволоке тоскливо пристыла, моргает веками кровяными, рот кривит, а слез нет — все выплакала.

Пахомыч тяжело ворочает разбитым языком:

— Пшеницу нехай Лукич скосит, заплатишь ему, отдашь телушку-летошницу.

Губами пожевал, сухо закашлялся:

— По нас же не горюй, старуха!.. Пожили... Все там будем. После панихидку отслужи. Поминать будешь, не пиши: «красногвардейца Петра», а прямо — «воинов убиенных Петра, Игната, Григория»... А то поп не примет... Ну, затем прощай, старуха!.. Живи... Внука береги. Прости, коль обидел когда...

Сынишку Игнат на руки взял; часовой, как будто не видит, отвернулся. Пальцами прыгающими из камыша мельницу мастерит сыну Игнат.

— Папаня, а чего у тебя кровь на голове?

— Это я ушибся, сынок.

— А на что тебе вон энтот дядя ружьем вдарил, как ты из сарая выходил?

— Чудак ты какой!.. Он нарочно вдарил, шутейно...

Молчат. Камышовые былки под ногтями у Игната перезванивают.

— Пойдем домой, папаня? Ты мне мельницу дома сделаешь.

— Ты с бабуней иди, сынушка...— Губы у Игната жалко дрогнули, покривились.— А я потом приду...

Ходит Игнат по двору, будто волк на привязи, ногу прикладом перебитую, волочит и тельце маленькое щуплое к груди жмет, жмет, жмет.

— Папанька, начто у тебя глаза мокрые?

Молчит Игнат.

Потухли сумерки. С луга, с болот уремистых, из зарослей ольхи и мочажинника туман на сады свалился росой — проседью серебряной. Траву притолок к земле, захолодевшей и влажной.

Из сарая вышли кучкой. Офицер с погонами подъесаула, в папахе каракулевой, высокий, узенький, сказал тихо, вполголоса, самогонным перегаром дыша:

— Далеко не водить! За хутор, в хворост!..

В тишине настороженной шаги гулкие и лязг винтовочных затворов.

Ночь свалилась беззвездная, волчья. За Доном померкла лиловая степь. На бугре — за буйными всходами пшеницы, в яру, промытом вешней водой, в буреломе, в запахе пьяном листьев лежалых — ночью щенилась волчица: стонала, как женщина в родах, грызла под собой песок, кровью пропитанный, и, облизывая первого мокрого шершавого волчонка, услышала неподалеку — из лощины, из зарослей хвороста — два сиповатых винтовочных выстрела и человеческий крик.

Прислушалась настороженно и в ответ короткому стонущему крику завыла волчица хрипло и надрывно.

1925

СЕМЕЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК

За окраиной станицы промеж немощно зеленой щетины хвороста стрянет солнце. Иду от станицы к Дону, к переправе. Влажный песок под ногами пахнет гнилью, как перепрелое, набухшее водой дерево. Дорога путаной заячьей стежкой скользит по хворосту. Натуживаясь и багровея, солнце плюхнулось за станичное кладбище, и следом за мною по хворосту голубизной заклубились сумерки.

Паром привязан к причалу, лиловая вода квохчет под исподом; приплясывая и кособочась, стонут в уключинах весла.

Паромщик черпалом скребет по замшевшему днищу, выплескивает воду. Приподымая голову, глянул на меня косо прорезанными желтоватыми глазами, буркнул нехотя

— На тот бок правишься? Зараз поедем, отвязывай причал!

— Угребем мы двое?

— Надо бы угресть. Ночь спущается, а народ то ли подойдет, то ли нет.

Подсучивая шаровары, снова глянул на меня, спросил:

— Гляжу я — не свойский ты человек, не из наших краев... Откель бог несет?

— Иду домой из армии.

Паромщик скинул фуражку, кивком головы отбросил назад волосы, похожие на витое кавказское серебро с чернью, подмигивая мне, ощерил съеденные зубы:

— Как же идешь — по отпуску аль потаенно?

— Демобилизованный. Год мой спустили.

— Что ж, дело спокойное...

Сели за весла. Дон, играючи, поволок нас к затопленной молодой поросли прибрежного леса. О шершавое днище парома сухо чешется вода. Босые, исполосованные синими жилами ноги паромщика пухнут связками мускулов, посинелые ступни липнут, упираясь в скользкую перекладину. Руки у него длинные, костистые, пальцы в узловатых суставах. Он — высокий, узкоплечий, гребет нескладно, сгорбатившись, но весло услужливо ложится на гребенчатую спину волны и глубоко буровит воду.

Я слышу его ровное, без перебоев, дыханье; от вязаной шерстяной рубахи пахнет едким потом, табаком и пресным запахом воды. Бросил весло, повернулся ко мне лицом.

— Запохаживается, что затрет нас в лесу! Дурна шутка, а делать нечего, парнище!

На середине течение напористей. Паром рванулся, норовисто кинул задом, кособочась потянулся к лесу. Через полчаса прибило нас к затопленным вербам. Весла обломались. В уключине обиженно суетился расщепленный обломок. В пробоину, хлюпая, сочилась вода. Ночевать перебрались мы на дерево. Паромщик, окарачив ветку ногами, сидел рядом со мной, попыхивал глиняной трубкой, говорил, прислушиваясь к пересвисту гусиных крыльев, резавших над головами вязкую темь:

— Идешь ты к дому, к семье... Мать, небось, ждет: сынок-кормилец вернется, старость ее пригреет, а ты, должно, близко к сердцу не принимаешь того, что она, мать твоя, белым днем чахнет по тебе, а ночьми слезами материнскими исходит... Все вы, сынки, таковские... Пока не нажил своего приплоду, до тех пор и не лежит у вас душа

к родительским страданьям. А сколько их кажному приходится переносить?

Иная баба порет рыбу и раздавит желчь; уху-то хлебаешь, а в ней горечь неподобная. Так вот и я: живу, только хлебать-то припадает самую горечь... Иной раз терпишь, терпишь, да и скажешь: «Жизня, жизня, когда ты похужеешь?..»

Ты человек не свойский, посторонний,— вот ты и обсуди умом: в какую петлю мне голову просовывать?

Есть у меня дочь Наташка, нонешний год идет ей семнадцатая весна. Вот она и говорит:

— Гребостно мне с вами, батя, за одним столом исть. Как погляжу я на ваши руки, так сразу вспомню, что этими руками вы братов побили; и с души рвать меня тянет...

А этого она, сучка, не понимает, через кого все так поделалось? Да все через них же, через детей!

Женился я молодым; баба мне попалась плодющая, восьмерых голопузых нажеребила, а на девятом скопытилась. Родить-то родила, только на пятый день в домовину убралась от горячки... Остался я один, будто кулик на болоте, а детишек ни одного бог не убрал, как ни упрашивал... Самый старший Иван был... На меня похожий, чернявый собой и с лица хорош... Красивый был казак и на работу совестливый. Другой был у меня сынок четырьмя годами моложе Ивана. Энтот в матерю зародился: ростом низенький, тушистый, волосы русявые, ажник белесые, а глаза карие, и был он у меня самый коханый, самый желанный. Данилой звали его... Остальные семеро ртов девки и ребятенки малые. Выдал я Ивана в зятья на своем же хуторе, и вскорости родилось дите у него. Данилу тоже было счинался женить, но тут наступило смутное время. Получилось у нас в станице противу Советской власти восстание! Прибегает на другой день ко мне Иван.

— Давайте,— говорит,— батя, уходить к красным. Христом-богом прошу вас! Нам нужно ихнюю сторону одерживать затем, что власть до крайности справедливая

Данила тоже в это самое уперся. Долго они меня сманывали, но я им так сказал:

— Вас я не приневоливаю, идите, а я никуда не пойду У меня, окромя вас,— семеро по лавкам, и каждый рот куска просит!

С тем они и скрылись с хутора, а станица наша вооружилась чем попадя, и меня под белы руки и на фронт.

На сходе говорил я:

— Господа старики, всем вам известно, что я человек

семейный. Семерых детишек имею. Ну, как ухлопают меня, кто тогда будет семью мою оправдывать?

Я так, я сяк — нет!.. Безо всяких вниманиев сгребли и отправили на фронт.

Позиции стали как раз под нашим хутором. И вот, дело это было под пасху, пригоняют в хутор девять человек пленных, и Данилушка — голубь мой любый — с ними... Провели их по площади к сотенному. Казаки на улицу высыпали, шумят:

— Побить их, гадов! Как выведут с допроса — крой в нашу силу!..

Стою я промеж них, колени у меня трясутся, но видимости не подаю, что жалко мне сына, Данилушку-то... Поведу глазами этак в сторону, вижу — шепчутся казаки и головами на меня кивают... Подошел ко мне вахмистр Аркашка, спрашивает:

— Ты что же, Микишара, будешь коммунов бить?

— Буду, злодеев таких-сяких!..

— Ну, на̀ тебе штык и становись на крыльцо.— Дает мне штык, а сам ощеряется: — Примечаем мы за тобой, Микишара... Гляди — плохо будет.

Стал я на порожках, думаю: «Матерь пречистая, неужто я сына буду убивать?»

Слышу у сотенного крик. Вывели пленных, а попереди Данила мой... Глянул я на него, и захолодала у меня душа... Голова у него вспухла, как ведро,— будто освежеванная... Кровь комом спеклась, перчатки пуховые на голове, чтоб не по голому месту били... Кровью напитались они и к волосам присохли... Это их дорогой к хутору били... Идет он по сенцам, качается. Глянул на меня, руки протянул... Хочет улыбнуться, а глаза в синих подтеках и один кровью заплыл...

Понял я тут: ежели не вдарю его, то убьют меня свои же хуторные, останутся малые дети горькими сиротами... Поравнялся он со мной.

— Батя,— говорит,— родной мой, прощай!..

Слезы у него кровь по щекам смывают, а я... насилу руку поднял... будто окостенел... В кулаке у меня штык зажатый. Вдарил я его тем концом, какой на винтовку надевается. В это место вдарил, повыше уха... Он как крикнет,— ой! — заслонил лицо ладонями и упал с порожек... Казаки гогочут:

— Омочай их, Микишара! Ты, видно, прижеливаешь свово Данилку!.. Бей, а то тебе кровицу пустим!..

Сотенный вышел на крыльцо, сам ругается, а в гла-

зах — смех... Как начали их штыками пороть, у меня душа замутилась. Кинулся я в уличку бежать, глянул в сторону — увидал, как Данилушку мово по земле катают. Воткнул ему вахмистр штык в горло, а он только — кррр.

Внизу под напором воды хрустнули доски парома, слышно было, как хлынула вода, а верба дрогнула и тягуче заскрипела. Микишара потрогал ногою вздыбившуюся корму, сказал, выбивая из трубки желтую метелицу искр:

— Утопает наш паром, завтра придется до полудня дневалить на вербе. Вот случай какой выпал!..

Долго молчал, потом, понижая голос, глухо заговорил:

— Меня за энто дело в старшие урядники произвели.

Много воды в Дону утекло с той поры, а досель вот ночьми иной раз слышу, как будто кто хрипит, захлебывается... Тогда, как бежал, слышал Данилушкин-то хрип. Вот она, совесть, и убивает...

До весны держали мы фронт против красных, потом соединился с нами генерал Секретёв, и погнали красных за Дон, в Саратовскую губернию. Я — человек семейный, а от службы никакого послабления не дали, потому что сыны в большевиках. Дошли мы до города Балашова. Про Ивана — сына старшего — ни слуху ни духу. Как прознали казаки — чума их ведает, что Иван от красных перешел и служит в тридцать шестой казачьей батарее. Грозились хуторные. «Ежели найдем где Ваньку, душу вынем».

Заняли мы одну деревню, а тридцать шестая там...

Нашли мово Ивана, скрутили и приводят в сотню. Тут его люто избили казаки и сказали мне:

— Гони его в штаб полка!

Штаб стоял верстах в двенадцати от этой деревни. Дает сотенный мне бумагу и говорит, а сам в глаза не глядит:

— Вот тебе, Микишара, бумага. Гони сына в штаб, с тобой надежней, от отца он не убежит!..

И вразумил тут меня господь. Догадался я: к тому они меня в конвой назначают, думают, что пущу я сына на волю, опосля и его словят, и меня убьют...

Прихожу я в ту хату, где содержали Ивана под арестом, говорю страже:

— Давайте арестованного, я его погоню в штаб.

— Бери,— говорят,— нам не жалко!..

Накинул Иван шинель внапашку, а шапку покрутил, покрутил в руках и кинул на лавку. Вышли мы с ним за деревню на бугор, он молчит, и я молчу. Поглядываю назад, хочу приметить, не следят ли нас. Только дошли мы до

полпутя, часовенку минули, а позаду никого не видно. Тут Иван обернулся ко мне и говорит жалостно так:

— Батя, все одно в штабе меня убьют, на смерть ты меня гонишь! Неужто совесть твоя доселе спит?

— Нет,— говорю,— Ваня, не спит совесть!

— А не жалко тебе меня?

— Жалко, сынок, сердце тоскует смертно...

— А коли жалко — пусти меня... Не нажился я на белом свете!

Упал посередь дороги и в землю мне поклонился до трех раз. Я ему и говорю на это:

— Дойдем до яров, сынок, ты беги, а я для видимости вслед тебе стрельну раза два...

И вот поди ж ты, малюсеньким был — и то слова ласкового, бывало, не добьешься, а тут кинулся ко мне и руки целует... Прошли мы с ним версты две, он молчит, и я молчу. Подошли к ярам, он приостановился.

— Ну, батя, давай попрощаемся! Доведется живым остаться, до смерти буду тебя покоить, слова ты от меня грубого не услышишь...

Обнимает он меня, а у меня сердце кровью обливается.

— Беги, сынок! — говорю ему.

Побег он к ярам, все оглядывается и рукой мне махает.

Отпустил я его сажен на двадцать, потом винтовку снял, стал на колено, чтоб рука не дрогнула, и вдарил в него... в зад...

Микишара долго доставал кисет, долго высекал кресалом огня, закуривал, плямкая губами. В пригоршне рдел трут, на лице паромщика двигались скулы, а из-под напухших век косые глаза глядели жестко и нераскаянно.

— Ну вот... Подсигнул он вверх, сгоряча пробег сажен восемь, руками за живот хватается, ко мне обернулся:

— Батя, за что?! — и упал, ногами задрыгал.

Бегу к нему, нагнулся, а он глаза под лоб закатил, и на губах пузырями кровь. Я думал — помирает, но он сразу привстал и говорит, а сам руку мою рукой лапает:

— Батя, у меня ить дите и жена...

Голову уронил набок, опять упал. Пальцами зажимает ранку, но где же там... Кровь-то так скрозь пальцев и хлобыщет... Закряхтел, лег на спину, строго на меня глядит, а язык уж костенеет... Хочет что-то сказать, а сам все: «Батя... ба... ба... тя...» Слеза у меня пошла из глаз, и стал я ему говорить:

— Прими ты, Ванюшка, за меня мученский венец. У тебя — жена с дитем, а у меня их семеро по лавкам.

Ежели б пустил я тебя — меня б убили казаки, дети по миру пошли бы христарадничать...

Немножко он полежал и помер, а руку мою в руке держит... Снял я с него шинель и ботинки, накрыл ему лицо утиркой и пошел назад в деревню...

Вот ты и рассуди нас, добрый человек! Я за детей за этих сколько горя перенес, седой волос всего обметал. Кусок им зарабатываю, ни днем, ни почью спокою не вижу, а они... к примеру, хоть бы Наташка, дочь-то, и говорит: «Гребостно с вами, батя, за одним столом исть».

Как мне возможно это теперича переносить?

Свесив голову, глядит на меня паромщик Микишара тяжким, стоячим взглядом; за спиной его кучерявится мутный рассвет. На правом берегу, в черной копне кудлатых тополей, утиное кряканье переплетается с простуженным и сонным криком:

— Ми-ки-ша-ра-а! Шо-о-орт!.. Па-ром го-ни-и-и...

1925

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ

Республика наша не особо громадная — всего-навсего дворов с сотню, и помещается она от станицы верст за сорок по Топкой балке.

В республику она превзошла таким способом: на провесне ворочаюсь я к родным куреням из армии товарища Буденного, и выбирают меня граждане в председатели хутора за то, что имею два ордена Красных Знамени за свою доблестную храбрость под Врангелем, которые товарищ Буденный лично мне навешал и руку очень почтенно пожал.

Заступил я на эту должность, и жили бы мы хутором на мирном положении, подобно всему народу, но вскорости в наших краях объявилась банда и присучилась наш хутор дотла разорять. Наедут, то коней заберут, дохлых шкапов в обмен покидают, то последний кормишко потравят.

Народишко вокруг нашего хутора паскудный, банде оказывают предпочтение и встречают ее хлебом-солью. Увидавши такое обращение соседних хуторов с бандой, созвал я на своем хуторе сход и говорю гражданам:

— Вы меня поставили в председатели?..

Мы.

Ну, так я от имени всех пролетарьятов в хуторе прошу вас соблюдать свою автономию и в соседние хутора прекратить движение, затем что они — контры и нам с ними очень даже совестно одну стежку топтать... А хутор наш отнерича будет прозываться не хутором, а республикой, и я, будучи вами выбранный, назначаю себя председателем Реввоенсовета республики и объявляю осадное кругом положение.

Какие несознательные — помалкивают, а молодые казаки, побывавшие в Красноармии, сказали:

— В добрый час!.. Без голосования!..

Тут начал я им речь говорить:

— Давайте, товарищи, подсобим Советской нашей власти и вступим с бандой в сражение до последней капли крови, потому что она есть гидра и в корне, подлюка, подгрызает всеобчую социализму!..

Старики, находясь позаду людей, сначала супротивничали, но я матерно их агитировал, и все со мной согласились, что Советская власть есть мать наша кормилица и за ейный подол должны мы все категорически держаться.

Написали сходом бумагу в станишный исполком, чтоб выдали нам винтовки и патроны, и нарядили ехать в станицу меня и секлетаря Никона.

Раненько на зорьке запрягаю свою кобыленку, и едем. Верст десять покрыли, в лог съезжаем, и вижу я: ветер пыльцу схватывает по дороге, а за пыльцой пятеро верховых навстречу бегут.

Затосковало тут у меня в середке. Догадываюсь, что скачут злые враги из этой самой банды.

Никакой нициативы с секлетарем мы не придумали, да и придумать было невозможно: потому — степь кругом легла, до срамоты растелешенная, ни тебе кустика, ни тебе ярка либо балочки — и остановили мы кобылу посередь путя...

Оружия при нас не было и были мы безобидные, как спеленатое дитя, а скакать от конных было бы очень даже глупо.

Секлетарь мой — напужанный этими злыми врагами, и стало ему очень плохо. Вижу, прицеляется сигать с повозки и бечь! А куда бечь, и сам не знает. Говорю я ему:

— Ты, Никон, прищеми хвост и не рыпайся! Я председатель Ревсовета, а ты при мне секлетарь, то должны мы с тобой и смерть в куче принимать!..

Но он, как несознательный, сигнул с повозки и пошел

щелкать по степу, то есть до того шибко, что как будто и гончими не догнать, а на самом деле конные, увидавши такое бегство по степу подозрительного гражданина, припустили за ним и вскорости настигли его возле кургашка.

Я благородно слез с повозки, проглотил все неподходящие бумаги и документы, гляжу, что оно дальше будет. Только вижу, поговорили они с ним очень немножко и, сгрудившись все вместе, зачали его рубать шашками крест накрест. Вдарился он обземь, а они карманы его обшарили, повозились возле и обратно на коней, сыпят ко мне.

Я вижу, шутки шутками, а пора уж и хвост на сторону, но ничего не попишешь — жду. Подскакивают.

Попереди атаман ихний, Фомин по прозвищу. Залохмател весь рыжей бородой, физиономия в пыле, а сам собою зверский и глазами лупает.

— Ты самый Богатырев, председатель?

— Я.

— Переказывал я тебе председательство бросить?

— Слыхал про это...

— А почему не бросаешь?..

Задает он мне подобные подлые вопросы, но виду не подает, что гневается.

Вдарился я тут в отчаянность, потому — вижу, от такого кумпанства все одно головы на плечах не унесешь.

— Потому,— отвечаю перед ним,— что я у Советской власти твердо стою на платформе, все программы до тонкости соблюдаю и с платформы этой вы меня категорически не спихнете!..

Обругал он меня непотребными словами и плетюганом с усердием секанул по голове. Валом легла у меня через весь лоб чувствительная шишка, калибром вышла с матерый огурец, какие на семена бабы оставляют...

Помял я эту шишку скрозь пальцев и говорю ему:

— Очень даже некрасиво вы зверствуете по причине вашей несознательности, но я сам гражданскую войну сломал и беспощадно уничтожил тому подобных Врангелей, два ордена от Советской власти имею, а вы для меня есть порожнее ничтожество, и я вас в упор не вижу!..

Тут он до трех раз разлетался, желал конем меня стоптать и плетью сек, но я остался непоколебимый на своих подстановках, как и вся наша пролетаровская власть, только конь копытом расшиб мне колено и в ушах от таких стычек гудел нехороший трезвон.

— Иди передом!..

Гонят они меня к кургашку, а возле того кургашка

лежит мой Никон, весь кровью подплыл. Слез один из них с седла и обернул его кверху животом.

— Гляди,— говорит мне,— мы и тебя зараз поконоваяим, как твово секлетаря, ежели не отступишься от Советской власти!..

Штаны и исподники у Никона были спущенные ниже и половой вопрос весь шашками порубанный до безобразности. Больно мне стало глядеть на такое измывание, отвернулся, а Фомин ощеряется:

— Ты не вороти нос! Тебя в точности так оборудуем и хутор ваш закоснелый коммунистический ясным огнем запалим с четырех концов!..

Я на слова горячий, невтерпеж мне стало переносить, и отвечаю им очень жестоко:

— По мне пущай кукушка в леваде поплачет, а что касаемо нашего хутора, то он не один, окромя его по России их больше тыщи имеются!

Достал я кисет, высек огня кресалом, закурил, а Фомин коня поводьями трогает, на меня наезжает и говорит:

— Дай, браток, закурить! У тебя табачишко есть, а мы вторую неделю бедствуем, конский помет курим, а за это не будем мы тебя казнить, зарубим, как в честном бою, и семье твоей перекажем, чтоб забрали тебя похоронить... Да поживей, а то нам время не терпит!..

Я кисет-то в руке держу, и обидно мне стало до горечи, что табак, рощенный на моем огороде, и донник пахучий, на земле советской коханный, будут курить такие злостные паразиты. Глянул на них, а они все опасаются до крайности, что развею я по ветру табак. Протянул Фомин с седла руку за кисетом, а она у него в дрожание превзошла.

Но я так и сработал, вытряхнул на воздух табак и сказал:

— Убивайте, как промеж себя располагаете. Мне от казацкой шашки смерть принять, вам, голуби, беспременно на колодезных журавлях резвиться, одна мода!..

Начали они меня очень хладнокровно рубать, и упал я на сыру землю. Фомин из нагана вдарил два раза, грудь мне и ногу прострелил, но тут услыхал я со шляха:

Пуць!.. Пуць!..

Пули заюжали круг нас, по бурьянку шуршат. Смелись мои убивцы и — ходу. Вижу, по шляху милиция станишная пылит. Вскочил я сгоряча, пробег сажен пятнадцать, а кровь глаза застит и кругом-кругом из-под ног катится земля.

Помню, закричал:

— Братцы, товарищи, не дайте пропасть!

И потух в глазах белый свет...

Два месяца пролежал колодой, язык отнялся, память отшибло. Пришел в самочувствие — лап, а левая нога в отсутствии: отрезана по причине антонова огня.

Возвернулся домой из окружной больницы, чикилию как-то на костыле возле завалинки, а во двор едет станичный военком, и, не здороваясь, допрашивается:

— Ты почему прозывался председателем Реввоенсовета и республику объявил на хуторе? Ты знаешь, что у нас одна республика? По какой причине автономию заводил?!

Только я ему на это очень даже ответил:

— Прошу вас, товарищ, тут не сурьезничать, а засчет республики могу объяснять: была она по случаю банды, а теперича, при мирном обхождении, называется хутором Топчанским. Но поимейте себе в виду: ежели на Советскую власть обратно получится нападение белых гидров и прочих сволочей, то мы из каждого хутора сумеемся сделать крепость и республику, стариков и парнишек на коней посажаем, и я хотя и потерявши одну ногу, а первый категорически пойду проливать кровь.

Нечем ему было супротив меня крыть, и, руку мне пожавши очень крепко, уехал он тем следом обратно.

1925

КРИВАЯ СТЕЖКА

Как будто совсем недавно была Нюрка неуклюжей, разлапистой девчонкой. Ходила вразвалку, косо переступая ногами, нескладно помахивала длинными руками; при встрече с чужими сторонилась и глядела из-под платка чернявыми глазами смущенно и диковато. А теперь перешла Ваське дорогу статная грудастая девка, на ходу глянула прямо, чуть-чуть улыбчиво, и словно ветром теплым весенним пахнуло Ваське в лицо.

На миг зажмурился, потом глянул вслед, проводил глазами до поворота и тронул коня рысью. Уже на водопое, разнуздывая коня, улыбнулся, вспоминая встречу. Почему-то стояли перед глазами Нюркины руки, уверенно и мягко обнимающие цветастое коромысло, и зеленые ведра, качающиеся в такт шагам. С этой поры искал встречи с ней, к речке ездил нарочно по крайней улице, где был двор Нюркиного отца, и когда видел ее за плетнем или в просве

из окна, то радость тепло тлела в груди; натягивал поводья, стараясь замедлить лошадиный шаг.

На той неделе в пятницу поехал на луг верхом — поглядеть на сено. После дождя дымилось оно и сладко попахивало прелью. Возле Авдеевых копен увидел Нюрку. Шла она, подобрав подол юбки, хворостиной помахивала. Подъехал.

— Здорово, раскрасавица!

— Здорово, коль не шутишь.— И улыбнулась.

Соскочил с коня Васька, поводья бросил.

— Чего ищешь, Нюра?

— Телок запропастился... Не видал ли где?

— Табун давно прошел в станицу, а вашего телка не примечал.

Достал кисет, свернул «козью ножку». Слюнявя газетный клочок, спросил:

— Когда ты успела, девка, вымахать такой здоровой? Давно ли в пятишки на песке игралась, а теперь — ишь...

Улыбкой прижмурились Нюркины глаза. Ответила:

— Что нам делается, Василий Тимофеевич. Вот и ты вроде как недавно без штанов бегал в степь скворцов сымать, а теперь уж в хате, небось, головой за перекладину цепляешься...

— Что ж замуж-то не выходишь? — Зажег Васька спичку, чадно дымнул самосадом.

Нюрка вздохнула шутливо, руками сокрушенно развела:

— Женихов нету!

— А я чем же не жених? — Хотел улыбнуться Васька, но улыбка вышла кривая и ненужная. Вспомнил, каким выглядел он в зеркале: щеки, густо изрытые давнишней оспой, чуб курчавый, разбойничий, низко упавший на лоб.

— Рябоват вот ты маленечко, а то бы всем ничего...

— С лица тебе не воду пить...— багровея, уронил Васька.

Нюрка улыбнулась чуть приметно, помахивая хворостиной, сказала:

— И то справедливо!.. Что ж, ежели нравлюсь — сватов засылай.

Повернулась и пошла к станице, а Васька долго сидел под копною, растирал промеж ладоней приторную листву любистика, думал: «Смеется, стерва, аль нет?»

От речки, из лесу, потянуло знобким холодком.

Туман, низко пригибаясь, вился над скошенной травой, лапал пухлыми седыми щупальцами колючие стебли, по-

бабьи кутал курившиеся паром копны. За тремя тополями, куда зашло на ночь солнце, небо цвело шиповником, и крутые вздыбленные облака казались увядшими лепестками

* * *

У Васьки семья — мать да сестра. Хата на краю станицы крепко и осанисто вросла в землю, подворье небольшое Лошадь с коровой — вот и все имущество. Бедно жил отец Васьки.

Вот поэтому-то в воскресенье, покрываясь цветной в разводах шалью, сказала мать Ваське:

— Я, сыночек, не прочь. Нюрка — девка работящая и собой не глупая, только живем мы бедно, не отдаст ее за тебя отец... Знаешь, какой норов у Осипа?

Васька, надевая сапоги, промолчал, лишь щеки набухли краской. То ли от натуги (сапог больно тесен), то ли еще от чего.

Мать кончиком шали вытерла сухие, бледные губы, сказала:

— Я схожу, Вася, к Осипу, но ить страма будет, коль с крылечка выставят сваху. Смеяться по станице будут...- помолчала, не глядя на Ваську, шепнула: — Ну, я пойду.

— Иди, мамаша.— Васька встал и вяло улыбнулся.

* * *

Рукавом вытирая лоб, покрывшийся липким и теплым потом, мать Васьки сказала:

— У вас, Осип Максимович, товар, а у нас покупатель есть... Из-за этого и пришла... Как вы можете рассудить это?

Осип, сидевший на лавке, покрутил бороду и, сдувая с лавки пыль, проговорил:

— Видишь, какое дело, Тимофеевна... Я бы, может, и не прочь... Василий, он — парень для нашего хозяйства подходящий. А только выдавать мы свою девку не будем... рано ей невеститься... Ребят-то нарожать — дело немудрое!..

— Тогда уж извиняйте за беспокойствие! — Васькина мать поджала губы и, вставая с сундука, поклонилась.

— Беспокойствие пустяшное... Что ж спешишь, Тимофеевна? Может, пополудновала бы с нами?

— Нет уж... домой поспешать надо... Прощайте, Осип Максимович!..

— С богом, проваливай! — вслед хлопнувшей двери, не вставая, буркнул хозяин.

С надворья вошла Нюркина мать. Насыпая на сковородку подсолнечных семечек, спросила:

— Что приходила-то Тимофеевна?

Осип выругался и сплюнул:

— За свово рябого приходила сватать... Туда же, гнида вонючая, куда и люди!.. Нехай рубит дерево по себе!.. Тоже сващенька,— и рукой махнул,— горе!..

* * *

Кончилась уборка хлебов. Гумна, рыжие и лохматые от скирдов немолоченого жита, глядели из-за плетней выжидающе. Хозяев ждали с молотьбой, с работой, с зубарями, орущими возле молотильных машин хрипло и надсадно:

— Давай!.. Давай... Да-ва-а-ай!..

Осень приползла в дождях, в пасмурной мгле.

По утрам степь, как лошадь коростой, покрывалась туманом. Солнце, конфузливо мелькавшее за тучами, казалось жалким и беспомощным. Лишь леса, не зажженные жарою, самодовольно шелестели листьями, зелеными и упругими, как весной.

Часто один за другим длинной вереницей в скользком и противном тумане шли дожди. Дикие гуси почему-то летели с востока на запад, а скирды, осунувшиеся и покрытые коричневатой прелью, похожи были на захворавшего человека.

В предосенней дреме замирала непаханая земля. Луга цветисто зеленели отавой, но блеск их был обманчив, как румянец на щеках изъеденного чахоткой.

Лишь у Васьки буйным чертополохом цвела радость — оттого что каждый день видел Нюрку: то у речки встретятся, то вечером на игрищах Поглупел парень, высох весь, работа в руках не держится...

И вот тут-то, днем осенним и хмарным, как-то перед вечером гармошка, раньше хныкавшая и скулившая щенком безродным, вдруг загорланила разухабисто, смехом захлебнулась...

К Ваське во двор прибежал Гришка, секретарь станичной комсомольской ячейки. Увидал его — руками машет, а улыбка обе щеки распахала пополам.

— Ты чего щеришься, железку, должно, нашел? — поддел Васька.

— Брось, дурило!.. Какая там железка...— Дух перевел, выпалил: — Нашему году в армию идти!.. На призыв через три дня!..

Ваську как колом кто по голове ломанул. Первой мыслью было: «А Нюрка как же?» Потер рукой лоб, спросил глухо:

— Чему же ты возрадовался?

Гришка брови до самых волос поднял:

— А как же? Пойдем в армию, чудак, белый свет увидим, а тут, окромя навоза, какое есть удовольствие? А там, брат, в армии — ученье...

Васька круто повернулся и пошел на гумно, низко повесив голову, не оглядываясь...

* * *

Ночью возле лаза через плетень в Осипов сад ждал Васька Нюрку. Пришла она поздно. Зябко куталась в отцовский зипун. Подрагивала от ночной сырости.

Заглянул Васька в глаза ей, ничего не увидел. Казалось, не было глаз, и в темных порожних глазницах чернела пустота.

— Мне на службу идтить, Нюра...

— Слыхала.

— Ну, а как же ты?.. Будешь ждать меня, замуж за другого не выйдешь?..

Засмеялась Нюра тихоньким смешком; голос и смех показались Ваське чужими, незнакомыми.

— Я тебе говорила раньше, что на отца с матерью не погляжу, пойду за тебя, и пошла бы... Но теперя не пойду!.. Два года ждать, это не шуточка!.. Ты там, может, городскую сыщешь, а я буду в девках сидеть? Нету дур теперя!.. Попроси другую, может, и найдется какая, подождет...

Заикаясь и дергая головой, долго говорил Васька. Упрашивал, уверял, божился, но Нюрка с хрустом ломала в руках сухую ветку и твердо кидала Ваське в ответ одно скупое, черствое слово:

— Нет! Нет!

Под конец, озлобившись, дыша обрывисто, крикнул Васька:

— Ну, ладно, стерва!.. Мне не достанешься, а другому и подавно! А ежели выйдешь за другого — рук моих не минуешь!

— Руки-то тебе короткими сделают, не достанешь!.. пыхнула Нюрка.

— Как-нибудь дотянусь!..

Не прощаясь, прыгнул Васька через плетень и пошел по саду, затаптывая в грязь желтые опавшие листья.

* * *

А утром сунул в карман полушубка краюху хлеба, в сумочку, потаясь от матери, всыпал муки и пошел на квартиру к лесничему.

От бессонной ночи тяжело никла голова, слезились припухшие глаза, и все тело сладко и больно ныло. Осторожно минуя лужи, подошел к крыльцу. Лесничий воду в колодце черпает.

— Ты ко мне, Василий?

— К вам, Семен Михайлыч... Хочу перед службой напоследях поохотничать...

Лесничий, перегибаясь на левый бок, подошел с ведром, прищурился.

— В это воскресенье начабанил что?

— Зайчишку одного подсек.

Вошли в хату. Лесничий поставил на лавку ведро и вынес из горницы ветхую централку. Васька, хмуро поглядывая в угол, сказал:

— Мне бы винтовку надо... Лису заприметил в Сенной балке.

— Могу и винтовку, только патронов нету.

— У меня свои.

— Тогда бери. Обратно будешь идти — зайди. Похвались!.. Ну, ни пера, ни пуху!..— улыбаясь, крикнул лесничий вслед Ваське.

* * *

Верстах в четырех от станицы, в лесу, там, где промытый весенней водой яр ветвится крутыми уступами, под вывороченной корягой в красной маслянистой глине выдолбил Васька пещерку небольшую, впору лишь волку уместиться. Жил в ней четвертые сутки.

Днем в лесу, на дне яра, теплая прохлада, запах хмельной и бодрящий: листья дубовые пахнут, загнивая. Ночью под кривыми танцующими лучами ущербленного месяца овраг кажется бездонным, где-то наверху шорохи, похрустывание веток, неясный, рождающий тревогу звук.

Словно кто-то крадется над излучистой каймою оврага, заглядывая вниз. Изредка после полуночи перекликались молодые волчата.

Днем выходил Васька из оврага, вяло передвигая ноги, шел через густой колючий терн, через голый орешник, через балки, на четверть засыпанные оранжевыми листьями. И когда сквозь чахлую завесу не опавших листьев мелькала бледно-зеленая гладь реки и за нею выбеленные кубики домов в станице, чувствовал Васька тупую боль где-то около сердца. Долго лежал на крутом берегу, скрытый порослью хвороста, смотрел, как из станицы шли бабы к речке за водой. На второй день увидал мать, хотел крикнуть, но из проулка выехала арба. Казак помахивал кнутом и глядел на речку.

В первую же ночь, как только лег на ворох сухих шуршащих листьев, глаз не сомкнул до рассвета,— думал и понял Васька, что не на ту стежку попал, на кривую. Топтать эту стежку до худого конца вместе с ребятами с большого шляха. И еще понял Васька то, что все теперь против него: и Нюрка, и ребята-одногодцы, те, что под заливистую канитель гармошки пошли в армию. Будут служить они и в нужную минуту станут на защиту Советов, а он, Васька, кого будет защищать?

В лесу, в буреломе, затравленный как волк на облаве, как бешеная собака, умрет от пули своего же станичника он, Васька, сын пастуха и родной кровный сын бедняцкой власти.

Едва засветлел лиловой полосою восток, бросил Васька в овраге винтовку и пошел к станице, все ускоряя и ускоряя шаги:

«Пойду, объявлюсь!.. Нехай арестуют. Присудят, зато с людьми... От своих и снесу!..» — колотилась горячая до боли мысль. Добежал до речки и стал. За песком, за плетнями дворов дымились трубы, ревел скот. Страх холодными мурашками покрыл Ваське спину, дополз до пяток.

«Присудят года на три... Нет, не пойду!..»

Круто повернул и, как старый матерый лисовин от гончих, пошел по лесу, виляя и путая следы.

На шестой день кончились мука и хлеб, взятые из дому. Дождался Васька ночи, перекинул винтовку через плечо, тихо, стараясь не хрустеть валежником, дошел до речки. Спустился к броду. На песке зернистом и сыром — следы колес. Перебрел и задами дошел до Осипова гумна. Сквозь голые ветви яблонь виден был огонь в окне.

Остановился Васька, до боли захотелось увидеть Нюр

ну, сказать, упрек кинуть в глаза. Ведь из-за нее он стал дезертиром, из-за нее гибнет в лесу.

Перепрыгнул через прясло, миновал сад, на крыльцо взбежал, стукнул щеколдой — дверь не заперта. Вошел в сени, тепло жилья ударило и закружило голову.

Мать Нюрки месила пироги, обернулась на скрип двери и, ахнув, уронила лоток. Осип, сидевший возле стола, крякнул, а Нюрка взвизгнула и опрометью кинулась в горницу.

— Здорово живете! — просипел Васька.

— Сла... сла-ва бо-гу...— заикаясь, буркнул Осип.

Не скидая шапки, прошел Васька в горницу. Нюрка сидела на сундуке, колени ее мелко дрожали.

— Ай не рада, Нюрка? Что ж молчишь? — Васька подсел на сундук, винтовку поставил возле.

— Чему радоваться-то? — обрывисто прошептала Нюрка.— И, всплеснув руками, заговорила, сдерживая слезы: — Иди, бога ради, отсюда!.. Милиция из района наехала, самогонку ищут... Найдут тебя... Иди, Васька!.. Пожалей ты меня!..

— Ты-то меня жалела? А?

* * *

Едва закрыл Васька за собой дверь, Осип мигнул жене и, косясь на горницу, откуда слышался захлебывающийся Нюркин шепот, прохрипел:

— Беги к Семену!.. Милиция у него стоит. Зови сейчас!..

Нюркина мать неслышно отворила дверь и метнулась через двор черной тенью.

* * *

Васька, трудно глотая слюну, попросил:

— Дай, Нюрка, кусок пирога... Другие сутки не ел...

Нюрка встала, но дверь из кухни порывисто распахнулась, в просвете стояла Нюркина мать с лампой, платок у нее сбился набок, на лоб свисали вспотевшие космы волос. Крикнула визгливо:

— Берите его, сукиного сына, товарищи милиция!.. Вот он!..

Из-за ее плеча глянул милиционер, хотел шагнуть

в горницу, но Васька цепко ухватил винтовку, наотмашь ударил прикладом по лампе, прыжком очутился у окна, вышиб ногою раму и, выпрыгнув, грузно упал в палисаднике.

На миг лицо обжег холод. В хате визг, шум, хлопнули дверь в сенях.

Легко перемахнул Васька через плетень и, перехватив винтовку, прыжками побежал к гумну. Сзади — топот чьих-то ног, крики:

— Стой, Васька!.. Стой, стрелять буду!..

По голосу Васька узнал милиционера Прошина, на ходу скинул винтовку, оборачиваясь, не целясь, выстрелил. Сзади четко стукнул наган. Перепрыгивая гуменное прясло, Васька почувствовал, как левое плечо обожгло болью. Словно кто-то несильно ударил горячей палкой. Перемогая боль, двинул затвором, щелкнула выброшенная гильза. Загнал патрон и, целясь в мелькавшую сквозь просветы яблони первую фигуру, спустил курок.

Вслед за выстрелом услышал, как Прошин упавшим голосом негромко вскрикнул:

— Стерва... в живот... О-о-ой, больно!..

Через брод бежал, не чуя холодной воды. Сзади не часто топал второй милиционер. Оборачиваясь, Васька видел черные полы его шинели, раздутые ветром, и в руке зажатый наган. Мимо повизгивали пули...

Взобравшись на кручу, Васька послал вслед возвращавшемуся от речки милиционеру пулю и, расстегнув ворот рубахи, приник губами к ранке. Соленую и теплую кровь сосал долго, потом пожевал комочек хрустящей на зубах земли, приложил к ранке и, чувствуя, как в горле нарастает непрошеный крик, стиснул зубы.

* * *

На другой день перед сумерками добрел до речки и залег в хворосте. Плечо вспухло багрово-синим желваком, боль притупилась, рубаха присохла к ране, было больно лишь тогда, когда двигал левой рукой.

Лежал долго, сплевывая непрестанно набегавшую слюну. В голове было пусто, как с похмелья. До тошноты хотелось есть, жевал кору, обдирая хворостинки, и, сплевывая, смотрел на зеленые комочки слюны.

С той стороны к речке подходили бабы, черпали в ведра воду и уходили, покачиваясь. Уже перед темнотой из про

улка вышла баба, направляясь к речке. Васька привстал на локте, охнул от боли, неожиданно пронизавшей плечо, и злобно стиснул рукою холодный ствол винтовки.

К речке шла Нюркина мать. Пуховый платок надвинут на самые глаза. Как видно, торопится. Васька дрожащей рукой сдвинул предохранитель. Протирая глаза, вгляделся. «Ну да, это она». Такой ярко-желтой кофты, как у Нюркиной матери, не носит никто в станице.

Васька по-охотничьи поймал на мушку голову в пуховом платке.

— Получай, сучка, за то, что доказала!..

Грохнул выстрел. Баба бросила ведра и без крика побежала к дворам.

— Эх, черт!.. промах!..

Вновь на мушке запрыгала желтая кофта. После второго выстрела Нюркина мать нехотя легла на песок и свернулась калачиком.

Васька не спеша перебрел на ту сторону и, держа винтовку наперевес, подошел к подстреленной.

Нагнулся. Жарко пахнýло женским потом. Увидал Васька распахнутую кофту и разорванный ворот рубахи. В прореху виднелся остро выпуклый розовый сосок на белой груди, а пониже — рваная рана и красное пятно крови, расцветавшее на рубахе лазоревым цветком [1].

Заглянул Васька под надвинутый на лоб платок, и прямо в глаза ему взглянули тускнеющие Нюркины глаза.

Нюрка шла в материной кофте за водой.

Поняв это, крикнул Васька и, припадая к маленькому неподвижному телу, калачиком лежавшему на земле, завыл долгим и тягучим волчьим воем. А от станицы уж бежали казаки, махая кольями, и рядом с передним бежала, вьюном вилась шершавая собачонка. Повизгивая, прыгала вокруг и все норовила лизнуть его в самую бороду.

1925

ДВУХМУЖНЯЯ

На бугре, за реденьким частоколом телеграфных столбов щетинистыми хребтинами сутулятся леса: Качаловские, Атаманские, Рогожинские. Одна суходолая отножина, заросшая мохнатым терном, упирается в поселок

---

[1] Лазоревым цветком на Дону называют степной тюльпан.

Качаловку, а низкорослые домишки поселка подползают чуть не вплотную к постройкам качаловского коллектива.

Ноги раскорячив и угнувшись слегка вперед, возле сурчиной норы стоит Арсений Клюквин, председатель качаловского коллектива. Ветер полощет неподпоясанную рубаху на нем и бисерный пот гонит со лба к переносью. Рядом дед Артем из-под шершавой ладони смотрит, как за пахучими буграми сурчиных нор трактор черноземную целину кромсает глянцевитыми ломтями. С утра вымахал четыре десятины. Нынче первая проба. От радости у Арсения в горле смолистая сушь; проводил до конца загона взглядом горбатую спину трактора, от жары бурые губы облизывая, сказал:

— Во, дед Артем, машина!..

А дед, кряхтя и стоная, по лохматой борозде заспотыкался, на ходу в коричневый узловатый кулак зажал ком жирной земли, растер на ладони и, обернувшись к Арсению, шапчонку кинул на землю, пережеванную лемехами, выкрикнул плачущим голосом:

— Обидно мне до крови! Пятьдесят годов я на быке, а бык на меня работал... День пашешь, ночь — кормишь его, сну не видишь... Опять же в зиму худобу годуешь... А теперь как мне возможно это переносить?

Указал дед кнутовищем на трактор, рукой махнул горько и, нахлобучив шапку, пошел, не оглядываясь.

Ушло за курган на ночь солнце. Сумерки весенние торопливо закутали степь. Слез с трактора машинист, рукавом размазал по щекам белесую пыль.

— Ужинать пора. Иди домой, Арсений Андреевич. Теперь бабы коров подоили, парного молока принесешь.

По низкорослой поросли озимей идет к жилью Арсений. Из балки на пригорок стал подниматься — услышал скрип арбы, бабий слезливый голос:

— Цоб, проклятые! И что я с вами буду делать, с нечистыми?.. Цо-об!..

Сбочь дороги на суглинке, взмокшем от вечерней росы, быки, запряженные в арбу, стоят. Пар над потными бычачьими спинами. Бабенка вокруг попрыгивает, кнутом беспомощно машет.

Поравнялся Арсений.

— Здорово живешь, молодка.

— Слава богу, Арсений Андреевич.

Жаркой радостью хлестнуло Арсения, колени дрогнули.

— Никак, это ты, Анна?

— Я и есть. Замучилась вот с быками, никак не везут... Чистое горе...

— Откель едешь?

— С мельницы. Нагрузили рожь, быки не стронут с места.

Плевое дело Арсению поддевку с плеч смахнуть, на руки бабе кинул, смеется:

— Подсоблю выехать, магарыч будет? — норовит в глаза заглянуть.

Баба в сторону их отводит, платок надвигает.

— Помоги, за-ради бога!.. Сочтемся...

Двадцать седьмой год Арсению, и силенка имеется. Шесть мешков вынес на пригорок. Потный спустился в балку. Присел на арбу, переводя дух.

— Ну как, про мужа не слыхать?

— Какие из-за моря, от Врангеля, вернулись казаки, гутарили, что помер в Туретчине.

— Как же жить думаешь?

— А все так же... Ну, надо ехать, и так припозднилась. Спасибо за помочь, Арсений Андреевич!

— Из спасиба шубы не выкроишь...

Улыбка примерзла на губах у Арсения; минуту молчал, потом, перегнувшись, левой рукой крепко захватил голову в белом платке, прижался губами к губам, дрогнувшим и прохладным, но щеку до стыда, до боли ожгла рука в колючих мозолях, вырвалась Анна, оправляя скособочившийся платок, захлебнулась плачущим визгом:

— Стыда на тебя нету, паскудник!

— Ну, чего орешь-то? — спросил Арсений, понижая голос.

— Того, что мужняя я! Зазорно! Другую сыщи на это!..

Дернула Анна быков за налыгач, крикнула от дороги — а в голосе слезы:

— Все вы, кобели, одним и дышите!.. Да ну, цоб же, проклятые!..

* * *

Сады обневестились, зацвели цветом молочно-розовым, пьяным. В пруду качаловском, в куге прошлогодней, возле коряг, ржавых и скользких, ночами хмельными — лягушачьи хороводы, гусиный шепот любовный да туман от воды... И дни погожие, и радость солнечная у Арсения, председателя качаловского коллектива, оттого, что земля

не захолостеет попусту (трактор есть),— а вот ущемила сердце одна сухота, и житья нету... На третьи сутки встал раньше кочетов Арсений, вышел к ветряку на прогон и сел возле скрипучего причала. Пусть назавтра судачат бабы, пусть ребята из коллектива будут подмигивать на него ехидно и смеяться за глаза и в глаза,— лишь бы увидать ее, лишь бы сказать про то, что с тех пор, как осенью, во время молотьбы, вместе с нею на скирду вилами бугрили черно былый ячмень, и работа, и свет белый не милы ему...

Издалека заприметил белую косынку.

— Здравствуй, Анна Сергеевна!

— Здравствуйте, Арсений Андреевич.

— Сказать тебе хочу словцов несколько.

Отвернувшись, завеску сердито скомкала.

— Хучь бы людей-то посовестился!.. Каки-таки разговоры на прогоне?.. Перед бабами страмотно!..

— Дай сказать-то!

— Некогда: корова в кукурузу зайдет!

— Погоди!.. Просить буду, как смеркнется, приди к ольхам, дело есть...

Голову в плечи вобрала, пошла, не оглядываясь.

...Возле ольх, неотрывно обнявшихся, буйная ежевика кусты треножит, возле ольх по ночам перепелиные точки, и туман по траве кудреватые стежки вывязывает. Ждал Арсений до темноты, и когда с горы зашуршала глина, осыпаясь под чьими-то воровскими шагами, почувствовал, как холодеют пальцы и липкой испариной мокнет лоб.

— Обидел я тебя тогда? Брось, не серчай, Анна!

— Привыкла к этому без мужа-то...

— Ну, а теперь дело хочу сказать... Живешь ты вдовой, свекору не нужна... Может, замуж за меня пойдешь? Жалеть буду... Ну, вот, чудная, чего же ты хнычешь? Беда с вами, бабами! Ежели всчет мужа сумлеваешься, на случай, коли придет, приневоливать не стану... К нему уйдешь, коли захочешь...

Села рядом на влажную, облитую росою землю. Сидела, низко опустив голову. Засохшим стеблем бурьяна чертила на земле невидимые узоры.

Обнял Арсений ее несмело, боялся, что вырвется, крикнет, обзовет обидным словом, как тогда в поле; но когда заглянул в глаза — увидал под черной тенью платка следы непросохших слез и улыбку.

— Эх, Анна, плюнь на все!.. Пойдем распишемся и в коллектив к нам работенку ломать!.. До коих пор будешь горе-то мыкать?

* * *

Засуха. По левадам, кукушек вспугивая, косы перезванивают. Не косят траву добрые люди — под корень грызут. За Авдюшкиным логом коллективский трактор две косилки тягает. Пыльно. Горячо. Валы сена степь исконопатили. Солнце в обед — вилы бросил Арсений, вытряхнул из рубахи колкую пыль, к стану пошел умыться, навстречу — жена Аннушка. За версту угадал ее по походке быстрой, враскачку. Несет харчи косарям. Подошла. Румянец на щеках, нацелованных солнцем.

— Уморилась, Нюра?.. До жилья ведь верст тринадцать.

— Нет, не дюже. Если б не жара, легко можно б идтить.

Сидели под копной рядом, руку гладил Арсений зачерствевшей от вил рукою, бодрил улыбкой глаз.

А вечером встретила его у крыльца, за перила цепко держалась, словно боялась упасть. С трудом выдавила из побелевших губ:

— Арсюша!.. Муж... Александр письмо из Туретчины прислал... Домой обещает приехать.

Кому счастье, а кому и счастьице...

У качаловцев хлебец начисто погорел, по полю, коричневому от загара, колос от колоса — не слыхать девичьего голоса, да и то не колос, а так, сухобыл один, коренастый и порожний, пустотой звенит под ветром. А у коллектива в клину промеж Качаловского леса и Атаманского, вдоль шляха, там, где до осени ветер измывался над сосновой дощечкой с надписью: «показательная обработка», пшеница-кубанка вымахала рослой лошадюке по пузо. Кому какая линия выйдет... Качаловский богатей Ящуров (имеет двенадцать пар быков, лошадей косяк, паровую молотилку и цепкие мышастые глазки) попервоначалу, с весны, когда дождь спустился на качаловские поля, а коллективский хлеб самую малость крылом зацепил,— говорил с ухмылочкой, покусывая кончик житнистой бороды ядреным желтым зубом:

— Бог, он ить правду видит... Какие в послушании к нему пребывают и чтут веру Христову — тем и дождичек, так-то-с!.. А вот коллективских коммунистов умыло!.. Больно прыткие!.. Без бога, сказано, не до порога!..

И прочее разное говорил, а проезжая шляхом повыше Качаловских лесов, приостанавливал своего гладкого пятнистого мерина и, указывая кнутом на дощечку, пля-

савшую на столбе под ветром, смеялся, ощеряя желтые кабаньи клыки, и животом тряс:

— Пока-за-а-а-тель-ная!.. Вот оно осенью покажет!..

Трактор ломил пахоту в колено, качаловцы ковыряли кое-как, по-дедовски. У качаловцев с десятины по восьми мер наскребли, коллективцы по сорок сняли. Смеялись качаловцы, зависть скрывая...

— Сиротское, мол, не пропадает...

А только вышло так, что в сентябре, в праздник, пришли качаловцы с хуторского схода к двору коллективскому. Погомонили возле амбаров, распухших от хлеба, трактор долго щупали глазами и пальцами заскорузлыми, кряхтели, и уже перед уходом дед Артем — мужик из заправских хозяев — отвел Арсения в сторону и, втыкая в ухо ему прокуренную бороду, забурчал:

— Просьбицу имеем к вам, Арсений Андреевич. Сделай божеску милость, примай нас гуртом в свой киликтив! Двадцать семей нас, которы беднеющи...

Поклонился старикам Арсений обрадованно.

— Добро пожаловать!..

Работы по горло в коллективе. Засушливый год. Недостача хлеба в окружных хуторах и станицах. По шляху мимо Качаловки толпами проходят нищие. Заворачивают и в Качаловку. У расписных ставней скрипят тягучие слабые голоса:

— Христа ради...

Распахнется обсиженное мухами окошко, глянет на выжженную солнцем улицу бородатая голова, буркнет:

— Идите добром, прохожие люди, а то собаками притравлю! Вон — киликтив, у них и спрашивайте!.. Они власть этую постановили, они вас и кормить должны!

Каждый день тянутся одиночками и толпами к смолистым обструганным воротам коллектива.

Арсений, осунувшийся и загорелый, отчаянно машет руками:

— Куда я вас дену? Везде полно! Ведь не прокормимся мы с вами!

Но коллективские бабы на Арсения гудят потревоженным пчелиным роем, и обычно кончается тем, что Арсений и мужики, отмахиваясь руками, уходят на гумно к молотилке, а бабы ведут гостей в длинный амбар, устроенный под жилье, и до вечера из окон просторной кухни рвется во двор грохот чугунов и звон посуды.

Иногда на гумно, запыхавшись, прибегает кладовщик, дед Артем, хрипит, сокрушенно отплевываясь:

— Сладу с бабами нету!.. Сыщи ты, Арсений, на них какую-нибудь управу. Навели кучу старцев и ключи от кладовой у меня отняли!.. Обед стряпают, а пшена нагребли на восемь рылов больше!..

— Ляд с ними, дедушка! — улыбается Арсений.

Число коллективцев увеличилось вдвое. Прибавилось и число детей. Часть рабочих кончала обмолот, пахала под пары, другая часть строила школу.

С утра до темной ночи муравейником кишел коллективский двор.

В сарае пыхтела машина. Электрический фонарь лил на выметенный двор желтые волны света, и кособокий месяц, повиснувший над Качаловкой, бледнел от электричества; он казался теперь зеленоватым, маленьким и ненужным.

Анна вторую неделю работала в очереди на скотном дворе. Вместе с шестью другими бабами выдаивала коров, отбивала телят и шла спать. Сон приходил не скоро,— ворочалась, прислушивалась к ровному дыханию Арсения, думала о прошлом и о своей теперешней жизни в коллективе.

* * *

С утра небо затянулось густой пеленой сизых туч. Погромыхивал гром. В леваде галдели грачи, шумели вербы; около дома в палисаднике дурманно пахло цветом собачьей бесилы, никла к земле остролистая крапива. За крышей сарая по небу ящерицей скользнула молния, бабахнул гром, дождь дробно затопотал по крыше, ветром скрутило во дворе бурый столбище пыли, хлопнула оторванная вихрем ставня, и по лужам, выбивая пенистые пузыри, заплясал буйный июльский ливень.

Анна, накинув платок, выбежала во двор снять сушившееся белье. Мокрый ветер метался по двору, хлестал в лицо. Добежала Анна до амбара, и вдруг над самой головой гулко треснул гром, дробным грохотом рассыпался где-то за Качаловкой. Анна испуганно присела, по привычке перекрестилась и зашептала слова молитвы, а когда привстала и обернулась назад,— то увидала возле раскрытых ворот подводу и человека в дождевом плаще. Человек смеялся, перегибаясь назад и ощеряя белые зубы. Сквозь ветер крикнул Анне:

— Ты что же, молодка, пророка Ильи испугалась?

Анна подобрала юбку; снимая белье, крикнула сердито:

— Зубы-то нечего на продажу выставлять! Никто не купит!

Человек в дождевом плаще, оскользаясь, подошел к Анне; сказал с усмешкой:

— Ты, видно, сердитая, а серчаешь без толку!.. Разве от молнии крестом спасаются? Эх ты, а еще в коллективе живешь!..— сказал и снова съежил губы в усмешку.

И вот этой обидной усмешкой словно обжег Анну. Стыдно ей стало чего-то. Ответила, будто оправдываясь:

— Я тут недавно живу...

— Коли недавно, это еще ничего! — И пошел на крыльцо, помахивая снятым с головы картузом.

Анна наспех поснимала белье. Рысью в дом. Вошла в комнату. Арсений, сидевший рядом с человеком в плаще, сказал:

— Вот приехал к нам учитель из города. Будет учить всех, какие неграмотные.

Учитель глянул светлыми улыбчивыми глазами, Анна вновь почувствовала стыдливую неловкость и, положив белье, вышла.

Вечером, перед ужином, Арсений сказал:

— Завтра, после обеда, иди грамоте учись. Я и тебя записал. Всего у нас неграмотных — двадцать душ. Заниматься будете в клубе.

— Мне совестно, Арсюша... В годах ведь я.

— Неграмотной-то совестнее быть!..

На другой день пошла Анна в клуб. За длинным столом сидят плотно. Дед Артем рот раззявил, а на лбу — пот. Тетка Дарья отложила вязанье, тоже слушает.

Учитель говорит что-то и мелом рисует на школьной доске здоровенную букву.

Все покосились на скрип двери и опять слегли над столом. Тихонько прошла Анна к окну и села на край скамьи. Сначала было чуднò, хоронила от других улыбку; на другой день слушала внимательней и уже упрямо выводила на листе бумаги кособокую и сутулую букву «В».

После — тянуло в клуб; спешила поскорее пообедать и чуть не рысью по коридору — с букварем под мышкой. За столом теснее стало сидеть — прибавилось учеников. Дед Артем вполголоса ругается и, расставив локти, спихивает тетку Дарью на самый край. С обеда до сумерек в клубе — шепот и сдавленное гудение голосов.

Под клуб заняли просторную, в шесть окон комнату. У стены стоит стол, обитый красным ситцем, в углу портреты и знамена.

Дед Артем все-таки выжил со скамьи тетку Дарью. Перешла она от стола на подоконник.В комнате жарко в окна засматривает любопытное солнце. На стекле бьется и жужжит цветастая муха. Тишина. Дед Артем мусолит огрызок карандаша, пишет, криво раззявив рот. Стиснули Анну, толкают в бок. Рядом с Анной — Марфа, у нее четверо детишек. Знает она, что в детских яслях настоящий за ними догляд, а поэтому спокойно ползает глазами по букварю, пот ядреными горошинами капает у нее с носа на верхнюю губу; рукавом смахнет, иногда и языком слижет и снова шевелит губами, отмахиваясь от въедливых мух.

Чаще постукивает сердце у Анны. Нынче первый раз читает она по целому слову. Сложит одну букву, другую, третью, и из непонятных прежде загогулин образуется слово. Толкнула в бок соседку:

— Гляди, получается «хле-бо-роб».

Учитель стукнул по доске мелом.

— Тише! Про себя читайте! А ну, дедушка Артем, прочитай нам сегодняшний урок!

Дед ладонями крепко прижал к столу букварь, откашлялся.

— На-ша... Ка-ша...

Марфа не утерпела, фыркнула в кулак.

Дед злобно покосился на нее.

— На-ша... ка-ша... хо-ро-ша...— начал снова. Прочитал и руками развел.— Скажи на милость, как оно выходит!

Переворачивая страницу, шепнул Марфе:

— Нет, бабонька, стар я становлюсь!.. Молодым был, бывало, три посада цепом обмолочу и в ус не дую, а теперя, видишь, прочел и уморился. Одышка душит, будто воз на гору вывез!

* * *

Втянулась Анна в работу. Понедельно работала то на кухне, то около скотины. На гумне постукивала молотилка, суетились рабочие. Арсений, присыпанный хлебными остьями и пылью, клал скирд; в полдень прибежал на кухню, крикнул Анне:

— Ты поздоровше, Анна, иди подсоби на гумне, а тебя пущай заменит Марфа Игнатовна.

Помогая Анне влезть на скирд, шлепнул ее по спине, засмеялся:

— Ну, толстуха, успевай принимать!..— и сажал на вилы вороха обмолоченной духовитой соломы, напруживаясь, поднимал вверх, Анна принимала. Сначала по колени, потом по пояс засыпал ее Арсений соломой; глянул, смеясь, снизу вверх, крикнул:

— Даешь работу! Эй ты, там, на скирду!.. Раззяву ловишь?..

* * *

В постоянной работе глохла, давностью затягивалась боль у Анны. Перестала думать о том, как вернется первый муж и что будет дальше... Короткой зарницей мелькнуло лето... Осень ссутулилась возле коллективских ворот. Утрами, словно выпущенный табун жеребят, взбрыкивая, бежали детишки в школу.

И вот днем осенним, морозным и паутинистым, спозаранку как-то, взошел Александр — муж Анны — на крыльцо, от собак отмахиваясь веткой орешника. Жестко постукивая каблуками, прошел по крыльцу, дверь отворил и стал у притолоки, не здороваясь, высокий, черный, в шинели приношенной. Сказал просто и коротко:

— Я пришел за тобой, Анна. Собирайся!

Анна забегала от сундука к кровати, негнущимися пальцами хватала то одно, то другое; сдернула с вешалки платок зимний, тяжело присела, переводя взгляд с Арсения на мужа, потом, с трудом ворочая губами, сказала:

— Не пойду!

— Не пойдешь?.. Посмотрим!..— Улыбнулся Александр криво, пожал плечами и вышел. Осторожно и плотно притворил за собою дверь.

За осень, долгую и сумную, чаще хворала Анна, желтизной блекла, то ли от хворости, то ли от думок. В субботу вечером подоила Анна с бабами коров, телят загнала в закут, недосчиталась одного и пошла искать, через леваду в степь, мимо ветряка, задремавшего в тумане. На старом, кинутом кладбище, промеж крестов, обросших мхом, и затхлых, осевших могил, пасся рябенький коллективский телок. Приглядываясь в густеющей темноте, погнала домой. До канавы дошла и села, руки к груди прижимая. Услыхала рядом с вызванивающим сердцем стук и возню... Тяжело поднялась и пошла, улыбаясь краешками губ устало и выжидательно.

Оголился сад, под макушками тополей мечется ветер, скупо стелет под ноги кумачовые листья. Дошла до бо-

седки, увидала, как из терпов вышел кто-то и стал, перегородив дорогу.

— Анна, ты?

По голосу узнала Александра. Подошел, горбатясь, руки растопыривая:

— Значит, забыла про то, как шесть лет вместе жили?.. Совесть-то всю в солдатках порастрепала? Эх ты, хлюстанка!

Думала Анна, что вот сейчас повалит наземь, будет бить коваными солдатскими ботинками, как в то время, когда жили вместе, но Александр неожиданно стал на колени, в сырую пахучую грязь, глухо сказал, протягивая вперед руки:

— Аннушка, пожалей!.. Я ли тебя не кохал? Я ли с тобой не нянчился, будто с малым дитем?.. Помнишь, бывало, мать родную словом черным обижал, когда зачинала она тебя ругать. Аль забыта наша любовь? А я шел из-за границев, одну думку имел: тебя увидеть... А ты... Эх!..

Тяжело привстал, выпрямился и пошел по тернам, не оглядываясь. На повороте обернулся назад, крикнул хрипло:

— Н-но попомни мое слово!.. Не вернешься ко мне, не бросишь свово хахаля — худого наделаю я!..

Постояла Анна. В середке змеей жалость греется к нему, вот к этому, с каким шесть лет жила под одной крышей... С той поры и пошло. Чаще задумывалась Анна, вспоминая прошлое, не хотела ворошить в памяти дни разладов, когда бил ее муж смертным боем, а вспоминала только светлое, радостью окропленное, и от этого сердце набухало теплотой к прошлому и к Александру, а образ Арсения меркнул туманом, уходил куда-то назад...

Не узнавал Арсений в ней прежнюю Анну, нелюдимей с ним стала, назад перегнувшись и выпятив живот, молчком ходила по комнатам, баб сторонилась, и все чаще ловил на себе Арсений взгляд ее, ненавидящий и горький.

* * *

В полночь на степном гумне близ Авдюшкина лога сгорели три приклада коллективского сена. После первых кочетов к Арсению в одних исподниках прибежал из флигеля чеботарь Митроха, загремел в измалеванное морозом окно:

— Подымайсь!.. Сено горит... Поджог!

Не одеваясь, выскочил Арсений на крыльцо, глянул через чубатые вишняки в степь и, зубов не разжимая, крепко выругался. За бугром, над полотнищем голубого снега, сгибаясь под ветром, до самого месяца вскидывался багровый столб. Дед Артем вывел из конюшни кобыленку, обротал ее, животом навалился на острую хребтину, кряхтя перекинул ноги и охлюпкой поскакал к пожару. Проезжая мимо крыльца, крикнул Арсению:

— По злобе это!.. Чалушка моя, скотинка... С голоду она теперь погибнет!.. Завязывай хвосты кругом и выгоняй с базу!..

* * *

Зарею пошел Арсений на пожарище. Вокруг вороха дымной золы курилась раздетая земля, доверчиво высматривали зеленые былки.

Присел Арсений на корточки, вгляделся: на запотевшей земле, на талом снегу вылегли следы кованых английских ботинок, черными рябинами чернели ямки, вдавленные шляпками гвоздей. Закурил Арсений, вглядываясь в стежку, завязанную по степи путаными узлами, зашагал к Качаловке. Следы завивались петлями, пропадали; оскользаясь, скребли ледок над буераком,— и по людскому следу, как по звериному, уверенно, молча, шел Арсений. У крайнего гумна, у плетня Александрова пропали следы... Крякнул Арсений, перекинул отцовскую централку с плеча на плечо, направился по дороге к коллективу.

* * *

Бабка-повитуха шлепнула рукой по скользкому тельцу, обмывая в цибарке руки, крикнула за перегородку:

— Слышь, Арсений, коммуненка баба родила!.. Поди, крестить не будешь?..

Молча раздвинул Арсений ситцевый полог, из-под закровяненного одеяла глянула посинелая Анна на него ненавидящими глазами, зашипела, глотая слезы:

— Уйди, нелюбый!.. Глазыньки мои на тебя не глядели бы!..

Отвернулась к стене и заплакала.

Лежала жизнь ровная, как небитый землею шлях, а теперь стынет в горле соленый ком и горе сердце Арсения берет волчьей хваткой.

Дня через два в клуню пошел Арсений, домолачивать остатки проса. Провозились с двигателем до темного, пока пустили — смерклось, за темным ворохом тополей прижухла ночь.

— Арсений Андреевич, выдь на час!..

Вышел. Возле дощатой стены увидал Анну, закутанную в шаль.

— Ты чего, Нюра?

В голосе, чужом и хриплом, не узнал голоса жены:

— Христом-богом прошу... Пусти меня к мужу... Кличет меня... Говорит, возьму с дитем. А ты, Арсений Андреевич, лихом не помни и не держи меня!.. Все одно уйду, не люб ты мне больше!

— Допрежь выкорми дитя, после иди, неволить не стану... А сына тебе не отдам! Я за Советскую власть четыре года сражался, израненный весь, а муж твой — кадет... от Врангеля пришел... Вырастет мой парнишка, батрачить на него будет... Не хочу!..

Подошла Анна вплотную, жарко дохнула в лицо Арсению:

— Не дашь дитя?..

— Нет!..

— Не дашь дитя?!

Злобою вспухло у Арсения сердце, в первый раз за все время житья с Анной сжал кулак, ударить хотел промеж глаз, горевших ненавистью к нему, но сдержался, сказал глухо:

— Гляди, Анна!..

* * *

С вечеру, после ужина, покормила Анна ребенка грудью и, накинув платок, вышла во двор. Долго не возвращалась. Арсений, угнувшись над лавкой, чинил хомут. Услышал, как скрипнула дверь. Не поворачивая головы, по шагам узнал Анну. Прошла к люльке, переменила пеленки и молча легла спать. Лег и Арсений. Не спал, ворочался, слышал отрывистое дыхание жены и неровные удары сердца. В полночь уснул. Удушьем навалился сон... Не слыхал, как после первых кочетов кошкою слезла с кровати Анна, не зажигая огня, оделась, закутала в платок дитя и вышла, не скрипнув дверью.

* * *

Второй месяц живет Анна у Александра. Поперваи пугливая радость, иногда лишь потаенными слезами просачивалась жалость по привольному житью в коллективе. Потом злобное ворчание свекра:

— Потаскуху привел... Не воняло в нашей хате коммунячим духом... Дармоедку с нахаленком принял!.. Гнал бы по шеям!..

Александр был ласковым только в первые дни, а за днями, скрашенными лаской, черной чередой пошли дни непосильной работы. Запряг Анну муж в хозяйство, сам все чаще уходил на край поселка, к Лушке-самогонщице, приходил оттуда пьяный, блевотиной расписывал стены и пол. До рассвета просиживал, развалясь на лавке, со сдвинутой на затылок папахой, гундосил, отрыгивая самогоном и самодовольно покручивая усы:

— Ты что собою представляешь, Анна? Одну необразованность, темноту. Мы-то повидали свет, в заграницах побывали и знаем благородное обхождение!.. По-настоящему мне рази такую, как ты, в жены надо?.. Пардон-с... За меня бы любая генеральская дочка пошла!.. Бывало, в офи... да что там и рассуждать... Все одно ты не поймешь!.. Красные сволочи, побывали бы в заграницах, вот там дииствительно люди!..

Засыпал тут же, на лавке. Утром, проснувшись, сипло орал:

— Же-на!.. Сыми сапоги!.. Ты, подлая, должна меня уважать за то, что кормлю тебя с твоим щененком!.. Чего ж ты хнычешь?.. Плетку выпрашиваешь?.. Гляди, а то я скоро!..

* * *

Талым и пасмурным февральским днем в оконце Александровой хаты постучался квартальный.

— Хозяева дома?

— Заходи, дома.

Вошел, положил на сундук изгрызенный собаками костыль, достал из-за пазухи замасленный лист и бережно разгладил его на столе.

— На собрание чтоб в момент шли!.. С вашим братом иначе никак невозможно, вот, под роспись подгоняю... Распишись фамилием!..

Подошла Анна к столу, расписалась на листе квартального. Муж удивленно взметнул бровями:

— Ты когда ж грамоте выучилась?

— В коллективе.

Смолчал Александр, притворил за квартальным дверь, сказал строго:

— Я пойду послухаю брехни советские, а ты скотину убери, Анна. Да просяную солому не тягай, догляжу — морду побью!.. Завычку какую взяла... Зимы ишо два месяца, а ты половину прикладка потравила!

Посапливая, застегивал полушубок, смотрел из-под лохматых черных бровей скупым хозяйским взглядом... Анна помялась возле печки, боком подошла к мужу.

— Саня... Может, и я бы пошла... на собрание?

— Ку-да-а?

— На собрание.

— Это зачем?!

— Послушать.

Медленно ползет по щекам Александра густая краска, дрожат концы губ, а правая рука тянется к стенке, лапает плеть, висящую над кроватью.

— Ты что же, сука подзаборная, мужа на весь поселок осрамить хочешь?.. Ты когда же выкинешь из головы коммунические ухватки? — Скрипнул зубами и, сжимая кулаки, шагнул к Анне.— Ты, у меня!.. Я тебя, распротак твою мать!.. Чтоб не пикнула!

— Санюшка!.. Бабы ить ходют на собрание!..

— Молчи... стервюга! Ты у меня моду свою не заводи! Ходят на собрание таковские, у каких мужьев нету, какие хвосты по ветру трепают!.. Ишь, что выдумала: на собрание!..

Иглою кольнула обида Анну. Побледнела, сказала хриплым, дрогнувшим голосом:

— Ты меня и за человека не считаешь?

— Кобыла не лошадь, баба не человек!

— А в коллективе...

— Ты со своим ублюдком лопаешь не коллективский хлеб, а мой!.. На моей шее сидишь, меня и слухай! — крикнул Александр.

Но Анна, чувствуя, как бледнеют ее щеки, а кровь, убегая к сердцу, зноем полощет жилы, выговорила сквозь стиснутые зубы:

— Ты сам меня уговаривал, жалеть сулил! Где же твои посулы?

— А вот где! — прохрипел Александр и, размахнувшись, ударил ее кулаком в грудь.

Анна качнулась, вскрикнула, хотела поймать руку мужа, но тот, хрипло матюкаясь, ухватил ее за волосы, ногою с силой ударил в живот. Грузно упала Анна на пол, раскрытым ртом ловила воздух, задыхалась от жгучего удушья. И уже равнодушно ощущала тупую боль побоев и словно сквозь редкую пленку тумана видела над собою багровое, перекошенное лицо мужа.

— Вот, вот, на̀ тебе!.. Не хочешь!.. Ага, шкуреха... Ты у меня запляшешь на иные лады!.. Получай!.. Получай.

С каждым ударом, падавшим на неподвижное, согнутое на полу тело жены, сильнее злобою закипал Александр, бил размеренней, старался попасть ногою в живот, грудь, в закрытое руками лицо. Бил до тех пор, пока не взмокла потом рубаха и устали ноги, потом надел папаху, сплюнул и вышел во двор, крепко хлопнув дверью.

На улице, возле ворот, постоял, подумал и через поваленные плетни соседского огорода побрел к Лушке-самогонщице.

Анна пролежала на полу до вечера. Перед сумерками в горницу вошел свекор, буркнул, трогая ее носком сапога:

— Ну, вставай!.. Знаем и без этого, что притворяться горазда... Чуть тронул пальцем муж, она уж и вытянулась!.. Побеги в Совет, пожалуйся... Вставай, что ли?.. Скотину-то кто за тебя убирать станет? Аль работника нанять прикажешь? — Пошел в кухню, шаркая ногами по земляному полу.— Жрать она за четверых управляется, а работать... Эх, совесть-то у людей!.. Ты ей плюй в глаза скажет: божья роса!..

Оделся свекор, пошел убирать скотину. В люльке завозился, заплакал ребенок. Анна очнулась, привстала на колени, выплюнула из разбитого рта песок, смоченный слюной и кровью, сказала, трудно шевеля губами:

— Головонька ты моя бедная...

За Качаловкой на бугре, расписанном плешивыми круговинами талого снега, вечер встречал ночь. По рыхлым ноздреватым сугробам шли в поселок зайцы зоревать. В Качаловке реденькие желтенькие пятнышки огней. Ветер стелет по улицам духовитую кизячную вонь.

Пришел Александр домой перед ужином. Упал на кровать, прохрипел:

— Анна!.. Са-по-ги...— и уснул, храпя, смачивая подушку клейкими слюнями.

Анна дождалась, пока угомонился свекор на печке,

схватила ребенка и выбежала во двор. Постояла, прислушиваясь к торопливому выстукиванию сердца. Над Качаловкой шагала ночь. С крыш капало, курился сложенный в кучи навоз. Снег под ногами сырой и хлюпкий. Прижимая к груди ребенка, спотыкаясь, зашагала Анна по проулку к качаловскому пруду, синевшему грязной голубизною льда. Возле пруда несжатый камыш скрежещет под ветром и надменно кивает Анне лохматыми головками.

Подошла к проруби. Черную воду затянуло незастаревшим ледком, около проруби сметенные в кучу осколки льда и примерзший бычий помет.

Крепче прижимая к груди ребенка, глянула Анна в черную раззявленную пасть воды, стала на колени, но вдруг — неожиданно и глухо под пеленками и одеялом — заплакал ребенок. Стыд горячей волною плеснулся Анне в лицо. Вскочила и, не оглядываясь, побежала к коллективу. Вот они, тесаные пожелтевшие за зиму ворота, знакомый родной гул пыхтящего в сарае динамо...

Качаясь, взбежала по крыльцу, скрипнули двери коридора, сердце наперебой с ногами отстукивает шаги-удары. Третья дверь налево. Постучала. Тишина. Постучала сильнее. Кто-то идет к двери. Отворил. Глянула мутнеющими глазами Анна, увидала пожелтевшего худого Арсения и обессиленно прислонилась к косяку.

Арсений на руках донес ее до кровати, распеленал и положил ребенка в осиротевшую за два месяца люльку, сбегал на кухню за кипяченым молоком и, целуя пухлые ножонки сына и мокрое от слез лицо Анны, говорил:

— Я поэтому и не шел к тебе... Знал, что ты вернешься в коллектив, и вернешься скоро!..

1925

О ДОНПРОДКОМЕ И ЗЛОКЛЮЧЕНИЯХ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДОНПРОДКОМИССАРА ТОВАРИЩА ПТИЦЫНА

Я, Игнат Птицын — казачок Проваторовской станицы,— собою был гожий парень: за поясом у меня маузер в деревянной упаковке, две гранаты, за плечиком винтовка, а патронов, окромя подсумка, полны карманы, так что шаровары на череслах не держатся и мы их бечевочкой все подпоясывали. Глаза у меня были быстрые, веселые, ажно

какие-то ужасные: бабы, бывалочка, пугались. Примоли вишь какую-нибудь на походе, а она после, как освоится, и говорит: «Фу, Игнаша, до чего ваши глаза зверские, глядишь в них, никак не наглядишься».

Ну и все прочее было позволительное: голосок — как у черта волосок, с хрипотцой.

В эту пору был я в станице Тепикинской на продработе.

В девятнадцатом году это было, весной. А в Проваторовской на одних со мной чинах хлеб качал дружок мой, тесный товарищ Гольдин. Сам он из еврейскова классу. Парень был не парень, а огонь с порохом и хитер выше возможностев. Я — человек прямой, у меня без дуростей, я хлеб с нахрапом качал. Приду со своими ангелами к казаку, какой побогаче, и сначала его ультиматой: «Хлеб!» «Нету».— «Как нету?» — «Никак, говорит, гадюка, нету». Ну я ему, конешно, без жалостев маузер в пупок воткну и говорю малокровным голосом: «Десять пулев в самостреле, десять раз убью, десять раз закопаю и обратно наружу вырою! Везешь?» — «Так точно, говорит, рад стараться, везу!»

А Гольдин — этот в одну ноздрину ему влезет, в другую вылезет, и сухой, проклятый сын, как гусь, и завсегда больше моего хлеба наурожайничает. Но уважали нас одинаково. Гольдина за девственность — потому он был как девка, тихий, ну, а меня, Птицына, спробовали бы не уважать! Я — человек прямолинейный, как загну крепкое словцо, как зачну узоры рисовать, аж смеются все от моей искусственности, молодые казаки так нарошно не везут, желательно им, чтоб я трахнул. «Ну,— скажут, бывало, залился наш Птицын жаворонком»,— так и прозвали меня жаворонком. Ну, приятно. Таким родом мы снабжаем продухтами пропитания Девятую армию Южного фронта и вот слышим, что в Вёшенской станице восстанцы с генералом Секретёвым скрестились и жмут. Как пошли мы, как пошли — удержу нет. И обозначились в Курской губернии Фатежского уезда. Приятно там хлеб качаем. И месяц качаем, и два качаем. До нас по десяти тысяч проса выручали, а мы появились — по двести тысяч начали брать. Гольдин тем часом выше да выше лезет, и в один распрекрасный день просыпаемся, а он, как куренок из яйца вылупился,— уж уполномоченным особой продовольственной комиссии по снабжению армии Южного фронта. Приятно. Я по Фатежскому уезду с отрядом матросов просо и жито гребу. Гольдин призывает меня и тихо говорит: «Ты, Птицын, суровый человек и дуги здорово умеешь

гнуть. Чудак ты, нету в тебе мякоти». Насчет дуг мне сделалось непонятно, а мякоти во мне действительно мало, одни мослы. На что мне мякоть? Что я, баба, что ли? И никто за мою мякоть не погребует держаться. «Ты, говорит, смотри-ка мне любезней». А я ему в ответ: «Ты знаешь, что в Октябрьском перевороте я Кремль от юнкерей отбирал?» — «Знаю».— «Знаешь, говорю, что при штурме мне юнкерская пуля в мочевой пузырь попала и до сего дня катается там, как гусиное яйцо?» — «Знаю, говорит, и очень сильно уважаю твою пулю, какая в пузыре».— «Ну то-то и оно, пулю мою ты не жалей, потому она жиром обрастает, и не в пятку, так в другое место кровя ее вытянут, а жалей ты тех наших бойцов, какие на фронтах сражаются, и чтоб они с голоду не сидели».— «Иди»,— говорит, головой покачивает и тяжко вздыхает. Значит, вроде жалко ему стало бойцов, или как? Приятно. Иду я обратно и качаю хлеб. И до того докачался, что осталась на мужике одна шерсть. И тово добра бы лишился, на валенки обобрал бы, но тут перевели Гольдина в Саратов. Через неделю бац от него телеграмма: «Донпродкому выехать мое распоряжение Саратов». Подписано: «Саратовский губпродкомиссар Гольдин».

В вагоне едем туда. Приятно.

Через вшей я от эшелона отстал, пошел на станции парить их в бане. Убиваю их там, сижу, смеюсь про себя: «Вот, мол, с кем я нажил, с кем я прожил, с кем я по миру пошел». А эшелон сгребся и уехал. Приятно.

Я в Саратов. Нету ни Гольдина, ни нашего Донпродкома. Спрашиваю: куда делись? Гольдина, дескать, в Тамбов послали накомиссаровать, и продком за ним хвостом потянулся. Приятно. «А промежду прочего, подите, указывают мне, в Донисполком, там узнаете».— «Где Донисполком?» — «В гостинице «Россия». Приятно. Прихожу. «Здесь Донисполком?» — «Здеся, отвечают, второй этаж, третий нумер». Подхожу, скребу ногтем дверь: «Разрешите?» — «Пожалуйста, пожалуйста». Вхожу, глядь — комнатушка, и в ней два человека. Один чернявый с бородкой, цувильный такой снаружи, а другая — благородная барышня, сидит за машинкой. «Извиняюсь, говорю, попал в обратную комнату.— И ручкой этак вокруг.— Вы и есть Донисполком?» — «Мы, говорит.— Я председатель Медведев, а это мой технический работник».— «А я, говорю гордо, Птицын Игнат из Донпродкома, не слыхали? Нет? Жалко! Очень вы, товарищ Медведев, низко живете». Он плечиком дергает: низко, мол, но ничего не попишешь,

выше того-сего не прыгнешь. «Не знаете, спрашиваю, где наш Донпродком?» — «Не могу знать»,— говорит он жалостным голоском и приглашает на чистый стул садиться. Я, конешно, сел.

Объясняю, что вроде Донпродком поехал в Тамбов. Медведев и возрадовался: «Вот что! Очень рад! Донпродком у меня, значит, в Тамбове, Донземотдел — в Пензе, административный — в Туле, а где же военный? — Пальчики загинает на счет и спрашивает у благородной барышни: — Скажите, где у нас военный отдел?» А она улыбается с нежностями и говорит: «Не могу самой себе вообразить»

До того они мне рады были, дюже уж без людей наскучали, чаем угощают. Чаю дали, а сахар забыли. Приятно. Кипятком налился и говорю: «Извиняюсь, больше двух стаканов не пью». Они испугались, зачали мне сахару в стакан класть, но я строго говорю: «Пишите мне литеру в Тамбов».

С тем и уехал. Нашел в Тамбове ребят, а вскорости начали белые уходить к морю, а нас, Донпродком, послали в Ростов.

Гольдин успел убечь, горизонты, мол, тонкие на этой работе, поеду в Сибирь. Заместитель его тоже убег. Пока ехали — девять штук этих замов сменилось. Дошла очередь до меня. Приятно. По старшинству. Жду не дождусь, когда последний зам сбежит. Убег с Филоновской обратно в Тамбов, я ему за это из своего пайка окорок отдал и фунт табаку. И стал я «заместителем» Донпродкомиссара. Очень приятно, думаю, приеду в Ростов, уж я там принажму. Два вагона у нас: под людей и под книги. Из Москвы нам перед отъезжанием прислали и печати и книги.

Едем на Царицын. После Кривой Музги мост белые порвали. Пешеходной кладкой прошли мы на эту сторону. Добрались до станции и взяли два вагона! А гнать их нечем — паровоза нету. Что делать? Придумали, запрягли по паре быков да по верблюду в пристяжку в каждый вагон, к буферам пристроили барки и едем.

Я, конешно, у верблюда промеж кочек сижу, тепло и не качает.

И таким разом у каждого моста на эту сторону перейдем, запрягаем в вагоны верблюдов либо апостолов, у каких два рога костяных, а два шерстяных, и продвигаемся.

Только на вторые сутки захворал я. Вступило колотье в спину. Смерть в глазах — и все! Ребята мне советуют: оставайся у жителей, а после приедешь, а то издохнешь в теплушке. Приятно. А колет — мочи нет!

Привели они меня на хутор возле какого-то полустанка и говорят хозяйке: «Ходи за ним, тетка, отблагодарим посля».

А тетка-вдова оказалась переселенка из Сибири. Баба здоровая, лет пятидесяти, на морду не баба, а конь пегий. Ноздри рваные, глаз косой, хучь соломой его затыкай.

Ушли ребята — она и запела: «Одной скушно жить, вот выздоравливай, солдатик, обженимся, и будешь хозяйством править, муж мой в прошлом году помер, а я — баба в соку».

А и где же там в соку, не приведи и не уведи. Ну валяюсь на лежанке, хвораю. Ведьма моя все допытывается: «Женишься, будешь зятем?» — «Женюсь, говорю, корова ты рябая, режь овцу, корми, а то толку не будет».

Зарезала барана, кормит, я лежу без памяти и баранину ем неподобно. А хозяйка меня все по-своему, по-сибирски, зятем кличет: «Зеть да зеть». Э-эх ты, думаю, сам для себя зеть, мать твою бог любит. Пропадешь, как вша, приспит тебя такая туша. В ней ведь без малого девять пудов. Приятно. Одного барана съел, она другого не хочет резать.

«Как, говорю, дьявол пухлый, не хочешь резать? С голоду, что ли, выздоравливать?» — «Ты, мол, нынче баранью нытку слопаешь за завтра, а их у меня в хозяйстве всего пять овечек...» — «Погибай, говорю, со своими баранами. Ухожу!»

И ушел! Через сутки сгребся и пошел. Догнал свой эшелон под Ростовом.

Приезжаю в Ростов. Бросил я эшелон, иду прямо к председателю.

«Здрасте,— говорю.— Мы, говорю, заместитель Донпродкома».

Председатель очки снял и трет их и трет. Под конец спрашивает:

«Вы, товарищ, не больной?» — «Нет, говорю, поправился».— «Откуда вы?» — «С вокзалу!»

«Какой же Донпродком? — спрашивает он и от сердитости начинает синеть, как слива.— Вы что, мол, смеетесь?» — «Какой смех, говорю, мы из Курска приехали — вот печати Донпродкома.— Вынаю из кармана и бряк их на стол.— А книги с ребятами на вокзале».

«Подите, говорит, на Московскую и поглядите на настоящий Донпродком. Он уже полтора месяца существует. А вас я в упор не вижу».

Пот с меня так и потек за рубаху. С вокзала идем с ребятами на Московскую.

«Это здание Донпродкома?» — «Это».

Родная наша матушка! Стоит обыкновенное здание в пять этажов, а народу в нем, как семечек! Барышни благородные на машинках строчат. Щетами тарахтят. Волосы на нас стали дыбом. Идем в дом к продкомиссару: так и так, мол, не по праву вы тут сидите.

А он тихим голосом отвечает и улыбается: «Вы бы полгода ехали, а вас бы тут ждали. Езжайте, говорит, в Сальский округ агентом».

Приятно. Я тут, конешно, обиделся, подперся в боки и говорю ему: «Бумажки чернилом подписывать, это не образованный сумеет. Ишь ты — бухгалтера у них, барышни благородные с ногтями. Нет, ты попробовал бы по закромам полазить, чтобы пыль тебе во все дырки понабилась».

И уехали. Чего с бестолковым человеком делать? Он не понимает, а я иду и серьезно думаю:

«Пропало в области дело! Какой из него донпродкомиссар. Голос тихий и сам с виду ученый. Ну, а с тихим голосом и пуда не возьмешь. Я, бывало, как гаркну, эх, да что толковать! У нас ни счетчиков, ни барышнев, какие с ногтями, не было, а дело делали!»

1923—1925

ОБИДА

По степи, приминая низкорослый, нерадостный хлеб, плыл с востока горячий суховей. Небо мертвенно чернело, горели травы, по шляхам поземкой текла седая пыль, трескалась выжженная солнцем земляная кора, и трещины, обугленные и глубокие, как на губах умирающего от жажды человека, кровоточили глубинными солеными запахами земли.

Железными копытами прошелся по хлебам шагавший с Черноморья неурожай.

В хуторе Дубровинском жили люди до нóви. Ждали, томились, глядя на застекленную синь неба, на иглистое солнце, похожее на усатый колос пшеницы-гирьки в колючем ободе усиков-лучей.

Надежда выгорела вместе с хлебом.

В августе начали обдирать кору с караичей и дубов, мололи и ели, примешивая на лоток дубового теста пригоршню просяной муки.

Перед покровом Степан, падая от истощения, пригнал быков на свой участок земли, запряг их в плуг, в му́ке скаля зубы, кусая синюю кайму зачерствелых губ, молча взялся за чапиги [1].

Четыре десятины пахал неделю. Кривые и страшные выложились борозды, мелкие, с коричневыми шмотками огрехов, словно не лемехи резали затравевшую пашню, а чьи-то скрюченные, слабые пальцы...

Оттого Степан шел с поклоном к вероломной земле, что была, кроме старухи, семья — восемь ртов, оставшихся от сына, убитого в гражданскую войну, а работников — сам с пятью десятками лет, повиснувших на сутулой спине. Отпахался — продал вторую пару быков. Не продал, а подарил доброму человеку за сорок пудов сорного хлеба.

И вот тут-то вскоре после покрова объявил председатель хуторского Совета:

— Семенную ссуду выдадут. Заосеняет, подойдет с центра бумага — и на станцию. Кто не пахал — паши! Хучь зубами грызи, а подымай землю.

— Обман. Не дадут...— сопели казаки.

— Предписание есть. Все, как следовает, без хитростев.

— С нас тянут, а давать...— томился в тоске и радости Степан.

И верил и не верил.

Сошла осень. Засыпало хутор снегом. На обезлюдевших огородах легли заячьи стежки.

— Что же, семенов дадут?..— надоедал Степан председателю.

Тот озлобленно махал рукой:

— Не вяжись, Степан Прокофич! Нету покеда распоряженья.

— И не будет! Не жди!.. Надо было народ от смерти отвесть — обнадежили... Кинули, как собаке мосол.— И люто тряс мослоковатыми кулаками: — Пропади они, ссу-у-кины сыны!.. Хлеб в городах жрут, мать ихня...

— Не выражайся, Прокофич. Пришкребу за слова!

— Эх! — махал Степан рукой и, не договаривая, уносил из Совета большое свое костистое тело. Был он похож на перехворавшего быка: из-под излатанного чекменя перли наружу крупные костяки лопаток, на длинных, высохших голенях болтались изорванные, с лампасами шаровары. Зеленая проседь запорошила рыжую его бороду, глядел

[1] Чапиги — поручни у плуга.

голодным, задичалым взглядом в сторону, стыдился за свое непомерно крупное, высохшее в палку тело. Приходил домой, падал на лавку.

— Скотину убери. Лег, сурчина! — липла жена.

— Варька намечет.

— Ей на баз не в чем выйтить.

— Нехай мои валенки обувает.

Подросток Варька стягивала с деда валенки и шла убирать скотину, а он лежал, косо расставив длинные босые ступни, часто дергал веками закрытых глаз, вздыхал, кряхтел, думал тягучее и безрадостное. А за обедом садился в передний угол, высился над столом ребристой громадиной, цепко оглядывал усыпавших лавки внуков. Замечал, что самый младший, трехлеток Тимошка, кривит душой мучительно улыбаясь, старается поймать в чашке уплывающий кусочек картошки,— и звонко стукал его по лбу ложкой.

— Не вы-лав-ли-вай!..

В хуторе мерли люди, источенные, как дерево червем, дубовым хлебом. И черная будила Степана по ночам тоска: вспаханное обсеменить нечем.

Скот обесценел. За корову давали пять — восемь пудов жита с озадками. На святках опять заговорили об отпущенной будто бы семенной ссуде, и опять заглох слух. Заглох, как летник в степи глубокой осенью. Ожил только на провесне. Вечером на собрании в церковной караулке председатель объявил:

— Получена бумага.— Помял пальцами горло, кончил: — Могем ехать за хлебом хучь завтра. Об нас, то же самое, не забывают...— и осекся от волнения.

* * *

До станции от хутора полтораста верст. Разбились на партии с первой же ночевки. На лошадях уехали вперед, бычиные подводы рассыпались длинной валкой. Степан ехал с соседом Афонькой — молодым, москлявым казаком. Дорога легла через тавричанские слободы. Гребни верст в тридцать — сорок одолевали только к ночи. Тощие от бескормицы быки шли, скупо отмеряя шаги, прислоняясь ребристыми боками к виям [1].

---

[1] Виё — дышло в бычачьей запряжке.

Степан всю дорогу шел пешком, берег бычачью силу для обратного пути. С последней ночевки в Ольховом Рогу выехали, дождавшись месяца, и к полдню дотянулись до станции.

Возле элеватора с визгом дрались распряженные лошади, ревели быки, плелись многоголосые крики.

К вечеру из ворот элеваторного двора выбежал запыленный весовщик, крикнул, оглядывая возы:

— Дубровинцы, подъезжай! Председатель где?

— Здеся,— по-служивски гаркнул председатель.

— Ордер при вас?

— Так точно, при нас.

Пока приехавшие раньше запрягали, Степан с Афонькой пробились к самым воротам. Поперек дороги большой черный казак, в атаманской фуражке и накинутом поверх зипуна башлыке, упрашивал мотавшего головой быка:

— Ше, ше, чертяка... Тпру... тпру, го-о-оф... Стой!..

— Посторонись, станишник,— попросил Степан.

— Небось объедешь.

— Иде ж тут объедешь? Ить обломаемся!

— Сани оттяни! — крикнул Афонька.— Стал вспоперек путя, как чирьяк на причинном месте... Эй, дядюля!..

Атаманец [1] здоровенной кулачиной саданул норовистого быка, и тот, выкатывая кровяные глаза, просунул морщинистую шею в ярмо.

— Подъезжай... Подъезжа-а-ай!..— орал весовщик, размахивая ордером у дверей весовой.

Степан направил быков рысью и первый подкатил к весовой.

По обшитому железом рукаву тек в мешки золотой, шуршавый поток пшеницы. Степан держал края мешка, задыхаясь от пахучей теплой пыли и радости, с удивлением глядел на бесстрастное лицо весовщика, равнодушно хрустевшего сапогами по рассыпанному зерну.

— Свешено. Двадцать один пуд.

Попробовал Степан, как раньше, тряхнув лопатками, вскинуть пятипудовый чувал повыше и неожиданно почувствовал неудержимую дрожь в коленях, качнулся, сделал два неверных, ковыляющих шага и прислонился к дверям.

— Проходи!.. Застрял!..— торопили толпившиеся у выхода казаки.

---

[1] Атаманец — казак, служивший в лейб-гвардии Атаманском полку.

— Отошшал, дядя.
— У него уж порохня отсырела.
— Держись за землю, а то упадешь!
— Го-го-го-го!..
— Кидай мешок, я подыму, мне сгодится.

Атаманец, запрягавший у ворот быков, пособил Степану перетаскать на воз мешки, и Степан, дождавшись Афоньку, выехал на площадь. Смеркалось.

— Иди просись ночевать,— предложил иззябший Афонька.

— А ты что ж?
— У тебя, Прокофич, борода. Ты собою наглядней.

Улицу прошел Степан — и ни в одном дворе не пустили.

— Вас тут каждый день бывает.
— Негде. Тесно.
— Переночуете и на улице.

Степан, с трудом ворочая одубевшими губами, упрашивал:

— Пустите, аль место перележим? Неуж креста на вас нету?..
— Ноне без крестов живем, с жестянками.
— Проходи, дед,— отмахивались от него.

Степан вышел из крайнего двора и ожесточенно стукнул кнутом неповинного быка.

— Вот, Афанасий, люди... Ночевать, видно, под забором.

— Запалить ба их с четырех концов! Бирюки, а не люди!.. У них снегу середь зимы не выпросишь!

На элеваторной площади распрягли быков и под рев паровозных гудков легли на санях, набитых мешками. Площадь гомонила. Молодые казаки, собравшись на крайнем возу, складно играли песни. Сиповатым, но сильным голосом один какой-то заводил:

Ехали казаченьки
Да со службы домой.

И огрубелые от ветра и стужи голоса подхватывали:

На плечах погоники,
На грудях кресты-ы-ы...

Степан, прислушиваясь к песне, недоверчиво щупал завязанные чубы тугих мешков, и перед закрытыми глазами его стлалась вспаханная черная деляна, там, у Атаманова кургана, и он, Степан, мечущий из горсти полновесное семя...

* * *

В полночь с севера подул жесткий ветер. На крышах вагонов, прибывших из Москвы, хрусталем отсвечивал снег, а возле путей оголенная ростепелью земля чернела, пахла осенью, первыми заморозками, стынущим шлаком.

Над городом мутно-розовой квадратной глыбой висел элеватор. У дощатого забора понуро жались быки, на площади ветер вихрил морозную пыль, застревая в телеграфных проводах, скулил пронзительно и тонко.

Под конец ночи, когда дышло Большой Медведицы воткнулось в плоскую крышу элеватора, Степан проснулся. Поворочал онемевшими ногами и встал с саней. Около лежали, тяжело вздыхая, обыневшие быки, взвороченными копнами чернели возы, зябко горбилась бездомная собака.

Степан разбудил Афоньку. Запрягли и в густеющей предрассветной темноте выехали за город.

Поднялись на гору. Над городом взвыл паровоз. Афонька, шагавший рядом с Степаном, махнул назад кнутовищем.

— Ну и ржет, проклятый жеребец! Он на себе по сколько тыщев пудов тягает и хучь бы крякнул. А тут навалил двадцать пудов и страдай пешком всю дорогу. У тебя хучь быки, а у меня ить справа какая: бычок-третяк да корова. Ты ее кнутом, а она, подлюка, хвост на сторону и тебя же норовит обпакостить... Ходи, барышня городская!..— Вывернув опухшие, в желчной мути глаза, он с силой хлестнул кнутом корову и упал в сани, высоко задирая ноги.

В полдень доехали до Ольхового Рога. По улицам пестрел празднично одетый народ. Тут только вспомнил Степан, что нынче воскресенье. Доехали до церкви и стали.

— Ну, на бугор не выберемся... Ишь дорога голая.

— Почти что...— согласился Афонька.— Пески, снегу нет.

— Придется поднанять, чтоб вывезли до гребня на бричке.

— Хлебом заплотим, говори.

На сложенных возле двора слегах в праздничной дреме человек восемь тавричан лузгали семечки. Степан подошел и снял косматую папаху.

— Здорово живете, добрые люди.

— Здравствуй, соби,— ответил самый старший, с проседью в бороде.

— А что, не найметесь вывезть нам клажу на бугор?

Пески тута у вас, снегу на мáле, а мы вот на санях зaбилились...

— Ни,— коротко кинул тавричанин, усыпая бороду шелухой.

— Мы заплотим. Ради Христа, вызвольте!

— Коней немá.

— Что ж, люди добрые, аль нам пропадать? — взмолился Степан, разводя руками.

— Та мы не могим знать,— равнодушно откликнулся другой, в заячьем треухе.

Помолчали. Подошел Афонька, выгибаясь в поклоне.

— Сделайте уваженье!

— Та ни. Це треба худобу морыть.

Молодой, рослый тавричанин в добротном морщеном полушубке подошел к Степану и хлопнул его по плечу:

— Вот шо, дядько: давайте з вами боркá встроим. Колы вы мине придолиете — пидвезу на бугор, а ни — тай ни. Ну, як? — Серые, круглые глаза его смеялись, плавали в масленом румянце щек.

Степан оглядел улыбавшихся тавричан и надел папаху.

— Что ж, братцы, значит, надсмешка... Чужая беда, видно, за сердце не кусает.

— Давай спробуем! — смеялся молодой тавричанин, играя из-под смушковой шапки бровями.

Степан скинул рукавицы и оглядел широкие плечи противника, распиравшие полушубок.

— Берись!

— Оцé — дило!..

Взялись на поясах. Просовывая пальцы под красный Степанов кушак, весело и легко дыша, тавричанин попросил:

— Пузо пидбери.

Медленно закружились, пытая силы. Степан, сузив глаза, выворачивал плечо, упираясь противнику в грудь. Тот далеко назад заносил ногу, подтягивал на себя Степана, ломал. Обошли круга три. Степан чувствовал, что молодой, сытый тавричанин его сильнее, и вел борьбу тоскливо, уверенный в исходе.

Решившись, пригнул колено левой ноги и рухнул навзничь, больно ударившись затылком о мерзлую кочку. Тавричанин, подкинутый Степановыми ногами, перелетел через него, грузно жмякнулся. Степан хотел вскочить по-молодому, как когда-то, но ноги отказались, а на него уж навалился вскочивший тавричанин, вдавил ему лопатки в выщербленный лошадиными копытами снег на дороге.

Их обступили. Загоготали. Захлопали рукавицами. Степан, выколачивая измазанную папаху, вздохнул:

— Десяток годков скинуть ба, я б тебя повозил...

— Но, дядько, так и быть, пидвезу вас на бугор. Ты зробил собі,— задыхаясь, довольно смеялся тавричанин.— Поняйте ось к тому двору.

Хлеб свалили на широкую бричку, и тавричанин, боровшийся со Степаном, щелкнул на тройку сытых лошадей щегольским кнутом.

— Поняйте слідом.

На бугре, верстах в четырех от слободы, хлеб перегрузили на сани. По дороге завиднелся снег, кое-где перерезанный перетяжками.

* * *

Тяжелая дорога вымотала быков. За санями по мерзлой земле захлюстанным бабьим подолом волочился сверкающий, притертый полозьями след.

До хутора оставалось верст тридцать. Степан предложил Афоньке:

— Давай ехать. Хучь ночью, а дотянем.

— Не из чего ночевать, корму клока нет, быков лишь томить.

К ночи доехали до Казенного леса. На небе, ясном и черном, сухо тлела, дымилась ядреная россыпь звезд. Морозило. Степан ехал впереди. Спустились в ложок. Впереди быков легла косая тень, следом вышел человек.

— Кто едет?

— С станции, дубровинские,— насторожился Степан и оглянулся на подходившего Афоньку.

— Стой!

— По какому праву?..

— Стой, тебе говорят!..

Небольшой, укутанный башлыком, подошел человек. Синел, поблескивал в перчатке вороненый наган.

— Шо везете?

— Хлеб семенной...— У Степана дрогнуло сердце, дрогнул голос. Кинув в сторону взгляд, увидел подъезжавшую сбоку бричку, запряженную четверкой. Человек в башлыке подошел к Степану вплотную, ткнул ему под папаху мерзлую, запотевшую сталь.

— Сгружай!..

— Что ж это?..— охнул Степан, обессиленно прислоняясь к саням.

— Сгружай!..

От брички, скрипя сапогами, бежали двое.

— Стреляй его!..— крикнул один издали. Рукоять нагана рассекла край папахи и въелась Степану в висок. Он сполз на колени.

— Сгру-жа-а-ай! — осатанело орал, наклоняясь к нему, человек в башлыке и тыкал стволом нагана в зубы.

— Семенной хлеб... Братцы!.. Родненькие, братцы!.. А-а-а,— рыдал Степан и ползал на коленях, кровяня ладони о мерзлую колость дороги.

Афоньку первый, бежавший от брички, свалил с ног прикладом винтовки, кинул на него полость от саней.

— Лежи, не зиркай!..

Бричка прогремела и стала около саней. Двое, кряхтя, кидали в нее мешки, третий в башлыке стоял над Степаном. Из-под нависших реденьких усов скалил щербатый, обыневший рот.

— Полость возьми,— приказал четвертый, сидевший на козлах.

Быки легко стронули опорожненные сани, пошли по дороге. Афонька подошел к лежавшему ничком Степану.

— Вставай, уехали...

По целине, обочь дороги, немо цокотали колеса уезжавшей брички. Степан встал, глотнул набежавшую в рот кровь. Вдали чернела бричка. Немного погодя с перекатом сполз в ложок треск одинокого, на острастку, выстрела.

— Вот она какая судьбина... пала...— глухо уронил Афонька и, ломая в руках кнутовище, стенящим голосом крикнул: — Обидели!..

Степан поднялся с земли, взлохмаченный и страшный, медленно закружился в голубом леденистом свете месяца. Афонька, сгорбившись, глядел на него, и всплыло перед глазами: прошлой зимой застрелил на засаде волка, и тот, с картечью, застрявшей в размозженной глазнице, так же страшно кружился у гуменного плетня, стрял в рыхлом снегу, приседая на задние ноги, умирая в немой, безголосой смерти...

* * *

На четвертой неделе поста хутор выехал сеять.

Степан сидел у крыльца, чертил хворостинкой отмякшую, вязкую землю, исступленно ласкал ее провалившимися в черное глазами...

Неделю ходил он, посеревший и немой. Семья, голосившая первые дни приезда, притухла, с тоской и страхом глядела на трясущуюся голову Степана, на обессилевшие его руки, бесцельно перебиравшие складки рыжей бороды. На страстной неделе в первый раз ушел он ночью к Атаманову кургану. Степь, выложенная серебряным лунным набором, курилась туманной марью. В прошлогоднем бурьяне истомно верещала необгулянная зайчиха, с шелестом прямилась трава-старюка, распираемая ростками молодняка. Низко тянулись редкие тучи, застили молодой месяц, и процеженные сквозь облачное решето лучи неслышно щупали квелые, сонные травы. Степан не дошел до своей земли сажен двадцать и стал под Атамановым курганом.

По ту сторону лежала вспаханная, обманутая им земля. Между бороздами ютился прораставший краснобыл, заплетала поднятый чернозем буйная повитель. Страшно было Степану выйти из-за кургана, взглянуть на черную, распластанную трупом пахоту. Постоял, опустив руки, шевеля пальцами, вздохнул и хрипом оборвал вздох...

С той поры почти каждую ночь уходил, никем не замеченный, из дома. Подходил к кургану и жесткой ладонью комкал на груди рубаху. А вспаханная деляна лежала за курганом мертвенно-черная, залохматевшая травами, и ветер сушил на ней комья пахоты и качал ветвистый донник...

* * *

Перед троицей начался степной покос. Степан сложился косить с Афонькой. Выехали в степь, и в первую же ночь ушли с попаса Степановы быки.

Искали сутки. Вдоль и поперек прошли станичный отвод, оглядели все яры и балки. Не осталось на погляд и следа бычиного. Степан к вечеру вернулся домой, накинул зипун и стал у двери, не поворачивая головы.

— Пойду в хохлачьи слободы. Ежели увели — туда.

— Сухариков... Сухариков бы на дорожку...— засуетилась старуха.

— Пойду,— поморщился Степан и вышел, широко размахивая костылем, ссекая метелки полыни.

За хутором повстречался с Афонькой.

— К хохлам, Прокофич?

— Туда.

— Ну, давай бог.

— Спаси Христос.

— Косилку в степе бросил, вернешься — тады пригоним! — крикнул Афонька вслед.

Степан, не оборачиваясь, махнул рукой. К полдню дошел до хутора Нижне-Яблоновского, завернул к полчанину [1]. Погоревали вместе, похлебал молока и тронулся дальше. По дороге люди встречались часто.

Степан останавливался, спрашивал:

— А что, не встревались вам быки? У одного рог сбитый, обое красной масти.

— Не было.

— Не бачили.

— Таких не примечали.

И Степан дальше разматывал серое рядннще дороги, постукивал костылем, потел, облизывая обветренные губы шершавым языком.

Уже перед вечером на развилке двух дорог догнал арбу с сеном. Наверху сидел без шапки желтоголовый, лет трех мальчуган. Лошадь вел мужчина в холстинных, измазанных косилочной мазью штанах и в рабочей соломенной шляпе. Степан поравнялся с ним.

— Здорово живете.

Рука с кнутом нехотя поднялась до широких полей соломенной шляпы.

— Не припало вам видеть быков...— начал Степан и осекся. Кровь загудела в висках, выбелив щеки, схлынула к сердцу: из-под соломенной шляпы — знакомое до жути лицо. То лицо, что белым полымем светилось в темноте бессонных ночей, неотступно маячило перед глазами... Из-под тенистых полей шляпы, не угадывая, равнодушно глядели на него усталые глаза, редкие, запаленные усы висели над полуоткрытыми губами, в желтом ряду обкуренных зубов чернела щербатина.

— Аааа... довелось свидеться!..

Под шляпой резко побелел сначала загорелый лоб, бледность медленно сползла на щеки, дошла до подбородка и рябью покрыла губы.

— Угадал?

— Шо вам... Шо вам надо?.. Зроду и не бачил!

— Нет?.. А зимой хлеб?.. Кто?..

— Нет.. Не было... Обознались, мабуть...

Степан легко выдернул торчавшие в возу вилы тройчатки и коротко перехватил держак. Тавричанин неожи-

---

[1] Полчанин — сослуживец по полку.

данно сел у ног остановившейся потной лошади, в пыль положил ладони и глянул на Степана снизу вверх.

— Жинка померла у ме́не... Хлопчик вон остался...— ужасающе беспечным голосом сказал он, указывая на воз прыгающим пальцем.

— За что обидел? — весь дрожа, хрипел Степан.

Тавричанин тупо оглядел холстинные свои штаны и качнулся.

— Дидо, возьми коняку... Нужда была... А? Возьмить коняку мово. Христа ради! Промеж нас будеть... Помиримось...— часто заговорил он, косноязыча и разгребая руками дорожную пыль.

— Обидел!.. Мертвая земля лежит!.. А? Голод приняли!.. Пухли от травы!.. А? — выкрикивал Степан, подступая все ближе.

— Похоронил жинку... в бабьей хворости была... Вот хлопчик... Третий год с пасхи... Прости, дидо!.. Сойдемся миром... Отдам хлеб...— в смертной тоске мотал тавричанин головою и уже несвязное болтал мертвенно деревеневший язык, застывая в судороге животного ужаса...

— Молись богу!..— выдохнул Степан и перекрестился.

— Постой! Погоди... Богом прошу!.. А хлопец?

— Возьму к себе... Не об нем душой болей!..

— Сено не свозил... Ох! Хозяйство сгибнеть... Так как же...

Степан занес вилы, на коротенький миг задержал их над головой и, чувствуя нарастающий гул в ушах, со стоном воткнул их в мягкое, забившееся на зубьях дрожью...

На пожелтевшее, строгое, прижатое к земле лицо кинул клок сена, потом взлез на воз и взял на руки зарывшегося в сено мальчонка.

Пошел от воза петлястыми, пьяными шагами, направляясь к тлевшим на сугорье огням слободы. Прижимая к груди выгибавшегося в судороге мальчонка, шептал, сжимая кла́цающие зубы:

— Молчи, сынок! Цыц!.. Ну... молчи, а то бирюк возьмет. Молчи!..

А тот, закатывая глаза, рвался из рук, визжал в залитую голубыми сумерками, нерушимо спокойную степь:

— Тато!.. Та-то!.. Т-а-ато!..

1926

СМЕРТНЫЙ ВРАГ

Оранжевое, негреющее солнце еще не скрылось за резко очерченной линией горизонта, а месяц, отливающий золотом в густой синеве закатного неба, уже уверенно полз с восхода и красил свежий снег сумеречной голубизной.

Из труб дым поднимался кудреватыми тающими столбами, в хуторе попахивало жженым бурьяном, золой. Крик ворон был сух и отчетлив. Из степи шла ночь, сгущая краски; и едва лишь село солнце, над колодезным журавлем повисла, мигая, звездочка, застенчивая и смущенная, как невеста на первых смотринах.

Поужинав, Ефим вышел на двор, плотнее запахнул приношенную шинель, поднял воротник и, ежась от холода, быстро зашагал по улице. Не доходя до старенькой школы, свернул в переулок и вошел в крайний двор. Отворил дверь в сенцы, прислушался — в хате гомонили и смеялись. Едва распахнул он дверь,— разговор смолк. Возле печки колыхался табачный дым, телок посреди хаты цедил на земляной пол тоненькую струйку, на скрип двери нехотя повернул лопоухую голову и отрывисто замычал.

— Здорово живете!

— Слава богу,— недружно ответили два голоса.

Ефим осторожно перешагнул лужу, ползущую из-под телка, и присел на лавку. Поворачиваясь к печке, где на корточках расположились курившие, спросил:

— Собрание не скоро?

— А вот как соберутся, народу мало,— ответил хозяин хаты и, шлепнув раскоряченного телка, присыпал песком мокрый пол.

Возле печки затушил цигарку Игнат Борщев и, цвиркнув сквозь зубы зеленоватой слюной, подошел и сел рядом с Ефимом.

— Ну, Ефим, быть тебе председателем! Мы уж тут мороковали про это,— насмешливо улыбнулся он, поглаживая бороду.

— Трошки подожду.

— Что так?

— Боюсь, не поладим.

— Как-нибудь... Парень ты подходящий, был в Красной Армии, из бедняцкого классу.

— Вам человек из своих нужен...

— Из каких это своих?

— А из таких, чтоб вашу руку одерживал. Чтоб таким,

как ты, богатеям в глаза засматривал да под вашу дудочку приплясывал.

Игнат кашлянул и, сверкнув из-под папахи глазами, подмигнул сидевшим у печки.

— Почти что и так... Таких, как ты, нам и даром не надо!.. Кто против мира прет? Ефим! Кто народу, как кость, поперек горла становится? Ефим! Кто выслуживается перед беднотой? Опять же Ефим!..

— Перед кулаками выслуживаться не буду!

— Не просим!

Возле печки, выпустив облака дыма, сдержанно заговорил Влас Тимофеевич:

— Кулаков у нас в хуторе нет, а босяки есть... А тебя, Ефим, на выборную должность поставим. Вот, с весны скотину стеречь либо на бахчи.

Игнат, махая варежкой, поперхнулся смехом, у печки гоготали дружно и долго. Когда умолк смех, Игнат вытер обслюнявленную бороду и, хлопая побледневшего Ефима по плечу, заговорил:

— Так-то, Ефим, мы кулаки, такие-сякие, а как весна зайдет, вся твоя беднота, весь пролетарьят шапку с головы да ко мне же, к такому-сякому, с поклонцем: «Игнат Михалыч, вспаши десятинку! Игнат Михалыч, ради Христа, одолжи до нови мерку проса...» Зачем же идете-то? То-то и оно! Ты ему, сукину сыну, сделаешь уважение, а он заместо благодарности бац на тебя заявление: укрыл, мол, посев от обложения. А государству твоему за что я должен платить? Коли нету в мошне, пущай под окнами ходит, авось кто и кинет!..

— Ты дал прошлой весной Дуньке Воробьевой меру проса? — спросил Ефим, судорожно кривя рот.

— Дал.

— А сколько она тебе за нее работала?

— Не твое дело! — резко оборвал Игнат.

— Все лето на твоем покосе гнула хрип. Ее девки пололи твои огороды!..— выкрикнул Ефим.

— А кто на все общество подавал заявление на укрытие посева? — заревел у печки Влас.

— Будете укрывать, и опять подам!

— Зажмем рот! Не дюже гавкнешь!

— Попомни, Ефим: кто мира не слушает, тот богу противник!

— Вас, бедноты,— рукав, а нас — шуба!

Ефим дрожащими руками скрутил цигарку, глядя исподлобья, усмехнулся.

— Нет, господа старики, ушло ваше время. Отцвели!.. Мы становили Советскую власть, и мы не позволим, чтоб бедноте наступали на горло! Не будет так, как в прошлом году; тогда вы сумели захватить себе чернозем, а нам всучили песчаник, а теперь ваша не пляшет. Мы у Советской власти не пасынки!..

Игнат, багровый и страшный, с изуродованным лбом, с изуродованным злобой лицом, поднял руку.

— Гляди, Ефим, не оступись!.. Поперек дороги не становись нам!.. Как жили, так и будем жить, а ты отойди в сторону!..

— Не отойду.

— Не отойдешь — уберем! С корнем выдернем, как поганую траву!.. Ты нам не друг и не хуторянин, ты — смертный враг, ты — бешеная собака!

Дверь распахнулась, и вместе с клубами пара в хату протиснулось человек двенадцать. Бабы крестились на иконы и отходили в сторонку, казаки снимали папахи, крякая и обрывая с усов намерзшие сосульки. Через полчаса, когда народу набилось полная кухня и горница, председатель избирательной комиссии встал за столом, сказал привычным голосом:

— Общее собрание граждан хутора Подгорное считаю открытым. Прошу избрать президиум для ведения настоящего собрания.

* * *

В полночь, когда от табачного дыма нечем было дышать и лампа моргала и тухла, а бабы давились кашлем, секретарь собрания, глядя на бумагу полуопьяневшими глазами, выкрикнул:

— Оглашается список избранных в члены Совета! По большинству голосов избранными оказались: первый — Прохор Рвачев и второй — Ефим Озеров.

* * *

Ефим зашел в конюшню, подложил кобыле сена, и, едва ступил на скрипевшее от мороза крыльцо, в сарае загорланил петух. По черному пологу неба приплясывали желтые крапинки звезд. Стожары тлели над самой головой. «Полночь»,— подумал Ефим, трогая щеколду. По сенцам, шаркая валенками, кто-то подошел к двери.

— Кто такое?

— Я, Маша. Отпирай скорее!

Ефим плотно прихлопнул за собой дверь и зажег спичку. Фитиль, плавающий в блюдце с бараньим жиром, чадно затрещал. Стягивая с плеч шинель, Ефим нагнулся над люлькой, висевшей у кровати, и брови его разгладились, возле рта легла нежная складка, губы, посиневшие от холода, зашептали привычную ласку. В лохмотьях, в тряпье, разбросав пухлые ручонки, заголившись до пояса, лежал розовый от сна шестимесячный первенец. На подушке, рядом с ним — рожок, туго набитый жеваным хлебом.

Осторожно подсунув руку под горячую спинку, Ефим шепотом позвал жену.

— Перемени подстилку, обмочился, поганец!..

И пока снимала она с печки просохшую пеленку, Ефим вполголоса сказал:

— Маша, а ить меня выбрали в секретари.

— Ну, а Игнат с другими?

— В дыбки становились! Беднота за меня, как один.

— Смотри, Ефимушка, не наживи ты беды.

— Беда не мне будет, а им. Теперь начнут меня спихивать. В председатели-то прошел Игнатов зять.

* * *

Со дня перевыборов через хутор словно кто борозду пропахал и разделил людей на две враждебные стороны. С одной — Ефим и хуторская беднота; с другой — Игнат с зятем-председателем, Влас, хозяин мельницы-водянки, человек пять богатеев и часть середняков.

— Они нас в грязь втопчут! — неистово кричал на проулке Игнат.— Я знаю, куда Ефим крутит. Он хочет уравнять всех. Слыхали, что он у Федьки-сапожника напевал? Будет, мол, у нас общественная запашка, будем землю вместе обрабатывать, а может, и трактор купим... Нет, ты сперва наживи четыре пары быков, а после и со мной равняйся, а то, кроме вшей в портках, и худобы нету! По мне, на трактор ихний наплевать. Деды наши и без него обходились!

Как-то перед вечером, в воскресенье, собрались возле Игнатова двора. Заговорили о весеннем переделе земли. Игнат, подвыпивший ради праздника, мотал головой и, отрыгивая самогонкой, вертелся возле Ивана Донскова.

— Нет, Ваня, ты по-суседски рассуди. Ну, на что вам, к примеру, нужна земля возле Переносного пруда? Да ей богу! Земля там жирная, ей надо вспашку и обработку как следовает! А ты какого клепа вспашешь с одной пары быков? Ты, по-советски, середняк, то ись стоишь промеж Ефимкой и мной, обсуди, с кем тебе выгоднее якшаться? Вот ты по-доброму, как сусед, и того... На что вам земли у Переносного?

Иван сунул палец за вылинявший кушак, спросил прямо и строго:

— Ты это куда гнешь?

— Про землю то ись... Ну, сам посуди, земля там жирная...

— По-твоему, стал быть, нам хоть на белой глине сеять можно?

— Вот-вот!.. Опять же и про глину... Зачем на глине? Можно уважить...

— Земля у Переносного жирная... Гляди, дядя Игнат, как бы ты не подавился жирным куском!..— Иван круто повернулся и ушел.

Среди оставшихся долго цепенела неловкая тишина.

А на краю хутора, у Федьки-сапожника, в этот же вечер Ефим, вспотевший и красный, потряхивая волосами, неистово махал рукой:

— Тут не пером надо подсоблять, а делом! Селькоров этих расплодилось ровно мух. И с делом и с небылицами прут в газету, иной раз читать тошно. А спроси, много из них каждый сделал? Заместо того чтоб хныкать да к власти под подол, как дите к матери, забираться, кулаку свой кулак покажи. Что? К чертовой матери! Беднота у Советской власти не век должна сиську дудолить, пора уж самим по свету ходить... Вот именно, без помочей! Прошел я в члены Совета, а теперь поглядим, кто кого.

* * *

Ночь неуклюже нагромоздила темноту в проулках, в садах, в степи. Ветер с разбойничьим посвистом мчался по улицам, турсучил скованные морозом голые деревья, нахально засматривал под застрехи построек, ерошил перья у нахохленных спящих воробьев и заставлял их сквозь сон вспоминать об июньском зное, о спелой, омытой утренней росой вишне, о навозных личинках и о прочих вкусных вещах, которые нам, людям, в зимние ночи никогда не снятся.

Возле школьного забора в темноте тлели огни цигарок. Иногда ветер схватывал пепел с искрами и заботливо нес ввысь, покуда искры не тухли, и тогда снова над густо-фиолетовым снегом дрожали темь и тишина, тишина и темь.

Один, в распахнутом полушубке, прислонясь к забору, молча курил. Другой стоял рядом, глубоко вобрав голову в плечи.

Молчание долго никем не нарушалось. Немного погодя завязался разговор. Говорили придушенным шепотом:

— Ну, как?

— Препятствует. У тестя девка в работницах живет, так он надысь подкапывается. «Договор с ней заключали?» — спрашивает. «Не знаю»,— говорю. А он мне: «Надо бы председателю знать, за это по головке не гладят...»

— Уберем с дороги?

— Прийдется.

— А ежели дознаются?

— Следы надо покрыть.

— Так когда же?

— Приходи, посоветуем.

— Черт его знает... Страшновато как-то... Человека убить — не жуй да плюй.

— Чудак, иначе нельзя! Понимаешь, он могет весь хутор разорить. Запиши посев правильно, так налогом шкуру сдерут, опять же земля... Он один бедноту настраивает... Без него мы гольтепу эту вó как зажмем!..

В темноте хрустнули пальцы, стиснутые в кулак.

Ветер подхватил матерную брань.

— Ну, так придешь, что ли?

— Не знаю... может, приду... Приду!

* * *

Ефим, позавтракав, только что собрался идти в исполком, когда, глянув в окно, увидел Игната.

— Игнат идет, что бы это такое?

— Он не один, с ним Влас-мельник,— добавила жена.

Вошли оба в хату и, сняв шапки, истово перекрестились.

— Здорово дневали!

— Здравствуйте,— ответил Ефим.

— С погодкой, Ефим Миколаич! То-то денек ныне хорош выпал, пороша свежая, теперь бы за зайчишками погонять.

— За чем же дело стало? — спросил Ефим, недоумевая, зачем пришли диковинные гости.

— Куда уж мне,— присаживаясь, заговорил Игнат. Это тебе можно: дело молодое, пришел ко мне, прихватил собак — в степь. Надысь собаки сами лису взяли возле огородов.

Влас, распахнув шубу, сел на кровать и, покачивая люльку, откашлялся.

— Мы это к тебе, Ефим, пришли. Дельце есть.

— Говорите.

— Слыхали, что хочешь ты с нашего хутора переходить на жительство в станицу. Верно?

— Никуда я не собираюсь переходить. Кто вам это напел? — удивленно спросил Ефим.

— Слыхали промеж людей,— уклончиво ответил Влас,— и пришли из этого. Какой тебе расчет переходить в станицу, когда можно под боком купить флигелек с подворьем и совсем даже задешево.

— Это где же?

— В Калиновке. Продается недорого. Ежели хошь переходить — могем помочь и деньгами, в рассрочку. И перебраться помогем.

Ефим улыбнулся:

— А вам бы хотелось спихнуть меня с рук?

— Ты выдумаешь! — Игнат замахал руками.

— Вот что я вам скажу.— Ефим подошел к Игнату вплотную.— С хутора я никуда не пойду и вы отчаливайте с этим! Я знаю, в чем дело! Меня вы не купите ни деньгами, ни посулами! — Густо багровея, судорожно переводя дух, крикнул, как плюнул, в ехидное бородатое лицо Игната: Иди из моей хаты, старая собака! И ты, мельник... Идите, гады!.. Да живей, покедова я вас с потрохами не вышиб!

В сенцах Игнат долго поднимал воротник шубы и, стоя к Ефиму спиной, раздельно сказал:

— Тебе, Ефимка, это припомнится! Не хочешь добром уходить? Не надо. Тебя из этой хаты вперед ногами вынесут!

Не владея собой, Ефим сграбастал воротник обеими руками и, бешено встряхнув Игната, швырнул его с крыльца. Запутавшись в полах шубы, Игнат грузно жмякнулся о землю, но вскочил проворно, по-молодому и, вытирая кровь с разбитых при падении губ, кинулся на Ефима. Влас, растопырив руки, удержал его:

— Брось, Игнат, не сычас... успеется...

Игнат, угнувшись вперед, долго глядел на Ефима

недвижным помутневшим взглядом, шевелил губами, потом повернулся и пошел, не сказав ни слова. Влас шел позади, обметая с его шубы налипший снег, и изредка оглядывался на Ефима, стоявшего на крыльце.

* * *

Перед святками к Ефиму во двор прибежала, обливаясь слезами, Дунька — Игнатова работница.

— Ты чего, Дуняха? Кто тебя? — спросил Ефим и, воткнув вилы в прикладок соломы, торопливо вышел с гумна.— Кто тебя? — переспросил он, подходя ближе.

Девка с опухшим и мокрым от слез лицом высморкалась в завеску и, утирая слезы концом платка, хрипло заголосила:

— Ефим, пожалей ты мою головоньку!.. Охо-хо-хо!.. И что же я буду, сиротинушка, де-е-лать!..

— Да ты не вой! Выкладывай толком...— прикрикнул Ефим.

— Выгнал меня хозяин со двора. Иди, говорит, не нужна ты мне больше!.. Куда же я теперича денусь? С филипповки третий год пошел, как я у него жила... Просила хоть рупь денег за прожитое... Нет, говорит, тебе и копейки, я сам бы поднял, да они — денюжки — на дороге не валяются.

— Пойдем в хату! — коротко сказал Ефим.

Не спеша раздевшись, повесил на гвоздь шинель Ефим, сел за стол, усадил напротив всхлипывающую девку.

— Ты как у него жила, по договору?

— Я не знаю... Жила с голодного году.

— А договор, словом, бумагу никакую не подписывала?

— Нет. Я неграмотная, насилу фамилию расписываю.

Помолчав, Ефим достал с полки четвертушку оберточной бумаги и ковыляющим почерком четко вывел:

В нарсуд 8-го участка

ЗАЯВЛЕНИЕ...

* * *

С весны прошлого года, когда Ефим подал в станичный исполком заявление на кулаков, укрывших посев от обложения, Игнат — прежний заправила всего хутора — затаил на Ефима злобу. Открыто он ее ничем не выражал, но из-

за угла, втихомолку гадил. На покосе обидел Ефима сеном. Ночью, когда тот уехал в хутор, пригнал Игнат две арбы и увез чуть не половину всей скошенной травы. Ефим смолчал, хотя приметил, что с его покоса колесники вели по проследку до самого Игнатова гумна.

Недели через две борзые Игната напали в Крутом логу на волчью нору. Волчица ушла, а двух волчат, шершавеньких и беспомощных, Игнат достал из логова и посадил в мешок. Увязав мешок в торока, сел на лошадь и не спеша поехал домой.

Лошадь храпела и боязливо прижимала уши, на ходу выгибалась, словно готовясь к прыжку, борзые юлили у самых ног лошади, нюхали воздух, поднимая горбатые морды, и тихонько подвизгивали. Игнат качался в седле, поглаживая шею коня, ухмыляясь в бороду.

Короткие летние сумерки уступили дорогу ночи, когда Игнат с горы спустился в хутор. Под копытами коня сверкали, отлетая, каменные осколки, в тороках в мешке молча возились волчата.

Не доезжая до Ефимова двора, Игнат натянул поводья и, скрипнув седлом, соскочил на землю. Отвязав мешок, вытащил первого попавшегося под руку волчонка, под теплой шерсткой нащупал тоненькую трубочку горла и, морщась, стиснул ее большим и указательным пальцами. Короткий хруст. Волчонок с переломанным горлом летит через плетень в Ефимов двор и неслышно падает в густые колючки. Через минуту другой шлепается в двух шагах от первого.

Игнат брезгливо вытирает руку, вскакивает в седло и щелкает плетью. Конь, фыркая, мчится по проулку, позади спешат поджарые борзые.

А ночью к хутору с горы спустилась волчица и долго черной недвижной тенью стояла возле ветряка. Ветер дул с юга, нес к ветряку враждебные запахи, чуждые звуки... Угнув голову, припадая к траве, волчица сползла в проулок и стала возле Ефимова двора, обнюхивая следы. Без разбега перемахнула двухаршинный плетень, извиваясь, поползла по колючкам.

Ефим, разбуженный ревом скота, зажег фонарь и выскочил на двор. Добежал до база — воротца приоткрытые; направив туда желтый мигающий свет, увидел: к яслям приткнулась овца, между широко расставленными ногами ее синим клубком дымились выпущенные кишки. Другая лежала посреди база, из расшматованного горла уже не лилась кровь.

Утром нечаянно наткнулся Ефим на мертвых волчат, лежавших в колючках, и догадался, чьих рук это дело. Забрав волчат на лопату, вынес в степь и кинул подальше от дороги. Но волчица наведалась в Ефимов двор еще раз. Продрав камышовую крышу сарая, бесшумно зарезала корову и скрылась.

Ефим отвез ободранную корову в глинище, куда сваливается падаль, и прямо оттуда пошел к Игнату. Под навесом сарая Игнат тесал ребра на новую арбу. Увидев Ефима, отложил топор, улыбнулся и, поджидая, присел на дышло повозки, стоявшей под навесом.

— Иди в холодок, Ефим!

Ефим, сохраняя спокойствие, подошел и сел рядом.

— Хорошие у тебя собаки, дядя Игнат!..

— Да, брат, собачки у меня дорогие... Эй, Разбой, фюйть! Иди сюда!..

С крыльца сорвался грудастый, длинноногий кобель и, виляя крючковатым хвостом, подбежал к хозяину.

— Я за этого Разбоя ильинским казакам заплатил корову с телком.— Улыбнувшись уголками губ, Игнат продолжал: — Хорош кобель... Волка берет...

Ефим протянул руку к топору и, почесывая кобеля за ушами, переспросил:

— Корову, говоришь?

— С телком. Да рази это цена. Он дороже стоит.

Коротко взмахнув топором, Ефим развалил череп собаки надвое. На Игната брызнула кровь и комья горячего мозга.

Посиневший Ефим тяжело поднялся с повозки и, кинув топор, шепотом выдохнул:

— Видал?

Игнат выпученными глазами глядел, задыхаясь, на скрюченные ноги собаки.

— Сбесился ты, что ли? — просипел он.

— Сбесился,— мелко подрагивая, шептал Ефим.— Тебе бы, гаду, голову надо стесать, а не собаке!.. Кто волчат у мово двора побил? Твоих рук дело!.. У тебя восемь коров... одну потерять — убыток малый. А у меня последнюю волчиха зарезала, дите без молока осталось!..

Ефим крупно зашагал к воротам. У самой калитки его догнал Игнат.

— За кобеля заплатишь, сукин сын!..— крикнул он, загораживая дорогу.

Ефим шагнул вплотную и, дыша в растрепанную бороду Игната, проговорил:

— Ты, Игнат, меня не трожь! Я тебе не свойский, терпеть обиду не буду. За зло — злом отквитаю! Прошло время, когда перед тобой спину гнули!.. Прочь...

Игнат посторонился, уступая дорогу. Хлопнул калиткой и долго матерился, грозил уходившему Ефиму кулаком.

* * *

После случая с собакой Игнат перестал преследовать Ефима. При встрече с ним кланялся и отводил глаза в сторону. Такие отношения тянулись до тех пор, пока суд не присудил Игната к уплате шестидесяти рублей Дуньке работнице. С этого времени Ефим почувствовал, что из Игнатова двора грозит ему опасность. Что-то готовилось. Лисьи глазки Игната таинственно улыбались, глядя на Ефима.

Как-то в исполкоме председатель с подходцем выспрашивал:

— Слыхал, Ефим, с тестя присудили шестьдесят рублей?

— Слыхал.

— Кто бы мог научить эту шалаву — Дуньку?

Ефим улыбнулся и поглядел прямо в глаза председателю.

— Нужда. Тесть твой выгнал ее со двора и куска хлеба не дал на дорогу, а Дунька работала у него два года.

— Так ведь мы же ее кормили!..

— И заставляли работать с утра до ночи?

— В хозяйстве, сам знаешь, работа не по часам.

— Тебе, я вижу, любопытно знать, кто написал заявление в суд?

— Вот-вот, кто б это мог?

— Я,— ответил Ефим и по лицу председателя понял, что это для него не является неожиданностью.

Перед вечером Ефим взял с собой из исполкома бумаги и обязательное постановление станисполкома..

«Перепишу после ужина»,— подумал, шагая домой. Поужинал, закрыл с надворья ставни и сел за стол переписывать. Взгляд его случайно упал на оголенные рамы окон.

— Маша, ты что ж, аль не купила ситцу на занавески?

Жена, сидевшая за прялкой, виновато улыбнулась:

— Я купила два метра... ты ить знаешь, пеленок нету... дите в лохмотьях... я и сшила две пеленки.

— Ну, это ничего... А все ж таки завтра купи. Неловко: кто ставню с улицы откроет — все видно.

За окнами, узорчато размалеванными морозом, ветер пушил поземкой. Тучи, бесформенные и тяжелые, застилали небо. На краю хутора там, где лобастая гора спускается к дворам забурьяневшим склоном, брехали собаки. Над речкой вербы обиженно роптали, жаловались ветру на холод, на непогодь, и скрип их раскачивающихся ветвей и шум ветра сливались в согласный басовитый гул.

Ефим, макая перо в самодельную чернильницу с чернилами, сделанными из дубовых ягод, изредка поглядывал на окно, таившее в черном немом квадрате молчаливую угрозу. Ему было не по себе. Часа через два ставня с улицы скрипнула и слегка приоткрылась. Ефим не слышал скрипа, но, бесцельно взглянув на окно, похолодел от ужаса: в узенький просвет сквозь ветвистую изморозь на него, прижмурясь, тяжко глядели чьи-то знакомые серые глаза. Через секунду на уровне его головы за стеклом, словно нащупывая, появилась черная дырка винтовочного дула. Ефим сидел, откинувшись к стене, недвижный, побледневший. Рама была одинарная, и он ясно услышал, как щелкнул спуск. Над серыми глазами изумленно дернулись брови... Выстрела не последовало. На миг за стеклом исчез черный кружок, четко лязгнул затвор, но Ефим, опомнившись, дунул на огонь — и едва успел нагнуть голову, как за окном ахнул выстрел, брызнуло стекло и пуля сочно чмокнулась в стену, осыпая Ефима кусками штукатурки.

Ветер хлынул в разбитое окно, запорошив лавку снежной пылью. В люльке пронзительно закричал ребенок, хлопнула ставня...

Ефим бесшумно сполз на пол и на четвереньках добрался до окна.

— Ефимушка! Родненький!.. Ой, господи!.. Ефимушка!..— плакала на кровати жена, но Ефим, стиснув зубы, не отзывался; дрожь трясла его тело. Приподнявшись, заглянул он в разбитое окно; увидел, как по улице рысью убегал кто-то, закутанный снежной пылью. Опираясь на лавку, встал Ефим во весь рост и снова стремительно упал на пол: из-за полуоткрытой ставни скользнул ствол винтовки, грохнул выстрел... Едкий запах пороховой гари наполнил хату.

* * *

Наутро Ефим, осунувшийся и желтый, вышел на крыльцо. Светило солнце, трубы курились дымом, ревел у речки скот, пригнанный на водопой. На улице лежали свежие следы полозьев, новый снег слепил глаза незапятнанной белизной. Все было такое обычное, будничное, родное, и прошедшая ночь показалась Ефиму угарным сном. Возле завалинки, против разбитого окна, нашел он в снегу две порожние гильзы и винтовочный патрон с черной ямкой на пистоне. Долго вертел в руках заржавленный патрон, подумал: «Если б не осечка, если б обойма эта не была отсыревшей,— каюк бы тебе, Ефим!»

В исполкоме уже сидел председатель. На скрип двери мельком взглянул на Ефима и снова склонился над газетой.

— Рвачев! — окликнул Ефим.

— Ну? — отозвался тот, не поднимая головы.

— Рвачев! Гляди сюда!..

Председатель нехотя поднял голову, и прямо на Ефима глянули из-под крутого излома бровей широко расставленные серые глаза.

— Ты, подлец, стрелял в меня ночью? — хрипло спросил Ефим.

Председатель, багровея, принужденно засмеялся:

— Ты что? С ума спятил?

У Ефима перед глазами встала минувшая ночь: тяжкий, немигающий взгляд за стеклом, черная пасть винтовки, крик жены... Устало махнув рукой, Ефим сел на лавку и улыбнулся:

— Не вышло. Патроны сырые... Где они у тебя спасались? Небось, в земле?

Председатель вполне овладел собой, ответил холодно:

— Не знаю, о чем ты говоришь: должно, лишнее выпил.

К полудню слух о том, что в Ефима ночью стреляли, облетел весь хутор. Возле хаты его толпились любопытные. Иван Донсков вызвал Ефима из исполкома, спросил:

— Ты сообщил в милицию?

— С этим успеется.

— Ну, брат, не робей, в обиду тебя мы не дадим. С Игнатом теперича осталось человек пять, а мы их раскусили! За кулачьем никто уж не пойдет, все откачнулись, будя!..

Вечером, когда у Федьки-сапожника собралась молодежь и под стук его чеботарского молотка закипел, как

всегда, горячий разговор, к Ефиму подсел сверстник Васька Обнизов, зашептал любовно, сжимая Ефимово плечо:

— Попомни, Ефим, убьют тебя — двадцать новых Ефимов будет. Понял? Толком тебе говорю! Знаешь, как в сказке про богатырей? Одного убьют, а их обратно двое получается... Ну, а нас не двое, а двадцать образуется!

* * *

В станицу пошел Ефим с утра. Побывал в исполкоме, в кредитном товариществе, в милиции задержался, поджидая старшего милиционера. Покуда управился с делами — смерклось.

Вышел из станицы и по гладкому, скользкому льду речки пошел домой. Вечерело. Щеки слегка покалывал морозец. На западе неприветливо синела ночь. За поворотом завиднелся хутор, темные ряды построек. Ефим прибавил шагу и, оглянувшись назад, увидел: позади, шагах в двухстах, идут кучкой трое.

Смерив взглядом расстояние до хутора, Ефим пошел быстрее, но, оглянувшись через минуту, увидел, что те, позади, не только не отстали, а даже как будто приблизились. Охваченный тревогой, Ефим перешел на рысь. Бежал, как на ученье, плотно прижав локти к бокам, вдыхая морозный воздух через нос. Хотел выбраться на берег, но вспомнил, что там глубокий снег, и снова побежал вдоль речки.

Случилось так: не рассчитав движения, поскользнулся, не выправился и упал. Поднимаясь, глянул назад, его настигли... Передний бежал упруго и легко, на бегу размахивая колом.

Ужас едва не вырвал из горла Ефима крик о помощи, но до хутора было больше версты: крик все равно никто не услышит. В короткий миг осознав это, Ефим сжал губы и молча рванулся вперед, пытаясь наверстать время, потерянное при падении. Несколько минут расстояние, лежавшее между ним и передним из трех, как будто не сокращалось, затем, оглянувшись, Ефим увидел, что бежавший позади настигает его. Собрав все силы, помчался быстрее, и тут слух его уловил новый звук: по льду, глухо вызванивая, стремительно скользил кол. Удар сбил Ефима с ног. Вскочив, он снова побежал. На секунду вспомнил: так же бежал он под Царицыном, когда атакой выбивали белых, такое же горячее удушье заливало тогда

грудь... Кол, пущенный сильной рукой, опять свалил Ефима с ног. Он не поднялся... Сзади кто-то страшным ударом в голову отбросил его в сторону. В железный комок собрав всю волю, Ефим, качаясь, встал на четвереньки, но его повалили навзничь.

«Лед почему-то горячий...» — сверкнула мысль. Глянув в бок, Ефим увидел у берега надломленный стебель камыша. «Сломили и меня...» И сейчас же в тускнеющем сознании огненные всплыли слова: «Попомни, Ефим, убьют тебя — двадцать новых Ефимов будет!.. Как в сказке про богатырей...»

Где-то в камыше стоял тягучий, беспрерывный гул. Ефим не чувствовал, как в рот ему, ломая зубы, выворачивая десны, глубоко всадили кол; не чувствовал, как вилы пронзили ему грудь и выгнулись, воткнувшись в позвоночник...

* * *

Трое, покуривая, быстро шли к хутору, за одним из них поспешали борзые. Срывалась метель, снег падал на лицо Ефима и уже не таял на холодных щеках, где замерзли две слезинки непереносимой боли и ужаса.

1926

ЖЕРЕБЕНОК

Среди белого дня возле навозной кучи, густо облепленной изумрудными мухами, головой вперед, с вытянутыми передними ножонками выбрался он из мамашиной утробы и прямо над собою увидел нежный, сизый, тающий комочек шрапнельного разрыва, воющий гул кинул его мокренькое тельце под ноги матери. Ужас был первым чувством, изведанным тут, на земле. Вонючий град картечи с цоканьем застучал по черепичной крыше конюшни и, слегка окропив землю, заставил мать жеребенка — рыжую Трофимову кобылицу — вскочить на ноги и снова с коротким ржаньем привалиться вспотевшим боком к спасительной куче.

В последовавшей затем знойной тишине отчетливей зажужжали мухи, петух, по причине орудийного обстрела не рискуя вскочить на плетень, где-то под сенью лопухов

разок-другой хлопнул крыльями и непринужденно, но глухо пропел. Из хаты слышалось плачущее кряхтенье раненого пулеметчика. Изредка он вскрикивал резким осипшим голосом, перемежая крики неистовыми ругательствами. В палисаднике на шелковистом багрянце мака звенели пчелы. За станицей в лугу пулемет доканчивал ленту, и под его жизнерадостный строчащий стук, в промежутке между первым и вторым орудийными выстрелами, рыжая кобыла любовно облизала первенца, а тот, припадая к набухшему вымени матери, впервые ощутил полноту жизни, неизбывную сладость материнской ласки.

Когда второй снаряд жмякнулся где-то за гумном, из хаты, хлопнув дверью, вышел Трофим и направился к конюшне. Обходя навозную кучу, он ладонью прикрыл от солнца глаза и, увидев, как жеребенок, подрагивая от напряжения, сосет его, Трофимову, рыжую кобылу, растерянно пошарил в карманах, дрогнувшими пальцами нащупал кисет и, слюнявя цигарку, обрел дар речи:

— Та-а-ак... Значит, ожеребилась? Нашла время, нечего сказать.— В последней фразе сквозила горькая обида.

К шершавым от высохшего пота бокам кобылы прилипли бурьянные былки, сухой помет. Выглядела она неприлично худой и жидковатой, но глаза лучили горделивую радость, приправленную усталостью, а атласная верхняя губа ежилась улыбкой. Так, по крайней мере, казалось Трофиму. После того как поставленная в конюшне кобыла зафыркала, мотая торбой с зерном, Трофим прислонился к косяку и, неприязненно косясь на жеребенка, сухо спросил:

— Догулялась?

Не дождавшись ответа, заговорил снова:

— Хоть бы в Игнатова жеребца привела, а то черт его знает в кого... Ну, куда я с ним денусь?

В темноватой тишине конюшни хрустит зерно, в дверную щель точит золотистую россыпь солнечный кривой луч. Свет падает на левую щеку Трофима, рыжий ус его и щетина бороды отливают краснинОю, складки вокруг рта темнеют изогнутыми бороздами. Жеребенок на тонких пушистых ножках стоит, как игрушечный деревянный конек.

— Убить его? — Большой, пропитанный табачной зеленью палец Трофима кривился в сторону жеребенка.

Кобыла выворачивает кровянистое глазное яблоко, моргает и насмешливо косится на хозяина.

* * *

В горнице, где помещался командир эскадрона, в этот вечер происходил следующий разговор:

— Примечаю я, что бережется моя кобыла, рысью не перебежит, намётом — не моги, опышка ее душит. Догляделa, а она, оказывается, сжеребанная... Так уж береглась, так береглась... Жеребчик-то масти гнедоватой... Вот... рассказывает Трофим.

Эскадронный сжимает в кулаке медную кружку с чаем, сжимает так, как эфес палаша перед атакой, и сонными глазами глядит на лампу. Над желтеньким светлячком огня беснуются пушистые бабочки, в окно налетают, жгутся о стекло, на смену одним — другие.

— ...безразлично. Гнедой или вороной — все равно. Пристрелить. С жеребенком мы навродь цыганев будем.

— Что? Вот и я говорю, как цыгане. А ежели командующий, что тогда? Приедет осмотреть полк, а он будет перед фронтом солонцевать и хвостом этак... А? На всю Красную Армию стыд и позор. Я даже не понимаю, Трофим, как ты мог допустить? В разгар гражданской войны и вдруг подобное распутство... Это даже совестно. Коноводам строгий приказ: жеребцов соблюдать отдельно.

Утром Трофим вышел из хаты с винтовкой. Солнце еще не всходило. На траве розовела роса. Луг, истоптанный сапогами пехоты, изрытый окопами, напоминал заплаканное, измятое горем лицо девушки. Около полевой кухни возились кашевары. На крыльце сидел эскадронный в сопревшей от давнишнего пота исподней рубахе. Пальцы, привыкшие к бодрящему холодку револьверной рукоятки, неуклюже вспоминали забытое, родное — плели фасонистый половник для вареников. Трофим, проходя мимо, поинтересовался:

— Половничек плетете?

Эскадронный увязал ручку тоненькой хворостинкой, процедил сквозь зубы:

— А вот баба — хозяйка — просит... Сплети да сплети. Когда-то мастер был, а теперь не того... не удался.

— Нет, подходяще,— похвалил Трофим.

Эскадронный смел с колен обрезки хвороста, спросил:

— Идешь жеребенка ликвидировать?

Трофим молча махнул рукой и прошел в конюшню.

Эскадронный, склонив голову, ждал выстрела. Прошла минута, другая — выстрела не было. Трофим вывернулся из-за угла конюшни, как видно, чем-то смущенный.

— Ну, что?

— Должно, боек спортился... Пистон не пробивает.

— А ну, дай винтовку.

Трофим нехотя подал. Двинув затвором, эскадронный прищурился.

— Да тут патрон нету!..

— Не могет быть!.. — с жаром воскликнул Трофим.

— Я тебе говорю, нет.

— Так я ж их кинул там... за конюшней...

Эскадронный положил рядом винтовку и долго вертел в руках новенький половник. Свежий хворост был медвяно пахуч и липок, в нос ширяло запахом цветущего краснотала, землей попахивало, трудом, позабытым в неуемном пожаре войны...

— Слушай!.. Черт с ним! Пущай при матке живет. Временно и так далее. Кончится война — на нем еще того... пахать. А командующий, на случай чего, войдет в его положение, потому что молокан и должен сосать... И командующий титьку сосал, и мы сосали, раз обычай такой, ну и шабаш! А боек у твово винта справный.

* * *

Как-то, через месяц, под станицей Усть-Хоперской эскадрон Трофима ввязался в бой с казачьей сотней. Перестрелка началась перед сумерками. Смеркалось, когда пошли в атаку. На полпути Трофим безнадежно отстал от своего взвода. Ни плеть, ни удила, до крови раздиравшие губы, не могли понудить кобылу идти намётом. Высоко задирая голову, хрипло ржала она и топталась на одном месте до тех пор, пока жеребенок, разлопушив хвост, не догнал ее. Трофим прыгнул с седла, пихнул в ножны шашку и с перекошенным злобой лицом рванул с плеча винтовку. Правый фланг смешался с белыми. Возле яра из стороны в сторону, как под ветром, колыхалась куча людей. Рубились молча. Под копытами коней глухо гудела земля. Трофим на секунду глянул туда и схватил на мушку выточенную голову жеребенка. Рука ли дрогнула сгоряча, или виною промаха была еще какая-нибудь причина, но после выстрела жеребенок дурашливо взбрыкнул ногами, тоненько заржал и, выбрасывая из-под копыт седые комочки пыли, описал круг и стал поодаль. Обойму не простых патронов, а бронебойных — с красно-медными носами — выпустил Трофим в рыжего чертенка и, убедившись в том,

что бронебойные пули (случайно попавшие из подсумка под руку) не причинили ни вреда, ни смерти потомку рыжей кобылы, вскочил на нее и, чудовищно ругаясь, трюпком поехал туда, где бородатые красноборожие староверы теснили эскадронного с тремя красноармейцами, прижимая их к яру.

В эту ночь эскадрон ночевал в степи, возле неглубокого буерака. Курили мало. Лошадей не расседлывали. Разъезд, вернувшийся от Дона, сообщил, что к переправе стянуты крупные силы противника.

Трофим, укутав босые ноги в полы резинового плаща, лежал, вспоминая сквозь дрему события минувшего дня. Плыли перед глазами: эскадронный, прыгающий в яр, щербатый старовер, крестящий шашкой политкома, в прах изрубленный москлявенький казачок, чье-то седло, облитое черной кровью, жеребенок...

Перед светом подошел к Трофиму эскадронный, в потемках присел рядом.

— Спишь, Трофим?

— Дремаю.

Эскадронный, поглядывая на меркнущие звезды, сказал:

— Жеребца свово сничтожь! Наводит панику в бою... Гляну на него, рука дрожит... рубить не могу. А все через то, что вид у него домашний, а на войне подобное не полагается... Сердце из камня обращается в мочалку... А между прочим, не стоптали поганца в атаке, промеж ног крутился...— Помолчав, он мечтательно улыбнулся, но Трофим не видел этой улыбки.— Понимаешь, Трофим, хвост у него, ну, то есть... положит на спину, взбрыкивает, а хвост, как у лисы... Замечательный хвост!..

Трофим промолчал. Накрыл шинелью голову и, подрагивая от росной сырости, уснул с диковинной быстротой.

* * *

Против старого монастыря Дон, притиснутый к горе, мчится с бесшабашной стремительностью. На повороте вода кучерявится завитушками, и зеленые гривастые волны с наскока поталкивают меловые глыбы, рассыпанные у воды вешним обвалом.

Если б казаки не заняли колена, где течение слабее, а Дон шире и миролюбивей, и не начали оттуда обстрела предгорья, эскадронный никогда не решился бы переправлять эскадрон вплавь против монастыря.

В полдень переправа началась. Небольшая комяга подняла одну пулеметную тачанку с прислугой и тройку лошадей. Левая пристяжная, не видавшая воды, испугалась, когда на средине Дона комяга круто повернула против течения и слегка накренилась набок. Под горой, где спешенный эскадрон расседлывал лошадей, отчетливо слышно было, как тревожно она храпела и стучала подковами по деревянному настилу комяги.

— Загубит лодку! — хмурясь, буркнул Трофим и не донес руку до потной спины кобылы: на комяге пристяжная дико всхрапнула, пятясь к дышлу тачанки, стала в дыбки.

— Стреляй!..— заревел эскадронный, комкая плеть.

Трофим увидел, как наводчик повис на шее пристяжной, сунул ей в ухо наган. Детской хлопушкой стукнул выстрел, коренник и правая пристяжная плотней прижались друг к дружке. Пулеметчики, опасаясь за комягу, придавили убитую лошадь к задку тачанки. Передние ноги ее медленно согнулись, голова повисла...

Минут через десять эскадронный заехал с косы и первый пустил своего буланого в воду, за ним следом с грохочущим плеском ввалился эскадрон — сто восемь полуголых всадников, столько же разномастных лошадей. Седла перевозили на трех каюках. Одним из них правил Трофим, поручив кобылу взводному Нечепуренко. С середины Дона видел Трофим, как передние лошади, забредая по колено, нехотя глотали воду. Всадники понукали их вполголоса. Через минуту в двадцати саженях от берега густо зачернели в воде лошадиные головы, послышалось многоголосое фырканье. Рядом с лошадьми, держась за гривы, подвязав к винтовкам одежду и подсумки, плыли красноармейцы.

Кинув в лодку весло, Трофим поднялся во весь рост и, жмурясь от солнца, жадно искал глазами в куче плывущих рыжую голову своей кобылы. Эскадрон похож был на ватагу диких гусей, рассыпанную по небу выстрелами охотников: впереди, высоко поднимая глянцевитую спину, плыл буланый эскадронного, у самого хвоста его белыми пятнышками серебрились уши коня, принадлежавшего когда-то политкому, сзади плыли темной кучей, а дальше всех, с каждой секундой отставая все больше и больше, виднелись чубатая голова взводного Нечепуренко и по левую руку от него острые уши Трофимовой кобылы. Напрягая зрение, Трофим увидел и жеребенка. Плыл он толчками, то высоко выбрасываясь из воды, то окунаясь так, что едва виднелись ноздри.

И вот тут-то ветер, плеснувшийся над Доном, донес до Трофима тонкое, как нитка паутины, призывное ржание: и-и-и-го-го-го!..

Крик над водой был звонок и отточен, как жало шашки. Полоснул он Трофима по сердцу, и чудно́е сделалось с человеком: пять лет войны сломал, сколько раз смерть по-девичьи засматривала ему в глаза, и хоть бы что, а тут побелел под красной щетиной бороды, побелел до пепельной синевы — и, ухватив весло, направил лодку против течения, туда, где в коловерти кружился обессилевший жеребенок, а саженях в десяти от него Нечепуренко силился и не мог повернуть матку, плывшую к коловерти с хриплым ржанием. Друг Трофима, Стешка Ефремов, сидевший в лодке на куче седел, крикнул строго:

— Не дури! Правь к берегу! Видишь, вон они, казаки!..

— Убью! — выдохнул Трофим и потянул за ремень винтовку.

Жеребенка течением снесло далеко от места, где переправлялся эскадрон. Небольшая коловерть плавно кружила его, облизывая зелеными гребенчатыми волнами. Трофим судорожно махал веслом, лодка двигалась скачками. На правом берегу из яра выскочили казаки. Забарабанила басовитая дробь «максима». Чмокаясь в воду, шипели пули. Офицер в изорванной парусиновой рубахе что-то кричал, размахивая наганом.

Жеребенок ржал все реже, глуше и тоньше был короткий режущий крик. И крик этот до холодного ужаса был похож на крик ребенка. Нечепуренко, бросив кобылу, легко поплыл к левому берегу. Подрагивая, Трофим схватил винтовку, выстрелил, целясь ниже головки, засосанной коловертью, рванул с ног сапоги и с глухим мычанием, вытягивая руки, плюхнулся в воду.

На правом берегу офицер в па́русиновой рубахе гаркнул:

— Пре-кра-тить стрельбу!..

Через пять минут Трофим был возле жеребенка, левой рукой подхватил его под нахолодевший живот, захлебываясь, судорожно икая, двинулся к левому берегу... С правого берега не стукнул ни один выстрел.

Небо, лес, песок — все ярко-зеленое, призрачное... Последнее чудовищное усилие — и ноги Трофима скребут землю. Волоком вытянул на песок ослизлое тельце жеребенка, всхлипывая, блевал зеленой водой, шарил по песку руками... В лесу гудели голоса переплывших эскадронцев, где-то за косою дребезжали орудийные выстрелы. Рыжая

кобыла стояла возле Трофима, отряхаясь и облизывая жеребенка. С обвислого хвоста ее падала, втыкаясь в песок, радужная струйка...

Качаясь, встал Трофим на ноги, прошел два шага по песку и, подпрыгнув, упал на бок. Словно горячий укол пронизал грудь: падая, услышал выстрел. Одинокий выстрел в спину — с правого берега. На правом берегу офицер в изорванной парусиновой рубахе равнодушно двинул затвором карабина, выбрасывая дымящуюся гильзу, а на песке, в двух шагах от жеребенка, корчился Трофим, и жесткие посиневшие губы, пять лет не целовавшие детей, улыбались и пенились кровью.

1926

КАЛОШИ

I

С тех пор как на слободские игрища стали приходить парни из станицы (а случилось это осенью, после обмолота хлебов), Семка увидел, что Маринка сразу к нему охладела. Словно никогда и не крутили они промеж себя любовь, словно и не она, Маринка, подарила Семке кисет голубого сатина с зеленой собственноручной вышивкой по краям и с розовыми буквами, целомудренно сиявшими на всех четырех углах этого роскошного подарка. И когда доставал Семка кисет и, слюнявя клочок «Крестьянской газеты», сворачивал подобие козьей ножки, не эти ли чудесные, мерцавшие розовым огнем буквы наивно уверяли его в любви? А теперь как будто поблекла небесная лазурь сатинового кисета, увяли пожелтевшие узоры вышивки, и буквы К-Л-Т-Д, уверявшие от лица Маринки: «кого люблю — тому дарю», глядели на Семку с ехидным лукавством, напоминая обладателю об утраченном счастье. Даже самосад, покоившийся внутри кисета, казался Семке забористей и приобрел почему-то горьковатый, щиплющий привкус.

Причина, повлекшая к преждевременному разрыву любовных отношений с Маринкой, вытекала прямо из калош.

Семка заметил это в воскресенье, когда на игрища в первый раз пришли станичные парни. Один из них, Гришка, по прозвищу «Мокроусый», был с гармошкой

немецкого строя, в пухлых галифе с лампасами и в сапогах, на которых немеркнущим глянцем сияли новые калоши.

Вот с этих-то калош весь вечер не сводила Маринка восхищенного взгляда, а Семка, позабытый и жалкий, просидел в углу до конца игрищ и оттуда с кривой дрожащей улыбкой глядел не на Маринку, разрумяненную танцами, не на судорогу, поводившую губу гармониста, а на пару Гришкиных калош, добросовестно вышлепывающих по грязному полу замысловатые фигуры.

У Семки на будни и праздники одни вязаные чувяки да рваные штаны. Материя от ветхости не держит латок, нитки пробредают, и из прорех высматривает смуглое до черноты Семкино тело. Через это и получилось так, что после игрищ пошел провожать Маринку Гришка, а Семка вышел последним из накуренной хаты и, прижимаясь к плетням, намокшим росою, побрел к Маринкиному двору.

II

По дороге мягким войлоком лежала взрыхленная колесами пыль. Ночь текла над слободкой, подгоняемая ветром. Ущербленный месяц, бездельничая, слонялся по небу, а по слободской улице впереди Семки шла Маринка об руку с Гришкой. Маринка держала голову слегка набок, а Гришка, сутулясь, бороздил пушистую пыль калошами и сквозь зубы насвистывал.

Возле Маринкиного двора лежат срубленные вербы. Парочка села. Семка хрустнул пальцами и с козлиной легкостью перемахнул через плетень.

Сквозь решетчатые просветы плетня ясно, как белым днем, видно Маринку и Гришку, перебирающего лады двухрядки. Под сдержанные взвизгивания гармошки Гришка вполголоса чеканил:

— Ох, Мариша, сам не знаю,
По тебе я как страдаю.
Обрати внимание
Ты на мое страдание!..

Маринка придвинулась поближе, спросила вкрадчиво:

— Где покупали калоши, Григорий Климыч?

Гришка качнул ногою:

— В потребилке.

Семка видит, как Маринка не отводит зачарованного взгляда от Гришкиных калош. Сквозь вкрадчивое похрипы-

рание гармошки снова слышит он вздрагивающий Маринкин голос:

— Почем же платили?

— Пять с полтиной.

— Пять с полтиной?..— переспрашивает Маринка, и в голосе ее ясно слышится почтительное изумление.— Такие дорогие, а вы их в пыле ватлаете...

Семка видит, как Маринка нагинается и утиркой смахивает пыль с Гришкиных калош.

Гришка поджимает ноги.

— Што ты, Мариша, брось!.. По мне калоши — раз плюнуть. Одни сношу — капиталу и на другие хватит! Утирку вот вымазала...

— Утирка выстирается...— Маринка проглотила вздох.— У вас в станице барышни тоже небось в калошах ходют?

Гришка перекинул гармошку через плечо и завладел Маринкиной рукой.

— Они хучь и ходют, а только я на свой авторитет не найду подходящей... За мной вон одна дюже ушивается, а на какую причину она мне нужна, раз у ней ряшка, как у жабы?

Гришка презрительно сплюнул, вытер рукавом губы и надолго прилип к Маринкиной щеке...

У Семки от неудобного положения затекли ноги, но сидел он за плетнем в капустной грядке словно врытый. Лишь тогда, когда белый Маринкин платок и фасонистая Гришкина фуражка сползались в кучу, Семка порывисто кивал головой и шарил возле себя дрожащими руками в надежде нащупать камень.

...Месяц, плутавший за тучами, притомился и, сгорбатившись, стал спускаться на запад. В сарае, хлопая крыльями, нагло протрубил зорю петух.

Гришка встал.

— Ну, Мариша, куда же мне завтра приходить?

Маринка поправила съехавший набок платок, ответила шепотом:

— К кузнице приходите... я подожду.

Семку, как пружиной, подкинуло: ухватился за плетень, под рукой хряпнул кол.

Маринка, ахнув, попятилась к воротам, а Гришка накочетился и стал боком.

Семка прыгнул через плетень и, махая увесистым колом, подошел к Гришке. Злоба мешала говорить, он заикался:

— Ты што же это?.. К чужим девкам?.. а?..

— Иди, иди... отчаливай!.. Ваш номер восемь, вас после спросим!..

— Нет, погоди!.. За тобой должок... посчитаемся...

— Ждать тут нечего...— протяжно сказал Гришка и, нагнув голову, не размахиваясь, стремительно качнувшись вперед, с силой ударил Семку в живот.

Жаркое удушье петлей захлестнуло горло. Едва не выронил Семка кол, но, пересиливая боль, скривил губы и размахнулся. Фуражка сорвалась с Гришкиной головы, закружилась волчком.

Удар, упавший наосклизь, пришелся по гармошке. Из разорванного меха со вздохом облегчения рванулся воздух. Не успел Гришка увернуться, как кол, взвизгнув, снова обрушился на плечо.

Через минуту вдоль улицы маячила Гришкина белая рубаха, а Семка растерянно мял в руках брошенную фуражку и, корчась, передыхая от колючего удушья, голосом, тонким и скорбным, говорил Маринке, стоявшей возле ворот:

— Сама дарила кисет... возьми его, гадюка!.. Я с тобой, как с доброй, а ты калоши увидела и давай целоваться... Да я этих калош, может, двадцать имел бы... ежли бы захотел.

Маринка зевнула в кулак и, поглядывая на тускнеющие звезды, равнодушно сказала:

— Надоел ты мне, голоштанный! Совестно глядеть-то на тебя, не то што... Вон штаны-то на тебе будто собаки обнесли... весь стыд наруже, а туда же, калоши...— Еще раз зевнула до слез и, поворачиваясь к Семке спиной, досадливо упрекнула: — Куда конь с копытом, туда и ты с клешней своей... Хоть бы опорки какие себе справил, босотва боженькина!

Семка глухо оправдывался:

— Мои штаны к тебе вовсе не касаются... ты мне не указ... И насчет опорков тоже... Твоему батьке, может, вши гашник переели, я же не ступаю в ихнее дело?.. По мне, пущай его хучь с потрохами слопают!

Маринка звучно щелкнула щеколдой, стала на цыпочки и, выглядывая из двора через калитку, крикнула:

— Ты чужим вшам счет не заводи!.. Своих полно! Твоя мать весной с сумкой ходила — христараддничала... Сам — кусошник, а чужих отцов хаешь!..

Семка, не целясь, плюнул в калитку.

— Отцепись, лихоманка!.. Жалко, што канителился с тобой, целовал твои ругательные губы... Да сгори ты

ясным огнем! Я, коль на то пошло, теперь лучше телушку под хвост поцелую, чем тебя, поганку!..

— Тобой, кобелем лохматым, и телушка побрезгует!..— ядовито зашипела Маринка.— Свинья тебя целовала, да три дня блевала!.. И не подходи! И на дух не нужен! Тьфу!..

Семка прислушался к глохнущим шагам и тупо уставился на ворота.

Возле Маринкиных ворот в эту ночь и умерла Семкина любовь, родившаяся два месяца назад на слободских бахчах в вечер погожий и ласковый.

III

Утром с рассветом поехал Семка пахать. Ходил за плугом сердитый, взлохмаченный. Два раза, задумавшись, перепахал лежавшую около дорогу, за поручни держался нетвердо, и борозды распластывались неглубокие, кривые; лемехи в нетрезвом разбеге вилюжили черствую намозоленную кожу земли, лишь слегка ее обдирая, и в каждой свернутой набок отполированной сталью глыбе чудился Семке блеск чьих-то калош...

Пообедав, прилег под арбу отдохнуть, и, едва лишь над смеженными ресницами повиснул сон, увидел Семка себя в кругу знакомых слободских ребят, откуда-то со стороны издали любовался своими штанами, причудливо вобранными в сапоги, а там ниже, на земле, присыпанной подсолнечной шелухой, с вывертом стояли Семкины ноги, и слепило глаза неотразимое сияние его, Семкиных, собственных калош.

Сон был сладок и освежающ, а пробуждение вновь до краев налило горечью Семкино сердце.

* * *

Отец Семкин перед смертью отписал ему в вечность корову с телком да хворую жену с ворохом голых детей. Мать Семкина весной ходила по миру, под окнами краюхи собирала, ребята зиму голые копошились на печке, а летом безвылазно торчали в камышастой речке — благо, там одежки-обувки не требуется. Телок на третий год выровнялся в диковинного быка-работягу, масти невиданно гнедой, собою ветвисторогий и грудастый; корова же от

работы захляла, почти перестала доиться, кашляла и страдала неудержимым поносом. На этой-то худобе и работал Семка, а с такой справой да с семьей, где шестеро детей один одного нянчат, каждому известно — много не сработаешь.

Десятину пахал Семка три дня. Трое суток раздумий и вздохов легли через Семкину жизнь, как длиннющий, неезженый проследок через степь. На четвертые сутки день выпал погожий, слегка морозный. Солнце, маленькое, бескровно желтое, шло по вылинявшему небу не над слободкой, как летом, а колесило где-то в стороне, к югу.

На слободке в одном Семкином дворе пригорюнился немолоченый прикладок жита.

С утра насадили посад, у соседа добыл Семка каменную молотилку, запряг корову и бычка. Степановна — Семкина мать — перекрестилась.

— Начинай, сынок, с господом!

И молотьба «с господом» началась.

Корова часто останавливалась, остро горбатила спину и мочила хлеб зеленой вонючей жижей. Семкина мать руками торопливо сгребала дымящийся помет, заботливо выбирала для просушки каждый колосок, а Семка, желтея от злости, сильней стегал кнутом по гулким ребристым бокам коровы, и на сухой изморщиненной коже ее крест-накрест припухали частые рубцы.

Насаживая второй посад, Семка сказал:

— Корову продадим, маманя... С нее толку, как с козла молока. Ни езды в ней, ни работы. Жито все перемочит пока обмолотим, а пахать вовсе негожа.

Руки Степановны, скрюченные застарелым ревматизмом, поднялись и бессильно упали.

— Очумел ты, Семушка? А ребят кормить чем будем? Молоко одно и душу в теле держит.

— Корова вот-вот отобьет, а ребята тыквой будут оправдываться...

— С тыквы у них животы вон пухнут...

Семка с сердцем кинул в намолоченный ворох грабли.

— А што зиму-то будем жрать? Хлеба, видишь, сколько? Сама посуди: намолотили пудов двадцать, до святок пожуем, а там зубы на полку?..

— Может, бычка бы... Бычка бы, Сема, может, продали?..

— Постой, это как же? — бледнея, дрогнувшим голосом спросил Семка.— Тогда, значит, на землю плюнуть

приходится? Пахать не на чем и убирать... Как же можно так говорить?..

— Ну, а без коровы дети подохнут! — отрезала мать.

На том разговор и кончился.

IV

Каждый месяц восемнадцатого числа в станице — рынок. С окружных хуторов и станиц сгоняют казаки скот, со станции наезжают скупщики, тут же на рыночной площади разбивают купцы дощатые лавки, на прилавках шелестят пахучие ситцы, возле кожевенных лавок бородатые станичники пробуют доброту кожи на зуб, «страдают» карусельные гармошки, на обливных горшках вызванивают горшечники, девки, взлетая на лодочках, визжат и нескромно мигают подолами, цыгане мордуют лошадей, в шинках казаки выпивают «за долгое свидание». Рынок пахнет медом, дублеными овчинами, конским пометом.

Запахи, невыразимо разнородные, терпкие и солоноватые, наносит ветерок с рыночной площади. Два дня над станицей прибойным гулом стонет многоголосый рев.

В день рынка, утром, спросила у Семки мать:

— Поведешь продавать бычка аль нет?

Семка, обжигаясь, чистил вареную картошку. На материн вопрос промолчал, подул на пальцы и ладонью смел с колен картофельную кожуру.

Степановна, гремя у печки рогачами, говорила:

— Ежели б продали бычка рублей за пятьдесят, хлеба на зиму подкупили бы... Тебе, сынок, штаны справить край надо и мне рубаху, а тело все на виду... Да ребятам купили бы дешевенького. Сапожки бы — хоть одни на всех... Ваньке вон в школу ходить надо. Зима заходит, а он разутый.

Горячей картошки обожгла-кольнула Семку мыслишка «Калоши можно купить!..»

Трудно двигая кадыком, пропихнул в горло недожеванный кусок, и от мысли этой как будто что-то екнуло и оборвалось под сердцем. Маринка, Гришка, мать, бычок, калоши словно на карусели поплыли перед глазами. Мать еще говорила глухо и монотонно, как по псалтырю читала, а Семка уже вскочил, с треском рваный зипун напялил и к дверям — как обморок его шибанул.

— Помоги взналыгать бычка! Слышишь, маманя? Да поживей!..

V

Семка тянул бычка за налыгач, сзади воробьиной ватагой сыпали ребятишки, с визгом подгоняли хворостинами норовистого быка, а тот упирался, неистово мотал головой и негодовал низким, трубным голосом.

На рынке возле возов лежат привязанные быки и коровы, дремотно движутся их нижние челюсти, перетирая слюнявую жвачку, пар идет из-под лохматых животов, пригревших сырую землю.

Мимо прохаживают шибаи с длинными пастушечьими костылями. Сапогом толкает купец облюбованного быка и заходит наперед. Бык, кряхтя, ставит на колени передние ноги, потом тяжело упирается раздвоенными копытами в слизистую грязь и упруго поднимает зад. Привычными пальцами быстро и толково щупает купец грудь, ноги, спину, засматривает в рот — не съедены ли старостью зубы, хлопает с хозяином по рукам, божится, кидает оземь шапку.

Семкин бык, привязанный к забору, вскоре привлек внимание рыжего купца. Подошел к Семке.

— Ты хозяин?

— Я.

— Сколько просишь? — А сам на Семку и не взглянет. Топчется вокруг быка, всего излапал крючковатыми пальцами и глазами, резво шнырявшими под рыжей крышей бровей.

— Семьдесят! — бухнул Семка.

— Может, со всем с тобой? — беззубо ощерился купец.

— Проваливай, коли так!..

Семка исподлобья глянул вслед уходившему купцу. Тот повернулся боком.

—Говори окончательную цену!.. Шестьдесят берешь? Нет? Ну, посиди с бычком, может, бог даст, домой отведешь, все целей будет.

— Поди побреши, этим и кормишься! — обиделся Семка.

Поколесив по рынку, рыжий в сопровождении седого хохла подходит вновь.

— Ну, как, надумал?

— Семьдесят! — уперся Семка.

Через полчаса охрипший купец сует Семке в дрожащую руку две червонные бумажки (на левых углах ражие дяди высевают зерно из лукошек). Тут же, между возами, пьют магарыч. Купец, запрокинув голову, тянет из темной бу-

тылки, и не поймет Семка, где это булькает: то ли в горлышке бутылки, то ли в глотке купца. Бутылка переходит в Семкины руки. Рот и желудок обжигает влажное тепло, в нос ширяет самогонным дымком. Так много не пил он никогда.

— Ну, в час добрый!..— прожевывая черствый бублик, сипит купец.— Ценой мы тебя не обидели... Корму нонешний год нету, зимой за так отдал бы!

— Бычок мой...— Голос у Семки дрожит, дрожат и ноги.— Не бычок, а кормилец... кабы не нужда, сроду не продал бы!..

Рыжий подмигивает хохлу:

— Что и толковать... На свете дураки — одни быки да казаки. Бык работает на казака, а казак на быка, так всю жисть один на одном и ездят!..

Рыжий отвязывает быка и гогочет, а Семка в руке жмет деньги; рука в кармане, как белогрудый стрепет в осилке. Ноги послушно несут к лавкам, в голове, затуманенной хмелем, одна лишь мысль: «Надену и мимо Маришкиного двора; пущай смотрит, стерва. Не одному Гришке калоши иметь!..»

Купец мягко перегнулся через прилавок.

— Чего прикажете, молодой человек?

— А мне бы эти... как их... калоши!..

Семка старается обуздать свой голос, но звуки ползут из горла чудовищно громкие, несуразные. Семка чувствует, что на него смотрят и останавливаются идущие мимо люди.

— Вам какой номер прикажете?..— слышит он откуда-то издалека тусклый голос и напрягает легкие, чтобы его слышали.

— Мне без номера... Чистые калоши подавай!..

Маленькие заплывшие глазки купца словно масло Семке на сердце льют. Голос вежливый, ласковый, так никто никогда не говорил с ним, и от этого Семка растроган почти до слез.

—Друг!.. Уважь мне калоши, только без номера. Я заплачу... Лишь бы были чистые, без номеров...

Семка не видит ехидной улыбки, тлеющей в глазах купца.

— Вам сапожки бы надо, на голых ногах кто же калоши носит? Зайдите вот сюда — примерьте. Товарец — что-нибудь особенное!.. Роскошные сапоги!..

Как сквозь сон Семка чувствует чьи-то услужливые руки, помогающие ему надеть пахучие яловочные сапоги. Потом за брезентовой ширмочкой на голое тело ему со

скрипом напяливают колючие суконные штаны и длинно полый пиджак. Лохмотья Семкины приказчик брезгливо заворачивает в газету и сует ему под мышку, а Семка качается, обнимает круглую спину приказчика и смеется счастливым, беспричинным смехом.

— Сюртучком будете довольны... Настоящее суконцо, довоенное...

Глаза ласкают Семку, и голос, каким за всю жизнь никто никогда не говорил с ним, без мыла ползет в душу.

— Разрешите и фуражечку примерить?

Семка плачет слезами счастья и подставляет голову.

— Братцы!.. Да я хоть в могилу!.. Деньги — прах их побери!.. Калоши мне дороже... Получай!..

Из Семкиного кулака на пол мягко шлепаются скомканные, влажные от пота кредитки.

Купец быстренько подбирает их, стучит в ящике медью и с шестидесяти рублей сует Семке в карман сдачу — зеленый полтинник и две сверкающие медные копейки. Изъеденный молью пышный картуз нахлобучивают Семке на голову, и глаза, до этого ласковые и приветливые, сверлят Семку острыми буравчиками. Голос грубо рявкает над самым ухом:

— Пошел к черту, сукин сын! Пьяная сопля! Живо!..

Кто-то поддает сзади коленом, и Семка с застывшей пьяной улыбкой летит из-за прилавка и мешковато падает в грязь. Трудно поднялся, рот раскрыл в похабном ругательстве, но вдруг прямо перед собой увидал Маринку, под праздничным платочком смеющиеся глаза и щеки блестящие от огуречной помады.

Как в мутном тумане, бродил с нею по рынку, на последний полтинник купил угощенье — ослизлых конфет, где-то падал и больно ушибся, но помнил твердо, что все время на него бучился Маринкин восхищенный взгляд. Шел, спотыкаясь и широко разбрасывая ноги, в сумчатых галифе, разбрызгивая грязь блестящими калошами. Маринка шла немного сзади, просила шепотом:

— Сема, ну, не надо!.. Не шуми, люди на нас глядят!.. Сема, совестно ить...

Вечером возле «столовки» плясал Семка казачка и пил с чужими казаками самогон, а перед зарею, шатаясь, добрел до дома и резко постучал в окно.

Мать, кутаясь в лохмотья, отворила дверь и испуганно отшатнулась.

— Кто такой? Кого надо?

— Это я, маманя...

Чуя недоброе, унимая дрожь, молча пропустила Семку и зажгла огарок. На печке дружно сопели ребята, трещал и чадил огонь.

— Продал бычка? — спросила, и мелкой дробью лязгнули зубы.

— Продал бычка... я продал... да...

— А деньги?!

— Деньги? Вот они.

Семка скривил губы улыбкой и полез рукой в карман. В тишине слышно, как судорожно скребут внутри кармана пальцы. Глухо звякнула медь.

К порожнему карману, где шарила Семкина рука, пристыла мать немигающим взглядом. Покачиваясь, опираясь на стол, вырвал из кармана Семка две медные сверкающие копейки и кинул на земляной пол. Одна из них закружилась желтым светлячком и, звякнув, покатилась под лавку.

С хрипом упала мать на колени, ноги Семкины обхватила, голосила по-мертвому и билась седой головой об пол.

— Родимый!.. Сы-ну-у-ушка! Да как же?! Охо-хо-о! И што же ты наде-е-елал?!

Семка, дергая ногами, пятился к дверям, а она ползла за ним на коленях, от толчков мотала вывалившимися из прорехи узенькими иссохшими грудями, синея, давилась криком, и на измазанные Семкины калоши текли слезы.

1926

О КОЛЧАКЕ, КРАПИВЕ И ПРОЧЕМ

Вот вы, гражданин мировой судья... то бишь, народный... объясняли на собрании, какую законную статью приваривают за кулачное увечье и обидные действия. Я и хочу разузнать всчет крапивы и прочего... Я думаю, что при Советской власти не должно быть подобных обхождениев, какое со мною произвели граждана. Да кабы граждане — еще пол-обиды, а то бабы! После этого мне даже жить тошно, верьте слову!

С весны заявляется в хутор наша же хуторная Настя. Жила она на шахтах, а тут взяла и приехала, черт ее за подол смыкнул!

Приходит ко мне наш председатель Стешка. Поручкались с ним, он и говорит:

— Ты знаешь, Федот, Настя с шахтов приехала. Стриженная под иголку и в красном платке!

Ну, в платке и в платке, мне-то что за дело? Конечно, обидно: баба, а почему вдруг стриженая? Однако смолчал, спрашиваю:

— На провед родины явилась иль как?

— Какое там на провед!..— говорит.— Баб наших табунить будет, организацию промеж них заколачивать. Теперь лупай обоими фонарями, свети в оба! Чуть тронешь свою бабу,— за хвост тебя, сукиного сына, да в собачий ящик!

Поговорили о том о сем, он и делает мне предложение:

— Отвези ее, Федот, в волость. Она при документе и следует туда занимать женскую должность, навроде женисполком, что ли, чума их разберет. Вези за счет моего уважения!

Я ему резон выкладываю:

— Вам, Стеша, уважение, а мне гольная обида. В рабочую пору лошадь отрывать несходно.

— Как хочешь,— говорит,— а вези!

Приходит ко мне эта Настя. Я, чтоб не мутило на нее на стриженую глядеть, с глаз долой скрылся, ушел в степь за кобылой. А кобыла у меня, доложу вам, от истинного цыгана: бежит — земля дрожит, упадет — три дня лежит, одним словом, помоги поднять да давай менять. Я до скольких разов на нее с топором покушался, жалко только — сжеребанная...

Покель я ее ловил да уговаривал — не брыкайся, мол, дура, не абы кого повезешь, а женскую власть,— а Настя с моей супружницей уже скочетались.

— Бьет тебя муж? — спрашивает.

А моя сдуру, как с дубу:

— Бьет! — говорит.

Привел я кобылу только в хату, а Настя ко мне:

— Ты за что это жену бьешь?..

— Для порядку. Не будешь бить — спортится. Баба как лошадь: не бьешь — не везет.

— Не то что жену, а и лошадь бить нельзя! — Это она меня обучает.

Поговорили маленько и поехали. Только я для хитрости кнут-то не взял. Едем шагом, так уж скупо едем, будто горшки везем.

— Езжай шибче! — говорит Настя.

— Как я могу шибче ехать, ежели кобылу бить нельзя?

Промолчала и губы поджала. Сидит, не шелохнется, а мне того и надо, лег в задок, дремлю. Кобыла, не будь

дура, стань. Так Настя, веришь, господин гражданин... ну, одним словом, как тебя?.. сена клок в руки да вперед кобылы и чешет и чешет. А до волости восемнадцать верст. К утру доехали. Настя-то плачет. Подлецом меня обзывает, а я ей говорю:

— Назови хоть горшком, да в печь не сажай!

Обратным путем зло меня забрало. Сломил хворостинку толщиной чуть что поменьше телеграфного столба, кобылу свою нашкваривают, из хвоста пыль выколачиваю.

— Равноправенства захотела? Получай! Получай!

Во двор въехал, шумлю бабе:

— Распрягай, такая-сякая!

— Сам не барин! — И ручкой этак с порога махает

Я к ней и за чуб. Только что ж... Одна непристойность... Раньше, как она в страхе жила, так моргнуть, бывало, боялась, а тут ни с того ни с чего черк меня за бороду и разными иностранными словами... Это при детях-то. А ведь у меня девка на выданье. Баба она при силе и могла меня поцарапать, да ведь как! Начисто спустила шкуру, вылез я из ней, ровно змея из выползня. А все Настя — лихоманка стриженая!..

С этого дня получилось промеж нас гражданская война. Что ни день — бьемся с моей дурой до солнечного захода, а работа стоит. Дрались мы до беспощадного крику, а в воскресенье она манатки свои смотала, детей забрала, кой-что из хозяйства и — в панские конюшни квартировать.

Помещик у нас в хуторе когда-то при царе Горохе жил. Красные вспугнули, он и полетел в теплые края. Грамотные люди толкуют: мол, за морем скворцам да помещикам житье хорошее... Дом-то мы сожгли, а конюшни остались. Кирпичные, с полами. Вот моя шалава и укоренилась в этих конюшнях. Остался я один, как чирий на видном месте. Утром снаряжаюсь корову доить, а она, проклятущая, на меня и глядеть не желает. Я к ней и так и сяк — нет, не признает за родню! Кое-как стреножил, привязал к плетню.

— Стой,— говорю,— чертяка лопоухая, а то у меня нервы разыграются, так я тебя и жизни могу решить!

Цибарку ей под пузо сунул и только это за титьку пальчиком, благородно, а она хвостом верть и концом, метелкой своей поганой, по глазам меня. Господи-милостивец, хотел приступить с молитвой, а как она меня стеганула, а я, грешник, ее матом, и такую родителеву субботу устроил, чистые поминки!

Зажмурился, шапку на глаза натянул и ну за титьки

тягать туда и сюда. Льется молоко мимо цибарки, а она корова то есть — хвостом меня по обеим щекам... Свету я тут невзвидел, только что хотел цибарку бросать и бечь с базу зажмурки, как она, стерва, ногой брыкает и последние, сиротские, капли разлила. Проклял я этую корову, повесил ей на рога порожнюю цибарку и пошел стряпаться.

Веришь, с этого дня в нашем хуторе вся жизнь пошла вертопрахом. Дён через пять сосед мой Анисим вздумал поучить жену за то, чтоб на игрищах на молодых ребят не заглядывалась.

— Погоди,— говорит,— Дуня, я зараз чересседельню с повозки сыму и чудок побалуемся с тобой!

Она, услыхамши, заломила хвост и к моей дуре в конюшни. Через этое время прошло несколько дней, слышу, от Стешки-председателя ушла жена и свояченя, скочевали то ж самое в конюшни, потом ишо к ним две бабы пристали. Собралось их там штук восемь, обитаются табором, да и баста, а мы с хозяйствами гибнем; хошь — паши не емши, хошь — ешь, а не паши, хошь — в петлю с ногами лезь.

Собрались мы этак вечерком на завалинке, горе горюем, я и говорю:

— Братцы, до коих пор будем переживать подобные измывания? Пойдемте, ядрена вошь, выбьем их из конюшнев и приволокем в дома совсем с потрохами!

Собрались и пошли. Хотели Стешку выбрать за командира по этому делу, но он отпросился, по случаю как он грызной и постоянно грызть свою обратно впихивает.

— Я,— говорит,— молодой вьюноша и очень грызной, а потому не соответствую, а ты, Федот, в обозе третьего разряда за Советскую власть кровь проливал, притом обличьем на Колчака похож, тебе подходимей.

Подходим к конюшням, я говорю:

— Давайте спервоначалу не заводить скандальной драки. Я пойду к ним навроде как делегатом и скажу, пущай вертаются по домам: амнистия, мол, на вас вышла.

Перелез я через огорожу, иду. Отряд мой возле канавы залег в лизерве, покуривают.

Только это я открыл дверь, а Стешкина жена с ухватом:

— Ты зачем пришел, кровопивца?!

Не успел рот раззявить — сгребло меня бабьё, и тянут, просто беспощадно волокут по конюшне. Собрались в курагот, воют, а моя ведьма пуще всех:

— Зачем пришел, сукин сын?

Я с ними по-доброму:

— Бросьте, бабы, дурить! Амнистия...

Только слово это сказал, Анисимова жена как кинется с кулаками:

— Целый век смывались над нами, как над скотиной, били, ругали, и теперя выражаешься?.. Вот, на́, выкуси!.. Сам ты амнистия, а мы — честные бабы! — Шиши мне из-под ноги тычет, а потом к бабам верть: — Что мы с ним сделаем, бабоньки, за то, что тысячуется?

У меня в сердце екнуло, ровно селезенка оборвалась. Ну, думаю, острамотят, паскуды!..

До сих пор нутро наизнанку выворачивается, как вспомню... Нешто не обидно?.. Разложили на полу без всякого стыда, Дунька Анисимова села мне на голову и говорит:

— Ты не боись, Федот, мы с тобой домачними средствами обойдемся, чтоб помнил, что мы не улишные амнистии, а мужние жены!

Только какие же это домачние средства, ежели это была крапива? Притом дикая, черту на семена росла, в аршин высоты... После этого неделю не мог по-людски сесть, животом приходилось сидеть... Взволдыряла домачность-то ихняя.

На другой день собрался сход, и составили протокол, чтоб баб отроду больше не бить и обработать ихнему женисполкому десятину под подсолнухи. Бабы-то вернулись по домам, моя тоже, а мне и поныне житья нету. К примеру вижу: теляты в горо́де капусту жуют, я Гришке — сыну свому: «Поди сгони!» — а он, поганец, в ответ:

— Папаня, а за что тебя Колчаком дражнют?

По улице иду — детва проходу не дает:

— Колчак! Колчак! Ты как с бабами воевал?

Да разве ж мне не обидно? Всю жизню хлебопашеством занимался, а теперь превзошел вдруг в Колчака. У Стешки кобеля так кличут, значится, и я на собачьем положении? Не-е-ет, не согласен!.. Вот я спрашиваю-то к тому: ежели подать на баб в суд, то могете вы им, гражданин судья, приклепать подходимую статью за собачье прозвище — «Колчак» и подобное крапивное оскорбление?..

1926

ЧЕРВОТОЧИНА

Яков Алексеевич — старинной ковки человек: ширококостый, сутоловатый; борода, как новый просяной веник,— до обидного похож на того кулака, которого досужие

художники рисуют на последних страницах газет Одним несхож — одежей. Кулаку, по занимаемой должности, непременно полагается жилетка и сапоги с рыпом, а Яков Алексеевич летом ходит в холщовой рубахе, распоясавшись и босой. Года три назад числился он всамделишным кулаком в списках станичного Совета, а потом рассчитал работника, продал лишнюю пару быков, остался при двух парах да при кобыле, и в Совете в списках перенесли его в соседнюю клетку — к середнякам. Прежнюю выправку не потерял от этого Яков Алексеевич: ходил важной развалкой, так же, по-кочетиному, держал голову, на собраниях, как и раньше, говорил степенно, хриповато, веско.

Хоть урезал он свое хозяйство, а дела повел размашисто. Весной засеял двадцать десятин пшеницы; на хлебец, сбереженный от прошлогоднего урожая, купил запашник, две железные бороны, веялку. Известно уж, кто весной последнее продает: кому жевать нечего.

По всей станице поискать такого хозяина, как Яков Алексеевич: оборотистый казак, со смекалкой. Однако и у него появилась червоточина: младший сын Степка в комсомол вступил. Так-таки без спроса и совета взял да и вступил. Доведись такая беда на глупого человека быть бы неурядице в семье, драке, но Яков Алексеевич не так рассудил. Зачем парня дубиной обучать? Пусть сам к берегу прибивается. Изо дня в день высмеивал нонешнюю власть, порядки, законы, желчной руганью пересыпал слова, язвил, как осенняя муха; думал, раскроются у Степки глаза,— они раскрылись: перестал парень креститься, глядит на отца одичалыми глазами, за столом молчит.

Как-то перед обедом семейно стали на молитву. Яков Алексеевич, разлопушив бороду, отмахивал кресты, как косой по лугу орудовал; мать Степкина в поклонах ломалась, словно складной аршин; вся семья дружно махала руками. На столе дымились щи; хмелинами благоухал свежий хлеб. Степка стоял возле притолоки, заложив руки за спину, переступая с ноги на ногу.

— Ты человек? — помолившись, спросил Яков Алексеевич.

— Тебе лучше знать...

— Ну, а если человек и садишься с людьми за стол, то крести харю. В этом и разница промеж тобой и быком. Это бык так делает: из яслев жрет, а потом повернулся и туда же надворничает.

Степка направился было к двери, но одумался, вернулся и, на ходу крестясь, скользнул за стол.

За несколько дней пожелтел с лица Яков Алексеевич; похаживая по двору, хмурил брови; знали домашние, что пережевывает какую-нибудь мыслишку старик, недаром по ночам кряхтит, возится и засыпает только перед рассветом. Мать как-то шепнула Степке:

— Не знаю, Степушка, что наш Алексеевич задумал... Либо тебе какую беду строит, либо кого опутать хочет...

Степка-то знал, что на него готовит отец поход, и, притаившись, подумывал, куда направить лыжи в том случае, если старик укажет на ворота.

В самом деле, есть о чем подумать Якову Алексеевичу: будь Степке вместо двадцати пятнадцать годов, тогда бы с ним легко можно справиться. Долго ли взять из чулана новые ременные вожжи да покрепче намотать на руку? А в двадцать годов любые вожжи тонки будут; таких оболтусов учат дышлиной, но по теперешним временам за дышлину так прискребут, что и жарко и тошно будет. Как тут не кряхтеть старику по ночам и не хмурить бровей в потемках?

Максим — старший брат Степки, казак ядреный и сильный,— по вечерам, выдалбливая ложки, спрашивал Степку:

— А скажи, браток, на чуму тебе сдался этот комсомол?

— Не вяжись! — рубил Степка.

— Нет, ты скажи,— не унимался Максим.— Вот я прожил двадцать девять лет, больше твово видал и знаю и так полагаю, что пустяковина все это... Разным рабочим подходящая штука, он восемь часов отдежурил — и в клуб, в комсомол, а нам, хлеборобам, не рука... Летом в рабочую пору протаскаешься ночь, а днем какой из тебя работник будет?.. Ты по совести скажи: может, ты хочешь службу какую получить, для этого и вступил? — ехидно спрашивал Максим.

Степка, бледнея, молчал, и губы у него дрожали от обиды.

— Ерундовская власть. Нам, казакам, даже вредная. Одним коммунистам житье, а ты хоть репку пой... Такая власть долго не продержится. Хоть и крепко присосались к хлеборобовой шее разные ваши комсомолы, а как приспеет время, ажник черт их возьмет!

На потном лбу Максима подпрыгивала мокрая прядка волос. Нож, обтесывая болванку, гневно метал стружки. Степка, бесцельно листая книгу, угрюмо сопел: ему не хотелось ввязываться в спор, потому что сам Яков Алексе-

евич прислушивался к словам Максима с молчаливым одобрением, видимо, ожидая, что скажет Степка.

— Ну, а если, не приведи бог, какой переворот? Тогда что будешь делать? — хищно поблескивая зубами, щерился Максим.

— Зубы повыпадут, покель дождешься переворота!

— Гляди, Степка! Ты уж не ма́хонький... Игра идет «шиб-прошиб», промахнешься — тебя ушибут! Да случись война или ишо что, я первый тебя драть буду! Таких щенят, как ты, убивать незачем, а плетью сечь буду. До болятки!

— И следовает!..— подталдыкивал Яков Алексеевич.

— Пороть буду, вот те крест!..— подрагивая ноздрями, гремел Максим.— В германскую войну, помню, пригнали нашу сотню на какую-то фабрику под Москвой,— рабочие там бунтовались. Приехали мы перед вечером, въезжаем в ворота, а народу возле конторы — тьма. «Братцы казаки, шумят, становитесь в наши ряды!» Командир сотни — войсковой старшина Боков — командует: «В плети их, сукиных сынов!..»

Максим захлебнулся смехом и, багровея, наливаясь краской, долго раскатисто ржал.

— Плеть-то у меня сыромятная, в конце пулька зашита... Выезжаю вперед, как гаркну забастовщикам этим: «...Вставай, подымайся, рабочий народ! Приехали казаки вам спины пороть!» Попереди всех старичишка в картузе стоял, так, седенький, щупленький... Я его как потяну плетью, а он — копырь и упал коню под ноги... Что там было...— суживая глаза, тянул Максим.— Бабья этого лошадьми потоптали — штук двадцать. Ребята осатанели и уж за шашки взялись...

— А ты? — хрипло спросил Степка.

— Кое-кому вложил память!

Степка спиной прижался к печке. Прижался крепко-накрепко, сказал глухо:

— Жалко, что не шлепнули тебя, такого гада!..

— Это кто же гад?

— Ты...

— Кто гад? — переспросил Максим и, кинув на пол необтесанную ложку, поднялся со скамьи.

Ладони у Степки взмокли теплым потом. Стиснул кулаки, ногти въелись в тело, и уже твердо сказал:

— Собака ты! Каин!

Максим, вытянув руку, сжал в комок рубаху на груди у Степки, рывком оторвал его от печки и кинул на кровать. Ненависть варом обожгла парня. Метнулся в сторону,

в пальцах Максима оставил ворот рубахи, взмахнул кулаком... Хлесткий удар в щеку свалил Степку с ног. Левой рукой Максим мял ему горло, правой размеренно бил по щекам. Степка чувствовал над собой частое дыхание брата, видел холодную и такую ненужную улыбку на его губах, от каждого удара захватывало дыхание, звон колол уши, из глаз текли слезы. Крик обиды за невольные слезы, за улыбку Максима застревал в стиснутом горле... Из разбитых губ текла кровь. Вращая выпученными глазами, Степка кровью плевал в лицо брата, но тот отворачивал в сторону голову, показывая бритую жилистую шею, и так же размеренно, молча кидал шершавую ладонь на вспухшие щеки Степки...

Выждав время, разнял их сам Яков Алексеевич. Максим, все так же улыбаясь, поднял с земли недоделанную ложку, сел возле окна. Степка вытер рукавом окровяненные губы, надел шапку и вышел, тихонько притворив за собой дверь.

— Ему это на пользу... Пущай за борозду не залазит, а то он скоро и до отца доберется! — заговорил Максим.

Яков Алексеевич задумчиво мял бороду, хмурился, поглядывая на мокрое от слез лицо старухи.

* * *

Наутро Максим первым затеял разговор.

— Пойдешь в Совет жалиться? — спросил он Степку.

— Пойду!

— А по-семейному это будет?

Степка глянул на посеревшее лицо Максимовой жены, на мать, утиравшую глаза завеской, и промолчал. Про себя решил снести обиду, молчать.

С этого дня надолго легла в доме нудная тишина. Бабы говорили шепотом. Яков Алексеевич, пасмурный, как ноябрьский рассвет, молчал, Максим, виновато улыбаясь, заговаривал со Степкой:

— Ты, браток, не всякую лыку в строку. Мало ли чего не бывает в семье... А все это через твой комсомол! Брось ты его к чертовой матери! Жили без него, да и теперь проживем. Какая тебе нужда переться туда? Отцу вон соседи в глаза лезут: «Что ж, мол, Степка-то ваш в комсомолисты подался?» А старику ить совестно... Опять же жениться тебе, какая девка без венца пойдет? Хлюстанку брать?

Степка отмалчивался, уходил на баз. По вечерам шел на

площадь, в клуб. Под хрипенье поповской фисгармонии думал невеселые думки.

А на станицу напористо перла весна. На девичьих щеках появились веснушки, на вербах — почки. По улицам отзвенело весеннее половодье. Неприметно куда ушел снег, под солнечным пригревом дымилась, таяла в синеве бирюзовая степь. В степных ярах, в буераках, вдоль откосов еще лежал снег, поганя землю своей несвежей, излапанной ветрами белизной, а по взгорьям, по лохматым буграм уже взбрыкивали овцы, степенно похаживали коровы, и зеленые щепотки травы, пробиваясь сквозь прошлогоднюю блеклую старюку, пахли одурманивающе и нежно.

Пахать выехали в средине марта. Яков Алексеевич засуетился раньше всех. С масленицы начал подсыпать быкам кукурузу, кормил сытно, по-хозяйски.

Солнце еще не выпило из земли жирного запаха весенней прели, а Яков Алексеевич уже снаряжал сынов, и в четверг, чуть рассвело, выехали в степь. Степка погонял быков, Максим ходил за плугом. Два дня жили в степи за восемь верст от дома. По ночам давили морозы, трава обрастала инеем, земля, скованная ледозвоном, отходила только к полудню, и две пары быков, пройдя два-три загона, становились на постав, над мокрыми спинами клубами пенился пар, бока тяжело вздымались. Максим, очищая с сапог налипшую грязь, косился на отца, хрипел простуженным голосом:

— Ты батя, сроду так... Ну, рази это пахота? Это увечье, а не работа. Скотину порежем начисто... Ты погляди кругом: окромя нас, пашет хоть одна душа?

Яков Алексеевич палочкой скреб лемеши, гундосил:

— Ранняя пташка носик очищает, а поздняя глазки протирает. Так-то говорят старые люди, а ты, молодой, разумей!

— Какая там пташечка! — кипятится Максим.— Она, эта самая пташечка, будь она трижды анафема, не сеет, не жнет и не пашет в таковскую погоду, а ты, батя... Да что там... Кхе-кхе... Кхе!..

— Ну, отдохнули, трогай сынок, с богом!

— Чего там трогай, налево кругом — и марш домой!

— Трогай, Степан!

Степка арапником вытягивал сразу обоих бороздённых. Плуг, словно прилипая к земле, скрипел, судорожно подрагивал и полз, лениво отваливая тонкие пласты грязи.

* * *

С того дня, как стал Степка комсомольцем, откололась от него семья. Сторонились и чуждались, словно заразного. Яков Алексеевич открыто говорил:

— Теперь, Степан, не будет прежнего ладу. Ты нам навроде как чужой стал... Богу не молишься, постов не блюдешь, батюшка с молитвой приходил, так ты и под святой крест не подошел... Разве ж это дело? Опять же хозяйство,— при тебе слово лишнее опасаешься сказать... Раз уж завелась в дереве червоточина — погибать ему, в труху превзойдет, ежели вовремя не вылечить. А лечить надо строго, больную ветку рубить, не жалеючи... В писании и то сказано.

— Мне из дому идтить некуда,— отвечал Степка.— На этот год на службу уйду, вот и развяжу вам руки.

— Из жилья мы тебя не выгоняем, но поведенье свое брось! Нечего тебе по собраньям шляться, на губах еще не обсохло, а ты туда же, рот разеваешь. Люди в глаза мне смеются через тебя, поганца.

Старик, разговаривая со Степкой, багровел, едва сдерживал волнение, а Степка, глядя в холодные отцовы глаза, на жесткие по-звериному изломы губ, вспоминал упреки ребят-комсомольцев: «Обуздай отца, Степка. Ведь он разоряет бедноту, скупая под весну за бесценок сельскохозяйственные орудия. Стыдно!»

И Степка, вспоминая, действительно краснел от жгучего стыда, чувствовал, что в сердце нет уже ни прежней кровной любви, ни жалости к этому беспощадному дёру — к человеку, который зовется его отцом.

Будто каменной глухой стеной отгородилась от Степки семья. Не перелезть эту стену, не достучаться.

Отчуждение постепенно переходило в маленькую сначала злобу, а злобу сменила ненависть. За обедом, случайно подняв глаза, встречал Степка леденистые глаза Максима, переводил взгляд на отца и видел, как под сумчатыми веками Якова Алексеевича загораются злобные огоньки, в руке начинает дрожать ложка. Даже мать и та стала смотреть на Степку равнодушным, невидящим взглядом. Кусок застревал у парня в горле, непрошеные слезы жгли глаза, валом вставало глухое рыдание. Скрепясь, наскоро дообедывал и уходил из дому.

По ночам часто Степке снился один и тот же сон: будто хоронят его где-то в степи, под песчаным увалом. Кругом незнакомые, чужие люди, на увале растут сухобылый

бурьян иостролистый змеиный лук. Отчетливо, как наяву, видел Степка каждую веточку, каждый листик...

Потом в яму бросали его, Степкино, мертвое тело и сыпали лопатами глину. Один холодный грузный ком падает на грудь, за ним другой, третий... Степка проснулся, ляская зубами, со стесненной грудью, и, уже проснувшись, дышал глубокими частыми вздохами, словно ему не хватало воздуха.

* * *

На время кончились полевые работы. Степь пустовала без людей, лишь на огородах маячили цветные платки баб. По вечерам станица, любовно перевитая сумерками, дремала на высохшей земляной груди, разметав по окраинам зеленые косы садов. Перезвоны гармошек подолгу бродили за станицей, там, где урубом кончается степь и начинается пухлая синь неба. Подходил покос. Трава вымахала в пояс человеку. На остреньких головках пырея стали подсыхать ости, желтели и коробились листки, наливалась соком сурепка, в логах кучерявился конский щавель.

Яков Алексеевич раньше всех выкосил свою делянку, по ночам запрягал быков и уезжал от стана с Максимом за грань, на вольные земли станичного фонда. Гасли звезды, пепельно серело небо, зорю выбивал перепел; просыпаясь под арбой, Степка слышал, как по росе цокотала косилка, выкашивая краденую траву.

Сена набрал Яков Алексеевич на две зимы. Хозяйственный человек он и знает, что на провесне, когда у бестягловых скотинка с голоду будет дохнуть, можно за беремя сена взять добрые деньги, а если денег нет, то и телушку-летошницу с база на свой баз перегнать. Вот поэтому-то Яков Алексеевич и вывершил прикладок вышиной в три косовых. Злые люди поговаривали, что и чужого сенца прихватил ночушкой Яков Алексеевич, но ведь не пойманный — не вор, а так мало ли какую напраслину можно на человека взвалить...

* * *

В субботу затемно пришел Прохор Токин. Долго мялся возле дверей, крутил в руках затасканную зеленую буденовку, тоскливо и заискивающе улыбался. «Пришел быков

у отца просить»,— подумал Степка. Сквозь изодранные мешочные штаны Прохора проглядывало дряблое тело, босые ноги сочились кровью, в глубоких глазницах тускло, как угольки под золою, тлели слегка раскосые черные глаза. Взгляд их был злобно-голоден и умоляющ.

— Яков Алексеевич, выручи, ради Христа! Отработаю.

— А что у тебя за беда? — спросил тот, не вставая с кровати.

— Быков бы мне на день... Сено перевезть. Завтра день праздничный... а я бы перевез... Разворуют сено-то!

— Быков не дам!

— Ради Христа!

— Не проси, Прохор, не могу. Скотина мореная.

— Уважь, Яков Алексеевич. Сам знаешь, семья... чем коровенку зимовать буду? Бился, бился, не косил, а по былке выдергивал...

— Дай быков, отец! — вмешался Степка.

Прохор метнул в его сторону благодарный взгляд, суетливо моргая глазами, уставился на Якова Алексеевича. Неожиданно Степка увидел, что колени у Прохора мелко подрагивают, а он, желая скрыть невольную дрожь, переступает с ноги на ногу, как лошадь, посаженная на передок; чувствуя приступ омерзительной тошноты, Степка побледнел, выкрикнул лающим голосом:

— Дай быков! Что жилы тянешь!..

Яков Алексеевич насупил брови.

— Ты мне не указ. А коли такой желанный, то езжай в праздник сено вози! Своих быков в чужие руки я не доверяю!

— И поеду.

— Ну, и езжай!

— Спасибочко, Яков Алексеевич! — Прохор выгнулся в поклоне.

— Спасибо — спасибом, а молотьба придет — на недельку приди, поработаешься.

— Приду.

— То-то, гляди!

* * *

В воскресенье, едва засветлел рассвет, под окнами хат и хатенок загремели костыли квартальных. Яков Алексеевич встретил своего квартального возле крыльца.

— Ты чего спозаранку томашишься?

— Рассвенется, приходи в школу на собрание.— Квартальный развернул кисет и, слюнявя клочок газеты, невнятно пробурчал: — Статист приехал посевы записывать... Для налогу... Вот какие дела... Прощевайте!

Пошел к калитке, на ходу чиркая спичкой, громыхая сыромятными чириками. Яков Алексеевич задумчиво помял бороду и, обращаясь к Максиму, гнавшему быков с водопоя, крикнул:

— Быков повремени давать Прохору. Нынче утром собрание всчет налога. Статист приехал. Пойдем обое со Степкой. Он комсомолист, может, ему какая скидка выйдет. Что же, задарма он, что ли, обувку отцовскую бьет, по клубам шатается.

Максим бросил быков и торопливо подошел к отцу.

— Ты, гляди, на старости лет не сдури... Записывай замест двадцати десятин — шесть либо семь.

— Нашел, кого учить,— усмехнулся Яков Алексеевич.

За завтраком Яков Алексеевич небывало ласковым голосом сказал Степке:

— С Прохором поедешь за сеном на ночь, а зараз одевай праздничные шаровары и пойдем на собрание.

Степка промолчал. Позавтракал и, ни о чем не спрашивая, пошел с отцом. В школе народу — как колосу на десятине в урожайный год. Дошла очередь и до Якова Алексеевича. Позеленевший от табачного дыма статистик, гладя рыжую бороду, спросил:

— Сколько десятин посева?

Яков Алексеевич, помолчав, деловито прижмурил глаз.

— Жита две десятины,— на левой его руке палец пригнулся к ладони,— проса одна десятина,— согнулся другой растопыренный палец,— пшеницы четыре десятины...

Яков Алексеевич придавил третий палец и поднял глаза к потолку, словно что-то про себя подсчитывая. В толпе кто-то хихикнул; покрывая смех, кто-то густо кашлянул.

— Семь десятин? — спросил статистик, нервно постукивая карандашом.

— Семь,— твердо ответил Яков Алексеевич.

Степка, расчищая локтями дорогу, прорвался к столу.

— Товарищ! — Голос у Степки суховато-хриплый, рвущийся.— Товарищ статист, тут ошибка... Отец запамятовал...

— Как запамятовал? — бледнея, крикнул Яков Алексеевич.

— ...запамятовал еще один клин пшеницы... Всего двадцать десятин посеву.

В толпе глухо загудели, зашушукались. Из задних рядов несколько голосов сразу крикнули:

— Верна! Правильна! Брешет Яков... у него три раза по семь будет!..

— Что же вы, гражданин, вводите нас в заблуждение? — Статистик вяло сморщился.

— Кто его знает... враг попутал... верно, двадцать... Так точно... Вот, боже ты мой... Скажи на милость, запамятовал...

Губы у Якова Алексеевича растерянно вздрагивали, на посиневших щеках прыгали живчики. В комнате стояла неловкая тишина. Председатель что-то шепнул статистику на ухо, и тот красным карандашом зачеркнул цифру «7» и вверху жирно вывел — «20».

* * *

Степка забежал к Прохору, и через сады, торопясь, дошли до дому.

— Ты, брат, поспешай, а то придет отец с собрания, быков ни черта не даст!

Наскорях выкатили из-под навеса арбы, запрягли быков. Максим с крыльца крикнул:

— Записали посев?

— Записали.

— Что же, сделали тебе какую скидку?

Степка, не поняв вопроса, промолчал. Выехали за ворота. От площади к проулку почти рысью трусил Яков Алексеевич.

— Цоб!

Кнут заставил быков прибавить шагу. Две арбы с опущенными лестницами, мягко погромыхивая, потянулись в степь.

Возле ворот запыхавшийся Яков Алексеевич махал шапкой.

— Во-ро-чай-ся! — клочьями нес ветер осипший крик.

— Не оглядывайся! — крикнул Степка Прохору и induced налег на кнут.

Арбы спустились, как нырнули, в яр, а от станицы, от осанистого дома Якова Алексеевича, все еще плыл тягучий рев:

— Вер-ни-ись, су-кин сы-ын!..

* * *

Затемно доехали до Прохоровых копен. Распрягли быков, пустили их щипать огрехи на скошенной делянке. Наложили возы сеном и порешили ночевать в степи, а перед рассветом ехать домой.

Прохор, утоптав второй воз, там же свернулся клубком, поджал ноги и уснул. Степка прилег на землю. Накинув зипун от росы, лежал, глядя на бисерное небо, на темные фигуры быков, щипавших нескошенную траву. Парная темь точила неведомые травяные запахи, оглушительно звенели кузнечики, где-то в ярах тосковал сыч.

Неприметно как — Степка уснул.

Первым проснулся Прохор. Мешковато упал с воза, присел над землей, вглядываясь, не видно ли где быков. Темнота густая, фиолетовая, паутиной оплетала глаза. Над логом курился туман. Дышло Большой Медведицы торчало, опускаясь на запад.

Шагах в десяти Прохор наткнулся на спавшего Степку.

Тронул рукою зипун, шерсть, взмокшая леденистой росой, приятно свежила руку.

— Степан, вставай! Быков нету!..

Пропавших быков искали до вечера. Исколесили степь кругом на десять верст, облазили все буераки, истоптали пышный цвет нескошенных трав по логам и балкам.

Быки — как сквозь землю провалились.

Перед вечером сошлись возле осиротелых возов, и почерневший, осунувшийся Прохор первый спросил:

— Что делать?

Голос его звучал глухо. Раскосые беспокойные глаза слезливо моргали...

— Не знаю,— с тяжелым равнодушием ответил Степка.

* * *

Яков Алексеевич глянул на солнце, чихнул и позвал Максима.

— Не иначе, обломались в яру. Вечер на базу, а их нету... Приедет, проклятый,— поучим, да хорошенько... За посев поблагодарить надо... Оказал отцу помочь... Воспитал змеиного выродка...— И, багровея, рявкнул: — Запрягай кобылу!.. Поедем встренем!..

Еще издали Максим увидел возле возов с сеном недвижно сидящих Степку и Прохора.

— Батя!.. Гля-ко, никак, быков нету...— шепнул он упавшим голосом.

Яков Алексеевич согнул ладонь лодочкой, долго вглядывался: разглядев, стегнул кнутом кобылу. Повозка заметалась по кочковатой целине. Максим, причмокивая, махал вожжами.

— Где быки?..— покрывая стукотню колес, загремел Яков Алексеевич.

Повозчонка стала около переднего воза. Максим на ходу спрыгнул, осушив ноги и морщась, быстро подошел к Степке.

— Быки где?

— Пропали.

Страшный в зверином гневе, повернулся к бегущему отцу Максим, заорал исступленно:

— Пропали быки, батя!.. Твой сынок... разорили нас... По́ миру с сумкой!..

Яков Алексеевич с разбегу ударил побелевшего Степку и повалил его наземь.

— Убью!.. Зоб вырву!.. Признавайся, проклятый: продал быков?! Тут, небось, купцы... ждали... Через это охотился за сеном ехать!.. Го-во-ри!..

— Батя!.. Батя!..

В стороне Максим катал по земле Прохора. Бил сапогами в живот, грудь, голову. Прохор закрывал ладонями лицо и глухо мычал.

Выхватив из воза вилы, Максим вздернул Прохора на ноги, сказал просто и тихо:

— Признавайся: продали со Степкой быков? Сговорено дело было?

— Братушка!.. Не греши...— Прохор поднимал руки, и кровь, густая, синевато-черная, ползла у него из разбитого рта на рубаху.

— Не скажешь?..— шепотом просипел Максим.

Прохор заплакал, икая и дергаясь головой... Зубья вил легко, как в копну сена, вошли ему в грудь, под левый сосок. Кровь потекла не сразу...

Степка бился под отцом, выгибаясь дугою, искал губами отцовы руки и целовал на них вспухшие рубцами жилы и рыжую щетину волос...

— Под сердце... бей...— хрипел Яков Алексеевич, распиная Степку на мокрой, росистой земле...

* * *

Домой приехали затемно. Яков Алексеевич всю дорогу лежал вниз лицом. На ухабах голова его глухо стукалась в днище повозки. Максим, бросив вожжи, обметал со штанов невидимую пыль. Не доезжая до хутора, скороговоркой кинул:

— Приехали, мол, а они лежат побитые. Не иначе, мол, порешили их из-за быков... А быков взяли...

Яков Алексеевич промолчал. У ворот их встретила Аксинья, Максимова жена. Почесывая под домотканой юбкой большой обвислый живот (ходила она на сносях), сказала с ленивым сожалением:

— Зря вы кобылу-то гоняли... Быки, вон они, домой пришли, проклятые. Что же Степка-то, аль остался искать?

И, не дождавшись ответа, крестя рот, раззявленный зевотой, пошла в дом тяжелой, ковыляющей походкой.

1926

ЛАЗОРЕВАЯ СТЕПЬ

Над Доном, на облысевшем от солнечного жара бугре, под кустом дикого терна лежим мы: дед Захар и я. Рядом с чешуйчатой грядкой туч бродит коричневый коршун. Листья терна, пестро окрашенные птичьим пометом, не дают нам прохлады. От зноя в ушах горячий звон; когда смотришь вниз на курчавую рябь Дона или под ноги на сморщенные арбузные корки — в рот набегает тягучая слюна, и слюну эту лень сплевывать.

В лощине, возле высыхающей музги, овцы жмутся в тесные кучи. Устало откинув зады, виляют захлюстанными курдюками, надрывно чихают от пыли. У плотины здоровенный ягночище, упираясь задними ногами, сосет грязно-желтую овцу. Изредка поддает головой в материно вымя; овца стонет, горбится, припуская молоко, и, мне кажется, выражение глаз у нее страдальческое.

Дед Захар сидит ко мне боком. Скинув вязаную шерстяную рубаху, он подслеповато жмурится и ощупью что-то ищет в складках и швах. Деду без года семьдесят.

Голая спина замысловато опутана морщинами, лопатки острыми углами выпирают под кожей, но глаза — голубые и юные, взгляд из-под серых бровей — проворен и колюч.

Пойманную вошь он с трудом держит в дрожащих зачерствелых пальцах, держит ее бережно и нежно, потом кладет на зе́млю, подальше от себя, мелким крестиком чертит воздух и глухо бурчит:

— Уползай, тварь! Жить, небось, хочешь? А? То-то о́но... Ишь ты, насосалась... помещица...

Кряхтя, напяливает дед рубаху и, запрокидывая голову, тянет из деревянной баклаги степлившуюся воду. Кадык при каждом глотке ползет вверх, от подбородка к горлу свисают две обмякшие складки, по бороде текут капельки, сквозь опущенные шафранные веки красновато просвечивает солнце.

Затыкая баклагу, он искоса глядит на меня и, перехватив мой взгляд, сухо жует губами, смотрит в степь. За лощиной дымкой теплится марево, ветер над обугленной землей пряно пахнет чабрецовым медом. Помолчав, дед отодвигает от себя пастушечью чакушу [1], обкуренным пальцем указывает мимо меня.

— Видишь, за энтим логом макушки тополев? Имение панов Томилиных — Тополевка. Там же около и мужичий поселок Тополевка, раньше крепостные были. Отец мой кучеровал у пана до смерти. Мне-то, огольцу, он рассказывал, как пан Евграф Томилин выменял его за ручного журавля у соседа-помещика. После отцовой смерти я заступил на его место кучером. Самому пану в это время было под шестьдесят. Ту́шистый был мужчина, многокровный. В молодости при царе в гвардии служил, а потом кончил службу и уехал доживать на Дон. Землю ихнюю на Дону казаки отобрали, а пану казна отрезала в Саратовской губернии три тыщи десятин. Сдавал он их в аренду саратовским мужикам, сам проживал в Тополевке.

Диковинный был человек. Ходил завсегда в бешмете тонкого сукна, при кинжале. Поедет, бывало, в гости, выберемся из Тополевки, приказывает:

— Гони, хамлюга!

Я лошадям кнута. Скачем — ветер не поспевает слезы сушить. Попадется середь дороги ярок,— водой вешней их нарежет через дорогу пропасть,— передних колес не слыш-

---

[1] Чакуша — пастуший костыль.

но, а задние только — гах!.. Скрадем полверсты, пан ревет: «Поворачивай!» Оберну назад и во весь опор к тому ярку... Раз до трех в проклятущем побываем, покель изломаем лесóрину либо колеса с коляски живьем сымем. Тогда крякнет мой пан, встанет и идет пешки, а я следом коней в поводу веду. Была у него ишо такая забава: выедем из имения — он сядет со мной на козлы, вырвет кнут из рук. «Шевели коренного!..» Я коренника раскачиваю вовсю, дуга не шелохнется, а он кнутом пристяжную режет. Выезд был тройкой, в пристяжных ходили дончаки чистых кровей, как змеи, голову набок, землю грызут.

И вот он кнутом полосует какую-нибудь одну, сердяга пеной обливается... Потом кинжал вынет, нагнется и постромки — жик, как волос бритвой срежет. Лошадь-то саженя два через голову летит, грохнется обземь, кровь из ноздрей потоком — и готова!.. Таким способом и другую... Коренник до той поры прет, покеда не запалится, а пану хотя бы что, ажник повеселеет малость, кровица так и заиграет на щеках.

Сроду до места прибытия не доезжал: либо коляску обломает, либо лошадей погубит, а после пéшки прет... Веселый был пан... Дело прошлое, пущай нас бог судит... Присватался он к моей бабе, она в горничных состояла. Прибежит, бывало, в людскую — рубаха в шмотьях — ревет белугой. Гляну, а у ней все груди искусаны, кожа лентами висит... Раз как-то посылает меня пан в ночь за фершалом. Знаю, что надобности нету, смекнул в чем дело, взял в степи ночи дождался и вернулся. В имение через гумно въехал, бросил лошадей в саду, взял кнут и иду в людскую в свою каморку. Дверью рыпнул, серников нарочно не зажигаю, а слышу, что на кровати возня... Тольки это приподнялся мой пан, я его кнутом, а кнут у меня был с свинчаткой на конце... Слышу, гребется к окну, я в потемках ишо раз его потянул через лоб. Высигнул он в окно, я маленько похлестал бабу и лег спать. Дён через пять поехали в станицу; стал я пристегивать полсть на коляске, а пан кнут взял и разглядывает конец. Вертел, вертел в руках, свинчатку нащупал и спрашивает:

— Ты, собачья кровь, на что свинец зашил в кнут?

— Вы сами изволили приказать,— отвечаю ему.

Промолчал и всю дорогу до первого ярка сквозь зубы посвистывает, а я обернусь этак мельком — вижу: волосы на лоб спущены и фуражка глубоко надвинута...

Года через два паралик его задушил. Привезли в Усть-Медведицу, докторов поназвали, а он лежит на полу, почернел весь. Достает катериновки из кармана пачками, кидает на пол, хрипит в одну душу: «Лечите, гады! Всё отдам!..»

Царство небесное, помер с деньгами. Наследником сын-офицер остался. Махоньким был, так щенят, бывалоча, живьем свежует — обдерет и пустит. В папашу выродился. А подрос — перестал дурить. Высокий был, тонкий, под глазами сроду черные круги, как у бабы... Носил на носу очки золотые, на снурке очки-то. В германскую войну был начальником над пленными в Сибири, а после переворота объявился в наших краях. К тому времени у меня от покойного сына уж внуки были в годах; старшего, Семена, женил, а Аникушка ходил ишо в парубках. При них я проживал, концы жизни в узелочек завязывал... Весной обратно получился переворот. Выгнали наши мужики молодого пана из имения, в тот же день на обчестве Семка мужиков уговаривал панские угодья разделить и имущество забрать по домам. Так и сделали: добро растянули, а землю порезали на делянки и зачали пахать. Через неделю, а может, и меньше, дошел слух, что идет пан с казаками наш поселок вырезать. Сходом послали мы две подводы на станцию за оружием. На страстной неделе привезли от Красной гвардии оружье, порыли за Тополевкой окопы. Протянули их ажник до панского пруда.

Видишь, вон там, где чабрец растет круговинами, за энтой балкой и легли тополевцы в окопы. Были там и мои — Семка с Аникеем. Бабы с утра харчи им отнесли, а солнце в дуб — на бугре появилась конница. Рассыпались лавой, засинели шашки. С гумна видал я, как передний на белом коне махнул палашом, и конные горохом посыпались с бугра. По проходке угадал я белого панского рысака, а по коню узнал и седока... Два раза наши сбивали их, а на третий обошли казаки сзаду, хитростью взяли, и пошла тут сеча... Заря истухла, кончился бой. Вышел я из хаты на улицу, вижу: гонят конные к имению кучу народу. Я — костыль в руки и туда.

Во дворе наши тополевские мужики сбились в кучу, не хуже, как вот эти овцы. Кругом казаки... Подошел, спрашиваю:

— А скажите, братцы, где мои внуки?

Слышу, из середки откликаются обое. Потолковали мы промеж себя трошки; вижу, выходит на крыльцо пан. Увидал меня и шумит:

— Это ты, дед Захар?
— Так точно, ваше благуродие!
— Зачем пришел?
Подхожу к крыльцу, стал на колени.
— Внуков пришел из беды выручать. Поимей милость, пан! Папаше вашему, дай бог царство небесное, век служил, вспомни, пан, мое усердие, пожалей старость!..
Он и говорит:
— Вот что, дед Захар, я оченно уважаю твои заслуги перед моим папашей, но внуков твоих вызволить не могу. Они коренные смутьяны. Смирись, дед, духом.
Я ножки его обнял, ползу по крыльцу.
— Смилуйся, пан! Родимушка мой, вспомни, как дед Захар тебе услужал, не губи, у Семки мово ить дите грудное!
Закурил он пахучую папироску, дым кверху пущает и говорит:
— Поди скажи им, мерзавцам, пущай придут ко мне в комнаты; ежели выпросят прощение — так и быть, ради папашиной памяти, вкачу им розог и запишу в свой отряд. Может, они усердием и покроют свою страмную вину.
Я рысью во двор, рассказал внукам, тяну их за рукава:
— Идите, дурные, с земли не вставайте, покеда не простит!
Семен хоть бы голову поднял. Сидит на припечках и былкой землю ковыряет. Аникушка глядел-глядел на меня да как брякнет:
— Поди,— говорит,— к своему пану и скажи ему: мол, дед Захар на коленях всю жисть полозил, и сын его полозил, а внуки уже не хочут. Так и передай!
— Не пойдешь, сучий сын?
— Не пойду!
— Тебе, поганцу, жить-помирать — один алтын, а Семку куда тянешь? На кого бабу с дитем кинет?
Вижу, у Семена затряслись руки, копает землю былкой, ищет там неположенного, сам молчит. Молчит, как бык.
— Иди, дедушка, не квели нас,— просит Аникей.
— Не пойду, гад твоей морде! Анисья Семкина руки на себя наложит в случае чего!..
У Семена былка-то в руках хрусть — и сломилась.
Жду. Обратно молчат.
— Семушка, опомнись, кормилец мой! Иди к пану.

— Опомнились! Не пойдем! Иди полозь ты! — лютует Аникушка.

Я и говорю:

— Попрекаешь тем, что перед паном на коленках стоял? Что ж, я человек старый, вместо материной титьки панский кнут сосал... Не погребую и перед родными внуками на колени стать.

Стал на колени, земно кланяюсь, прошу. Мужики отвернулись, быдто и не видят.

— Уйди, дед... Уйди, убью! — орет Аникушка, а у самого пена на губах и глаза дикие, как у заарканенного волка.

Повернулся я и опять к пану. Ножки его прижал к грудям — не отпихнет, руки закаменели, и уж слова не выговорю. Спрашивает:

— Где же внуки?

— Боятся, пан...

— А, боятся...— И больше ничего не сказал. Сапожком своим ударил меня прямо в рот и пошел на крыльцо.

Дед Захар задышал порывисто и часто; на минутку лицо его сморщилось и побелело; страшным усилием задушив короткое, старческое рыданье, он вытер ладонью сухие губы, отвернулся. В стороне за музгой коршун, косо распластав крылья, ударился в траву и приподнял над землей белогрудого стрепета. Перья упали снежными лохмотьями, блеск их на траве был нестерпимо резок и колюч. Дед Захар высморкался и, вытерев пальцы о подол вязаной рубахи, снова заговорил:

— Вышел я следом на крыльцо, глядь — Аниська Семенова с дитем бежит. Не хуже, как этот коршун, вдарилась она об мужа и пристыла у него на руках...

Подозвал пан вахмистра, указывает на Семена с Аникушкой. Вахмистр, с ним шесть казаков, взяли их и повели в панскую леваду. Я следом иду, а Аниська дитя кинула посередь двора и за паном волокется. Семен попереди всех шибко-шибко идет, дошел до конюшни и сел.

— Ты чего это? — спрашивает пан.

— Сапог ногу жмет, мо́чи нет.— И улыбается.

Снял сапоги, подает мне:

— Носи, дедушка, на доброе здоровье. На них подошвы двойные, добрые.

Забрал я эти сапоги, опять идем. Поравнялись с огорожей, поставили их к плетню, казаки ружья заряжают, пан стоит около, ноготки на пальцах махонькими

ножничками обрезает, и ручка ихняя очень белая. Говорю я ему:

— Дозвольте, пан, посымать им одежу. Одежа на них добрая, нам по бедности сгодится, сносим.

— Пущай сымают.

Снял Аникушка шаровары, вывернул наизнанку и повесил на колышек плетня. Из кармана вынул кисет, закурил, стоит, ногу отставил и дым колечками пущает, а плюет через плетень... Семен растелешился догола, исподники холщовые — и то снял, а шапку-то позабыл снять,— знать, замстило... Меня то морозом дерет, то в жар кинет. Лапну себя за голову, а пот зачем-то холодный, как родниковая вода... Гляну — стоят рядушком... У Семена грудь вся дремучим волосом поросла, голый, а на голове шапка... Анисья, по бабьему положению, глянула, что стоит муж такой на́гий и в шапке, как кинется к нему, обвилась, ровно хмель вокруг дуба. Семен от себя ее отпихивает.

— Уйди, шалава!.. Опомнись, на людях-то!.. Повылазило тебе, не видишь, что я очень голый... совестно...

Она же раскосматилась, ревет в одну душу:

— Стреляйте обех нас!..

Пан ножнички свои положил в кармашек, спрашивает:

— Стрелять?

— Стреляй, проклятый!..

Это на пана-то!

— Привяжите ее к мужу! — приказывает.

Анисья опамятовалась да назад, ан не тут-то было. Казаки смеются, вяжут ее к Семену недоуздком... Упала, глупая, наземь и мужа свалила... Пан подошел, скрозь зубы спрашивает:

— Может, ради дитя, какое осталось, попросишь прощенья?

— Попрошу,— стонает Семен.

— Ну, попроси, только у бога... опоздал у меня просить!..

На земле лежачих их и побили... Аникушка после выстрелов закачался на ногах, но упал не сразу. Спервоначалу на колени, а потом резко обернулся и лег вверх лицом. Пан подошел, спрашивает очень ласково:

— Хочешь жить? Коли хочешь — проси прощенья. Так и быть, полсотни розог — и на фронт.

Набрал Аникушка слюней полон рот, а доплюнуть силов не хватило, по бороде потекли... Побелел весь от злости, только куда уж... три пули его продырявили...

— Перетяните его на дорогу! — приказывает пан.

Поволокли его казаки и кинули через плетень, поперек дороги. Тем часом в станицу из Тополевки ехала сотня казаков, при них две пушки. Пан на плетень, как кочет, вскочил, звонко кричит:

— Ездовый, ры-сью, не объезжать!..

На мне волосы встали дыбом. Держу в руках Семенову одежу и сапоги, а ноги не держат, гнутся... Лошади, они имеют божью искру, ни одна на Аникушку не ступнула, сигают через... Припал я к плетню, глаза не могу закрыть, во рту спеклось... Колеса пушки попали на ноги Аникею... Захрустели они, как ржаной сухарь на зубах, измялись в тоненькие трощинки... Думал, помрет Аникей от смертной боли, а он хоть бы крикнул, хоть бы стон уронил... Лежит, голову плотно прижал, землю с дороги пригоршнями в рот пихает... Землю жует и смотрит на пана, глазом не сморгнет, а глаза ясные, светлые, как небушко...

Тридцать два человека в тот день расстрелял пан Томилин. Один Аникей живой остался через гордость свою...

Дед Захар пил из баклаги долго и жадно. Утирая выцветшие губы, нехотя докончил:

— Быльем поросло это. Остались одни окопы, в каких наши мужики землю себе завоевывали. Растет в них мурава да краснобыл степной... Аникею ноги отняли, ходит он теперя на руках, туловищу по земле тягает. С виду — веселый, с Семеновым парнишкой кажин день возле притолоки меряются. Парнишка-то перерастает его... Зимой, бывало, вылезет на проулок, люди скотину к речке гонят поить, а он подымет руки и сидит на дороге... Быки со страху на лед побегут, на сколизи чуть не раздираются, а он смеется... Один раз лишь заприметил я... Весной трактор нашей коммуны землю пахал за казачьей гранью, а он увязался, поехал туда. Я овец пас неподалеку. Гляжу, полозит мой Аникей по пахоте. Думаю, что он будет делать? И вижу: оглянулся Аникей кругом, видит, людей вблизи нету, так он припал к земле лицом, глыбу, лемешами отвернутую, обнял, к себе жмет, руками гладит, целует... Двадцать пятый год ему, а землю сроду не придется пахать... Вот он и тоскует...

В дымчато-синих сумерках дремала лазоревая степь, на круговинах отцветающего чабреца последнюю за день взятку брали пчелы. Ковыль, белобрысый и напыщенный, надменно качал султанистыми метелками. Овечья

отара двигалась под гору к Тополевке. Дед Захар, опираясь на чакушу, шел молча. По дороге, на заботливо расшитом полотнище пыли, виднелись следы: один волчий, шаг в шаг, редкий и разлапистый, другой — косыми полосами кромсавший дорогу — след тополевского трактора.

Там, где летник вливается в заросший подорожником позабытый Гетманский шлях, следы расстались. Волчий свернул в сторону, в яры, залохматевшие зеленой непролазью бурьяна и терновника, а на дороге остался один след, пахнувший керосиновой гарью, размеренный и грузный.

1926

БАТРАКИ

I

У подножья крутолобой коричневой горы, в вербах, густо поднявшихся по обеим сторонам речки, между садами, обнесенными старыми замшелыми плетнями, жмутся, словно прячутся от докучливых взоров проезжих и прохожих, домики поселка Даниловки.

В поселке сотня с лишним дворов. По главной улице вдоль речки размашисто и редко поосели дворы зажиточных мужиков. Едешь по улице, и сразу видно, что основательные хозяева живут: дома крыты жестью и черепицей, карнизы с зубчатой затейливой резьбой, крашенные в голубое ставни самодовольно поскрипывают под ветром, будто рассказывают о сытой и беспечальной жизни хозяев. Ворота на этой улице — дощатые, надежные, плетни новые, во дворах сутулятся амбары, и на проезжего, гремя цепями, давясь злобным хрипеньем, брешут здоровенные собаки.

Другая улица, кривая и тесная, лежит на взгорье, обросла вербами, словно течет под зеленой крышей деревьев, и ветер гоняет по ней волны пыли, крутит кружевным облаком золу, просыпанную у плетней. На второй улице не дома, а домишки. Неприкрытая нужда высматривает из каждого окна, из каждого подворья, обнесенного реденьким, ветхим частоколом.

Лет пять назад пожар догола вылизал постройки на

второй улице. Вместо сгоревших деревянных домов слепили мужики саманные хатенки, кое-как пообстроились, но с той поры нужда навовсе прижилась у погорельцев, глубже глубокого пустила корни...

В пожаре пропал весь сельскохозяйственный инвентарь. В первую весну как-то обработали землю, но неурожай раздавил надежды, сгорбатил мужичьи спины, по ветру пустил думки о том, что как-нибудь удастся поправиться, выкарабкаться из беды. С того времени пошли погорельцы по́ миру горе мыкать: ходили «христарадничали», уходили на Кубань, на легкие хлеба; но родная земля властно тянула к себе: возвращались в Даниловку и, ломая шапки, вновь шли к зажиточным мужикам:

— Возьми в работники, хозяин... За кусок буду стараться...

II

Утром, чуть свет, к Науму Бойцову пришел попа Александра работник. Наум запрягал в повозку выпрошенную у соседа лошадь и не слыхал шагов подходившего работника. Думая о чем-то своем, дрогнул от неожиданно громкого приветствия:

— Здорово, дядя Наум!

Наум оглянулся и, затянув супонь, дотронулся свободной левой рукой до шапки.

— Здорово. Зачем пожаловал?

Работник, обрадованный тем, что вырвался от хозяйства, присел на опрокинутую убогую борону и, натягивая на ладонь рукав рубахи, вытер со лба пот.

— Дело к тебе имеем,— не спеша начал он, как видно собираясь долго и обстоятельно поговорить.

— Какое там дело? — хлопоча над лопнувшей вожжой, спросил Наум.

— Оно видишь, какое дело, я попу свому давно говорю: «Вы, батюшка, коли хотите жеребчика подрезать, так вы...»

— Ты не мусоль! — отрезал Наум.— Жеребца надо подрезать, что ль? Так и говори, а то мне некогда — зараз на поле еду.

— Ну да, жеребца,— недовольно закончил работник.

— Скажи: сейчас приду.

Работник нехотя встал, отряхнул со штанов прилипшую

свеженькую стружечку и, глядя себе под ноги, равнодушно сказал:

— Хвалят тебя в округе: коновал, мол, хороший... Оно и точно, а сам собою человек ты неласковый... Никакого с тобой приятного разговору нельзя иметь. Грубый ты и обрывистый человек!..

— Ну, брат, извиняй, таким мать родила!

— Я что ж... Конешно, обидно, однако я могу с кем хошь поговорить.

— Во-во, потолкуй ишо с кем-нибудь,— улыбаясь глазами, сказал Наум и не спеша, прямо и тяжко ставя на землю широкие босые ступни, пошел в хату.

Работник поднял с земли свеженькую, откуда-то принесенную ветром стружечку, свернул ее в трубку, вздохнул и пошел по улице, кособочась и по-бабьи вихляя задом. Шел он так, как будто против воли ветром его несло.

Наум вошел в хату и снял с гвоздя вязку толстой бечевы. Развязывая узел, он повернулся лицом к печке и улыбнулся жене, возившейся со стряпней.

— Я говорил тебе, что откеда-нибудь да капнет! Попу Александру понадобилось жеребчика подрезать, работника присылал. Меньше чем полпуда размольной не возьму!..

— Присылал, что ли?..— обрадованно переспросила жена.

— Только что ушел.

— Вот и хлеб!.. А я-то горевала: пахать поедешь, а пирога и краюшки нету.

Наум улыбнулся, и от улыбки рыжий клин бороды сполз куда-то в сторону, оскалились почерневшие плотные зубы. Улыбка молодила его и делала суровое лицо приветливым.

— Собирайсь и ты, Федор, помогешь. А кобыла пущай постоит, не распрягай,— сказал сыну.

Федор, шестнадцатилетний парень, до чудного похожий на отца лицом и ширококостой плечистой фигурой, засуетился, подпоясал рваную рубаху новым ремнем и пошел за отцом, так же твердо попирая землю босыми ногами и так же сутулясь на ходу и помахивая сильными не по возрасту руками.

Возле своего двора встретил их поп Александр. На сухих, обтянутых щеках его виднелась кровь, лоб завязан чистым полотенцем. Под повязкой серыми мышатами шныряли раскосые глаза.

— Приступу нет! — поздоровавшись, сказал он.— Вот зверь, прямо бесноватый!..— Голос у него был густой, басовитый, несоразмерный, с низкорослой, щупленькой фигурой.— Хотел обротать, так он меня кусанул зубами, как пес! Клок кожи на лбу содрал, истинный бог!..

Смешливый Федор побагровел, надулся, удерживаясь от смеха, но отец строго взглянул на него и пошел в калитку.

— Он где у вас?

— В конюшне.

— Принесите ишо одну бечеву, батюшка.

— С ним надо умеючи...— нерешительно сказал поп.

— Как-нибудь усмирим. Не с такими управлялся!..— немного хвастливо ответил Наум и ловко свернул в конце бечевы замысловатую петлю.

Федор, поп и работник стали возле двери, а Наум на левую руку намотал бечеву, в правой зажал короткий сырой дубовый кол.

— Гляди, дядя Наум, он тебя обожгет! — усмехнулся работник.

Наум, не отвечая, откинул болт и, жмурясь от темноты, хлынувшей из конюшни, шагнул через порог.

Минуты две слышалась возня. Федор с шибко бьющимся сердцем ждал крика: «Идите держать!.. Живо!..» — как вдруг что-то грохнуло, всхрапнул жеребец, глухой вязкий стук, стон... По деревянному настилу коротко проговорили копыта, дверь хрястнула, словно ее рвануло бурей, и из темноты, дико задрав голову, прыгнул жеребец. В два скачка обогнул навозную кучу, на секунду стал, тяжело вздымая потные бока, разметал хвост и, перемахнув через забор, скрылся, взбаламучивая по дороге прозрачную пыль.

Из конюшни, качаясь, вышел Наум. Руками он зажимал рот, на левой еще моталась оборванная бечева... Шагов двадцать, быстрых и путано пьяных, сделал он по двору, наткнулся на забор грудью и упал навзничь, поджимая к животу ноги. Федор с криком бросил бечеву и подбежал к нему.

— Батя!.. Чего ты?!

Страшным хрипящим шепотом, давясь словами, Наум выкрикивал:

— В гру́ди... меня... вдарил... Сломил кость... Пропадаю!.. В гру́ди... под сердце!..— выдохнул он со свистом и, выворачивая от безумной боли помутневшие глаза, заплакал, икая и давясь кровью.

Его подняли и перенесли под навес. По двору, там, где его несли, красной мережкой разостлался кровяной след. Наум, выгибаясь дугой, хрипел и рвал на себе рубаху. При каждом выдохе страшно низко вваливалась размозженная грудь и потом угловато тряслась и покачивалась.

Минут через десять ему стало лучше, кровь перестала хлобыстать через рот, лишь розовой слюной пенились губы. Перепуганный поп принес графин самогонки, заставил Наума силком выпить три стакана и, заикаясь, зашептал:

— Я заплачу тебе... заплачу... а сейчас уходи... сынок тебя доведет. А ну — какой грех, тогда я в ответе? Иди, Наум, ради Христа, иди!.. В кругу семьи и помрешь... Пожалуйста, уходи. Я за тебя отвечать не намерен.

— Помру... жене... заплати...— свиристел сквозь приступы удушья Наум.

— Будь покоен... Приобщу тебя, за дарами зайду в церковь... Федор, помоги отцу подняться!..

Наум, поддерживаемый попом, быстро спустил ноги и глухо крикнул:

— Ой, не могу-у-у!.. Ой-ёй-ёй!.. Смерть! По-мира-ю-у!..— вдруг закричал он пронзительно и дико.

Федор, безобразно кривя лицо, заплакал; работник в стороне копал ногою песок и глупо улыбался.

Тяжело хлебая раскрытым ртом воздух, Наум встал. Всей тяжестью наваливаясь на плечо Федора, он пошел, косо перебирая ногами.

— Домой... батюшка велит... пойдем...— коротко сказал он.

Шел, спотыкаясь и путаясь, но крепко закусил губы, ни одного стона не уронил за дорогу, лишь брови дрожали на мокром от слез лице его. Не доходя саженей сорока до дому, он с силой вырвался из рук Федора, крикнул и шагнул к плетню. Федор подхватил его под мышки и сразу почувствовал, как отяжелело, опускаясь, отцово тело и что он уже не в силах его держать. Из-под полуопущенных век свешенной набок головы глядели на него недвижные глаза отца с мертвой строгостью...

Подбежали люди. Кто-то потрогал руки Наума, кто-то сказал не то со страхом, не то с удивлением:

— Помер!.. Вот те и на!..

III

После похорон отца на третий или на четвертый день мать спросила у Федора:

— Ну, Федя, как же мы с тобой будем жить?

Федор сам не знал, как надо жить и что делать после отцовой смерти.

Был хозяин — налаженно и прочно шла жизнь, шла, как повозка, с тяжелым грузом. Иной раз было трудно изворачиваться, но Наум как-то умел устроиться так, что семья даже в голодный год особого голода не испытывала, а в остальное время было вовсе спокойно и хорошо: если не было достатков, как у мужиков-богатеев с первой улицы, то не было и той нужды, какую испытывали соседи Наума, жившие рядом с ним по второй улице. А теперь, после того как хозяйство лишилось заправилы, не только Федор растерялся, но и мать. Кое-как вспахали полдесятины под пшеницу, засевал Прохор, сосед, но всходы вышли незавидные — редкие и чахлые.

— Иди, сынок, нанимайся к добрым людям в работники, а я пойду пó миру...— сказала как-то мать.— Может, через год, через два наскитаемся, деньжонок на лошадь соберем, а тогда уж своим хозяйством заживем... Ты как?..

— Выгадывать нечего,— хмуро отозвался Федор,— крути не крути, а в люди идтить придется...

Вечером того же дня стоял Федор у крыльца Захарова дома (первый богатей в соседнем Хреновском поселке), мял в руках отцов, заношенный до блеска, картуз, говорил, с трудом вырывая из горла прилипавшие слова:

— Работать буду по совести... работы не боюсь. Жалованье — какое положите.

Сам Захар Денисович, мужик малосильный, согнутый какой-то нутряной болезнью, сидел на порожках крыльца и в упор, не мигая, разглядывал Федора водянистыми, расплывчатыми глазами.

— Работник мне нужен — это верно. Одно вот, молод ты, паренек, нет в тебе мужеской силы, и за мужика ты не сработаешь, это точно. А какую цену ты с меня положишь?

— Какую дадите.

— Ну, все ж таки?

Федор вспотел, тряхнул картуз и, смущенный, поднял глаза.

— Кладите, чтоб и вам и мне было не обидно.

— Полтина в месяц, вот моя цена. Харчи мои, одежка обувка твоя. А? — Он вопросительно уставился на Федора.— Согласен?

Федор зажмурил глаза, подсчитывал, быстро шевеля пальцами свободной руки: «В месяц — полтинник, а два рупь... За год — шесть рублев...» Вспомнил, что на рынке за самую немудрящую лошаденку запрашивали восемьдесят рублей, и ужаснулся, высчитав, что за эти деньги надо будет работать тринадцать лет!..

— Ты чего губами шлепаешь? Ты говори: согласен или нет? — морщась от поднявшегося в груди колотья, скрипел Захар Денисович.

— Что ж, дяденька... почти задарма...

— Как, задарма? А кормежка, во что она мне влезет? Рассуди сам...— Захар Денисович закашлялся и махнул рукой.

Федор, твердо помня советы матери, решил не наниматься меньше, чем за рубль в месяц, а Захар Денисович, закатывая в кашле глаза, обрывками думал: «Этого полудурня никак нельзя упустить. Клад. Собой здоровый, он у меня за быка будет ворочать. Такой меделян черту рога сломит, не то что... Знающий себе цену рабочий на летнюю пору не наймется и за пятерик, а этого за рублевку можно нанять...»

— Ну, какая твоя крайняя цена?

— Мне бы хучь рупь в месяц...

— Рупь? Эка загнул!.. Да ты в уме, парень? Не-е-ет, брат, это дороговато!..

Федор повернулся было идти, но Захар Денисович по-воробьиному зачикилял с порожков и ухватил его за рукав.

— Постой, погоди, экий ты, брат, горячий! Куда ж ты?

— Не сошлись, так что уж.

— Эх, да ладно! Была не была! Так и быть уж, плачу целковый в месяц. Грабишь ты меня, ну, да уж сделано — значит, быть по сему! Только гляди, уговор дороже денег, чтоб работать на совесть!

— Работать буду и за скотиной ходить, как за своим добром! — обрадованно сказал Федор.

— Нынче же холодком мотай в Даниловку, принеси свои гунья, а завтра с рассветом на покос. Так-то.

IV

Гаркнул под сараем петух. Перед тем как криком оповестить о рассвете, долго хлопал крыльями, и каждый хлопок его отчетливо и ясно слышал Федор, спавший под навесом. Ему не спалось. Выглянув из-под зипуна, увидел, что за гребенчатой крышей амбара небо серо мутнеет, тучи ползут с восхода, слегка окрашенные по краям кумачовым румянцем, а на крыльях косилки, стоящей около сарая, висят крупные горошины росы.

Спустя минуту на крыльцо вышел Захар Денисович в холщовых исподниках. Почесался, высоко задирая рубаху на пухлом желтом животе, и громко крикнул:

— Федька!..

Федор стряхнул с себя зипун и вышел из-под навеса.

— Гони быков к речке поить, да живо! В косилку запрягать будешь рябых.

Федор торопливо развязал воротца база, вытирая о штаны руки, намокшие росной сыростью, крикнул на быков:

— Цоб с база!

Быки нехотя вышли во двор. Передний отворил калитку рогами и направился по улице к речке, остальные потянулись следом.

Возвращаясь оттуда, Федор увидел, что хозяин суетится возле арбы, ключом отвинчивая гайку. Подошел, помог снять и помазать колеса. Захар Денисович косился, наблюдая за расторопными, толковыми движениями Федора, и чмыкал носом.

Пока управились и выехали за поселок, рассвело. На курганах вдоль дороги тревожно посвистывали бурые, вылинявшие увальни-сурки, в зеленях били на точќах стрепеты, вылупившееся из-за горы солнце, не скупясь, по-простецки, сыпало на степь жаркий свой свет, роса поднималась над оврагом густым, студенистым туманом.

Поскрипывали колесики косилки, позади громыхала арба, в задке в большой деревянной баклаге шумливо-весело булькала вода. Захар Денисович, пригревшись на солнце, был расположен к приятному разговору.

— Ты, Федька, будь послушлив, а уж я тебя не обижу. Парень ты здоровый, при силе, с тебя и спрос будет, как с заправского работника.

— Я говорил, что работать буду, как в своем хозяйстве.

— Ну, то-то. Ты, брат, должон понимать, что я твой

благодетель, а ты мой слуга. А хозяину своему и благодетелю обязан ты беспрекословно подчиняться. Я тебя, можно сказать, от голодной смерти отвел, и ты помни мою доброту. Понял?

Федор, угнув голову, раздумывал о доброте хозяина и сам про себя удивлялся: какую ему милость сделал тот?

На покосе работал один Федор. Хозяин сидел на передке косилки на удобном железном стульчике, махал арапником, погоняя быков, а Федор короткими вилами, задыхаясь, сваливал тяжелые вороха зеленой травы. Только, натужившись, спихнет вал, а крылья косилки с сухим надоедливым тарахтеньем уже наметают к ногам новые груды травы. Иногда быки останавливались отдыхать, хозяин, потягиваясь, ложился под копну, задрав рубаху, гладил руками свой брюзглый желтый живот и тупо глядел на белые плывущие клочья облаков.

Федор в первую остановку вытряхнул из рубахи колючую пыль и травяные ости и тоже присел было под косилку, но Захар Денисович удивленно оглядел его с ног до головы, сказал, с расстановочкой:

— Ты что же это? Ты, браток, на меня не гляди. Я твой благодетель и хозяин, ты вникни в это. Я могу и вовсе не работать, по причине своей нутряной хворобы, а ты бери вилы да иди-ка копнить. Вон там, за логом, трава уж просохла.

Федор поглядел, куда указывал волосатый палец хозяина, встал, взял вилы и пошел копнить. Через полчаса хозяин, приятно всхрапнувший под навесом копны, проснулся оттого, что кузнечик заполз ему под рубаху; выругавшись смачно, раздавил несчастного кузнечика и, прикрывая опухшие глаза ладонью, поглядел, как Федор копнит.

— Федька!

Федор подошел.

— Сколько копен свершил?

— Девять.

— Только девять?.. Ну, садись на косилку.

Быки тронулись, на ходу перетирая жвачку; дрогнула косилка, застрекотали крылья, сметая траву к задку. Захар Денисович, жадный до крайности, пустил ножи под самый корень травы. Ножи сухо чечекали, сбривая густую поросль, все шло как следует, но на повороте косилка вдруг с разгона налетела на кучу земли, вырытой кротом, и стала, зарывшись зубьями в землю, подрагивая от напряжения.

Федор соскочил с сиденья поглядеть, не обломались ли, но на этот раз все сошло благополучно.

Работу бросили перед наступлением темноты. Федор притащил к стану сухого бычачьего помета, надергал прошлогодней старюки-травы, бурьяна и разложил огонь. Из сумочки хозяин скупо отсыпал пшена и велел очистить три картофелины.

После обеда он был в хорошем настроении, раз даже похлопал Федора по плечу, но перед ужином Федор испортил все дело, отрезав лишний ломоть сала в кашу. Захар Денисович, недовольно косоротясь, долго ему выговаривал за это, за ужином хмурился и лег спать, вздыхая и что-то пришептывая.

V

Часто вспоминал Федор слова хозяина: «Ты помни мою доброту». Жил он у него третью неделю и никакой доброты пока не видел. Одно лишь твердо знал, что Захар Денисович жох-мужик и умеет работой вытянуть из человека жилы. С утра до поздней ночи мотался Федор по двору, а хозяин покрикивал, кривил губы и делал недовольное лицо.

В первое воскресенье думал Федор сходить в Даниловку проведать мать, но Захар Денисович еще в субботу с вечера заявил:

— Завтра пораньше отправляйся картошку полоть. Бабы говорят, страсть как затравела.— Помолчав, добавил: — Ты не думай, ежели праздник, так можно байбаком лежать да хлеб жрать. Теперя время горячее, день год кормит. Это уж зимой будешь нахлебничать.

Федор смолчал. Колючий страх потерять место делал его приниженным и покорным. Утром взял кусок хлеба, мотыгу и отправился полоть. К полудню так намахался мотыгой, что ударило в голову и тошнота подкатила к горлу. С трудом разогнув спину, сел на пригорок пожевать хлеба и плюнул: впереди саженей на восемьдесят шершавым лоснящимся бархатом зеленела еще не выполотая трава.

К вечеру, с трудом передвигая ноги, налитые гудящей болью, доплелся до двора. Хозяин встретил его у ворот. Не вставая с завалинки, спросил:

— Всю прополол?

— Осталась делянка.

— Экий ты, брат... Небось, лодырничал либо спал, досадливо буркнул он.

— Не спал я,— хмуро отозвался Федор,— всю за один день немыслимо прополоть.

— Иди, не разговаривай! Вдругорядь будешь так работать, так и жрать не получишь! Дармоед! — крикнул вслед уходившему Федору.

VI

Тягучей безрадостной чередой шли дни и недели. С утра до поздней ночи работал Федор не покладая рук. В праздничные дни хозяин нарочно приискивал какое-нибудь дело, лишь бы занять чем-нибудь время, лишь бы не был батрак его без работы.

Прошло два месяца. У Федора рубаха от пота не высыхала, выдабривался, думая, что хозяин к концу второго месяца уплатит за прожитое время. Но тот молчал, а у Федора совести не хватало спросить.

В конце второго месяца как-то вечером подошел Федор к Захару Денисовичу, сидевшему на крыльце, спросил:

— Хотел деньжат у вас попросить. Матери переслал бы...

Тот испуганно замахал руками.

— Какие там деньги сейчас! Что ты, брат, очумел, что ли?.. Вот помолотим хлеб, налог отдадим, тогда, может, и деньги будут!.. Ты их спервоначалу заработай!

— Обносился я, чирики вон разлезлись.— Федор поднял ногу с ощеренным чириком; из рваного носа глядели потрескавшиеся пальцы.

Захар Денисович, ухмыляясь, долго глядел ему под ноги, потом отвернулся.

— Теплынь стоит, можно и босым...

— По колкости, по жнивью, не проходишь.

— Ишь ты, нежный какой! Ты, ненароком, не барских ли кровей будешь? Не из панов, бывает?

Федор молча повернулся и под хохот хозяина, краснея от унижения, пошел к себе в сарай.

За два месяца он ни разу не видел матери. Времени не было сходить в Даниловку — не пускал хозяин, да к тому же и не знал, дома ли мать или с сумой пошла по хуторам и станицам.

Незаметно кончился покос. К Захару Денисовичу во двор привезли с участка паровую молотилку. Понашли

рабочие. Хозяин залебезил перед ними, задабривая, чтобы поскорее окончили молотьбу.

— Вы, ребятки, уж постарайтесь, ради Христа. Приналяжьте, покеда погодка держится. Не приведи бог — пойдут дожди: пропадет хлеб.

Пришлый парень в солдатской, морщеной сзади гимнастерке, презрительно оглядывая одутловатую рожу хозяина, покачиваясь на носках, передразнил:

— Постарайтесь, ради Христа! Нечего тут лазаря петь! Ставь-ка ведро самогону на всю шатию — пойдет работа. Сам понимаешь, сухая ложка рот дерет.

— Я что ж, я с превеликой радостью... Я сам думал выпить.

— Тут и думать нечего. Гляди: покуда обдумаешь, а мы сгребемся да к соседу твому на гумно. Он нас давно сманывает.

Захар Денисович мотнулся в хутор и через полчаса, на ходу кособочась, принес ведро самогонки, прикрытое сверху грязной исподней бабьей юбкой. На гумне, возле непочатых скирдов пшеницы, пили до полуночи. Машинист, немолодой уже, замасленный украинец, подвыпил, спал под скирдом с какой-то гулящей бабой, поденные рабочие ревели нескладные песни, ругались. Федор сидел в сторонке, поглядывал, как пьяный Захар Денисович, обнимая парня в солдатской гимнастерке, плакал, слюнявя рот, и сквозь рыдания выкрикивал гнусавым бабьим голосом:

— Я на вас, можно сказать, капитал уложил, ведро водки — оно денег стоит, а ты работать не желаешь?..

Парень, гоголем поднимая голову, громко выкрикивал:

— А мне плевать! Захочу — и не буду работать!..

— Да ить я в трату вошел!

— А мне плевать!

— Братцы! — Захар Денисович обернулся к темному полукругу людей, оцепивших ведро.— Братцы! Вы меня на всю жизнь обижаете! Я, может, через это смерть могу принять!

— А мне плевать! — гремел парень в гимнастерке.

— Я хворый человек! — стонал Захар Денисович, обливаясь слезами.— Вот тут она, хворость, помещается! — он стучал кулаком по пухлому животу.

Парень в гимнастерке презрительно плюнул на подол ситцевой рубахи хозяина и, покачиваясь, встал. Шел он, петляя ногами, как лошадь, объевшаяся жита, шел прямо на Федора, сидевшего возле плетня.

VII

Не доходя шага два, парень гордо отставил ногу и кивком головы сдвинул на затылок рабочую соломенную шляпу.

— Ты кто? — спросил, по-пьяному твердо выговаривая.

— Дед Пухто́,— хмуро ответил Федор.

— Ду-рак! Я спрашиваю: ты кто?

— Работник.

— Живешь?

— Живу.

— Ишь ты... тля! Небось сосешь хозяйскую кровь, как паразитная вошь? Или как то есть? А?

— Ты-то чего ко мне присосался? Проходи!

— Проходи! А я вот возьму да и того... возьму да и сяду.

Парень мешковато жмякнулся рядом и вонюче дыхнул в лицо Федору самогонкой и луком.

— Я зубарем при машине, Фрол Кучеренко. И точка. А ты кто?

— Я из Даниловки. Наума Бойцова сын.

— Та-а-ак... Сколько жалованья гребешь?

— Рупь в месяц.

— Ру-у-упь?..— Фрол протяжно свистнул и икнул.— А я рупь в сутки. Это как?

Кровь прихлынула у Федора к сердцу, спросил, переводя дух:

— Рупь?

— А ты думал — как? К тому же и угощение. Ты, ягодка моя, из дураковой породы! Кто же за целковый будет работать месяц? Вот. Уходи от своего эсплитатора к нам. За-ра-бо-таешь!..

Федор поднялся и пошел к себе под навес сарая, где он спал с весны. Лег на доски, прикрытые давнишней соломой, натянул на ноги зипун и, подложив руки под голову, долго лежал не шевелясь, обдумывая.

Сквозь дырявую крышу навеса крапинки звезд точили желтенький лампадный свет, в камыше нежно и тихо звенела турчелка, спросонья возились под крышей воробьи.

Ночь, безмесячная, но светлая, шла к исходу. С гумна доносились взрывы хохота и плачущий голос хозяина. Федор, вздыхая и ворочаясь, долго лежал, не смыкая глаз. Уснул перед рассветом.

Наутро дождался хозяина в кухне. Неумытый, опухший и злой вышел тот из горницы, крикнул, глянув на Федора:

— Лодыря корчишь, сукин сын! Я тебя выучу! Жрать-то вы мужички, а работать мальчики! Я кому сказал, чтоб перевозить к машине хлеб из крайнего прикладка?..

— Я больше жить у вас не буду. Заплатите за два месяца.

— Ка-а-ак?..— Захар Денисович подпрыгнул на пол-аршина и исступленно затрясся.— Уходить задумал? Сманили?.. Ах ты стервец? Ублюдок... Да ты знаешь, я тебя в тюрьму упеку за такое дело!.. В рабочее время бросать? А?.. На каторгу пойдешь за такие отважности! Иди! С богом! Но денег я и гроша не дам!.. И лохуны твои не дам забрать!..— Захар Денисович подавился ругательством, закашлялся и, выпучив рачьи глаза, долго гладил и мял руками подрагивающий живот.— За мои к тебе отношения такую благодарность получаю... Забыл, что я твой благодетель, нужду твою прикрыл?.. Заместо отца родного тебе, поганцу, был, и вот...

Захар Денисович, прижмурившись, глядел на Федора. В первую минуту, как только Федор заявил об уходе, он сразу понял и учел, что это нанесет его хозяйству здоровенный убыток: во-первых, он потеряет работника, который работает на него, как бык, за кусок хлеба — и только; во-вторых, надо будет или нанимать за большие деньги другого, обувать, одевать его, да, чего доброго, еще (если попадется знающий, тертый в этих делах калач) и заключить письменный договор с сотней обязательств; а если не нанимать — то самому браться за работу, впрячься в проклятое ярмо, в то время как гораздо приятнее спать на солнышке и, ничего не делая, нагуливать жирок.

Сначала Захар Денисович попробовал взять Федора на испуг и, видя, что это принесло известные результаты, решил ударить по совести:

— И не стыдно тебе? И не совестно в глаза мне глядеть? Я тебя кормил-поил, а ты... Эх, Федор, Федор, так по-христьянски не делают. Да ты, чего доброго, не комсомолист ли? Это они, христопродавцы, смутьяны, так их распротак, могут подобное исделать!..

Захар Денисович укоризненно покачал головой, искоса наблюдая за Федором.

Федор стоял, опустив голову, переминая в руках картуз.

Он понимал только одно: что все планы его, обдуманные ночью,— о том, как скорее заработать денег на лошадь,— пошли прахом. Что-то непоправимо-тяжелое навалилось на него, и из-под этой беды ему уж не вырваться.

Молча повернулся и пошел на гумно. Там уж пожаром полыхала работа: возили с дальних прикладов хлеб, пыхтела машина, орал Фрол-зубарь, пихая в ненасытную пасть молотилки вороха пахучего крупнозернистого хлеба, визжали бабы, подгребая солому, и оранжевым колыхающимся столбом вилась золотистая пыль.

VIII

В этот день Федор ходил как во сне. Все валилось у него из рук.

— Эй ты, раззявин пасынок, куда правишь? Куда правишь, куда правишь!..— орал, хмуря брови, хозяин.

Федор, встрепенувшись, дергал быков за налыгач и невидящими глазами глядел на ворох мякины, который зацепил он задними колесами арбы.

Обедали на-скорях тут же, на гумне, и снова — сначала будто нехотя, потом все веселей, все забористей — начинала постукивать машина, суетливей расхаживал около нее лоснящийся от минерального масла машинист, чаще кормил зубарь ненаедную молотилку беремками хлеба, и ошалевшие рабочие, чихая от едкой пыли, сменившись, жадно, по-собачьи, хлебали из ведер воду и падали где-нибудь под прикладом передохнуть. Уже перед вечером Федора позвали во двор.

— Там тебя какая-то побируха спрашивает, у ворот дожидается! — крикнула на бегу хозяйка.

Размазывая руками грязь на взмокшем от пота лице, Федор выбежал за ворота. Около забора стояла мать.

Дрогнуло и в горячий комочек сжалось у Федора от жалости сердце: за два месяца постарела мать лет на десять. Из-под рваного желтого платка выбились седеющие волосы, углы губ страдальчески изогнулись вниз, глаза слезились, беспокойно и жалко бегали; через плечо у нее висела тощая, излатанная сума, длинный изгрызенный собаками костыль держала она, пряча за спину.

Шагнула к Федору и припала к плечу... Короткое, сухое, похожее на приступ кашля, рыдание.

— Вот как пришлось... свидеться... сынок.

Костыль мешал ей, положила на землю и вытерла глаза

рукавом. Хотела улыбнуться, показывая Федору глазами на суму, но вместо улыбки безобразно искривились губы, и частые слезы, задерживаясь в ложбинках морщин, покатились на грязные концы платка.

Стыд, жалость, любовь к матери, спутавшись в клубок, не давали Федору говорить, он судорожно раскрывал рот и поводил плечами.

— Работаешь? — спросила мать, прерывая тягостное молчание.

— Работаю...— выдавил из себя Федор.

— Хозяин-то как? Добрый?

— Пойдем в хату. Вечером поговорим.

— Как же я, такая-то?..— Мать испуганно засуетилась.

— Пойдем, какая есть.

Хозяйка встретила их у крыльца.

— Куда ты ее ведешь? Нечего давать, милая! Иди с богом.

— Это моя мать...— глухо сказал Федор.

Хозяйка, нагло усмехаясь, оглядела ежившуюся женщину с ног до головы и молча пошла в дом.

— Марья Федоровна, покормите мамашу. С дороги пристала...— заискивающе попросил Федор.

Хозяйка высунула в дверь рассерженное лицо:

— Двадцать обедов, что ль, собирать?.. Небось не помрет и до вечера! С рабочими и повечеряет!

Резко хлопнула дверь, в открытое окно доносился негодующий голос:

— Навязались на мою шею, черти́... Старцев понавел полон двор. Чтоб ты выздох, проклятый! Взяли дармоеда на свой грех!..

— Пойдем ко мне, под сарай,— багровея, прошептал Федор.

IX

Смеркалось. Тишиной сковалось гумно. Рабочие пришли вечерять в дом. В кухне накрыли три стола. За одним сидели — хозяин с женой, машинист, кое-кто из рабочих и в самом конце стола Федор с матерью.

Захар Денисович вяло хлебал жидкую кашу и, поглядывая кругом, морщился: больно уж много съедают рабочие — что ни день, то пуд печеного хлеба, жрут, будто на поминках.

Машинист угрюмо молчал, ему нездоровилось. Фрол зубарь смачно жевал, двигая ушами, и болтал без умолку:

— Ну как, дорогой хозяин, доволен работой?

— Доволен, доволен. И чему доволен?..— гнусавил Захар Денисович.— Молотьбы пропасть, а рабочие по нонешним годам вовсе не такие, как до войны были. Усердия нету, вот оно что! Взять вот хоть бы мово Федьку — жрать-то он мужичок, а работать мальчик. Все дело на хозяине, а ему деньги плати бог знает за что.

Федор искоса глянул на мать, она заискивающе и жалко улыбалась. Хозяйка нарочно отставила подальше от нее чашку с кашей, на самый край сдвинула хлеб. Федор видел, что мать ест без хлеба и каждый раз привстает со скамьи, чтобы дотянуться ложкой до чашки.

— Работать они мальчики,— хихикая, повторил хозяин (выражение это, как видно, ему понравилось),— а уж исть мужич-ки!..

Фрол метнул взгляд на бледное лицо Федора, и губы его дрогнули.

— Это ты про кого же говоришь? — сухо спросил он.

— Вообче.

— То есть как это вообче? — Фрол отложил ложку и слег над столом. Прижмурив глаза, он упорно глядел в переносицу хозяину и сжимал и разжимал кулаки.

— Вообче про рабочих,— не замечая придирки, самодовольно проговорил Захар Денисович.

Рабочие за соседними столами, чуя назревающий скандал, перестали гомонить и прислушались.

— А если я тебе, гаду, за такие слова по едалам дам? — громко спросил Фрол.

Хозяин оробел: выпучив глаза, он молча глядел на потное и рассерженное лицо зубаря.

— Как это?..— выхаркнул он под конец.

— Хошь попробовать?.. Так я могу!..

— Ты гляди, брат, за такие выраженья сразу в милицию!..

— Что-о-о?..

Фрол шагнул из-за стола, но машинист удержал его за руку и силой посадил на скамью.

— Выражаться тут нечего!..— опамятовавшись, бубнил Захар Денисович.

— Тут выражаться и нечего, а морду твою глинобитную исковырять, как пчелиный сот, вот и все!..— гремел расходившийся зубарь.— Ты не забывай, подлюка, что это тебе не прежние права! Я на тебя плевать хочу! И ты не смей

смываться над рабочими! Не я на месте этого Федора, а то давно бы из тебя душу вынул!.. Рад, что попал на мальчишку, и кочевряжишься? Знаем вас, таких-то!.. Что, прикусил язык!.. Цыц!.. Нынче исправнику не пожалишься!.. Я в Красной Армии кровь проливал, а ты смеешь над рабочим смываться?!

— Замолчи, Фрол, ну, прошу тебя, замолчи!..— Машинист тряс рукав морщеной гимнастерки.

— Не могу!.. Душа горит!..

Хозяин присмирел и свел разговор на урожай, на осеннюю запашку. Машинист, до этого молчавший,— чтобы сгладить впечатление, произведенное скандалом, охотно поддерживал разговор. Захар Денисович неожиданно сделался ласковым и предупредительным до приторности. Щедро угощал рабочих, под конец даже Федору сказал:

— Ты чего же, брат Федя, без хлеба ешь? Хозяйка, отрежь ему краюху!.. Хлеба у нас теперя, бог даст, хватит.

Федор отодвинул черствую краюху и в ответ на недоумевающий взгляд хозяина ответил, кривя губы:

— Хлеб у тебя горький!..

— Правильно! — Зубарь стукнул кулаком и вышел из-за стола следом за Федором.

Рабочие поднялись за ними охотно и дружно.

Захар Денисович, багровея и моргая, перебегал от одного стола к другому, визжал пронзительно:

— Что ж вы, братцы?.. Ишо каша молошная есть!.. Хозяйка, живо мечи все на стол!..

— Благодарствуем за хлеб-соль! — насмешливо сказал чей-то голос.

X

Утром, не дожидаясь завтрака, мать Федора засобиралась уходить.

— Может, передневала бы? — нехотя спросил Федор.

Он почему-то ощущал непреодолимый стыд за себя, за хозяина, за мать, за всю жизнь свою, такую безрадостную и постылую. Поэтому ему было совершенно безразлично, останется ли мать на день или нет, несмотря на то, что еще вчера он ощущал при встрече с ней такую огромную солнечную радость.

После всего происшедшего было бы лучше остаться

одному со своими мыслями, со своим негодованием и озлобленностью против этого мира, где не у кого найти защиты, не у кого спросить совета и не от кого дождаться теплого слова участия.

Мать тоже спешила уйти. Ей тяжело было глядеть на сына и еще тяжелее было встречаться за столом с ненавидящими, по-собачьему жадными глазами хозяев, провожавшими каждый кусок.

— Нет, сынок, пойду уж я... Свидимся как-нибудь.

— Что ж, иди,— безучастно процедил Федор.

Попрощались. Федор вспомнил, что у матери нет на дорогу харчей.

— Погоди, мама, пойду спрошу у хозяйки, может, хоть меру хлеба даст. Хозяин денег не платит, хлеба возьму в счет жалованья... Продашь...

Хозяйка на просьбу Федора взяла ключи от амбара и пошла, не сказав ни слова. Отмыкая замок, спросила:

— Мешок есть?

— Есть.

Федор, растопырив мешок, глядел в сторону, на коричневую стену закрома, заплетенную затейливым кружовом паутины. Хозяйка из неполной меры скупо цедила неочищенную, с озадками пшеницу.

Скрипнула дверь. Животом вперед втиснулся хозяин, кинул жене:

— Ступай в дом! — и мелкими шажками подошел к Федору.

Тот, бережно опустив мешок, прислонился к стенке закрома. Ждал.

— Ты что же это? — кривляясь засипел Захар Денисович.— Хлебец получаешь?..

— Получаю.

— Рабочих смущать! Смуту заводить! Хозяина в собственном доме за тебя чуть в морду не бьют, а ты мой хлеб... хлеб мой берешь... А?

Федор молчал. Хозяин, меняясь лицом, подступал к нему все ближе и вдруг, заикаясь, пронзительным дискантом крикнул:

— Вон из моего двора!.. Вон, сукин сын!..

Федор левой рукой поднял мешок и шагнул к двери, но хозяин петухом налетел на него, вырвал из рук мешок и, широко взмахнув рукою, звонко ударил Федора по лицу.

Желтые светлячки зарябили перед глазами. Багровый

гнев помутил рассудок и текучим свинцом налил руки... Качнувшись, Федор схватил одной рукою ожиревшее горло хозяина, другою, сжатой в кулак, с силой ударил по запрокинутой голове.

В три секунды подмятый Захар Денисович уже лежал под Федором, извиваясь толстой гадюкой, норовя укусить Федора за лицо. Федор, до крови закусив губы, тяжко бил по толстой обрубковатой шее, по зубам, щелкавшим у самого его лица. Захар Денисович пустил в ход все бабьи средства: царапался, кусался, рвал на Федоре волосы, но через минуту, основательно избитый, задыхаясь, заплакал, измазал губы соплями и лежал, беспомощно охая, икая, подрагивая животом.

Федор встал, вытер с расцарапанного лица кровь, ожидая вторичного нападения, но хозяин проворно повернулся вниз животом, замычал и раком пополз к дверям.

«За все! За все! За все!..» — билась у Федора мысль. Оправился, поднял мешок и только взялся рукою за скобу двери — услышал истошный крик:

— Ка-ра-у-у-ул!.. Уби-и-или!.. Ка-ра-у-ул, люди добрые!..

Неожиданный приступ смеха захлестнул Федору горло. Прислонясь к дверному косяку, хохотал так, как еще ни разу после отцовой смерти. Насмеявшись, вышел во двор. Посреди двора, раскорячившись, стоял Захар Денисович и, не слушая тревожных вопросов окружавших его рабочих, круглой черной дырой раззявив рот, орал:

— Ка-ра-у-у-ул!..

XI

Перед уходом, проводив мать, Федор решился спросить у хозяина:

— Платить не будете, значит?

— Пла-ти-ить... Тебя в шею выбить надо, а не то что... Ну, да я ишо доберусь до тебя. Вот подам в нарсуд прошение, там вашего брата, гольтепу, тоже не балуют!

— Что ж, богатей на здоровье, Захар Денисович. Небось не помру и без твоей платы.

— Нечего тут рассусоливать! Валяй, тебе говорят!

Федор на минуту стал, задумавшись, потом, не прощаясь, шагнул за порог. Скрипнула калитка. Под амбаром зазвенел привязью цепной кобель.

Выйдя за ворота, Федор снова остановился. В поселке гасли вечерние огни. На краю скрипела гармошка, слышались невнятные слова песни. Изредка песню заглушал хохот, такой раскатистый и ядреный, что Федору не хотелось думать о своем горе и о существовании горя вообще. Бесцельно направился вдоль улицы, прошел квартал, хотел свернуть в переулок, чтобы, добравшись до крайнего гумна, заночевать в соломе, как вдруг его окликнули:

— Ты, Федор?

— Я.

— А ну, плыви сюда!

Подошел, вгляделся: под плетнем, сдвинув соломенную шляпу на затылок, что означало, что обладатель ее еще не совсем пьян, сидел Фрол-зубарь.

На сожженной солнцем траве перед ним аккуратно разостлан грязный носовой платок, на платке длинношеяя бутылка с самогонной вонью, до половины съеденный огурец и белый пышный хлеб.

— Садись!

Федор, обрадованный встречей, присел рядом.

— Идешь?

— Иду.

— Наклевал хозяину морду?

— Чего там... Самую малость...

— Очень жалко. Надо бы больше... Сколько прожил?

— Два месяца.

— За два месяца следовает тебе, самое малое, пятнадцать рублей. Потому — рабочая пора, а за пятнадцать рублей и я соглашусь, чтоб меня изватлал кто-нибудь. Верь слову — прямая выгода!

Федор промолчал. Фрол поджал под себя ноги, скинул шляпу и, запрокинув голову, воткнул себе в рот горлышко бутылки. Что-то долго урчало и хлюпало, потом бутылка, описав полукривую, ткнулась Федору в руку.

— Пей!

— Не пью.

— Не пьешь? И не надо. Хвалю.

Горлышко бутылки опять до половины уходит в рот зубаря. Федор молча глядит на золотисто-голубое шитво неба.

Осушив бутылку, зубарь весело блестит глазами, беспричинно смеется и кивками головы гоняет шляпу с затылка на глаза и обратно.

— В суд подашь?

— Всчет чего?

— Дурочкин сполюбовник, да всчет того, что за два месяца заячий хвост получил! Подашь, что ли?

— Не знаю...— нерешительно ответил Федор.

— Я тебе вот что скажу,— начал зубарь, похрустывая огурцом,— иди ты напрямки в хутор Дубовской, там комсомолистовская ячейка. Ты к ним, они защиту дадут. Я, брат, сам в Красной Армии служил и приветствую новую жизнь, но сам не могу, по причине потомственной слабости... От отца и кровь передалась: водку пью, а при советском социализме не должно быть подобного... Вот... А то бы я,— зубарь загадочно округлил глаза,— образование поимел и в партию единогласно вписался! Уж я бы накрутил хвост таким друзьям, как твой хозяин!..

Через минуту оживление его прошло. Устало оглядев бутылку от горлышка до донышка, он любовно погладил ее рукой и уже безразличным тоном повторил:

— Жарь к комсомолистам. Там в обиду не дадут. Там твоя кровная родня. Такие же голяки, как и мы с тобой.

Немного погодя он тут же под плетнем уснул. Федор сидел задумавшись, уронив голову на руки, и не видел, как бежавшая мимо собачонка, обнюхав пьяного зубаря, подняла ногу и, помочившись на него, зачикиляла дальше.

Пропели первые петухи. Около пруда, за поселком, в камыше закрякал матерый селезень, где-то в поселке, то умолкая, то вновь оживая, сухо тарахтел барабан веялки. Кто-то, пользуясь вёдром, веял всю ночь. Федор встал, поглядел на всхрапывающего зубаря, хотел его разбудить, но, одумавшись, махнул рукой и не спеша пошел к гумнам.

XII

На другой день в полдень Федор уже подходил к хутору Дубовскому. Верст двадцать с лишним отмахал он с утра. К концу подбился, устали и ломотой налились ноги, особенно болели исколотые подошвы и икры.

С горы хутор виден, как на ладошке: площадь с облупленной белой церквушкой, белые квадратики домов и сараев, зеленые вихры садов и дымчато-серые ручейки — улицы.

Спустился под гору. У крайних дворов собаки встретили его ленивым лаем. Вышел на площадь. Рядом с опрятной школой блещут глянцевитой известкой стены нардома. Спросил у бежавшего мимо мальчишки:

— Где у вас тут комсомол помещается?

— А вот, в нардоме.

Робко поднялся Федор на крыльцо и вошел в настежь распахнутую дверь. Откуда-то из глубины комнат доносились сдержанные голоса. Звуки шагов Федора гулко плескались под высоким крашеным потолком. В конце коридора, за дверью, голоса. Вошел. Человек шесть ребят, сидевших на подоконниках, на скрип двери повернули головы и, увидев незнакомое лицо, молча уставились на Федора.

— Это и есть комсомол?

— Он самый.

— А кто у вас главный?

— Я секретарь,— отозвался веснушчатый парень.

— Тут дело к вам...— по-прежнему робея, заговорил Федор.

— Садись, товарищ, рассказывай.

Федора заботливо усадили на табуретку и окружили со всех сторон. Сначала он чувствовал себя неловко под перекрестными взглядами чужих ребят, но, глянув на простые, приветливые лица, вспомнил слова Фрола-зубаря: «Они тебе кровная родня»,— вспомнил и разошелся; путаясь и волнуясь, рассказал про свою жизнь у Захара Денисовича; когда говорил обо всех снесенных обидах, непрошеные слезы невольно подступали к горлу, голос рвался, и трудно становилось дышать. Изредка взглядывая на ребят, боялся встретить в глазах их обидную насмешку, но все лица ребят были сурово нахмурены, дышали сочувствием, а у веснушчатого секретаря негодование сводило губы. Федор кончил, как осекся. Ребята молча переглянулись.

— В суд? — спросил один из них, нарушая молчание.

— Конешно, в суд! А то куда же? — запальчиво крикнул секретарь и повернулся к Федору: — А теперь ты где же устроился?

— Нигде.

— Живешь-то где?

— Жил до этого в Даниловке, отец помер, мать побирается, и мне жить не при чем...

— Что думаешь делать?

— Сам не знаю,— нерешительно ответил Федор.— Работенку бы какую-нибудь...

— Об этом не горюй, работу найдем.

— Найдем!

— Живи покуда у меня,— предложил один.

Расспросив еще кое о каких подробностях, секретарь, по фамилии Рыбников, сказал Федору:

— Вот что, товарищ, подавай-ка ты в нарсуд заявление, а мы от ячейки поддержим. Кто-нибудь из ребят сходит с тобой к бывшему твоему хозяину, заберет твое барахло, и будешь временно жить у Егора, вот у этого парня,— он указал пальцем на одного.— А про суд и говорить нечего! Батрацкие копейки не пропадают! Его еще пристебнут к ответственности за то, что эксплуатировал тебя, не заключив в батрачкоме договор.

Все кучей пошли к выходу. Федор шел, не чувствуя усталости. Бесконечно родными и близкими казались ему эти грубые на вид, загорелые ребята. Ему хотелось хоть чем-нибудь выразить им свою благодарность, но, стыдясь этого чувства, Федор шагал молча, лишь изредка поглядывая с тихой улыбкой на худощавое горбоносое лицо Егора.

Уже шагая по сенцам Егоровой хаты, снова припомнил слова «кровная родня» и улыбнулся, представляя себе пьяненького зубаря; так метко определил он этим названием все. Вот именно — кровная родня и ничто иное.

XIII

Егор жил с матерью и с маленькой сестренкой. Мать Егора приняла Федора, как родного: за обедом заботливо его угощала, стирала бельишко и в обращении с ним ничем не отличала от родного сына.

Первое время Федор помогал Егору в хозяйстве: вместе пахали под зябь, ездили на порубку, убирали скотину и в свободное время заново оплели двор высоким краснопталом-хворостом.

Незаметно пришла осень. Стояла сухая безветренная погода. Утрами слегка придавливал холодок; тополь во дворе с каждым днем все больше терял пожелтевшие листья; догола растелешились сады, и далекий лес за рекою, на горизонте, напоминал небритую щетину на щеках хворого человека.

По вечерам Федор вместе с Егором уходили в клуб. Цепко прислушивался Федор к новым, неведомым ему раньше, мыслям и словам, все вбирал жадно-пытливым

умом, что слышал на длинных субботних политчитках и беседах с агрономом о таком волнующе близком деле, как сельское хозяйство. Но все же ему трудно было угоняться за остальными ребятами; те вызубрили политграмоту назубок, читали газеты, целый год слушали беседы местного агронома и на каждый вопрос могли ответить толково и ясно (секретарь Рыбников, вдавив в веснушчатые щеки кулаки, читал даже Маркса), а Федор — парень не шибко грамотный.

Да и вообще-то одно дело — держать за шершавые поручни плуг и чувствовать во время работы под рукой его горячее, живое трепетанье, а совсем другое дело — держать в руке такую хрупкую и нежную штуку, как карандаш: во-первых, пальцы дрожат, предплечье немеет, а во-вторых, и сломать недолго этот самый зловредный карандаш. К первому делу руки Федора были гораздо больше приноровлены; ведь отец, когда мастерил Федора, не думал, что выйдет из него такой письменный парень, а потому и руки приварил ему хлеборобские, в кости широкие, волосато-нескладные, но уж крепости чугунной. Все же понемногу напитывался Федор книжной мудростью: кое-как — вкривь и вкось, как сани-развалки по ухабистой путине,— мог он толковать о том, что такое «класс» и «партия», и какие задачи преследуют большевики, и какая разница между большевиками и меньшевиками.

Были его слова, как и походка, неуклюжие, обрубистые, но ребята относились к ним с подобающей серьезностью; если и смеялись изредка, то в смехе их не было обидного. Федор это чувствовал и не обижался.

В декабре, как-то за день до общего собрания, сказал Рыбников Федору:

— Ты вот что, подавай-ка нам заявление. Мы тебя примем, райком утвердит, а тогда уж направишься к весне в работники. Сейчас проводится кампания, чтобы вовлечь в союз возможно больше батрацкой молодежи. Наша ячейка раньше дремала, потому что секретарем был сын кулака, и много членов были негодные... разложились, как падаль в жару... Мы их вычистили за месяц до твоего прихода, а теперь надо работать. Надо поднять дубовскую ячейку в глазах народа. Раньше наши комсомольцы только знали, что самогон глушить да на игрищах девкам за пазуху лазить, а теперь шабаш! Так качнем работу, чтоб по всей Донской области гремела! Как наймешься — мы тебе задание дадим, и ты всех бат-

раков притяни к ячейке. Понял? Мы все рассыплемся по хуторам.

— А как ты думаешь, могу я соответствовать? Я ить не дюже шибко по книжкам...

— Брось чудить! Чего не знаешь — за зиму одолеешь. Мы сами не очень тоже... Райком на нас начхать хотел: ни пособий, ни одного дельного совета, одни предписания. Мы, брат, сами до всего своими силами достигаем. Так-то!

Слова Рыбникова о вовлечении в союз батрацкой молодежи окрестных хуторов и поселков упали Федору в разум, как зерна пшеницы в богатый чернозем. Вспомнил он свое житье у Захара Денисовича и загорелся нетерпением работать. В этот же вечер накарябал заявление. Но о причине вступления в комсомол упомянул не так, как его учил Егор. Тот говорил: пиши, мол «желаю получить политическое воспитание», а Федор подумал малость, да так-таки черным по белому, без запятых и точек, и написал:

«Желаю вступить как я рабочий штоп очень навостриться и завлечь всех рабочих батраков в комсамол так как комсамол батракам заместо кровной родни»

Рыбников прочитал и поморщился.

— Оно-то так, да уж больно ты нагородил... Ну да ладно, продерет!..

Собрание началось поздно вечером. В клубе заколыхался разноголосый шум. Выбрали президиум собрания, Рыбников сделал доклад о международном положении, потом перешли к делам текущим.

Федор с замиранием сердца ждал, когда прочтут его заявление.

Наконец-то Рыбников, покашливая и обводя собравшихся глазами, громко сказал:

— Поступило заявление от известного вам Федора Бойцова.

Он медленно прочитал заявление и, разглаживая на столе бумагу, спросил:

— Кто выскажется «за» и «против»?

Егор поднялся с задней скамьи и, поводя горбатым носом, заговорил:

— Чего там говорить! Парень из батраков, сын бедного мужика из Даниловки. Теперь политически разбирается, может соответствовать.. Чего там еще, принять!

— Кто против?

Никого не нашлось. Приступили к голосованию. Руки

поднялись густым частоколом. «За» — двадцать шесть: вся ячейка. Подсчитывая голоса, Рыбников с улыбкой глянул на бледное счастливое лицо Федора.

— Продрал единогласно.

Федор с трудом досидел до конца собрания. Он плохо понимал, о чем говорили вокруг него. Рыбников горячо нападал на Ерофея Чернова, осуждая за участие в игрищах; тот оправдывался, ссылаясь на остальных ребят. До Федора словно сквозь глухую стену долетали их голоса, а в уме своей дорогой, переплетаясь, шли мысли: «Теперь я в ихней семье свой, а то все не то... как пасынок... Вот она, моя кровная родня, с ними хорошо — плечо к плечу, стеной...»

Чей-то голос громко зыкнул:

— Цыцьте!.. Собрание считаю закрытым. Ванюха, ты перепишешь протокол?..

Загремели висячим замком, к выходу пошли, на ходу прикуривая и ежась от режущего холода, проникавшего с надворья в коридор. Федор шел вместе с Егором и Рыбниковым. По обмерзшим ступенькам сошли с крыльца и сразу ткнулись в здоровенный сугроб: намело ветром за время собрания. Егор, кряхтя, полез через сугроб первый, Федор за ним. На перекрестке Рыбников, прощаясь с Федором, крепко стиснул ему иззябшую руку, сказал, близко заглядывая в глаза:

— Смотри, Федя, не подведи! На тебя у нас надёжа. Теперь ты закомсомолился, и на тебе больше лежит ответственность за свои поступки, чем на беспартийном парне. Ну, да ты знаешь. Прощай, друг!

Федор молча потряс ему руку, хотел ответить, но горло перехватила судорога. Молча пошел догонять Егора и, чувствуя в горле все тот же вяжуще-радостный комок слез, шептал про себя:

— Обабился я... раскис... Надо потверже, не маленький, а вот не могу!.. Счастье навалилось... Давно ли думал, что на земле одно горе ходит и все люди чужие?..

XIV

Утром на следующий день Федора позвали в исполком.

— Повестка в суд. Распишись,— сказал секретарь.

Федор расписался и, отойдя к окну, прочитал повестку. Вызывают на двадцать первое число. Федор глянул на

стенной календарь и растерялся: под портретом Ильича краснела цифра «20».

Быстро направился домой и стал собираться.

— Ты куда это? — спросил Егор.

— В станицу, на суд с хозяином. Получил нынче повестку, вызывают к завтрему... Вот дела! Успею я дойтить?

Егор глянул в окошко, замазанное белой изморозью, словно тестом, нашел в голубеющем небе желтый пятачок солнца, раздумывая, проговорил:

— Что же, тридцать пять верст, по пять в час, это — добре шагать — семь часов... К ночи, гляди, доберешься.

— Ну, пойду!

— Харчей взял?

— Взял.

Егор вышел за ворота проводить, крикнул вслед:

— Шагай веселей, а то темноты прихватишь! Волки!

Федор поправил сумку, потуже перетянул ремень на коротком дубленом полушубке и широко зашагал посредине улицы, по дороге, притертой полозьями саней. Поднялся на гору. Глянул назад, на хутор, засыпанный снежной белью, и, поводя плечами, чувствуя на спине испарину, быстро пошел по направлению к станице.

Под гору и на гору. Под гору и опять на гору. Засыпанные снегом, плавно плывут на горизонте синие тесемки лесов и рощиц. Голубыми искрами ослепительно сверкает снег, солнечные лучи, втыкаясь в сугробы, перепоясывают дорогу радугами.

Федор быстро шагал, постукивая костылем, попыхивая сладким на морозе дымком махорки. Верст двадцать отмерил, посмотрел на солнце, валившееся к тонкой, как паутинка, волнистой черте земли, и достал из сумки кусок хлеба и сала, нарезанное тонкими ломтями. Присел возле дороги на корточки, закусил и опять пошел, стараясь согреться быстрой ходьбой.

Вечер кинул на снег лиловые отсветы. Дорога заблестела голубым, стальным блеском. На западе темнота стерла черту, отделявшую землю от неба. На ясном небе уже замаячили блудливые огоньки звезд, когда Федор вошел в станицу. В крайнем домишке, на вид неказистом и бедном, попросился переночевать. Хозяин, бородатый приветливый казак, пустил охотно.

— Ночуй, места не пролежишь!

Пожевав на ночь мерзлого сала, Федор расстелил возле печи свой полушубок, положил в головах шапку и уснул.

Проснулся по привычке с рассветом. Умылся,— хозяйка предложила разжарить сало. Закусил и — в центр станицы, на площадь. Неподалеку от здания стансовета прочел на воротах вывеску: «Народный суд 5-го участка Верхне-Донского округа».

Вошел в калитку, и первый, кого увидел во дворе, был Захар Денисович. В романовском полушубке, крытом синим сукном, обвязанный башлыком, он распрягал потную лошадь. Одевая ее попоной, случайно глянул на Федора и, скривив губы, не здороваясь, отвернулся.

Нескончаемо долго волочилось время. Часам к девяти пришел секретарь суда. Не раздеваясь, чмыкая носом, хлопнул на стол кипу дел и сонными, опухшими глазами оглядел толпу, скучившуюся в сенях. Через час пришел судья, боком протиснулся в дверь и звонко захлопнул ее.

— Федор Бойцов и Захар Благуродов! — крикнул, приоткрывая дверь, секретарь.

Поскрипывая подшитыми валенками, прошел Захар Денисович.

— Эк самогоном-то от гражданина наносит, ажник с ног валяет! Видать, до дна провонялся! — усмехаясь вслед ему, проговорил пожилой казак в потрепанной шинелишке.

Федор снял шапку и бодро шагнул через порог. Минут десять длились перекрестные вопросы нарзаседателей и судьи. Захар Денисович заикался — как видно, робел.

— Платили вы ему? — постукивая карандашом, спрашивал судья.

— Так точно... Платили...

— Чем же платили, натурой или деньгами?

— Деньгами.

— Сколько?

— Восемь рублей и хлебца вдобавок всыпал.

— Как же это так? Ведь вы ж показали, что наняли Бойцова за полтину в месяц?

— По доброте моей... Как он сирота... Благодетелем был ему... замест родного отца...— багровея, сипел Захар Денисович.

— Так...— Судья чуть приметно насмешливо улыбнулся.

Задав еще несколько вопросов, суд попросил их выйти. Было выслушано еще пять или шесть дел. Федор стоял в сенцах и видел, как Захар Денисович, собрав во

круг себя человек восемь казаков, ожесточенно махал руками.

— Спрашивает, почему без договора? Вот так и возьми работника... Пришел, просит ради Христа, а оказался комсомолистом и заявляет: я, дескать, работать не буду.

— Суд идет!

Толпа хлынула в комнату. Судья скороговоркой читал начало приговора. Федор чувствовал под полушубком частое перестукивание сердца. Кровь то приливала к голове, то снова уходила к сердцу. Слов приговора он почти не различал. Судья повысил голос:

— Руководствуясь статьей... Захар Благуродов присуждается к уплате Бойцову Федору двенадцати рублей за два месяца работы... Не заключивший договора... за эксплуатацию несовершеннолетнего — к штрафу в размере тридцати рублей или принудительным работам сроком... Судебные издержки... Приговор окончательный...— доносился до Федора голос судьи.

Федор сбежал с крыльца и, не застегивая распахнутого полушубка, радостно про себя улыбаясь, быстро вышел за станицу. Незаметно прошел несколько верст: шагая, обдумывал происшедшее, строил планы, как к осени будущего года заработает денег на лошадь и заживет своим маленьким хозяйством, избавя мать от нищеты.

Вспомнил о предстоящей летом работе среди батраков, и радостно согрелась грудь. Ветер дул в лицо и порошил снегом, мелкая колючая пыль застилала глаза. Неожиданно слух Федора уловил едва слышный визг полозьев и щелканье подков позади, быстро повернулся назад, как вдруг страшный удар оглоблей в грудь свалил его с ног. Падая, увидел над собой вспененную морду вороной лошади, а за ней в облаке снежной пыли, багрово-синее лицо Захара Денисовича.

Мгновенно за ударом оглоблей свистнул над головою кнут, и ремень, сорвав с головы шапку, наискось рассек лицо.

Не чувствуя боли, сгоряча вскочил Федор на ноги и, охваченный бешенством, без шапки рванулся и побежал за санями. Захар Денисович левой рукой натягивал вожжи, удерживая скакавшую во весь карьер лошадь, а правой высоко поднимал кнут и, оборачиваясь к Федору, горланил:

— Я тебе припомню!.. Я тебе подсижу... твою мать!.. раки зимуют!..

Ветер в клочья рвал слова и душил бежавшего следом Федора. Обессилев, он остановился посреди дороги и только тогда ощутил режущую боль в груди, почувствовал, что лицо ему жжет, стекая, соленая кровь.

XV

Оттуда, где на бугре черными проталинами просвечивала сквозь снег пахота, пришла весна. Ночью подул ветер, теплый и влажный, над хутором нависли тучи, к рассвету хлынул дождь, и снег, подтаявший раньше, расплавился в потоках воды. В степи оголилась земля, лишь ледок, державшийся на дороге и во впадинках, цепко прирос к прошлогодней траве и кочкам, прижался, словно просил защиты.

Перед началом полевых работ Федор попрощался с ребятами и, плотно уложив в сумку пожитки и литературу, которой снабдил его Рыбников, пошел в поисках заработка.

— Гляди, Федя, организовывай там!..— говорил Рыбников на прощанье.

— Ладно, сделаю. Всех в кучу соберу! — улыбался Федор.

Человек пять ребят проводили его за хутор и дождались, пока выйдет он на большак. Переваливая через первый бугор, Федор оглянулся: на прогоне кучкой стояли провожавшие. Рыбников и Егор махали снятыми картузами.

Тоска ущемила Федора, когда хутор скрылся из глаз. Снова он один, как вот этот куст прошлогоднего перекати поля, сиротливо качающийся у дороги...

С усилием превозмогая себя, Федор стал думать о том, куда идти. Окрестные хутора были бедны, и люди не нуждались в наемных руках, богаче Хреновского поселка не было в районе станицы. Федор подумал и свернул проселком на Хреновский. Нанялся он к соседу Захара Денисовича — Пантелею Мирошникову. Дед Пантелей был высокий, высохший до костей, угрюмый старик. Троих сыновей убили в войну, вел он хозяйство со старухой и с двумя снохами.

— Ты почему, в рот те на́ малину, от Захарки ушел? — при найме спросил он Федора, передвигая по лбу седые брови.

— Хозяин рассчитал.

— А как думаешь наняться?

— По уговору.

— Какой такой уговор? Моя цена на летнюю пору три рубля, а зимой ты мне и даром не нужен. Может, ты на круглый год норовишь, так мне без надобности.

— Могу и до осени.

— Словом, до скончания работ. Как отпашемся осенью, так ступай на все четыре, в рот те на́ малину. Согласен — три в месяц?

— Согласен, только договор надо. Без него нельзя.

— Мне все одинаково... грамоте вот не разумею... Там, небось, в рот те на́ малину, расписываться надо? Ну, да Степанида, сноха, распишется.

Подписали в батрачкоме договор, и Федор с радостью взялся за работу. Дед Пантелей недели две исподтишка присматривался к новому работнику,— часто Федор ловил на себе его щупающий, пронзительный взгляд,— и наконец, к концу второй недели, вечером, когда Федор за один день вспахал бахчу и пригнал домой быков, усталых и потных, дед подошел к нему и заговорил:

— Вспахал бахчу?

— Вспахал.

— Без огрехов?

— Да.

— Плуг как пущал?

— Так, как велел, дедушка.

— Быков поил в пруду?

— Поил.

— А сколько тебе годов, паря?

— Семнадцать.

Дед шагнул к Федору, больно ухватил его за волосы и, притянув голову к своей высохшей, костлявой груди, крепко прижал ее и шершавой ладонью долго гладил мускулистую, тугую спину Федора.

— Ты, дорогой работник, в рот те на́ малину!.. Золотые руки!.. Останешься на зиму, коль захошь, ей-богу!..

Отпихнул Федора от себя и долго глядел на него, улыбаясь широко и светло. Федор был растроган лаской и родственным отношением к нему старика. Новый хозяин был совершенно не похож на Захара. Еще когда нанимался Федор, он спросил:

— Ты, никак, этот, как его... комсомол? — И на утвердительный ответ махнул рукою.— Меня это не касаемо. Исть будешь отдельно, не могу с тобой помещаться. Ты, небось, лоб-то не крестишь?

— Нет.

— Ну, вот... Я — старик, и ты не обижайся, что отделяю тебя. Мы с тобой разных грядок овошчи.

К Федору он относился хорошо: кормил сытно, дал свою домотканую одежду и не обременял непосильной работой. Федор вначале думал, что ему придется, как у Захара Денисовича, одному нести работу, но когда поехали перед пасхой пахать, то увидел, что дед Пантелей, несмотря на свою сухоту, любого молодого заткнет за пояс. Он без устали ходил за плугом, пахал чисто и любовно, а ночью по очереди с Федором стерег быков. Старик был набожный, «черным словом» не ругался и держал семью твердой рукой. Федору нравилась его постоянная поговорка: «в рот те на́ малину», нравился и сам старик, такой суровый на вид и сердечно добрый в душе.

На пасху вечером Федор повстречался в своем проулке с рябым низкорослым парнем, на вид лет двадцати. Он видел, как парень вышел из Захарова двора, и догадался, со слов деда Пантелея, что это Захаров работник. Парень поравнялся с Федором, и тот первый затеял разговор:

— Здорово, товарищ!

— Здравствуй,— нехотя ответил парень.

— Никак, у Захара Денисовича в работниках?

— Ага.

Федор подошел поближе, продолжая расспросы:

— Давно живешь?

— Четвертый месяц, с зимы.

— Почем же платит?

— Рупь и харчи.— Парень оживился и заблестел глазами.— Гутарют, что дед за трояк тебя сладил и на евоном ходишь? Правда, аль брешут?

— Правда.

— Нагрел меня Захар-то...— огорченно заговорил парень.— Сулил набавить, а сам помалкивает. Работать заставляет как проклятого,— уже озлобляясь, загорячился он,— в праздники то же самое... Свою одежу сносил, а он ни денег, ни одежи не дает. Вишь, в чем на пасху щеголяю? Парень повернулся задом, и на спине его, сквозь расшматованную вдоль рубаху, увидел Федор черный треугольник тела.

— Как тебя звать?

— Митрий. А тебя?

— Федор.

Из Захарова двора донесся гнусавый голос хозяина:

— Митька! Что ж ты, сволочь, баз не затворил?.. Иди загоняй быков!..

Митька вспугнутым козлом шарахнул через плетень и, выглядывая из густой крапивы, поманил Федора пальцем. Федор перелез через плетень, выбрал в саду место поглуше и, усадив рядом Митьку, приступил к агитации.

XVI

Каждое воскресенье вечером уходил Федор на игрища и там знакомился с другими ребятами, работавшими батраками у хреновских богатеев. Всего по поселку было восемнадцать человек батраков, из них пятнадцать — молодежь. И вот этих-то пятнадцать батраков стянул Федор всех вместе и положил начало батрацкому союзу.

Уходя с игрищ, где парни из зажиточных дворов охальничали с визгливыми девками, Федор подолгу говорил с ними, убеждая примкнуть к комсомолу и принудить хозяев к заключению договоров.

Вначале ребята относились к словам Федора с насмешливым недоверием.

— Тебе хорошо рассусоливать,— кипятился сутулый Колька,— у тебя хозяин вроде апостола, а доведись до мово, так он за комсомол да за договор вязы мне набок свернет!..

— Небось, не свернет! — возражал другой.

— И свернет, ежли будешь один! А ты думал — как? Один палец, к примеру, ты мне сломишь, ажник хрустнет, а ежли все их — да в кулак сожму — тогда сломишь? Нет, брат, я тебе этим кулаком жевалки вышибу!..— под дружный хохот говорил Федор.— Вот в такой кулак и мы должны слепиться. Довольно мы хозяевам за дурняка работали! Все вы получаете — кто рупь, кто полтину, а я трояк и работаю легче вас!..

— Верна-а-а!..— гудели голоса.

Собирались обычно ночью, за гумнами, и просиживали до кочетов.

На пятое воскресенье Федор внес такое предложение:

— Вот что, братва, вчера поделили траву, не нынезавтра зачнется покос, давайте завтра объявлять хозяевам, пущай повышают жалованье и заключают договора, а нет,— мол, бросим работу!..

— Нельзя так! Дюже круто!..

— Нас повыгоняют!

— Без куска останемся!..

— Не выгонют! — багровея, закричал Федор.— Не вы-

гонют, затем что на носу покос! Гайка у них ослабнет — без работников остаться!.. Нельзя так жить! Батрачком спрашивает: вы как наняты? Один говорит: мол, я хозяину родня; другой — «живу по знакомству». А за вас, окромя вас, никто хлопотать не будет!

После долгих споров на том и порешили.

Наутро поселок заволновался и загудел, как встревоженный выводок оводов. Вот-вот покос, а в самых богатых дворах забастовали батраки...

Утром Федор, услышав крик, выбежал за ворота.

Захар Денисович с ревом выкидывал на середину улицы пожитки Митрия, а тот с решительным видом собирал их в кучу и глухо бубнил:

— Погоди, погоди! Просить будешь, да не вернусь!..

— Провались ты к чертовой теще, чтоб я тебя стал просить!..

Увидев Федора, Захар Денисович повернулся к кучке зажиточных мужиков, о чем-то горячо толковавших на перекрестке, и, надувая на лбу связки жил, заорал:

— Хрисьяне!.. Вот он смутьян, заправила ихний!.. В дреколья его, сукиного сына!..

Федор, сжимая кулаки, торопливо пошел к нему, но Захар Денисович, как мышь, шмыгнул в ворота и труслиио заверещал:

— Не подходи, коль жизня дорога!.. Разнесу!..

XVII

— ...Как хотите, воля ваша, а я свово работника прогонять не буду! По мне, пущай он будет партейный, лишь бы дело делал. Договор — тоже не расчет... Накину я ему трешницу на месяц, пущай, а ежли он уйдет — у меня на сотни убытку будет!..

— Правильно, кум!.. У меня вот баба захворала, с кем я должон управляться?..

— Я тоже так кумекаю.

— Вот что, братцы!.. Заключим с ими договора, набавим жалованье, как по закону, в неделю один день пущай празднуют... Ты, Захар, молчи!.. Тебя суд припрег платить тридцать рубликов! То-то оно и есть!.. До поры до времени и нам с рук сходит!

— Чего там попусту брехать! Раз подошло такое дело, значится, надо смиряться. На трешнице урежем, а сотни терять... Эка глупость-то!..

— Теперь попробуй найми!..

— Обожгешься!

— Пущай будет так!

— А этого подлеца, какой разжелудил их, проучить надо. Ученый какой нашелся, язви его...

— Федька — ить он комсомолист!.. Он, когда у меня жил, всю душу вымотал! С ножом за мной по двору гонял, спасибо — рабочие отбили, истинный бог... Да теперича попадись он мне...

— Мой сыняга говорил, они после игрищ за Федотовым гумном собираются. Там он их наставляет...

— А что, ежли двум-трем перевстреть его с колышками?..

— Поучить надо! Чтоб этой нечистью и не воняло!

— Захар Денисыч, ты пойдешь?

— Господи! Да я с великой душой!.. Мне бы колышек какой потяжельше...

— До смерти не будем.

— Там видно будет! У меня, как сердце разыграется, держись!..

— Сколько нас? Трое, что ль? Ну, пошли!..

XVIII

Вечером дед Пантелей, видя, что Федор собирается куда-то идти, улыбаясь, сказал:

— Ты, в рот те на̀ малину, сидел бы дома. Заварил кашу, так не рыпайся!

— А что?

— Тово, что ушибить могут!

— Небось!..— засмеялся Федор и задами пошел к гумнам.

На этот раз ребята собрались не скоро. Часа два прошло в разговорах. Настроение у всех было бодрое и веселое. Обсудив положение, поделились новостями и собрались расходиться.

— Идите врозь, чтоб люди не болтали,— предупредил Федор.

Ночь висела над степью дегтярно-темная, тучи, как лед в половодье, сталкивались и громоздились одна на другую, громыхал гром, за лесом чертила небо молния. Федор отделился от остальных ребят и пошел прежней дорогой. Сначала он хотел пройти задами, но потом раздумал и свер-

нул в свой проулок. Присев у плетня, он хотел закурить, но порыв сухого горячего ветра потушил спичку. Сунув цигарку в карман, Федор подошел к воротам. Он ничего не ожидал и не видел, что сзади крадутся двое, а третий стоит, карауля, на перекрестке...

Едва взялся за скобку калитки, как сзади кто-то, крякнув, махнул колом. Удар пришелся Федору по затылку. Глухо застонав, он всплеснул руками и упал возле ворот, теряя сознание.

* * *

Деда Пантелея нещадно кусали блохи. Долго ворочался, кряхтел, потом скинул на землю овчинную шубу и совсем уже собрался уснуть, как вдруг с надворья послышался стон, топот ног и приглушенный свист. Свесив ноги, он прислушался. Свист повторился. «Федьку застукали!» — мелькнула у деда мысль. Прыгнув с постели, он ухватил со стены древнее шомпольное ружье, из которого стрелял на бахче в грачей, и выбежал на крыльцо. Возле ворот кто-то протяжно стонал, топотали ноги, сочно чавкали удары... Подняв курок, дед выбежал за ворота, рявкнул:

— Кто такие?!

Три темные фигуры шарахнулись в стороны.

Поведя стволом в сторону ближнего, дед Пантелей нажал собачку. Грохнул выстрел, брызнул из дула сноп огня, засвистел горох, которым заряжено было ружье... Кто-то на дороге взвыл и жмякнулся на землю... Задыхаясь, дед кинул ружье и нагнулся к темному очертанию человеческой фигуры, лежавшей возле ворот. Руки его, шарившие по голове, взмокли чем-то густым и липким. Повернув голову, он тщетно вглядывался, темнота слепила глаза. По небу ящерицей пробежала молния, и дед узнал залитое кровью лицо Федора. Подхватив безжизненное тело, дрожа и спотыкаясь, взволок его на крыльцо и выбежал за ворота поднять ружье. Снова молния опалила небо, и дед увидел саженях в двадцати на дороге человека, сидящего на корточках. Сцапав ружье за ствол, дед Пантелей вприпрыжку подбежал к сидящему на корточках, в темноте сбил его с ног и, навалившись животом, заревел:

— Кто такой есть?

— Пусти, ради Христа... У меня весь зад и спина

простреленные... Греха не боишься, сосед, по людям картечью стреляешь... Ой, больно!..

По голосу узнал дед Захара. Не владея собой, стукнул его прикладом по голове и, вцепившись в волосы, волоком потянул к крыльцу.

XIX

«...Дорогой наш товарищ Федя! Ты, должно быть, не знаешь, чем кончился суд? Захара Денисовича пристукали на семь лет с поражением в правах на три года, остальных двух — Михаила Дергачева и Кузьку, хреновского спекулянта,— к пяти годам. А еще сообщаем тебе, что в Хреновском поселке организована ячейка КСМ. Все твои товарищи, батраки,— пятнадцать человек, а еще шестеро беднеющих ребят вступили членами. Меня райком перебрасывает туда работать, и мы все горячо ожидаем, когда ты выздоровеешь и вернешься к нам. Егор в Даниловском поселке организовал ячейку в одиннадцать человек. Все ребята в разгоне, работают. А еще сообщаю, видел надысь я деда Пантелея, и он к тебе в больницу собирается ехать на провед и привезть харчей. Поправляйся скорее и приезжай, еще много работы, а время скачет, как лошадь, порвавшая треногу.

С комсомольским приветом к тебе ячейка РЛКСМ, а за всех ребят — Рыбников».

1926

ЧУЖАЯ КРОВЬ

В филипповку, после заговенья, выпал первый снег. Ночью из-за Дона подул ветер, зашуршал в степи обыневшим краснобылом, лохматым сугробам заплел косы и догола вылизал кочковатые хребтины дорог.

Ночь спеленала станицу зеленоватой сумеречной тишиной. За дворами дремала степь, непаханая, забурьяневшая.

В полночь в ярах глухо завыл волк, в станице откликнулись собаки, и дед Гаврила проснулся. Свесив с печки ноги, держась за комель, долго кашлял, потом сплюнул и нащупал кисет.

Каждую ночь после первых кочетов просыпается дед, сидит, курит, кашляет, с хрипом отрывая от легких мокроту, а в промежутках между приступами удушья думки идут в голове привычной, хоженой стежкой. Об одном думает дед — о сыне, пропавшем в войну без вести.

Был один — первый и последний. На него работал не покладая рук. Время приспело провожать на фронт против красных,— две пары быков отвел на рынок, на выручку купил у калмыка коня строевого, не конь — буря степная, летучая. Достал из сундука седло и уздечку дедовскую с серебряным набором. На проводах сказал:

— Ну, Петро, справил я тебя, не стыдно и офицеру с такой справой идтить... Служи, как отец твой служил, войско казацкое и тихий Дон не страми! Деды и прадеды твои службу царям несли, должон и ты!..

Глядит дед в окно, обрызганное зелеными отсветами лунного света, к ветру,— какой по двору шарит, неположенного ищет,— прислушивается, вспоминает те дни, что назад не придут и не вернутся...

На проводах служивого гремели казаки под камышовой крышей Гаврилиного дома старинной казачьей песней:

А мы бьем, не портим боевой порядок.
Слу-ша-ем один да приказ.
И что нам прикажут отцы-командиры,
Мы туда идем — рубим, колем, бьем!..

За столом сидел Петро, хмельной, иссиня-бледный, последнюю рюмку, «стременную», выпил, устало зажмурив глаза, но на коня твердо сел. Шашку поправил и, с седла перегнувшись, горсть земли с родимого база взял. Где-то теперь лежит он и чья земля на чужбинке греет ему грудь?

Кашляет дед тягуче и сухо, мехи в груди на разные лады хрипят-вызванивают, а в промежутках, когда, откашлявшись, прислонится сгорбленной спиной к комелю, думки идут в голове знакомой, хоженой стежкой.

* * *

Проводил сына, а через месяц пришли красные. Вторглись в казачий исконный быт врагами, жизнь дедову, обычную, вывернули наизнанку, как порожний карман. Был Петро по ту сторону фронта, возле Донца, усердием

в боях заслуживал урядницкие погоны, а в станице дед Гаврила на москалей, на красных вынашивал, кохал, нянчил — как Петра, белоголового сынишку, когда-то — ненависть стариковскую, глухую.

Назло им носил шаровары с лампасами, с красной казачьей волей, черными нитками простроченной вдоль суконных с напуском шаровар. Чекмень надевал с гвардейским оранжевым позументом, со следами ношенных когда-то вахмистерских погон. Вешал на грудь медали и кресты, полученные за то, что служил монарху верой и правдой; шел по воскресеньям в церковь, распахнув полы полушубка, чтоб все видали.

Председатель Совета станицы при встрече как-то сказал:

— Сыми, дед, висюльки! Теперь не полагается.

Порохом пыхнул дед:

— А ты мне их вешал, что сымать-то велишь?

— Кто вешал, давно небось в земле червей продовольствует.

— И пущай!.. А я вот не сыму! Рази с мертвого сдерешь?

— Сказанул тоже... Тебя же жалеючи, советую, по мне, хоть спи с ними, да ить собаки... собаки-то штаны тебе облатают! Они, сердешные, отвыкли от такого виду, не признáют свово...

Была обида горькая, как полынь в цвету. Ордена снял, но обида росла в душе, лопушилась, со злобой родниться начала.

Пропал сын — некому стало наживать. Рушились сараи, ломала скотина базы, гнили стропила раскрытого бурей катуха. В конюшне, в пустых станках, по-своему захозяйствовали мыши, под навесом ржавела косилка.

Лошадей брали перед уходом казаки, остатки добирали красные, а последнюю, лохмоногую и ушастую, брошенную красноармейцами в обмен, осенью за один огляд купили махновцы. Взамен оставили деду пару английских обмоток.

— Пущай уж наше переходит! — подмигивал махновский пулеметчик.— Богатей, дед, нашим добром!..

Прахом дымилось все нажитое десятками лет. Руки падали в работе; но весною,— когда холостеющая степь ложилась под ногами, покорная и истомная,— манила деда земля, звала по ночам властным, неслышным зовом. Не мог противиться, запрягал быков в плуг, ехал, полосовал степь

сталью, обсеменял ненасытную черноземную утробу ядреной пшеницей-гиркой.

Приходили казаки от моря и из-за моря, но никто из них не видал Петра. В разных полках с ним служили, в разных краях бывали,— мала ли Россия? — а однополчане-станичники Петра полком легли в бою со Жлобинским отрядом на Кубани где-то.

Со старухой о сыне почти не говорил Гаврила.

Ночами слышал, как в подушку точила она слезы, носом чмыкала.

— Ты чего, старая? — спросит, кряхтя.

Помолчит та немного, откликнется:

— Должно, угар у нас... голова что-то прибаливает.

Не показывая виду, что догадывается, советовал:

— А ты бы рассольцу из-под огурцов. Сем-ка я слазю в погреб, достану?

— Спи уж. Пройдет и так!..

И снова тишина расплеталась в хате незримой кружевной паутиной. В оконце месяц нагло засматривал, на чужое горе, на материнскую тоску любуясь.

Но всё же ждали и надеялись, что придет сын. Овчины отдал Гаврила выделать, старухе говорит:

— Мы с тобой перебьемся и так, а Петро придет, что будет носить? Зима заходит, надо ему полушубок шить.

Сшили полушубок на Петров рост и положили в сундук. Сапоги расхожие — скотину убирать — ему сготовили. Мундир свой синего сукна берег дед, табаком пересыпал, чтобы моль не посекла, а зарезали ягнока — из овчинки папаху сшил сыну дед и повесил на гвоздь. Войдет с надворья, глянет, и кажется, будто выйдет сейчас Петро из горницы, улыбнется, спросит: «Ну как, батя, холодно на базу?»

Дня через два после этого перед сумерками пошел скотину убирать. Сена в ясли наметал, хотел воды из колодца почерпнуть — вспомнил, что забыл варежки в хате. Вернулся, отворил дверь и видит: старуха на коленях возле лавки стоит, папаху Петрову неношеную к груди прижала, качает, как дитя баюкает...

В глазах потемнело, зверем кинулся к ней, повалил на пол, прохрипел, пену глотая с губ:

— Брось, подлюка!.. Брось!.. Что ты делаешь?!

Вырвал из рук папаху, в сундук кинул и замок навесил. Только стал примечать, что с той поры левый глаз у старухи стал дергаться и рот покривило.

Текли дни и недели, текла вода в Дону, под осень прозрачно-зеленая, всегда торопливая.

В этот день замерзли на Дону окраинцы. Через станицу пролетела припозднившаяся ватага диких гусей. Вечером прибежал к Гавриле соседский парень, на образа второпях перекрестился.

— Здорово дневали!

— Слава богу.

— Слыхал, дедушка? Прохор Лиховидов из Турции пришел. Он ить с вашим Петром в одном полку служил!..

Спешил Гаврила по проулку, задыхаясь от кашля и быстрой ходьбы. Прохора не застал дома: уехал на хутор к брату, обещал вернуться к завтрему.

Ночь не спал Гаврила. Томился на печке бессонницей.

Перед светом зажег жирник, сел подшивать валенки.

Утро — бледная немочь — точит с сизого восхода чахлый рассвет. Месяц зазоревал посреди неба, сил не хватило дошагать до тучки, на день прихорониться.

* * *

Перед завтраком глянул Гаврила в окно, сказал почему-то шепотом:

— Прохор идет!

Вошел он, на казака не похожий, чужой обличьем. Скрипели на ногах у него кованые английские ботинки, и мешковато сидело пальто чудно́го покроя, с чужого плеча, как видно.

— Здоро́во живешь, Гаврила Василич!..

— Слава богу, служивый!.. Проходи, садись.

Прохор снял шапку, поздоровался со старухой и сел на лавку, в передний угол.

— Ну, и погодка пришла, снегу надуло — не пройдешь!..

— Да, снега нынче рано упали... В старину в эту пору скотина на подножном корму ходила.

На минутку тягостно замолчали. Гаврила, с виду равнодушный и твердый, сказал:

— Постарел ты, парень, в чужих краях!

— Молодеть-то не с чего было, Гаврила Василич! — улыбнулся Прохор.

Заикнулась было старуха:

— Петра нашего...

— Замолчи-ка, баба!..— строго прикрикнул Гаврила.— Дай человеку опомниться с морозу, успеешь... узнать!..

Поворачиваясь к гостю, спросил:

— Ну как, Прохор Игнатич, протекала ваша жизня?

— Хвалиться нечем. Дотянул до дому, как кобель с отбитым задом, и то — слава богу.

— Та-а-ак... Плохо́ у турка жилось, значится?

— Концы с концами насилу связывали.— Прохор побарабанил по столу пальцами.— Однако и ты, Гаврила Василич, дюже постарел, седина вон как обрызгала тебе голову... Как вы тут живете при Советской власти?

— Сына вот жду... стариков, нас докармливать...— криво улыбнулся Гаврила.

Прохор торопливо отвел глаза в сторону. Гаврила приметил это, спросил резко и прямо.

— Говори: где Петро?

— А вы разве не слыхали?

— По-разному слыхали,— отрубил Гаврила.

Прохор свил в пальцах грязную бахромку скатерти, заговорил не сразу:

— В январе, кажись... Ну да, в январе, стояли мы сотней возле Новороссийского... Город такой у моря есть... Ну, обнакновенно стояли...

— Убит, что ли?..— нагибаясь, низким шепотом спросил Гаврила.

Прохор, не поднимая глаз, промолчал, словно и не слышал вопроса.

— Стояли, а красные прорывались к горам: к зеленым на соединенье. Назначает его, Петра вашего, командир сотни в разъезд... Командиром у нас был подъесаул Сенин... Вот тут и случись... понимаете...

Возле печки звонко стукнул упавший чугун, старуха, вытягивая руки, шла к кровати, крик распирал ей горло.

— Не вой!! — грозно рявкнул Гаврила и, облокотясь о стол, глядя на Прохора в упор, медленно и устало проговорил: — Ну, кончай!

— Срубили!..— бледнея, выкрикнул Прохор и встал, нащупывая на лавке шапку.— Срубили Петра... насмерть... Остановились они возле леса, коням передышку давали, он подпругу на седле отпустил, а красные из лесу...— Прохор, захлебываясь словами, дрожащими руками мял шапку.—

Петро черк за луку, а седло коню под пузо... Конь горячий... не сдержал, остался... Вот и все!

— А ежели я не верю?..— раздельно сказал Гаврила.

Прохор, не оглядываясь, торопливо пошел к двери.

— Как хотите, Гаврила Василич, а я истинно... Я правду говорю... Гольную правду... Своими глазами видал...

— А ежели я не хочу этому верить?! — багровея, захрипел Гаврила. Глаза его налились кровью и слезами. Разодрав у ворота рубаху, он голой волосатой грудью шел на оробевшего Прохора, стонал, запрокидывая потную голову: — Одного сына убить?! Кормильца?! Петьку мово?! Брешешь, сукин сын!.. Слышишь ты?! Брешешь! Не верю!..

А ночью, накинув полушубок, вышел во двор, поскрипывая по снегу валенками, прошел на гумно и стал у скирда.

Из степи дул ветер, порошил снегом; темень, черная и строгая, громоздилась в голых вишневых кустах.

— Сынок! — позвал Гаврила вполголоса. Подождал немного и, не двигаясь, не поворачивая головы, снова позвал: — Петро!.. Сыночек!..

Потом лег плашмя на притоптанный возле скирда снег и тяжело закрыл глаза.

* * *

В станице поговаривали о продразверстке, о бандах, что шли с низовьев Дона. В исполкоме на станичных сходах шепотом сообщались новости, но дед Гаврила ни разу не ступнул на расшатанное исполкомское крыльцо, надобности не было, потому о многом не слышал, многое не знал. Диковинно показалось ему, когда в воскресенье после обедни заявился председатель, с ним трое в желтых куценьких дубленках, с винтовками.

Председатель поручкался с Гаврилой и сразу, как обухом по затылку:

— Ну, признавайся, дед: хлеб есть?

— А ты думал как, духом святым кормимся?

— Ты не язви, говори толком: где хлеб?

— В амбаре, самой собой.

— Веди.

— Дозволь узнать, какое вы имеете касательство к моему хлебу?

Рослый, белокурый, по виду начальник, постукивая на морозе каблуками, сказал:

— Излишки забираем в пользу государства. Продразверстка. Слыхал, отец?

— А ежели я не дам? — прохрипел Гаврила, набухая злобой.

— Не дашь? Сами возьмем!..

Пошептались с председателем, полезли по закромам, в очищенную, смугло-золотую пшеницу накидали с сапог снежных ошлепков. Белокурый, закуривая, решил:

— Оставить на семена, на прокорм, остальное забрать.— Оценивающим хозяйским взглядом прикинул количество хлеба и повернулся к Гавриле: — Сколько десятин будешь сеять?

— Чертову лысину засею!..— засипел Гаврила, кашляя и судорожно кривляясь.— Берите, проклятые!.. Грабьте!.. Все ваше!..

— Что ты, осатанел, что ли, остепенись, дед Гаврила!..— упрашивал председатель, махая на Гаврилу варежкой.

— Давитесь чужим добром!.. Лопайте!..

Белокурый содрал с усины оттаявшую сосульку, искоса умным, насмешливым глазом кольнул Гаврилу, сказал со спокойной улыбкой:

— Ты, отец, не прыгай! Криком не поможешь. Что ты визжишь, аль на хвост тебе наступили?..— и, хмуря брови, резко переломил голос: — Языком не трепи!.. Коли длинный он у тебя — привяжи к зубам!.. За агитацию...— Не договорив, хлопнул ладонью по желтой кобуре, перекосившей пояс, и уже мягче сказал: — Сегодня же свези на ссыппункт!

Не то чтобы испугался старик, а от голоса уверенного и четкого обмяк, понял, что в самом деле криком тут не пособишь. Махнул рукой и пошел к крыльцу. До половины двора не дошел — дрогнул от крика дико-хриплого:

— Где продотрядники?

Повернулся Гаврила — за плетнем, вздыбив приплясывающую лошадь, кружится конный. Предчувствие чего-то необычайного дрожью подкатилось под колени. Не успел рта раскрыть, как конный, увидев стоявших возле амбара, круто осадил лошадь и, неуловимо поведя рукой, рванул с плеча винтовку.

Сочно треснул выстрел, и в тишине, вслед за выстрелом на короткое мгновение облапившей двор, четко

сдвоил затвор, патронная гильза вылетела с коротким жужжаньем.

Оцепенение прошло: белокурый, влипая в притолоку, прыгающей рукой долго до жути тянул из кобуры револьвер, председатель, приседая по-заячьи, рванулся через двор к гумну, один из продотрядников упал на колено, выпуская из карабина обойму в черную папаху, качавшуюся за плетнем. Двор захлестнуло стукотнею выстрелов. Гаврила с трудом оторвал от снега словно прилипшие ноги и тяжело затрусил к крыльцу. Оглянувшись, увидал, как трое в дубленках недружно, врассыпную, застревая в сугробах, бежали к гумну, а в радушно распахнутые ворота хлынули конные.

Передний, в кубанке, на рыжем жеребце, горбатясь, приник к луке и закружил над головой шашку. Перед Гаврилой лебедиными крыльями мелькнули концы его белого башлыка, в лицо кинуло снегом, брызнувшим из-под лошадиных копыт.

Обессиленно прислонясь к резному крыльцу, Гаврила видел, как рыжий жеребец, подобравшись, взлетел через плетень и закружился на дыбках возле початого скирда ячменной соломы, а кубанец, свисая с седла, крест-накрест рубил ползавшего в корчах продотрядника...

На гумне обрывчатый, неясный шум, возня, чей-то протяжный, рыдающий крик. Через минуту гулко стукнул одинокий выстрел. Голуби, вспугнутые было стрельбой и вновь попадавшие на крышу амбара, сорвались в небо фиолетовой дробью. Конные на гумне спешились.

По станице неумолчно плескался малиновый трезвон. Паша — станичный дурачок — взобрался на колокольню и, по глупому своему разуму, хватил во все колокола, вместо набата вызванивая пасхальную плясовую.

К Гавриле подошел кубанец в наброшенном на плечи белом башлыке. Лицо его, горячее и потное, подергивалось, углы губ слюняво свисали.

— Овес есть?

Гаврила трудно двинулся от крыльца, подавленный виденным, не мог совладать с онемевшим языком.

— Оглох ты, черт?! Овес есть? — спрашиваю. Неси мешок!

Не успели подвести лошадей к корыту с кормом,— в ворота вскочил еще один.

— По коням!.. С горы пехота...

Кубанец с проклятием взнуздал облитого дымящимся

потом жеребца и долго тер снегом обшлаг своего правого рукава, густо измазанного чем-то багрово-красным.

Со двора их выехало пятеро, в тороках последнего угадал Гаврила желтую, в кровяных узорах дубленку белокурого.

* * *

До вечера за бугром в терновой балке погромыхивали выстрелы. В станице побитой собакой приниженно лежала тишина. Уже заголубели сумерки, когда Гаврила решился пойти на гумно. Вошел в настежь открытую калитку, увидел: на гуменном прясле, уронив голову, повис, настигнутый пулей, председатель. Руки его, свисая, словно тянулись за шапкой, валявшейся по ту сторону прясла.

Неподалеку от скирда на снегу, притрушенном объедьями и половой, лежали раздетые до белья продотрядники, все трое в ряд. И глядя на них, уже не ощутил Гаврила в дрогнувшем от ужаса сердце той злобы, что гнездилась там с утра. Казалось небывальщиной, сном, чтобы на гумне, где постоянно разбойничали соседские козы, обдергивая прикладок соломы, теперь лежали изрубленные люди; и от них, от талых круговин примерзшей пузырчатой крови, уже струился-тек запах мертвечины...

Белокурый лежал, неестественно отвернув голову, и если б не голова, плотно прижатая к снегу, можно было бы подумать, что лежит он отдыхая — так беспечно были закинуты его ноги одна за одну.

Второй, щербатый и черноусый, выгнулся, вобрав голову в плечи, оскалясь непримиримо и злобно. Третий, зарывшись головою в солому, недвижно плыл по снегу: столько силы и напряжения было в мертвом размахе его рук.

Нагнулся Гаврила над белокурым, вглядываясь в почерневшее лицо, и дрогнул от жалости: лежал перед ним мальчишка лет девятнадцати, а не сердитый, с колючими глазами продкомиссар. Под желтеньким пушком усов возле губ стыл иней и скорбная складка, лишь поперек лба темнела морщинка, глубокая и строгая.

Бесцельно тронул рукою голую грудь и качнулся от неожиданности: сквозь леденящий холодок ладонь прощупала потухающее тепло...

Старуха ахнула и, крестясь, шарахнулась к печке, когда

Гаврила, кряхтя и стоная, приволок на спине одеревеневшее, кровью почерненное тело.

Положил на лавку, обмыл холодной водой, до устали, до пота тер колючим шерстяным чулком ноги, руки, грудь. Прислонился ухом к гадливо-холодной груди и насилу услышал глухой, с долгими промежутками стук сердца.

* * *

Четвертые сутки лежал он в горнице, шафранно-бледный, похожий на покойника. Пересекая лоб и щеку, багровел запекшийся кровью шрам, туго перевязанная грудь качала одеяло, с хрипом и клокотаньем вбирая воздух.

Каждый день Гаврила вставлял ему в рот свой потрескавшийся, зачерствелый палец, концом ножа осторожно разжимал стиснутые зубы, а старуха через камышинку лила подогретое молоко и навар из бараньих костей.

На четвертый день с утра на щеках белокурого зарозовел румянец, к полудню лицо его полыхало, как куст боярышника, зажженный морозом, дрожь сотрясала все тело, и под рубахой проступил холодный и клейкий пот.

С этой поры стал он несвязно и тихо бредить, порывался вскакивать с кровати. Днем и ночью дежурили около него Гаврила поочередно со старухой.

В длинные зимние ночи, когда восточный ветер, налетая с Обдонья, мутил почерневшее небо и низко над станицей стлал холодные тучи, сиживал Гаврила возле раненого, уронив голову на руки, вслушиваясь, как бредил тот, незнакомым, окающим говорком несвязно о чем-то рассказывая; подолгу вглядывался в смуглый треугольник загара на груди, в голубые веки закрытых глаз, обведенных сизыми подковами. И когда с выцветших губ текли тягучие стоны, хриплая команда, безобразные ругательства и лицо искажалось гневом и болью,— слезы закипали у Гаврилы в груди. В такие минуты жалость приходила непрошеная.

Видел Гаврила, как с каждым днем, с каждой бессонной ночью бледнеет и сохнет возле кровати старуха, примечал и слезы на щеках ее, вспаханных морщинами, и понял, вернее — почуял сердцем, что невыплаканная любовь ее

к Петру, покойному сыну, пожаром перекинулась вот на этого недвижного, смертью зацелованного, чьего-то чужого сына...

Заезжал как-то командир проходившего через станицу полка. Лошадь у ворот оставил с ординарцем, сам взбежал на крыльцо, гремя шашкой и шпорами. В горнице шапку снял и долго молча стоял у кровати. По лицу раненого бродили бледные тени, из губ, сожженных жаром, точилась кровица. Качнул командир преждевременно поседевшей головой, затуманясь и глядя куда-то мимо Гаврилиных глаз, сказал:

— Побереги товарища, старик!

— Побережем! — твердо ответил Гаврила.

Текли дни и недели. Минули святки. На шестнадцатый день в первый раз открыл белокурый глаза, и услышал Гаврила голос, паутинно-скрипучий:

— Это ты, старик?

— Я.

— Здорово меня обработали?

— Не приведи Христос!

Во взгляде, прозрачном и неуловимом, почудилась Гавриле усмешка, беззлобно-простая.

— А ребята?

— Энти того... закопали их на плацу.

Молча пошевелил по одеялу пальцами и перевел взгляд на некрашеные доски потолка.

— Звать-то тебя как будем? — спросил Гаврила.

Голубые с прожилками веки устало опустились.

— Николай.

— Ну, а мы Петром кликать будем... Сын у нас был... Петро...— пояснил Гаврила.

Подумав, хотел еще о чем-то спросить, но услышал ровное, в нос дыхание и, удерживая руками равновесие, на цыпочках отошел от кровати.

* * *

Жизнь возвращалась к нему медленно, словно нехотя. На другой месяц с трудом поднимал от подушки голову, на спине появились пролежни.

С каждым днем с ужасом чувствовал Гаврила, что кровно привязывается к новому Петру, а образ первого, родного, меркнет, тускнеет, как отблеск заходящего солнца

на слюдяном оконце хаты. Силился вернуть прежнюю тоску и боль, но прежнее уходило все дальше, и ощущал Гаврила от этого стыд и неловкость... Уходил на баз, возился там часами, но, вспомнив, что с Петром у кровати сидит неотступно старуха, испытывал ревнивое чувство. Шел в хату, молча топтался у изголовья кровати, негнущимися пальцами неловко поправлял наволочку подушки и, перехватив сердитый взгляд старухи, смирно садился на скамью и притихал.

Старуха поила Петра сурчиным жиром, настоем целебных трав, снятых весною, в майском цвету. От этого ли или от того, что молодость брала верх над немощью, но раны зарубцевались, кровь красила пополневшие щеки, лишь правая рука с изуродованной у предплечья костью срасталась плохо: как видно, отработала свое.

Но все же на второй неделе поста в первый раз присел Петро на кровати сам, без посторонней помощи, и, удивленный собственной силой, долго и недоверчиво улыбался.

Ночью в кухне, покашливая на печке, шепотом:

— Ты спишь, старая?

— А что тебе?

— На ноги подымается наш... Ты завтра из сундука Петровы шаровары достань... Приготовь всю амуницию... Ему ить надеть нечего.

— Сама знаю! Я ить надысь достала.

— Ишь ты, проворная!.. Полушубок-то достала?

— Ну, а то телешом, что ли, парню ходить!

Гаврила повозился на печке, чуть было задремал, но вспомнил и, торжествуя, поднял голову:

— А папах? Папах небось забыла, старая гусыня?

— Отвяжись! Мимо сорок разов прошел и не спотыкнулся, вон на гвозде другой день висит!..

Гаврила досадливо кашлянул и примолк.

Расторопная весна уже турсучила Дон. Лед почернел, будто источенный червями, и ноздревато припух. Гора облысела. Снег ушел из степи в яры и балки. Обдонье млело, затопленное солнечным половодьем. Из степи ветер щедро кидал запахи воскресающей полынной горечи.

Был на исходе март.

* * *

— Сегодня встану, отец!

Несмотря на то что все красноармейцы, переступавшие порог Гаврилиного дома, глянув на его волосы, опрятно выбеленные сединой, называли его отцом, на этот раз Гаврила почувствовал в тоне голоса теплую нотку. Казалось ли ему так, или действительно Петро вложил в это слово сыновью ласку, но Гаврила густо побагровел, закашлялся и, скрывая смущенную радость, пробормотал:

— Третий месяц лежишь... Пора уж, Петя!

Вышел Петро на крыльцо, ходульно переставляя ноги, и чуть было не задохнулся от избытка воздуха, втолкнутого в легкие ветром. Гаврила поддерживал его сзади, а старуха томашилась возле крыльца, утирая завеской привычные слезы.

Подвигаясь мимо нахохленной крыши амбара, спросил названый сын — Петро:

— Хлеб отвез тогда?

— Отвез...— нехотя буркнул Гаврила.

— Ну, и хорошо сделал, отец!

И опять от слова «отец» потеплело у Гаврилы в груди. Каждый день ползал Петро по двору, прихрамывая и опираясь на костыль. И отовсюду — с гумна, из-под навеса сарая, где бы ни был,— провожал Гаврила нового сына беспокойным, ищущим взглядом. Как бы не оступился да не упал!

Говорили между собою мало, но отношения увязались простые и любовные.

Как-то, дня два спустя после того, как в первый раз вышел Петро на двор, перед сном, умащиваясь на печке, спросил Гаврила:

— Откель же ты родом, сынок?

— С Урала.

— Из мужицкого сословия?

— Нет, из рабочих.

— Это как же? Рукомесло имел какое, навроде чеботарь али бондарь?

— Нет, отец, я на заводе работал. На чугунолитейном заводе. С мальства там.

— А хлеб забирать это как же пристроился?

— Из армии послали.

— Ты, что же, у них за командира был?

— Да, им был.

Было трудно спрашивать, но к этому вел:
— Значится, ты партейный?
— Коммунист,— ответил Петро, ясно улыбаясь.
И от улыбки этой бесхитростной уже не страшным показалось Гавриле чуждое слово.
Старуха, выждав время, спросила с живостью:
— А семья-то есть у тебя, Петюшка?
— Ни синь пороха!.. Один, как месяц в небе!
— Родители, должно, померли?
— Еще махоньким был, лет семи... Отца при пьянке убили, а мать где-то таскается...
— Эка сучка-то! Тебя, жалкенького, стало быть, кинула?
— Ушла с одним подрядчиком, а я при заводе вырос.
Гаврила свесил с печки ноги, долго молчал, потом заговорил, раздельно, медленно:
— Что ж, сынок, коли нету у тебя родни, оставайся при нас... Был у нас сын, по нем и тебя Петром кличем... Был, да быльем порос, а теперь вот двое с старухой кулюкаем... За это время сколько горя с тобой натерпелись; должно, от этого и полюбился ты нам. Хучь и чужая в тебе кровь, а душой за тебя болишь, как за ро́дного... Оставайся! Будем с тобой возле земли кормиться, она у нас на Дону плодовитая, щедрая... Справим тебя, женим... Я свое отжил, правь хозяйством ты. По мне, лишь бы уважал нашу старость да перед смертью в куске не отказывал... Не бросай нас, стариков, Петро...
За печкой верещал сверчок, трескуче и нудно.
Под ветром тосковали ставни.
— А мы со старухой тебе уже невесту начали приглядывать!..— Гаврила с деланной веселостью подмигнул, но дрогнувшие губы покривились жалкой улыбкой.
Петро упорно глядел под ноги в выщербленный пол, левой рукой сухо выстукивал по лавке. Звук получился волнующий и редкий: тук-тик-так! тук-тик-так!.. тук-тик-так!..
Как видно, обдумывал ответ. И, решившись, оборвал стук, тряхнул головой:
— Я, отец, останусь у вас с радостью, только работник из меня, сам видишь, плоховатый... Рука моя, кормилица, не срастается, стерва! Однако работать буду, насколько силов хватит. Лето поживу, а там видно будет.
— А там, может, навовсе останешься! — закончил Гаврила.

Прялка под ногою старухи радостно зажужжала, замурлыкала, наматывая на скало волокнистую шерсть.

Баюкала ли, житье ли привольное сулила размеренным, усыпляющим стуком — не знаю.

* * *

Вслед за весной пришли дни, опаленные солнцем, курчавые и седые от жирной степной пыли. Надолго стало вёдро. Дон, буйный, как смолоду, бутрился вихрастыми валами. Полая вода поила крайние дворы станицы. Обдонье, зеленовато-белесое, насыщало ветер медвяным запахом цветущих тополей, в лугу зарею розовело озеро, покрытое опавшим цветом диких яблонь. Ночами по-девичьи перемигивались зарницы, и ночи были короткие, как зарничный огневый всплеск. От длинного рабочего дня не успевали отдыхать быки. На выгоне пасся скот, вылинявший и ребристый.

Гаврила с Петром жили в степи неделю. Пахали, боронили, сеяли, ночевали под арбой, одеваясь одним тулупом, но никогда не говорил Гаврила о том, как крепко, незримой путой, привязал к себе его новый сын. Белокурый, веселый, работящий, заслонил собою образ покойного Петра. О нем вспоминал Гаврила все реже. За работой некогда стало вспоминать.

Дни шли воровской, неприметной поступью. Подошел покос.

Как-то с утра провозился Петро с косилкой. На диво Гавриле оправил в кузне ножи и сделал новые, взамен поломанных, крылья. Хлопотал над косилкой с утра, а смерклось — ушел в исполком: позвали на какое-то совещание. В это время старуха, ходившая по воду, принесла с почты письмо. Конверт был замусленный и старый, адрес на имя Гаврилы: с передачей товарищу Косых, Николаю.

Томимый неясной тревогой Гаврила долго вертел в руках конверт с расплывчатыми буквами, размашисто набросанными чернильным карандашом.

Поднимал и глядел на свет, но конверт ревниво хранил чью-то тайну, и Гаврила невольно чувствовал нарастающую злобу к этому письму, изломавшему привычный покой.

На мгновение пришла мысль — изорвать его, но, подумав, решил отдать. Петра встретил у ворот новостью:

— Тебе, сынок, письмо откель-то.
— Мне? — удивился тот.
— Тебе. Иди читай!
Засветив в хате огонь, Гаврила острым, нащупывающим взглядом следил за обрадованным лицом Петра, читавшего письмо. Не вытерпел, спросил:
— Откель оно пришло?
— С Урала.
— От кого прописано? — полюбопытствовала старуха.
— От товарищей с завода.
Гаврила насторожился.
— Всчет чего же пишут?
У Петра, темнея, померкли глаза, ответил нехотя:
— Зовут на завод... Собираются его пускать. С семнадцатого года стоял.
— Как же?.. Стало быть, поедешь? — глухо спросил Гаврила.
— Не знаю...

* * *

Угловато осунулся и пожелтел Петро. По ночам слышал Гаврила, как вздыхал он и ворочался на кровати. Понял, после долгого раздумья, что не жить Петру в станице, не лохматить плугом степную целинную чернозёмь. Завод, вскормивший Петра, рано или поздно, а отымет его, и снова черной чередой заковыляют безрадостные, одичалые дни. По кирпичику разметал бы Гаврила ненавистный завод и место с землею сровнял бы, чтобы росла на нем крапива да лопушился бурьян!..
На третий день на покосе, когда сошлись у стана напиться, заговорил Петро:
— Не могу, отец, оставаться! Поеду на завод... Тянет, душу мутит...
— Аль плохо живется?..
— Не то... Завод свой, когда шел Колчак, мы защищали полторы недели, девятерых колчаковцы повесили, как только заняли поселок, а теперь рабочие, какие пришли из армии, снова поднимают завод на ноги... Смертно голодают сами и семьи ихние, а работают... Как же я могу жить тут? А совесть?..
— Чем пособишь-то? Рукой ить неправ.
— Чудно́ говоришь, отец! Там каждой рукой дорожат!

— Не держу. Поезжай!..— бодрясь, ответил Гаврила. Старуху обмани... скажи, что возвернешься... Поживу, мол, и вернусь... а то затоскует, пропадет... один ить ты у нас был...

И, цепляясь за последнюю надежду, шепотом, дыша порывисто и хрипло:

— А может, в самом деле возвернешься? А? Неужли не пожалеешь нашу старость, а?..

* * *

Скрипела арба, разнобоисто шагали быки, из-под колес, шурша, осыпался рыхлый мел. Дорога, излучисто скользившая вдоль Дона, возле часовенки заворачивала влево. От поворота видны церкви окружной станицы и зеленое затейливое кружево садов.

Гаврила всю дорогу говорил без умолку. Пытался улыбаться.

— На этом месте года три назад девки в Дону потопли. Оттого и часовенка.— Он указал кнутовищем на унылую верхушку часовни.— Тут мы с тобой и простимся. Дальше дороги нету, гора обвалилась. Отсель до станицы с версту, помаленечку дойдешь.

Петро поправил на ремне сумку с харчами и слез с арбы. С усилием задушив рыдание, Гаврила кинул на землю кнут и протянул трясущиеся руки.

— Прощай, родимый!.. Солнышко ясное смеркнется без тебя у нас...— И, кривя изуродованное болью, мокрое от слез лицо, резко, до крика повысил голос: — Подорожники не забыл, сынок?.. Старуха пекла тебе... Не забыл?.. Ну, прощай!.. Прощай, сынушка!..

Петро, прихрамывая, пошел, почти побежал по узенькой каемке дороги.

— Ворочайся!..— цепляясь за арбу, кричал Гаврила.

«Не вернется!..» — рыдало в груди невыплаканное слово.

В последний раз мелькнула за поворотом родная белокурая голова, в последний раз махнул Петро картузом, и на том месте, где ступила его нога, ветер дурашливо взвихрил и закружил белесую дымчатую пыль.

1926

ОДИН ЯЗЫК

По станице Лужины давнишне грязная корка снега, недавно прилетевшие грачи в новом, цвета вороненой стали, оперении.

Дым из труб рыхл и тонок. Небо как небо — серое. Контуры домов расплывчатые от реденькой мглы, что ли. Лишь за Доном четкая и строгая волнится хребтина Обдонской горы да лес стоит, как нарисованный тушью.

В нардоме — районный съезд Советов. Начало. Секретарь окружкома партии уверенно расстанавливает слова доклада о международном положении. На скамьях — делегаты: сзади глядеть — краснооколые казачьи фуражки, папахи, малахаи, дубленополушубчатые шеренги. Единый сап. Изредка кашель. Редко — бороды, больше — голощекого народа с разномастными усами и без них.

Секретарь читает ноту Чемберлена. Из задних рядов запальчиво:

— Пущай не гавкает!

Председательствующий звонит стаканом о графин:

— К порядку!..

А после доклада, в получасовом перерыве, когда в фойе поник над папахами табачный дым, в гуле голосов услышал я знакомый, как будто Майданникова, голос. Растолкал ближних. Он, Майданников — вновь избранный председатель Совета хутора Песчаного. Вокруг него куча казаков. Самый молодой из них, в неизношенной буденовке, говорил:

— ...И повоюем.

— Наломают нам хвост...

— А раньше-то!

— У них, брат, техника.

— Техника без народу, что конь без казака.

— Аль народу у них мало?

Майданников заговорил опять. Голос у него густомягкий, добротная колесная мазь.

— Ты брось это. Ты, односум, белым светом не того... Случись война — она нам не страшная... Тю, да ты погоди! Дай сказать-то! Кончу я молоть, тогда ты засыпешь, а зараз слухай. Нас в германскую забрали в пятнадцатом году. Третьей очереди я был. Из станицы Каменской сотню нашу — на фронт. Пристебнули к Восьмой пешей дивизии, мы и ходим с ней, навроде как на пристежке. Побывали

в боях. Под Стырью с коньми расстались. Всучили нам штыки на винтовку, и превзошли мы в кобылку. Воюем. В окопах и по-разному. А больше все в них. Год в проклятой глине просидели. Четыре месяца без отдыху. Вша нас засыпала! Тут — с тоски, а тут — немытые. И вши были разные: какие с тоски родются — энти горболысые, а какие с грязи — энти черные, ажник жуковые. Хучь они и разные, а кормили мы их одинаково: рубаху, бывалоча, сымешь, расстелешь на землю, как потянешь по ней фляжкой али орудийным стаканом — враз кровяная сделается. Палками их били, ремнями... Как животных, убивали. Вот до чего много их развели! Косяками в рубахах гуляли.

А сами воюем. За что, как и чего — никому не известно. Чужое варево хлебали.

Год прошел, и заняла меня тоска. Смерть — и все! Тут — по коню стосковался, по месяцам не видишь, как его коновод правдает; там — семья осталась неизвестно при чем. А главное, дело, за что народ — и я с ним! — смерть принимает, неизвестно.

В шестнадцатом году сняли нас с фронта, увели верст за сорок. В сотню пополнение пришло, почти что одни старики. Бороды пониже пупка, и все прочее. Поотдохнули мы трошки, коней выправили. И вот тебе — бац! Из штаба дивизии приказ: двинуть нашу сотню к фронтовой линии. Там, мол, солдаты бунтуются, не желают в окопы, в глину лезть; с смертью кумоваться не желают.

Разъяснил нам есаул Дымбаш: так, мол, и так. Я взял тут, написал ему записку и кинул из толпы. «Ваше благородие, вы нам всчет войны разъясняли, что народ разных языков промеж себя воюет. А как же мы могем на своих идтить?» Прочитал он и сменился с лица, а сказать ничего не сказал. Тут-то мы и разжевали, на что к нам старых казаков в сотню влили, да и то из староверов. Они за царя дюжей и за все дюжей могли стоять. Одно дело — старые, служба давнишняя их вышколила, а другое дело — дурковатые, службой убитые. И то: в энти года в полку ум человеку отбивали скорей, чем косарь косу отобьет.

Погнали нас на солдатов. С нами четыре пулемета и броневая машина. Подходим к месту, где полк бунтуется, а там уже две сотни кубанцев, ишо какие-то дикие и собой рябые, на калмыков похожие, окружают этот полк. Страшное, братцы, дело! За леском две батареи с передков снялись, а полк на прогалинке стоит и ропщет. К ним

офицеры подъезжают, усватывают их, а они стоят и ропщут.

Отдал есаул наш команду, повынали мы палаши и — рысью, охватываем солдат подковой... И кубанцы пошли... И зачали солдаты винтовки кидать. Свалили их костром и опять ропщут.

А во мне сердце кровью закипает, аж на губах солоно горит. Как я могу человека в энту могилу гнать, ежели я сам там жизни решался, жил в земле, как суслик?.. Подскакали. Вижу я: казак нашего взвода Филимонов сгоряча бьет солдата шашкой плашмя по морде. И на глазах моих пухнет у энтого морда и вся в крови, а он оробел. Молодой солдатишка, и явно оробел. Так по мне мороз и пошел, не могу с собой совладать, подскакиваю: «Брось, Филимонов!» Он меня в мать, даром что старовер. Я палаш занес, постращать хотел: «Брось, говорю, а то, истинный бог, срублю!» Он как рванет винтовку с плеча. Я его и ширнул концом палаша в глотку... Как в чучелу ширнул, а вышло — живого человека снял с земли... Получилось тут такое, что сам черт не разберет. Кубанцы зачали в нас стрелять, мы — в них. Дикие, рябые энти, на нас в атаку, а солдаты подхватили обратно винтовки и опять ропщут и стреляют по всей коннице. Там такая была волнения...

Захватили нас оттуда, сначала в тыл было направили, потом как ахнули в Карпаты; с гашников не успели вшей обобрать, и вот тебе Карпаты. Идем ночью по ходам сообщения. Приказ — чтоб ни стуку, ни бряку. Оказалось, австрийские окопы в сорока сажнях от наших. День живем. Головы не высунуть. Дождь. Мокро. В окопах — по щиколотки грязи. Нету во мне ни сну, ни покою. Жизни нет! Как там, думаю: за что мы в этих окопах с смертью в обнимку живем? Стала мне колом в голове мысля, чтоб погутарить с австрийцами. Ихние солдаты по-нашему гутарят. Иной раз шумят: «Пан, вы за что воюете?» — «А вы за что?» — шумим. Не могем порешить за дальностью расстояния. Думаю: вот бы собраться по-доброму, погутарить. Нету возможностев! Разделили народ проволокой, как скотину, а ить австрийцы такие же, как и мы. Всех нас от земли отняли, как дитя от сиськи. Должон у нас ить один язык быть.

И вот утром раз просыпаемся, а караульный шумит: «Гля, братцы, за нашу проволку зверь зацепился!» И австрийцы, слышим, взголчились, как грачи на жнивье. Я это высунул трошки голову, а супротив меня стоит лось, зверь такой — навроде оленя, рога кустом. И зацепился за

проволочные заграждения рогами. Левей нас по фронту сильные бои шли, вот стрельба и нагнала его промеж окопов.

Австрийцы шумят: «Пане, выручайте животную, мы стрелять не будем!» Я шинель с себя — и на насыпь. Глянул на ихние окопы, а там одни головы торчат. Толечко я к зверю, а он — в дыбы, аж колья, укрепы, зашатались. Мне на помогу ишо трое казаков повыскакивали. Ничего не могем поделать — он к себе и близко не подпущает! Глядь, австрийцы бегут — без винтовок, и у одного ножницы.

Тут-то мы и загутарили. Наш сотник слег на насыпь и целит из винтовки в крайнего австрийца, а я его спиной заслоняю. Не могли же нас офицеры разогнать, и повели мы австрийцев гостями в свои окопы. Зачал я с одним говорить, а сам ни слова ни по-ихнему, ни по-своему не могу сказать, слеза мне голос секет. Попался мне немолодой австрияк, рыжеватый. Я его усадил на патронный ящик и говорю: «Пан, какие мы с тобой неприятели, мы родня! Гляди, с рук-то у нас музли ишо не сошли». Он слов-то не разберет, а душой, вижу, понимает, ить я ему на ладони мозоль скребу! Головой кивает: да, мол, согласен. И собралась округ нас куча казаков и ихних. Я и говорю: «Нам, пан, вашего не надо, а вы нашего не трожьте. Давай войну кончать!» Он опять, вижу, согласен, а слов не разумеет и зовет нас руками к себе. Объясняет: там, дескать, есть наш, который по-русски кумекает. Мы и пошли. Вся сотня снялась и пошла! Офицеры напугались, ходу. Пришли мы в австрийские окопы. Чех у них по-нашему гутарит. Я с своим австрийцем гутарю, а он переводит. Я своему подовторил, что мы не враги, а родня. И опять же ему на ладони мозоль ногтем поскреб и по плечу похлопал. Он через чеха отвечает: я, мол, рабочий, слесарь, и очень согласен с вами. Говорю ему: «Давайте войну, братцы, кончать. Никчемушнее это дело. А штыки надо по сурепку тем вогнать, кто нас стравил». Его ажник в слезу вогнали эти слова мои. Отвечает, что дома бросил жену с дитем и согласен войну кончать. Шум мы подняли великий. А офицер ихний ходит индюком и зубы, падло, скалит. Братались мы и кохвей у них пили. И такой мы язык нашли один для всех, что слово им скажу, а они без переводчика на лету его понимают, шумят со слезьми и целоваться лезут.

Как пришел я в свои окопы, то вынул из винтовки затвор, затолочил его в грязь и кровно побожился, что

больше разу не стрельну в австрийского брата: в слесаря, рабочего, в хлебороба... В эту же ночь ушла наша сотня из окопов, разоружили нас возле деревни Шавелки. А спустя время получился переворот, царя в Петербурге наладили...

• — Погоди,— перебил рассказчика молодой казак в буденовке,— а как же зверь?

— Зверь? Ему что, зверя мы выручили. Пыхнул, по тех пор его и видали. Беремя колючей проволки на рогах унес. Тут не в звере дело. Тут люди одним языком загутарили, а ты вот брешешь: война, война. Война будет известная: как доберемся до солдатов ихних, мозоль об мозоль черканется, и загутарим...

— Товарищи делегаты, заходите! — позванивая в колокольчик, крикнул кто-то со сцены.

Распирая створки двери, погромыхивая разговорами, в зал потекли сбитые в массив плотные толпы делегатов.

1927

МЯГКОТЕЛЫЙ

— В Грязях пересадка!

Кассир сунул из окошка билет и сдачу и с шумом захлопнул дверцу. Игнат Ушаков бережно положил билет в боковой карман пальто и, закуривая на ходу, вышел на перрон. Около вагонов суетились люди, где-то на путях, коротко и сипло покрикивая, маневрировал дежурный паровоз. Возле предпоследнего вагона образовался затор. В темноте, перерезанной пополам желтым светом фонаря, белеет фартук носильщика, слышен истерический женский голос:

— Поймите, проводник, что я должна ехать! В этой корзине всего лишь полтора пуда.

— Не могу, гражданка! Понимаете вы русский язык? Я вам десятый раз говорю, что не могу! У вас, кроме корзины, три узла. Нельзя же с такой громадой в вагоне помещаться.

— Но ведь я не успею сдать в багаж!

Ушаков, протискиваясь к крайнему вагону, увидел, как проводник поднялся на площадку и, погасив фонарь, не отвечая, притворил за собою дверь.

В вагоне сине от табачного дыма. От свежевыкрашенных стен пахнет масляной краской, с полок несется

душок дешевых папирос и гнусный запах чьих-то потных, давно не мытых ног. Вверху — храп и сон, внизу — курят и вполголоса разговаривают. Устроившись на третьем этаже, Ушаков закурил снова и, свесив голову, глядел, как куда-то назад уплывали огоньки станции, мимо окна мелькали черные силуэты деревьев, изредка оранжевым мотыльком порхала искра, выброшенная из паровозной трубы вместе с дымом.

Баюкающее перестукивание колес располагало ко сну. Внизу кто-то монотонно рассказывал о прошлогоднем урожае и ценах на шерсть. Затушив папиросу, Ушаков натянул на голову полупальто и уснул. Через час его разбудили голоса. Чей-то волнующе знакомый голос тихонько, нараспев приговаривал:

Как наш дедушка Ермил
Много ершей наловил.
Есть по четверти ерши,
По две четверти ерши,
Есть и вот ка-ки-е!
И вот э-да-ки-е!

В такт мотиву человек шлепал рукой; где-то, захлебываясь, восторженно и звонко хохотал ребенок. Как только замолк голос, напевавший песенку, другой, детский голосок требовательно кричал:

— Папка, еще...

И снова назойливо и мягко ползли в уши слова:

Как наш дедушка Ермил
Много ершей наловил...

Ушаков, не открывая глаз, вслушался, стараясь по звуку определить, кому из знакомых принадлежит этот знакомый полузабытый голос. Память отказывалась прийти на помощь. Пересилив сонную лень, открыл глаза. Внизу, широко расставив ноги, сидел коренастый моряк и легонько подкидывал вверх курчавую розовую девочку лет двух-трех. С добродушным смешком напевал он свою песенку про ершей, наглядно показывая на руке их размеры.

Из-под белой флотской фуражки виднелись черные прямые волосы, а лицо его заслоняла собой фигурка девочки. С минуту Ушаков следил глазами за сильными волосатыми руками моряка, без устали подбрасывавшими

вверх расшалившегося ребенка, потом кашлянул и свесил ноги.

— Ну, не шали же, Тамарочка! Бай-бай пора! Видишь, мы дядю разбудили. Обожди, а то он ушибет тебя.

Осторожно спустившись, Ушаков искоса глянул на моряка и удивленно поднял брови:

— Владимир, ты ли?!

— Бог мой!.. Вот неожиданность!..

Обнялись, расцеловались. Моряк, откинувшись назад и улыбаясь, не выпускал рук Ушакова, долго смотрел на него и качал головою.

— Тот же. Ничуть не изменился. Возмужал немного, окреп. Подумать! С семнадцатого года не видались, и вот... Ведь ты тогда был еще мальчиком!..

С противоположной скамьи за ними с интересом наблюдала молодая женщина. Моряк был чрезвычайно оживлен, суетлив, как будто чем-то слегка смущен. Сквозь шумную радость, выражаемую им, проскальзывали деланность, неестественность. Ушаков был холодно сдержан, словно чем-то встревожен.

— Угадываю... Тот же подбородок, те же глаза. Ты положительно не изменился. Разительное сходство с отцом. Я еще тогда говорил, что ты на отца похож. Боже мой, сколько лет мы не виделись... Восемь лет...

— Да, давненько...

— Что же я тебя не отрекомендовал? Мой двоюродный брат Игнат Ушаков, а это,— моряк театрально-шумливым жестом указал на сидевшую против них молодую женщину,— мое семейство. Прошу любить.

Подхватив девочку на руки, он раскатисто засмеялся. Женщина, подавая Ушакову руку и смущенно улыбаясь, укоризненно проговорила, обращаясь к моряку:

— Ну, зачем вы вводите в заблуждение?..

Ушаков, не обращая внимания на ее слова, пожал узкую холодную руку и снова повернулся к брату.

— Откуда ты и куда?

— Выражаясь языком моря, снялся с якоря и держу курс на Москву. Но обо мне после. Как и что ты? Где служишь? Как живешь? Дядя с тетей здоровы? Дядя, очевидно, все по-старому, с пчелами водится?

— Спасибо! Здоровы. Отец пчеловодствует. Я работаю в окружном комитете комсомола, в своем округе. Сейчас взял отпуск, еду на недельку в Москву...

— Понемногу лезешь в гору. Молодчина, Игнаша! Давно ты в комсомоле?

— С двадцатого года.
— Очевидно, и член партии?
— Кандидат.
— Те-а-ак...

Ушаков достал папиросы и, поглядывая на девочку, которую мать укладывала спать, предложил:

— Пойдем на площадку, покурим.

— Пойдем, брат, пойдем. Ах, как я рад, что мы встретились! Я сам себе не верю, честное слово...

Моряк шумно захохотал и дружески похлопал Ушакова по плечу. Тот поморщился и пошел к выходу. На площадке закурили. Сделав одну затяжку, Ушаков спросил, не глядя на брата:

— Ты служил в контрразведке у белых?

Моряк деланно захохотал и обнял Ушакова за плечи.

— Что это? Допрос?
— Ответь, я спрашиваю.
— Изволь... Служил.
— Сейчас ты под своей фамилией живешь?
— Нет!

Помолчали.

— Где ты сейчас служишь? Во флоте?

— Видишь ли... Я служил в торговом флоте, работал в порту. Так сказать, сухопутный моряк. По некоторым причинам пришлось уехать с юга. Но почему ты об этом спрашиваешь?

— Потому, что тебя разыскивает ГПУ.
— Вот как?!
— Да, брат, так.

— Что же они ищут по пустому следу? Ведь я не был на родине восемь лет.

— Просто справлялись, не был ли ты за эти года дома. Спрашивали об этом у меня. Я не знал, что ты служил в контрразведке. Одно время у нас ходили такие слухи, что ты был убит в бою под Великокняжеской. Это в начале восемнадцатого года, когда ты ушел с Добровольческой армией. Тебя все считали покойником до тех пор, пока ГПУ не открыло, что ты герой контрразведки, так сказать, искоренитель крамолы.

Ушаков едко улыбнулся и посмотрел на брата в упор. Тот, попыхивая дымком папиросы, смотрел в окно.

Узкие черные глаза смотрели строго, а по-казенному сжатые губы чему-то чуть приметно улыбались.

— Скажи, каким ты образом попал в контрразведку? Что тебя понудило? Я слышал, что ты в слободе Макеевке

перевешал чуть ли не двадцать человек, заподозренных в сношениях с большевиками. Правда это?

Побарабанив по стеклу пальцами, осторожно, словно ощупью подыскивая нужные слова, моряк заговорил:

— Если хочешь, выслушай... К концу семнадцатого года у меня не было никаких политических взглядов и убеждений. Я был таким, какими были тысячи полуинтеллигентных людей: не нравились мне большевики, не нравились и белые. С германского фронта я попал с эшелоном солдат своей дивизии в Ростов-на-Дону, оттуда поехал к товарищу в Новочеркасск и там вступил в Добровольческую армию. Это получилось как-то против моей воли. Просто был патриотический подъем, и я под влиянием этого подъема пошел с Корниловым... Под Великокняжеской я был ранен, попал в тыл, отлеживался в госпитале. Когда я выздоровел, мне предложили работать в контрразведке. Но это неправда, это ложь, что я активно боролся с большевиками. Я был пешкой... Мною двигали силы сверху... И неправда также, что я в Макеевке вешал мужиков. Вешали их казаки, а я никакой роли в этом не играл... Ну, дальше совсем обычная история: в конце концов я изверился в правоте дела защитников единой, неделимой. Я увидел всю грязь и решил порвать с прошлым. Когда белые уходили из Крыма, я остался. Я не мог открыть свою фамилию, иначе меня расстреляли бы... Поэтому я скрыл свое прошлое; в то горячее время это было нетрудно сделать. После этого я стал работать в порту, где встретился с милой, славной девушкой, на которой и женился. Как видишь, сейчас у меня ребенок, я счастлив, живу трудовой жизнью и, хотя я беспартийный, но всей душой сочувствую вашим идеям...

Моряк блеснул на Ушакова налитым слезою глазом и продолжал:

— Прошлое меня тяготит... Я надеюсь, ты мне веришь? Я навсегда покончил со своим прошлым и честным трудом стараюсь искупить свою вину... Я думаю, что ты окажешь мне братскую услугу и не станешь об этом больше вспоминать.

— Ты ошибаешься,— сказал Ушаков и нервно мотнул головой,— я должен заявить о тебе.

— Словом, ты хочешь меня предать?

— Не говори громких фраз. Я должен сделать то, что на моем месте сделал бы любой честный человек.

— У меня жена и ребенок...

— Это не имеет отношения к твоей прошлой деятельности.

— Игнаша! Помнишь, как мы росли вместе? Я был старше тебя, и твоя мама поручила мне следить за тобой... Помнишь, как мы, бывало, бегали в степь разорять гнезда скворцов? Ты был такой сердечный, мягкотелый, плакал, когда я доставал птенчиков... Теперь не то. Я вижу, у тебя хватит смелости разорить человеческое гнездо и оставить моего ребенка сиротой. Ну, что ж? Ладно... На следующей станции можешь заявить в ГПУ.— Он замолчал на несколько секунд, а потом снова начал: — Но ведь ты понимаешь... о, боже!.. Ведь у меня ребенок... Ведь он умрет с голоду, если меня...

Моряк закрыл лицо ладонью и задрожал.

Ушаков, чувствуя приступ непрошеной жалости и слез, быстро прошел в вагон и сел у окна. «Так ли я поступаю? Быть может, он правда изменился?..»

Он искоса взглянул на разметавшуюся во сне девочку.

«Вот он, живой упрек, будет. О черт, как все это гнусно!.. Умолчать разве?»

Через минуту в купе вошел брат. Не взглянув на Ушакова, он стал собирать вещи, потом нагнулся над спящей девочкой и тихонько погладил ее по головке. Ушаков отвернулся. Моряк, обратившись к нему спиной, совал в карманы своего белого кителя какие-то бумаги.

— Выйди ко мне на минутку.

Ушаков крупными шагами вышел, почти выбежал, на площадку. Брат шел за ним следом. Остановились возле окна, у которого десять минут назад происходил разговор.

— Вот что, Владимир... Я решил умолчать...

— Спасибо...

— Надеюсь, этим исчерпан наш разговор?

— Спасибо, Игнаша!.. Я знал, что ты не станешь Иудой. Спасибо. Ведь ты знаешь, что без меня семья пропала бы с голоду. Я один: кроме вашей семьи, у меня нет родни, у жены — тоже. Кто ей дал бы кусок...

— Довольно об этом. Иди в вагон, сейчас будет станция.

— Ты иди, а я зайду в уборную и умоюсь. Мне стыдно сознаться, но я разрыдался, как мальчишка, после нашего разговора. У меня рожа припухла. Жене об этом ни слова.

— Ну, что ты!

Ушаков, не спеша, прошел в свое купе и, присло-

нившись лбом к оконному стеклу, стал смотреть на кирпичные корпуса станционных построек. Поезд остановился на несколько минут, потом снова затараторили колеса, постепенно учащая бег. Проснувшаяся девочка разбудила мать. Та присела на лавке и спросила Ушакова:

— А где же ваш брат?

— Володя хотел умыться. У него что-то голова разболелась.

Прошло минут десять. Владимира не было. Ушаков пошел посмотреть. В уборной было пусто, на площадке тоже никого не было. Недоумевая, он вернулся в купе.

— Вы ничего не поручали мужу купить? Уж не остался ли он на станции?

— Какому мужу?

— То есть как какому?

— Про кого вы говорите?

— Странно, право, я говорю про Владимира, брата.

Женщина сначала недоверчиво оглядела Ушакова, потом искренне рассмеялась.

— Уж не считаете ли вы меня всерьез женой вашего брата? — сквозь смех выговорила она.

— Что вы этим хотите сказать?..

Женщина, улыбаясь, пожала плечами.

— Неужели вы не поняли, что это шутка со стороны вашего брата? Притом шутка неумная. Что вы так на меня смотрите?

— Но... но ведь ваша девочка называла... называла его папой?..

— Ну, и что же? Ваш брат, как только сел в вагон, начал ее баловать сладостями, шалить с ней, а вы знаете, как дети привязчивы. Она, очевидно, нашла, что ваш брат похож на ее отца, и стала называть его папой. Я вместе с ним много смеялась над этим.

— Но позвольте... Он мне говорил серьезно.

Женщина снова посмотрела на Ушакова.

— А, вот как? Разве он вам не объяснил, что это просто шутка? Мой муж служит в Москве, и я еду к нему.

Она отвернулась, считая разговор оконченным, а Ушаков растерянно потоптался на одном месте и снова прошел в уборную. На полочке, возле умывальника, он увидел клочок исписанной бумаги. Машинально взял его в руки и прочел четко набросанные чернильным карандашом строки:

«Спасибо, Игнат, за твою доброту. Ты остался тем же

сердечным мальчиком, каким был в дни нашего детства, но, несмотря на это, я все же считаю за лучшее благоразумно ретироваться, пока не обнаружился обман с «семьей». О «жене» не беспокойся, у нее есть подлинный муж в Москве, какой-то помбух; он обеспечит ее будущность. Спасибо еще раз. Может быть, встретимся когда-либо.

Извини, что я устроил эту мелодраму. Я травленый волк и знаю, что в наше время не только двоюродному брату, но и отцу родному доверяться нельзя. Прими и пр.».

Ушаков залпом прочитал оставленную записку и боком вышел из уборной.

Через полчаса поезд остановился на станции. Ушаков, морщась, как от сильнейшей зубной боли, выбежал из вагона и, увидев малиновую фуражку агента ТОГПУ, направился к нему.

1927

НАУКА НЕНАВИСТИ

На войне деревья, как и люди, имеют каждое свою судьбу. Я видел огромный участок леса, срезанного огнем нашей артиллерии. В этом лесу недавно укреплялись немцы, выбитые из села С., здесь они думали задержаться, но смерть скосила их вместе с деревьями. Под поверженными стволами сосен лежали мертвые немецкие солдаты, в зеленом папоротнике гнили их изорванные в клочья тела, и смолистый аромат расщепленных снарядами сосен не мог заглушить удушливо-приторной, острой вони разлагающихся трупов. Казалось, что даже земля с бурыми, опаленными и жесткими краями воронок источает могильный запах.

Смерть величественно и безмолвно властвовала на этой поляне, созданной и взрытой нашими снарядами, и только в самом центре поляны стояла одна чудом сохранившаяся березка, и ветер раскачивал ее израненные осколками ветви и шумел в молодых, глянцевито-клейких листках.

Мы проходили через поляну. Шедший впереди меня связной красноармеец слегка коснулся рукой ствола березы, спросил с искренним и ласковым удивлением:

— Как же ты тут уцелела, милая?..

Но если сосна гибнет от снаряда, падая, как скошенная,

и на месте среза остается лишь иглистая, истекающая смолой макушка, то по-иному встречается со смертью дуб.

На провесне немецкий снаряд попал в ствол старого дуба, росшего на берегу безыменной речушки. Рваная, зияющая пробоина иссушила полдерева, но вторая половина, пригнутая разрывом к воде, весною дивно ожила и покрылась свежей листвой. И до сегодняшнего дня, наверное, нижние ветви искалеченного дуба купаются в текучей воде, а верхние все еще жадно протягивают к солнцу точеные, тугие листья...

* * *

Высокий, немного сутулый, с приподнятыми, как у коршуна, широкими плечами, лейтенант Герасимов сидел у входа в блиндаж и обстоятельно рассказывал о сегодняшнем бое, о танковой атаке противника, успешно отбитой батальоном.

Худое лицо лейтенанта было спокойно, почти бесстрастно, воспаленные глаза устало прищурены. Он говорил надтреснутым баском, изредка скрещивая крупные узловатые пальцы рук, и странно не вязался с его сильной фигурой, с энергическим, мужественным лицом этот жест, так красноречиво передающий безмолвное горе или глубокое и тягостное раздумье.

Но вдруг он умолк, и лицо его мгновенно преобразилось: смуглые щеки побледнели, под скулами, перекатываясь, заходили желваки, а пристально устремленные вперед глаза вспыхнули такой неугасимой, лютой ненавистью, что я невольно повернулся в сторону его взгляда и увидел шедших по лесу от переднего края нашей обороны трех пленных немцев и сзади — конвоировавшего их красноармейца в выгоревшей, почти белой от солнца, летней гимнастерке и сдвинутой на затылок пилотке.

Красноармеец шел медленно. Мерно раскачивалась в его руках винтовка, посверкивая на солнце жалом штыка. И так же медленно брели пленные немцы, нехотя переставляя ноги, обутые в короткие, измазанные желтой глиной сапоги.

Шагавший впереди немец — пожилой, со впалыми щеками, густо заросшими каштановой щетиной,— поравнял-

ся с блиндажом, кинул в нашу сторону исподлобный, волчий взгляд, отвернулся, на ходу поправляя привешенную к поясу каску. И тогда лейтенант Герасимов порывисто вскочил, крикнул красноармейцу резким, лающим голосом:

— Ты что, на прогулке с ними? Прибавить шагу! Веди быстрей, говорят тебе!..

Он, видимо, хотел еще что-то крикнуть, но задохнулся от волнения и, круто повернувшись, быстро сбежал по ступенькам в блиндаж. Присутствовавший при разговоре политрук, отвечая на мой удивленный взгляд, вполголоса сказал:

— Ничего не поделаешь — нервы. Он в плену у немцев был, разве вы не знаете? Вы поговорите с ним как-нибудь. Он очень много пережил там и после этого живых гитлеровцев не может видеть, именно живых! На мертвых смотрит ничего, я бы сказал — даже с удовольствием, а вот пленных увидит и либо закроет глаза и сидит бледный и потный, либо повернется и уйдет.— Политрук придвинулся ко мне, перешел на шепот: — Мне с ним пришлось два раза ходить в атаку: силища у него лошадиная, и вы бы посмотрели, что он делает... Всякие виды мне приходилось видывать, но как он орудует штыком и прикладом, знаете ли,— это страшно!

* * *

Ночью немецкая тяжелая артиллерия вела тревожащий огонь. Методически, через ровные промежутки времени, издалека доносился орудийный выстрел, спустя несколько секунд над нашими головами, высоко в звездном небе, слышался железный клекот снаряда, воющий звук нарастал и удалялся, а затем где-то позади нас, в направлении дороги, по которой днем густо шли машины, подвозившие к линии фронта боеприпасы, желтой зарницей вспыхивало пламя и громово звучал разрыв.

В промежутках между выстрелами, когда в лесу устанавливалась тишина, слышно было, как тонко пели комары и несмело перекликались в соседнем болотце потревоженные стрельбой лягушки.

Мы лежали под кустом орешника, и лейтенант Герасимов, отмахиваясь от комаров сломленной веткой, неторопливо рассказывал о себе. Я передаю этот рассказ так, как мне удалось его запомнить.

— До войны работал я механиком на одном из заводов Западной Сибири. В армию призван девятого июля прошлого года. Семья у меня — жена, двое ребят, отец-инвалид. Ну, на проводах, как полагается, жена и поплакала и напутствие сказала: «Защищай родину и нас крепко. Если понадобится — жизнь отдай, а чтобы победа была нашей». Помню, засмеялся я тогда и говорю ей: «Кто ты мне есть, жена или семейный агитатор? Я сам большой, а что касается победы, так мы ее у фашистов вместе с горлом вынем, не беспокойся!»

Отец, тот, конечно, покрепче, но без наказа и тут не обошлось: «Смотри,— говорит,— Виктор, фамилия Герасимовых — это не простая фамилия. Ты — потомственный рабочий; прадед твой еще у Строганова работал; наша фамилия сотни лет железо для родины делала, и чтобы ты на этой войне был железным. Власть-то — твоя, она тебя командиром запаса до войны держала, и должен ты врага бить крепко».

«Будет сделано, отец».

По пути на вокзал забежал в райком партии. Секретарь у нас был какой-то очень сухой, рассудочный человек... Ну, думаю, уж если жена с отцом меня на дорогу агитировали, то этот вовсе спуску не даст, двинет какую-нибудь речугу на полчаса, обязательно двинет! А получилось все наоборот. «Садись, Герасимов,— говорит мой секретарь,— перед дорогой посидим минутку по старому обычаю».

Посидели мы с ним немного, помолчали, потом он встал, и вижу — очки у него будто бы отпотели... Вот, думаю, чудеса какие нынче происходят! А секретарь и говорит: «Все ясно и понятно, товарищ Герасимов. Помню я тебя еще вот таким, лопоухим, когда ты пионерский галстук носил, помню затем комсомольцем, знаю и как коммуниста на протяжении десяти лет. Иди, бей гадов беспощадно! Парторганизация на тебя надеется». Первый раз в жизни расцеловался я со своим секретарем, и, черт его знает, показался он тогда мне вовсе не таким уж сухарем, как раньше...

И до того мне тепло стало от этой его душевности, что вышел я из райкома радостный и взволнованный.

А тут еще жена развеселила. Сами понимаете, что провожать мужа на фронт никакой жене невесело; ну, и моя жена, конечно, тоже растерялась немного от горя, все хотела что-то важное сказать, а в голове у нее сквозняк получился, все мысли вылетели. И вот уже поезд тронулся,

а она идет рядом с моим вагоном, руку мою из своей не выпускает и быстро так говорит:

«Смотри, Витя, береги себя, не простудись там, на фронте».— «Что ты,— говорю ей,— Надя, что ты! Ни за что не простужусь. Там климат отличный и очень даже умеренный». И горько мне было расставаться, и веселее стало от милых и глупеньких слов жены, и такое зло взяло на немцев. Ну, думаю, тронули нас, вероломные соседи,— теперь держитесь! Вколем мы вам по первое число!

Герасимов помолчал несколько минут, прислушиваясь к вспыхнувшей на переднем крае пулеметной перестрелке, потом, когда стрельба прекратилась, так же внезапно, как и началась, продолжал:

— До войны на завод к нам поступали машины из Германии. При сборке, бывало, раз по пять ощупаю каждую деталь, осмотрю ее со всех сторон. Ничего не скажешь — умные руки эти машины делали. Книги немецких писателей читал и любил и как-то привык с уважением относиться к немецкому народу. Правда, иной раз обидно становилось за то, что такой трудолюбивый и талантливый народ терпит у себя самый паскудный гитлеровский режим, но это было в конце концов их дело. Потом началась война в Западной Европе...

И вот еду я на фронт и думаю: техника у немцев сильная, армия — тоже ничего себе. Черт возьми, с таким противником даже интересно подраться и наломать ему бока. Мы-то тоже к сорок первому году были не лыком шиты. Признаться, особой честности я от этого противника не ждал, какая уж там честность, когда имеешь дело с фашизмом, но никогда не думал, что придется воевать с такой бессовестной сволочью, какой оказалась армия Гитлера. Ну, да об этом после...

В конце июля наша часть прибыла на фронт. В бой вступили двадцать седьмого рано утром. Сначала, в новинку-то, было страшновато малость. Минометами сильно они нас одолевали, но к вечеру освоились мы немного и дали им по зубам, выбили из одной деревушки. В этом же бою захватили мы группу, человек в пятнадцать, пленных. Помню, как сейчас: привели их, испуганных, бледных; бойцы мои к этому времени остыли от боя, и вот каждый из них тащит пленным все, что может: кто — котелок щей, кто — табаку или папирос, кто — чаем угощает. По спинам их похлопывают, «камрадами» называют: за что, мол, воюете, камрады?..

А один боец-кадровик смотрел-смотрел на эту трогательную картину и говорит: «Слюни вы распустили с этими «друзьями». Здесь они все камрады, а вы бы посмотрели, что эти камрады делают там, за линией фронта, и как они с нашими ранеными и с мирным населением обращаются». Сказал, словно ушат холодной воды на нас вылил, и ушел.

Вскоре перешли мы в наступление и тут действительно насмотрелись... Сожженные дотла деревни, сотни расстрелянных женщин, детей, стариков, изуродованные трупы попавших в плен красноармейцев, изнасилованные и зверски убитые женщины, девушки и девочки-подростки...

Особенно одна осталась у меня в памяти: ей было лет одиннадцать, она, как видно, шла в школу; немцы поймали ее, затащили на огород, изнасиловали и убили. Она лежала в помятой картофельной ботве, маленькая девочка, почти ребенок, а кругом валялись залитые кровью ученические тетради и учебники... Лицо ее было страшно изрублено тесаком, в руке она сжимала раскрытую школьную сумку. Мы накрыли тело плащ-палаткой и стояли молча. Потом бойцы так же молча разошлись, а я стоял и, помню, как исступленный, шептал: «Барков, Половинкин. Физическая география. Учебник для неполной средней и средней школы». Это я прочитал на одном из учебников, валявшихся там же, в траве, а учебник этот мне знаком. Моя дочь тоже училась в пятом классе.

Это было неподалеку от Ружина. А около Сквиры в овраге мы наткнулись на место казни, где мучили захваченных в плен красноармейцев. Приходилось вам бывать в мясных лавках? Ну, вот так примерно выглядело это место... На ветвях деревьев, росших по оврагу, висели окровавленные туловища, без рук, без ног, со снятой до половины кожей... Отдельной кучей было свалено на дне оврага восемь человек убитых. Там нельзя было понять, кому из замученных что принадлежит, лежала просто куча крупно нарубленного мяса, а сверху — стопкой, как надвинутые одна на другую тарелки,— восемь красноармейских пилоток...

Вы думаете, можно рассказать словами обо всем, что пришлось видеть? Нельзя! Нет таких слов. Это надо видеть самому. И вообще хватит об этом! — Лейтенант Герасимов надолго умолк.

— Можно здесь закурить? — спросил я его.

— Можно. Курите в руку,— охрипшим голосом ответил он.

И, закурив, продолжал:

— Вы понимаете, что мы озверели, насмотревшись на все, что творили фашисты, да иначе и не могло быть. Все мы поняли, что имеем дело не с людьми, а с какими-то осатаневшими от крови собачьими выродками. Оказалось, что они с такой же тщательностью, с какой когда-то делали станки и машины, теперь убивают, насилуют и казнят наших людей. Потом мы снова отступали, но дрались как черти!

В моей роте почти все бойцы были сибиряки. Однако украинскую землю мы защищали прямо-таки отчаянно. Много моих земляков погибло на Украине, а фашистов мы положили там еще больше. Что ж, мы отходили, но духу им давали неплохо.

С жадностью затягиваясь папиросой, лейтенант Герасимов сказал уже несколько иным, смягченным тоном:

— Хорошая земля на Украине, и природа там чудесная! Каждое село и деревушка казались нам родными, может быть, потому, что, не скупясь, проливали мы там свою кровь, а кровь ведь, как говорят, роднит... И вот оставляешь какое-нибудь село, а сердце щемит и щемит, как проклятое. Жалко было, просто до боли жалко! Уходим и в глаза друг другу не глядим.

...Не думал я тогда, что придется побывать у фашистов в плену, однако пришлось. В сентябре я был первый раз ранен, но остался в строю. А двадцать первого в бою под Денисовкой, Полтавской области, я был ранен вторично и взят в плен.

Немецкие танки прорвались на нашем левом фланге, следом за ними потекла пехота. Мы с боем выходили из окружения. В этот день моя рота понесла очень большие потери. Два раза мы отбили танковые атаки противника, сожгли и подбили шесть танков и одну бронемашину, уложили на кукурузном поле человек сто двадцать гитлеровцев, а потом они подтянули минометные батареи, и мы вынуждены были оставить высотку, которую держали с полудня до четырех часов. С утра было жарко. В небе ни облачка, а солнце палило так, что буквально нечем было дышать. Мины ложились страшно густо, и, помню, пить хотелось до того, что у бойцов губы чернели от жажды, а я подавал команду каким-то чужим, окончательно осипшим голосом. Мы перебегали по лощине, когда впереди меня разорвалась мина. Кажется, я успел увидеть столб черной земли и пыли, и это — все. Осколок мины пробил мою каску, второй попал в правое плечо.

Не помню, сколько я пролежал без сознания, но очнулся от топота чьих-то ног. Приподнял голову и увидел, что лежу не на том месте, где упал. Гимнастерки на мне нет, а плечо наспех кем-то перевязано. Нет и каски на голове. Голова тоже кем-то перевязана, но бинт не закреплен, кончик его висит у меня на груди. Мгновенно я подумал, что мои бойцы тащили меня и на ходу перевязали, и я надеялся увидеть своих, когда с трудом поднял голову. Но ко мне бежали не свои, а немцы. Это топот их ног вернул мне сознание. Я увидел их очень отчетливо, как в хорошем кино. Я пошарил вокруг руками. Около меня не было оружия: ни нагана, ни винтовки, даже гранаты не было. Планшетку и оружие кто-то из наших снял с меня.

«Вот и смерть»,— подумал я. О чем я еще думал в этот момент? Если вам это для будущего романа, так напишите что-нибудь от себя, а я тогда ничего не успел подумать. Немцы были уже очень близко, и мне не захотелось умирать лежа. Просто я не хотел, не мог умереть лежа, понятно? Я собрал все силы и встал на колени, касаясь руками земли. Когда они подбежали ко мне, я уже стоял на ногах. Стоял, и качался, и ужасно боялся, что вот сейчас опять упаду и они меня заколют лежачего. Ни одного лица я не помню. Они стояли вокруг меня, что-то говорили и смеялись. Я сказал: «Ну, убивайте, сволочи! Убивайте, а то сейчас упаду». Один из них ударил меня прикладом по шее, я упал, но тотчас снова встал. Они засмеялись, и один из них махнул рукой — иди, мол, вперед. Я пошел. Все лицо у меня было в засохшей крови, из раны на голове все еще бежала кровь, очень теплая и липкая, плечо болело, и я не мог поднять правую руку. Помню, что мне очень хотелось лечь и никуда не идти, но я все же шел...

Нет, я вовсе не хотел умирать и тем более — оставаться в плену. С великим трудом преодолевая головокружение и тошноту, я шел,— значит, я был жив и мог еще действовать. Ох, как меня томила жажда! Во рту у меня спеклось, и все время, пока мои ноги шли, перед глазами колыхалась какая-то черная штора. Я был почти без сознания, но шел и думал: «Как только напьюсь и чуточку отдохну — убегу!»

На опушке рощи нас всех, попавших в плен, собрали и построили. Все это были бойцы соседней части. Из нашего полка я угадал только двух красноармейцев третьей роты. Большинство пленных было ранено. Немецкий лейтенант на плохом русском языке спросил, есть ли среди нас ко-

миссары и командиры. Все молчали. Тогда он еще раз спросил: «Комиссары и офицеры идут два шага вперед». Никто из строя не вышел.

Лейтенант медленно прошел перед строем и отобрал человек шестнадцать, по виду похожих на евреев. У каждого он спрашивал: «Юде?» — и, не дожидаясь ответа, приказывал выходить из строя. Среди отобранных им были и евреи, и армяне, и просто русские, но смуглые лицом и черноволосые. Всех их отвели немного в сторону и расстреляли на наших глазах из автоматов. Потом нас наспех обыскали и отобрали бумажники и все, что было из личных вещей. Я никогда не носил партбилета в бумажнике, боялся потерять; он был у меня во внутреннем кармане брюк, и его при обыске не нашли. Все же человек — удивительное создание: я твердо знал, что жизнь моя — на волоске, что если меня не убьют при попытке к бегству, то все равно убьют по дороге, так как от сильной потери крови я едва ли мог бы идти наравне с остальными, но когда обыск кончился и партбилет остался при мне,— я так обрадовался, что даже про жажду забыл!

Нас построили в походную колонну и погнали на запад. По сторонам дороги шел довольно сильный конвой и ехало человек десять немецких мотоциклистов. Гнали нас быстрым шагом, и силы мои приходили к концу. Два раза я падал, вставал и шел потому, что знал, что, если пролежу лишнюю минуту и колонна пройдет,— меня пристрелят там же, на дороге. Так произошло с шедшим впереди меня сержантом. Он был ранен в ногу и с трудом шел, стоная, иногда даже вскрикивая от боли. Прошли с километр, и тут он громко сказал:

— Нет, не могу. Прощайте, товарищи! — и сел среди дороги.

Его пытались на ходу поднять, поставить на ноги, но он снова опускался на землю. Как во сне, помню его очень бледное молодое лицо, нахмуренные брови и мокрые от слез глаза... Колонна прошла. Он остался позади. Я оглянулся и увидел, как мотоциклист подъехал к нему вплотную, не слезая с седла, вынул из кобуры пистолет, приставил к уху сержанта и выстрелил. Пока дошли до речки, фашисты пристрелили еще нескольких отстававших красноармейцев.

И вот уже вижу речку, разрушенный мост и грузовую машину, застрявшую сбоку переезда, и тут падаю вниз лицом. Потерял ли я сознание? Нет, не потерял. Я лежал, протянувшись во весь рост, во рту у меня было полно пыли,

я скрипел от ярости зубами, и песок хрустел у меня на зубах, но подняться я не мог. Мимо меня шагали мои товарищи. Один из них тихо сказал: «Вставай же, а то убьют!» Я стал пальцами раздирать себе рот, давить глаза, чтобы боль помогла мне подняться...

А колонна уже прошла, и я слышал, как шуршат колеса подъезжающего ко мне мотоцикла. И все-таки я встал! Не оглядываясь на мотоциклиста, качаясь как пьяный, я заставил себя догнать колонну и пристроился к задним рядам. Проходившие через речку немецкие танки и автомашины взмутили воду, но мы пили ее, эту коричневую теплую жижу, и она казалась нам слаще самой хорошей ключевой воды. Я намочил голову и плечо. Это меня очень освежило, и ко мне вернулись силы. Теперь-то я мог идти, в надежде, что не упаду и не останусь лежать на дороге...

Только отошли от речки, как по пути нам встретилась колонна средних немецких танков. Они двигались нам навстречу. Водитель головного танка, рассмотрев, что мы — пленные, дал полный газ и на всем ходу врезался в нашу колонну. Передние ряды были смяты и раздавлены гусеницами. Пешие конвойные и мотоциклисты с хохотом наблюдали эту картину, что-то орали высунувшимся из люков танкистам и размахивали руками. Потом снова построили нас и погнали сбоку дороги. Веселые люди, ничего не скажешь...

В этот вечер и ночью я не пытался бежать, так как понял, что уйти не смогу, потому что очень ослабел от потери крови, да и охраняли нас строго, и всякая попытка к бегству наверняка закончилась бы неудачей. Но как проклинал я себя впоследствии за то, что не предпринял этой попытки! Утром нас гнали через одну деревню, в которой стояла немецкая часть. Немецкие пехотинцы высыпали на улицу посмотреть на нас. Конвой заставил нас бежать через всю деревню рысью. Надо же было унизить нас в глазах подходившей к фронту немецкой части. И мы бежали. Кто падал или отставал, в того немедленно стреляли. К вечеру мы были уже в лагере для военнопленных.

Двор какой-то МТС был густо огорожен колючей проволокой. Внутри плечом к плечу стояли пленные. Нас сдали охране лагеря, и те прикладами винтовок загнали нас за огорожу. Сказать, что этот лагерь был адом,— значит, ничего не сказать. Уборной не было. Люди испражнялись здесь же и стояли и лежали в грязи и в зловонной жиже.

Наиболее ослабевшие вообще уже не вставали. Воду и пищу давали раз в сутки. Кружку воды и горсть сырого проса или прелого подсолнуха, вот и все. Иной день совсем забывали что-либо дать...

Дня через два пошли сильные дожди. Грязь в лагере растолкли так, что бродили в ней по колено. Утром от намокших людей шел пар, словно от лошадей, а дождь лил не переставая... Каждую ночь умирало по нескольку десятков человек. Все мы слабели от недоедания с каждым днем. Меня вдобавок мучили раны.

На шестые сутки я почувствовал, что у меня еще сильнее заболело плечо и рана на голове. Началось нагноение. Потом появился дурной запах. Рядом с лагерем были колхозные конюшни, в которых лежали тяжелораненые красноармейцы. Утром я обратился к унтеру из охраны и попросил разрешения обратиться к врачу, который, как сказали мне, был при раненых. Унтер хорошо говорил по-русски. Он ответил: «Иди, русский, к своему врачу. Он немедленно окажет тебе помощь».

Тогда я не понял насмешки и, обрадованный, побрел к конюшне.

Военврач третьего ранга встретил меня у входа. Это был уже конченый человек. Худой до изнеможения, измученный, он был уже полусумасшедшим от всего, что ему пришлось пережить. Раненые лежали на навозных подстилках и задыхались от дикого зловония, наполнявшего конюшню. У большинства в ранах кишели черви, и те из раненых, которые могли, выковыривали их из ран пальцами и палочками... Тут же лежала груда умерших пленных, их не успевали убирать.

«Видели? — спросил у меня врач.— Чем же я могу вам помочь? У меня нет ни одного бинта, ничего нет! Идите отсюда, ради бога, идите! А бинты ваши сорвите и присыпьте раны золой. Вот здесь у двери — свежая зола».

Я так и сделал. Унтер встретил меня у входа, широко улыбаясь. «Ну, как? О, у ваших солдат превосходный врач! Оказал он вам помощь?» Я хотел молча пройти мимо него, но он ударил меня кулаком в лицо, крикнул: «Ты не хочешь отвечать, скотина?!» Я упал, и он долго бил меня ногами в грудь и в голову. Бил до тех пор, пока не устал. Этого фашиста я не забуду до самой смерти, нет, не забуду! Он и после бил меня не раз. Как только увидит сквозь проволоку меня, приказывает выйти и начинает бить, молча, сосредоточенно...

Вы спрашиваете, как я выжил?

До войны, когда я еще не был механиком, а работал грузчиком на Каме, я на разгрузке носил по два куля соли, в каждом — по центнеру. Силенка была, не жаловался, к тому же вообще организм у меня здоровый, но главное — это то, что не хотел я умирать, воля к сопротивлению была сильна. Я должен был вернуться в строй бойцов за Родину, и я вернулся, чтобы мстить врагам до конца!

Из этого лагеря, который являлся как бы распределительным, меня перевели в другой лагерь, находившийся километрах в ста от первого. Там все было так же устроено, как и в распределительном: высокие столбы, обнесенные колючей проволокой, ни навеса над головой, ничего. Кормили так же, но изредка вместо сырого проса давали по кружке вареного гнилого зерна или же втаскивали в лагерь трупы издохших лошадей, предоставляя пленным самим делить эту падаль. Чтобы не умереть с голоду, мы ели — и умирали сотнями... Вдобавок ко всему в октябре наступили холода, беспрестанно шли дожди, по утрам были заморозки. Мы жестоко страдали от холода. С умершего красноармейца мне удалось снять гимнастерку и шинель. Но и это не спасало от холода, а к голоду мы уже привыкли...

Стерегли нас разжиревшие от грабежей солдаты. Все они по характеру были сделаны на одну колодку. Наша охрана на подбор состояла из отъявленных мерзавцев. Как они, к примеру, развлекались: утром к проволоке подходит какой-нибудь ефрейтор и говорит через переводчика:

«Сейчас раздача пищи. Раздача будет происходить с левой стороны».

Ефрейтор уходит. У левой стороны огорожи толпятся все, кто в состоянии стоять на ногах. Ждем час, два, три. Сотни дрожащих, живых скелетов стоят на пронизывающем ветру... Стоят и ждут.

И вдруг на противоположной стороне быстро появляются охранники. Они бросают через проволоку куски нарубленной конины. Вся толпа, понукаемая голодом, шарахается туда, около кусков измазанной в грязи конины идет свалка...

Охранники хохочут во все горло, а затем резко звучит длинная пулеметная очередь. Крики и стоны. Пленные отбегают к левой стороне огорожи, а на земле остаются убитые и раненые... Высокий обер-лейтенант — начальник

лагеря — подходит с переводчиком к проволоке. Обер-лейтенант, еле сдерживаясь от смеха, говорит:

«При раздаче пищи произошли возмутительные беспорядки. Если это повторится, я прикажу вас, русских свиней, расстреливать беспощадно! Убрать убитых и раненых!» Гитлеровские солдаты, толпящиеся позади начальника лагеря, просто помирают со смеху. Им по душе «остроумная» выходка их начальника.

Мы молча вытаскиваем из лагеря убитых, хороним их неподалеку, в овраге... Били и в этом лагере кулаками, палками, прикладами. Били так просто, от скуки или для развлечения. Раны мои затянулись, потом, наверное от вечной сырости и побоев, снова открылись и болели нестерпимо. Но я все еще жил и не терял надежды на избавление... Спали мы прямо в грязи, не было ни соломенных подстилок, ничего. Собьемся в тесную кучу, лежим. Всю ночь идет тихая возня: зябнут те, которые лежат на самом низу, в грязи, зябнут и те, которые находятся сверху. Это был не сон, а горькая мука.

Так шли дни, словно в тяжком сне. С каждым днем я слабел все более. Теперь меня мог бы свалить на землю и ребенок. Иногда я с ужасом смотрел на свои обтянутые одной кожей, высохшие руки, думал: «Как же я уйду отсюда?» Вот когда я проклинал себя за то, что не попытался бежать в первые же дни. Что ж, если бы убили тогда, не мучился бы так страшно теперь.

Пришла зима. Мы разгребали снег, спали на мерзлой земле. Все меньше становилось нас в лагере... Наконец было объявлено, что через несколько дней нас отправят на работу. Все ожили. У каждого проснулась надежда, хоть слабенькая, но надежда, что, может быть, удастся бежать.

В эту ночь было тихо, но морозно. Перед рассветом мы услышали орудийный гул. Все вокруг меня зашевелилось. А когда гул повторился, вдруг кто-то громко сказал:

— Товарищи, наши наступают!

И тут произошло что-то невообразимое: весь лагерь поднялся на ноги, как по команде! Встали даже те, которые не поднимались по нескольку дней. Вокруг слышался горячий шепот и подавленные рыдания... Кто-то плакал рядом со мной по-женски, навзрыд... Я тоже... я тоже...— прерывающимся голосом быстро проговорил лейтенант Герасимов и умолк на минуту, но затем, овладев собой, продолжал уже спокойнее: — У меня тоже катились по щекам слезы и замерзали на ветру... Кто-то слабым голосом

запел «Интернационал», мы подхватили тонкими, скрипучими голосами. Часовые открыли стрельбу по нас из пулеметов и автоматов, раздалась команда: «Лежать!» Я лежал, вдавив тело в снег, и плакал, как ребенок. Но это были слезы не только радости, но и гордости за наш народ. Фашисты могли убить нас, безоружных и обессилевших от голода, могли замучить, но сломить наш дух не могли, и никогда не сломят! Не на тех напали, это я прямо скажу.

* * *

Мне не удалось в ту ночь дослушать рассказ лейтенанта Герасимова. Его срочно вызвали в штаб части. Но через несколько дней мы снова встретились. В землянке пахло плесенью и сосновой смолью. Лейтенант сидел на скамье, согнувшись, положив на колени огромные кисти рук со скрещенными пальцами. Глядя на него, невольно я подумал, что это там, в лагере для военнопленных, он привык сидеть вот так, скрестив пальцы, часами молчать и тягостно, бесплодно думать...

— Вы спрашиваете, как мне удалось бежать? Сейчас расскажу. Вскоре после того, как услышали мы ночью орудийный гул, нас отправили на работу по строительству укреплений. Морозы сменились оттепелью. Шли дожди. Нас гнали на север от лагеря. Снова было то же, что и вначале: истощенные люди падали, их пристреливали и бросали на дороге...

Впрочем, одного унтер застрелил за то, что он на ходу взял с земли мерзлую картофелину. Мы шли через картофельное поле. Старшина, по фамилии Гончар, украинец по национальности, поднял эту проклятую картофелину и хотел спрятать ее. Унтер заметил. Ни слова не говоря, он подошел к Гончару и выстрелил ему в затылок. Колонну остановили, построили. «Все это — собственность германского государства,— сказал унтер, широко поводя вокруг рукой.— Всякий из вас, кто самовольно что-либо возьмет, будет убит».

В деревне, через которую мы проходили, женщины, увидев нас, стали бросать нам куски хлеба, печеный картофель. Кое-кто из наших успел поднять, остальным не удалось: конвой открыл стрельбу по окнам, а нам приказано было идти быстрее. Но ребятишки — бесстрашный народ, они выбегали за несколько кварталов вперед, прямо

на дорогу клали хлеб, и мы подбирали его. Мне досталась большая вареная картофелина. Разделили ее пополам с соседом, съели с кожурой. В жизни я не ел более вкусного картофеля!

Укрепления строились в лесу. Немцы значительно усилили охрану, выдали нам лопаты. Нет, не строить им укрепления, а разрушать я хотел!

В этот же день перед вечером я решился: вылез из ямы, которую мы рыли, взял лопату в левую руку, подошел к охраннику... До этого я приметил, что остальные немцы находятся у рва и, кроме этого, какой наблюдал за нашей группой, поблизости никого из охраны не было.

— У меня сломалась лопата... вот посмотрите,— бормотал я, приближаясь к солдату. На какой-то миг мелькнула у меня мысль, что если не хватит сил и я не свалю его с первого удара,— я погиб. Часовой, видимо, что-то заметил в выражении моего лица. Он сделал движение плечом, снимая ремень автомата, и тогда я нанес удар лопатой ему по лицу. Я не мог ударить его по голове, на нем была каска. Силы у меня все же хватило, немец без крика запрокинулся навзничь.

В руках у меня автомат и три обоймы. Бегу! И тут-то оказалось, что бегать я не могу. Нет сил, и баста! Остановился, перевел дух и снова еле-еле потрусил рысцой. За оврагом лес был гуще, и я стремился туда. Уже не помню, сколько раз падал, вставал, снова падал... Но с каждой минутой уходил все дальше. Всхлипывая и задыхаясь от усталости, пробирался я по чаще на той стороне холма, когда далеко сзади застучали очереди автоматов и послышался крик. Теперь поймать меня было нелегко.

Приближались сумерки. Но если бы немцы сумели напасть на мой след и приблизиться,— только последний патрон я приберег бы для себя. Эта мысль меня ободрила, я пошел тише и осторожнее.

Ночевал в лесу. Какая-то деревня была от меня в полукилометре, но я побоялся идти туда, опасаясь нарваться на немцев.

На другой день меня подобрали партизаны. Недели две я отлеживался у них в землянке, окреп и набрался сил. Вначале они относились ко мне с некоторым подозрением, несмотря на то, что я достал из-под подкладки шинели кое-как зашитый мною в лагере партбилет и показал им. Потом, когда я стал принимать участие в их операциях, отношение

ко мне сразу изменилось. Еще там открыл я счет убитым мною фашистам, тщательно веду его до сих пор, и цифра помаленьку подвигается к сотне.

В январе партизаны провели меня через линию фронта. Около месяца пролежал в госпитале. Удалили из плеча осколок мины, а добытый в лагерях ревматизм и все остальные недуги буду залечивать после войны. Из госпиталя отпустили меня домой на поправку. Пожил дома неделю, а больше не мог. Затосковал, и все тут! Как там ни говори, а мое место здесь до конца.

* * *

Прощались мы у входа в землянку. Задумчиво глядя на залитую ярким солнечным светом просеку, лейтенант Герасимов говорил:

— ...И воевать научились по-настоящему, и ненавидеть, и любить. На таком оселке, как война, все чувства отлично оттачиваются. Казалось бы, любовь и ненависть никак нельзя поставить рядышком; знаете, как это говорится: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань»,— а вот у нас они впряжены и здорово тянут! Тяжко я ненавижу фашистов за все, что они причинили моей Родине и мне лично, и в то же время всем сердцем люблю свой народ и не хочу, чтобы ему пришлось страдать под фашистским игом. Вот это-то и заставляет меня, да и всех нас, драться с таким ожесточением, именно эти два чувства, воплощенные в действие, и приведут к нам победу. И если любовь к Родине хранится у нас в сердцах и будет храниться до тех пор, пока эти сердца бьются, то ненависть всегда мы носим на кончиках штыков. Извините, если это замысловато сказано, но я так думаю,— закончил лейтенант Герасимов и впервые за время нашего знакомства улыбнулся простой и милой, ребяческой улыбкой.

А я впервые заметил, что у этого тридцатидвухлетнего лейтенанта, надломленного пережитыми лишениями, но все еще сильного и крепкого, как дуб, ослепительно белые от седины виски. И так чиста была эта добытая большими страданиями седина, что белая нитка паутины, прилипшая к пилотке лейтенанта, исчезала, коснувшись виска, и рассмотреть ее было невозможно, как я ни старался.

1942

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Евгении Григорьевне Левицкой,
члену КПСС с 1903 года

Первая послевоенная весна была на Верхнем Дону на редкость дружная и напористая. В конце марта из Приазовья подули теплые ветры, и уже через двое суток начисто оголились пески левобережья Дона, в степи вспухли набитые снегом лога и балки, взломав лед, бешено взыграли степные речки, и дороги стали почти совсем непроездны.

В эту недобрую пору бездорожья мне пришлось ехать в станицу Букановскую. И расстояние небольшое — всего лишь около шестидесяти километров,— но одолеть их оказалось не так-то просто. Мы с товарищами выехали до восхода солнца. Пара сытых лошадей, в струну натягивая постромки, еле тащила тяжелую бричку. Колеса по самую ступицу проваливались в отсыревший, перемешанный со снегом и льдом песок, и через час на лошадиных боках и стегнах, под тонкими ремнями шлеек, уже показались белые пышные хлопья мыла, а в утреннем свежем воздухе остро и пьяняще запахло лошадиным потом и согретым деготьком щедро смазанной конской сбруи.

Там, где было особенно трудно лошадям, мы слезали с брички, шли пешком. Под сапогами хлюпал размокший снег, идти было тяжело, но по обочинам дороги все еще держался хрустально поблескивавший на солнце ледок, и там пробираться было еще труднее. Только часов через шесть покрыли расстояние в тридцать километров, подъехали к переправе через речку Еланку.

Небольшая, местами пересыхающая летом речушка против хутора Моховского в заболоченной, поросшей ольхами пойме разлилась на целый километр. Переправляться надо было на утлой плоскодонке, поднимавшей не больше трех человек. Мы отпустили лошадей. На той стороне в колхозном сарае нас ожидал старенький, видавший виды «виллис», оставленный там еще зимою. Вдвоем с шофером мы не без опасения сели в ветхую лодчонку. Товарищ с вещами остался на берегу. Едва отчалили, как из прогнившего днища в разных местах фонтанчиками забила вода. Подручными средствами конопатили ненадежную

посудину и вычерпывали из нее воду, пока не доехали. Через час мы были на той стороне Еланки. Шофер пригнал из хутора машину, подошел к лодке и сказал, берясь за весло:

— Если это проклятое корыто не развалится на воде,— часа через два приедем, раньше не ждите.

Хутор раскинулся далеко в стороне, и возле причала стояла такая тишина, какая бывает в безлюдных местах только глухою осенью и в самом начале весны. От воды тянуло сыростью, терпкой горечью гниющей ольхи, а с дальних прихоперских степей, тонувших в сиреневой дымке тумана, легкий ветерок нес извечно юный, еле уловимый аромат недавно освободившейся из-под снега земли.

Неподалеку, на прибрежном песке, лежал поваленный плетень. Я присел на него, хотел закурить, но, сунув руку в правый карман ватной стеганки, к великому огорчению, обнаружил, что пачка «Беломора» совершенно размокла. Во время переправы волна хлестнула через борт низко сидевшей лодки, по пояс окатила меня мутной водой. Тогда мне некогда было думать о папиросах, надо было, бросив весло, побыстрее вычерпывать воду, чтобы лодка не затонула, а теперь, горько досадуя на свою оплошность, я бережно извлек из кармана раскисшую пачку, присел на корточки и стал по одной раскладывать на плетне влажные, побуревшие папиросы.

Был полдень. Солнце светило горячо, как в мае. Я надеялся, что папиросы скоро высохнут. Солнце светило так горячо, что я уже пожалел о том, что надел в дорогу солдатские ватные штаны и стеганку. Это был первый после зимы по-настоящему теплый день. Хорошо было сидеть на плетне вот так, одному, целиком покорясь тишине и одиночеству, и, сняв с головы старую солдатскую ушанку, сушить на ветерке мокрые после тяжелой гребли волосы, бездумно следить за проплывающими в блеклой синеве белыми грудастыми облаками.

Вскоре я увидел, как из-за крайних дворов хутора вышел на дорогу мужчина. Он вел за руку маленького мальчика, судя по росту — лет пяти-шести, не больше. Они устало брели по направлению к переправе, но, поравнявшись с машиной, повернули ко мне. Высокий, сутуловатый мужчина, подойдя вплотную, сказал приглушенным баском:

— Здорово, браток!

— Здравствуй.— Я пожал протянутую мне большую, черствую руку.

Мужчина наклонился к мальчику, сказал:

— Поздоровайся с дядей, сынок. Он, видать, такой же шофер, как и твой папанька. Только мы с тобой на грузовой ездили, а он вот эту маленькую машину гоняет.

Глядя мне прямо в глаза светлыми, как небушко, глазами, чуть-чуть улыбаясь, мальчик смело протянул мне розовую холодную ручонку. Я легонько потряс ее, спросил:

— Что же это у тебя, старик, рука такая холодная? На дворе теплынь, а ты замерзаешь?

С трогательной детской доверчивостью малыш прижался к моим коленям, удивленно приподнял белесые бровки.

— Какой же я старик, дядя? Я вовсе мальчик, и я вовсе не замерзаю, а руки холодные — снежки катал потому что.

Сняв со спины тощий вещевой мешок, устало присаживаясь рядом со мною, отец сказал:

— Беда мне с этим пассажиром! Через него и я подбился. Широко шагнешь — он уже на рысь переходит, вот и изволь к такому пехотинцу приноравливаться. Там, где мне надо раз шагнуть,— я три раза шагаю, так и идем с ним враздробь, как конь с черепахой. А тут ведь за ним глаз да глаз нужен. Чуть отвернешься, а он уже по лужине бредет или ледяшку отломит и сосет вместо конфеты. Нет, не мужчинское это дело с такими пассажирами путешествовать, да еще походным порядком.— Он помолчал немного, потом спросил: — А ты что же, браток, свое начальство ждешь?

Мне было неудобно разуверять его в том, что я не шофер, и я ответил:

— Приходится ждать.

— С той стороны подъедут?

— Да.

— Не знаешь, скоро ли подойдет лодка?

— Часа через два.

— Порядком. Ну что ж, пока отдохнем, спешить мне некуда. А я иду мимо, гляжу: свой брат-шофер загорает. Дай, думаю, зайду, перекурим вместе. Одному-то и курить и помирать тошно. А ты богато живешь, папироски куришь. Подмочил их, стало быть? Ну, брат, табак моченый, что конь леченый, никуда не годится. Давай-ка лучше моего крепачка закурим.

Он достал из кармана защитных летних штанов свернутый в трубку малиновый шелковый потертый кисет, развернул его, и я успел прочитать вышитую на уголке

надпись: «Дорогому бойцу от ученицы 6-го класса Лебедянской средней школы».

Мы закурили крепчайшего самосада и долго молчали. Я хотел было спросить, куда он идет с ребенком, какая нужда его гонит в такую распутицу, но он опередил меня вопросом:

— Ты что же, всю войну за баранкой?

— Почти всю.

— На фронте?

— Да.

— Ну, и мне там пришлось, браток, хлебнуть горюшка по ноздри и выше.

Он положил на колени большие темные руки, сгорбился. Я сбоку взглянул на него, и мне стало что-то не по себе... Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть? Вот такие глаза были у моего случайного собеседника.

Выломав из плетня сухую искривленную хворостинку, он с минуту молча водил ею по песку, вычерчивая какие-то замысловатые фигуры, а потом заговорил:

— Иной раз не спишь ночью, глядишь в темноту пустыми глазами и думаешь: «За что же ты, жизнь, меня так покалечила? За что так исказнила?» Нету мне ответа ни в темноте, ни при ясном солнышке... Нету и не дождусь! — И вдруг спохватился: ласково подталкивая сынишку, сказал: — Пойди, милок, поиграйся возле воды, у большой воды для ребятишек всегда какая-нибудь добыча найдется. Только, гляди, ноги не промочи!

Еще когда мы в молчании курили, я, украдкой рассматривая отца и сынишку, с удивлением отметил про себя одно, странное на мой взгляд, обстоятельство. Мальчик был одет просто, но добротно: и в том, как сидела на нем подбитая легкой, поношенной цигейкой длиннополая курточка, и в том, что крохотные сапожки были сшиты с расчетом надевать их на шерстяной носок, и очень искусный шов на разорванном когда-то рукаве курточки — все выдавало женскую заботу, умелые материнские руки. А отец выглядел иначе: прожженный в нескольких местах ватник был небрежно и грубо заштопан, латка на выношенных защитных штанах не пришита как следует, а скорее наживлена широкими, мужскими стежками; на нем были почти новые солдатские ботинки, но плотные шерстяные носки изъедены молью, их не коснулась женская рука... Еще тогда я подумал: «Или вдовец, или живет не в ладах с женой».

Но вот он, проводив глазами сынишку, глухо покашлял, снова заговорил, и я весь превратился в слух.

— Поначалу жизнь моя была обыкновенная. Сам я уроженец Воронежской губернии, с тысяча девятьсотого года рождения. В гражданскую войну был в Красной Армии, в дивизии Киквидзе. В голодный двадцать второй год подался на Кубань, ишачить на кулаков, потому и уцелел. А отец с матерью и сестренкой дома померли от голода. Остался один. Родни — хоть шаром покати,— нигде, никого, ни одной души. Ну, через год вернулся с Кубани, хатенку продал, поехал в Воронеж. Поначалу работал в плотницкой артели, потом пошел на завод, выучился на слесаря. Вскорости женился. Жена воспитывалась в детском доме. Сиротка. Хорошая попалась мне девка! Смирная, веселая, угодливая и умница, не мне чета. Она с детства узнала, почем фунт лиха стоит, может, это и сказалось на ее характере. Со стороны глядеть — не так уж она была из себя видная, но ведь я-то не со стороны на нее глядел, а в упор. И не было для меня красивей и желанней ее, не было на свете и не будет!

Придешь с работы усталый, а иной раз и злой, как черт. Нет, на грубое слово она тебе не нагрубит в ответ. Ласковая, тихая, не знает, где тебя усадить, бьется, чтобы и при малом достатке сладкий кусок тебе сготовить. Смотришь на нее и отходишь сердцем, а спустя немного обнимешь ее, скажешь: «Прости, милая Иринка, нахамил я тебе. Понимаешь, с работой у меня нынче не заладилось». И опять у нас мир, и у меня покой на душе. А ты знаешь, браток, что это означает для работы? Утром я встаю как встрепанный, иду на завод, и любая работа у меня в руках кипит и спорится! Вот что это означает — иметь умную жену-подругу.

Приходилось кое-когда после получки и выпивать с товарищами. Кое-когда бывало и так, что идешь домой и такие кренделя ногами выписываешь, что со стороны, небось, глядеть страшно. Тесна тебе улица, да и шабаш, не говоря уже про переулки. Парень я был тогда здоровый и сильный, как дьявол, выпить мог много, а до дому всегда добирался на своих ногах. Но случалось иной раз и так, что последний перегон шел на первой скорости, то есть на четвереньках, однако же добирался. И опять же ни тебе упрека, ни крика, ни скандала. Только посмеивается моя Иринка, да и то осторожно, чтобы я спьяну не обиделся. Разует меня и шепчет: «Ложись к стенке, Андрюша, а то сонный упадешь с кровати». Ну, я как куль с овсом, упаду,

и все поплывет перед глазами. Только слышу сквозь сон, что она по голове меня тихонько гладит рукою и шепчет что-то ласковое, жалеет, значит...

Утром она меня часа за два до работы на ноги подымет, чтобы я размялся. Знает, что на похмелье я ничего есть не буду, ну, достанет огурец соленый или еще что-нибудь по легости, нальет граненый стаканчик водки. «Похмелись, Андрюша, только больше не надо, мой милый». Да разве же можно не оправдать такого доверия? Выпью, поблагодарю ее без слов, одними глазами поцелую и пошел на работу, как миленький. А скажи она мне, хмельному, слово поперек, крикни или обругайся, и я бы, как бог свят, и на второй день напился. Так бывает в иных семьях где жена дура; насмотрелся я на таких шалав, знаю.

Вскорости дети у нас пошли. Сначала сынишка родился, через года̀ еще две девочки... Тут я от товарищей откололся. Всю получку домой несу, семья стала числом порядочная, не до выпивки. В выходной кружку пива выпью и на этом ставлю точку.

В двадцать девятом году завлекли меня машины. Изучил автодело, сел за баранку, на грузовой. Потом втянулся и уже не захотел возвращаться на завод. За рулем показалось мне веселее. Так и прожил десять лет и не заметил, как они прошли. Прошли как будто во сне. Да что десять лет! Спроси у любого пожилого человека, приметил он, как жизнь прожил? Ни черта он не приметил! Прошлое — вот как та дальняя степь в дымке. Утром я шел по ней, все было ясно кругом, а отшагал двадцать километров, и вот уже затянула степь дымка, и отсюда уже не отличишь лес от бурьяна, пашню от травокоса...

Работал я эти десять лет и день и ночь. Зарабатывал хорошо, и жили мы не хуже людей. И дети радовали: все трое учились на «отлично», а старшенький, Анатолий, оказался таким способным к математике, что про него даже в центральной газете писали. Откуда у него проявился такой огромадный талант к этой науке, я и сам, браток, не знаю. Только очень мне это было лестно, и гордился я им, страсть как гордился!

За десять лет скопили мы немного деньжонок и перед войной поставили себе домишко об двух комнатках, с кладовкой и коридорчиком. Ирина купила двух коз. Чего еще больше надо? Дети кашу едят с молоком, крыша над головою есть, одеты, обуты, стало быть, все в порядке. Только построился я неловко. Отвели мне участок в шесть соток неподалеку от авиазавода. Будь моя

хибарка в другом месте, может, и жизнь сложилась бы иначе...

А тут вот она, война. На второй день повестка из военкомата, а на третий — пожалуйте в эшелон. Провожали меня все четверо моих: Ирина, Анатолий и дочери — Настенька и Олюшка. Все ребята держались молодцом. Ну, у дочерей — не без того, посверкивали слезинки. Анатолий только плечами передергивал, как от холода, ему к тому времени уже семнадцатый год шел, а Ирина моя... Такой я ее за все семнадцать лет нашей совместной жизни ни разу не видал. Ночью у меня на плече и на груди рубаха от ее слез не просыхала, и утром такая же история... Пришли на вокзал, а я на нее от жалости глядеть не могу: губы от слез распухли, волосы из-под платка выбились, и глаза мутные, несмысленные, как у тронутого умом человека. Командиры объявляют посадку, а она упала мне на грудь, руки на моей шее сцепила и вся дрожит, будто подрубленное дерево... И детишки ее уговаривают и я,— ничего не помогает! Другие женщины с мужьями, с сыновьями разговаривают, а моя прижалась ко мне, как лист к ветке, и только вся дрожит, а слова вымолвить не может. Я и говорю ей: «Возьми же себя в руки, милая моя Иринка! Скажи мне хоть слово на прощанье». Она и говорит и за каждым словом всхлипывает: «Родненький мой... Андрюша... Не увидимся... мы с тобой... больше... на этом... свете»...

Тут у самого от жалости к ней сердце на части разрывается, а тут она с такими словами. Должна бы понимать, что мне тоже нелегко с ними расставаться, не к теще на блины собрался. Зло меня тут взяло! Силой я разнял ее руки и легонько толкнул в плечи. Толкнул вроде легонько, а сила-то у меня была дурачья; она попятилась, шага три ступнула назад и опять ко мне идет мелкими шажками, руки протягивает, а я кричу ей: «Да разве же так прощаются? Что ты меня раньше времени заживо хоронишь?!» Ну, опять обнял ее, вижу, что она не в себе...

Он на полуслове резко оборвал рассказ, и в наступившей тишине я услышал, как у него что-то клокочет и булькает в горле. Чужое волнение передалось и мне. Искоса взглянул я на рассказчика, но ни единой слезинки не увидел в его словно бы мертвых, потухших глазах. Он сидел, понуро склонив голову, только большие, безвольно опущенные руки мелко дрожали, дрожал подбородок, дрожали твердые губы...

— Не надо, друг, не вспоминай! — тихо проговорил я, но он, наверное, не слышал моих слов и, каким-то огромным усилием воли поборов волнение, вдруг сказал охрипшим, странно изменившимся голосом:

— До самой смерти, до последнего моего часа, помирать буду, а не прощу себе, что тогда ее оттолкнул!..

Он снова и надолго замолчал. Пытался свернуть папиросу, но газетная бумага рвалась, табак сыпался на колени. Наконец он все же кое-как сделал крученку, несколько раз жадно затянулся и, покашливая, продолжал:

— Оторвался я от Ирины, взял ее лицо в ладони, целую, а у нее губы как лед. С детишками попрощался, бегу к вагону, уже на ходу вскочил на подножку. Поезд взял с места тихо-тихо; проезжать мне — мимо своих. Гляжу, детишки мои осиротелые в кучку сбились, руками мне машут, хотят улыбаться, а оно не выходит. А Ирина прижала руки к груди; губы белые как мел, что-то она ими шепчет, смотрит на меня, не сморгнет, а сама вся вперед клонится, будто хочет шагнуть против сильного ветра... Такой она и в памяти мне на всю жизнь осталась: руки, прижатые к груди, белые губы и широко раскрытые глаза, полные слез... По большей части такой я ее и во сне всегда вижу... Зачем я ее тогда оттолкнул? Сердце до сих пор, как вспомню, будто тупым ножом режут...

Формировали нас под Белой Церковью, на Украине. Дали мне ЗИС-5. На нем и поехал на фронт. Ну, про войну тебе нечего рассказывать, сам видал и знаешь, как оно было поначалу. От своих письма получал часто, а сам крылатки посылал редко. Бывало, напишешь, что, мол, все в порядке, помаленьку воюем, и хотя сейчас отступаем, но скоро соберемся с силами и тогда дадим фрицам прикурить. А что еще можно было писать? Тошное время было, не до писаний было. Да и признаться, и сам я не охотник был на жалобных струнах играть и терпеть не мог этаких слюнявых, какие каждый день, к делу и не к делу, женам и милахам писали, сопли по бумаге размазывали. Трудно, дескать, ему тяжело, того и гляди убьют. И вот он, сука в штанах, жалуется, сочувствия ищет, слюнявится, а того не хочет понять, что этим разнесчастным бабенкам и детишкам не слаже нашего в тылу приходилось! Вся держава на них оперлась! Какие же это плечи нашим женщинам и детишкам надо было иметь, чтобы под такой тяжестью не согнуться? А вот не согнулись, выстояли! А такой хлюст, мокрая душонка, напишет жалостное письмо — и трудящую женщину, как рюхой под ноги. Она после этого письма, горемы-

ка, и руки опустит, и работа ей не в работу. Нет! На то ты и мужчина, на то ты и солдат, чтобы все вытерпеть, все снести, если к этому нужда позвала. А если в тебе бабьей закваски больше, чем мужской, то надевай юбку со сборками, чтобы свой тощий зад прикрыть попышнее, чтобы хоть сзади на бабу был похож, и ступай свеклу полоть или коров доить, а на фронте ты такой не нужен, там и без тебя вони много!

Только не пришлось мне и года повоевать... Два раза за это время был ранен, но оба раза по легости: один раз — в мякоть руки, другой — в ногу; первый раз — пулей с самолета, другой — осколком снаряда. Дырявил немец мне машину и сверху и с боков, но мне, браток, везло на первых порах. Везло-везло, да и довезло до самой ручки... Попал я в плен под Лозовеньками в мае сорок второго года при таком неловком случае: немец тогда здорово наступал, и оказалась одна наша стодвадцатидвухмиллиметровая гаубичная батарея почти без снарядов; нагрузили мою машину снарядами по самую завязку, и сам я на погрузке работал так, что гимнастерка к лопаткам прикипала. Надо было сильно спешить потому, что бой приближался к нам: слева чьи-то танки гремят, справа стрельба идет, впереди стрельба. И уже начало попахивать жареным...

Командир нашей автороты спрашивает: «Проскочишь, Соколов?» А тут и спрашивать нечего было. Там товарищи мои, может, погибают, а я тут чухаться буду? «Какой разговор! — отвечаю ему.— Я должен проскочить, и баста!» — «Ну,— говорит,— дуй! Жми на всю железку!»

Я и подул. В жизни так не ездил, как на этот раз! Знал, что не картошку везу, что с этим грузом осторожность в езде нужна, но какая же тут может быть осторожность, когда там ребята с пустыми руками воюют, когда дорога вся насквозь артогнем простреливается. Пробежал километров шесть, скоро мне уже на проселок сворачивать, чтобы пробраться к балке, где батарея стояла, а тут гляжу — мать честная — пехотка наша и справа и слева от грейдера по чистому полю сыпет, и уже мины рвутся по их порядкам. Что мне делать? Не поворачивать же назад? Давлю вовсю! И до батареи остался какой-нибудь километр, уже свернул я на проселок, а добраться до своих мне, браток, не пришлось... Видно, из дальнобойного тяжелый положил он мне возле машины. Не слыхал я ни разрыва, ничего, только в голове будто что-то лопнуло, и больше ничего не помню. Как остался я живой тогда — не понимаю, и сколько време-

ни пролежал метрах в восьми от кювета — не соображу. Очнулся, а встать на ноги не могу: голова у меня дергается, всего трясет, будто в лихорадке, в глазах темень, в левом плече что-то скрипит и похрустывает, и боль во всем теле такая, как скажи, меня двое суток подряд били чем попадя. Долго я по земле на животе елозил, но кое-как встал. Однако опять же ничего не пойму, где я и что со мной стряслось. Память-то мне начисто отшибло. А обратно лечь боюсь. Боюсь, что лягу и больше не встану, помру. Стою и качаюсь из стороны в сторону, как тополь в бурю.

Когда пришел в себя, опомнился и огляделся как следует,— сердце будто кто-то плоскогубцами сжал: кругом снаряды валяются, какие я вез, неподалеку моя машина, вся в клочья побитая, лежит вверх колесами, а бой-то, бой-то уже сзади меня идет... Это́ как?

Нечего греха таить, вот тут-то у меня ноги сами собою подкосились, и я упал как срезанный, потому что понял, что я — уже в окружении, а скорее сказать — в плену у фашистов. Вот как оно на войне бывает...

Ох, браток, нелегкое это дело понять, что ты не по своей воле в плену. Кто этого на своей шкуре не испытал, тому не сразу в душу въедешь, чтобы до него по-человечески дошло, что́ означает эта штука.

Ну, вот, стало быть, лежу я и слышу: танки гремят. Четыре немецких средних танка на полном газу прошли мимо меня туда, откуда я со снарядами выехал... Каково это было переживать? Потом тягачи с пушками потянулись, полевая кухня проехала, потом пехота пошла, не густо, так, не больше одной битой роты. Погляжу, погляжу на них краем глаза и опять прижмусь щекой к земле, глаза закрою: тошно мне на них глядеть, и на сердце тошно...

Думал, все прошли, приподнял голову, а их шесть автоматчиков — вот они, шагают метрах в стах от меня. Гляжу, сворачивают с дороги и прямо ко мне. Идут молчком. «Вот,— думаю,— и смерть моя на подходе». Я сел, неохота лежа помирать, потом встал. Один из них, не доходя шагов нескольких, плечом дернул, автомат снял. И вот как потешно человек устроен: никакой паники, ни сердечной робости в эту минуту у меня не было. Только гляжу на него и думаю: «Сейчас даст он по мне короткую очередь, а куда будет бить? В голову или поперек груди?» Как будто мне это не один черт, какое место он в моем теле прострочит.

Молодой парень, собой ладный такой, чернявый, а губы тонкие, в нитку, и глаза с прищуром. «Этот убьет и не задумается»,— соображаю про себя. Так оно и есть: вскинул он автомат — я ему прямо в глаза гляжу, молчу, а другой, ефрейтор, что ли, постарше его возрастом, можно сказать пожилой, что-то крикнул, отодвинул его в сторону, подошел ко мне, лопочет по-своему и правую руку мою в локте сгибает, мускул, значит, щупает. Попробовал и говорит: «О-о-о!» — и показывает на дорогу, на заход солнца. Топай, мол, рабочая скотинка, трудиться на наш райх. Хозяином оказался, сукин сын!

Но чернявый присмотрелся на мои сапоги, а они у меня с виду были добрые, показывает рукой: «Сымай». Сел я на землю, снял сапоги, подаю ему. Он их из рук у меня прямо-таки выхватил. Размотал я портянки, протягиваю ему, а сам гляжу на него снизу вверх. Но он заорал, заругался по-своему и опять за автомат хватается. Остальные ржут. С тем по-мирному и отошли. Только этот чернявый, пока дошел до дороги, раза три оглянулся на меня, глазами сверкает, как волчонок, злится, а чего? Будто я с него сапоги снял, а не он с меня.

Что ж, браток, деваться мне было некуда. Вышел я на дорогу, выругался страшным кучерявым, воронежским матом и зашагал на запад, в плен!.. А ходок тогда из меня был никудышный, в час по километру, не больше. Ты хочешь вперед шагнуть, а тебя из стороны в сторону качает, возит по дороге, как пьяного. Прошел немного, и догоняет меня колонна наших пленных, из той же дивизии, в какой я был. Гонят их человек десять немецких автоматчиков. Тот, какой впереди колонны шел, поравнялся со мною и, не говоря худого слова, наотмашь хлыстнул меня ручкой автомата по голове. Упади я,— и он пришил бы меня к земле очередью, но наши подхватили меня на лету, затолкали в средину и с полчаса вели под руки. А когда я очухался, один из них шепчет: «Боже тебя упаси падать! Иди из последних сил, а не то убьют». И я из последних сил, но пошел.

Как только солнце село, немцы усилили конвой, на грузовой подкинули еще человек двадцать автоматчиков, погнали нас ускоренным маршем. Сильно раненные наши не могли поспевать за остальными, и их пристреливали прямо на дороге. Двое попытались бежать, а того не учли, что в лунную ночь тебя в чистом поле черт-те насколько видно, ну, конечно, и этих постреляли. В полночь пришли мы в какое-то полусожженное село. Ночевать загнали нас

в церковь с разбитым куполом. На каменном полу — ни клочка соломы, а все мы без шинелей, в одних гимнастерках и штанах, так что постелить и разу нечего. Кое на ком даже и гимнастерок не было, одни бязевые исподние рубашки. В большинстве это были младшие командиры. Гимнастерки они посымали, чтобы их от рядовых нельзя было отличить. И еще артиллерийская прислуга была без гимнастерок. Как работали возле орудий растелешенные, так и в плен попали.

Ночью полил такой сильный дождь, что мы все промокли насквозь. Тут купол снесло тяжелым снарядом или бомбой с самолета, а тут крыша вся начисто побитая осколками, сухого места даже в алтаре не найдешь. Так всю ночь и прослонялись мы в этой церкви, как овцы в темном катухе. Среди ночи слышу, кто-то трогает меня за руку, спрашивает: «Товарищ, ты не ранен?» Отвечаю ему: «А тебе что надо, браток?» Он и говорит: «Я — военврач, может быть, могу тебе чем-нибудь помочь?» Я пожаловался ему, что у меня левое плечо скрипит и пухнет и ужасно как болит. Он твердо так говорит: «Сымай гимнастерку и нижнюю рубашку». Я снял все это с себя, он и начал руку в плече прощупывать своими тонкими пальцами, да так, что я света не взвидел. Скриплю зубами и говорю ему: «Ты, видно, ветеринар, а не людской доктор. Что же ты по больному месту давишь так, бессердечный ты человек?» А он все щупает и злобно так отвечает: «Твое дело помалкивать! Тоже мне, разговорчики затеял. Держись, сейчас еще больнее будет». Да с тем как дернет мою руку, аж красные искры у меня из глаз посыпались.

Опомнился я и спрашиваю: «Ты что же делаешь, фашист несчастный? У меня рука вдребезги разбитая, а ты ее так рванул». Слышу, он засмеялся потихоньку и говорит: «Думал, что ты меня ударишь с правой, но ты, оказывается, смирный парень. А рука у тебя не разбита, а выбита была, вот я ее на место и поставил. Ну, как теперь, полегче тебе?» И в самом деле чувствую по себе, что боль куда-то уходит. Поблагодарил я его душевно, и он дальше пошел в темноте, потихоньку спрашивает: «Раненые есть?» Вот что значит настоящий доктор! Он и в плену и в потемках свое великое дело делал.

Беспокойная эта была ночь. До ветру не пускали, об этом старший конвоя предупредил, еще когда попарно загоняли нас в церковь. И, как на грех, приспичило одному богомольному из наших выйти по нужде. Крепился-крепился он, а потом заплакал. «Не могу,— говорит,— осквер-

нять святой храм! Я же верующий, я христианин! Что мне делать, братцы?» А наши, знаешь, какой народ? Одни смеются, другие ругаются, третьи всякие шуточные советы ему дают. Развеселил он всех нас, а кончилась эта канитель очень даже плохо: начал он стучать в дверь и просить, чтобы его выпустили. Ну, и допросился: дал фашист через дверь, во всю ее ширину, длинную очередь, и богомольца этого убил, и еще трех человек, а одного тяжело ранил, к утру он скончался.

Убитых сложили мы в одно место, присели все, притихли и призадумались: начало-то не очень веселое... А немного погодя заговорили вполголоса, зашептались: кто откуда, какой области, как в плен попал; в темноте товарищи из одного взвода или знакомцы из одной роты порастерялись, начали один одного потихоньку окликать. И слышу я рядом с собой такой тихий разговор. Один говорит: «Если завтра, перед тем как гнать нас дальше, нас выстроят и будут выкликать комиссаров, коммунистов и евреев, то ты, взводный, не прячься! Из этого дела у тебя ничего не выйдет. Ты думаешь, если гимнастерку снял, так за рядового сойдешь? Не выйдет! Я за тебя отвечать не намерен. Я пе́рвый укажу на тебя! Я же знаю, что ты коммунист и меня агитировал вступать в партию, вот и отвечай за свои дела». Это говорит ближний ко мне, какой рядом со мной сидит, слева, а с другой стороны от него чей-то молодой голос отвечает: «Я всегда подозревал, что ты, Крыжнев, нехороший человек. Особенно, когда ты отказался вступать в партию, ссылаясь на свою неграмотность. Но никогда я не думал, что ты сможешь стать предателем. Ведь ты же окончил семилетку?» Тот лениво так отвечает своему взводному: «Ну, окончил, и что из этого?» Долго они молчали, потом, по голосу, взводный тихо так говорит: «Не выдавай меня, товарищ Крыжнев». А тот засмеялся тихонько. «Товарищи,— говорит,— остались за линией фронта, а я тебе не товарищ, и ты меня не проси, все равно укажу на тебя. Своя рубашка к телу ближе».

Замолчали они, а меня озноб колотит от такой подлючности. «Нет,— думаю,— не дам я тебе, сучьему сыну, выдать своего командира! Ты у меня из этой церкви не выйдешь, а вытянут тебя, как падлу, за ноги!» Чуть-чуть рассвело — вижу: рядом со мной лежит на спине мордатый парень, руки за голову закинул, а около него сидит в одной исподней рубашке, колени обнял, худенький такой, курносенький парнишка, и очень собою бледный. «Ну,— ду-

маю,— не справится этот парнишка с таким толстым мерином. Придется мне его кончать».

Тронул я его рукою, спрашиваю шепотом: «Ты — взводный?» Он ничего не ответил, только головою кивнул. «Этот хочет тебя выдать?» — показываю я на лежачего парня. Он обратно головою кивнул. «Ну,— говорю,— держи ему ноги, чтобы не брыкался! Да поживей!» — а сам упал на этого парня, и замерли мои пальцы у него на глотке. Он и крикнуть не успел. Подержал его под собой минут несколько, приподнялся. Готов предатель, и язык на боку!

До того мне стало нехорошо после этого, и страшно захотелось руки помыть, будто я не человека, а какого-то гада ползучего душил... Первый раз в жизни убил, и то своего... Да какой же он свой? Он же хуже чужого, предатель. Встал и говорю взводному: «Пойдем отсюда, товарищ, церковь велика».

Как и говорил этот Крыжнев, утром всех нас выстроили возле церкви, оцепили автоматчиками и трое эсэсовских офицеров начали отбирать вредных им людей. Спросили, кто коммунисты, командиры, комиссары, но таковых не оказалось. Не оказалось и сволочи, какая могла бы выдать, потому что и коммунистов среди нас было чуть не половина, и командиры были, и, само собою, и комиссары были. Только четырех и взяли из двухсот с лишним человек. Одного еврея и трех русских рядовых. Русские попали в беду потому, что все трое были чернявые и с кучерявинкой в волосах. Вот подходят к такому, спрашивают: «Юде?» Он говорит, что русский, но его и слушать не хотят. «Выходи» — и все.

Расстреляли этих бедолаг, а нас погнали дальше. Взводный, с каким мы предателя придушили, до самой Познани возле меня держался и в первый день нет-нет да и пожмет мне на ходу руку. В Познани нас разлучили по одной такой причине.

Видишь, какое дело, браток, еще с первого дня задумал я уходить к своим. Но уходить хотел наверняка. До самой Познани, где разместили нас в настоящем лагере, ни разу не предоставился мне подходящий случай. А в Познанском лагере вроде такой случай нашелся: в конце мая послали нас в лесок возле лагеря рыть могилы для наших же умерших военнопленных, много тогда нашего брата мерло от дизентерии; рою я познанскую глину, а сам посматриваю кругом и вот приметил, что двое наших охранников сели закусывать, а третий придремал на солнышке. Бросил

я лопату и тихо пошел за куст... А потом — бегом, держу прямо на восход солнца...

Видать, не скоро они спохватились, мои охранники. А вот откуда у меня, у такого тощалого, силы взялись, чтобы пройти за сутки почти сорок километров,— сам не знаю. Только ничего у меня не вышло из моего мечтания, на четвертые сутки, когда я был уже далеко от проклятого лагеря, поймали меня. Собаки сыскные шли по моему следу, они меня и нашли в некошеном овсе.

На заре побоялся я идти чистым полем, а до леса было не меньше трех километров, я и залег в овсе на дневку. Намял в ладонях зерен, пожевал немного и в карманы насыпал про запас и вот слышу собачий брех, и мотоцикл трещит... Оборвалось у меня сердце, потому что собаки все ближе голоса подают. Лег я плашмя и закрылся руками, чтобы они мне хоть лицо не обгрызли. Ну, добежали и в одну минуту спустили с меня все мое рванье. Остался в чем мать родила. Катали они меня по овсу, как хотели, и под конец один кобель стал мне на грудь передними лапами и целится в глотку, но пока еще не трогает.

На двух мотоциклах подъехали немцы. Сначала сами били в полную волю, а потом натравили на меня собак, и с меня только кожа с мясом полетели клочьями. Голого, всего в крови и привезли в лагерь. Месяц отсидел в карцере за побег, но все-таки живой... живой я остался!..

Тяжело мне, браток, вспоминать, а еще тяжелее рассказывать о том, что довелось пережить в плену. Как вспомнишь нелюдские муки, какие пришлось вынести там, в Германии, как вспомнишь всех друзей-товарищей, какие погибли замученные там, в лагерях,— сердце уже не в груди, а в глотке бьется, и трудно становится дышать...

Куда меня только не гоняли за два года плена! Половину Германии объехал за это время: и в Саксонии был, на силикатном заводе работал, и в Рурской области на шахте уголек откатывал, и в Баварии на земляных работах горб наживал, и в Тюрингии побыл, и черт-те где только не пришлось по немецкой земле походить. Природа везде там, браток, разная, но стреляли и били нашего брата везде одинаково. А били богом проклятые гады и паразиты так, как у нас сроду животину не бьют. И кулаками били, и ногами топтали, и резиновыми палками били, и всяческим

железом, какое под руку попадется, не говоря уже про винтовочные приклады и прочее дерево.

Били за то, что ты — русский, за то, что на белый свет еще смотришь, за то, что на них, сволочей, работаешь. Били и за то, что не так взглянешь, не так ступнешь, не так повернешься. Били запросто, для того, чтобы когда-нибудь да убить до смерти, чтобы захлебнулся своей последней кровью и подох от побоев. Печей-то, наверно, на всех нас не хватало в Германии.

И кормили везде, как есть, одинаково: полтораста грамм эрзац-хлеба пополам с опилками и жидкая баланда из брюквы. Кипяток — где давали, а где нет. Да что там говорить, суди сам: до войны весил я восемьдесят шесть килограмм, а к осени тянул уже не больше пятидесяти. Одна кожа осталась на костях, да и кости-то свои носить было не под силу. А работу давай, и слова не скажи, да такую работу, что ломовой лошади и то не в пору.

В начале сентября из лагеря под городом Кюстрином перебросили нас, сто сорок два человека советских военнопленных, в лагерь Б-14, неподалеку от Дрездена. К тому времени в этом лагере было около двух тысяч наших. Все работали на каменном карьере, вручную долбили, резали, крошили немецкий камень. Норма — четыре кубометра в день на душу, заметь, на такую душу, какая и без этого чуть-чуть, на одной ниточке в теле держалась. Тут и началось: через два месяца от ста сорока двух человек нашего эшелона осталось нас пятьдесят семь. Это как, браток? Лихо? Тут своих не успеваешь хоронить, а тут слух по лагерю идет, будто немцы уже Сталинград взяли и прут дальше, на Сибирь. Одно горе к другому, да так гнут, что глаз от земли не подымаешь, вроде и ты туда, в чужую, немецкую землю, просишься. А лагерная охрана каждый день пьет, песни горланят, радуются, ликуют.

И вот как-то вечером вернулись мы в барак с работы. Целый день дождь шел, лохмотья на нас хоть выжми; все мы на холодном ветру продрогли как собаки, зуб на зуб не попадает. А обсушиться негде, согреться — то же самое, и к тому же голодные не то что до смерти, а даже еще хуже. Но вечером нам еды не полагалось.

Снял я с себя мокрое рванье, кинул на нары и говорю: «Им по четыре кубометра выработки надо, а на могилу каждому из нас и одного кубометра через глаза хватит». Только и сказал, но ведь нашелся же из своих какой-то

подлец, донес коменданту лагеря про эти мои горькие слова.

Комендантом лагеря, или, по-ихнему, лагерфюрером, был у нас немец Мюллер. Невысокого роста, плотный, белобрысый и сам весь какой-то белый: и волосы на голове белые, и брови, и ресницы, даже глаза у него были белесые, навыкате. По-русски говорил, как мы с тобой, да еще на «о» налегал, будто коренной волжанин. А матершинничать был мастер ужасный. И где он, проклятый, только и учился этому ремеслу? Бывало, выстроит нас перед блоком — барак они так называли,— идет перед строем со своей сворой эсэсовцев, правую руку держит на отлете. Она у него в кожаной перчатке, а в перчатке свинцовая прокладка, чтобы пальцев не повредить. Идет и бьет каждого второго в нос, кровь пускает. Это он называл «профилактикой от гриппа». И так каждый день. Всего четыре блока в лагере было, и вот он нынче первому блоку «профилактику» устраивает, завтра второму и так далее. Аккуратный был, гад, без выходных работал. Только одного он, дурак, не мог сообразить: перед тем как идти ему руку прикладывать, он, чтобы распалить себя, минут десять перед строем ругается. Он матершинничает почем зря, а нам от этого легче становится: вроде слова-то наши, природные, вроде ветерком с родной стороны подувает... Знал бы он, что его ругань нам одно удовольствие доставляет,— уж он по-русски не ругался бы, а только на своем языке. Лишь один мой приятель-москвич злился на него, страшно. «Когда он ругается,— говорит,— я глаза закрою и вроде в Москве, на Зацепе, в пивной сижу, и до того мне пива захочется, что даже голова закружится».

Так вот этот самый комендант на другой день после того, как я про кубометры сказал, вызывает меня. Вечером приходят в барак переводчик и с ним два охранника. «Кто Соколов Андрей?» Я отозвался. «Марш за нами, тебя сам герр лагерфюрер требует». Понятно, зачем требует. На распыл. Попрощался я с товарищами, все они знали, что на смерть иду, вздохнул и пошел. Иду по лагерному двору, на звезды поглядываю, прощаюсь и с ними, думаю: «Вот и отмучился ты, Андрей Соколов, а по-лагерному — номер триста тридцать первый». Что-то жалко стало Иринку и детишек, а потом жаль эта утихла, и стал я собираться с духом, чтобы глянуть в дырку пистолета бесстрашно, как и подобает солдату, чтобы враги не увидали в последнюю мою минуту, что мне с жизнью расставаться все-таки трудно...

В комендантской — цветы на окнах, чистенько, как у нас в хорошем клубе. За столом — все лагерное начальство. Пять человек сидят, шнапс глушат и салом закусывают. На столе у них початая здоровенная бутыль со шнапсом, хлеб, сало, моченые яблоки, открытые банки с разными консервами. Мигом оглядел я всю эту жратву, и — не поверишь — так меня замутило, что за малым не вырвало. Я же голодный, как волк, отвык от человеческой пищи, а тут столько добра перед тобою... Кое-как задавил тошноту, но глаза оторвал от стола через великую силу.

Прямо передо мною сидит полупьяный Мюллер, пистолетом играется, перекидывает его из руки в руку, а сам смотрит на меня и не моргнет, как змея. Ну, я руки по швам, стоптанными каблуками щелкнул, громко так докладываю: «Военнопленный Андрей Соколов по вашему приказанию, герр комендант, явился». Он и спрашивает меня: «Так что же, русс Иван, четыре кубометра выработки — это много?» — «Так точно,— говорю,— герр комендант, много».— «А одного тебе на могилу хватит?» — «Так точно, герр комендант, вполне хватит и даже останется».

Он встал и говорит: «Я окажу тебе великую честь, сейчас лично расстреляю тебя за эти слова. Здесь неудобно, пойдем во двор, там ты и распишешься».— «Воля ваша»,— говорю ему. Он постоял, подумал, а потом кинул пистолет на стол и наливает полный стакан шнапса, кусочек хлеба взял, положил на него ломтик сала и все это подает мне и говорит: «Перед смертью выпей, русс Иван, за победу немецкого оружия».

Я было из его рук и стакан взял и закуску, но как только услыхал эти слова,— меня будто огнем обожгло! Думаю про себя: «Чтобы я, русский солдат, да стал пить за победу немецкого оружия?! А кое-чего ты не хочешь, герр комендант? Один черт мне умирать, так провались ты пропадом со своей водкой!»

Поставил я стакан на стол, закуску положил и говорю: «Благодарствую за угощение, но я непьющий». Он улыбается: «Не хочешь пить за нашу победу? В таком случае выпей за свою погибель». А что мне было терять? «За свою погибель и избавление от мук я выпью»,— говорю ему. С тем взял стакан и в два глотка вылил его в себя, а закуску не тронул, вежливенько вытер губы ладонью и говорю: «Благодарствую за угощение. Я готов, герр комендант, пойдемте, распишите меня».

Но он смотрит внимательно так и говорит: «Ты хоть закуси перед смертью». Я ему на это отвечаю: «Я после первого стакана не закусываю». Наливает он второй, подает мне. Выпил я и второй и опять же закуску не трогаю, на отвагу бью, думаю: «Хоть напьюсь перед тем, как во двор идти, с жизнью расставаться». Высоко поднял комендант свои белые брови, спрашивает: «Что же ты не закусываешь, русс Иван? Не стесняйся!» А я ему свое: «Извините, герр комендант, я и после второго стакана не привык закусывать». Надул он щеки, фыркнул, а потом как захохочет и сквозь смех что-то быстро говорит по-немецки: видно, переводит мои слова друзьям. Те тоже рассмеялись, стульями задвигали, поворачиваются ко мне мордами и уже, замечаю, как-то иначе на меня поглядывают, вроде помягче.

Наливает мне комендант третий стакан, а у самого руки трясутся от смеха. Этот стакан я выпил врастяжку, откусил маленький кусочек хлеба, остаток положил на стол. Захотелось мне им, проклятым, показать, что хотя я и с голоду пропадаю, но давиться ихней подачкой не собираюсь, что у меня есть свое, русское достоинство и гордость и что в скотину они меня не превратили, как ни старались.

После этого комендант стал серьезный с виду, поправил у себя на груди два железных креста, вышел из-за стола безоружный и говорит: «Вот что, Соколов, ты — настоящий русский солдат. Ты храбрый солдат. Я — тоже солдат и уважаю достойных противников. Стрелять я тебя не буду. К тому же сегодня наши доблестные войска вышли к Волге и целиком овладели Сталинградом. Это для нас большая радость, а потому я великодушно дарю тебе жизнь. Ступай в свой блок, а это тебе за смелость»,— и подает мне со стола небольшую буханку хлеба и кусок сала.

Прижал я хлеб к себе изо всей силы, сало в левой руке держу и до того растерялся от такого неожиданного поворота, что и спасибо не сказал, сделал налево кругом, иду к выходу, а сам думаю: «Засветит он мне сейчас промеж лопаток, и не донесу ребятам этих харчей». Нет, обошлось. И на этот раз смерть мимо меня прошла, только холодком от нее потянуло...

Вышел я из комендантской на твердых ногах, а во дворе меня развезло. Ввалился в барак и упал на цементовый пол без памяти. Разбудили меня наши еще в потемках: «Рассказывай!» Ну, я припомнил, что было в комендантской, рассказал им. «Как будем харчи делить?» — спрашивает

мой сосед по нарам, а у самого голос дрожит. «Всем поровну»,— говорю ему. Дождались рассвета. Хлеб и сало резали суровой ниткой. Досталось каждому хлеба по кусочку со спичечную коробку, каждую крошку брали на учет, ну, а сала, сам понимаешь,— только губы помазать. Однако поделил без обиды.

Вскорости перебросили нас, человек триста самых крепких, на осушку болот, потом — в Рурскую область на шахты. Там и пробыл я до сорок четвертого года. К этому времени наши уже своротили Германии скулу набок и фашисты перестали пленными брезговать. Как-то выстроили нас, всю дневную смену, и какой-то приезжий обер-лейтенант говорит через переводчика: «Кто служил в армии или до войны работал шофером,— шаг вперед». Шагнуло нас семь человек бывшей шоферни. Дали нам поношенную спецовку, направили под конвоем в город Потсдам. Приехали туда, и растрясли нас всех врозь. Меня определили работать в «Тодте» — была у немцев такая шарашкина контора по строительству дорог и оборонительных сооружений.

Возил я на «оппель-адмирале» немца-инженера в чине майора армии. Ох, и толстый же был фашист! Маленький, пузатый, что в ширину, что в длину одинаковый и в заду плечистый, как справная баба. Спереди у него над воротником мундира три подбородка висят и позади на шее три толстючих складки. На нем, я так определял, не менее трех пудов чистого жиру было. Ходит, пыхтит, как паровоз, а жрать сядет — только держись! Целый день, бывало, жует да коньяк из фляжки потягивает. Кое-когда и мне от него перепадало: в дороге остановится, колбасы нарежет, сыру, закусывает и выпивает; когда в добром духе,— и мне кусок кинет, как собаке. В руки никогда не давал, нет, считал это для себя за низкое. Но как бы то ни было, а с лагерем же не сравнить, и понемногу стал я запохаживаться на человека, помалу, но стал поправляться.

Недели две возил я своего майора из Потсдама в Берлин и обратно, а потом послали его в прифронтовую полосу на строительство оборонительных рубежей против наших. И тут я спать окончательно разучился: ночи напролет думал, как бы мне к своим, на родину сбежать.

Приехали мы в город Полоцк. На заре услыхал я в первый раз за два года, как громыхает наша артиллерия, и, знаешь, браток, как сердце забилось? Холостой еще ходил к Ирине на свиданья, и то оно так не стучало! Бои

шли восточнее Полоцка уже километрах в восемнадцати. Немцы в городе злые стали, нервные, а толстяк мой все чаще стал напиваться. Днем за городом с ним ездим, и он распоряжается, как укрепления строить, а ночью в одиночку пьет. Опух весь, под глазами мешки повисли...

«Ну,— думаю,— ждать больше нечего, пришел мой час! И надо не одному мне бежать, а прихватить с собою и моего толстяка, он нашим сгодится!»

Нашел в развалинах двухкилограммовую гирьку, обмотал ее обтирочным тряпьем, на случай, если придется ударить, чтобы крови не было, кусок телефонного провода поднял на дороге, все, что мне надо, усердно приготовил, схоронил под переднее сиденье. За два дня перед тем как распрощался с немцами, вечером еду с заправки, вижу, идет пьяный, как грязь, немецкий унтер, за стенку руками держится. Остановил я машину, завел его в развалины и вытряхнул из мундира, пилотку с головы снял. Все это имущество тоже под сиденье сунул и был таков.

Утром двадцать девятого июня приказывает мой майор везти его за город, в направлении Тросницы. Там он руководил постройкой укреплений. Выехали. Майор на заднем сиденье спокойно дремлет, а у меня сердце из груди чуть не выскакивает. Ехал я быстро, но за городом сбавил газ, потом остановил машину, вылез, огляделся: далеко сзади две грузовых тянутся. Достал я гирьку, открыл дверцу пошире. Толстяк откинулся на спинку сиденья, похрапывает, будто у жены под боком. Ну, я его и тюкнул гирькой в левый висок. Он и голову уронил. Для верности я его еще раз стукнул, но убивать до смерти не захотел. Мне его живого надо было доставить, он нашим должен был много кое-чего порассказать. Вынул я у него из кобуры «парабеллум», сунул себе в карман, монтировку вбил за спинку заднего сиденья, телефонный провод накинул на шею майору и завязал глухим узлом на монтировке. Это чтобы он не свалился на бок, не упал при быстрой езде. Скоренько напялил на себя немецкий мундир и пилотку, ну, и погнал машину прямиком туда, где земля гудит, где бой идет.

Немецкий передний край проскакивал меж двух дзотов. Из блиндажа автоматчики выскочили, и я нарочно сбавил ход, чтобы они видели, что майор едет. Но они крик подняли, руками махают, мол, туда ехать нельзя, а я будто не понимаю, подкинул газку и пошел на все восемьдесят. Пока они опомнились и начали бить из пулеметов по машине,

а я уже на ничьей земле между воронками петляю не хуже зайца.

Тут немцы сзади бьют, а тут свои очертели, из автоматов мне навстречу строчат. В четырех местах ветровое стекло пробили, радиатор попороли пулями... Но вот уже лесок над озером, наши бегут к машине, а я вскочил в этот лесок, дверцу открыл, упал на землю и целую ее, и дышать мне нечем...

Молодой парнишка, на гимнастерке у него защитные погоны, каких я еще в глаза не видал, первым подбегает ко мне, зубы скалит: «Ага, чертов фриц, заблудился?» Рванул я с себя немецкий мундир, пилотку под ноги кинул и говорю ему: «Милый ты мой губошлеп! Сынок дорогой! Какой же я тебе фриц, когда я природный воронежец? В плену я был, понятно? А сейчас отвяжите этого борова, какой в машине сидит, возьмите его портфель и ведите меня к вашему командиру». Сдал я им пистолет и пошел из рук в руки, а к вечеру очутился уже у полковника — командира дивизии. К этому времени меня и накормили и в баню сводили, и допросили, и обмундирование выдали, так что явился я в блиндаж к полковнику, как и полагается, душой и телом чистый и в полной форме. Полковник встал из-за стола, пошел мне навстречу. При всех офицерах обнял и говорит: «Спасибо тебе, солдат, за дорогой гостинец, какой привез от немцев. Твой майор с его портфелем нам дороже двадцати «языков». Буду ходатайствовать перед командованием о представлении тебя к правительственной награде». А я от этих слов его, от ласки, сильно волнуюсь, губы дрожат, не повинуются, только и мог из себя выдавить: «Прошу, товарищ полковник, зачислить меня в стрелковую часть».

Но полковник засмеялся, похлопал меня по плечу: «Какой из тебя вояка, если ты на ногах еле держишься? Сегодня же отправлю тебя в госпиталь. Подлечат тебя там, подкормят, после этого домой к семье на месяц в отпуск съездишь, а когда вернешься к нам, посмотрим, куда тебя определить».

И полковник и все офицеры, какие у него в блиндаже были, душевно попрощались со мной за руку, и я вышел окончательно разволнованный, потому что за два года отвык от человеческого обращения. И заметь, браток, что еще долго я, как только с начальством приходилось говорить, по привычке невольно голову в плечи втягивал, вроде боялся, что ли, как бы меня не ударили. Вот как образовали нас в фашистских лагерях...

Из госпиталя сразу же написал Ирине письмо. Описал все коротко, как был в плену, как бежал вместе с немецким майором. И, скажи на милость, откуда эта детская похвальба у меня взялась? Не утерпел-таки, сообщил, что полковник обещал меня к награде представить...

Две недели спал и ел. Кормили меня помалу, но часто, иначе, если бы давали еды вволю, я бы мог загнуться, так доктор сказал. Набрался силенок вполне. А через две недели куска в рот взять не мог. Ответа из дома нет, и я, признаться, затосковал. Еда и на ум не идет, сон от меня бежит, всякие дурные мыслишки в голову лезут... На третьей неделе получаю письмо из Воронежа. Но пишет не Ирина, а сосед мой. столяр Иван Тимофеевич. Не дай бог никому таких писем получать!.. Сообщает он, что еще в июне сорок второго года немцы бомбили авиазавод и одна тяжелая бомба попала прямо в мою хатенку. Ирина и дочери как раз были дома... Ну, пишет, что не нашли от них и следа, а на месте хатенки — глубокая яма... Не дочитал я в этот раз письмо до конца. В глазах потемнело, сердце сжалось в комок и никак не разжимается. Прилег я на койку, немного отлежался, дочитал. Пишет сосед, что Анатолий во время бомбежки был в городе. Вечером вернулся в поселок, посмотрел на яму и в ночь опять ушел в город. Перед уходом сказал соседу, что будет проситься добровольцем на фронт. Вот и все.

Когда сердце разжалось и в ушах зашумела кровь, я вспомнил, как тяжело расставалась со мною моя Ирина на вокзале. Значит, еще тогда подсказало ей бабье сердце, что больше не увидимся мы с ней на этом свете. А я ее тогда оттолкнул... Была семья, свой дом, всё это лепилось годами, и все рухнуло в единый миг, остался я один. Думаю: «Да уж не приснилась ли мне моя нескладная жизнь?» А ведь в плену я почти каждую ночь, про себя, конечно, и с Ириной и с детишками разговаривал, подбадривал их, дескать, я вернусь, мои родные, не горюйте обо мне, я крепкий, я выживу, и опять мы будем все вместе... Значит, я два года с мертвыми разговаривал?!

Рассказчик на минуту умолк, а потом сказал уже иным, прерывистым и тихим голосом:

— Давай, браток, перекурим, а то меня что-то удушье давит.

Мы закурили. В залитом полой водою лесу звонко выстукивал дятел. Все так же лениво шевелил сухие сережки на ольхе теплый ветер; все так же, словно под тугими белыми парусами, проплывали в вышней синеве

облака, но уже иным показался мне в эти минуты скорбного молчания безбрежный мир, готовящийся к великим свершениям весны, к вечному утверждению живого в жизни.

Молчать было тяжело, и я спросил:

— Что же дальше?

— Дальше-то? — нехотя отозвался рассказчик.— Дальше получил я от полковника месячный отпуск, через неделю был уже в Воронеже. Пешком дотопал до места, где когда-то семейно жил. Глубокая воронка, налитая ржавой водой, кругом бурьян по пояс... Глушь, тишина кладбищенская. Ох, и тяжело же было мне, браток! Постоял, поскорбел душою и опять пошел на вокзал. И часу оставаться там не мог, в этот же день уехал обратно в дивизию.

Но месяца через три и мне блеснула радость, как солнышко из-за тучи: нашелся Анатолий. Прислал письмо мне на фронт, видать, с другого фронта. Адрес мой узнал от соседа, Ивана Тимофеевича. Оказывается попал он поначалу в артиллерийское училище; там-то и пригодились его таланты к математике. Через год с отличием закончил училище, пошел на фронт и вот уже пишет, что получил звание капитана, командует батареей «сорокапяток», имеет шесть орденов и медали. Словом, обштопал родителя со всех концов. И опять я возгордился им ужасно! Как ни крути, а мой родной сын — капитан и командир батареи, это не шутка! Да еще при таких орденах. Это ничего, что отец его на «студебеккере» снаряды возит и прочее военное имущество. Отцово дело отжитое, а у него, у капитана, все впереди.

И начались у меня по ночам стариковские мечтания: как война кончится, как я сына женю и сам при молодых жить буду, плотничать и внучат нянчить. Словом, всякая такая стариковская штука. Но и тут получилась у меня полная осечка. Зимою наступали мы без передышки, и особо часто писать друг другу нам было некогда, а к концу войны, уже возле Берлина, утром послал Анатолию письмишко, а на другой день получил ответ. И тут я понял, что подошли мы с сыном к германской столице разными путями, но находимся один от одного поблизости. Жду не дождусь, прямо-таки не чаю, когда мы с ним свидимся... Ну и, свиделись... Аккурат девятого мая, утром, в День Победы, убил моего Анатолия немецкий снайпер...

Во второй половине дня вызывает меня командир роты. Гляжу, сидит у него незнакомый мне артиллерий-

ский подполковник. Я вошел в комнату, и он встал, как перед старшим по званию. Командир моей роты говорит: «К тебе, Соколов»,— а сам к окну отвернулся. Пронизало меня, будто электрическим током, потому что почуял я недоброе. Подполковник подошел ко мне и тихо говорит: «Мужайся, отец! Твой сын, капитан Соколов, убит сегодня на батарее. Пойдем со мной!»

Качнулся я, но на ногах устоял. Теперь и то как сквозь сон вспоминаю, как ехал вместе с подполковником на большой машине, как пробирались по заваленным обломками улицам, туманно помню солдатский строй и обитый красным бархатом гроб. А Анатолия вижу вот как тебя, браток. Подошел я к гробу. Мой сын лежит в нем и не мой. Мой — это всегда улыбчивый, узкоплечий мальчишка, с острым кадыком на худой шее, а тут лежит молодой, плечистый, красивый мужчина, глаза полуприкрыты, будто смотрит он куда-то мимо меня, в неизвестную мне далекую даль. Только в уголках губ так навеки и осталась смешинка прежнего сынишки, Тольки, какого я когда-то знал... Поцеловал я его и отошел в сторонку. Подполковник речь сказал. Товарищи-друзья моего Анатолия слезы вытирают, а мои невыплаканные слезы, видно, на сердце засохли. Может, поэтому оно так и болит?..

Похоронил я в чужой, немецкой земле последнюю свою радость и надежду, ударила батарея моего сына, провожая своего командира в далекий путь, и словно что-то во мне оборвалось... Приехал я в свою часть сам не свой. Но тут вскорости меня демобилизовали. Куда идти? Неужто в Воронеж? Ни за что! Вспомнил, что в Урюпинске живет мой дружок, демобилизованный еще зимою по ранению,— он когда-то приглашал меня к себе,— вспомнил и поехал в Урюпинск.

Приятель мой и жена его были бездетные, жили в собственном домике на краю города. Он хотя и имел инвалидность, но работал шофером в автороте, устроился и я туда же. Поселился у приятеля, приютили они меня. Разные грузы перебрасывали мы в районы, осенью переключились на вывозку хлеба. В это время я и познакомился с моим новым сынком, вот с этим, какой в песке играется.

Из рейса, бывало, вернешься в город — понятно, первым делом в чайную: перехватить чего-нибудь, ну, конечно, и сто грамм выпить с устатка. К этому вредному делу, надо сказать, я уже пристрастился как следует... И вот один раз вижу возле чайной этого парнишку, на другой день — опять вижу. Этакий маленький оборвыш: ли-

чико все в арбузном соку, покрытом пылью, грязный, как прах, нечесаный, а глазенки — как звездочки ночью после дождя! И до того он мне полюбился, что я уже, чудное дело, начал скучать по нем, спешу из рейса поскорее его увидать. Около чайной он и кормился,— кто что даст.

На четвертый день прямо из совхоза, груженный хлебом, подворачиваю к чайной. Парнишка мой там сидит на крыльце, ножонками болтает и, по всему видать, голодный. Высунулся я в окошко, кричу ему: «Эй, Ванюшка! Садись скорее на машину, прокачу на элеватор, а оттуда вернемся сюда, пообедаем». Он от моего окрика вздрогнул, соскочил с крыльца, на подножку вскарабкался и тихо так говорит: «А вы откуда знаете, дядя, что меня Ваней зовут?» И глазенки широко раскрыл, ждет, что́ я ему отвечу. Ну, я ему говорю, что я, мол, человек бывалый и все знаю.

Зашел он с правой стороны, я дверцу открыл, посадил его рядом с собой, поехали. Шустрый такой парнишка, а вдруг чего-то притих, задумался и нет-нет, да и взглянет на меня из-под длинных своих загнутых кверху ресниц, вздохнет. Такая мелкая птаха, а уже научился вздыхать. Его ли это дело? Спрашиваю: «Где же твой отец, Ваня?» Шепчет: «Погиб на фронте».— «А мама?» — «Маму бомбой убило в поезде, когда мы ехали».— «А откуда вы ехали?» — «Не знаю, не помню...» — «И никого у тебя тут родных нету?» — «Никого».— «Где же ты ночуешь?» — «А где придется».

Закипела тут во мне горючая слеза, и сразу я решил: «Не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать! Возьму его к себе в дети». И сразу у меня на душе стало легко и как-то светло. Наклонился я к нему, тихонько спрашиваю: «Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой?» Он и спросил, как выдохнул: «Кто?» Я ему и говорю так же тихо: «Я — твой отец».

Боже мой, что тут произошло! Кинулся он ко мне на шею, целует в щеки, в губы, в лоб, а сам, как свиристель так звонко и тоненько кричит, что даже в кабинке глушно: «Папка родненький! Я знал! Я знал, что ты меня найдешь! Все равно найдешь. Я так долго ждал, когда ты меня найдешь!» Прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка под ветром. А у меня в глазах туман, и тоже всего дрожь бьет и руки трясутся... Как я тогда руля не упустил, диву можно даться! Но в кювет все же нечаянно съехал, заглушил мотор. Пока туман в глазах не прошел,— побоялся

ехать, как бы на кого не наскочить. Постоял так минут пять, а сынок мой все жмется ко мне изо всех силенок, молчит, вздрагивает. Обнял я его правой рукою, потихоньку прижал к себе, а левой развернул машину, поехал обратно, на свою квартиру. Какой уж там мне элеватор, тогда мне не до элеватора было.

Бросил машину возле ворот, нового своего сынишку взял на руки, несу в дом. А он как обвил мою шею ручонками, так и не оторвался до самого места. Прижался своей щекой к моей небритой щеке, как прилип. Так я его и внес. Хозяин и хозяйка в аккурат дома были. Вошел я, моргаю им обоими глазами, бодро так говорю: «Вот и нашел я своего Ванюшку! Принимайте нас, добрые люди!» Они, оба мои бездетные, сразу сообразили, в чем дело, засуетились, забегали. А я никак сына от себя не оторву. Но кое-как уговорил. Помыл ему руки с мылом, посадил за стол. Хозяйка щей ему в тарелку налила, да как глянула, с какой он жадностью ест, так и залилась слезами. Стоит у печки, плачет себе в передник. Ванюшка мой увидал, что она плачет, подбежал к ней, дергает ее за подол и говорит: «Тетя, зачем же вы плачете? Папа нашел меня возле чайной, тут всем радоваться надо, а вы плачете». А той — подай бог, она еще пуще разливается, прямо-таки размокла вся!

После обеда повел я его в парикмахерскую, постриг, а дома сам искупал в корыте, завернул в чистую простыню. Обнял он меня и так на руках моих и уснул. Осторожно положил его на кровать, поехал на элеватор, сгрузил хлеб, машину отогнал на стоянку — и бегом по магазинам. Купил ему штанишки суконные, рубашонку, сандалии и картуз из мочалки. Конечно, все это оказалось и не по росту и качеством никуда не годное. За штанишки меня хозяйка даже разругала. «Ты,— говорит,— с ума спятил, в такую жару одевать дитя в суконные штаны!» И моментально — швейную машинку на стол, порылась в сундуке, а через час моему Ванюшке уже сатиновые трусики были готовы и беленькая рубашонка с короткими рукавами. Спать я лег вместе с ним и в первый раз за долгое время уснул спокойно. Однако ночью раза четыре вставал. Проснусь, а он у меня под мышкой приютится, как воробей под застрехой, тихонько посапывает, и до того мне становится радостно на душе, что и словами не скажешь! Норовишь не ворохнуться, чтобы не разбудить его, но все-таки не утерпишь, потихоньку встанешь, зажжешь спичку и любуешься на него...

Перед рассветом проснулся, не пойму, с чего мне так душно стало? А это сынок мой вылез из простыни и поперек меня улегся, раскинулся и ножонкой горло мне придавил. И беспокойно с ним спать, а вот привык, скучно мне без него. Ночью то погладишь его сонного, то волосенки на вихрах понюхаешь, и сердце отходит, становится мягче, а то ведь оно у меня закаменело от горя...

Первое время он со мной на машине в рейсы ездил, потом понял я, что так не годится. Одному мне что надо? Краюшку хлеба и луковицу с солью, вот и сыт солдат на целый день. А с ним — дело другое: то молока ему надо добывать, то яичко сварить, опять же без горячего ему никак нельзя. Но дело-то не ждет. Собрался с духом, оставил его на попечение хозяйки, так он до вечера слезы точил, а вечером удрал на элеватор встречать меня. До поздней ночи ожидал там.

Трудно мне с ним было на первых порах. Один раз легли спать еще засветло, днем наморился я очень, и он — то всегда щебечет, как воробушек, а то что-то примолчался. Спрашиваю: «Ты о чем думаешь, сынок?» А он меня спрашивает, сам в потолок смотрит: «Папка, ты куда свое кожаное пальто дел?» В жизни у меня никогда не было кожаного пальто! Пришлось изворачиваться: «В Воронеже осталось»,— говорю ему. «А почему ты меня так долго искал?» Отвечаю ему: «Я тебя, сынок, и в Германии искал, и в Польше, и всю Белоруссию прошел и проехал, а ты в Урюпинске оказался».— «А Урюпинск — это ближе Германии? А до Польши далеко от нашего дома?» Так и болтаем с ним перед сном.

А ты думаешь, браток, про кожаное пальто он зря спросил? Нет, все это неспроста. Значит, когда-то отец его настоящий носил такое пальто, вот ему и запомнилось. Ведь детская память, как летняя зарница: вспыхнет, накоротке осветит все и потухнет. Так и у него память, вроде зарницы, проблесками работает.

Может, и жили бы мы с ним еще годик в Урюпинске, но в ноябре случился со мной грех: ехал по грязи, в одном хуторе машину мою занесло, а тут корова подвернулась, я и сбил ее с ног. Ну, известное дело, бабы крик подняли, народ сбежался, и автоинспектор тут как тут. Отобрал у меня шоферскую книжку, как я ни просил его смилостивиться. Корова поднялась, хвост задрала и пошла скакать по переулкам, а я книжки лишился. Зиму проработал плотником, а потом списался с одним приятелем, тоже сослуживцем,— он в вашей области, в Кашарском районе,

работает шофером,— и тот пригласил меня к себе. Пишет, что, мол, поработаешь полгода по плотницкой части, а там в нашей области выдадут тебе новую книжку. Вот мы с сынком и командируемся в Кашары походным порядком.

Да оно, как тебе сказать, и не случись у меня этой аварии с коровой, я все равно подался бы из Урюпинска. Тоска мне не дает на одном месте долго засиживаться. Вот уже когда Ванюшка мой подрастет и придется определять его в школу, тогда, может, и я угомонюсь, осяду на одном месте. А сейчас пока шагаем с ним по русской земле.

— Тяжело ему идти,— сказал я.

— Так он вовсе мало на своих ногах идет, все больше на мне едет. Посажу его на плечи и несу, а захочет промяться,— слезает с меня и бегает сбоку дороги, взбрыкивает, как козленок. Все это, браток, ничего бы, как-нибудь мы с ним прожили бы, да вот сердце у меня раскачалось, поршня надо менять... Иной раз так схватит и прижмет, что белый свет в глазах меркнет. Боюсь, что когда-нибудь во сне помру и напугаю своего сынишку. А тут еще одна беда: почти каждую ночь своих покойников дорогих во сне вижу. И все больше так, что я — за колючей проволокой, а они на воле, по другую сторону... Разговариваю обо всем и с Ириной и с детишками, но только хочу проволоку руками раздвинуть,— они уходят от меня, будто тают на глазах... И вот удивительное дело: днем я всегда крепко себя держу, из меня ни «оха», ни вздоха не выжмешь, а ночью проснусь, и вся подушка мокрая от слез...

В лесу послышался голос моего товарища, плеск весла по воде.

Чужой, но ставший мне близким человек поднялся, протянул большую, твердую, как дерево, руку:

— Прощай, браток, счастливо тебе!

— И тебе счастливо добраться до Кашар.

— Благодарствую. Эй, сынок, пойдем к лодке.

Мальчик подбежал к отцу, пристроился справа и, держась за полу отцовского ватника, засеменил рядом с широко шагавшим мужчиной.

Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы... Что-то ждет их впереди? И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдюжит и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому позовет его Родина.

С тяжелой грустью смотрел я им вслед... Может быть, все и обошлось бы благополучно при нашем расставании, но Ванюшка, отойдя несколько шагов и заплетая куцыми ножками, повернулся на ходу ко мне лицом, помахал розовой ручонкой. И вдруг словно мягкая, но когтистая лапа сжала мне сердце, и я поспешно отвернулся. Нет, не только во сне плачут пожилые, поседевшие за годы войны мужчины. Плачут они и наяву. Тут главное — уметь вовремя отвернуться. Тут самое главное — не ранить сердце ребенка, чтобы он не увидел, как бежит по твоей щеке жгучая и скупая мужская слеза...

1956

СОДЕРЖАНИЕ

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

РАССКАЗЫ

Шолохов М. А.

Ш78 Собрание сочинений. В 8-ми т. Т. 7. Они сражались за Родину: Главы из романа; Рассказы/Сост. М. Манохиной.— М.: Худож. лит., 1986.— 559 с.

Том охватывает более чем тридцатилетний период творчества выдающегося советского писателя М. А. Шолохова.

В нем собраны рассказы, получившие мировую известность, а также главы из романа «Они сражались за Родину».

Ш $\frac{4702010200\text{-}129}{028(01)\text{-}86}$ подписное

ББК 84Р7
Р2

Михаил Александрович

ШОЛОХОВ

Собрание сочинений

ТОМ 7

Редактор

Н. Иванова

Художественный редактор

С. Гераскевич

Технический редактор

С. Ефимова

Корректоры

Т. Калинина, И. Филатова

ИБ № 4411

Сдано в набор 23.05.85. Подписано в печать 24.10.85. Формат 84 × 108 $^1/_{32}$. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 29,4. Усл. кр.-отт. 29,4. Уч.-изд. л. 32,18. Тираж 1 000 000 экз. Заказ № 1953. Изд. № 1881. Цена 3 р. 10 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» им. А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.